

# КОНТИНЕНТ

2012

КОНТИНЕНТ  
КАНТЫНЕНТ

KONTINENS  
KONTINENTAS

KONTYNET  
KONTINENTS

CONTINENT  
MANDER

KONTINENT  
КОНТИНЕНТ

№152

## ИЗБРАННОЕ 1974-1992



ТОМ ВТОРОЙ





# КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический  
и религиозный журнал*

*Выходит 4 раза в год*

**152**

**2012, № 2  
апрель — июнь**

**ПАРИЖ • МОСКВА**

# КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже  
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.  
Свидетельство о регистрации № 014255

**Учредитель — И. И. Виноградов**

**Издатель:**

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

Адреса редакции: ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115  
ул. Плющиха, д. 27, кв. 1

Время работы редакции: 15:00–19:00 (вторник, четверг)

E-mail: [idugina@mail.ru](mailto:idugina@mail.ru)

Телефон редакции:  
(499) 248-62-35

Internet: [www.magazines.russ.ru/continent/](http://www.magazines.russ.ru/continent/)  
<http://continent-rus.ru/>

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,  
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

**Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются**

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»  
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность  
приводимых ими фактов и цитат

- © АНО «Независимая редакция журнала “Континент”»
- © Название журнала «Континент» — В. Е. Максимов

*Главный редактор*

**Игорь ВИНОГРАДОВ**

*Редакционная коллегия:*

Марина АДАМОВИЧ

Юрий АФАНАСЬЕВ

Александр БЛОК

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ

Галина ВИШНЕВСКАЯ

Алла ДЕМИДОВА

Ион ДРУЦЭ

Ирина ДУГИНА

Евгений ЕРМОЛИН

Николай ЗЛОБИН

Андрей ЗУБОВ

Вячеслав ИВАНОВ

Андрей ИЛЛАРИОНОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Роберт КОНКВЕСТ

Наум КОРЖАВИН

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Николаус ЛОБКОВИЦ

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

Адам МИХНИК

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ

Жорж НИВА

Амос ОЗ

Мишель ОКУТЮРЬЕ

Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ

Валерий СОЙФЕР

Сергей ЮРСКИЙ

## Представители «Континента»

### АВСТРИЯ

Елена ВОРОНЦОВА  
Buchengasse 133/2/32  
1100, WIEN, OSTERREICH  
☎/fax 0043-1-607-30-23

### БОЛГАРИЯ

Наталья ЕРМЕНКОВА  
«Интербалканика»,  
ул. Карнеги, 11  
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ  
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

### ГЕРМАНИЯ

Лев УКЕЛЬСОН  
Wertachstraße 11,  
86153 AUGSBURG, BRD  
☎/fax (821) 41-77-08

### ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН  
Hashaftim 22  
64365 TEL-AVIV, ISRAEL  
☎ (03) 69-67-375

### ИТАЛИЯ

Александр и Татьяна  
СЕРГИЕВСКИЕ  
69 via Palestro  
00185 ROME, ITALIA  
☎/fax (+39) 064-463-249

### КАНАДА

Ольга БУТЕНКО  
1221, Boul. Rene Levesque  
SILLERY QC G1S1V8, CANADA  
☎/fax (418) 688-1221

### ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛОВА  
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek  
nauki i kultury  
00-594 WARSZAWA, POLSKA  
☎/fax (022) 849-27-30

### Веслава ОЛЬБРЫХ

Fundacja «Slavica Orientalia»,  
Ul. Przylesna, 12  
05-077 WARSZAWA, POLSKA  
☎ (22) 425-40-87; (22) 498-06-95  
w\_olbrych@op.pl

### США

Марина АДАМОВИЧ  
315 Oak Street  
Garwood NJ 07027  
☎ (908) 789-59-42

### Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

1800 Connecticut ave., N.W.  
WASHINGTON, D.C. 20009 USA  
☎ (202) 986-6010,  
fax (202) 667-4244

### ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА  
5 rue Chalgin, 75116 PARIS,  
FRANCE  
☎ (1) 45-00-67-56

### ШВЕЙЦАРИЯ

Анастасия ВИНОГРАДОВА  
Chemin des Fontanettes 2  
1807 BLONAY, SWITZERLAND  
☎/fax (21) 53-53-463

### Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ

25 Malagnou  
1208 GENEVE, SUISSE  
☎/fax (22) 736-40-69

### Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА

15 Ch. de la Rochette  
1202 GENEVE, SUISSE  
☎ (22) 736-14-82

### ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН  
Raina bulv., 19  
LV 1586, RIGA, LATVIA  
☎ (3712) 234-145





## СОДЕРЖАНИЕ

Избранное «Континента»  
1974 – 1992

Т О М В Т О Р О Й  
1978 – 1982

От редакции – 2012..... 15

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

<b>Инна ЛИСНЯНСКАЯ</b> «Кусочек мироздания...» .....	17
<b>Владимир МАКСИМОВ</b> Сага о носорогах .....	21
<b>Герман ПЛИСЕЦКИЙ</b> Стихи разных лет .....	32
<b>Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ</b> Двор. ....	35
<b>Юрий КУБЛАНОВСКИЙ</b> Два стихотворения .....	41

### РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

<b>Герман АНДРЕЕВ</b> Заметки о традициях русского либерализма <i>К спорам об исторических судьбах России.</i> .....	43
<b>Владимир БУКОВСКИЙ</b> Изнутри и снаружи. <i>Фрагменты из книги</i> .....	76
<b>Андрей САХАРОВ</b> Движение за права человека в СССР и Восточной Европе — цели, значение, трудности .....	94
<b>Игорь ЕФИМОВ-МОСКОВИТ</b> Политические выгоды нищеты .....	103
<b>Гелий СНЕГИРЕВ</b> «Как на духу...» .....	115

<b>Валерий ЧАЛИДЗЕ</b> О некоторых тенденциях в эмигрантской публицистике . . . . .	139
<b>Владимир БУКОВСКИЙ</b> «Почему русские ссорятся?» . . . . .	155
<b>В редакцию журнала «Континент»</b> <i>Открытое письмо</i> . . . . .	170
<b>Валерий ЧАЛИДЗЕ</b> Сахаров и русская интеллигенция . . . . .	171
<b>Эдуард КУЗНЕЦОВ</b> Статус советского политзаключенного. . . . .	176
<b>Дьякон Сергей ЖЕНУК</b> Империализм и нацизм. . . . .	187

## ЗАПАД – ВОСТОК

<b>Егошуа А. ГИЛЬБОА</b> Смысл свободы в современном мире . . . . .	197
<b>Владислав КРАСНОВ</b> Русский склад ума или западное состояние умов? <i>О книге Рональда Хингли «Русский склад ума»</i> . . . . .	202
<b>Тьерри ВОЛЬТОН</b> Париж —Москва или Париж под Москвой? . . . . .	209

## ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

<b>Петр ГРИГОРЕНКО</b> К вопросу о государственной независимости и взаимоотношениях между народами СССР . . . . .	216
<b>Эдуард ОГАНЕСЯН</b> Философия национализма . . . . .	222
<b>Анджей ДРАВИЧ</b> Зарубежная Россия. <i>Книги, люди, журналы, идеи</i> . . . . .	227
<b>Александр СМОЛЯР</b> Парадоксы либерализации и революция в Польше . . . . .	240
<b>Сергей СОЛДАТОВ</b> Эстонский узел. <i>Размышления о национальной судьбе и межнациональных отношениях</i> . . . . .	256
<b>Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ</b> Два эссе. . . . .	264

## РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

<b>Виктор ТРОСТНИКОВ</b> Конец эпохи самоугождения .....	271
<b>Вадим ЯНКОВ</b> Нации и национализм .....	286
<b>Интервью с Виктором Спарре</b> .....	293
<b>Александр ЗИНОВЬЕВ</b> Заметки об идеологии .....	297

## ЭКОНОМИКА

<b>Игорь БИРМАН</b> Экономическая ситуация в СССР.....	307
---	-----

## ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

<b>О положении заключенных в лагерях СССР</b> .....	329
<b>Виктор ТРОСТНИКОВ</b> Увольнение .....	346
<b>Уолтер РЕЙЧ</b> Иное мнение .....	360
<b>Михайло МИХАЙЛОВ</b> Югославская трагедия .....	367
<b>Виктор НЕКИПЕЛОВ</b> Сталин на ветровом стекле .....	369

## ИСТОКИ

<b>Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ</b> Довод слабых. <i>Кисточкам терроризма</i> .....	372
<b>Кирилл ХЕНКИН</b> Русские пришли! <i>Главы из книги</i> .....	383
<b>Александр Некрич</b> Сталин и нацистская Германия .....	401
<b>Вальтер ЛАМЕ</b> Ошибка, которая хуже преступления .....	415
<b>Роман ДНЕПРОВ</b> «Власовское» ли? .....	421

*Из материалов сборника «Память»*

<b>На докладе Жданова</b> .....	434
<b>Лидия ШАТУНОВСКАЯ</b>	
Час расплаты	
<i>Глава из книги воспоминаний</i> .....	438
<b>Евгений ГНЕДИН</b>	
Выход из лабиринта .....	447

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

<b>Борис ЗАКС</b>	
Немного о Гроссмане .....	455
<b>Мария ШНЕЕРСОН</b>	
Разрешенная правда .....	462
<i>Памяти ушедших</i>	
<b>Арман МАЛУМЯН</b>	
И даже наши слезы.....	471

## ИСКУССТВО

<b>Владимир АНТОНОВ</b>	
Неофициальное искусство: развитие, состояние, перспективы .....	482
<b>Вадим НЕЧАЕВ</b>	
История Оскара Рабина .....	494
<b>Эрик ЭГЕЛАНД</b>	
Встреча с Неизвестным .....	502
<b>Владимир МАКСИМОВ</b>	
Музыкальное чудо России .....	508

## КОЛОНКА РЕДАКТОРА

<b>Владимир МАКСИМОВ</b>	
Колонка редактора .....	509

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

<b>Василий БЕТАКИ</b>	
Между лозунгом и мусорщицей .....	520

<b>Виолетта ИВЕРНИ</b>	
О тюрьме идейной .....	523
<b>Виолетта ИВЕРНИ</b>	
Зеркало памяти .....	525
<b>Людмила АЛЕКСЕЕВА</b>	
Путеводитель по аду психиатрических тюрем .....	528
<b>Герман АНДРЕЕВ</b>	
Ценная работа о национал-большевизме .....	529
<b>Виолетта ИВЕРНИ</b>	
«Это моя исповедь» .....	532

## НАША АНКЕТА

<b>Тревога</b>	
<i>Разговор с Владимиром Максимовым.</i> .....	537
<b>Что значит Солженицын для каждого из нас?</b>	
<i>Круглый стол «Континента». Париж, 19 сентября 1978 года.</i> .....	553
<b>Интервью с Петром Григорьевичем Григоренко</b> .....	565
<b>Борис Суварин о Сталине</b> .....	578
<b>Интервью с Надеждой Яковлевной Мандельштам</b> .....	583

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

<b>Владимир МАКСИМОВ</b>	
Размышления о гармонической демократии. ....	592
<b>Открытое письмо Президиуму Верховного Совета СССР</b>	
<b>Председателю Президиума Верховного Совета СССР</b>	
<b>Леониду Ильичу Брежневу</b> .....	599
<b>В защиту Анатолия Марченко</b> .....	602
<b>Русско-украинское заявление.</b> .....	604

**Избранное «Континента»**

*1974 – 1992*

ТОМ ВТОРОЙ

---

---

**1978 – 1982**



## От редакции – 2012

Второй том *Избранного «Континента» за 1974 – 1992 годы* — то есть «Континента», издававшегося в Париже Владимиром Максимовым, — включает в себя публикации 1978 – 1982 гг. Напоминаем читателю, что в отличие от московского, парижский четырехтомник компануется не по тематическому, а по хронологическому принципу и каждый его том призван представить соответствующее четырех- пятилетие. Напоминаем также, что тома парижского *Избранного* построены в соответствии с теми принципами, согласно которым строились реальные номера журнала, — с сохранением основных рубрик, каждая из которых представлена в томе *Избранного* тем, что мы посчитали целесообразным отобрать из материалов, напечатанных в ней за соответствующий период. Таким образом тома парижского *Избранного* представляют собою как бы некое расширенное подобие реального «Континента» тех лет — с той лишь разницей, что каждая рубрика вмещает как правило куда больше текстов, чем это бывало в реальных номерах тогдашнего журнала.

Чем руководствовались мы, отбирая материалы из того их массива, что был размещен в реальных номерах журнала?

Прежде всего тем, что на страницах парижского «Континента» было напечатано немало текстов, которые актуальны до сих пор. Более того, многое из собранного в настоящем томе, на наш взгляд, не просто по-прежнему актуально, но позволяет взглянуть на современную постсоветскую действительность совершенно иными глазами — как бы из того, тридцатилетней давности, времени. В парижских номерах журнала мы находим и мудрые предостережения, и горькие пророчества, и обращение к глубинным истокам тех заблуждений и провалов, с последствиями которых имеет дело современная Россия. Понятно, что тексты такого рода нам в особенности хотелось представить сегодняшнему читателю.

Однако парижский «Континент» — это для сегодняшнего читателя во многом уже явление истории — знаменитое, прославленное издание, сыгравшее выдающуюся роль в борьбе с советским тоталитаризмом и в культурном ему противостоянии. И, представляя сегодняшнему читателю тогдашний «Континент», нам очень хотелось сохранить и донести само дыхание истории, сам воздух эпохи, пропитывающий не только те тексты, которые и сегодня живы и остры, но и те, которые хотя и ушли вместе со своим



временем, но именно этим как раз особенно ощутимо и доносят до нас его специфическую атмосферу.

Читателю судить, насколько удалось нам осуществить этот замысел, но именно этими двумя целями и определялся характер отбора материалов для каждой рубрики. В частности — и для художественного раздела, объем которого на сей раз решено было сократить до минимума, чтобы не теснить остальные рубрики... Ведь за прошедшие два десятилетия практически все самые достойные поэтические и прозаические тексты, впервые увидевшие свет на страницах парижского «Континента», были опубликованы в России или выложены в сети интернета.

Нужно ли дополнять тома биографическими справками об авторах, в нем представленных?

Мы решили, что не нужно. Большинство этих имен настолько известны или даже знамениты, что не нуждаются ни в каких представлениях. А о тех, кто читателю окажется, может быть, менее знаком или вообще неизвестен, всегда можно получить необходимые сведения в интернете. К тому же во многих случаях такие сведения так или иначе содержатся и в самом тексте публикации.

В заключение отметим, что в 1978 — 1982 годы в силу разных причин в составе редколлегии «Континента» произошли изменения. В нее вошли: Василий Аксенов, Энцо Беттица, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Петр Григоренко, Ирина Иловайская-Альберти, Эдуард Кузнецов и Амос Oz; были Игнацио Силоне и Зинаида Шаховская.

Второй том *Избранного «Континента» за 1974-1992 годы*, подготовку и выпуск которого мы считаем своим нравственным долгом перед нашими предшественниками, выходит при финансовой поддержке г-жи **Ирены Лесневской** и г-на **Эдуарда Лозанского**. От имени наших читателей приносим им за эту благородную и бескорыстную помощь глубокую, искреннюю благодарность.

\* \* \*

Как и в томах московского *Избранного*, все материалы даются в сокращении, но для удобства чтения знаком [...] отмечены лишь самые значительные купюры.

# ПОЭЗИЯ И ПРОЗА



**ИННА ЛИСНЯНСКАЯ**

**«Кусочек мироздания...»**

\* \* \*

Этот город — арестантская одевка,  
Полосатый и застиранный мешок.  
В нем давно себя не чувствую неловко,  
Ничего не замышляю поперек.

Ни к чему мне и свирепая усталость,  
И воинственная русская вина...  
Что с того, что я надолго задержалась,  
Что с того, что эта улица темна?

Провод голый ухватить рукою голой —  
Неужели вспыхнет света полоса?  
Я понизила, а ты возвысил голос,  
Я зажмурилась, а ты раскрыл глаза,

Ангел мой, полуседой и бесноватый,  
Ты зовешь меня из мрака моего  
В тот просвет, куда уходят все закаты  
И откуда не приходит ничего.

Фосфорическая кошка ест из блюда,  
Единица придвигается к нулю...  
Мне бы вздрогнуть, мне бы вскрикнуть и проснуться  
И очнуться, — но давным-давно не сплю.

\* \* \*

Есть у меня лампада  
И дерево и Русь,  
Где я живу, как надо,  
И мыслить не берусь.

Кусочек мироздания  
Пылает с двух сторон,  
По краскам угасанья  
Я вижу — это клен.

А как на ладан дышит  
Страна во цвете лет,  
Увидит и опишет  
Эпический поэт,

И подтолкнет страдальца  
И жертву к алтарю.  
А я на всё сквозь пальцы  
Или сквозь сон смотрю...

\* \* \*

Предвидено, предсказано,  
Цветком не прорасту,  
Я к времени привязана,  
Как к конскому хвосту.

О плоские булыжники  
Крутым затылком бьюсь.  
Молчат твои подвижники,  
Затопанная Русь!

Молчат твои мятежники,  
Лежат в сырой земле,  
Кровавые подснежники  
Им чудятся во мгле,

Да снится, как расплющило  
Их младшую сестру, —  
Лишь волосы распущены  
И тлеют на ветру.

\* \* \*

Возят на рынок картошку и сало,  
Ягоду, тару, тряпье...  
Мне хорошо, я еще не узнала  
Куплю и тщетность ее.

В доме напротив два друга устало  
Тянут хмельное питье...  
Мне хорошо, я еще не узнала  
Дружбы и скуки ее.

Возле кладбища в начале квартала  
Праздно орет воронье...  
Мне хорошо, я еще не узнала  
Славы и праха ее.

Старый партиец смахнул с одеяла  
«Правду» — обрыдло вранье...  
Мне хорошо, я еще не узнала  
Веры и краха ее.

Поезд тюремный уходит с вокзала  
В тундру, где волчье житье...  
Мне хорошо, я еще не узнала  
Воли и смерти ее.

\* \* \*

Ветер дует и свет задувает,  
Задувает и сердце мое.  
Но не верьте мне, так не бывает!  
Это нас, как табак, набивает  
Время в трубку и курит ее,

И выкуривает из таможни  
В синий воздух родных и друзей.  
С каждым часом на сердце тревожней,  
С каждым разом мне всё невозможней  
Дождаться минуты своей.

Ветер дует и речь задувает..  
Но не верьте мне, так не бывает,  
Я порю несусветную чушь!  
Это время, куря, затевает  
Мировую миграцию душ.

\* \* \*

Возьми меня, Господи, вместо него,  
А его на земле оставь!  
Я — легкомысленное существо,  
И Ты меня в ад отправь.

Пускай он еще поживет на земле,  
Пускай попытает судьбу!  
Мне легче купаться в кипящей смоле,  
Чем выть на его гробу.

Молю Тебя, Господи, слезно молю!  
Останови мою кровь  
Хотя бы за то, что его я люблю  
Сильней, чем Твою любовь.

*1980, № 26*

## ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

### Сага о носорогах

*Эжену Ионеско*

#### 1

Мы сидим с ним в его тесно заставленном, но предельно опрятном кабинете в квартире на бульваре Монпарнас. Серые, чуть навывкате, с налетом неистребимого удивления глаза, мягкая детскость которых живет, существует, излучается как бы самостоятельно, отдельно от лица — резко очерченного, тронутого возрастом. К такому бы лицу да белую тогу с малиновым подбоем, а не свитер, который, впрочем, тоже сидит на нем весьма царственно. Он время от времени лениво прихлебывает чистый виски со льдом и молча, не перебивая, выслушивает мои многословные жалобы на душевную глухоту, идеологическую ограниченность, социальную стадность западной интеллектуальной элиты.

— Из огня да в полымя, — в сердцах говорю я, — стоило уносить ноги от диктатуры государственной, чтобы сделаться мальчиками для битья при диктатуре социального снобизма! В известном смысле все то же самое: цензура, деление на своих и чужих, издательский и критический бойкот, конформизм наизнанку, только под респектабельным демократическим соусом. И способ полемики тоже давно знакомый по душевным разговорам в кабинетах на Старой площади: ты ему про конкретные факты, а он тебе про угнетенных Африки и классовую борьбу.

Хозяин устало опускает тяжелые веки, и невидимая тога с малиновым подбоем величавыми складками опадает книзу: он слышал это десятки, может быть, даже сотни раз из той самой многолюдной пустыни, что расстилась вокруг него, и так же десятки, а может быть, сотни раз ему нечем было помочь и почти нечего ответить.

— Ах, месье Максимов, месье Максимов, — из-под набрякших век на меня излилась его младенческая доверительность, — никакой классовой борьбы в природе не существует, вот уже сотни лет в мире происходит единственная смертельная борьба — между крупной и мелкой буржуазией, и они используют в этой борьбе за свой материальный и душевный комфорт все остальные классы вместе с их идеями, а после победы оставляют бывших союзников на произвол судьбы. Буржуа своими вставными челюстя-

ми перемололи и приспособили себе на потребу все самое лучшее и святое, что выстрадано человечеством: свободу, культуру, религию. Для того, чтобы остаться личностью, во все времена нужно было обладать мужеством и совестью; у буржуа, к сожалению, отсутствует и то и другое, у него есть только челюсти и животная приспособляемость. Буржуа — это орден, мафия, интернационал, если хотите, буржуа-лавочник и буржуа-интеллектуал ничем не отличаются от буржуа-революционера и буржуа-партайгеноссе. Вы, наверное, заметили, как при всех политических и национальных различиях они быстро находят общий язык: денежные воротилы и вчерашние экспроприаторы, снобы с Сен-Жермен де Пре и московские эстеты в штатском, гуманисты с автоматами Калашникова наперевес и угандийский людоед в фельдмаршальских регалиях, знакомый нам с вами президент с замашками либерального аристократа и вьетнамский палач, еще не отмывший с рук крови своих соотечественников. Их тьма тем и имя им — легион.

Он снова опускает веки, а я вдруг улавливаю наплывающий издалека гулкий топот множества копыт. Топот растет, разрастается, набирая и набирая силу, пока, наконец, не заполняет меня целиком. С бешеным сопением и хрипом, источая вокруг терпкий запах азартного пота и разбрызгивая впереди себя клочья слюны и пены, сквозь мою немощную душу течет, валит, ломится хищное, жестокое, воинственное стадо с глазами, подернутыми кровавым туманом, и заскорузлым рогом наизготовку. Поначалу в этом сплошном хрипе и топоте не улавливается ничего членораздельного, но постепенно из мешанины хаотических звуков начинает складываться некая, смутно похожая на человеческую, речь...

## 2

Профессор. Интеллектуал. Одно время был даже атташе в некой захолустной банановой республике. Прогрессивен до кончиков своих обгрызенных ногтей. В чувственных губах дорогая сигаретка, бокал с шампанским в небрежно откинутой в сторону руке. Говорит, лениво растягивая слова, с такой высокомерной небрежностью, будто все, что может сообщить ему собеседник, он знает давно из первоисточника.

— Вы, — спрашивая (речь идет о России), — «ГУЛаг» читали?

— Нет, — рассеянный взгляд куда-то наискосок от меня, пепел осыпается на лацкан смокинга, — и читать не намерен: у меня есть мнение, и вы, пожалуйста, не путайте меня вашими фактами.

И тут же, забыв обо мне, отплывает по направлению своего взгляда к новому и явно более желанному для него объекту. Вывернутые ноздри интеллектуала при этом плотоядно раздуваются в предвкушении добычи, и мне явственно слышится, как под смокингом у него уверенно поскрипывает его носорожья шкура. [...]

С этим мы только что познакомились. Тих, вкрадчив, с постоянной полуулыбкой на бесформенном или, как у нас в России говорят, бабьем лице.

Глаза грустные, немигающие, выражаясь опять-таки по-русски, телячьи. Знаменит. Увенчан. Усеян. И так далее, и так далее. Широко известен также разборчивой отзывчивостью и слабостью к социальному терроризму.

Битый час слезно молю его вступить на предстоящем заседании ПЕНА в Белграде за погибавшего в то время во Владимирской тюрьме Володю Буковского.

— Да, да, — мямлит он расслабленными губами, — конечно, но вы не должны замыкаться только в своих проблемах. В мире много страданий и горя, кроме ваших. Нельзя объяснить многолетней индусской женщине ее нищету феноменом ГУЛага. Или посмотрите, например, что творится в Чили. Я уже не говорю о Южной Африке...

«Господи, — пристыженно кляню я себя, — что ты пристал к человеку со своими болячками! У него сердце кровью обливается за всех малых сих. Ведь каково ему сейчас в роскошной квартире с его скорбящей душой, когда кровожадные плантаторы лишают несчастных папуасов их доли кокосовых орехов! Поимей совесть, Максимов!»

— Да, — вздыхаю сочувственно, пытаюсь разделить с хозяином хотя бы часть его скорби, — действительно ужасно. Возьмите тоже восточных немцев, которые к вам бегут. Стреляют, знаете ли, как зайцев, куда это годится!

Собеседника моего словно подменяют. Бабье лицо каменеет, в телячьих глазах — холодное отчуждение:

— А зачем бежать? Эту проблему надо решать за столом переговоров или по дипломатическим каналам. И вообще, самый опасный вид насилия — это все-таки эксплуатация. Прежде всего надо справедливо распределить материальные ценности. Вы же христианин, — он даже откидывается на спинку кресла, считая этот свой довод неотразимым, — Христос тоже прежде всего делил хлеб.

В отвердевшем, с горячей поволокой взгляде его — торжество уверенного в себе триумфатора. И невдомек этой закаменевшей во лбу особи, что Сын Божий делил Хлеб *Свой* и *добровольно*, а он жаждет делить *чужой*, к тому же с помощью автомата и наручников.

Этот вызвался говорить со мною сам, с явным намерением осадить неофита, поставить на место, научить уму-разуму. Едва усевшись за стол в маленьком ресторанчике на рю дю Бак, он спешит ошарашить меня вызывающим постулатом:

— Что это вы все кипятитесь: правда, правда! Если есть право на правду, значит, есть право на ложь.

Довод ему кажется убийственно обезоруживающим. Впрочем, таким этот довод казался и Смердякову, просто мой визави не потрудился внимательно прочесть «Братьев Карамазовых». Хотя, наверное, вообще не перелистывал, ему это, по-моему, ни к чему: он книжек не читает, он их пишет. Кроме того, заведует восточноевропейским отделом в respectable, с



прототалитарным налетом газете. Был корреспондентом в Москве. Но, как истый наследник отечественной династии носорогов, ничего не забыл и ничему не научился. Повторяет зады Смердякова и Геббельса, а уверен, что открывает политическую Америку.

Кстати, о докторе Геббельсе. С этим самым доктором связано имя еще одного представителя исследуемой породы. Главный редактор популярного бульварного еженедельника розовой ориентации. Еще в сорок пятом, то есть перед самым концом Рейха, сотрудничая в ведомстве вышеозначенного доктора, призывал беспощадно уничтожать всех, кто выступает против Гитлера. Теперь специализируется на разоблачении русских и восточноевропейских диссидентов, обвиняя их в реакционности и симпатиях к фашизму. Прямо скажем, весьма пикантная метаморфоза! Мог ли представить себе мой отец, погибая в бою под Смоленском, или мои дядья, оставившие на последней войне добрую треть своих конечностей, что их убийцы, верные выученики Гитлера, спустя тридцать лет будут читать их детям политические моралите! Такие времена! [...]

Двое в почти семейной компании. Попали случайно: друг пригласил. Оба востренькие, хваткие. Поначалу приглядываются, прислушиваются. Постепенно начинают вставлять одно-другое словцо — так сказать, вживаются в среду. Он — врач накануне пенсии, она — просто жена, но явно с запросами, из эмансипированных. Компания, в основном, русская, и, естественно, разговор кружится вокруг «проклятых» вопросов.

Окончательно освоившись и выслушав множество отечественных историй, одна другой безысходнее, он выдвигается остреньким личиком к середине стола:

— Ничего подобного! Вы необъективны, как всякие эмигранты. Мой брат постоянно бывает в Москве по делам службы и ничего похожего там не встречал. Вы недавно на Западе и еще видите все в розовом свете, а между тем здесь происходят вещи, куда более отвратительные, чем этот ваш пресловутый ГУЛАг.

— К примеру?

— К примеру, бесчеловечные преследования гомосексуалистов! — запальчиво прорывается тот упрямым носом к собеседнику под одобрительные кивочки своей эмансипированной половины. — Преступное ограничение свободы душевнобольных происходит у всех на глазах, и общество молчит. Это чего-нибудь да стоит?

Конечно, стоит! Стоило бы также запретить тебя, взбесившийся от переизбытка обильной жратвы господин четырехногий, в лагерь усиленного режима, где абсолютно свободные от всякого ухода умалишенные сделали бы тебя пассивным гомосексуалистом, с тем, чтобы ты отстаивал дорогие тебе идеалы половой свободы с помощью собственного зады. Но пока — скажи себе дальше, господин носорог от медицины!

И еще один экземпляр с тою же носорожьей хваткой. Неопределенного возраста, пола и даже национальности. То ли офранцузженная русская, то ли обрусевшая французка. Воплощает собою полное единство формы и содержания: всем природа обделила, как Бог черепаху. Прodelала извилисто целеустремленный путь от французской компартии до советского сыска. Подвизается то ли секретарем, то ли соглядатаем в комитете то ли физиков, то ли химиков, то ли зубных врачей. Комитет, впрочем, не занимается ни физикой, ни химией, ни зубными протезами, а исключительно Правами Человека, причем в мазохистском духе. Когда у партаймадам осторожно спрашивают об удивительных метаморфозах ее общественной карьеры, она устремляет на любопытствующих торжествующий взор рыбьего колера:

— Диалектика!

Интересно бы знать заранее, каким диалектическим манером сумеет вернуться она, когда ее наконец приведут с кольцом в ноздре в следственное стойло, где будут разбираться дела носорогов — стукачей, на подножном корму у советского гестапо? [...]

Газетная сирена. Ниспровергательница основ из благородных. В сорок пятом еле унесла ноги вместе с графским титулом и бриллиантами из Восточной Пруссии. Основала еженедельник, прониклась новыми веяньями. И с тех пор, как сказал поэт, просит бури. Из русского инакомыслия признает только инакомыслие с полицейским оттенком.

— Солженицын и «Континент» обманывают Запад, у меня сведения из самых достоверных источников.

Охотно верю, учитывая круг и качество ее московских знакомств. Только куда дальше-то потащите свои бриллианты, когда придет черед уносить ноги и от этих знакомых, ваше прогрессивное сиятельство!

Носорог в сутане. Зрелище малопочтенное, но не лишенное любопытства. Блестит светскостью и эрудицией. Изящен в движениях, словоохотлив. Подхватывает любую тему. Говорит уверенно, со знанием дела. Из сыплющихся цитат и ссылок можно было бы вязать елочные гирлянды. Распираем идей исторического компромисса:

— Мы современные люди и должны смотреть в глаза политической реальности. Марксизм наряду с христианством нашел пути к человеческому сердцу, и наш долг — потесниться.

Что говорить, все науки превзошел парнокопытный, во всем разбирается, даже в дерьме, но вот как в нем совмещается Господь Бог и «политическая реальность» вкуче с марксизмом, этого из него клещами не вытянешь. Тут он без слов бодаться кидается.

И наконец, целое стадо. Женская половина в декольте или вызывающих брючных парах, мужская — смокинги с маоистскими френчами вперемешку: весь цвет местных радикалов. Разговоры без дураков, на высшем

социальном уровне: Чили, Черная Африка, терроризм как форма классовой борьбы и опять же — угнетение гомосексуалистов. Все как у людей, парижский шик.

Меня чуть не силком затаскивает в эту обитель рыцарей без страха и упрека в Баден-Бадене мой чешский друг. На этом радикальном Олимпе только две черные вороны реакции среди белоснежной стаи мучеников прогресса: я и он.

«Чего-то ты недопонимаешь, брат, — сетую я про себя, — ведь вот волнуются люди о чужой судьбе, сытно, вольготно живут, а волнуются, значит, совесть не потеряли».

Вконец расчувствовавшись, неуверенно предлагаю:

— Господа, имею при себе кое-какую наличность, давайте скинемся, — как говорится, шапка по кругу, — да и пошлем в Красный Крест для вспомоществования страждущим братьям Африки или Латинской Америки.

Смотрят на меня так, будто я, простите, воздух в их компании испортил. Освобождать они, конечно, готовы, помогать — тем более, но только не за свой счет.

По домам стадо разезжается на «мерседесах» новейших марок. К автобусной остановке спешат только два реакционера: мой чешский друг и я. [...]

Парижский таксист. Рыж, плотен, лет сорока с небольшим. Заискивающе беспокойно косит в мою сторону:

— Месье иностранец?

— Да, русский.

— О, русский! Из Советского Союза?

— Нет, эмигрант.

Он мгновенно тускнеет:

— Конечно, я понимаю, вы, наверное, интеллигент, вам трудно в коллективном обществе, но зато у рабочего человека там масса возможностей. И потом бесплатное лечение...

— Почему бы вам туда не переехать? Думаю, что французские власти не станут чинить вам препятствий.

Сопит. Молчит. Я его понимаю: бесплатное лечение не та цена, за которую он отдаст свое право на забастовку и предобеденный аперитив.

Молодой философ. Беден. Горяч. Искренен.

— Правые кричат: «Демократия не для тех, кто выступает против демократии!» — Длинное, с неожиданно мягким подбородком лицо его искажается неподдельной болью, — но ведь то же самое кричат на ваших процессах советские обвинители!

Да-да, мой мальчик, совершенно верно. Одна только крохотная разница: здешнюю демократию установил и контролирует избиратель, а тамошнюю — сами советские обвинители. Разница, может быть, действительно небольшая, но, на мой непросвещенный взгляд, весьма существенная.

Студент. Не так давно правдами и неправдами выбрался из Польши. Сидим с ним на подоконнике в коридоре Колумбийского университета. Смотрит на меня прозрачным оком альбиноса, в упор, без тени смущения:

— Америке грозит фашизм!

Говорят: чужой опыт ничему не учит. Оказывается, и свой учит не всегда. Хотя, кто знает, какого рода школу, училище, академию ему пришлось пройти?

Итальянский писатель. Широко известен в Советском Союзе парой сносных книг и слабостью к русской кухне. Чем-то смахивает на Муссолини, только череп не брит, а действительно первозданно лыс. Голову носит так, будто на ней — чалма.

— Что вы мне говорите, — запальчиво кипятится он на званом приеме в честь двух русских писателей-диссидентов, — будто в Советском Союзе кого-то не печатают! Меня печатают!

И не поймешь, чего больше в этом — глупости или цинизма?

А вот его соотечественник совсем в другом роде. То ли сын, то ли внук одного из ближайших приятелей дуче. Тош, благообразен, потасканно опрятен, словно только что из химчистки. Протягивает сухую клешню для рукопожатия, скорбно воздевает склеротические очи к потолку, вздыхает ностальгически:

— Не верьте уличным крикунам, Гитлер преступно исказил светлые идеалы фашизма!

И с обреченным выражением попранной добродетели на восковом лице направляется мимо меня в зал международного симпозиума по Правам Человека. Гуманизм, видно, каждый понимает по-своему.

### 3

Топот, топот, топот. И храп. И слюна с пеной — веером. И теперь уже со всех сторон. Наступают, ломятся, смыкаясь в кольцо. Причем наши отечественные экземпляры, словно особи одной породы, как две капли воды зеркально повторяют здешних. Ничего не поделаешь, естественный, так сказать, отбор.

### 4

В прошлом белый генерал. Можно сказать, орел степной, казак лихой, хотя уже около ста. Дорога у него позади — от Новочеркасска до Феодосии — вся в виселицах, как в портретных рамах. Но под старость в эмигрантском прозябании стал истекать охранительным патриотизмом. С атташе из советского посольства не разольешь, так сказать, два столпа великой державы, не мытьем так катаньем, сбывлась голубая мечта: пол-Европы под сапогом у России, знай наших!

Провожая после скромного застолья дипломата, натасканного в родном отечестве по сыскной части, умильно шамкает ему вслед вставными челюстями:

— Вот это патриот, растуды твою качель, нашего казацкого корня, не то что энти самые босяки, как их, туды-растуды, диссиденты!..

Дай Бог, как говорится, им обоим крепкого здоровья и долгих лет; глядишь, повезет: из собутыльников в сокамерники попадут, где сольются, наконец, в совпатриотическом экстазе навсегда.

Киноартист. Режиссер. Лауреат. Деятель. Наследник Станиславского. Перманентно перед или после запоя. Увешан всеми побрякушками государства, но жаждет большего, а посему подвизается в отечественном сыске на ролях «потрясателя основ»: работа во всех отношениях хлебная, хотя и требующая известной изворотливости.

Вещает в Нью-Йорке:

— Мы энтих картеров, которые принимают в своих белых домах каких-то там диссидентов, интеллигентов, знать не знаем и знать не хотим. — Коронный киножест: ладонь ребром вперед, локоть плавно в сторону. — Мы артисты, и душа наша за мир и дружбу, взаимовыгодную торговлю и соглашение СОЛТ-два. В общем, хинди — руси, бхай-бхай!

Разумеется, никаких, как он выражается, картеров этот гусь знать не знает, но газету «Правда» цитирует добросовестно, слово в слово. Школа сказывается: работает по системе Станиславского, в соответствии со сверхзадачей.

Трибун. Горлан. Главарь. Что хотите. Стихами буквально испражняется. Кипит благородным возмущением. Разоблачает. Клеймит. Кого? Кого угодно, кроме собственных носорогов в штатском. Что? Что угодно, кроме людоедства в собственной стране. Но в то же время намекает. Дает понять. Проводит аллюзии. На этом стихотворном мародерстве сделал себе состояние и полускандальную известность. Но жанр одряхлел, золотое время дармовых кормов кончается.

— Проходит моя слава, как вода сквозь пальцы, — жалуется, болезный, приятелю, пропивая в лондонском кабаке гонорар за недавнее избличение язв капитализма, и белые глаза при этом истекают мутной слезой. — Люди неблагодарны.

Умри, Денис, лучше не скажешь! Но, воленс-неволенс, какой поэт, такая и благодарность.

Живописец. Это значит — живо пишет. Наш — даже слишком живо. Увековечил уже с полдюжины царствующих и не менее дюжины властвующих особ обоего пола, разного возраста и разнообразного калибра. Работает в принципиально иконописной манере: Лоллобриджиду — под Матерь Божию, Брежнева — под Христа в маршальских регалиях. Поговаривают, за Амина Даду взялся, расписывает в святоотеческой манере, хочет художе-

ственно прозреть в людоеде черты то ли Иоанна Крестителя, то ли Симеона Затворника. В духе, так сказать, исторического компромисса.

Но после недавнего вояжа по Европе творческая Дуняша неожиданно затосковала: другой славы возжаждалась, извините за выражение, героической. Сидя в своей московской опочивальне среди французской мебели Людовика какого-то, собрал, чтоб добро не пропадало, все прошлые модели на одном холсте, добавил туда для оппозиционного оживления Спасителя, опального прозаика, самого себя и — в живописный Самиздат: нишкните, завистники, мы тоже, мол, не лыком шиты!

Не картина, а целое скопление, созвездие, содружество, конгресс гигантов, можно сказать, яблоку некуда упасть. Видно, по этой самой причине в сей эпохальной мистерии двадцатого века только Иванушке-дурачку места не нашлось, а скорее всего, нету их теперь, Иванушек-дурачков. Перевелись.

## 5

«Дорогие друзья!

Со дня моего отъезда на Запад прошло более четырех лет. Пора, что называется, подвести первые итоги. Оглядываясь теперь на прошлое, я должен с горькой определенностью признать, что после своего отъезда потерял куда больше, чем приобрел. Разумеется, не о квасной ностальгии речь, этим я не страдаю, а если и поскребет на сердце иногда, мне стоит только добежать до газетного киоска на Этуаль, полистать родную «Правду», — и все как рукой снимает. Куда тяжелее для меня потеря среды, то есть тех людей, судьбы которых так или иначе переплелись с моею, той языковой стихии, в которой складывался мой человеческий и литературный слух, того горделивого сознания своей правоты, какое дается человеку участием в общем противоборстве темной и безусловно злой силе. В том общественном микромире, который с годами мы сумели создать вокруг себя и в себе на родине, царила ответственная окончательность нравственных законов: нельзя убить, нельзя солгать, нельзя слукавить. Это был восхитительный остров взаимопонимания, где каждый ощущал каждого с полуслова, с полувзгляда, с полунамека, а то и на расстоянии. Иногда мы просто молчали по телефону (о, эти отечественные телефоны!), и это молчание было для нас куда красноречивее самых пылких объяснений или речей.

Поэтому для человека моего склада и характера первым и, пожалуй, самым мучительным испытанием на Западе явилось полное смещение спектра этических, эстетических и политических критериев, принятых здесь в оценках людей, событий, ценностей. Оказывается, что в общем-то все можно и все дозволено. Можно черное назвать белым и — наоборот. Дозволено солгать и убить, если это касается «палачей» или «угнетателей», или «агентов империализма» (кстати, под последнюю категорию легко подпадает и ваш покорный слуга со товарищи, так что еще, как говорится, не вечер), а кто из ближних считается таковым, в каждом случае определяет сам идеологический субъект.

Но не дай вам Бог, если вы попробуете, хотя бы робко, указать на некоторое несоответствие подобной диалектики с элементарными принципами демократии, вас тут же обвинят в обскурантизме и скоренько зачислят в лагерь черной реакции, а это обойдется вам, прямо скажем, недешево: перед вами моментально захлопывается большинство дверей, вы незаметно для себя оказываетесь в профессиональной и политической изоляции. Тяжесть этого негласного террора испытали на себе почти все те, о ком в современной России говорят только с восхищением и благодарностью: Орвелл, Ионеско, Кестлер, Конквест, Марсель, Арон и многие-многие их единомышленники.

Скажу наперед: я не могу, не хочу и не намерен принять политический плюрализм, который включает в себя прошлых, нынешних или предстоящих заплочных дел мастеров, создателей собственных ГУЛагов, какими бы благородными целями они ни руководствовались. Для меня слово «коммунизм» было и остается синонимом слов: «реакция», «мракобесие», «фашизм». И это с моей стороны не публицистическая фигура, а ответственное обвинение, ибо на протяжении последнего столетия с этим словом связаны только грязь и кровь, по сравнению с которыми все гитлеровские злодеяния кажутся теперь жалкими потугами истерических подражателей. [...]

И дело здесь не в очередном социальном заблуждении, а в поистине растительной приспособляемости известной части «диалектически мыслящих» интеллектуалов к политическим обстоятельствам. Новые мифы не только позволяют им болезненно забыть свое прошлое, списав собственные преступления за счет издержек философского поиска, но и выгодно эксплуатировать эти мифы себе на материальную потребу.

К сожалению, не отстает от них и наш брат, разумеется, из тех, кто поплоче, но посмекалестее. Вчерашние религиозные неопиты, принципиальные противники однопартийной системы и организованной экономики, отчаянные сионисты вдруг оборачиваются здесь закоренелыми неомарксистами, сторонниками «третьего пути», горячими поклонниками дела палестинского освобождения. Писатели без книг, философы без идей, политики без мировоззрения, они сделали моральную эластичность своей профессией, начисто выхолостив из памяти цели и пафос того самоотверженного движения, из которого вышли. Расценивая свои подлинные или мнимые заслуги перед оставленным отечеством не как вынужденную дань борьбе, а как чековую книжку на получателя, они используют в своих корыстных целях все трагические противоречия современного мира: национализм, антисемитизм, религии. Теперь не редкость, когда очередной эмигрантский вояжер последнего призыва прежде, чем дать кому-либо интервью о политзаключенных или правах человека, заложив ножку на ножку, деловито заявляет: «Деньги на бочку!»

И стыдно, и горько, и пакостно от всего этого на душе до невозможности. И поэтому вдвойне горше и обиднее, когда, в яростном кольце этого носорожьего фронта, оттуда, со стороны тех, кому привык верить и на кого

надеяться, вместо слов поддержки только и слышишь: не то, не так, не туда! Неужели и впрямь оттуда, из-за стены глушений и пограничных рогаток, виднее, что здесь «то», «так» и «туда»? Не естественнее ли было бы для нас с вами продолжать общаться, как бывало, на взаимном доверии и понимании с полуслова, с полувзгляда, с полунамека, а то и просто на расстоянии? Вы — там, мы — здесь. Ведь каждый из нас остался тем же, чем был на родине, со своими взлетами (если таковые были!) и падениями (если таковые имелись!), со всеми достоинствами и недостатками, только сделались мы намного печальнее и старше. Неправое дело, по недомыслию или злонамеренности, может совершить один, даже хорошо знакомый вам человек, в том числе и я, но рядом со мною стоят люди, которых, хочу надеяться, вы, как и прежде, любите: Иосиф Бродский, Володя Буковский, Толя Гладилин, Наташа Горбаневская, Эмма Коржавин, Эрик Неизвестный, Вика Некрасов, каждый со своим кругом связей и привязанностей. До последнего дня сопровождал всем нам и чистейшей души Саша Галич. Согласитесь, столько самых разнообразных людей не могут, сговорившись, делать одно неправое дело. Да, могут быть ошибки, срывы, невнятности, но в целом наше дело делается во имя тех же идеалов, какие объединяли нас с вами на родине. Ради этого мы живем, думаем, стараемся, в меру своих сил и разумения, работать, отбиваясь на четыре фронта от беспощадного носорожьего натиска. Насколько бы легче нам было в этом отчаянном единоборстве, если бы мы ощущали спиною вашу поддержку, хотя бы молчаливую. Окружение, за кольцом которого нет «своих», смертельно и для нас, и для вас. Если же вы есть, остались, ждете, то я уверен, мы в конце концов прорвемся друг к другу».

## 6

Рог к рогу. Ноздря к ноздре. Слюна с пеной — веером. Ломятся, каре на каре, смыкаясь в кольцо. И пяточок свободной от их топота земли, где стоит одинокий человек в свитере, который чудится мне белой тогой с малиновым подбоем, становится все крохотнее и теснее. Они обтекают его со всех сторон, кося кровавым глазом на обреченного чудака, не желающего им уступить. Вот вам наша рука, Эжен, мы вместе падем под их копытами, но все-таки не уступим. Мы хотим погибнуть людьми. Идущие на смерть приветствуют тебя!

Дорогу носорогам! Дорогу!



## ГЕРМАН ПЛИСЕЦКИЙ

### Стихи разных лет

#### Ружене

В отеле «Метрополе»,  
под мухой, в час ночной —  
чего мы намололи  
на мельнице ручной?

Всё помнить обреченный —  
припомнить не могу:  
чему же муж ученый  
учил нас в МГУ?

Всё помнить обреченный  
на долгие года —  
я помню кофе, черный,  
как прошлая среда.

Как черный день позора  
в отечестве квасном.  
Хлебнув его, не скоро  
уснешь спокойным сном.

Где ты теперь, пражанка?  
Услышу ль голос твой?  
Все глушит грохот танка  
по пражской мостовой.

Почетно быть солдатом  
в отечестве моем.  
Стоим мы с автоматом,  
всем прикурить даём.

Хотя и не просили  
курильщики огня...  
За то, что я России  
служу — прости меня!

### **Весна**

Ночное метро. Наверху непогода:  
туман красноватый клубится у входа,  
и в мокром асфальте, как в крышке рояля —  
огни, окружившие площадь роями.  
Оттуда — капроны в подтеках и крапах,  
и влажного драпа щекочущий запах.

А мраморный мир безмятежен и светел,  
и залы ночные как будто просторней.  
Подолы рванет субтропический ветер,  
и шаром прокатится гром по платформе.  
И вспомнит весну полированный камень  
под нашими грязными башмаками.

Ночное метро — пассажиры ночные,  
вагоны шатаются, будто хмельные.  
Оттуда, где были — в кино, вероятно,  
в гостях, вероятно — обратно, обратно...  
На лицах усталость и тяжесть в ресницах,  
но пахнут весной мимозы в петлицах.

Я помню всегда: мы живем не в романах,  
ключи от квартир мы таскаем в карманах,  
теряли мы голову — их не теряли,  
тактично брэнчали они: не пора ли?  
Но нас наверху стережет непогода,  
парные озера дымятся у входа,  
сугробы чернеют, перегорая,  
настоены скверы на запахах талых,  
и бродят автобусы, подбирая  
совсем охмелевших, совсем запоздалых...

\* \* \*

Ты умерла — и дом снесён,  
одноэтажный дом на Бронной,  
старинный дом, цельнооконный,  
Екатерининских времен.

И вот стою через года  
в том незастроенном квартале,  
стою, стараюсь угадать:  
где стол, а где тахта стояли?

Я — тоже призрак. И во мгле  
мерещатся душе стесненной —  
и те бутылки на столе,  
и ты на той тахте снесенной...

\* \* \*

Я просыпаюсь посреди  
полночных перегонов  
с провалом карстовым в груди  
и с дрожью перепонок.

Там города лежат в ночи  
в ознобе телеграфном.  
Простуженные москвичи  
закутывают шею шарфом.  
Там женщины в дождевиках  
стоят с синицами в руках.

Там счастье, детство и Москва,  
разорванные в клочья,  
вся всероссийская тоска,  
нахлынувшая ночью.

И женщины, и фонари,  
и города, и ливни —  
все обрывается внутри,  
как в падающем лифте.  
Как будто, сотрясая мозг,  
грохочет бесконечный мост...

## ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

### Двор

Проспект Мира, 41. Обыкновенный день. Утро.

Нинка украла у матери дорогую брошку и выменяла на поллитра.

Ее брат Николай пригнал огромную машину-грузовик. Ему парк, где он работает шофером, разрешил стоянку во дворе по причине его болезни: он пьяница.

Сварщики с соседнего завода попытались продать мне вынесенный с родного государственного предприятия тяжеленный сварочный аппарат. Не продав, они, чтоб далеко не ходить, бросили его тут же, у меня на дворе, и начали кланчить пять рублей. Убедившись, что у меня их нет, они попросили бутылки, стоявшие у окна, в надежде сдать их, получить деньги и опохмелиться.

Бутылки, бутылочки, пузырьки, шкалики, мерзавчики, баночки, сосульки... Московский двор начинает свою жизнь с мыслью о бутылке. Граждане и товарищи ищут деньги, чтобы опохмелиться. Без привычной утренней дозы алкоголя нельзя — невозможно трясущимися руками начать работать. Двор умирал от жажды — его томил похмельный синдром. Этот синдром породил массу историй — забавных и трагических. Собственно, вся история двора и вся биография его обитателей покоилась на событиях, связанных с опьянением или мучительным желанием опохмелиться. Все разговоры вертелись только вокруг бутылки. Время сплющилось и остановилось в алко-гольном бреду: не было ни «вчера», ни «завтра», а было только — «сперва взяли банку на троих...

«...Смеху полные штаны, я ему и говорю, а он мне — молоко на губах не обсохло...

...Нинка, впрочем, тоже стерва — тихонькая, а как где — она тут, а как у самой — днем с огнем не найдешь... ..Бог с ней...

...живем снова...

...нет, брат, нет, брат, некультурно: отойди и блюй культурно, имей понятие, а то — на людей: культура, бля...

...у нас завсегда так...

...далеко еще, братцы, до коммунизма...

...ты меня уважаешь — я тебя уважаю...

...они — нас, я — его, мы тебя — ты нас...

...какая свадьба без стакана, какой еврей без жигулей, какая пьянка без Ивана, какой Иван без п...ей...

...эх, летали, как голуби, смеялись, аж ус...лись — ну хватит, робя, сачковать, на работу пора...»

И я, со своими своеобразными интересами был погружен в размягченное, не доброе и не злое, а полудиотическое общество улицы, где находилась моя мастерская. Не окраина и не трущоба — всего восемь минут от Кремля.

Я пытался создать непроницаемость, отдельность, своего рода батисферу, но это было возможно только внутри себя самого. Я нуждался во многом — бронза, гвозди, доски, гипс, глина, камень и т. д., и т. п. Многие годы я — отторгнутый от официальных заказов скульптор — не имел возможности получать это у государства, единственного хозяина всех этих благ. Поэтому я был потенциальным покупателем неофициального рынка, — и я стал центром притяжения и жертвой похмельных интриг, и поэтому вся алчущая масса населения тащила к моим ногам все, что могла, — большей частью ненужные мне предметы и механизмы.

Чего только ни предлагало в обмен на бутылку население, состоявшее вовсе не из уголовников, а из рабочих и служащих, не имевших возможности на свою скудную зарплату удовлетворить жажду и поэтому тянувшее из предприятий и контор все, что возможно! Мне предлагали женские дефицитные лифчики и трусы; чешские магнитофонные пленки; мясной фарш для пирожков; сложные электронные механизмы; ручного зайца; японские презервативы с усиками; лодочные моторы; золотую фольгу, украденную реставраторами кремлевских церквей; полуботинки хорошей кожи без подметок; ремни без пряжек и пряжки без ремней; дефицитный растворимый кофе; электронные лампы для телевизоров; иконы; типографский шрифт; драгоценный металл гарт; целлофановую пленку; туалетную бумагу; треножники для киноаппаратуры; значки, предназначенные только для иностранцев; всяческую рухлядь, украденную из дому: занавески, табуретки, этажерки, дамские чулки, платки, фотоаппараты, золотые монеты, корень женьшень, морфий из аптек, шприцы, бинты, йод — и все за бутылку...

Иногда — бутылку дорогого и, видимо, краденого коньяку в обмен на большее количество водки. Причем интересно, что незадачливые купцы могли часами уговаривать меня купить ненужный мне товар, но мое предложение чем-либо помочь мне и за то же время заработать больше, чем выторговал бы, воспринималось как оскорбление, и умирающий от жажды купец, не жалея ни своего, ни моего времени, вместо того, чтобы за двадцать минут заработать нужную на бутылку сумму, будет час тебя уговаривать, что тебе остро, жизненно необходимы, скажем, консервные ножи в количестве шестидесяти штук.

Доходило до рукопашной, очень часто назойливых купцов приходилось выбрасывать за дверь, но — увы! — все это снова лезло в окно. Обитатели двора поняли, что есть моменты, когда я не могу сопротивляться и отказать.

Увидят, например, иностранную машину — значит, важный гость, ну и ломиться в дверь с шумом и грохотом: «Эрнст, дай на бутылку!» Ну и откупаешься, дашь, — а что же делать? Ведь иностранец не поймет, если перед его глазами кому-нибудь морду начнешь бить! Сколько выдумки, сколько бесстрашия, сколько остроумия и нелепости порождает желание немедленно заполучить бутылочку—именно немедленно, а не через час, не через полчаса — сейчас, сию секунду; как говорится, вынь да положь!

Женька по пьянке прижал знакомую девчонку в телефонной будке и снял с бедняги часы, — ясно, не затем, чтобы следить за быстротекущим временем, а выменять их на бутылку. К сожалению, он так и не успел совершить товарообмен и выпить, потому что через десять шагов его остановил милиционер, прибежавший на вопли девчонки. Не опохмелившийся Женька, как говорят, отделался легким испугом: получил всего три года, но во дворе все уверены, что он освободится досрочно, да и в лагере Женька не пропадет — он хороший слесарь, так что и в лагере насчет бутылки все будет в порядке: там начальству хорошие работники очень даже нужны, потому что начальство там на свою бутылку имеет именно с них.

Вот приходит пенсионер и приносит тюк копировальной бумаги и канцелярских скрепок — все это для хорошей канцелярии на год работы, и все это за бутылку. А если поторговаться — продаст и за рубль. У меня нет пишущей машинки, и мне нечего скреплять, но мне жаль старика, и я предлагаю ему сделку: если он уйдет сейчас же со своим товаром и перестанет мне надоедать, я дам ему три рубля. Он согласен, но ему хочется срочно выпить, поэтому он просит о любезности: пусть товар полежит у меня, а потом он его заберет. Бросив огромный тюк, загромоздивший мне прихожую, он уж потом не стал утруждать себя и тюк не забрал, пришлось его выбросить на помойку. Бедный он бедный — жена его работает в канцелярии, а там, кроме канцелярских принадлежностей, украсть нечего, вот она ежедневно и таскает домой копировальную бумагу и скрепки, чтобы откупаться от мужа, но, увы, это неходовой товар!

И действительно, все говорят, что «Сергеичу с женой не повезло», у других-то товар куда более ходовой! Например, одно время очень процветал негодянт, выносивший с государственного предприятия вкуснейшее варенье. Но дела его несколько испортились после того, как он по пьянке и благодушию выдал тайну транспортировки: оказывается, он сшил себе целлофановые кальсоны с завязками внизу, так что варенье, залитое внутрь кальсон на ноги и на интимные, скрытые от взоров охраны места, не вытекало. Многие, в том числе и я, по причине излишней брезгливости перестали покупать у него товар, а многие — нет, ели так...

За окном мастерской шум. Это сыновья моего помощника, милого и непьющего инженера, опять объявили войну своей престарелой и больной мамаше. Два обалдуя по 35 — 38 лет вынесли ее во двор, на снег, на матрасе и голую держат в одной рубашке, требуя, чтобы старуха выдала бутылку порвейна, где-то от них спрятанную. Соседи не вмешиваются, боясь огромных

бугаев, я тоже — потому что понял: это бесполезно. Я уже как-то вызывал милицию, но, как только наряд приезжает, мамаша отрицает, что избита сыновьями, — боится их посадить. Впрочем, зря старуха боится: между всей этой публикой и столь же жаждущей бутылки милицией есть некое взаимопонимание, даже сговор. Но это уже другой разговор.

Но посмотрите, посмотрите! — сегодня стойкая и упрямая старуха победила мощных сыновей исключительно силой своего духа: несмотря на температуру и пытки, учиненные сыновьями, не сдалась; и прильнувшие к окнам болельщики увидели, как угнетенные неудачей и усталые обалдуи, которым надоело трудиться безрезультатно, бросили мамашу посреди двора и пошли, ссутулясь, искать счастья в другом месте.

Двор провожал их взглядом, в котором было двойное чувство: их жалели, так как вполне понимали, как трудно им с похмелья, но вместе с тем жалко было и избитую мамашу. Правда, некоторые — в основном, мужчины — говорили: «Ну что упрямится старая? Все равно налижуются в другом месте. Отдала бы — и дело с концом, жалко ей, что ли, бутылки?»

О бутылка, бутылка — символ жизни, вокруг которого крутится всё, о бутылка — мера всего: это стоит столько-то бутылок, а это — столько-то... Как возненавидел бы двор какого-нибудь арабского шейха, если бы узнал, сколько он может купить бутылок за продаваемую им нефть! К сожалению, нефть в чистом виде, как известно, пить нельзя.

Вот ватага рабочих, ломавших соседний дом, обнаружила в подвале огромную бутылку чего-то — но чего? И как к местному интеллигенту, да к тому же еще пьющему, ко мне двинулась делегация, чтобы я их облагодетельствовал и определил — можно это пить или нельзя. Но, хоть у меня и высшее образование, хоть я и попиваю иногда, этого сказать я им все-таки не мог и посоветовал обратиться в аптеку. Но был найден гораздо более простой и совершенный способ: пошли к пивнушке и нашли добровольца, обладавшего смелостью камикадзе, прямо и честно все ему рассказали и предложили продегустировать, пообещав, что если он от первой не умрет, то разделит общую пьянку до конца, наравне со всей компанией. Сказано — сделано. Прямо перед окнами моей мастерской расположилась алчущая ватага во главе со смелым дегустатором, хватившим залпом стакан подозрительной жидкости, пахнувшей, однако же, вкусно — спиртом. Нетерпеливые собутыльники с радостью констатировали, что немедленной смерти не последовало, и выпитое, что называется, «прижилось» или «легло на кристалл». Просто и весело.

Чего только не пили в этом дворе! И денатурат под названием «Голубой огонек», и политуру, в которую бросали соль, чтобы самое клейкое ушло на дно; и тройной одеколон, и зубную пасту, разведенную с водой, и валерьянку, и зубной эликсир невкусного фиолетового цвета, — и ничего, сходило. Правда, не всегда.

На тех же ящиках перед моим окном умерли два человека, опохмелившиеся чем-то, не очень полезным для здоровья, и весь двор обсуждал, почему Петька погиб сразу, а повар, Петькин друг, не из нашего двора — из

соседнего, еще несколько часов мучился. И пришли к выводу, что повар как-никак всегда ест и поэтому в желудке есть что-то, что помешало его сразу сжечь, а бедняга Петька, в общем, ничего не жрет, а когда пьет — то и вовсе, поэтому жидкость «вытекла сразу через живот».

То же случилось и со стариком Зубаниным, отцом моего форматора Сергея Зубанина. Выпить у них, правда, было что, но старик попутал с похмелья бутылку, — да прямо из горлышка, да такого крепкого препарата, что как в глотку попало, так и ахнуть не успел — вылилось снизу наружу и потекло по полу.

Много, чересчур много можно рассказать по этому поводу. Вот так же погиб брат Зубанина, но не оттого, что выпил плохого, а просто, выпив, разгорячился и похвастался, что поднимет столько, сколько и десяти человекам не под силу (был он грузчиком). Взвалили на него — ну, его и раздавило.

Ох, много можно рассказать на эту тему! И все это было — проспект Мира, 41, строение 4.

Мои соотечественники знают, что я не говорю ни слова лжи, — и с ними такое бывало, а если не с ними, то с их знакомыми, а уж недоверчивый иностранец если не верит, пусть попросит своих корреспондентов сходить по этому адресу и спросить, было ли все это или не было, и как там сынки Владимира Петрова живут, и что с Нинкой и ее братом, шофером Колькой, и что произошло с группой моих друзей-сварщиков во главе с бригадиром Папаней, принимавшей с утра, как обязательный школьный завтрак, по семьсот грамм портвейна на нос, — им еще и не такое расскажут. И, возможно, расскажут о двух старухах — удивительную русскую сказку...

О том, как жили-были две сестры. Обе пенсионерки. Одна — парализованная, а другая относительно бодрая. И вот эта, другая, — относительно бодрая — хозяйничала, ходила за пенсией, в магазины, а другая по причине паралича лежала неподвижно. Жили они нелюдимо, к ним никто не ходил — смысла не было, ясно, что на опохмелку они все равно не дадут.

Жили они не тужили на своих пяти метрах и забыли уж, когда подали заявление на очередь на квартиру. Неожиданно привалило им счастье — дали им квартиру, которой они тридцать лет ждали. Но старухи заартачились, по каким-то соображениям не захотели уезжать. И инспектора к себе та, подвижная, не пускала — под предлогом, чтобы не беспокоили ее парализованную сестру. Дом опустел, уже выбили стекла в соседних квартирах, уже начали отключать газ и электричество, а старухи все не съезжают. Воинственная ходячая так просто и сказала: расцарапаю лицо, кто войдет на нашу территорию — хошь дворнику, хошь милиционеру.

Но в конце концов пришло время сносить дом, и тогда, несмотря на вопли старухи, ворвались все-таки туда милиционер и дворник с одним еще очень важным гражданином из райсовета. Запах больно нехороший был в комнате, не проветривалось, видно, тридцать лет — ровно столько, сколько квартиры ждали. Не проветривали — думали, наверное: вот новую получим — надышимся.



Но оказалось — дело не в этом. Оказалось, что на постели уже много лет лежала иссохшая мумия. Оказалось, что ходячая сестра, как умерла ее родимая, боясь лишиться пенсии на двоих, мумифицировала ее и много лет проспала с ней рядом. Удивительна научная хватка этой старухи: до сих пор ученые гадают тайну мумификации; говорят, что и Ленин-то — не мумия, а кукла, а вот у ней не сгнила сестренка! И удивительна выдержка этой старухи — жить с трупом, спать с трупом столько лет!..

Даже меня — привычного, тертого — эта история несколько подкосила. Завидууй, Хичкок!

Но обитатели двора отнеслись к делу просто: на пенсию-то одну не проживешь — помрешь, так что же лучше — с трупом жить или самой мертвой быть? Вот так-то... Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет..

*1979, № 21*

## ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

### Два стихотворения

\* \* \*

Поднял крыло ли, плавник  
ангел на парусе свода.  
Крепок апрельский ледник  
восьмидесятого года.

#### 1

...Этот довесок зимы,  
снег в середине апреля,  
призрак пятнистый тюрьмы  
вместо стакана с похмеля  
и черноклювый галдеж.

Ежишься и унимаешь  
рук рябоватую дрожь,  
— черт побери, понимаешь!  
ветхий крепя ремешок  
тусклых часов на запястье  
и залезая в мешок  
демисезонного счастья.

Город багров от цитат.  
Жалобны почки бульвара.  
И подпирает Арбат  
с тылу сивушная тара.

Жизнь мою, что впереди,  
на перекрученной нити  
с теплым крестом на груди,  
хочется — нате, берите.

## 2

Ты — а чуть дальше — апрель,  
больше на полюс похожий.  
То закружится метель,  
то на ледок толстокожий  
сядет до времени грач,  
поторопившись маленько.  
Даром, что я бородач,  
а все равно холодненько.

...Серые складки легки  
американского платья.  
Цепкую нежность руки  
снова мечтал бы узнать я.

Но почему-то, мой друг,  
за темной занавесок  
все мне мерещится вдруг  
аэродромный подлесок,  
где у последней черты  
прыгает боинг на кочках.  
Скоро уедешь и ты  
в сером с сережками в мочках.

Жизнь мою, что впереди,  
на перекрученной нити  
с теплым крестом на груди,  
хочется — нате, берите.

*1981, № 27*

# РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ



ГЕРМАН АНДРЕЕВ

## Заметки о традициях русского либерализма

*К спорам об исторических судьбах России*

### I

В спорах, где участники обсуждают гуманитарные проблемы и оперируют терминами из обществоведческого вокабуляра, характерна ситуация, при которой каждый из спорящих ведет свою линию, игнорируя систему доводов оппонента. Причина тому не неумение слушать, но — что гораздо существеннее — кардинальное различие постулатов спорящих.

Человеческому сознанию свойственно выбирать из обилия фактов бытия те, которые удобно ложатся на сформированные понятия, представления, суждения, личный жизненный опыт. А действительность может подкинуть факты, подтверждающие любой тезис и любой контртезис.

Такие возможности предоставляет и многообразнейшая, сложнейшая и многоцветная история России. И вполне естественно, что историк или публицист делает вытяжку, выстраивает факты в соответствии со сложившимися у него впечатлениями о тенденциях русской истории.

Утверждение, что история России всегда определялась и определяется комплексом Ивана Грозного, может быть доказано столь же ловко, как и противоположное: манера управления страной, свойственная Ивану Грозному, — досадное недоразумение, не выразившее ни существа русской истории, ни характера русского человека. Можно черпать пригоршни фактов, чтобы «лить воду на мельницу» и той, и другой концепции. И в обоих случаях никак нельзя говорить о манипуляции фактами истории: история сама так собой манипулирует, что переплунуть ее в этом отношении невозможно одному человеку. Историк, свободный или высвободившийся от веры в какую-либо единственно правильную историческую концепцию, не должен был бы впадать в истерику при знакомстве с неприемлемой для него картиной истории России, нарисованной коллегой. Следовало бы признать запрещенным прием, столь часто используемый носителями «единственно правильной научной теории»: обвинение оппонента в служении то ли шкурным целям, то ли враждебным разведкам. [...]

Настаивание на истинности лишь своего знания и своего понимания вытекает обычно из веры в существование некоей объективной истины.

Разумеется, такая истина существует, только знать ее не дано ни одному человеку в отдельности и ни одной группе людей. В сущности, объективная истина — это Бог, не дано нам знать Бога и не дано нам знать то, что знает Он. Объективное знание слагается из миллиардов правд. На уровне бытовых и сиюминутных — как правило, эмоционально взвинченных — споров каждый человек, естественно, верит, что он, только он прав, а все остальные или подлецы, или жулики, или дураки. В науке же (здесь имеется в виду так называемая гуманитарная наука) без признания множественности истин можно прийти лишь к вселенскому мордобою, но не к цели — движению в направлении объективной истины.

Автор не оговорился, кажется, употребив понятия «движение к цели» и «цель» как синонимы. В гуманитарной науке цель и есть безостановочное движение к ней в полном сознании того, что к самой истине ты не придешь, однако без твоего вклада в искания не будет и движения, так же как в том случае, если ты помешаешь кому-то другому раскрыть себя как носителя определенной, субъективной истины, ты становишься поперек пути, по которому человечество движется к познанию полной картины бытия. [...] Исторические системы Гегеля, Маркса, Тойнби имеют такое же право на существование, как и системы, их опровергающие. Они не имеют лишь права на то, на что особенно претендуют: на абсолютность, единственность, универсальность.

В. О. Ключевский вообще утверждал, что «закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности». Вероятно, утверждая это, Ключевский не столько отрицал наличие самой исторической закономерности, сколько высказывал соображение о людях, духовно ограниченных горизонтами своих представлений, своих постулатов и настаивающих на единственности и абсолютности этих своих представлений. Не случайно Ключевский считал лучшими историками России ее писателей — Пушкина, Тургенева, Толстого: *«Желал бы я видеть смельчака-историка... который решил бы обойтись без Тургенева, Достоевского и т. д. не в главе о литературе, а в отделе об общественных типах»*, — писал он в письме к А. Ф. Кони.

Читая художественные описания исторической эпохи, мы почему-то не обвиняем писателя в непонимании истории, если он изображает нечто расходящееся с нашими представлениями об этой эпохе, а говорим: он так видел, — и ценим его как раз за субъективность, естественно шарахаясь от партийной объективности писателя социалистического реализма. Следовало бы и к историку относиться так же, сознавая ценность его субъективных наблюдений, — разумеется, с презумпцией его честного обращения с фактами.

Когда в сегодняшней полемике об исторических судьбах России одна партия утверждает, что вся история России — история народа-богоносца, нашедшего органичные ему формы религии и государственности, а другая партия (которую первая называет русофобами) видит в истории России лишь рабство и жестокость, каждая из них правильно описывает одну или другую ногу слона, но не всего слона.

Естественно, что «русофобы» могут заподозрить «русофилов» в равнодушии к страданиям простого русского человека, прикрытом любовью к России вообще. Но так же естественно изобличить «русофобов» в большем или меньшем безразличии к России, которая и доброго-то слова не стоит.

Думается, от всех этих взаимных подозрений следует отказаться, согласившись с тем, что историк, рисуя свою историю России, не выдумывает ее, а выстраивает факты в соответствии с образом ее, накладываемым на его, историка, жизненный опыт, на его мировоззрение, на его восприятие сегодняшнего дня России.

## II

Излагаемые в этой статье соображения о путях развития России ни в коем случае не претендуют на системность или тем более универсальность. Автор лишь настаивает на том, что он фактов не выдумывает, что он искренен и не намерен «лить воду на мельницу классового врага».

На территории бывшей России возникло тоталитарное государство — СССР. Но Россия — существует. Если бы она не существовала, вряд ли стоило бы огород городить и спорить о могильщиках, похоронивших дорогое существо. А огород городить стоит: как верно сказал Белинский, мы вопрошаем историю, чтобы выискать в ней пророчество будущего.

Если согласиться с тем, что в СССР установлена тоталитарная система и что тоталитаризм в любой его форме не может быть благом ни для нации вообще, ни для ее отдельного представителя, то естественно стремление понять, что такое тоталитаризм, каковы причины его возникновения и насколько неизбежно было его торжество в России.

Тотальные отношения существуют между человеком и каким-либо явлением или другим человеком не только в тоталитарном государстве. В сущности, каждый человек всегда или в каких-нибудь ситуациях ставит себя в отношении тотального подчинения чему-либо или кому-либо. Тотальное подчинение, согласно Фромму и В. Зубову, возникает из сознания малочности своей личности в сравнении с великоценностью другой личности, группы личностей или какого-нибудь (часто мифологизированного) явления. Таким явлением может быть семья, искусство, наука, государство, партия, нация. Человек, придя к выводу, что его личность, с заложенной в ней потребностью свободы суждения и свободы действия, менее ценна, чем нечто иное, более ценное (более мудрое, более нравственное, более истинное, более сильное и т. п.), отдает себя на служение, а подчас и в жертву этому более ценному, назовем его тотальным объектом. Всю свою жизнь человек чему-то или кому-то служит. Даже если он служит своим похотям, он тем самым отдает им в жертву свою личность, свою свободу. Так что нет и не может быть абсолютной свободы. Отстаивание истинности лишь своего тотального объекта — источник человеческих конфликтов, трагедий.

Исходя из такого представления о свободе и зависимости, можно разделить типы государства на тоталитарные и нетоталитарные. Нетоталитарное

государство основано на признании множественности тотальных объектов и задачу свою видит в смягчении остроты конфликтов между людьми, ориентированными на различные тотальные объекты, в установлении максимально возможной гармонии интересов. В нетоталитарном государстве человеку предоставлены широкие возможности выбора несвободы, оно гарантирует плюрализм отказа от свободы. Тоталитарное же государство в целях установления порядка и смягчения конфликтов из-за множественности тотальных объектов создает один-единственный легальный тотальный объект, объявляя все остальные подлежащими развенчанию, служителей их — уничтожению или «перевоспитанию». Тоталитарное государство разрешает поклонение лишь одному кумиру, в пользу которого человек должен отказаться от своей свободы. Этот кумир объявляется единственно великоценным, все остальные — малоценными. Таким образом, в тоталитарном государстве уничтожена свобода отказа от несвободы. Гражданин такого государства, согласившись с навязываемой ему абсолютистской формой одного из многих кумиров, перестает быть человеком в полном смысле этого слова и становится орудием в руках манипуляторов тоталитарными мифологизированными объектами, лишаясь права выбора несвободы для себя, выбора тотального объекта, которому он хочет служить и именно в такой форме и в такой степени.

Любая государственная форма несет в себе опасность искушения тоталитаризмом для руководителей страны. Всегда было два типа вождей — такие, которые считали, что тоталитарное государство легче в управлении, и такие, которые предпочитали нетоталитарную форму руководства. Сомнительно, чтобы государственная форма тут играла решающую роль. Тоталитарно и нетоталитарно могут править и наследственный монарх и избранный канцлер или президент. Сомнительно также, чтобы тоталитарные или нетоталитарные государства были органичны каким-нибудь народам: утверждение, что русские (или китайцы) любят рабство, столь же несообразно, как и вера в то, что англичане или французы гарантированы от тоталитаризма. Не так-то легко и доказать, что определенные экономические системы с неизбежностью вызывают тоталитаризм или, наоборот, полностью его исключают, хотя право распоряжаться всем богатством страны, сосредоточенное в руках или одного человека, или одной партии, или одной религии, почти стопроцентно ведет к тоталитаризму. И уже совсем неверным кажется учение об извечном прогрессе от несвободы к свободе, от тоталитарных форм к нетоталитарным.

Все эти соображения и определяют подход автора предлагаемых замечаний к истории России. Он полагает, что критерий оценки истории страны в целом или отдельных ее периодов — это уровень свободы личности (ее права на выбор несвободы), а также уровень народного благосостояния (все же, помимо принуждения властей, существует принуждение бедности, когда человек начинает служить даже чуждому ему тотальному объекту просто для того, чтобы физически выжить). Весьма существенно также, какова

цена человеческой жизни, ибо о какой гарантии свободы и благосостояния может идти речь в государстве, в котором лишение человека жизни или здоровья по приговору государственной власти узаконено или предполагается естественным!

И вот, под таким углом зрения раздумывая над страницами истории, приходишь к выводам, опровергающим, кажется, всякие крупноблочные исторические построения.

Киевский князь св. Владимир, приняв христианство, осуществлял в прямом смысле заповедь «не убий!»: он запретил казнить даже татей, разбойников, а Иван Грозный через шестьсот и Сталин через тысячу лет казнили вообще невинных людей, руководствуясь соображениями о благе государства. О каком прогрессе истории можно говорить, если князь, правивший в X веке, был гуманно развитее, чем владыки XVI и XX веков?

Дочь Петра I Елизавета отменила в России смертную казнь более двухсот лет тому назад, а французские парламентарии сегодня, во второй половине XX века дискутируют о том, следует ли отправить гильотину в музей, и многие из них склоняются к тому, что все же не следует. Можно ли говорить о врожденном варварстве русских и гуманности европейцев как чуть ли не о неопровержимом законе исторического развития?

История Европы свидетельствует, что борьба против притязаний государства и прочих общностей (национальных, религиозных) на права личности была характерна для всех стран этого континента и шла с переменным успехом: когда гуманизм, персонализм брал верх в сознании и юридических порядках одних стран, он терпел жестокие поражения в других. Иногда же цена человеческой личности одновременно падала на востоке и западе Европы. В ночь с 23 на 24 августа 1572 года в Париже было зарезано около тридцати тысяч его жителей, исповедовавших неугодную власти религию («Варфоломеевская ночь»). И сделала это не шайка разбойников, а французская армия по приказу Екатерины Медичи, правительницы страны. И западный мир не только не осудил это преступление, но и в лице своего духовного владыки папы Римского воздал хвалу убийцам. В это же время в «дикой Московии» полубезумный царь Иван Грозный нападает на русский город Новгород и вырезает его население: в течение 6 недель ежедневно, как сообщают исторические источники, гибло по несколько сот человек. Но пастырь Русской православной церкви митрополит Филипп публично, перед всем народом, в Успенском соборе обличил преступника, за что и был задушен его клеветами.

Проходит три века, и 6 апреля 1857 года на парижской площади происходит «спектакль» публичной казни. Разодетая публика с детьми наслаждается захватывающим зрелищем, а в толпе зрителей — русский путешественник Лев Толстой. В тот же день он записывает у себя в дневнике: «...поехал смотреть экзекуцию. Толстая здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица». Сравнение не в пользу западной части Европы: русское представление о человеке, его ценности, о Боге, о праве



государства на убийство человека явно перегнало представление европейское: в России не только публичных, но и вообще никаких смертных казней в это время нет. [...]

И как бы хотелось сделать вывод маслом по сердцу русских патриотов: вот-де какая Россия была гуманная страна в сравнении с варварским Западом. Но неутешительную картину дают факты русской истории, русской литературы. Толстой, Тургенев, Достоевский свидетельствуют об истязаниях крестьян и солдат, о затравленном по приказанию русского генерала ребенке. А голоса противников насилия, защитников достоинства и свободы человеческой личности слышны были и из Западной Европы.

Много еще фактов можно привести из истории, которые настойчиво толкают к мысли: не было истории варварской, тоталитарной России и свободной, гуманной, демократической Западной Европы, а была одна нераздельная история европейского континента, в странах которого на протяжении по крайней мере последней тысячи лет шла борьба двух тенденций — тоталитарной и либеральной. Первая определялась отношением к человеку как частице, элементу, «колесику и винтику» государственного, хозяйственного, национального, конфессионального механизма; вторая выдвигала человека на первое место, а всякие общности — на второе, как бы почтительно представители этой тенденции ни относились к некоторым из этих общностей. Государственники отдавали человека в жертву субботе, а либералы настаивали: «Суббота для человека, а не человек для субботы».

Сравнивая историю Западной Европы с историей России с точки зрения развития этих двух тенденций, трудно согласиться как с крайними западниками, так и с крайними славянофилами. И те, и другие отделяли Россию от Европы. Первые говорили: надо взять у Запада его формы жизни, ибо наши, русские, никуда не годятся. Славянофилы же говорили (и говорят): не нужны нам западные формы, у России «собственная статья». Хотя то, что «у России собственная статья», — бесспорно, но собственная статья есть и у Англии, и у Норвегии, и у Швейцарии (что, однако, не мешает нашим славянофилам валить в кучу все эти страны, называя их общим словом «Запад»). Россия имела своеобразную историю, отличающуюся от истории, скажем, Англии, но и история Франции серьезнейшим образом отличалась от истории Германии и Швеции. Средневековое варварство в 30-40-е годы XX века торжествовало не только на востоке Европы, но в самом ее центре, в стране, которая может справедливо похвастаться Кантом и Швейцером. И произвести его из немецкого духа так же легко и так же трудно, как советское массовое уничтожение людей в тех же годах — из русского духа.

Большевизм — плод развития европейских идей на почве европейской страны России, и Бердяев так же принадлежит Европе, как Ясперс, а в персоналистических понятиях современного западноевропейского человека мы обнаруживаем элементы, которые развивались в русской общественной мысли, может быть, с самого X века. Марксистско-ленинское тоталитарное учение — в такой же степени европейское, как и изобретенные Нечаевым и

Бакуниным, типично русскими людьми, и подхваченные Баадером и Майнхофом, типичными немцами, идеи уничтожения индивидуализма во имя общенародных задач; в то время как кантовский категорический императив и отказ героя русского романа войти в светлое царство гармонии за счет слезинки хотя бы одного ребенка тоже вышли из одного географического и культурно-религиозного источника — Европы. Такая общность западноевропейской и русской истории — явления не только последних двух веков, но всего тысячелетия со времен принятия Русью православия, хотя и пришедшего через Восточную Римскую империю, но имеющего тот же, общий с верой Западной Европы источник — учение Христа.

О соотношении России и Западной Европы следовало бы говорить, исходя именно из общности религии, а не из позитивистских соображений, столь сильно повлиявших, например, на концепцию Н. Я. Данилевского. Христианство с его утверждением свободы личности как величайшего дара Божия определяло развитие и русского, и европейского сознаний: борьба за примат личностного над государственным началом, вообще над социумом, шла между христианским мышлением, с одной стороны, и русской и европейской властью, с другой. Подчиняли себе личность христианские власти, не воспринявшие христианство как религию свободы, и европейские атеисты, для которых не Бог, а политизированный человек — последняя нравственная инстанция.

Христианская культура как в ее внешних формах, так и в сущностном содержании начиная с X века одинаково игнорировалась и одинаково проявлялась и в Западной Европе, и на Руси. Да и российская государственность имеет европейский источник — она создавалась норманнами, варягами, причем сразу же имела целью защиту Европы от Азии, от половцев и печенегов, а позже — от татаро-монголов. (Кстати, не нужно обижаться на норманнскую теорию происхождения русской государственности: норманнов, «варягов», звало к себе и население нынешней Англии — был приглашен на правление датский вождь Кнут Великий, — и король французов Лотар.)

Соловьев пишет, что с конца XIV века татар «пересиливает Европа в лице России». Ключевский называет Русь восточным берегом Европы, за которым простирается Азия. Русь была не просто, так сказать, военным бастионом Запада, она была и районом его культуры со всеми ее плюсами и минусами. Погодин говорит, что русское и европейское просвещение являются необходимыми частями одного целого. Уже двор св. Владимира, а затем и Киев во время правления Ярослава Мудрого были типично европейскими. При княжеском дворе Владимира говорили на западноевропейских языках, читали европейские книги. Посетивший в XV веке Новгород ректор Краковского университета, сравнивая Рим с Новгородом, отдает предпочтение последнему. Но дело не во внешнем блеске. Вероятно, Русь не отставала и от научного развития Западной Европы, если, например, в Болонье в 1460 году русский был избран ректором университета. Западноевропейские короли брали себе в жены русских княжон не только по политическим соображе-

ниям: русские женщины соответствовали западноевропейским представлениям об обаянии, образовании, интеллекте, — одна из дочерей Ярослава Елизавета была замужем за королем Норвегии Гарольдом Строгим, другая — Анна — за Генрихом I Французским, а внучка Ярослава Евпраксия была женой германского императора Генриха V. И, наоборот, когда Россией правила немка Екатерина, мало кому в голову приходило видеть в «матушке» что-то совсем чужеродное, и она вошла в историю России как типично русская правительница. Чем более одерживали в России верх общеевропейские представления, тем лучше жилось русским как в духовном, так и в материальном смысле. Еще В. В. Голицын звал Германию и Венецию к союзу, и он же первым из русских правителей выдвинул идею освобождения крестьян с землей за 200 лет до крестьянской реформы. При нем Россия процветала, и нет оснований смеяться над ним из-за его военных неудач: благо народа не в военных победах. Вообще в XVII веке в России мысли о благе личности высказывались весьма часто и репрезентативно. Крупнейший европейский дипломат А. Ордын-Нашокин выступал с призывом гуманно относиться к гражданам захватываемых территорий; боярин Ртищев выдвинул идеи помощи раненым, которые оформились лишь через два века в деятельности основателя Красного Креста Дюнаня. Разумеется, в том же XVII веке можно найти в истории России множество примеров обскурантизма, жестокости, даже зверства, но таких примеров не меньше и в истории другой части Европы, ибо христианство, распространявшееся в качестве государственной религии по всей Европе, лежало лишь на поверхности сознания и никогда не определяло ни повседневного, ни политического ее быта.

Однако если обратиться к «русскому духу», выражаемому в произведениях русской литературы и искусства, то идеи гуманизма, человечности господствуют в них не в меньшей, а может быть, в большей степени, чем в произведениях западноевропейских. Русскому эпосу, например, и русской летописи менее, чем германскому и французскому, свойственно прославление культа силы. Летописец, описывавший бой Мстислава с касожским (азиатским) князем Редедей, исходит из европейских представлений о герое: русский боец прославляется не за голую силу, а за ум, веру, смекалку. А «Слово о полку Игореве» дает поразительный для европейской средневековой литературы тип мышления: автор осуждает государственников, забившихся о престиже земли, но пренебрегших судьбами оратаев и простых женщин.

Множество исторических случайностей приводило к тому, что мышление на высоком литературно-художественном уровне не влияло на жизнь русских людей столь непосредственно, как на жизнь западноевропейского человека: между мыслью и жизненной, политической практикой примерно до середины XIX века в России была большая пропасть, чем в Западной Европе. Однако русская персоналистическая идея была так сильна, что не только русский Белинский верил в то, что Россия в XX веке будет стоять во главе гуманистической Европы, но и немец Шеллинг, писавший в 1848 году

В. Ф. Одоевскому: «*Странна Ваша Россия. Невозможно определить ее предназначение и ее путь, но она определена для чего-то великого*». [...] К сожалению, Европа открыла Россию лишь одновременно с открытием Америки, но все же в XIX и XX веках многие западноевропейские умы могли присоединиться к мысли Франца Баадера (1841), что «*из России можно ожидать развития всемирного христианства*». Историческая реальность России не давала слишком богатого материала для столь лестных надежд, но русская мысль, воплощенная в русской религиозной, художественной и философской литературе, такие надежды подтверждала. Таким образом, возникает целая цепь фактов, вытянув которую, можно увидеть в России те начала европейского христианского гуманизма, которые никак не ложатся в схему «комплекса Ивана Грозного» или в схему «страна рабов, страна господ».

Вместе с тем, весьма даже возможно, выстраивая по своему усмотрению факты, изобразить некоторые страны Западной Европы примерами жестокости, варварства, фарисейства, подавления прав личности во имя государства.

И победы в Англии не либерализм, а тоталитаризм, твердо верящие в детерминизм истории публицисты вывели бы этот английский тоталитаризм хотя бы из комплекса Генриха VIII.

Генрих VIII правил Англией в те же приблизительно годы, что Иван Грозный на Руси (1509-1547). Англичане называют время его правления «царством крови». Кровь лилась по улицам, площадям и мостам Лондона столь же щедро, как в то же время по белокаменной Москве, а на мостах через Темзу король приказал выставлять на палках головы своих казненных врагов. Как при Генрихе VIII, так и при его преемниках Якове II и Карле II цена жизни англичанина была ничтожно низка: смертная казнь полагалась за кражу вещи дороже 13,5 пенсов. Инакомыслие и инаковерие преследовались варварскими методами. Пуритан (английских раскольников) сжигали на кострах; Грина и Лейтеса за памфлеты против короля приковали к позорному столбу и отрезали уши. Так что не только русских раскольников жгли и пытали на дыбе, не только у них отрезали уши и языки. Великий английский сатирик Дж. Свифт буквально был оплеван согражданами, верными морально-политическому единству. Положение английского крестьянина в то время было гораздо худшим, чем положение крестьянина русского. Разорившийся английский крестьянин не имел права даже просить милостыню: за противозаконное попрошайничество его забивали в колодки, секли бичами, клеймили железом, а если он и после этого упорно клячил, его продавали в рабство. И точно так же, как в далекой Московии, эти художества оправдывались божественностью происхождения королевской власти, на котором особенно настаивал король Яков II (1603 – 1625) Стюарт. При этом Церковь не проявляла особенной самостоятельности: она была верной опорой трона, а не защитницей бедняков. Так что очень легко бы задним числом объяснить неизбежность торжества тоталитаризма в Англии. [...]

Гораздо убедительнее были бы те англофилы, которые напомнили бы, что, наряду с Генрихом, Яковом, Кромвелем, были в Англии и Джерард

Уинстэнли, и Вильям Шекспир с его концепцией свободной личности. В том-то и дело, что вся новая и новейшая история Англии так же, как и история другой европейской страны — России, определялась этой борьбой между господствующими тоталитарными тенденциями и свободолобивой индивидуалистической мыслью. И не было роковой неизбежности поражения либерализма в России и победы его в той же Англии.

Здесь приведен пример Англии как страны будто бы исключительно либеральных традиций. А как быть с Германией? Что предопределяла история Германии, что с необходимостью вытекает из немецкого характера — нацистский тоталитаризм или одна из самых свободных и социально справедливых стран в мире — Федеративная Республика Германии?

Отношение к государству как к своей вотчине было весьма характерно для русских князей и многих русских царей. Однако «L'etat c'est moi!» сказал не русский царь, хотя, ежели бы они могли по-французски, то так бы и сказали и Иван IV и Петр I. [...] Во Франции во времена правления Людовиков XIV и XV у местных властей хранились так называемые *конверты*, в которых лежали бланки смертных приговоров без указания имени осужденного — ими вписывали жандармы. Чем не предпосылка тоталитаризма?

Вот так можно описать историю европейских либеральных стран, ныне справедливо гордящихся своими законами, гарантирующими свободу личности, защищающими ее от тоталитарных покушений государственной власти.

А у той страны, которую ныне принято — и опять-таки справедливо — считать хрестоматийным образцом современного тоталитарного государства, в историческом прошлом были страницы, выгодно отличающие ее от других стран Европы.

Первый свод русских законов, «Русская правда», не знал не только смертной казни, но и телесных наказаний. То, за что, скажем, в Византии полагалось три удара плетью, на Руси наказывалось тремя гривнами. И всюду, где в западноевропейских законах телесные наказания, в «Русской правде» — вира, денежный штраф. Киевский князь Владимир Мономах поучал своих детей не убивать ни правого, ни виноватого. В «Законе судном» было указано, что, если хозяин изувечит раба или холопа, те автоматически становятся свободными. Вообще до Петра I русский крестьянин был свободнее западноевропейского. Соотношение это изменилось в пользу западноевропейского крестьянина лишь в XVIII веке. Однако уже в середине XIX века, после великих реформ, судопроизводство, один из важнейших показателей степени защищенности человека от государства, стало в России лучшим, наиболее надежно из всех европейских стран охраняющим права личности. Сравнение дела Дрейфуса во Франции и процесса Бейлиса в России говорит не в пользу французского судопроизводства: русский суд показал себя гораздо более независимым и справедливым.

В глубь истории уходит и русская политическая демократия: Новгород, Псков и Вятка были наиболее демократическими государствами Европы целых три века — с начала XII до конца XV.

Таким образом, в истории всех европейских стран, в том числе и России, были заложены зерна, из которых могли произрасти различные общественные системы и разные системы мышления. Никакого детерминизма в истории нет, всякие учения о закономерностях истории — это ухищрения ловких умов, выстраивающих свои концепции путем игнорирования одних фактов и манипуляции другими (как правило, непреднамеренно). Развитие истории, по мысли Льва Толстого, фатально, фатально в том смысле, что оно определяется Божественным замыслом, а людям лишь кажется, что они этот замысел разгадали. История народа необычайно пестра, она создается миллиардами желаний, страстей, неисчислимым количеством случайностей, каждая из которых вызывает некалькулируемые последствия, а те, в свою очередь, — новые и новые, как понятные человеческому разуму, так и недоступные для него результаты.

И каждый историк видит в прошлом что-то свое.

Обращаясь к истории России, автор этих заметок полагает, что, при всем многообразии явлений, характеров, идей, настроений, можно в ней выделить (весьма грубо и приблизительно) две тенденции: тенденцию тоталитарную в ее двух выражениях — сверху со стороны власти и снизу со стороны тех, кто власть эту хотел уничтожить, — и тенденцию либеральную, стремившуюся к осуществлению двух задач — свободы личности и единства нации.

### III

В Киевской Руси, а также в Пскове и Вятке до нашествия степных кочевников княжеская власть состояла на службе призвавшего ее населения. Оно выбирало князя, а он знал, что может быть изгнанным, если не угодит тем, кто его пригласил.

Первые зернышки тоталитарного отношения власти к подданным упали на русскую землю тогда, когда русские люди начали уходить из степного юго-запада в лесистый северо-восток. Князья приходили первыми на землю, объявляли ее своей, и теперь уже они приглашали на землю крестьян и служилых людей. «Моя земля», «мой порядок», «мой город» — стало слышаться в княжеских речах. Русский человек начинает терять чувство национального единства, ответственности за землю, передоверив ее князьям. Когда же пришли татаро-монголы и рязанцы попросили помощи у соседних русских княжеств, тогда и проявилась вся катастрофичность такой ситуации: один удельный князь не считал себя обязанным прийти на помощь другому уделу, и стали русские князья «холопами вольного царя», ордынского хана. Ордынские ханы стали назначать на русские княжества таких князей, которые выбивали из своих подданных с наибольшим успехом дань. Начался процесс отчуждения народа от власти, русский человек начал видеть в князе что-то чуждое, чему надо сопротивляться, с чем никак нельзя идентифицировать свои жизненные задачи. Ключевский пишет: *«...удельный порядок был причиной упадка земского сознания и нравственного гражданского чувства в князьях, как и в обществе, гасил мысль о единстве и*

*цельности Русской земли, об общем народном благе*». Русский человек стал не хозяином своей земли, а поданным в уделе. Первый из персоналистов, чье слово дошло до нас, — автор «Слова о полку Игореве» — осознал эту беду: где интересы удела, княжества ставились выше интереса «ратая», там исчезало то, что теперь бы назвали мы солидарностью. На место истинной солидарности, суть которой в соединении отдельных людей для осуществления общего национального интереса, пришло мнимое единство, единство подданных, скрепленное властью одного хозяина, властью государства. Московское государство, возникшее в XIV-XV веках, было государством тягловым, в котором сословия отличались не правами своими, а повинностями в пользу государства: каждый должен был или защищать государство («бояре и слуги вольные»), или кормить тех, кто защищал это государство. И в сознании русского человека укреплялось убеждение, что он обязан всем государству, а государство ему не обязано ничем.

С уничтожением удельного правления при Иване III отношение к государству хозяина русской земли, именуемого теперь Государем Всея Руси, не изменилось. Он по-прежнему считает страну своей вотчиной, при этом лишив и без того весьма ущербных прав последнюю группу людей, имевших не только обязанности, но и права перед государством, — бояр. Отсюда в опричнине Ивана Грозного видится не изобретение изувера, а доведенное до кошмарных размеров представление о государстве как хозяйстве властителя. Опричнина, в противоположность мнению многих советских историков, в сущности, никаких государственных задач не выполняла, а выполняла задачи шкурные — защиту жизни и интересов хозяина. Задушив руками Малюты Скуратова митрополита Филиппа, Иван IV надолго запугал тех, кто хотел бы видеть в Государе если и не народного избранника, то хотя бы народного болельщика.

Смутное время стало расплатой, естественным следствием того, что творилось на Руси в предшествующие четыре века: оборвалась «законная династия» — распалось государство. Обнажилось безразличие русского человека к государству, которое он не научился считать своим. Русь в 1610 — 1612 годах — ничейная, безгосударственная земля: в Новгороде шведы, в Москве и Смоленске поляки, а сами русские убивают, грабят, берут все, что плохо лежит. Мерзость запустения — иначе не определишь того, что представляла собой Русь в те годы.

И вот тогда-то оказалось, что есть нечто неподвластное ходу политического развития, неподвластное намерениям хозяев страны, — это мистическое чувство национальной ответственности у великого народа: общий Собор «всех городов и всяких чинов людей всего Российского Царствия» избирает царя — Михаила Романова. Нация была спасена не волей одного властителя, а соборно выраженной волей народа.

Вот бы и начать новой династии править с учетом этого величайшего события в истории Руси, править как избранники народа, а не как «хозяева земли русской». Но традиции Новгородского веча, земского Собора 1613

года, к сожалению, не получили своего развития — продолжалась традиция вотчинного владения страной, и доразвивалась она до нового смутного времени — до «окаянных дней», как назвал И. Бунин эпоху, начавшуюся в 1917 году.

В XVII веке, особенно при царе Алексее Михайловиче, появились русские либеральные умы; Алексей Михайлович готовил реформы, не давая человека, стремясь как-то уравновесить интересы государства и интересы личности, но все это и без того нерешительное движение в направлении координации государственных и личностных целей было надолго остановлено Петром I, на котором лежит огромная ответственность за установление в России представления о человеке как «колесике и винтике» государственного механизма.

Славянофилы были безусловно правы в своем отрицательном отношении к личности Петра, хотя, как кажется, не видели его главного греха. Не в том вина Петра перед Россией, что он хотел ускорить развитие ее промышленности, ее культуры, что «прорубил окно в Европу» (ведь он открыл окно из дома, который и так-то находился в Европе, был ее составной частью, но по ряду исторических причин начал разваливаться и выглядеть хуже других европейских домов), а в том, что он начал отстраивать государственное здание, укреплять и украшать его, пренебрегая интересами жителей этого здания. «Петербург прекрасен, да жить-то в нем простому человеку невозможно», — таков вывод из пушкинского «Медного всадника», и в этом суть реформ Петра. Вряд ли верна точка зрения, что-де Петр I строил европейское государство русскими варварскими методами. Петр-то вывез из Западной Европы не только чертежи кораблей и технологию фортификации, он вывез из Западной Европы и ее государственность, именно ее представления о том, что «государство — это я», властитель, король, царь. Где это мог Петр, даже если бы он захотел (а он и не хотел), позаимствовать в Западной Европе примеры демократического, гуманистического правления? У Людовика XIV во Франции, который, отменив, например, Нантский эдикт, стал закрывать протестантские церкви, ставить на постой в гугенотские дворы солдат, запретив при этом гугенотам эмигрировать, ловя беглецов на границе и вешая? У Людовика XIV, который построил роскошный и дорогостоящий Версаль, обобрав для получения средств на это строительство и без того не богатого французского мужика? У английских королей, которые делали все возможное, чтобы предотвратить и habeas corpus и билль о правах? У Бранденбургского курфюрста Фридриха-Вильгельма, который создал свое блистательное государство, подавив минимальнейшую свободу мнений даже у своих чиновников?

Не варварскими средствами боролся Петр против варварства, а средствами западноевропейскими строил восточноевропейское государство. Был бы он русским «варваром», не совершил бы он преступления против русских традиций — не разогнал бы патриаршество, не превратил бы церковное управление в элемент бюрократической, чисто западной министер-



ской системы, а вспомнил бы о русской церковно-государственной симфонии, вспомнил бы о соборах XVII века.

Петра, как и любого западного политика того времени (только ли того?), нравственные проблемы совершенно не беспокоили, они не включались в его систему государственного мышления. И на Западе он усваивал приемы создания государственных хозяйств, системы бюрократизации, а также способы тонких (и не очень тонких) убожений плоти. Настроить заводы, города, завести школы, училища, газету — и приказать «в письменных делах на имя государя» заменить слово *холоп* на слово *раб* (указ от 10 марта 1702 года), — в этом сочетании и была попытка решить политическую квадратуру круга: соединить просвещение, научно-техническую революцию с рабством. Просвещение решалось Петром не как задача нравственная. Школа нужна была ему лишь как преддверие казармы или ступень к подготовке технического персонала империи, газета — как орган информации о государевых указах и развлечениях, на заводах производились орудия, способствующие еще большему укреплению государственной мощи и закреплению людей. Да и сами заводы стали уже при Петре исправительными заведениями: на них, между прочим, ссылались «виновные бабы и девки». Для удобства использования холопов как рабов Петр ликвидировал существовавшее до него разделение холопов и земледельцев — все стали по его указу крепостными.

Именно Петр избрал жупел военной опасности для усиления власти государства над человеком. Все, что возможно, драл он с населения страны, объясняя «военной необходимостью» политическую смерть одних, конфискацию имущества у других, кнут, каторгу, виселицу для третьих лишь за подачу прошения царю, за порубку корабельных лесов, за неявку на смотр, за торговлю русским платьем. То, что теперь кажется комичным: стрижка бород боярам, насильственное переодевание в европейские одежды, — было весьма ярким и печальным проявлением вмешательства государства в личную жизнь человека. Ни одно государственное учреждение при Петре не служило гражданам, все работали на казну. Армия одерживала победы не только над турками и шведами, но и над русским народом, ибо Петр именно на армию возложил сбор податей. То отчуждение русского человека от власти, которое началось в московский период, при Петре дошло до такой степени, что в народе его иначе, как антихристом, и не звали, и от его сборщиков мужики бежали куда глаза глядят, дворяне прятали свое имущество, а если представлялась возможность, не возвращались из-за границы, куда государь их отправлял учиться.

Весь XVIII век прошел под этим знаком забвения звездного часа русского либерализма — Собора 1613 года, создавшего возможность русского билля о правах. Реформаторский гений Петра, будь он соединен с идеями русской государственности, мог принести процветание именно народу, а не только отчужденному от народа государству.

Результатом было как раз весьма мрачное состояние государства Российского после смерти Петра. Хвалители Петра забывают, что он оставил

Россию своим преемникам в состоянии разорения, финансового, экономического и, главное, морального краха: ни в ком, даже в своих «птенцах», не воспитал Петр чувства ответственности за страну. Они начали портить даже то положительное, что было им создано. Екатерина I, Анна, Елизавета, Петр III и их министры представляли собой различные варианты Марии Антуанетты: Россия была для них расширенным царским двором, весьма удобным для развлечений и пригодным для поставки средств для этих развлечений. Человеческое достоинство людей, не выполняющих этой «государственной» функции, унижалось, их разоряли, лишали званий, средств для существования, ссылали. При Анне Иоанновне на каторге в Сибири было 20 тысяч человек (при общей численности населения 5 миллионов человек). Часто люди просто исчезали; пала торговля, промышленность.

Наиболее позорным актом русской монархии XVIII века был указ о вольности дворянства, приведший прикрепление русских крестьян не только к земле, как было до этого, но и к владельцу. Именно тогда пошла торговля крестьянами, игра на них в карты. Отчуждение народа от государства усилилось в XVIII веке и вследствие приглашения для руководства Россией западноевропейских авантюристов типа Бирона и Левенвольде. Петр тоже мало интересовался нравственным уровнем специалистов, приглашаемых им из Европы, но, отбирая их, он все же прежде всего оценивал их возможности послужить промышленной и военной реформам в России. Иностранцы же при преемниках Петра не только не умели и не хотели ничего дать России, но рассматривали эту страну как источник обогащения, Россия была буквально отдана им «на поток и разграбление». [...]

Тоталитарные тенденции усилились в конце века при Екатерине II и Павле I. Екатерина дарила своим клеветам целые деревни с крестьянами, закрепостила Украину, но все же надо заметить, что в царствование ее — и не без ее участия — возникли в России сильнейшие антитоталитарные настроения, приведшие к рождению как раз в эту эпоху русской либеральной интеллигенции.

Чуть ли не все свел насмарку ее сын Павел. Мало кто так, как он, в истории русского трона боялся либеральных веяний. Он установил дикую цензуру, запретил ввоз книг из-за границы и выезд русских людей в Европу для образования. И если бы не дворцовый переворот в ночь на 12 марта 1801 года, восстание типа декабристского могло бы произойти и раньше.

В течение XIX века с переменным успехом шла борьба между тоталитарными и либеральными тенденциями, и именно в этом веке начал обнаруживаться тот факт, что линия раздела не обязательно должна проходить между верхами и революционерами: тоталитарные претензии обнаруживаются среди различных революционных течений, а либеральные инициативы часто исходят от верхов. Во второй половине XIX века в нечаевщине и бакунинщине, а затем в ленинизме загорелось пламя, сожравшее в конце концов начала русского свободомыслия, русского либерализма, русского персонализма. И именно в XIX веке правили два царя, которые понимали,

что Россия — это не только государство, но и населяющий ее народ и что невозможно процветание ее без учета интересов отдельного человека. Речь идет об Александре I и Александре II.

Ни тот, ни другой, конечно же, не совершили чуда: они оказались по целому ряду причин неспособными к либеральной революции, однако реформы 60-х годов были гигантским скачком по пути России к нетоталитарному правлению, именно в результате этих реформ тоталитарное мышление в дореволюционной России стало восприниматься как дикость. Трагедия, а в определенном смысле и преступление царских правительств послереформенного времени заключались в непонимании революционного нравственного переворота, совершившегося в обществе в результате реформ 60-х годов. Александр III, а затем Николай II более сочувствовали идеологам типа Константина Леонтьева и Победоносцева, чем, скажем, гуманистическим проповедям Льва Толстого и либеральным начинаниям политиков типа Витте или Столыпина. [...]

И вот царь Александр III не внял письму Льва Толстого, взывавшего не казнить террористов, а вырвать у них почву из-под ног: *«Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала»* (Лев Толстой имел в виду идеал евангельской любви). И последний русский царь, взойдя на престол, называет либерализм, реформаторство «бессмысленными мечтаниями». А после того, как вновь, через сотни лет после веча и Соборов, был создан русский парламент — Дума и этот парламент в феврале 1917 года потребовал отчетности перед ним правительства, царь это требование отклоняет, делая еще один шаг к гибели и России, и своей собственной: остановить развитие русской свободы после 1861 года было уже невозможно, и попытка такого сопротивления неизбежно приводила к перерождению тоталитарных тенденций в тоталитарную систему.

В полувекковой истории России после реформ 60-х годов видится некий политический маятник: раскачивание в сторону, резко правую, толкало его к отлету резко влево. И, наоборот, левые тоталитарные силы приводили к броску маятника резко вправо. (Нынешняя же система в СССР — это сочетание левого и правого тоталитаризма, сочетание такое уродливое, что дает основание правым считать эту систему левой, а левым — правой.) Либералы, зная или интуитивно чувствовавшие этот закон политического маятника, стремились успокоить его, приглушить. Они и были истинными русскими патриотами, ибо не хотели ни разрушать Россию, ни оставлять ее в опасном состоянии стагнации или, тем более, попятного движения.

Убийство Столыпина кажется символическим: он был убит революционером-террористом, состоявшим на службе в охранке и совершившим свой акт к полному удовлетворению как партии разрушения, так и партии «подмораживания» России.

Партия разрушения России паразитировала на действиях партии замораживания ее. А эта последняя в начале XX века боролась со всеми свежими веяниями с помощью полицейских окриков да военных экспедиций. Такие

деятели, как И. Н. Дурново, В. К. Плеве, всеми своими действиями подыгрывали тем, кто скликал народ на разрушение России.

*«Какими бы болезнями ни заболело Российское государство:*

*— Полицию! Раскол.*

*Трудный вопрос.*

*Богословских споров дело.*

*— Полицию!*

*И полиция знала одно средство:*

*— Бросить кровь!*

*— Двумя персты крестишься? Драть!*

*Аграрные волнения.*

*— Полицию.*

*— Кровь бросить.*

*Социализм.*

*— Полицию!*

*— Кровь бросить.*

*Полиция лечила от всего.*

*От малоземелья, от сомнений в церковных догматах, от фанатизма и увлечения “западными утопиями”».*

Так сравнивал отдельных деятелей царского правительства с коновалами не какой-нибудь социалист, революционер, а либеральный русский фельетонист Влас Дорошевич в 1906 году.

К чему это привело, известно: с ненавистью в сердцах и с большевистской теорией, доведенной до уголовного примитива («грабь награбленное»), в темном сознании, ведомая романтиками-авантюристами, масса разнесла старую Россию и дала возможность создать на ее обломках общественную систему тупикового, тоталитарного образца.

## IV

Взаимопомощь реакционного и революционного утопизма легко прослеживается во всей истории России: революционеры срывали либеральные начинания власти, власть своими крутыми мерами бросала народ в объятия его «защитников» — революционных авантюристов.

Первые значительные крестьянские бунты были реакцией на эгоистическое отношение к Руси хозяев ее земель. Во времена крепостничества Россия жила по закону, лапидарно сформулированному Ключевским: «Государство пухло, народ хирел». Естественно, что как Разины и Пугачевы, так и революционеры-интеллектуалы, чья цель всегда была более разрушительная, чем созидательная, без особого труда использовали такое положение, и, изучая историю России, приходишь к выводу, что некоторые ее владельцы чуть ли не намеренно создавали ситуацию, при которой призыв к уничтожению всего и вся находил отзвук в людях, мало просвещенных христианской моралью и не перегруженных способностью суждения. Эти последние становились материальной силой всех русских бунтов и рево-

люций. А уж заботу о расширении этого разбойничьего слоя брало на себя государство, обезземеливая крестьян в период раннефеодальный, тормозя отмену крепостного права и не содействуя повышению производительности крестьянского труда в первой половине XIX века, не пытаясь бороться с безработицей в промышленности в период капиталистический.

Исследуя причины возникновения пугачевского бунта, Пушкин обращает внимание на то, что яицкие казаки, будучи притесняемы правительственными чиновниками, не имели намерения бунтовать. *«Они покушались довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы. Но тайно подсланные от них люди были, по повелению президента Военной коллегии графа Чернышева, схвачены в Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики».* Такие действия русских властей провоцировали разрыв народа с государством, вообще с верой в возможность уладить свои проблемы через компромисс. И какой Чернышев приказал стрелять в рабочих на площади перед Зимним дворцом 9 января 1905 года?

Один из замечательных русских консервативных либералов П. А. Столыпин сказал о крайне правых и крайне левых: *«Им нужны потрясения, нам нужна великая Россия».* Конечно, правым (под «правыми» здесь понимаются силы, которые сопротивлялись реформам или даже пытались отменить либо ослабить действие уже осуществляемых реформ) нужны были не потрясения, а собственное благополучие, но инстинкт смерти и разрушения жил в них не в меньшей степени, чем в тех, кого Шафаревич окрестил общим понятием «социалисты». Только таким инстинктом смерти и разрушения можно объяснить упорное нежелание русских государей в XIX и XX веках прислушиваться к предостережениям либеральных советников. [...]

Само понятие самодержца (по-гречески, *автократа*) русские цари склонны были истолковывать более в смысле самодурства, чем самодержавия: ведь Иван-то III, первый назвав себя автократом, имел в виду не безграничную внутреннюю власть, а свою независимость от власти внешней — от ордынских ханов. А Иван IV уже определял понятие «самодержец» в духе одного из героев А. Н. Островского: «Хочу так ем, а хочу — масло пахтаю». Странники известной триоремы настаивали (и настаивают), что самодержавие — это и есть неограниченная власть монарха и что это чуть ли не истинно русская форма государственной власти, как будто новгородское вече, Соборы XVII века, государственные Думы XX века — выдумки иностранцев, а государи Александр I в начале своего царствования или Александр II, поставившие под сомнение принцип самодержавия в его трактовке Иваном IV и заботившиеся о благе населения, а не только о государстве, отошли от русских национальных основ. Все же Нил Сорский не меньше, чем Иосиф Волоцкий, выразил дух русского христианского гуманизма, и можно было бы сказать, что идея абсолютистской, или самодержавной, власти родственна именно западноевропейской государственности XVIII века. И как раз абсолютизм как на Западе, так и в России готовил почву для якобинцев всех национальностей. Потому-то ко многим русским правите-

лям можно отнести слова Карамзина, сказанные об Иване Грозном: *«Он был мятежником в собственном государстве»*.

И не только декабристы, но и сам... Александр I готовил переворот. У Александра был выбор. Или: *«Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового добра, а новому добру как-то не верится... требуем более мудрости хранительной, нежели мудрости творческой»* (Карамзин), или предложения ранних декабристов, довольно точно переданные Пьером Безуховым: *«...чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военные поселения — мы только для этого беремся рука с рукой, с одной целью общего блага и безопасности»*. Декабристы предлагали руку правительству. Молодой царь давал повод для веры в возможность такого союза власти с либеральной интеллигенцией. Молодые дворяне, стремившиеся к либерализации страны, имели право полагать, что царь с ними солидарен. Им было известно, что Александр трижды поручал составить Конституцию: Розенкампфу в 1804 году, Сперанскому в 1806 году и Новосильцову даже в 1817 году. Вероятно, не было скрыто от них, с каким гневом царь отверг «Записку» Карамзина.

Но все либеральные намерения Александра остались без осуществления: впечатления от послереволюционной Франции привели его более к страху перед революцией, чем перед судьбой Людовика XVI, который эту революцию спровоцировал. После 1815 года Александр как будто делает все, чтобы оттолкнуть от себя либералов и превратить их в революционеро-заговорщиков. Он удаляет Сперанского, приближает Аракчеева и Голицына, дает согласие последнему на создание военных поселений, а на протесты офицерства отвечает, что поселения *«будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чугуева»*. Университеты отдаются под контроль обскурантов Магницкого и Рунича, цензура доходит до обнаружения следов якобинства в «Отче наш».

Такой поворот Александра вправо вызвал радикализацию тайных обществ. Начав с желания укрепить Россию, они кончили бунтом. Пестель показал на следствии, как изменялись его настроения: *«Начали во мне пробуждаться, почти совокупно, как конституционные, так и революционные мысли. Конституционные были совершенно монархические, а революционные были очень слабы и темны. Мало-помалу стали первые определеннее и яснее, а вторые сильнее»*. [...]

Царь сделал все возможное, чтобы лучшие люди того времени превратились в подготовителей бакунизма и большевизма. Николай Бестужев писал из Петропавловской крепости новому царю, объясняя этот переход от либерализма к бунту: *«Солдаты роптали на истому учениями, чисткою, караулами; офицеры на скудность жалования и непомерную строгость... Люди с дарованиями жаловались, что им заграждают дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности; ученые на то, что не дают учить, молодежь на претствия в учении. Словом, на всех углах виделись недовольные лица; на улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили, к чему это приведет»*.

И вот результат. Бывший либерал А. Бестужев-Марлинский заявляет: *«Творить божественно, но и разрушать тоже божественно; разрушение — тук для новой жизни»*, воззрение, выраженное позже Бакуниным (*«страсть к разрушению есть творческая страсть»*); представитель аристократического течения в декабризме Каховский, полагавший укрепить монархию с помощью усиления наследственной аристократии, стреляет в генерал-губернатора Петербурга Милорадовича. Политическая глухота Александра I привела к тому, что те, кто хотел укрепления государства, превратились в его разрушителей. Рылеевы, Муравьевы, Бестужевы, Пушкины... Чацкие кричали на всех углах о бедствиях России, а правительство отвечало подобно Фамусову: *«Добро, заткнул я уши»* — и умилялось скалозубовским остротам о фельдфебеле, долженствующем заменить Вольтера. В это-то время и рождались такие, как Якушкин, который *«молча обнажал царевбийственный кинжал»*.

В свою очередь выступление декабристов породило николаевскую реакцию — маятник рванулся вправо.

Но не все общество пошло вправо. 30-40-е годы прошли под знаком не только подлости, но и под знаком развития, углубления русской мысли. Это время возникновения важнейших течений в русской философии — западников и славянофилов, — время взлета пушкинской мысли, время развития университетского либерализма, связанного с именами Грановского, Станкевича, Редкина, а главное — время подспудной подготовки к великим реформам, ставшим торжеством русского либерализма.

И теперь уже, в 60-70-е годы, революционеры-террористы срывают конституционное, либеральное развитие России, тоталитарные тенденции слева пугают правительство, и оно, вместо того чтобы и впредь твердо проводить политику реформ, направленных на благо личности, в страхе перед кучкой революционеров начинает притормаживать либеральное развитие страны. Своим выстрелом Каракозов убивает великие намерения Валуева и вел. кн. Константина Николаевича; использование подсудимыми гласного суда в качестве трибуны для пропаганды революции также пугает правительство, оно ищет способы ограничить независимость суда. Все же Лорис-Меликов еще пытается выработать твердую либеральную политику, однако это настораживает революционеров, в среде которых к тому времени возникает бесчеловечная и циничная теория *«чем лучше, тем хуже»* и которые справедливо считают, что либеральная политика для них опаснее реакционной. И вот бомба, брошенная в царя-освободителя в 2 часа 15 минут 1 марта, убила и царя, и — буквально — русскую Конституцию: ведь за два часа до этого взрыва государь одобрил конституцию Лорис-Меликова и решил представить ее на рассмотрение совета министров. [...]

Новое правительство сдалось перед этими актами вандализма, царь Александр III призвал к трону не людей типа Милютин, Валуева, а Д. А. Толстого, И. Д. Делянова и К. П. Победоносцева. Так отпрыгнулись прокламации вроде *«Молодой России»*, с ее призывами не верить даже самым лучшим

помыслам правительства, бессмысленные убийства Мезенцева, Кропоткина (харьковского губернатора), нечаевско-бакунинская пропаганда. На все это Александр III ответил таким усилением государственной власти, таким отступлением от либеральных идей отца, что, кажется, сознательно начал подготовку к новому, еще более страшному революционному взрыву.

В деревню направляются земские начальники, имеющие право суда над мужиками, узаконивается применение розог, увеличивается количество смертных приговоров за политические преступления, резко усиливаются гонения за веру. Русская литература становится все мрачнее и мрачнее. В обществе воцаряется безнадежный пессимизм, выразителем которого стал Н. Шедрин. Деревня нищает вследствие увеличения налогов во время русско-турецкой войны и из-за катастрофических неурожаев 79-го и 80-го годов, а также из-за низкой производительности общинного хозяйства (за которое, кстати, одинаково цеплялись и реакционеры, и революционеры). Все тяготы русской экономики несут на себе крестьяне, на что указывают и либеральный народник Энгельгардт, и писатель Г. Успенский. А дворянство и купечество, пользуясь безграничной поддержкой государства, благоденствует. [...]

Начинается наступление и на интеллигенцию, сильнейший удар наносится по автономии университетов, этих «рассадников» революционной мысли (хотя революционное студенчество составляло ничтожный процент по отношению к общему числу студентов), усиливается цензура. Гонению подвергаются не только революционные «Отечественные записки» (чья революционность тоже весьма относительна) и «Дело», но и либеральные «Порядок» Стасюлевича и «Земство» Скалона и Кошелева.

Так готовились революционные кадры в среде крестьянства и интеллигенции. Одновременно начался процесс усиленной русификации национальных окраин. На русский язык были переведены все канцелярии в Прибалтике (так возбуждалась ненависть к России будущих латышских стрелков), сужена полоса оседлости для евреев и введена для них процентная норма в гимназиях и университетах (так воспитывались будущие красные комиссары еврейского происхождения).

Эпоха правления Александра III и Николая II была роковой для России: определился раскол страны на власть и революционные партии. Власть стала таким хозяином русского дома, который и сам дом не чинит и другим мешает. А революционные партии начали создавать планы сожжения этого дома. Власть кричала «тащить и не пущать», а революционные партии, прежде всего радикально-марксистские, на основании абстрактных, имеющих весьма далекое отношение к реальности русской жизни математических выкладок собирали силы для проведения страшного эксперимента над Россией. Когда этот эксперимент начал осуществляться, Максим Горький писал: *«Народные комиссары относятся к России, как к материалу для опыта, русский народ для них — та же лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в крови противосыпозную сыворотку».*



*Вот именно такой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт производят народные комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная полуголодная лошадь может издохнуть».*

И все же либеральные идеи глубоко были укоренены в сознании русских людей. Как после Крымской, так и в результате русско-японской войны в обществе возникают новые реформаторские импульсы. В правительстве нашелся человек, который понял необходимость обращения к общественному мнению: это был кн. П. Д. Святополк-Мирский. Заговорила либеральная пресса. Она критиковала бюрократизм, выставляла конституционные требования, поддержанные в ноябре 1904 года совещанием земцев. Создаются профсоюзы, один из них — профсоюз лиц интеллигентных профессий — призывает к введению народного представительства.

В этот начальный период революции 1905 года революционно-разрушительные партии еще не имеют серьезного веса. Россия мечтает о реформах, о народном представительстве — Думе. 9 января рабочие идут к Зимнему дворцу, к своему царю, просить его улучшить условия их труда, предложить созвать Учредительное собрание. Как же отвечает власть на это движение? Безумным, непростительным кровавым воскресеньем. И опять, по уже надоевшему правилу русской истории, тоталитарные силы власти оказывают неоценимую услугу тоталитарным революционным партиям, толкают в сторону революции умеренные элементы этих партий, а также широкие народные массы. В городах возникают баррикады, в деревнях — аграрные беспорядки, сопровождаемые варварскими разрушениями дворянских усадеб, этих центров русской культуры, против государства бунтует флот, офицеры которого на броненосце «Потемкин» были воплощением отношения власти к матросам как к деталям военного механизма. В Петербурге создается Совет рабочих депутатов (в очень незначительной степени представляющий этих самых рабочих), профсоюзам удается провести всеобщую забастовку. Страна находится на грани хаоса. [...]

Но на этот раз гибель России была предотвращена, и спасли страну либеральные силы страны. Они добились издания манифеста 17 октября, означавшего начало новой эры в истории России, эры плюралистической демократии. В Думе воплотились идеи парламентаризма, которые разрабатывались не только в Западной Европе, но всегда жили в русских людях как память о новгородском вече, о Соборах XVII века, о земствах 60-х годов. Идея народного представительства разрабатывалась и правительством Александра I, член которого Сперанский еще в 1809 году создавал закон о передаче законодательной власти Думе.

Ни один мало-мальски разумный либерал не считал парламент выходом из всех сложностей запутанной жизни. Но любой из них мог сказать то, что через много лет скажет Уинстон Черчилль: очень плоха система парламентской демократии, но лучше еще никому не удалось выработать.

Благодаря манифесту и изменившемуся вследствие его распределению власти в верхах, к руководству страной пришли такие крупные либераль-

ные деятели, как С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, возникла партия кадетов, представленная такими либералами, как П. Б. Струве, И. И. Петрункевич, Ф. И. Родичев, А. И. Шингарев, П. Н. Милюков, С. А. Муромцев. Это именно они поставили Россию на естественный для нее путь, на котором благо личности стало пониматься как необходимая предпосылка блага государства, это за период их руководства страной в течение почти десяти лет Россия находилась в таком расцвете народного благосостояния и культуры, которого она не знала за всю свою историю.

Кто же свернул Россию с этого пути?

Опять те же силы правой реакции, пользовавшиеся поддержкой царя, и левые экстремисты, возглавляемые большевиками.

Война против Германии показала силу власти и одновременно бездарность правых, которые, подчиняясь вот этому инстинкту смерти, повели Россию к гибели. И сама война, и то, как она велась, привели Россию к такому состоянию, когда левым экспериментаторам не нужно уже было никаких усилий, чтобы взять власть в стране, и уже не находится ни одной сколько-нибудь значительной группы населения, которая — в марте — поддержала бы рухнувшую монархию, и никого, кто бы защитил назначенное Думой Временное правительство в октябре.

Восторжествовала одна из многих тенденций русской истории — тенденция тоталитарная, этот плод сознательного и бессознательного сотрудничества тоталитарных элементов в системе власти и в рядах ее противников. [...]

## V

Здесь, кажется, пришло время определить понятие либерализма, столь часто употребляемое в этих заметках и содержащееся в их названии.

Либерализм понимается в этих заметках не как партийность, принадлежность к какому-либо определенному политическому движению. Либералы могут быть в любой партии, в любом политическом направлении. Либерализм понимается здесь как способ политического мышления, определяемый самим корнем слова: *свобода*. В сущности, любая партия, любое политическое учение объявляет себя теперь защитником свободы, свободой — своей целью.

Если обратиться к колесу идеологий, начерченному А. Амальриком, то такие суперидеологии, как национализм и марксизм, тоже стремятся к осуществлению свободы. Национализм исходит из необходимости свободы для нации, определяя эту свободу в терминах религии, культуры и государственности. Борясь, например, за свободу русской нации, русские националисты требуют религиозной, культурной и государственной идентификации России, таким образом, естественно, ограничивая свободу других наций, просто отдельных людей, не причисляющих себя к русским, но живущих в России. Даже русский человек как отдельная личность не получает гарантии свободы в ее националистической концепции, если живет не национальной, а какой-либо иной, например, социальной идеей. Для националиста

личность — это сама нация, и поэтому, сравнивая хотя бы положение в до-революционной России с теперешним, представители националистически трактованного понятия «свобода» редко акцентируют свое внимание на рабском положении и нищете отдельных русских, полагая, что национальная свобода (для русских), национальная определенность русской государственности и не ограниченное ни другими религиями, ни тем более атеизмом господство Православной церкви — не только необходимое, но и достаточное условие торжества свободы. Исторические же и политические деятели, которые покушались на устои русской государственности и русской религии, видя в них виновников нищеты и несправедливости народа, причисляются представителями национализма вообще к нерусским или к изменникам национальной идеи.

Вторая суперидеология — социализм, исходя из идеи свободы трудящихся классов, естественно, ограничивает свободу лиц той же национальности, не подпадающих под (подчас произвольное) определение «трудящийся элемент». Целые общественные классы, необходимые для нормального функционирования политического, экономического, религиозного, культурного отделов национального организма (предприниматели, землевладельцы, духовенство, беспартийная интеллигенция), в процессе социалистической революции уничтожались, причем такая же участь ожидала (и ожидает) любого представителя трудящихся классов, которого идеологи и вожди социализма причисляют к опасным для трудящихся элементам общества.

Либералы — это люди, которые начинают отсчет проблемы свободы не с каких-либо общностей (национальных или социальных), а с отдельных личностей, составляющих эти общности. С националистами их роднит понимание невозможности свободы личности во вненациональном или инонациональном существовании, стремление к свободе нации, к ее культурному, государственному и религиозному самоопределению; с социалистами — понимание невозможности свободы личности в условиях материального и социального быта, не достойных человека, унижающих его и принуждающих поэтому служить чуждым тотальным объектам с целью просто физического выживания.

К тому же для либералов неприкосновенна идея права, формального законодательства, нейтрального по отношению к идеологиям, к социальным и национальным группам.

Таким образом, в этих заметках либерал понимается как идеолог или политический деятель, который предлагал, а подчас и сам разрабатывал способы укрепления национального русского государства путем расширения свободы и увеличения благосостояния возможно большего числа жителей России без ущемления прав каких-либо групп общества (исключая, разумеется, уголовный элемент). Метод либерала — не уничтожение одной из конфликтующих в стране групп, а достижение компромисса между ними, борьба за уравнивание интересов. [...]

Русским в той же степени, как и другим европейским народам, свойственно было всегда и тоталитарное и либеральное мышление. Стоит лишь обратиться к конкретным фактам истории русской мысли и политической жизни России за последнее тысячелетие, чтобы увидеть, что в России либерализм имел не меньшие шансы на успех, чем тоталитаризм.

Огромную роль в развитии русского либерализма сыграло крещение Руси. С того времени почти все русские либералы, отстаивая позицию индивидуализма, ссылались на моральные принципы христианства. Владимир Мономах наставляет своих детей, ссылаясь на заветы Христа: «*Особенно бедных не забывайте, но по мере сил кормите их, и сироту одарите, и вдову защитите сами, и не позволяйте сильным губить человека*». Помещик XVI века Матвей Башкин, проникнувшись христианской верой, открыл для себя: «*Христос всех братьев нарицает, а мы рабов у себя держим*», — и порвал все кабальные записи, отпустив на волю своих холопов. Иван Пересветов в XVII веке писал: «*Бог не велел друг друга поработать. Бог сотворил человека самовластным (свободным) и повелел ему быть самому себе владыкой, а не рабом*». Влияние таких христианских подвижников, как Нил Сорский в XV веке, митрополит Макарий в начале царствования Ивана IV, Серафим Саровский в начале XIX века, не может быть не учтенным, когда мы думаем о становлении и развитии русского либерализма. Это не исключает необходимости признать, что борьба тоталитарных и либеральных тенденций раздирала и русскую Церковь так же, как русское общество вообще. Достаточно вспомнить о многовековой трагедии русских раскольников.

Одна из ранних форм русской государственности — новгородское, псковское и вятское вече — сильнейший аргумент против теории о врожденной склонности русских к рабству и безликому коллективизму. Вече — этот Гайд-парк Древней Руси — представляло картину борьбы личностных интересов, борьбы, никем не подавляемой и не ограничиваемой. Более трех веков (XII — XV) существовала в Новгороде и Пскове гордая республика свободных людей. Они понимали необходимость разделения власти для сохранения свободы личности: вся система правления в этих республиках не допускала возможности узурпации власти князем. Князь имел строго регламентированную исполнительную власть. Законодательная же власть находилась у вече (в этом его отличие от Гайд-парка). Страницы летописи, на которых рассказывается о Новгороде, пестрят сообщениями о том, как новгородцы «изгнаша», «выгнаша», «позваша» такого-то и такого-то князя.

Вече было прообразом буржуазно-демократической республики, этого европейского изобретения XIX–XX века. Нечто подобное возникало и в итальянских городах, но лишь в XIV и XV веках, да притом народное представительство в них было значительно более ограниченным в своих правах по сравнению с Новгородом и Псковом XII века: во Флоренции семейство Медичи разрешало участвовать в выборах городского совета только людям своей партии, Лоренцо Медичи был настолько безграничным правителем, что мог вмешиваться в личную жизнь граждан, устраивая и расстраивая бра-

ки (что было исключено в русских республиках); в Венеции дож избирался на всю жизнь, а посему в хрониках венецианских нельзя найти сообщений, что дожа кто-то «прогнаша» или «изгнаша». Места в Большом Совете города передавались по наследству, а суд Совет десяти чинил тайно, скоро и безжалостно, в то время как в Новгороде и Пскове суды были открытыми и милостивыми, а князь находился в полной зависимости от населения республики. Он целовал крест на верность ей. На что уж был уважаем кн. Александр Невский, а также не мог начинать войну без согласия вече. Да и того согласия было мало — важные решения должны были быть благословлены Святой Софией — Церковью.

В Новгороде было такое равенство классов, которого не знала Западная Европа в те времена: не было, например, такого закона, чтобы крестьянин не имел права стать тысяцким, все жители города: купцы, черные люди (ремесленники), бояре, смерды — имели право голоса (точнее, крика) на вече. Все классы были равны перед судом.

Разумеется, Новгород и Псков не представляли собой этакое царства абстрактной справедливости: при равенстве юридическом не было в этих буржуазных республиках равенства состояний, отсюда — богатые люди нередко решали вопрос в свою пользу, ущемляя права смердов и тех же черных людей. Что же касается иронических описаний новгородского вече с его ором и кулачными боями, то они лишь свидетельствуют о несовершенстве системы, но не о порочности ее по существу. (Надо сказать, что в Пскове вече проходило, в общем, без таких драк и такого крика, как в Новгороде.)

Простой новгородец и псковитянин как личности были намного привлекательнее, чем, скажем, люди николаевской поры; достаточно сравнить впечатления де Кюстина от русских людей начала XIX века с уважением к псковичам, которое сквозит из каждой строчки заметок путешественника Гербершттейна, посетившего Псковскую республику. Крепкие Новгородское и Псковское государства были замешаны на духе индивидуальной предприимчивости и сознании свободы «мужей вольных». И другой стала бы история России, если бы Новгород или Псков, а не Москва, получившая власть от татар, стали зернами, из которых выросла русская государственность.

Выше уже говорилось о причинах возникновения тоталитарных тенденций в княжествах на северо-востоке Руси. Позорное и унижительное татарское владычество, казалось бы, должно было убить всякое самоуважение в русском человеке, погубить в нем человеческую гордость, сделать его рабом по натуре. Московские князья и цари немало сделали для воспитания такого человеческого типа. Однако либеральные воззрения, поддерживаемые верой в Христа как Учителя свободы, никогда не умирали в русских.

Даже правление Ивана IV могло стать примером либерализма, если бы удалось утвердиться при троне первым советникам молодого царя дворянину Адашеву, священникам Макарию (автору «Четьих Миней») и Сильвестру, князю А. Курбскому. Они уже начали проводить реформу судопроизводства, собираясь вырвать суд из-под власти неконтролируемых бояр и передать его

целовальникам, которые должны были бы целованием креста клясться на верность закону. Сам этот закон «Судебник» (1550) запрещал наместникам арестовывать кого-либо из местных людей, «не явя» их целовальникам, которым они должны были давать объяснение причин ареста. С помощью «избранной рады» царь Иван составил ряд уставных грамот, одна из которых, например, передавала местное управление посадскими людьми «головам», *«которые были бы добры и прямы и всем крестьянам любы»*.

Но случайность — болезненный характер, психопатия царя Ивана — свела на нет все либеральные начинания. Именно в это время отчетливо выявилась вся опасность самодержавной монархии. [...] Все же в XVI веке созывались на Руси земские Соборы. Правда, они имели черты поразительного сходства с нынешним Верховным Советом: на них съезжались с мест представители земель, назначенные туда царем, так что на Соборах XVI века правительство совещалось с самим собой.

Смертельная опасность, нависшая над русскими как нацией в период смутного времени, вызвала к жизни великий Собор 1613 года. Он показал, что московским царям не удалось задушить в русских людях чувство ответственности за страну, что они всегда где-то в глубине своего сознания относились к царям не как к хозяевам земли, а как к слугам ее: через два века после падения Новгорода вновь собрание русских людей «позваша» правителя, теперь — царя. При Михаиле Романове Соборы уже созывались более десяти раз, они стали органом, по значению не меньшим, чем боярская Дума. В Собор избирались лучшие люди, *«добрые, умные и постоятельные»* (то есть умевшие «постоять» за избирателей). Соборы XVII века были определенно плюралистические: каждый депутат защищал интересы пославшей его социальной группы или земли.

XVII век дал и целый ряд мыслителей либерального направления, таких, как боярин Ртищев, создатель русских филантропических организаций, утверждавший необходимость человеческого обращения с крестьянами (*«Они нам суть братья»*), как Гр. Котошихин, выдвинувший либеральную идею свободы передвижения, как Ю. Крижанич, выступивший против «крутого владения» и «злого законоставия» и сформулировавший одну из основ либерализма: *«где бо суть черныя многи и богаты, тамо и краль в владычин да боярлы есуть богаты и сильны»*.

Время Петра I — время торжества государственной идеи и подавления всякого либерализма. И не Петра надо восхвалять, а тех русских деятелей, которые в угаре государственного и научно-технического энтузиазма сумели сохранить в себе свободу суждений, имели смелость думать не только о государстве, но и о человеке. При Петре это был автор «Книги о скудости и богатстве» крестьянин И. Посошков, который выступал за облегчение крестьянских повинностей, за уменьшение налогов, за обучение крестьянских детей, за создание равного для всех сословий суда. При преемниках Петра это «верховники», Анисим Маслов, начавший работать над проектом освобождения крестьян в период усиления крепостничества, и др. К ним должны

были бы историки привлекать умиленное внимание русских патриотов, а не к Петру I, превращавшему Россию в прообраз тоталитарного государства и сделавшему один из самых опасных шагов в этом направлении, подчинив государству и Церковь, на что обращает внимание А. В. Карташев: *«Идеология просвещенного абсолютизма, тоталитарно покоряющего своему контролю и Церковь, стала адекватной государственному правосознанию быстро перевоспитавшегося в европейском духе по имени православного правящего класса».*

Екатерининская эпоха, со всеми ее противоречиями — все же важнейший этап в развитии русского либерализма.

Сама Екатерина II, написав «Наказ», дала импульс размышлениям о законности, о правах личности в самодержавном государстве. В статье 35 «Наказа» говорится: *«Надлежит быть закону такову, чтобы один гражданин не мог бояться другого, а все боялись бы одних законов».* И хотя «Наказ» писался под влиянием западных работ о праве («Духа законов» Монтескье и «Преступлений и наказаний» Боккариа), тот отклик, который «Наказ» получил у русского общества, свидетельствует об органичности для России либерализма. Выступления депутатов, приглашенных императрицей на обсуждение «Наказа» (а это были 28 членов комиссии по составлению нового Уложения, среди них горожане, крестьяне — не крепостные, казаки), говорят о зрелости либерального сознания мыслящих русских людей. [...] Все депутаты приветствовали отмену пыток, провозглашаемую в «Наказе», а также призыв к веротерпимости. Любопытно, что французская цензура запретила во Франции печатать «Наказ» императрицы Екатерины II.

Именно в екатерининское время родилась русская интеллигенция, давшая в конце XVIII века таких деятелей либеральной мысли, как Никита Панин, Фонвизин, Пнин, Новиков, Радищев.

Век Екатерины не стал временем торжества идей либерализма. Царица была более занята игрой ума, чем действительной заботой о либерализации русской государственной системы. Работа над «Наказом» не помешала ей укрепить Украину, варварски искоренять в Крыму татар, заточить в крепость слишком ревностных и искренних либералов вроде Новикова и Радищева. Но уже со времени Екатерины II никогда не прервутся в русском обществе мысли об освобождении крестьян, о свободе личности, и великие реформы 60-х годов, можно утверждать, начали подготавливаться именно в екатерининское время.

Деятели новой эпохи развивали либеральные идеи предшествующего поколения. «Негласный комитет» при императоре Александре I приступил к реализации тех проектов, которые оставались при бабке молодого императора лишь предметом салонных бесед. Новосильцов в 1809 году составил «Уставную грамоту», нечто вроде русского хабеас корпус. Главная мысль этого устава — гарантия свободы личности. Декабристское движение как типично либеральное возникло как раз под влиянием начинаний «Негласного комитета», а в Конституции Никиты Муравьева можно встретить целые пассажи, заимствованные из «Уставной грамоты» Новосильцова.

Благодаря реформаторской деятельности М. П. Сперанского, составившего уже в царствование Николая I первый свод законов Российской империи, либеральные идеи, выработавшиеся в екатерининское и александровское время, воплотились частично в формальное законодательство. Так, 47-я статья Основных законов гласила: *«Империя Российская управляется на твердой основе положительных законов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих»*. В этой формулировке самодержавие в его прежнем истолковании переставало быть таковым, ибо права императора ограничивались здесь законом. Русская литература николаевского времени показала, как на практике исполнялись эти законы. Достаточно тут свидетельства Гоголя («Ревизор», «Мертвые души») и Герцена («Былое и думы»), но для нашей темы существенно подчеркнуть органичность идей законности для русского правового сознания.

Весь XIX век до 60-х годов определялся таким взлетом либерального сознания, таким углублением в проблему личности, что русская мысль через посредство великой русской литературы поднялась высоко над всей европейской мыслью.

И хотелось бы пересмотреть утвердившийся в историографии исключительно материалистический подход, согласно которому реформы 60-х годов были следствием, главным образом, экономических потребностей России, а не всего развития русского либерального сознания, не выражением торжества общественного мнения, глубоко укорененного в России со времен новгородского веча, Соборов XVII века, законодательных предложений екатерининской и александровской эпох.

Деятели великих реформ Д. Блудов, С. Зарудный, Н. Милютин, Кошелев, Ю. Самарин, Вел. Кн. Константин, Валуев, ободряемые императором Александром II, довершили дело, к которому двигалась несколько столетий русская либеральная мысль.

Реформы 60-х годов поразят непредубежденного историка тем сочетанием смелости и осмотрительности, решительности и осторожности, которое свойственно лишь мероприятиям опытных либеральных политиков. Существовавшее около трех веков крепостное право было отменено без всяких потрясений, без бессмысленного пролития крови, без уничтожения целых классов общества, без замены власти одних тиранов властью и произволом других, в общем, без побочных явлений, которыми сопровождалось крушение феодализма в странах Западной Европы. Русское общество, подготовленное гуманистической русской литературой, сразу признало естественным видеть в крестьянине гражданина, не менее достойного, чем другие подданные империи, а сам русский мужик, обретя юридическую свободу, не бросился грабить и убивать, а довольно быстро приспособился к новой системе отношений. Количество крестьянских бунтов после отмены крепостного права было не меньше и не больше, чем в дореволюционный период XIX века. Советский учебник истории меланхолически признает: *«Всенародное восстание, за которое боролись революционеры-демократы, осу-*



*существовать не удалось». [...] Вопреки утверждениям советских историков, либералы не хуже революционеров понимали необходимость наделения освобожденных крестьян землей, но — в отличие от авантюристических планов революционеров — такая передача земли крестьянам должна была быть осуществлена, по мысли либералов, без разоренья помещичьего землевладения. Если юридическое освобождение крестьянина, его гражданскую идентификацию возможно было осуществить за один день, то нельзя было сразу, без ущерба для страны, ломать сложившиеся за века экономические отношения, а потому экономическое освобождение крестьян было реформами 60-х годов лишь начато, а завершено почти через 50 лет реформами Столыпина.*

Деятели 60-х годов продемонстрировали, что не экономические ломки приводят к политическим свободам и справедливости, а как раз наоборот: только страна, делающая шаги в направлении освобождения личности, обеспечивает себе экономический подъем. После реформ 60-х годов в России без потрясений и человеческих жертв, которыми сопровождалась, например, петровские преобразования и сталинская индустриализация, совершилась промышленная и техническая революция. Так, выплавка чугуна за 35 лет после реформ возросла более, чем в четыре раза, выплавка железа и стали — в пять раз, добыча каменного угля — более, чем в десять раз. Продукция хлопчатобумажной промышленности увеличилась почти в пять раз, протяженность железных дорог выросла с одной тысячи километров в 1856 году до 23 тысяч в 1880 году, и, что очень показательно, вывоз продукции из страны превысил ввоз более, чем на 20 миллионов рублей, что обычно свидетельствует о здоровье экономики. Все это стало возможным не благодаря насилию над народом, а как раз наоборот — благодаря резкому расширению сферы личных свобод.

Помимо самого существенного в реформах — освобождения крестьян, — необходимо упомянуть расширение прав местного самоуправления (земства, городские думы), резкое сокращение обязательной военной службы с 25-ти до 6-ти лет, значительное смягчение цензурных правил (большое количество книг было разрешено печатать вообще без цензуры), приобретение университетами элементов автономии. Была проведена важнейшая реформа суда. Впервые в России суд стал соревновательным и гласным. Русская судебная система после 60-х годов стала самой демократической в Европе, возможности защиты подсудимого в условиях гласности и независимости суда от государства были такими, что суд не раз оправдывал даже государственных преступников.

В результате реформ 60-х годов в России не воцарилось царство либеральности, не бросились в объятия друг другу богатые и бедные, обиженные и обидчики, не потекли молочные реки в кисельных берегах. Утопии оставались на страницах всяческих «Что делать?» — жизнь человеческая, жизнь общественная, жизнь государственная не подчиняются благим пожеланиям утопистов. Реформаторы 60-х годов были людьми мудрыми, они руковод-

ствовались убеждением, что одинаково опасны для страны и стагнация, и ускорение процесса, который должен развиваться естественно. Один из умнейших деятелей того времени Ю. Самарин сравнивал развитие общества с родами: «*Беременная женщина стонет и мечется, но кто вздумает, из сострадания, ускорить роды, тот получит, вместо здорового ребенка, выкидыш*». Создатели русского тоталитаризма старались или задушить ребенка в чреве матери-истории (тоталитаристы у трона), или ускорить роды «из сострадания» (тоталитаристы-революционеры).

Попыткой ускорить развитие русской свободы стала террористическая деятельность народолюбцев. Процесс ужесточения русской жизни в 70-80 годах показывает, к чему вели Россию политики, которые хотели «*устроить без Христа*» (Достоевский). Но работу русского либерального сознания уже невозможно было остановить.

Революция 1905 года, прошедшая, в основном, под знаком либерализма, завершилась Октябрьским манифестом, поставившим Россию в ряд с западноевропейскими демократиями. И опять русский народ показал себя вовсе не тем чудовищем крайностей, «бездн», как это иногда представляется. В первой Думе (март 1906 года) радикально-левые (социал-демократы) и радикально-правые («Русское собрание») получили вместе всего 45 мест, в то время как либеральная партия кадетов — 170. Противодействие реформам со стороны двора, его попытки ограничить права народного представительства привели по известной схеме к победе крайних элементов, и вот во второй Думе крайне левые и крайне правые получили более половины мест. Возник парадокс: Дума, созданная в результате Октябрьского манифеста, этот самый манифест подвергла атакам как справа, так и слева, а социал-демократическая (большевистская) фракция Думы вообще начала создавать «военные организации» для переворота, и сам вождь большевиков Ленин прямо заявляет, что задача социал-демократических депутатов не в том, чтобы конструктивно работать в Думе, а в том, чтобы работу эту разваливать. Какой же вывод делает царская власть? Да опять тот же, что всегда в подобных ситуациях: разгоняет Думу (переворот 3 июля), изменяет избирательный закон таким образом, чтобы посеять в народе недоверие к парламентской системе, а на национальных окраинах — вызвать взрыв сепаратистских настроений. Но даже в этих условиях в Думе не взяли верх крайние элементы — победил центр: октябристы и кадеты. Опираясь на этот центр, Столыпин и провел свои реформы: аграрную и народного образования.

Правда, Столыпин и поддерживающие его партии не проявили в отношении к национальным окраинам такой гибкости, как во внутрирусской политике. Столыпин осуществлял прежний имперский курс, чем внес печальный вклад в дело возбуждения ненависти к русским в Финляндии, Польше, на Кавказе, в Средней Азии. Не смог найти Столыпин и альтернативу террору слева, противопоставив ему правительственный террор.

Время Думской монархии (1907 — 1914) определилось поразительным улучшением благосостояния народа, укреплением русской экономики,

расширением прав личности, взлетом духовной энергии («серебряный век» русской литературы и русского искусства). Долго после октябрьского переворота будут говаривать в России старики: «Хороша была жизнь перед войной» (1914 года). И есть даже то ли анекдот, то ли быль, как престарелая русская актриса уже в 40-м году на занятиях политкружка на вопрос, как она представляет себе жизнь при коммунизме, перечислила все возможные блага, о которых только может мечтать простой человек, а в заключение прибавила: «Ну, совсем как перед революцией».

Почувствовав огромную силу России (а сила эта была результатом деятельности либеральных политиков), правые круги решили ее использовать не для дальнейшего продвижения России в экономической, культурной, правовой сферах, а для наступления на Думу и для увеличения внешнеполитической активности, которая и привела Россию к катастрофической для нее войне. После солженицынского «Августа» нечего прибавить к картине того вреда, который монархия принесла русской армии в период русско-германской войны. Гибель миллионов русских людей, разорение сельского хозяйства, лишившегося работников и лошадей, начавшийся в городах голод, кризис в промышленности и, в связи со всем этим, рост эффективности большевистской пропаганды — таков итог войны к началу 1917 года.

И хотя Февральская революция, ставшая впервые после Собора 1613 года выражением почти общенациональных чаяний, привела к власти правительство, назначенное народными избранниками, это последнее уже не в состоянии было найти выход из кризиса.

А. И. Солженицын правильно говорит, что *«Временное правительство существовало, математически выражаясь, минус два дня, то есть оно полностью лишилось власти за два дня до своего создания»*; однако никак нельзя согласиться с нашим писателем и историком, что в поражении Временного правительства выразилось ничтожество и бездарность либерализма. Дело представляется иначе: слишком непропорциональны были силы разрушения, запущенные за три года до возникновения Временного правительства, и личностные возможности довольно заурядных людей, взявших на себя непосильное бремя спасения России. В условиях мирного развития между 1905 и 1914 годами руководимая либералами Россия и добила тех успехов во всех областях жизни — экономической, культурной, правовой, — о которых сам же А. И. Солженицын неоднократно (и справедливо!) упоминает во многих своих публицистических и художественных вещах. [...]

В политике есть и такое явление, как гангстеризм. Демократическое Временное правительство именно вследствие своей либеральной сущности не могло действовать гангстерскими приемами. В то время как оно искало оптимальных способов решения кризиса без нарушения законности и демократических принципов, правые и особенно левые гангстеры обещали измученным войной и ее последствиями массам сиюминутное царство Божье, только бы они согласились отвергнуть демократию то ли в пользу самодержавия, то ли в пользу коммунизма. Демократическое правитель-

ство, совершенно не имеющее того опыта лавирования, который имеют нынешние западные демократии, а главное — не имеющее историей отпущенного времени, растерялось, осталось в трагическом одиночестве и пало. Оно пало, по словам А. Ф. Керенского, сваленное «большевиками справа и слева». В этих словах мы найдем большую долю истины, если под большевиками справа понимать те элементы русского общества, которые со времен великих реформ делали все, чтобы оттолкнуть массы от либерализма в сторону левого экстремизма. Либеральные деятели, желая именно добра династии, предупреждали ее от опасности ограничения свобод. П. Б. Струве писал в открытом письме Николаю II, что *«режим погубит себя, если будет настаивать на управлении страной бюрократическими методами»*. Если бы монархия вняла этому и подобным предупреждениям, если бы она согласилась сделать правительство ответственным перед Думой, которая ведь никак не ставила целью свергнуть царя (думцы еще в 1916 году встречали появление Николая II в зале заседаний криками «ура!»), то не было бы не только октябрьского переворота, но и февральской революции. А Временное правительство не оказалось бы в положении человека, который пытается остановить летящую с огромной скоростью глыбу.

\* \* \*

Создание на территории России тоталитарного государства не было фатально предопределено. Русская персоналистическая, антитоталитарная мысль, выражавшая представления русского человека о свободе выбора не-свободы от надперсональных структур, имеет глубочайшие исторические и психологические корни.

Как бы сильны ни были в дооктябрьской России тоталитарные тенденции, в ней на протяжении ее тысячелетней истории можно насчитать не более пятидесяти лет господства законченно тоталитарных режимов (Ивана IV, Петра I и Павла I). После же 1917 года впервые в истории русского народа возникла система, определяемая тоталитарной идеологией, с помощью дезинформации и насилия навязывающая народу определенный тотальный объект.

И потому—то борьба за права человека, развернувшаяся ныне в СССР, не просто один из видов оппозиционной деятельности, но выражение глубочайшей потребности человека — потребности индивидуальной свободы, не искоренимой в русском человеке.

1980, №№ 22 — 23

## ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ

### Изнутри и снаружи

*Фрагменты из книги*

[...]

Тюрьма как общественный институт известна человеку с незапамятных времен, и смело можно сказать, что как только возникло само общество, так сразу же возникла и тюрьма. Видимо, с того же времени процветает литературный жанр тюремных воспоминаний, дневников, записей и заметок. За всю нашу историю по меньшей мере десятки миллионов людей побывали в тюрьме, и тысячи из них изложили на бумаге свои впечатления. Однако это не утолило жажды человечества, того вечного жгучего интереса, который неизменно возбуждает к себе тюрьма. Потому что с древнейших времен привык человек считать, что всего страшнее на свете — смерть, безумие и тюрьма. А страшное притягивает, манит, страх — всегда неизвестность. Ну, в самом деле, вернись сейчас кто-нибудь с того света — то-то его вопросами замучают!

Три события, приходящие независимо от нашего желания, по воле рока, как бы взаимосвязаны. Если безумие — это духовная смерть, духовная тюрьма, то и тюрьма — подобие смерти, а чаще всего и приводит человека к смерти или безумию. Эти вот три страха, живущие в человеке, используются обществом для наказания непокорных. Точнее сказать, для устрашения остальных. И так это устрашающее назначение тюрьмы прочно засело в сознании людей, что все — от законодателя до надзирателя — считают само собой разумеющимся: в тюрьме должно быть скверно и тяжело. Ни воздуху, ни свету, ни теплу, ни пища! Особенно же возмущается общество, когда заключенный начинает заикаться о каких-то там своих правах или о человеческом достоинстве. Ну, представьте себе, в самом деле, если грешники в аду начнут права качать — на что это будет похоже?

При этом как-то само собой забылось, что первоначально предполагалось не заключенных пугать, а тех, кто еще на воле остался, то есть само общество. И, стало быть, это общество само себя теперь тем более пугает, чем больше терзает заключенного. Они, следовательно, жаждут этого страха. Конечно, и тюремное население, как всякое порядочное общество, имеет свою внутреннюю тюрьму, называемую карцером, а кроме того — различ-

ные режимы содержания: менее строгие, более строгие, особо строгие. Поскольку даже в тюрьме человеку должно быть безразлично, что же с ним станется. Всегда должно быть что-то, что можно еще у него отнять и чего он терять не хочет. Потому что человек, которому терять нечего, смертельно опасен для общества и является величайшим соблазном для всех честных людей — если, конечно, он не труп. И чтобы не завидно было остальному человечеству, чтобы не соблазнялись праведные души, все эти режимы и внутренние наказания рассчитаны таким образом, что последняя их стадия, когда человеку действительно терять нечего, подводит как можно ближе к состоянию естественной смерти. Потому-то знающий зэк не судит о тюрьме по фасаду или по общей камере — он судит по карцеру. Так и о стране вернее судить по тюрьмам, чем по достижениям.

Веками внутреннее устройство тюрем было примерно одинаково, и постороннему человеку, который придет на экскурсию, скажем, в Петропавловскую крепость, никак не понять, что же в ней особенного, в этой тюрьме. Койка — как койка, стены — как стены. Ну, решетки на окнах. Так ведь на то же и тюрьма, чтобы не убежать. И книжки читать разрешали — чего ж еще желать. И уж совсем не понять постороннему человеку, что такое режим.

Какая, собственно, разница — час у тебя прогулки или полчаса, 450 грамм хлеба дают в день или 400, 75 грамм рыбы или 60? Это надо быть бухгалтером или поваром, чтобы подсчитать такое обилие цифр. Постороннему человеку одно только и интересно, умирали заключенные от всего этого или не умирали. Ах, не умирали — ну, так не о чем и говорить. Обычно самое сильное впечатление производят на посторонних сводчатые потолки и толстые стены. Мрачно, страшно! Вот она такая, тюрьма-то, бррр... И сколько бы тюремных воспоминаний они ни прочли, никогда не понять им всех этих мелочей, всех этих пустяков.

Вот стоит сваренная из металлических стержней кровать. На ней ватный матрац — все вроде бы нормально. Но, оказывается, заключенные, спавшие на таких кроватях, даже голодовку объявляли, требуя, чтобы уменьшили просветы между металлическими стержнями. Странно как-то — стояли кровати лет уже, наверно, двадцать, и никто не заикался насчет просветов. Сдурели что ли зэки, есть им не хотелось или куражились? Дотошный архивист, может быть, раскапает в тюремных архивах, что примерно в то же время распорядился начальник тюрьмы отбирать у заключенных старые газеты и журналы. Вполне разумное распоряжение — чтобы, стало быть, не захламляли зэки камеру всякой макулатурой. Похвально. Но никакой связи между этими двумя событиями даже архивист не усмотрит, и только зэк может понять эту связь — если спать на этой кровати он мог, только подложив под матрац кучу журналов и газет. Но вот отобрали их — и моментально кровать обратилась в орудие пытки. За одну ночь матрац весь провисает в дырки, и ты спишь на железной решетке.

Полагается, например, в карцере тумба или иное приспособление для сидения, и всякий карцер имеет такое приспособление — некий выступ из

стены, сиди себе и сиди целый день. Но вот сделали этот выступ чуточку выше, чем надо бы, и чуточку короче, уже, плотно сесть нельзя, а ноги не достают до пола. Всего-то, казалось бы, сантиметры какие-то, пустяки...

А эти 50 грамм хлеба или 15 грамм рыбы — что за мелочи, право, и говорить даже стыдно. Забывает человек, что даже пушинка сломала когда-то спину верблюду. Забывает, что разница между жизнью и смертью такая ничтожная, такая пустяшная: всего-то на пару градусов изменить температуру тела — глядь, а это уже труп. И сколько существует тюрьма, этот общественный институт, столько же продолжается борьба, кипит великая битва между эками и обществом. За граммы, сантиметры, градусы и минуты. Идет она с переменным успехом. То эки напрут, а общество отступит. Там 50 грамм, здесь — 5 сантиметров, тут — 5 градусов отвоюют эки, а глядишь — жизнь! Но не может общество допустить жизнь в тюрьме. Должно быть в тюрьме страшно, жутко — это же тюрьма, а не курорт. И вот уже напирает общество: там 50 грамм долой, здесь 10 сантиметров, тут 5 градусов, и начинают эки *доходить*. Возникает сосаловка, мориловка, гнуловка. Начинается людоедство, помешательство, самоубийство, убийство и побеги.

Много лет я наблюдал за этой борьбой, глухой и непонятной для посторонних. Есть у нее свои законы, свои великие даты, победы, битвы и поражения. Свои герои, свои полководцы. Линия фронта в этой войне, как и в других войнах, все время движется. Здесь она именуется режимом. Зависит она от готовности эков идти на крайность из-за одного грамма, сантиметра, градуса или минуты.

Новому поколению эков никогда не удастся отвоевать прежних позиций — новое положение они воспримут как нормальное, как исконное, как должное. Они могут десятки раз выигрывать свои битвы, но проиграть можно только единожды. Поэтому эки, объявившие голодовку и снявшие ее, ничего не добившись, проиграли не только свою войну, но и многим будущим поколениям ухудшили жизнь. Вот еще почему не можешь ты погрузиться в безразличие, впасть в оцепенение. И вот уже гремят копыта, поет труба, идут в атаку эскадроны.

Так-то вот сидел я себе во Владимире и почитывал книжечки. Кроме основного своего предмета — биологии, — учил я еще английский. Большинство в наших камерах обычно учит какой-нибудь язык: евреи, как правило, учат иврит, остальные — кто английский, кто немецкий, кто испанский. Методика самая простая: читай как можно больше книг со словарем и выписывай незнакомые слова, а потом все время эти слова повторяй. Обычно для удобства выписывается слово на клочок бумаги: с одной стороны — само слово, на обороте — его русское значение. Карточки эти потом удобно перебирать той или другой стороной.

А чтобы они не путались и не терялись, вошло у нас в моду клеить из пустых спичечных коробок шкаф. Очень удобный получался шкаф — в пять-шесть рядов, с выдвижными ящичками. Таким вот способом при известном напряжении можно выучить за месяц две, а то и три тысячи слов. Можно их

группировать по ящичкам шкафа — по смыслу или по иному признаку. Начальство уже к нашим ящикам так привыкло, что даже и на шмоне их не отбирали. С книгами же, и в особенности со словарями, было гораздо труднее.

Из дому получать книг не разрешалось, библиотека была бедная, а можно было выписывать книги из магазинов по почте наложенным платежом. Но и то не всякие книги разрешались. В особенности же было запрещено иметь книги, изданные не в СССР, — даже словари, даже изданные в Праге или в Варшаве. Потому, естественно, все норовили получить книги как-нибудь нелегально.

Мне в этом смысле повезло. Еще сидел я под следствием в Лефортове, а мать моя уже начала передавать каждый месяц по три-четыре книги, вместе с передачами. Причем среди советских книг были и не советские, изданные в Англии и в Соединенных Штатах. Лефортовское начальство мне их, конечно, не передавало, а складывало на склад. Надеялись они, что я о том не знаю и при отъезде из тюрьмы не потребую. Таким образом скопилось их на складе штук 30. Отправляли же меня из Лефортова во Владимир ночью, когда крупного начальства в наличии не было. Естественно, я начал скандалить, требовать свои книги и пригрозил заявить этапному конвою, что тюрьма не отдает мне вещи. Этапный же конвой ни тюрьме, ни КГБ не подчиняется, более того, как и все офицеры МВД, с КГБ враждует. Поэтому, рассчитал я, вполне может конвой заартачиться и не взять меня на этап «как имеющего материальные претензии к тюрьме» — так это называется. Того же, видимо, боялись и лефортовские надзиратели. Конечно, дежурный офицер сначала поругался со мной с полчасика для приличия, попытался взять на горло. Но уж знали они меня достаточно, сидел я у них третий раз, — понимали, что не уймусь, и книги отдали. Так и привез я во Владимир целый мешок книг — еле дотащил.

С этим мешком книг имел я потом постоянную мороку: то их у меня отнимали — для проверки, а потом не отдавали; то, наоборот, заявляли, что проверять их некому, а потому отдать нельзя; то вводили лимит — 5 книг на руки, остальные опять же отбирали. И каждый раз приходилось мне из-за них то жалобы писать, то голодовки объявлять. Один раз в лагере я их даже украл со склада, подменив другими. Словом, целая эпопея. Любопытно, однако, никто их ни разу не просматривал, никто даже не знал, что они не советские, иначе мне никакие голодовки не помогли бы. Просто раздражал мой мешок начальников. «У нас здесь не университет, учиться будете после освобождения». Вот и всё.

Так или иначе, а каждый из нас имел свой мешок с книгами, причем, как правило, книги эти передавались по наследству — от одного поколения эков к другому — и являлись как бы общественным достоянием. А потому шла у нас с начальством непрерывная книжная война. Книги приходилось прятать, чтобы не попадали они начальнику на глаза, особенно же на случай шмона. Задача эта далеко не простая: книга же не иголка, куда ее спрятать? В камере, как ни трудно, а все-таки еще можно извернуться. Но хуже нельзя



было придумать, если вдруг открывалась кормушка и корпусной говорил: «Соберитесь с вещами». Это могло означать все, что угодно: перевод в другую камеру, перевод на другой корпус, в карцер, на этап. И во всех случаях предстоял персональный шмон. Куда ж их девать, эти чертовы книги?

Помогало очень, если оторвать у книги корешок, титульный лист, а то и предисловие. И тогда можно было спорить, что это не книга вовсе, а бумага для туалетных надобностей. Так можно было одну-две книги заначить. Еще навострились ребята подделывать библиотечный штамп: дескать, это не моя книга, а библиотечная. Но и это разоблачили со временем. Если с книжки ободрать корешок, а на его место аккуратно приклеить обложку от толстого журнала, то можно было выдавать ее за журнал — «Октябрь» или «Новый мир», например. Но вскоре стали отбирать и журналы. Самое же верное было побыстрей читать и как можно больше переписывать в тетрадь. Такие конспекты считались уже законной собственностью зэка и тоже переходили по наследству. Но их часто забирало на проверку КГБ, чтобы выяснить, не пишем ли мы антисоветских романов или тюремных дневников. Словом, шла Столетняя книжная война.

Начальство наше очень скоро сообразило, что мы, в отличие от уголовников, гораздо острее переживаем потерю книг, свиданий или переписки с родственниками, чем лишение продуктов питания, строгий режим или пониженный рацион, и потому нажимало на всякие духовные лишения. Хотя, конечно, *ударить по желудку*, как говорят уголовники, всегда оставалось излюбленным средством воспитателей, им они тоже не пренебрегали. У нас же было свое оружие: жалобы, голодовки, упорство и избобретательность. Но главное, без чего никакая изобретательность не спасла бы нас, — это сплоченность и гласность.

Поразительное явление: всего каких-нибудь тридцать лет назад десятки миллионов политических заключенных гнали на великие стройки коммунизма, сотни тысяч их гибли от цинги и дистрофии. А весь мир в это время, захлебываясь от восторга, восхвалял прогрессивный советский режим. Не то чтобы не хватало им информации, а просто не желали знать, не хотели верить. Хочется людям иметь красивую мечту о счастье и справедливости где-нибудь на земле. И даже самые серьезные западные наблюдатели изумлялись грандиозности советских достижений, размаху строительства, энтузиазму советских людей, о зэках же — ни слова.

Теперь же по стране сидело нас, политических, никак не больше двух десятков тысяч, примерно столько, сколько в одном Норильске умирало раньше зэков за зиму. Но уже почуяли на Западе, что и их судьба, их собственное будущее решается отчасти во Владимирской тюрьме. Стала западная печать уделять нам некоторое внимание, даже вникать в нашу режимную войну, во все эти граммы, градусы, сантиметры. Заинтересовалось вдруг человечество: может ли быть тюрьма с человеческим лицом? Нам это оказалось весьма кстати. А потому не успевала иногда закончиться наша очередная голодовка, как надзиратели тайком сообщали нам подробности передач Би-

Би-Си или радио «Свобода» об этой самой голодовке, — даже их увлекла эта радиовойна.

Забеспокоились и кремлевские вожди, очень их стало заботить, что тускнеет фасад великого здания. Ах, это всегда так некстати! Вот в тот самый момент, когда пролетарии всех стран готовы были, наконец, соединиться и воплотить вековую мечту человечества, в тот самый миг, когда все усилия народов надо направить на борьбу с диктатурой в Чили или с апартеидом в Южной Африке, — вдруг выплывают какие-то эски, какие-то голодовки, пайки, граммы и градусы. Это отвлекает трудящихся, помогает мировому империализму, отдаляет светлое будущее.

А с другой стороны, менялось настроение и самой государственной машины: не было больше того революционного пыла и рвения, — расстрелял его Сталин в 30-е — 40-е годы. Все больше деревенел аппарат, захватывала его чиновничья апатия, боязнь ответственности, боязнь начальства, добротное бюрократическое равнодушие. Обросли законами, инструкциями, постановлениями, и не всегда понятно было, как их толковать. Лучше всего, конечно, — доложить наверх и ждать распоряжений. Сверху же распоряжаться не спешили. Сверху спускали все новые инструкции, постановления, которые опять надо было истолковывать как-то, примирить их вечные противоречия. И пухла голова у начальника тюрьмы. Вздыхали старые тюремщики: распустили вас, двадцать бы лет назад!..

Но и мы уже далеко не те кролики, что умирали молча и безропотно. Мы поняли великую истину, что не винтовка, не танки, не атомная бомба рождает власть, не на них власть держится. Власть — это покорность, это согласие повиноваться, а потому каждый, отказавшийся повиноваться насилью, уменьшает это насилие ровно на одну двухсотпятидесятиллионную долю. Мы прошли через участие в правовом движении, прошли хорошую школу в лагерях, мы знаем, какую сокрушительную силу имеет человеческая непокорность. Знают все это и власти. Давно уже отбросили они в своих расчетах всякие коммунистические догмы. Не нужно им больше от людей веры в светлое будущее — им нужна покорность. И когда нас морят голодом по лагерям или гноят по карцерам, добиваются от нас не веры в коммунизм, а покорности или хотя бы компромисса.

Во Владимирскую тюрьму нас собрали по всем лагерям — самых непокорных, самых упрямых: голодовщиков, забастовщиков и жалобщиков. Здесь почти не было людей случайных, а те немногие случайные люди, которые попадали к нам, поневоле встраивались в нашу линию обороны. [...]

До 1975 года нас, политических, на работу не гоняли: тюремное начальство считало это нецелесообразным. Знали они по прошлым годам, что большинство на работу не пойдут, а кто и пойдет, все равно норму делать не будут. Невыгодно было это тюрьме — держать рабочее помещение, вольнонаемных мастеров и добавочный план на нас, не получая реальной выработки. Весной же 75-го — в ожидании Хельсинки что ли — Москва распорядилась иначе: приказано было заставить нас работать.

Принудительный труд и вообще-то унизителен для человека. В условиях же тюремной системы, где 80% заработка вычитается тюрьмой на нужды охраны, а из оставшейся суммы вычитается стоимость твоего питания, одежды и содержания, где работа — это средство твоего перевоспитания, где отнимает она 8 часов в день при шестидневной рабочей неделе, притом нормы выработки искусственно завышаются, чтобы сделать труд непосильным, — в таких условиях труд неприемлем для уважающего себя человека.

Естественно, мы отказались. И началась долгая осада. Всех нас — как злостных отказчиков — по нескольку раз протащили через все возможные виды наказания: только на строгом режиме я за это время просидел полтора года (это из неполных двух!). Другим больше досталось карцеров, кое-кто просидел там по 60 и даже 75 суток. Нам пресекали переписку с родными, лишали свиданий, продуктов. Война шла безжалостная, на износ. Каждый понимал, что проиграть нельзя. Поэтому, кроме обычных методов обороны: голодовок и нелегальной передачи информации на волю о беззакониях в тюрьме, мы применили и несколько неожиданный метод — завалили официальные инстанции буквально лавиной жалоб.

Нужно знать советскую бюрократическую систему, чтобы понять, какой это давало эффект. По существующим в СССР законам, каждый заключенный имеет право подавать жалобы в любые государственные или общественные учреждения и должностным лицам. Жалоба должна быть отправлена тюрьмой в трехдневный срок с момента ее подачи. За это время начальство должно написать сопровождающее ее пояснение от себя, а также выписку из личного дела жалующегося, и все это вложить в тот же конверт, что и жалобу. Инстанция, которая жалобу получает, регистрирует ее в журнале своих входящих бумаг и обязана в течение месяца дать на нее ответ. Если инстанция не компетентна решать затронутый в жалобе вопрос, она пересылает ее в компетентные инстанции. На повторную жалобу заводится отдельное производство. Существует несколько законов и инструкций, регулирующих порядок рассмотрения жалоб. На практике, если вы написали одну жалобу, это никогда не дает эффекта: ее перешлют «компетентному лицу», то есть именно тому, на кого вы жалуетесь. А он, естественно, найдет жалобу обоснованной. Чаще всего жалоб просто никто не читает, а сразу пересылают их вниз, по инстанции. Такая практика породила в людях неверие в силу жалоб. Ворон ворону глаз не выклюет, — говорят эзки.

Однако при соблюдении известных правил жалобы весьма эффективны, даже в тюрьме. Нужно только:

- знать законы и порядок рассмотрения жалоб;
- досконально знать все законы и инструкции о тюремном режиме;
- жалобу составлять предельно кратко, четко, лучше всего на одной странице, иначе ее никто читать не станет. В жалобе должен быть указан только факт нарушения закона или инструкции, дата этого события, фамилии виновных и указание на закон или на инструкцию, которые при этом были нарушены;

- писать нужно крупным шрифтом и разборчивым почерком, оставляя сбоку поля;
- если ты хочешь, чтобы жалобу рассматривала высокая инстанция, жалуйся на начальника предыдущей: то есть если тебе надо, чтобы отвечало главное начальство МВД, жалуйся не на начальника тюрьмы, а на начальника областного управления. Для этого нужно медленно подниматься по ступенькам чиновничьей лестницы, жалуясь каждый раз выше на ответ предыдущей инстанции;
- никогда не жалуйся по двум различным вопросам в одной и той же жалобе;
- отправлять жалобу надо заказным письмом с уведомлением;
- самое главное условие: жалобы надо писать в огромных количествах и в самые некомпетентные инстанции.

В разгар нашей войны мы писали каждый от десяти до тридцати жалоб ежедневно. Сочинить тридцать жалоб в один день трудно, поэтому обычно мы распределяли между собой темы и каждый писал на свою тему, а потом давал остальным переписывать. Если у вас в камере пять человек и каждый берет на себя по 6 тем, то в результате обмена каждый напишет по 30 жалоб, а сочинять придется только по шесть. Переписывать же 30 страничек готового текста, да еще крупным почерком — это примерно полтора-два часа работы.

Адресовать жалобы лучше всего не чиновникам, а самым неожиданным людям и организациям: например, всем депутатам Верховного Совета, республиканского или областного, городского совета, всем газетам и журналам, всем космонавтам, всем писателям, художникам, артистам, балеринам, всем секретарям ЦК, генералам, адмиралам, передовикам производства, чабанам, оленеводам, дояркам, спортсменам, и так далее, и тому подобное. В Советском Союзе все мало-мальски известные люди являются должностными лицами.

Далее происходит следующее: тюремная канцелярия оказывается завалена жалобами и не успевает отправлять их в трехдневный срок, так как им нужно составлять вышеупомянутые сопроводительные записки к каждой жалобе. За нарушение срока отправки они непременно получат выговор и лишатся премиальных. В самые жаркие дни нашей войны по приказу начальника тюрьмы в помощь канцелярии привлекались все: библиотекари, вольнонаемные бухгалтеры, цензоры, офицеры политчасти, оперативники. Более того, рядом с тюрьмой находилось училище МВД, так курсантов пригоняли помогать канцелярии.

Все ответы и отправки нужно регистрировать в специальную тетрадь и строго следить за соблюдением сроков ответа и отправки. Все эти жалобы проходят сложный путь и во всех инстанциях регистрируются, на них заводятся папки и делопроизводство. В конечном итоге, они все обрушиваются в две инстанции: в местную прокуратуру и местное управление МВД. Эти инстанции тоже не успевают отвечать, тоже нарушают сроки, за что тоже

получают выговоры и лишаются премий. Бюрократическая машина работает на всех парах, а вы переносите бумажный вал с инстанции на инстанцию, сея панику в рядах противника. Чиновники есть чиновники, они вечно враждуют друг с другом, и очень часто ваши жалобы становятся оружием в их руках для междоусобной или межведомственной войны. Так продолжается несколько месяцев. Наконец, в дело вступает самый мощный фактор советской жизни — статистика.

В какую-то высокую инстанцию докладывают среди прочих цифр и сводок, рапортов и сообщений о ходе строительства коммунизма, что вот, на Владимирскую тюрьму, а то и на всю область, поступило — за отчетный период — 75 тысяч жалоб. Никто этих жалоб не читал, но цифра неслыханная. Она сразу портит всю отчетную статистику, какие-то показатели в социалистических соревнованиях каких-то коллективов, управлений или даже областей. Всем плохо: вся область из передовых переходит в отстающие, у нее отбирают какие-то там переходящие красные флаги, вымпелы и кубки. Трудящиеся негодуют, в обкоме паника, а в вашу тюрьму срочно снаряжается высокая комиссия.

Эта комиссия не поможет вам лично, разве что разрешит несколько мелких вопросов в ваших жалобах. Но она обязательно должна найти массу недостатков и упущений в работе начальства. За этим ее и посылали, платили ей командировочные, суточные и премиальные. Начальство получает разгон. Кого-то снимают, кого-то понижают в должности, кто-то получает выговор, комиссия рапортует вверх о принятых мерах и удовлетворенно уезжает домой. Далее, поскольку вы посылали жалобы всяким дояркам, депутатам, балеринам и оленеводам, то им всем тоже надо отвечать, разьяснять и успокаивать, сообщать о решении комиссии и о принятых мерах.

А вы все пишете и пишете дальше, портите статистику за новый отчетный период и выбиваете новую комиссию, и так — годами. Прибавьте сюда комиссии и выговоры, которые возникают в результате утечки информации за рубеж, директивы, циркуляры, контрприказы, жалобы родственников, кампании и петиции за границей, — и вы поймете, что выдержало наше начальство, воюя с нами за выход на работу. Какой начальник тюрьмы, какой прокурор, какой секретарь обкома КПСС захочет такой жизни? И если бы это зависело только от них, мы давно бы прорвали блокаду. Но был приказ Москвы.

Бог мой, чего только они ни делали с нашими жалобами: их конфисковывали мешками, их крали, не давали нам бумаги, не продавали конвертов и марок, запрещали отправлять заказными с уведомлением (чтобы удобнее было красть), издали специальный приказ и запретили писать жалобы куда бы то ни было, кроме прокуратуры и МВД, сажали за жалобы в карцер. [...]

А ответы — какие мы получали ответы! Владимирские суды, совершенно осатанев от груды исков и требований уголовного преследования наших начальников, отвечали нам, например, что офицеры МВД не подсудны советским судам. Наконец, на все махнув рукой, нам вместо ответов стали

присылать расписки примерно такого содержания: «За истекший месяц получены и отклонены 187 ваших жалоб» — и подпись. Вся бюрократическая система Советского Союза оказалась втянута в эту войну. Не было такого ведомства или учреждения, области или республики, откуда бы мы не получили ответа. Бывало, что две инстанции давали диаметрально противоположный ответ, и тогда мы их срамливали. Под конец мы втянули в эту игру даже уголовников, и жалобная зараза стала распознаться по тюрьме.

Я думаю, если дело протянулось бы несколько дольше, то советская бюрократическая машина просто вышла бы из строя: все учреждения Советского Союза прекратили бы свою работу и писали бы нам ответы. Осада была снята после двух лет борьбы. Нашего начальника тюрьмы сняли и отправили на пенсию, произвели кое-какие перемещения в администрации, и все затихло. Москва отступилась от своего приказа. [...]

Победа досталась нам нелегко. Поддошли, отошали ребята, у каждого открылась какая-нибудь болезнь: у того — язва, у этого — туберкулез. В тюрьме и здоровому человеку нелегко, а уж больному — совсем труба. Болезнью тебя начинают шантажировать: будешь сговорчивым — подлечим, дадим диетпитание, переведем в больницу. При язве и болезни печени всю эту гнилую кильку и тухлую квашеную капусту совсем невмоготу есть, а это — 60% твоей пищи, куда деваться? Если у тебя туберкулез или, скажем, голодные боли при язве, очень любят начальники сажать в карцер. Да еще в голодный день, когда пищи не полагается, норовят тебя вызвать на беседу. Туберкулезникам, по крайней мере, легче — они хоть боли не чувствуют.

Собственно, лечить здесь никого не лечат. Могут слегка смягчить остроту болезни, залечить поверхностно, не допустить смерти. В результате, как правило, у всех болезни приобретают хроническую форму, и потом уже от них не избавишься — всю жизнь на лекарства зарабатывай. Это считается вполне нормальным. «Вы что, лечиться сюда приехали? Мы вас в тюрьму не звали, не надо было попадать», — говорят врачи. Да и больница, собственно говоря, ничем не отличается от обычной камеры: такие же бетонные полы, такие же жалюзи на окнах; ни света, ни воздуха, только что кормят получше. Даже уни-тазов нет — на оправку водят два раза в день. Не захочешь такой больницы.

Вообще медпомощь здесь рассматривается как награда за хорошее поведение. В соседней камере у уголовников сидит эпилептик. Каждый день зэки стучат в дверь, требуют врача. Какой там врач! Часа через четыре, может быть, заглянет в кормушку фельдшер: «Что, эпилептик? Не умрет, больше не зовите», — и захлопнет кормушку. Когда у нас в камере стало плохо Гуннару Роде, мы полночи ломались в дверь, орал в окно, вырвали из пола скамейку и ей с разбегу били в дверь, как тараном, выбили кормушку напроць, дверь треснула. Еще немного, и дверь бы вылетела. Потом нас всех посадили в карцер, но Роде все-таки забрали в больницу. В другой раз посадили опять в карцер Сусленского, а он сердечник, и как его в карцер посадят, у него дня через три — приступ. Так и в этот раз. Тут уж весь корпус, все камеры, включая уголовников, ломали двери — грохот стоял, как при

канонаде. Корпус ходуном ходил. Шутка сказать, 66 камер — около двухсот человек долбили двери. В результате Сусленского на носилках перенесли в другой карцер, на другой корпус — только и всего. [...]

Так что нелегко нам досталась наша победа, — зато для скольких поколений эков отстояли мы право не работать в тюрьме, кто знает? Да и добились многих улучшений. А самое главное, бояться нас теперь начальники, как огня! Нас и пальцем тронуть не смеют теперь. Уголовников же, что ни вечер, кого-нибудь отволокут в туалет и лупят. А то в наручники затянут и месят сапогами. Что ни вечер — крики, стоны. Особенно известен этим майор Киселев. Вечно пьяный, с белесыми, невидящими глазами, он просто больной делается, если за смену кого-нибудь не отметелит. Нас же обходит стороной, даже дышать боится, чтобы не учуяли запах перегара.

Особенно навалились мы на него после того, как в конце 74-го года убили в его смену в карцере уголовника по кличке Дикарь. Долго его били, видно, всю ночь, потому что всю ночь выл он в карцере. Несколько раз за эту ночь вызывали мы корпусного, спрашивали, в чем дело. «А кто его знает, — отвечал он, — должно быть, сумасшедший, вот и воет». Наутро сообщили нам уголовники, в чем было дело. С тех пор два года одной из наших постоянных тем в жалобах был этот Дикарь — требовали суда над Киселевым. Одних только жалоб написали тысячи полторы. Суда, конечно, не добились. Киселев, однако, поутих и уж, во всяком случае, нас боялся. [...]

Надо сказать, что отношение к нам уголовников тоже стало совершенно иное. Рассказывают, что еще лет 20 назад называли они нашего брата не иначе как фашистами, грабили на этапе и по пересылкам, угнетали в лагерях и так далее. Теперь же вот эти самые уголовники добровольно помогали таскать на этапах мои мешки с книгами, делились куревом и едой. Просили рассказать, за что мы сидим, чего добиваемся, и только одному не могли поверить — что все это мы бесплатно делаем, не за деньги. Очень их поражало, что за вот так за просто, сознательно и бескорыстно люди идут в тюрьму. Во Владимирской тюрьме отношения у нас с ними сложились самые добрососедские: постоянно обращались они к нам с вопросами, за советами, а то и за помощью. Мы были высшими судьями во всех их спорах, помогали им писать жалобы, разъясняли законы, и уж, разумеется, бесконечно расспрашивали они нас о политике.

В тюрьме, хочешь не хочешь, а даже уголовники читают газеты, слушают местное радио и, может быть, впервые в жизни задумываются: отчего же так скверно жизнь устроена в Советском Союзе? Подавляющее их большинство настроено резко антисоветски, а слово «коммунист» — чуть ли не ругательство. Из-за своей разобщенности и неграмотности они не могут постоять за свои права, да чаще всего и не верят ни в какие права заключенных. Начальство пользуется их распрями, натравливает друг на друга. Когда хотел начальник сломать кого-нибудь из них, то обычно переводил в камеру к тем, с кем у него смертельная вражда. И уж там кто кого убьет, а убийцу же потом приговорят к расстрелу. [...]

В условиях нашей перманентной войны за режим необходимость согласовывать действия и обмениваться информацией вынуждала нас искать надежные средства связи между политическими камерами, разбросанными по тюрьме. Вот здесь-то и оказались наши уголовнички необычайно полезны: у них вся тюрьма была связана дорогами; из окна в окно, на прогулке, через этажи и корпуса проходили невидимые нити связи. Любые две точки в тюрьме оказывались связаны. В эту же систему подключились и мы.

Должен сказать, что воры, в этом отношении, были предельно честны: записки никогда не попадали в руки надзирателей и доходили в том самом заклеенном и прошитом нитками виде, как мы их отправляли. Соответственно, и нам пришлось принять участие в передаче их почты, и мы всегда нервничали за нее больше, чем за свою. Неловко было бы подвести соседей, которые самоотверженно шли в карцеры, глотали записки целиком, но никогда не отдавали их властям. [...]

Я, помню, только приехал в тюрьму первый раз, ничего еще не знал, сразу после обыска посадили меня на время одного в этапную камеру — темную, грязную и холодную. Вместо унитаза этакий трон, возвышение со ступеньками высотой полметра — в середине дырка. Вонь жуткая. Над дыркой кран — это вместо раковины. Присел я на нары в некотором оторопении от такой камеры. Ну, думаю, неужели мне так три года сидеть? Вдруг слышу: «Гхм!» То ли показалось, то ли действительно кто-то кашлянул у меня под самым ухом. Оглядываюсь по сторонам — никого. Вдруг опять: «Гхм! Землячок!» Что за дьявол? На всякий случай ответил: «Что надо?» — «А подойди, землячок, к унитазу поближе — плохо тебя слышно!» Так состоялось первое мое знакомство с тюремным телефоном.

В других камерах, где настоящие унитазы стоят, там обычно веником или тряпкой откачивают воду из сифона и говорят, действительно, прямо как по телефону.

Однако далеко не все камеры связаны этим телефоном. Обычно позвонить можно только вверх или вниз, в редких случаях напротив — это зависит от устройства канализации. Да и не во всех камерах есть унитазы. Тогда пользуются другим способом. Через все камеры проходит система центрального отопления. Поэтому если алюминиевую кружку, какие дают всем в тюрьме, прижать дном плотно к трубе, а ртом плотно прижаться к отверстию кружки и кричать, то звук хорошо расходится по трубам во все стороны. В другой камере нужно так же точно прижать кружку к трубе, а к отверстию приставить ухо — это очень загруженная связь, целый день гудят трубы от голосов. Но есть в ней и свои неудобства. Во-первых, надо ждать очереди, нескольким людям сразу говорить нельзя. Во-вторых, через несколько камер уже плохо слышно, приходится просить, чтобы передавали из камеры в камеру по эстафете. В-третьих же, не всякое сообщение желательно передавать открыто. Вот для этих-то случаев и существует почта.

Обычно она передается «конем», так же, как и более крупные вещи — продукты, книги и тому подобное. Распускают несколько носков, и из этих



ниток плетут прочный шнур. На конец шнура привязывают груз. Затем, изловчившись, через щель в жалюзи, — а она обычно от силы в палец шириной, — кидают этот груз вбок или опускают вниз. В другой же камере ловят «коня», выставив в щель «плечо», то есть какую-нибудь палку с крючком на конце, а то и плотно скрученную трубочкой газету. Приняв таким образом «коня», шнур втягивают в камеру и привязывают к его концу то, что надо передать. И так ваша посылка движется по тюрьме из окна в окно. Конечно, если застанут вас за этим занятием надзиратели, — 15 суток карцера обеспечены.

Другой способ — передача на прогулке. Веселым словом «прогулка» обозначается, в сущности, весьма скучная процедура. Давно уже прошли те времена, когда заключенные чинно гуляли парами по общему тюремному двору. Теперь прогулочные дворики — это бетонные клетушки размером чуть больше камеры. Стены покрыты грубо набросанным цементным раствором, «шубой», — это чтобы не оставляли надписей. Дверь такая же, как и в камере, с глазком, обитая листовым железом. Стены более трех метров высотой, вместо потолка решетка. Гулять выводят по камерам, так что разнообразия эта прогулка не вносит. Таких прогулочных двориков строят вместе 10 — 12 штук — по пять-шесть с обеих сторон прохода. Сверху, над проходом, специальная платформа для надзирателя, по которой он ходит взад-вперед, поглядывая сверху в дворики направо и налево. Как только он поворачивается спиной, из дворика в дворик норовят перебросить записки или небольшие свертки. Камера, замеченная за этим занятием, обычно лишается прогулки.

Позднее, пытаясь пресечь эту связь, сверх решеток еще постелили мелкую сетку, так что зимой, при сильном снегопаде, снег даже не проваливается вниз, а застревает на сетке. Однако и это не помогло. Заключенные приноровились как-то приподнимать эту сетку и под ней проталкивать в соседний дворик свою почту. Местами сетку стараются прорвать, и тогда, стоя на чьих-нибудь плечах, можно просунуть руку в дыру и кинуть в соседний дворик или в дворик напротив то, что тебе нужно. [...]

И уже совсем, казалось бы, примитивный способ — оставлять надписи на стенах. Мелко-мелко карандашом везде, куда только ни приведут: в бане, на прогулке, в этапных камерах, — оставляют автограф или список камеры, а то и короткую надпись. Практика показала, что в течение недели эти надписи обязательно попадут на глаза кому нужно. Мы обычно писали по-английски, так что надзиратели не понимали смысла. Догадывались, конечно, что политические писали. Вообще английский язык скоро сделался у нас своего рода шифром или жаргоном — по-английски можно было и в окно кричать, и по трубе переговариваться, никто посторонний не понял бы.

Таким вот образом просидел я здесь уже два с половиной года (да еще до этого год — в 72-73-м году перед отправкой в лагерь). Последние три месяца было затишье — на работу больше не гнали, на строгий режим не переводили. Затишье это казалось мне подозрительным, а тут еще собрали нас поч-

ти всех на четвертом корпусе, на втором этаже, через камеру. До этого все старались разбросать наши камеры подальше друг от друга, чтобы труднее было связываться. Тут же, как нарочно, собрали всех вместе. Трое в двадцать первой камере, восемь человек в пятнадцатой, двое — в двенадцатой, четверо — в десятой. Я был в десятой. Еще было наших четверо в семнадцатой, но как раз подошло двум ехать обратно в лагерь да двоим на ссылку, и камеру растасовали. Человек десять сидело еще на первом корпусе, но и их на работу не гнали. Говорили начальники, что к концу года всех сюда соберут. Трудно было сказать, замышляет что-то начальство или, наоборот, решило оставить нас в покое. Если не считать очередного нападения на наши книги, никаких признаков подготовки к наступлению вроде бы не наблюдалось. Правда, почти все лишились переписки, а это всегда недобрый знак.

Еще с конца прошлого года взяли власти за правило конфисковывать все наши письма. Просишь объяснить, в чем причина, — говорят, объяснять ничего не обязаны, пишете новое письмо. А напишешь — опять конфискуют. Так эта бодряга и тянулась, и уже скоро год, как я не мог ни одного письма домой отправить. Так и у других — у кого полгода, у кого восемь месяцев не было переписки. Поневоле приходилось пользоваться нелегальными каналами.

Новости с воли доходили с трудом — в основном, невеселые новости. Одних сажали, других выгоняли за границу. Кого на восток, кого на запад — и все это были мои друзья, люди, которых знал я уже много лет. Как ни жаль было посаженных, а оставалась надежда их увидеть хоть когда-нибудь — все-таки они исчезали не навсегда. Тех же, кого выгоняли на Запад, словно в могилу провожаешь — никогда уже их не видеть. Особенно же тяжело было, когда кто-то из знакомых отрекался или каялся, — точно часть своей жизни нужно было забыть навсегда. Долго потом всплывают в памяти эпизоды встреч, обрывки разговоров, и никак не заглушить их, как будто сам ты виноват в предательстве. [...]

Старые зэки, стоя у вахты, когда заводят в зону новый этап, почти безошибочно предсказывают: вот этот будет стукачом, этот — педерастом, тот будет в помойке рыться, а вот добрый хлопец. Со временем и я стал невольно примерять на всех людей арестантскую робу, и оттого друзей становилось меньше. Постепенно остался какой-то круг особенно дорогих мне людей, потому что они были единственным моим богатством, всем, что я нажил за эти годы, и уж если из них кто-нибудь ломался, то это было пыткой. И еще меньше становилось нас в замке, еще одно место пустело у камина, умолкала наша беседа, затихала музыка, гасли свечи. Оставалась только ночь на земле.

Теперь же вот эти дорогие мне люди уезжали навсегда на Запад, точно в пустоту проваливались. Глухо доходили о них сведения, в основном, из советских газет — словно голоса с того света. Последнее время и меня вдруг вспомнила советская печать. Почти шесть лет они молчали — выдерживали характер, а тут целая страница в «Литературке» — интервью первого заме-

стителю министра юстиции СССР Сухарева. [...] По его словам, я обвинялся чуть ли не в сотрудничестве с Гитлером и в подстрекательстве к вооруженному восстанию. Любопытно, на кого рассчитана такая откровенная чепуха? В наше время, когда почти все слушают западное радио, когда меня даже конвойные на этапе узнавали, — что может дать такая глупость?

Разумеется, я пытался легально протестовать — тюрьма все конфисковывала. Ни одной жалобы по этому поводу мне не дали отправить, даже официальный иск о клевете в суд. Мне было любопытно получить хоть какой-нибудь, пусть самый нелепый, но официальный ответ. Забавность ситуации состояла в том, что по советским законам любой приговор суда, если он не отменен, обязателен для всех должностных лиц и организаций. Мне было интересно, как они вывернутся, поэтому я писал в очень спокойном, сдержанном тоне, воздерживаясь от выводов и оценок, лишь констатируя факт несоответствия публикации приговору. Однако тюрьма не пропустила ничего.

Вызвал на беседу воспитатель, стал уговаривать — бросьте, не пишите, зачем вам это нужно? Чепуха все это, мелочь. «Не обращайтесь, газеты всегда врут, стоит ли нервничать?» — «Да ведь замминистра юстиции пишет! Может, он лучше знает, за что меня судили? Может, мой старый приговор пересмотрели, изменили? А я сижу и ничего не знаю». — «Нет-нет, приговор правильный, не беспокойтесь, нам бы сказали».

Воспитатель наш, капитан Дойников, человек не злой, сам от себя гадостей не делает. В сущности, обязанностей у него немного, никто всерьез от него не требует, чтобы он нас перевоспитал. Понимают, что это задача непосильная. Должен он время от времени проводить с нами беседу. С кем-нибудь другим мы и беседовать отказались бы. За последнее время сменилось их у нас трое или четверо.

Поначалу они все радовались, что перешли на легкую работу: ребята спокойные, матом не ругаются, не дерутся, в карты не играют, сидят себе тихо, книжки читают. Не работа, а дом отдыха! Но уже месяца через три просились от нас и согласны были идти к любым разбойникам и головорезам. С одной стороны, жало на них начальство, требовало на нас материал, требовало закручивать гайки. А когда мы давали отпор — виновным был воспитатель, ему сыпались на голову выговоры. С другой стороны, мы тоже не давали спуска, и от одних наших жалоб можно было одуреть. Да, кроме того, не получалось у этих воспитателей контакта с нами, не могли они к нам приноровиться. Привыкли они к уголовникам, к их психологии. Там — матом обложил, здесь — в ухо дал, и глядишь — навел порядок. С нами же нужно было что-то особое, чего эти воспитатели никак понять не могли. Наконец, поставили к нам этого Дойникова.

Считался он по тюрьме самым бестолковым офицером, самым глупым и безответным. Мундир сидел на нем, как на вешалке. Говорить он не умел, да был и не шибко грамотным. Отдали его нам в жертву, на растерзание, с расчетом, что месяца через три-четыре спишут на пенсию за неспособностью.

Однако совершенно неожиданно он у нас прижился. Нас он вполне устраивал, и мы на него никогда жалоб не писали. Его нескладная худая фигура в нелепой засаленной униформе возбуждала скорее сострадание. Говорил он тоже нескладно, совершенно несвязно, постоянно перескакивая с одного на другое. При этом пробалтывался о многом для нас важном. Понимал и он, что мы его терпим, а потому, вызывая на беседу, говорил о чем угодно: о рыбалке, о футболе. Изредка так, виноватой скороговоркой, вставит фразу-другую о политике партии и опять перескочит на свою мешанину без конца и начала. Так вот с часочек поболтает и запишет себе для отчета, что провел беседу. При ближайшем рассмотрении был он совсем не глуп, иногда даже поразительно изворотлив, и вся эта напускная бестолковость выработалась у него в жизни, как у зебры полосы, — в результате естественного отбора.

Удивительно, как это все примиряется в русском человеке. Я редко встречал садистов в должности надзирателей — даже злых по характеру людей среди них, в сущности, тоже немного. Обычно же это простые русские мужики, сбжавшие в город из колхоза. Но вот прикажут такому Дойникову нас расстрелять — и расстреляет. Он, конечно, постарается, чтобы его по бестолковости на такое дело не послали. Он и нас постарается как-то убажить, чтобы мы на него за это не очень обижались. Но ведь расстреляет! [...]

Помню, в институте Сербского, на экспертизе, работали у нас санитарками бабки, простые деревенские бабки, почти все верующие, с крестиками тайком за пазухой. Жалели нас эти бабки, особенно тех, кого из лагеря привезли или из тюрьмы, тощих, заморенных. Тайком приносили поесть. То яблочко под подушку незаметно подсунут, то конфет дешевых, то помидор. И вот эти-то бабки стучали на нас немилосердно. Каждую мелочь, каждое слово наше замечали и доносили сестрам, а те записывали в журнал. Случалось, и побегі готовились, а иной норовил симулировать, особенно кому грозит смертная казнь, — бабки же все замечали и обо всем тут же докладывали. А спросишь их, бывало: «— Что ж вы так? Вы же ведь верующие!» — «Как же, — говорят, — работа у нас такая». Вот и спорь с ними.

Любопытно, что при всем многообразии книг, исследований и монографий о социализме — политических, экономических, социологических, статистических и прочих — не догадался никто написать исследования на тему: душа человека при социализме. А без такого путеводителя по лабиринтам советской души все остальные монографии просто бесполезны — более того, еще больше затуманивают предмет. Ах, как трудно, наверно, понять эту чертову Россию со стороны! Загадочная страна, загадочная русская душа!

Ведь вот у них выборы — не выборы, черт знает что такое: один кандидат, и выбирать не из кого. А участвуют в выборах 99,9%, причем 99,899% голосуют *за*. Ведь вот у них жизненный уровень низкий, продуктов, говорят, не хватает, — а забастовок нет! Говорят, морят их голодом по лагерям и тюрьмам безо всякой вины, за границу не выпускают, но вот, — глядите же, — по всем заводам и селам митинги: единодушно одобряем политику партии и прави-

тельства! Ответим на заботу партии новым повышением производительности труда! Голосуют дружно, все руки тянут, — что за черт? Едут зарубежные корреспонденты, присутствуют на митингах и видят: вправду, все одобряют политику партии, никто даже не воздерживается при голосовании.

Говорят, отсталая экономическая страна, ручной труд и прочее, а ведь запустили первый спутник, первого человека в космос — обогнали Соединенные Штаты. Более того, имеют мощную военную промышленность, да такую, что весь мир в страхе дрожит, — откуда это? Делаются научные открытия, и какие! А Большой театр, балет! Что же это все — рабы, подневольные люди?

Ну, литература у них, положим, скучная — все о производстве да о планах, о собраниях, но читают же, покупают книги — значит, им нравится. Есть и у них отдельные недостатки, — так сами признают и критикуют их. Было что-то раньше, какие-то неоправданные репрессии, но теперь-то нету — разобрались, осудили ошибки, невинных выпустили. И за границу их все-таки пускают, — и всем довольны, и назад возвращаются. Ну, бывает, один-другой убежит, не вернется, — так, может, только этим и было плохо, а остальным хорошо, остальные довольны?..

А может, и вправду? Образование бесплатное, медицинское обслуживание бесплатное, жилье дешевое, безработицы нет, инфляции нет. Может, подвирает западная пропаганда, и жизнь у них — прекрасная?

Или вот еще объяснение: может быть, для них эта жизнь лучше нашей, и они люди другие, особенные, им только такая жизнь и нужна, и не нужно им наших благ и свобод?

И уж совсем сбивают с толку эти самые диссиденты. Если все так плохо, как они говорят, такое бесправие и произвол, так почему они все еще в живых, даже не сидят некоторые? Значит, есть и какая-то свобода и какие-то права? Или это просто инспирировано и выгодно советским властям? А может быть, придумано ЦРУ? Да и сколько их, этих диссидентов? Ведь вот под какой-то там петицией протеста подписалось десять человек. Это ж курам на смех — в стране, где 250 миллионов.

Ну, наконец, если им всем и вправду плохо — почему нет восстаний, массовых протестов, демонстраций, забастовок? И массового террора ведь тоже больше нет? Ну, посадят там человек 10 — 15 в год, — не то что в Чили или Южной Корее. И еще много-много недоуменных вопросов, на которые нет ответа...

И критически мыслящий западный наблюдатель после досконального, с его точки зрения, изучения вопроса приходит к двум выводам. Если наблюдатель придерживается левых взглядов: прекрасная страна СССР, прекрасный и самый передовой у нее строй. Люди счастливы и, несмотря на отдельные недостатки, строят светлое будущее. А буржуазная пропаганда, конечно, стремится ухватиться за эти отдельные недостатки и извратить, оклеветать, оболгать само светлое существо. Если наблюдатель не придерживается левых взглядов: русские — люди особенные. Что нам плохо — им

очень нравится. Такие они фанатики, так рвутся строить свой социализм, что готовы отказаться от привычных нам удобств и образа жизни. И в обоих случаях — одно заключение: не нужно мешать им, нельзя запретить людям страдать, коли им это нравится, не спасать же людей вопреки их воле. Такие уж это русские!

Да, трудно понять эту страну со стороны, почти невозможно, но легче ли изнутри? То есть легче ли пенять и оценить происходящее тем самым «русским» (Запад всех нас зовет русскими — от молдаванина до чукчи), которые там всю жизнь живут?

*1978, № 17*

## АНДРЕЙ САХАРОВ

### Движение за права человека в СССР и Восточной Европе — цели, значение, трудности

Поставленное в заголовке этой статьи слово *движение* не должно наводить на мысль о какой-либо организации или ассоциации, или, тем более, партии. Речь идет просто о людях, объединенных некоторой общей точкой зрения и способом действий. Являясь одним из этих людей («инакомыслящих», или «диссидентов»), я ни в коем случае не выступаю в роли идеолога или руководителя; каждое мое публичное выступление, в том числе данная статья, отражает исключительно мое личное мнение по волнующим меня вопросам.

Общественно-политическая идеология, выдвигающая на первое место права человека, представляется мне во многих отношениях наиболее разумной в рамках тех относительно узких задач, которые она себе ставит. Я убежден, что никакие идеологии, основанные на догмах или метафизических построениях или слишком существенно опирающиеся на современную им структуру общества, не могут соответствовать сложности, быстрой изменчивости и непредсказуемости развития человечества. Императивные и догматические концепции всевозможных преобразователей мира так же, как иррациональные миражи национализма и национал-социализма, на деле до сих пор оборачивались насилием над внутренней свободой людей и прямым физическим насилием, воплощенным в XX веке ужасами геноцида, революций, межнациональных и гражданских войн, анархическим и государственным террором, адом Колымы и Освенцима.

Коммунистическая идеология с ее обещанием общемирового общества социальной гармонии, труда, материального процветания и свободы в будущем на деле в государствах, называющих себя социалистическими, трансформировалась в идеологию партийно-бюрократического тоталитаризма, заводящую, по моему убеждению, в глубочайший исторический тупик.

Сейчас уже нигде не существует также в чистом виде капиталистическая прагматическая философия разумного индивидуализма. Потрясения XX века — великий мировой экономический кризис, разрушительные войны, призраки экологической и демографической катастрофы — показали ее недостаточность.

Я считаю технико-экономический прогресс, в значительной мере снимающий остроту проблемы распределения материальных благ, важнейшим положительным фактором социальной жизни; но я также остро чувствую связанные с ним опасности и сознаю недостаточность технократической идеологии в решении всего многогранного комплекса проблем жизни.

В противовес императивности большинства политических философий, идеология прав человека является по своему существу плюралистической, допускающей свободу разных форм общественной организации и сосуществование разных форм и предоставляющей человеку максимальную свободу личного выбора. Я убежден, что именно такая свобода, а не давление догм, авторитета, традиции или власти государства или общественного мнения может обеспечить разумное и справедливое решение тех бесконечно-сложных и противоречивых проблем, которые непредсказуемо возникают в личных, социальных, культурных и многих других явлениях жизни; только такая свобода дает людям непосредственное личное счастье, составляющее первичный смысл человеческого существования. Я убежден также, что общемировая защита прав человека является необходимым фундаментом международного доверия и безопасности, условием, предупреждающим разрушительные военные конфликты, вплоть до глобального ракетно-термоядерного, угрожающего самому существованию человечества.

В послевоенное время идеология прав человека нашла наиболее последовательное выражение во Всеобщей Декларации прав человека ООН, в движениях в защиту прав человека, во всемирной кампании Эмнести Интернейшнл за амнистию узников совести.

Идеология защиты прав человека заняла особое место в общественных движениях в СССР и в странах Восточной Европы. Это связано с историческим опытом народов этих стран, переживших на протяжении жизни одного поколения сначала бурный и краткий период опьянения коммунистическим максимализмом (это относится главным образом к СССР), с сопровождавшими его нетерпимостью и догматизмом, всеобщей разрухой и страданиями, преступлениями белых и красных во имя того, что они считали великой целью, затем кровавый кошмар сталинского фашизма, унесшего десятки миллионов жизней и постепенно перешедшего в нынешнюю стабильную фазу партийно-государственного тоталитаризма. С таким опытом за плечами мы особенно естественно принимаем идеологию, ставящую на первый план защиту конкретных людей и конкретных прав принципиально ненасильственными, не разрушительными методами, опирающуюся на законы, на подписанные их правительствами международные документы. Близость идейной позиции инакомыслящих и даже форм борьбы за права человека позволяет говорить о Едином движении защиты прав человека в СССР и странах Восточной Европы, несмотря на отсутствие организационной связи между движениями в СССР и в странах Восточной Европы и практическую невозможность коммуникаций — переписки, телефонной связи, взаимных поездок, полностью блокируемых властями.



Замечу, что одной из форм реакции властей этих стран на такую абсолютно законную и конструктивную позицию явилось нарушение именно властями их собственных законов, в особенности при судебных процессах, все более широкое использование подпольных методов провокаций и даже методов индивидуального террора внутри и вне страны. В свою очередь, антиправовые действия властей усиливали правовую ориентацию инакомыслящих.

В ЧССР защита прав человека составляла существенный элемент «Пражской весны», а в последние годы легла в основу знаменитой Хартии-77, которая по всей своей направленности и пафосу очень близка ко многим документам движения инакомыслящих в СССР и других странах Восточной Европы. В Польше возник Комитет защиты рабочих и другие ассоциации. В СССР 10 лет назад в качестве реакции на несправедливые судебные процессы и другие нарушения прав человека возникли Инициативная Группа защиты прав человека, Комитет прав человека, в последние годы Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Важнейшим этапом формирования движения за права человека в СССР было создание замечательного самиздатского информационного журнала «Хроника текущих событий», который регулярно — несмотря на многочисленные репрессии и неопишуемые трудности — выходит вот уже 10 лет с традиционным эпиграфом: текст статьи 19 Всеобщей Декларации прав человека. Я считаю, что именно этот журнал полной всего отражает самый дух движения — его беспристрастность и внеполитичность, плюрализм, стремление к точности и достоверности, преимущественный интерес к конкретным нарушениям прав человека, к конкретным судьбам людей, ставших жертвой несправедливости.

Движение за права человека в СССР и в странах Восточной Европы принципиально выдвигает на первое место гражданские и политические права, в противовес официальной государственной пропаганде этих стран, умышленно (в противоречии даже с высказываниями основателей марксистской теории) смещающей акцент в сторону экономических и социальных прав. Я убежден, что в современных условиях именно гражданские и политические права — право на свободу убеждений и распространение информации, право на свободный выбор страны проживания и место проживания внутри страны, свобода вероисповедания, право на забастовки, право образования ассоциаций, отсутствие принудительного труда — являются гарантией свободы личности, осуществления социальных и экономических прав человека, международного доверия и безопасности. Гражданские и политические права наиболее систематически и откровенно нарушаются в тоталитарных странах.

Нарушается ключевое право на свободный выбор страны проживания, в особенности грубые формы эти нарушения имеют в СССР и ГДР с ее «берлинской стеной».

Роль свободного выбора страны проживания не только в том, что он обеспечивает воссоединение разрозненных семей (я не преуменьшаю значение

этого), но также в том, что это право дает в принципе возможность покидать страну, не обеспечивающую своим гражданам их национальных, экономических, религиозных, политических, гражданских и социальных прав, и возвращаться в нее при изменении личной или общей ситуации, что неизбежно должно приводить к общему социальному прогрессу.

В СССР только наличие вызова от близких родственников дает право на подачу заявления на выезд, это ограничение находится в прямом противоречии с имеющим силу международного закона Пактом о гражданских и политических правах. Так «с ходу» отмечается большое число лиц, желающих эмигрировать или временно выехать из страны по экономическим, религиозным, национальным, политическим, культурным, медицинским и иным личным причинам. Но и эмиграция имеющих вызовы, в частности, немцев, евреев, литовцев, эстонцев, латышей, армян, украинцев, встречает то и дело колоссальные трудности, недаром существует слово «отказник». Мне кажется несомненным, что постоянно происходящие аресты и несправедливые осуждения стремящихся к эмиграции людей — это попытка сломить движение за эмиграцию, запугать и остановить на полпути потенциальных эмигрантов. В уголовных кодексах РСФСР и других республик в статье «Измена Родине» наряду с общепринятыми признаками этого преступления названо «бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР». По этому признаку сотни людей были присуждены к жесточайшим наказаниям, многие помещены в тюремные психиатрические больницы. [...]

В СССР, в противоречии с общепринятой нормой свободы передвижения внутри страны (статья 13 Декларации прав человека и соотв. статья Пакта о правах), существует паспортная система с обязательной так называемой *пропиской* (выдачей права на жительство в органах МВД). Особенно сильно ограничена свобода передвижения у колхозников. Колхозный Устав не предусматривает гарантий свободного выхода из колхоза, фактически превращая десятки миллионов людей в крепостных. То, что часть из них теми или иными способами все же добивается разрешения на выход из колхоза, не меняет нетерпимости общего положения.

Особая группа нарушений прав человека в СССР связана с национальными проблемами. Крымские татары, в 1944 году ставшие жертвой сталинского геноцида вместе со многими другими народами (при выселении из Крыма стариков, женщин и детей, — мужчины были на фронте, — погибла почти половина всех крымских татар), до сих пор подвергаются дискриминационному запрету вернуться на родную землю. Издевательства и жестокости, которым подвергаются решившиеся вернуться в Крым семьи, не поддаются описанию. Отказы в «прописке» и заключение в тюрьму за нарушение правил о «прописке», отказ в оформлении покупки домов и разрушение уже купленных, оставляющее семьи с детьми и стариками на улице, насильственные выселения, отказ в приеме на работу — все это части последовательной дискриминационной политики. [...]

Острота национальных проблем в СССР подчеркивается жестокостью политических репрессий в национальных республиках — на Украине, в Прибалтике, в Армении и других. Приговоры в национальных республиках особенно суровы, а поводы к ним еще менее обоснованы.

Конституция СССР формально провозглашает свободу совести и отделение Церкви от государства. Но фактически официально признанные Церкви находятся в униженном положении тотальной зависимости от государства в административном и в материальном отношении; они лишены права религиозной проповеди, права церковной благотворительности, их священники и старосты назначаются советскими органами.

В этих условиях необходимо отдать должное скрытому неконформизму многих рядовых священников и верующих этих Церквей.

Восстающие против зависимости от властей Церкви подвергаются особо жестоким преследованиям — вплоть до отбирания детей от родителей, помещения верующих в психиатрические больницы, арестов, осуждений, конфискации и даже террористических актов, которые никогда не расследуются. [...]

Наравне с правом свободного выбора страны проживания, облик общества сильнее всего определяется правом на свободу убеждений и распространение информации. Этому праву противоречат имеющиеся в уголовных кодексах республик СССР статьи, дающие возможность преследовать именно за эти ненасильственные и законные в любом демократическом государстве действия (статьи 70 и 190-1 УК РСФСР). Сотни узников совести, — в том числе один из редакторов «Хроники текущих событий», крупный ученый-биолог, мой близкий друг Сергей Ковалев, — находятся в заключении по этим статьям. Политические суды по обвинениям этого рода в СССР и странах Восточной Европы происходят с грубейшими нарушениями права обвиняемых на рассмотрение их дела по существу, на защиту от инспирированной клеветы, с нарушениями гласности. [...]

Недопустимым нарушением прав человека несомненно являются те условия, в которых отбывают свои сроки в советских лагерях и тюрьмах полтора миллиона заключенных (цифра приблизительная, точная цифра не известна) и в их числе — сотни политзаключенных. Подневольный труд в тяжелых условиях, причем за невыполнение неписаных норм выработки следуют репрессии, чаще всего карцерная пытка голодом и холодом, отсутствие сколько-нибудь приличной медицинской помощи, провокации и придирки администрации — вот их быт. [...]

Чрезвычайно важные для нормально функционирующего общества права, не реализованные в СССР и странах Восточной Европы, — это право на забастовки и право на создание независимых от властей ассоциаций. [...]

Советская пропаганда объявляет нашу страну развитым социалистическим государством с максимальной заботой о человеке. Действительность далека от этих рекламных заявлений. Существует огромное социальное неравенство между основной массой трудящихся (в особенности работников

массовых интеллигентных профессий — младших служащих, врачей и учителей) и так называемым начальством, которое обладает множеством привилегий. Это неравенство особенно болезненно воспринимается при крайне низком для относительно развитой в экономическом отношении страны уровне жизни. [...] В большинстве городов отсутствуют важнейшие продукты питания (в частности—мясо), медикаменты и многие необходимые промышленные товары. Люди приезжают в Москву со всех концов страны, тратя деньги, время и силы, чтобы приобрести самое необходимое.

Человечество стоит перед рядом сложнейших проблем, угрожающих нормальной жизни и счастью будущих поколений, угрожающих самому существованию цивилизации. Наиболее коварной и трудно предотвратимой опасностью прогрессивному и свободному развитию человечества является распространение тоталитаризма. Именно этой опасности непосредственно противостоит борьба за права человека. Все более широкое понимание этого отразилось в таких исторических событиях последних лет, как Хельсинкский Заключительный Акт, в котором подписями 35-ти глав государств зафиксирована неразрывная связь международной безопасности и соблюдения основных прав человека. Эти же сдвиги общественного мнения нашли отражение в провозглашенной в январе 1977 года президентом США принципиальной линии защиты прав человека во всем мире как моральной основы политики США. В этой концепции особенно важен ее глобальный характер, стремление применять одинаковые правовые и нравственные критерии к нарушениям прав человека в любой стране мира — в Латинской Америке, в Африке, в Азии, в социалистических странах и в своей собственной стране. Я знаю о важных и плодотворных последствиях этой позиции в Южной и Центральной Америках и в других местах. Я совершенно не склонен недооценивать важности борьбы за права человека всюду, где они нарушаются, или стремиться ограничить эту борьбу рамками СССР и Восточной Европы. Устранить страдания, происходящие сегодня, важнее всего, и совершенно неважно, далеко они или близко в географическом или национальном смысле. Но я также подчеркиваю в то же время, что угроза распространения тоталитаризма своим эпицентром имеет СССР, и это также необходимо учитывать. [...]

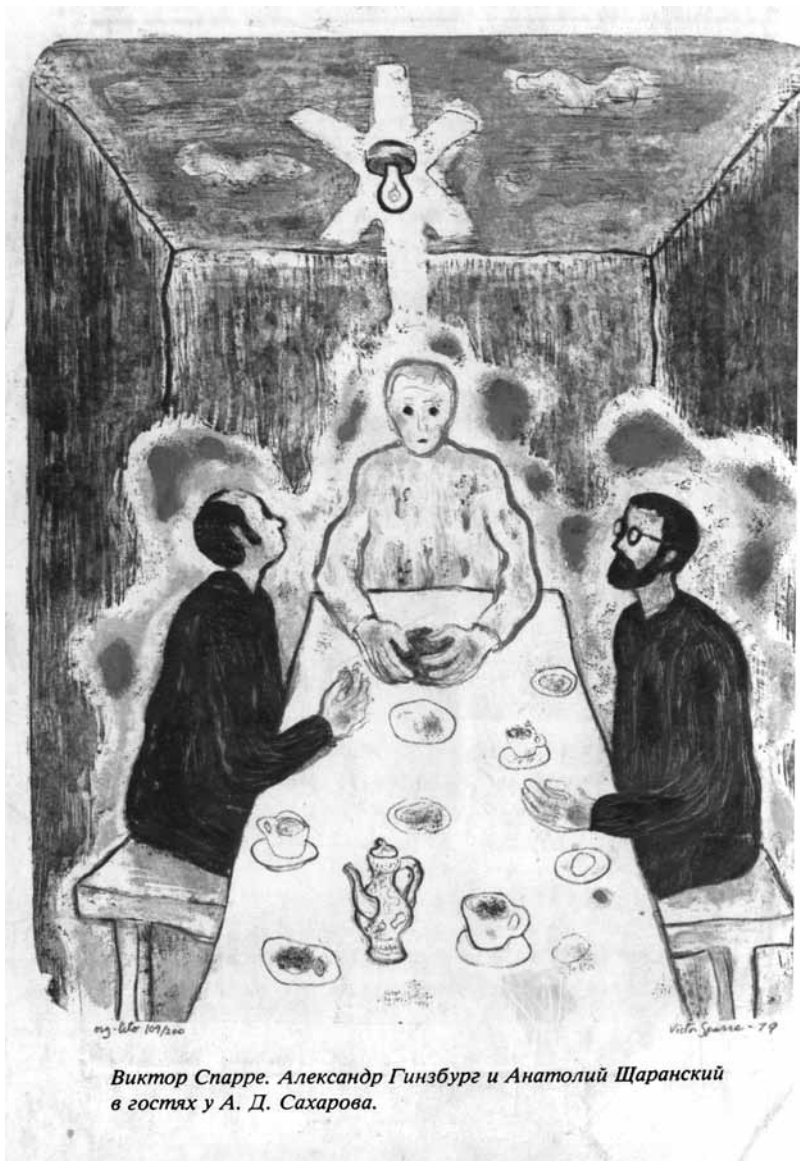
Сейчас та маленькая горстка инакомыслящих, которых я знаю лично, переживает трудный период. Арестованы многие прекрасные, мужественные люди. Усиливается кампания клеветы и провокаций, частично непосредственно исходящая из КГБ, а частично использующая или отражающая расслоение, брожение и разочарование среди некоторых диссидентов и их близких кругов. Жизнь сложна. И в этих условиях обиды и амбиция толкают некоторых на весьма сомнительные действия и высказывания. Повидимому, число активных участников движения и в Москве и в провинции заметно уменьшилось.

И все же я считаю, что нет никаких оснований говорить о поражении движения в защиту прав человека. Это тот вопрос, где арифметика имеет

очень мало отношения к делу. За последние годы борьба за права человека в СССР и Восточной Европе кардинально изменила нравственный и политический климат во всем мире. Мир не только получил богатейшую информацию, но и поверил в нее. И это такой факт, который никакие репрессии и провокации КГБ уже не в силах изменить. Это историческая заслуга движения за права человека. Сейчас, как и раньше, единственное оружие этого движения — гласность, свободная, точная и объективная информация. Это оружие остается действенным. Совершенно очевидно также, что пока не изменились условия и не отпали задачи борьбы за права человека, новые люди силою обстоятельств и душевных стремлений будут вливаться на место выбывших. Этого репрессии властей тоже не могут предотвратить. Наоборот, прекращение репрессий было бы важным фактором улучшения положения с точки зрения властей. [...]

В западной печати иногда высказывалась мысль, что переговоры по ограничению стратегических вооружений, в успехе которых заинтересован Советский Союз (как и весь мир), открывают возможности давления на СССР в вопросе прав человека. Мне такое мнение кажется неправильным, я считаю, что задача уменьшения опасности уничтожения человечества в термоядерной войне имеет абсолютный приоритет над всеми остальными. Я считаю совершенно правильным сформулированный администрацией США принцип практического разделения вопроса о разоружении от других вопросов. Поэтому, например, договор об ограничении стратегических вооружений должен рассматриваться сам по себе, с той единственной точки зрения, уменьшает ли он опасность и разрушительность термоядерной войны, увеличивает ли он международную стабильность, не создает ли он односторонних преимуществ для СССР или не фиксирует ли уже существующие преимущества. Такой раздельный практический подход не отменяет, конечно, того несомненного факта, что прочная международная безопасность и международное доверие невозможны без соблюдения основных прав человека, в частности, политических и гражданских прав. Замечу также, что Запад не должен рассматривать в качестве основной цели сокращения вооружений уменьшение военных расходов — основными целями могут быть только международная стабильность и предотвращение возможности термоядерной войны.

Другая обсуждавшаяся в западной прессе проблема — о бойкотах (научных, культурных, экономических и т. д.) как средстве давления на СССР с целью добиться освобождения хотя бы некоторых политзаключенных. После судов над Орловым, Щаранским и Гинзбургом многие западные ученые отказались участвовать в научных семинарах и конференциях, происходящих в СССР. Некоторые научные ассоциации стали вообще отказываться от сотрудничества с советскими научными учреждениями. Я приветствую все подобные формы бойкота как выражение протеста мировой общественности против нарушений прав человека в СССР. То же относится к экономическому бойкоту, например, к отказу в продаже компьютерной техники или



*Виктор Спарре. Александр Гинзбург и Анатолий Шаранский  
в гостях у А. Д. Сахарова.*

*Обратная сторона обложки «Континента», № 21*

нефтебурового оборудования. СССР и другие тоталитарные страны должны знать, что политика защиты прав человека — это не просто красивая фраза западных политиков, а выражение общенародной воли в странах Запада, и что продолжение нарушений прав человека несовместимо с продолжением и углублением разрядки. Эту же мысль могут внушать руководителям тоталитарных стран имеющие с ними дело западные бизнесмены, политические и спортивные деятели, юристы и многие другие.

Однако проблема бойкотов — сложная и противоречивая. Несомненно, что соображения внешнеполитического престижа, соображения борьбы за власть и ее удержание в обстановке закулисной борьбы и просто традиции сильной власти не позволяют руководителям тоталитарных государств непосредственно реагировать на оказываемое на них давление. Несомненно также, что бойкоты попутно ослабляют реально полезные контакты и уменьшают число рычагов давления в будущем. Однозначного, пригодного на все случаи жизни, ответа в таком сложном деле дать нельзя. Я могу лишь высказать некоторые общие соображения. Мне кажется, что следует, за небольшим числом исключительных случаев, избегать ультимативных бойкотов, т. е. не ставить в явном виде прекращение бойкота в зависимость от каких-то конкретных шагов властей. В этом случае бойкот продемонстрирует заинтересованность в том или ином конкретном деле и в то же время не создаст «тупиковой» ситуации, из которой нельзя выйти без потери лица. Я убежден также в необходимости сочетания разнообразных и внушительных публичных кампаний с энергичной и разумно планируемой тихой дипломатией. Важным полем тихой дипломатии могут явиться обмены политзаключенных. Мне кажется, что в некоторых случаях это почти единственный реальный способ помочь людям вырваться из ада лагерей и тюрем, пусть даже немногим, но он все же прорыв, брешь, и безусловно ничем не вредит оставшимся, и никак не подрывает авторитета правозащитных организаций, например, таких как Эмнести Интернейшнл, которая ставит своей целью всемирную политическую амнистию. [...]

Идеология защиты прав человека — по-видимому, единственная, которая может сочетаться с такими различными идеологиями, как коммунистическая, социал-демократическая, религиозная, технократическая, национально-«почвенная»; она может составить также основу позиции тех людей, которые не хотят связывать себя теоретическими тонкостями и догмами, устав от изобилия идеологий, не принесших людям простого человеческого счастья.

Защита прав человека — это ясный путь к объединению людей в нашем смятенном мире, путь к облегчению страданий.

## **ИГОРЬ ЕФИМОВ-МОСКОВИТ**

### **Политические выгоды нищеты**

#### **1. «С каждым годом богаче»**

Много лозунгов сменила за 60 лет советская пропаганда. Но лозунг «поднять уровень материального благосостояния трудящихся» оставался практически неизменным и не отменялся ни разу ни Сталиным, ни Хрущевым, ни Брежневым. Перед каждым праздником, после каждого партийного съезда или пленума только и было слышно:

Поднять!

Еще выше!

На небывалую высоту!

Партия торжественно клянется, что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!

И хотя все знают, что за последние 20 лет никакого реального улучшения в жизни советских граждан не произошло, сам призыв обычно не ставится под сомнение. Ведь причины его невыполнения так очевидны: неизлечимые язвы и хвори плановой экономики, низкая квалификация хозяйственных руководителей, непомерные расходы на оборону, гигантское разрастание партийно-бюрократической машины. Поэтому принято считать, что хоть в этом лозунге пропаганда не лжет. Что власть и хотела бы поднять жизненный уровень, да просто не знает, как это сделать.

И действительно, если народ станет жить чуть побогаче, разве может это чем-то повредить всесильной партократии, им управляющей? Казалось бы, и управлять сытым народом станет легче, и трудоотдача его должна будет возрасти. Возрастет трудоотдача — увеличится объем производимой продукции, соответственно и главного вида ее — оружия, расширятся военные поставки всему миру, усилится международное влияние. Логически рассуждая, мы должны прийти к выводу, что именно властолюбие и стремление к мировой гегемонии должны толкать партократию на какие-то шаги по улучшению хозяйственно-экономической машины. И что если побочным результатом этого улучшения окажется рост благосостояния народа, никакого неудовольствия у кремлевских властей это вызвать не может.

Однако то, что представляется самоочевидным в критериях традиционного политического мышления, часто оказывается неверным в критериях



коммунистического двоемыслия. Среди спасательных понтонов, подводившихся в 70-е годы под корабль советской экономики, выделим три основных и рассмотрим судьбу каждого из них.

## 2. Понтон первый — подрядный метод

Впервые он стал применяться в строительстве под названием «метод бригадира Злобина». Смысл его состоит в том, что бригаде рабочих разрешается взять подряд на возведение дома полностью — от закладки фундамента до внутренней отделки. И оговоренную плату бригада получит только после сдачи дома комиссии. Успеет сделать за полгода — прекрасно. За четыре месяца — тем лучше для нее. Таким образом, величина месячного оклада рабочего оказывалась в прямой зависимости от эффективности и качества его труда.

Поначалу метод стал давать поразительные результаты. Ничего нового в нем, конечно, не было — на Руси испокон века работали артелью. В артели все друг у друга на виду, ее не обманешь, как можно обмануть любого начальника. Так и в подрядной бригаде ленивым и неспособным просто невозможно было удержаться — их никто не стал бы терпеть там. Производительность труда в этих бригадах оказывалась всюду на 35 — 40% выше средней, и, что еще более важно, качество исполнения просто не шло ни в какое сравнение.

Новый почин стали усиленно пропагандировать, кампания быстро набирала силу. Партийное руководство требовало повсеместного распространения «подряда». Выпускались такие, например, постановления: *«Руководители, которые не могут обеспечить перевод 30% бригад на хозрасчетный (то есть подрядный) метод, не соответствуют занимаемой должности»*. Из строительства подряд пытались перетаскивать и в другие отрасли промышленности. В сельском хозяйстве аналогичный метод давно существовал под названием «аккорда» и теперь тоже стал насаждаться повсеместно. Полеводческой бригаде выделялась техника, выделялась земля, семена, а окончательный расчет с ней производился осенью в зависимости от снятого урожая. И здесь тоже аккордные бригады ухитрялись снимать с гектара чуть не вдвое больше зерна, чем обычные бригады, работавшие на соседних полях по обычным условиям пооперационной оплаты: отдельно за пахоту, за сеяние, за боронование, за уборку.

Одна беда — ни подрядные, ни аккордные бригады никак почему-то не приживались. Было непонятно, кто мешал им превратиться из исключений в правило. Рабочим новый метод сулил большие заработки, начальство требовало его распространения, но люди упорно предпочитали работать по старинке, и число хозрасчетных бригад росло только на бумаге.

Наконец, в 1977 году в газетах начали прорываться признания, приоткрывшие реальную причину. Дело в том, что администрация предприятий оказывалась как бы между двух огней. С одной стороны, со всех них: с на-

чальников строительных управлений, директоров заводов, председателей колхозов — требовали увеличения числа подрядных бригад. Но, с другой стороны, с них еще более строго требовали выполнения плана. Плановые же задания всегда задаются с запасом, не обеспечиваются в достаточной мере техникой, сырьем, рабочей силой, а контролируются, главным образом, не по реальным результатам, а по квартальным и годовым показателям.

В конце каждого квартала в кабинете промышленного руководителя звонит телефон и голос секретаря райкома кричит примерно следующее: «Ты что, опять план заваливаешь? По десяти объектам невыполнение... Что значит «нет людей, нет техники»?.. Ты коммунист или размазня? Чтоб завтра же ликвидировать прорыв. Ответишь партбилетом!» И руководитель в лихорадочных поисках добавочных средств и трудовых ресурсов кидается в первую очередь туда, где они есть, где положение наилучшее, — на участки хозрасчетных бригад. Он отнимает у них бетон, кирпич, металлоконструкции, людей, перебрасывает все это на «горящие» объекты, обещая потом все компенсировать, но никогда не имея возможности исполнить свое обещание. Точно так же и в колхозах в пылу уборочной надо прежде всего отчитываться перед начальством количеством убранных гектаров. Поэтому председатели в решающие моменты отнимают комбайны у аккордных бригад, сокращают выдачу горючего, чтобы убрать поля отстающих, даже если урожай на них по весу равен посеянным семенам.

Таким образом и строительные рабочие, и сельские механизаторы, включавшиеся в пропагандируемый почин, очень скоро убеждаются, что их напряженный и часто сверхурочный труд не принесет им реального увеличения заработка, а пойдет на затыкание дыр в картине плановых показателей. Что, работая обычными методами, они всегда, по крайней мере, будут получать плату за вынужденные простои, а при подрядном методе, не выполнив по вине администрации условий договора, могут остаться вообще без копейки. И что весь этот «почин» оборачивается очередным трюком начальства, направленным на выжимание из них добавочного дарового труда. Поэтому-то загонять их в подрядные бригады становилось все труднее. Система оказалась неспособной принять артельную форму организации труда, и все грозные приказы и громкие призывы оказались бессильны.

### **3. Понтон второй — приусадебные участки**

Перепись населения 1969 года показала, что до сих пор примерно половина граждан СССР живет в деревнях и поселках. Ни для кого не было секретом, что в рационе сельского жителя картофель занимает центральное место. Что им кормятся не только люди, но также их птица и скот. И что в магазинах его крестьяне никогда не покупают, а выращивают сами на своих приусадебных участках. А приусадебные участки не должны превышать 0,15 гектара на семью и, таким образом, составляют примерно 1,5% от всей обрабатываемой земли в стране.

Все это было известно, и, тем не менее, многие были изумлены, когда «Литературная газета» перепечатала данные справочника «Народное хозяйство СССР». Выяснилось, что на этих 1,5% земли ручным трудом выращивается не только 60% картофеля, но также 34% овощей, производится 40% яиц, содержится 18% общесоюзного стада овец, 18% свиней, 33% коров, 80% коз.

Публикация этих данных знаменовала открытие газетной кампании в поддержку приусадебных участков. Замелькали статьи, рассказывающие о том, что крестьянам негде купить семян и саженцев для своих огородов и садов, негде достать удобрений, что у них огромные трудности с добыванием и заготовкой кормов для скота, с материалами для тепличных хозяйств, для механической поливки, а уж о малой сельскохозяйственной технике никто и не мечтает. Писалось, что все эти недостатки надо исправлять и всемерно помогать людям, ухитряющимся производить на 1,5% земли треть сельскохозяйственной продукции. В некоторых статьях самые смелые авторы позволяли себе сказать, что те, кто торгует излишками своих продуктов на рынке, — вовсе не обязательно проклятые частники и спекулянты, а может быть, до некоторой степени полезные обществу люди.

Но вот именно эта последняя, рыночная проблема упоминалась реже всего, вскользь, а по большей части обходилась. Работники пропагандного аппарата многолетним инстинктом чуяли, что именно здесь скрыта опасность, камень преткновения новой кампании. Ибо одно дело, когда человек, работающий в колхозе, совхозе или в мастерских, в свободное время возится на своем участке и обеспечивает себя продовольствием на весь год, так что властям и заботы нет, как его прокормить. И совсем другое дело, когда тот же человек начнет открыто и свободно торговать излишками своих продуктов. В этот момент он вплотную приближается к черте, за которой начинается самое недопустимое — экономическая независимость от власти.

Рынки в центральной части страны существуют только в больших городах. Даже в районных центрах они приведены уже в такое жалкое состояние, что купить на них что-нибудь можно только в первые часы после открытия (открыты они 1 — 2 дня в неделю). Крестьянам чинятся всякие препятствия для вывоза продуктов на рынок: им не дают транспорта, каждый раз требуют специальную справку из сельсовета, обкладывают торгующих дополнительными налогами. Существуют кооперативные организации, которым вменяется в задачу скупать у крестьян излишки продукции. Но штаты их так малочисленны, что скупить они могут ничтожную часть и, конечно, по грабительским, монопольным ценам. Поэтому огромное количество фруктов, ягод, овощей и других скоропортящихся продуктов гибнет в деревнях, в то время как в городах их тшкетно ждут миллионы покупателей.

Те крестьянские семьи, в которых на приусадебных участках могут работать только старики, с трудом обеспечивают продовольствием себя и о тор-

говле не помышляют. Но во многих семьях здоровье и возраст позволяют людям трудиться в страду гораздо напряженнее, и они могли бы выращивать много больше, если б знали, что труд их не пропадет, что они смогут продать излишки. Когда же из года в год они видят, что огурцы остаются желтеть на грядках, потому что не хватает кадок для их засолки, что помидоры гниют на кустах и уходят обратно в землю розовым соком, что яблоки каждой осенью приходится скармливать свиньям, руки у них опускаются, и желание работать, естественно, пропадает.

И хотя кампания в поддержку приусадебных участков продолжается, она несет в себе то же неодолимое противоречие, что и борьба за хозрасчетные бригады, и поэтому так же обречена на провал. Люди не станут трудиться на своих полосках еще энергичнее не потому, что у них нет сил, а просто потому, что никаких зримых результатов этот избыточный труд им не принесет. Их связь с возможным потребителем насильственно перерезана, поэтому они, как и раньше, будут стремиться лишь к тому, чтобы обеспечить себя и свои семьи — не более того.

#### **4. Понтон третий — реформа управления**

[...] Оценка выполнения плана по суммарной стоимости выпущенной продукции неизбежно толкает администрацию к выпуску дорогих изделий в ущерб дешевым. Оценка по суммарному весу приводит к искусственному утяжелению машин и конструкций. Завод, пытающийся использовать дешевое сырье, немедленно попадает в отстающие, ибо цена его продукции падает. Завод, задумавший модернизировать оборудование, почти наверняка сорвет выполнение плана, ибо должен будет остановить какие-то линии и участки для перемонтажа. Централизованное планирование не успевает реагировать на колебания спроса, и поэтому производство почти всех потребительских товаров обречено вечно прыгать из огня дефицита в полымя затоваривания.

Но что же можно предложить вместо существующей системы?

Тут начинается невразумительная разногласица. И только изредка в газетной шумихе прорываются голоса скептиков, признающих, что, какой бы показатель ни был объявлен главным, заводы быстро перестроятся на него и будут выпускать не те изделия, которые нужны потребителю, а те, которые хорошо влияют на показатель. Темпы роста? И все начнут расти любой ценой, наращивать производство пусть даже ненужных товаров. Фондоотдача? Начнут работать на оборудовании до предела, вообще перестанут обновлять технологию. Чистая прибыль? Станут добиваться в министерствах и комитетах, чтоб подняли отпускную цену на их продукцию. И те пойдут им навстречу, потому что плохие показатели предприятий — это плохая работа соответствующего министерства. А кому же хочется ходить в плохих, в отстающих?

## 5. Ненавистный рынок

Все перечисленные кампании, на первый взгляд, имеют различную направленность и разные причины неудач. Но если попытаться абстрагироваться от деталей, то мы увидим, что стена, в которую упираются любые попытки хозяйственных реформ, всюду одна и та же: рынок.

Но почему коммунисты, где бы они ни пришли к власти, так спешат покончить с рынком? Чем он так страшен им? Ведь нет никакого сомнения, что, сохраняя полную монополию политической, административной и судебной власти, выступая на внутреннем рынке в качестве самого мощного покупателя и регулировщика цен, партократия могла бы извлечь огромную выгоду из расширения сферы рыночных отношений в стране. Чудодейственный опыт нэпа, воскресившего разрушенную гражданской войной экономику за каких-нибудь три-четыре года, полностью подтверждает это. Так почему же партийное руководство парализует даже собственные реформы, как только видит, что осуществление их ведет к частичному возрождению рынка?

Ответ на этот вопрос невозможно найти, оставаясь в сфере чистой логики. Только особые свойства коммунистической власти могут объяснить парадокс иррациональной ненависти ее к рынку.

Коммунизм есть прежде всего теория и практика захвата и удержания власти. Сила его состоит в том, что он отказался от взгляда на власть как на средство обеспечения порядка и законности в обществе, а обожестил власть как таковую, превратил ее в самоцель. Процветание или обнищание государства не рассматриваются коммунистами как критерии, оценивающие достоинства власти. Для них критерий один: прочность, тотальность, нерушимость, а какой ценой это достигается — не так уж важно.

Именно в таком подходе кроется объяснение бессмысленных, на первый взгляд, вспышек террора, сотрясающих время от времени коммунистические государства. Массовые уничтожения мирных и лояльных жителей есть реализация инстинкта власти, демонстрация чуждости, противопоставленности партократии остальному обществу, направленная на то, чтобы привить обществу мистический ужас перед носителями власти. [...]

Управление экономикой — главная возможность и повод для миллионов партийных чиновников наглядно и повседневно демонстрировать свою власть. Уступить какую-то долю управления рынку означало бы поступиться значительной долей власти, то есть пойти против своего главнейшего инстинкта, попросту — против своего естества.

Имея в руках не только власть, но и все средства массовой пропаганды, партократия стремится внушить обществу такое же отвращение к рынку, какое испытывает сама. Многолетняя травля, поношения, преследования привели к тому, что торговля на рынке стала считаться чем-то не только полузапрещенным, но и постыдным. Даже в больших городах, где рынки дают горожанам возможность приобретать первосортные продукты, очень часто

приходится слышать открытую брань и проклятья в адрес «рыночных спекулянтов».

Причем — любопытный психологический феномен: бранятся так искренне, что сразу чувствуешь — не в одной пропаганде тут дело. И не только в высоких ценах, ошеломляющих покупателя, привыкшего к искусственно заниженным магазинным ценам на картошку, хлеб, мясо, масло, колбасу. И не только в том факте, что правовая незащищенность частной торговли отпугивает от занятия ею честных и законопослушных граждан и оставляет ее открытой для решительных и не очень щепетильных комбинаторов. Нет, вдобавок ко всему этому люди инстинктивно чувствуют в рядовом рыночном торговце какое-то выпадение из обычного строя их жизни, обособленность от привычного хода вещей, заключающуюся в том, что он единственный обрел нечто небывалое в условиях победившего социализма — независимость от власти. Пусть куцую, временную, ограниченную экономическими рамками, — но все же независимость. И, не в силах осознать природу смешанного чувства тревоги, подозрения, зависти к феномену независимости, покупатель, уносящий с рынка раннюю редиску, помидоры, клубнику, гранаты, которых никакой магазин ему предложить не может, цедит сквозь зубы привычное и все объясняющее: «У-у, спекулянты проклятые».

Теоретические споры о значении рынка в экономической жизни не умолкают, кажется, со времен Адама Смита. Теперь уже все согласны с тем, что полное господство рыночных отношений в обществе чревато неравномерным перераспределением капитала, монополизацией, кризисами, ростом безработицы, политической нестабильностью. Социальные потрясения, пережитые многими странами в XIX-XX веках, вызвали мощный рост социалистических идей и движений, искавших тех или иных путей обуздания рыночной стихии. В развитых государствах правительствам были предоставлены широкие полномочия для преодоления опасных, окологризисных ситуаций.

Однако для коммунистов опасности рыночной экономики — лишь предлог, пропагандный трюк. Всюду, где они приходят к власти, они вносят в хозяйство страны такой хаос и разруху, по сравнению с которыми любой капиталистический кризис покажется детской забавой. Нет, их ненависть и непримиримость вызваны только тем, что рынок — всегда гарантия независимости. Без свободного покупателя, встречающегося там со свободным продавцом, рынок просто немислим. А свобода — это именно то, что не должно быть допущено ни под каким видом.

Волна национализации, прокатывающаяся сейчас по Европе под нажимом левых движений, хотя и снижает, конечно, эффективность производства, не означает еще полного падения в экономическую пропасть. В стране может быть национализировано 70-80% промышленных мощностей, но до тех пор, пока не отменена свободная купля-продажа, еще не все потеряно. Национализированные предприятия, которым открыт выход на внутрен-

ний и внешний рынок, продолжают заботиться о рентабельности, о конкурентоспособности своей продукции. Те, кто начинают работать в убыток, при наличии свободной прессы сразу становятся известны общественному сознанию. Правительство может заменить их руководителей более способными и энергичными людьми, может изыскать средства для модернизации и перестройки, может даже денационализировать их.

Другое дело — приход к власти коммунистов. В идейном плане коммунизм есть течение, эксплуатирующее недовольство человека материальным неравенством, конкурентной борьбой и всеми тягостными аспектами ее. Поэтому, совершенно последовательно, он видит свою задачу в истреблении всех видов открытой конкуренции в обществе. При этом неважно, придут коммунисты к власти через вооруженный переворот или через победу на выборах. Начнут они непременно с подавления политической конкуренции, с уничтожения всех форм политической активности в стране, вплоть до местного самоуправления, а закончат уничтожением конкуренции в экономической сфере — отменой рынка.

## **6. Удобная бедность и опасное процветание**

Конечно, и в коммунистическом мире существуют градации. Отвращение к рыночной экономике не всюду реализуется в полном уничтожении ее.

Попробуем представить себе, что и в Советском Союзе партократия созрела бы настолько, что смогла бы преодолеть свою иррациональную ненависть к экономической независимости граждан и расширила бы сферу действия рынка. К чему бы это привело?

Да, производительность труда во многих сферах народного хозяйства немедленно возросла бы. Стало бы легче с продуктами, одеждой, жильем, обслуживанием. Возрожденный нэп открыл бы огромные запасы трудовой, деловой и умственной энергии народа, не имеющей выхода при нынешних формах организации экономики. Но очень сомнительно, чтобы эти перемены привели к упрочению власти партократии.

Ведь человек устроен так, что он не может перестать желать улучшения своего положения. До тех пор, пока жизнь его заполнена стоянием в бесконечных очередях, беднейшей по магазинам, починками и ремонтом низкосортных товаров, поисками нескольких дополнительных метров жилплощади, он просто не имеет сил думать о чем-то другом. Но снимите с него эти повседневные мучительные заботы — и он захочет большего. Он начнет замечать свое социальное и политическое бесправие, начнет тяготиться своим положением государственного крепостного. А отсюда уже один шаг до созрания оппозиции, то есть до появления угрозы бесконтрольному господству КПСС.

Низкий уровень благосостояния позволяет легко манипулировать трудовыми ресурсами. Вводя дополнительную оплату для отдаленных районов, можно перебрасывать огромные армии рабочих на строительство ракетных

баз, укреплений, нефте- и газодобывающих скважин, золотоносных приисков, гидроэлектростанций, стратегических железных дорог. Плата выпускнику военного училища в два раза больше, чем молодому инженеру, можно без труда комплектовать офицерские кадры 10-миллионной армии. Но попробуйте улучшить условия жизни людей, и они начнут больше дорожить покоем, здоровьем, комфортом. Их станет труднее срывать с насиженных мест и посылать в необжитую глухомань «на укрепление оборонной мощи государства».

Материальное неравенство, существующее в стране между партийной верхушкой и массой населения, тщательно и успешно скрывается. Неравенство, определяемое разницей снабжения различных городов и районов (первая, вторая, третья категории), тоже не режет людям глаз, пока им разрешается приезжать в крупные центры и охотиться там за товарами, которые в провинциальные магазины даже не завозят. Но в случае расширения рыночной сферы неравенство начнет проявляться в гораздо более резких и наглядных формах. Какие-то районы, предприятия, организации, отдельные производители начнут богатеть быстрее других, и это безусловно приведет к резкому обострению социальной и национальной розни, к открытым проявлениям ненависти и вражды, к вспышкам насилия. Удерживать порядок в обществе станет неизмеримо труднее, центробежные силы, раздирающие советскую империю, обретут в материальном неравенстве новый источник энергии. И снова монополия политической власти окажется под угрозой.

Наконец, всеобщая бедность предельно упрощает проблему обеспечения преданности самого партаппарата. При постоянной нехватке самых элементарных продуктов и услуг — любого партийного функционера можно осчастливить пропуском в закрытую столовую, отдельной квартирой, телефоном, спецполиклиникой, поездкой за границу. Уменьшение дефицита товаров и услуг приведет к огромному удорожанию партийно-бюрократической машины или к небывалому расцвету взяточничества и коррупции. Так было во времена нэпа, так происходит и сейчас в республиках Кавказа и Средней Азии, где рыночные отношения в своем искаженном, подпольном варианте распространены шире, чем в других частях государства. (В Азербайджане и Грузии в 60-е годы покупка постов и услуг чиновников зашли так далеко, что пришлось обновлять весь партаппарат, начиная с первых секретарей, заменять их чинами местного КГБ.)

Пожалуй, было бы психологическим упрощением считать, что Политбюро, объявляя очередную кампанию по повышению производительности труда и улучшению благосостояния народа, сознательно и коварно лицемерит. Нет, оно ведет себя при этом, как изголодавшаяся акула, которая сожрала всю рыбу в лагуне и решила подкормиться сухопутной дичью, но при первой же попытке выползти на берег почувствовала, что эта добыча — не для нее.



## 7. Экспорт нищеты

Иногда приходится слышать, что низкий уровень производства лишает, мол, коммунистические страны выгод внешней торговли. Что товары их из-за низкого качества не находят спроса на внешнем рынке и что поэтому доля их участия в мировом товарообороте невелика.

Думается, эта утешительная иллюзия живет лишь благодаря невозможности получения точных цифр. Объем торговли со странами Третьего мира учитывается весьма приблизительно, а ведь именно туда идет главный товар, производимый «борцами за мир», — оружие.

В демократических государствах продажа крупных партий оружия должна долго готовиться, обсуждаться в парламенте, преодолевать сопротивление общественного мнения. В СССР Политбюро может откликнуться на просьбу о военных поставках почти мгновенно, за 24 часа организовать воздушный мост к любой географической точке мира и начать слать туда танки, пушки, взрывчатку, снаряды, ракеты. Вьетнам, Сирия, Эфиопия, Ангола — о них мы знаем потому, что там это оружие немедленно идет в дело. Но многие страны покупают советскую военную технику загодя, и эти покупки, как правило, не афишируются. Представить себе полный объем продаж советской военной техники Третьему миру практически невозможно.

Нефть, уголь, лес и некоторые другие виды сырья тоже являются традиционными предметами экспорта из СССР. Сюда же надо добавить экзотику — торговлю водкой, икрой, пушниной, изделиями кустарных промыслов, консервами рыб из ценных пород. Доходы от международного туризма тоже очень велики, ибо число советских граждан, выпускаемых за границу, ничтожно, и обменять на валюту им разрешают смехотворную сумму — 10-20 рублей. С иностранцев же, приезжающих в Союз, дерут так, что, например, поездка из Хельсинки в Ленинград стоит дороже, чем на такое же время — в Италию. Но, главное, следует помнить, что на каком бы товаре ни делали барыши коммунистические страны, продают они по сути всегда одно и то же — дешевый труд.

В журнале «Time» от 16.10.78 даны цифры почасовой оплаты рабочих текстильной промышленности: в Бельгии — 8,27 доллара, в Западной Германии — 7,32, в Италии — 5,15. И рядом: в Южной Корее — 0,45, в Гонконге — 0,35. Такая неравномерность оплаты привела к тому, что, скажем, уже в 1977 году 43% хлопчатобумажных изделий, купленных европейцами, были изготовлены фабриками Третьего мира. [...]

Точно так же и Советский Союз со своими огромными трудовыми ресурсами нашупывает сейчас пути наступления на мировой рынок. Легче всего это осуществить, купив западную технологию, например, автомобильный завод фирмы «Фиат» и затем продавая на Запад продукцию, изготовленную с помощью этой технологии, но обходящуюся гораздо дешевле. Рабочий ВАЗа-Фиата получает в среднем 1 рубль в час, что по официальному курсу равно 1,3 доллара, а по реальному — 0,35. Машина «Жигули», сходящая с

конвейера этого завода, стоит в Советском Союзе 7500 рублей, а в Европе продается под именем «Лада» за 5 тысяч долларов. По официальному курсу получается, что торгуют в убыток, а на самом деле — с огромной прибылью, ибо реальная себестоимость автомобиля очень низка.

Другой пример — морские перевозки. Все товары, доставляемые в советские порты и вывозимые из них, перевозятся судами под красным флагом. Эти же суда предлагают свои услуги по всему миру по ценам заметно ниже средних. Круизы в Балтийском, Черном, Средиземном, Карибском морях будут стоить жителю Запада примерно на 25 % меньше, если он выберет судно советской фирмы. Возможность такого подрезания цен обеспечивается все тем же: крайней дешевизной труда в СССР — труда нефтяников, добывающих топливо, труда портовых рабочих, труда моряков. Бывший капитан советского торгового флота В. Лысенко получает сейчас на шведской линии 933 доллара в месяц. Советское пароходство платило ему 160 рублей, то есть 213 долларов по официальному курсу или в 4 раза меньше — по реальному.

С особенной наглядностью грабительский подход государства обнаруживает себя в торговле трудом людей науки и искусства. Зарубежные гастроли советских музыкантов, танцоров, циркачей обеспечивают Министерству финансов СССР регулярный приток твердой валюты. Ученые, получающие зарубежные премии или работающие по контракту за рубежом, тоже обязаны сдавать всю получаемую валюту за жалкую компенсацию в рублях. В 1973 году СССР подписал Бернскую конвенцию об охране авторских прав, и с тех пор гонорар за любое литературное или музыкальное произведение, переведенное или исполненное на Западе, делится таким образом: 85% — государству, 15% — автору. Причем опять же не в валюте, а в рублях. (В лучшем случае заплатят чеками для спецмагазина.)

Дешевый труд рабов в Древнем Риме разорял свободных крестьян, превращал их в неимущих батраков. Рабство в южных штатах Америки тяжело давило на свободных фермеров северных штатов. Так и теперь при активной мировой торговле страна, умеющая соединять дешевый труд с относительно развитой технологией, может наносить серьезные удары по жизненному уровню развитых стран.

Крайняя неэффективность плановой экономики, конечно, лишает коммунистический блок возможности захватить мировой рынок в такой степени, в какой это удалось за последние годы, например, Японии. Но принципиальная разница состоит в том, что в Японии разрешена забастовочная борьба и поэтому существует реальный рост заработной платы, а следовательно, она не может занижать цены на свои товары до бесконечности. В Советском же Союзе реальная заработная плата может быть оставлена замороженной еще на десятилетия. Поэтому стоит наладить качественное производство каких-нибудь изделий, и он сможет нанести огромный урон соответствующим отраслям западной промышленности, вынуждая фирмы к сокращению производства, а некоторые доводя и до банкротства.

## 8. Чтоб был народ ни жив, ни мертв

Спору нет, для зрелых коммунистических режимов промышленная разруха или голод в собственной стране уже не являются желательными явлениями. В такой ситуации социальная стабильность нарушается, начинаются волнения, голодные бунты, ослабевает военная мощь. Однако внимательный анализ показывает, что и рост благосостояния народа таит целый ряд угроз власти партократии. Идеальным вариантом для нее является положение, при котором народ похож на человека, бредущего в глубокой воде, так что только лицо его удерживается над поверхностью. Управлять таким человеком, сидя на его плечах, оказывается очень легко, ибо он не станет вступать в борьбу с оседлавшим его из страха захлебнуться. Если же дно под его ногами начнет подниматься и туловище высунется из воды хотя бы по грудь, положение «всадника» может оказаться весьма сомнительным и незавидным.

Вся история XX века доказывает, что понятия «эксплуататор», «эксплуататорский класс», будучи вырванными из контекста политической демагогии, лишаются всякого смысла. Что никакое развитое государство не может существовать без присвоения в свою пользу избыточной доли труда, которая пойдет на нужды управления, судопроизводства, обороны, соцобеспечения, образования и т. п. Что в странах, хвастающих упразднением «эксплуатации», эта избыточная доля труда, выжимаемая из граждан, оказывается в 3-4 раза больше, чем в странах, сохранивших в ограниченном виде принцип частной собственности.

Да, рыночная экономика даже при развитой системе предохранительных мер таит в себе опасность выхода из-под контроля, опасность неуправляемости. Да, неравномерность распределения жизненных благ при рыночном регулировании хозяйства может весьма часто переходить границы разумного и справедливого. Но, если осознание этих опасностей и этой несправедливости толкнет современного итальянца, француза, испанца или португальца голосовать за партию, призывающую к упразднению рынка — за коммунистов, — он должен при этом ясно отдавать себе отчет, что голосует он не только за конец политического плюрализма и социальной свободы в своей стране, но также и за приход бедности.

Ибо весь новейший исторический опыт ясно свидетельствует об одном: коммунистическая власть, уничтожающая рыночную экономику как последнее прибежище свободы, насаждающая вместо нее централизованную бюрократию планирующих и контролирующих чиновников, не просто не может покончить с бедностью и нищетой. Она и не хочет, и по сути своей не должна хотеть покончить с ними. Ибо бедность и нищета — неперемennые условия прочности политической власти коммунистов.

## ГЕЛИЙ СНЕГИРЕВ

### «Как на духу...»<sup>1</sup>

Трудно писать о человеке, которого любил и которого нет теперь в живых. Более того — которого убили. И не в бою, не в честном поединке.

Он сам рассказывает, как его убивали. [...]

Читать эти странички, написанные рукою Снегирева — и сердцем его, — трудно. Даже страшно. Несмотря на браваду первых страниц, несмотря на стихи — некое спасительное средство, — которых не надолго хватило. Дальше идет проза. Страшная проза...

Гелий не был человеком из стали. Но он был человеком. Не очень сильным, но правдивым — даже с самим собой — и очень искренним. И в правдивости этой и искренности — талантливый. Ну и — задохнувшимся от лжи. Все это и привело его туда, откуда он уже не вышел. Гелия убили...

[...]

Где он похоронен, нам неизвестно. Кто нес гроб, мы тоже не знаем. Меньше, чем вшестером, гроб не поднять. Нашлось ли столько отважных друзей? Боюсь, что среди этих шестерых не меньше трех были дюжие ребята «в штатском»... [...]

8 июня 1979

*Виктор Некрасов*

### Вступление

[...] Итак. К 22 сентября я был в западном антисоветском эфире — без преувеличения — в первой пятёрке. «Континент» печатал мое эссе о процессе СВУ, не проходило дня, чтобы какая-нибудь станция не цитировала мое открытое письмо правительству СССР, где я заявил, что «вся ваша новая конституция — ложь от начала до конца», отказался от советского гражданства и отослал в Верховный Совет свой паспорт. На очереди были и еще документы, — нет, письмо Картеру уже Запад опубликовал, а в том письме я назвал СССР главным провокатором и поджигателем войны.

---

<sup>1</sup> Рукопись пришла без заглавия, заглавие дано редакцией. — *Прим. ред.* — 1979.

К 22 сентября 1977 года я уже позволял себе заходить в очень немногие дома — в смысле к друзьям-приятелям, не больше, так как хвост за мною тащился (лучше сказать — волокся?) постоянно.

22 сентября 1977 года в 9 часов 20 минут утра я вышел из нашего дома на улице Тарасовской № 8, повернул налево и пошел к Ботаническому саду. Светило солнышко, на мне было легкое светло-серое пальто, сандали. У здания пожарной команды стоял, загораживая мне дорогу, голубой «рафик». Я хотел его обойти, когда справа, со стороны пожарной команды, возник плотный седовласый человек. И он сказал:

— Здравствуйте, Гелий Иванович. Садитесь, пожалуйста, в машину.

Сто раз я готовился к этому моменту, к аресту: крикну, упаду, привлеку внимание. Тут же я только и нашелся:

— Что такое? Зачем? Кто такие?

А уже рука справа распахнула дверцу голубого «рафика», а сзади меня уже крепко держали под локти и пихали под зад — мгновение спустя я сидел «в середочке, два жандарма по бокам», а напротив — еще четверо, в том числе седоватый (через десять минут я узнал, что это и есть тот следователь Слобоженюк, который будет вести мое дело и с которым мы, как с самым близким человеком, прообщаемся 6 месяцев).

А голубой «рафик» уже ехал. Не очень спеша, обычный микроавтобусик. «Рафик» вывернул на Владимирскую, музей Ленина, Академия, ресторан «Лейпциг», серое здание КГБ (почему-то оно всегда в лесах), повернули на Ирнинскую, заехали в ворота и — приехали!

Начали обыск. Какие-то бумаги и подписи — хотя нет, без подписей, я сразу же заявил, что подписывать ничего не буду. Понятые. Какое-то начальство, которое произнесло:

— Да, Гелий Иванович, вы изрядное ведро грязи вылили на нас и тут, внутри, и там, за рубежом.

Потом меня повели через двор, завели в двухэтажное здание, в маленькой камерке обшмонали уже донага и с заглядыванием в зад («нагнитесь, раздвиньте ягодицы!»). Коридор, лестница, коридор, в руках у меня два матраца, лягз замков и — камера.

Ну, вот. И потекла жизнь. И с первых же дней я стал сочинять вирши. Им, впрочем, и передаю ныне слово — стишатам. [...]

Вызовы. Допросы. Протоколы.  
Как по маслу следствие идет.  
Им известны все мои «проколы»,  
Рукописи, речи, мыслей ход.  
Но, хоть поступал подчас беспечно, —  
Рукописи взяли? Что ж, я рад.  
В сейфах КГБ храните вечно!  
Так-то, рукописи не гоят.

7 ноября в прогулочном дворике я проорал дурным голосом призыв к политическим встретить славное 60-летие голодовкой протеста. При этом, поскольку то был девятый день голодовки, слегка потемнело в глазах, и немножко шлепнулся, так что в камеру был доставлен на руках вертухаями. Рассчитывал, что за этот подвиг получу карцер. Но они побоялись за мое здоровье. И через два дня, когда я лежал с голым задом в медкабинете и в меня насильно заливали питательную клизму, пришел начальник СИЗО, подполковник С. и, обращаясь к моей голой, отощавшей заднице, огласил приказ об объявлении мне выговора за нарушение дисциплины. [...]

25 декабря следователь Слобоженюк «счел своим долгом» между прочим предупредить меня, что по статье №... чистосердечное раскаяние сплошь и рядом награждается полным помилованием, особенно если не доводить до суда. И я сказал:

— Что, много шороху за бугром? Надо бы нейтрализовать?

Он ответил:

— Да. Не мешало бы нейтрализовать. Подумайте, Гелий Иванович.

Я поиграл с ним, задавая ему какие-то вопросы, что-то выяснял для себя. В итоге разговора нашего я сказал ему глубокомысленно: подумаю, взвешу. После Нового года дам ответ. [...]

### Первая больничная

(24 ноября — 2 декабря 1977)

#### Триптих I

Тяжкая доля! Рыбою бейся об лед.  
Мне — только воля! Или — ногами вперед.  
Семь раз по году — жизни остаток всплывет.  
Нет, мне свободу или ногами вперед.  
Выйду я сходу на боевой разворот,  
Выбью свободу — или ногами вперед.  
В кружку мне воду — и ни калории в рот!  
Ну-ка, свободу! Нет — так ногами вперед!  
Дам я им в морду. Жить не хочу, точно кот.  
Вырву свободу! — Или ногами вперед.

*С 10-го по 27-й день голодовки неопытные «кормильцы» в СИЗО КГБ не сумели меня принудительно кормить. Я считал себя победителем. Они заботились, уговаривали, в испуге на меня смотрели, возились со мной, как кот с салом. Я считал, что победа близка: еще немного, и они начнут выполнять мои условия (адвокат, свидание с женой, переписка) или вообще примут решение о выдворении. Но 24 ноября меня свезли в тюремную больницу, где опытные тюремщики быстренько меня накормили — в наручниках, с выламыванием рук, до хруста в позвоночнике. С 26 ноября я снял голодовку. [...]*

## II. ДОКТОРУ ИННЕ О-ой

О мила Инно! Ніжна Пінно!

*П. Тычина*

Со зла, сплеча и сгоряча,  
Плюясь, рыча бездарно,  
Вас «ассистентом палача»  
Я обозвал вульгарно.  
И слышу вас в тот самый час  
Сквозь ругань, боль, кручину:  
«Вот глупый мальчик» — и тотчас  
Поправилась... «Мужчина».  
Потом опять, как разжимать  
Стал рот мне лекарь грубый,  
Вы, когда стало там трещать, —  
«Ой, не сжимайте зубы!»  
И мэ, и бэ, и про ГБ  
Я плел, а вы наивно:  
— Да голодайте вы себе!  
Но что так агрессивно!  
Вы только в рот возьмите зонд,  
Он гибкий — и отлично!  
И голодовка пусть идет,  
Соблюдены приличья!  
Ах, доктор, будь в приличьях суть.  
Не в поддавки играю.  
Хотите глубже заглянуть?  
Присядьте. Разъясняю.  
Идет война. Сложна, трудна.  
Систем, и бомб, и мнений.  
В ней цель не всем всегда видна,  
В ней много разветвлений.  
Скакнуть туда, потом сюда —  
В той драке не годится.  
И в ней стратегия одна:  
«Предаст, кто усомнится».  
А ваш совет — сомненья нет —  
К предательству подножка:  
— Ты голодал себе, мой свет,  
Кормить я буду — с ложки...  
Вот, Инна, так, вот, доктор, как.  
Совет вам дам хороший.  
Зачем вы здесь? За так, за сяк?  
Запутались, за гроши?  
Бегите прочь! В глухую ночь,  
Пешком, в любые двери!

Тут вам помочь никто невмочь.  
На свой аршин вам мерить —  
Что есть усердые, в чем резон  
И где определенье,  
В чем — милосердые, что — закон,  
А где и — преступленья.

*Этот стишок милейшей моей докторше я сочинил в день моей выписки, прочел ей вслух и вручил на память исписанную бумажку. Она взяла. Разговор с врачом или с другими из облуги всегда проходил под бдительным оком двух сидящих в разных углах вертухаев. Доктор Инна сказала, что ей понравились стихи, а я, хоть был тощ, неделю не брит и измызган, ощутил удовлетворение авторскому самолюбию. Она вышла, вслед за ней немедленно направился вертухай. И я словно видел сквозь дверь, что происходило в коридоре. Вертухай подошел к ней и сказал: «Не положено, дайте сюда бумажку». Естественно, она тут же ее отдала. Я не ошибся. Через две недели мой следователь сообщил мне, что начальник СИЗО передал ему стихи, которые я вручил доктору О-ой.*

### III

Осінні голі дерева...  
Навряд чи символом свободи  
Комусь дається. Вряди-годи  
У дикім лісі де, бува.  
А у тюремному дворі,  
Порослі за камінним муром, —  
Такі ж ви в'язні похмурі,  
Як сірі зеки в тій порі.  
Та крізь ґратоване вікно  
Дивлюсь — колошкає вас вітер,  
Куйовдить, крутить, геть летіти  
Готові з вітром заодно.  
Безтямно вітер вертить віти.  
Мені ввижається в о н о —  
Одно, давно:  
СВОБОДА.

[...] «Из снов», рассказанных во время допроса следователю С.

Все эти три сна мне в самом деле приснились, но с небольшими отклонениями. Дело в том, что с самого начала я завел со следователем С. весьма странные отношения, не здоровался, хамил, а в устных и письменных ответах (все ответы писал собственной рукой) остроумничал и изгилялся, как мог. Следователь С. очень любил изображать из себя заядлого бюрократа и без конца повторял: «Так у нас, Гелий Иванович, и положено...



Нет, Гелий Иванович, так у нас не положено. С меня за это, знаете, как стружку снимут!»

Под влиянием этих «положено — не положено» приснились мне первые два сна. А вот третий сон... вещий он был, что ли? Все три сна я в самом деле прочитал следователю С., переписал их и вручил с авторской дарственной «на злую память».

### Сон первый

Так вот, капитан. Верьте, нет —  
Мне приснился сегодня сон,  
Будто я к вам в кабинет  
На допрос, как обычно, введен.  
Не здороваюсь я, как всегда,  
Вы на месте. Бумаги лист.  
Аккуратненько вы туда,  
Будто карты сдаете в вист.  
Разложили бумажек клочки —  
Тут вот кучкой они такой, —  
Изучаете их сквозь очки  
И кладете одну к другой.  
На клочках тех — ошметки слов.  
Присмотрелся — моя рука!  
Узнаю, удивиться готов:  
То — остатки черновика!  
Шел вчера здесь такой же допрос,  
Как обычно — я сам писал,  
Набросал, в протокол перенес,  
А потом черновик порвал.  
Я спросил: — Это хобби у вас?  
— Так положено, — вы в унисон,  
В серый сейф нырнули тотчас  
И достали клею флакон.  
— Но зачем же работа зря?  
Вы б сказали — не стал бы крошить!  
— Не положено. Нам нельзя.  
Я обязан восстановить...

И тут я проснулся.

9 октября 1977

*Когда ведут на допрос, дважды шмонают у дверей камеры в коридоре — до и после. Вообще происходит все так.*

*Открывается кормушка, влезает рожка вертухая: — Кто на «ЭС»? — Я на «ЭС». — Фамилия! — Я отвечал грубо: — Не морочь яйца. Что, допрос? — Да, собирайтесь. — Выводят тебя, и тут же шмон —*

для проформы, поверхностный: хлопают по карманам, изучают футляр для очков, спички. Идем. По коридорам и лестницам СИЗО, через двор, потом по коридорам и лестницам главного корпуса ГБ. Ведет один, все время щелкает пальцами (обучены!) или хлопает в ладоши — веду зека! — чтобы не допустить нежелательных столкновений-узнаваний. Заводит он меня в кабинет следователя, сдает меня ему под расписку. Окончив допрос, следователь звонит, присылают того же вертухая, и ведет он меня назад, — да, забыл, в дороге обязательно «руки за спину», и у двери камеры такой же шмон.

Как-то я спросил следователя С.: — Скажите, а вас при входе на работу и при уходе — обыскивают? — Он изумился: — С чего вы взяли? Конечно, нет! — Неправда, еще как шмонают. — Что за глупости... — А вот и не глупости. Меня по дороге к вам и от вас — шмонают?—Ну?— Так это же не меня шмонают, а вас. — ??? — А подумайте: меня ведут к вам, и, кроме вас, я ни с кем не общаюсь. За мной зорко следит вертухай и никакого контакта не допускает. Значит, шмонают вас: или я вам что-то несу, или вы мне что-то вручили. Разве не так? Вас обыскивают, вас! Следователь С. со скрипом посмеялся: — Шутник вы, Гелий Иванович![...]

### СОН ТРЕТИЙ<sup>2</sup>

— Вот ваш паспорт. Вот пропуск ваш.  
Вы свободны. — П-пропуск? К-куда?  
И опять в голове ералаш,  
Без систем и схем ерунда.  
И уже я вахтеру сую  
Паспортину. Он честь мне отдал —  
И на улице я стою,  
Рюкзачишко плечом поддал.  
Паспорт прячу. Постой, а на кой  
Паспорт, паспорт со мной зачем?  
Я от паспорта смелой рукой  
Отказался напрочь насовсем.  
Паспорт свой им швырну в упор!  
Как же так, испугался, в кусты?..  
Ладно, там разберусь, зато  
Ты на воле! На воле ты!  
Я — направо, налево,  
И к Владимирской шаг шагнул...  
И тотчас заспешил назад,  
В переулоч глухой повернул.

<sup>2</sup> Третий сон, начинающийся примерно той же формулой «захожу я в ваш кабинет», что первые два, продолжается появлением в кабинете полковника Туркина — «Симпатичный, приятный такой. На Аркадия Райкина схож...», который извещает Снегирева о неожиданном освобождении. — *Прим. ред.* — 1979.

Не хочу никого повстречать!  
Почему? Не желаю и всё!..  
А навстречу — уже не ударь —  
Двух приятелей черт несет.  
— Т-ты?! Здорово!.. Так ты же — там!..  
— Да, вот так, был. А стал тут..  
— Отпустили?! — Вот только что. Сам  
Не опомнюсь. Ну, будьте, салют..  
И спешу, и чугуны в ногах,  
Не оглянусь, но вижу: стоят,  
И, хотя ничего не слышать,  
Всё услышал, что говорят:  
— Раскололся, стало быть, сник!..  
— Да-да-а, раскололся, стало быть, в пух...  
— Э-э, ведь теперь — их шпик...  
— Ш-ш, ни слова при нем вслух...  
Я в подъезд заползаю глухой,  
Отстояться, унять дрожь,  
Отстоюсь, а стемнеет — домой,  
И никто там меня не трожь!  
Там жена пожалеет.. Жена?  
А она-то поверит? Как знать.  
Ну, поверит. Но ведь — одна,  
А друзей уж теперь не собрать.  
А потом «шорох» там, за «бугром» —  
Чем он это у них заслужил?  
А потом... А еще потом...  
Нет дыхания... нету сил.  
Вот оно: полковник Туркин  
С крупным счетом сыграл турнир!..

И бегу я назад, бегу,  
И никак не могу, не могу  
Я пролезть в ту широкую дверь,  
И вахтеру, как загнанный зверь,  
Паспортину сую, сую,  
И прошу, и молю, и молю:  
— Мне к себе! Мне к себе, к себе!  
Мне в СИЗО! Мне в СИЗО Ке Ге Бе!  
Моя камера там пуста!  
Моя полка не занята!  
Мне на волю не по пути!  
Пропусти... отпусти... пусти!!!

И тут я проснулся с воплем «Пусти-и-и!» и, как говорится, в холодном поту.

*15 февраля 1978*

## Март 78 — будь он проклят...

Плохо мне стало уже в январе. Где-то в середине февраля было произнесено слово «стенокардия». Сошелся консилиум, три врача, слушали, измеряли, в сотый раз снимали ЭКГ, со следующего дня молодой, приятный кардиолог стал приезжать ежедневно — и от него-то я и услышал: «Стенокардийка, что ж...»

Продолжали пичкать панангином и коронтином, на ночь кололи тройное — папаверин, анальгин, димедрол (без них я уже не спал, боли в груди и бедре мучили). В бедре подтвердили радикулит, чем-то мазали, натирали.

Становилось все хуже. Допросы стали к февралю редки, все уже было обспрошено, и на все мною было нагло и находчиво отвечено, но следователь Слобоженюк все же обязан был раза два в неделю меня вызывать, и где-то 20 февраля я отказался ходить в следственный корпус. Он опять, как во время конца голодовки в ноябре, стал приходиться для допросов в СИЗО. [...]

2 марта я досыпал бессонную ночь (укол уже давал мало эффекта), повернувшись ко всему миру задом, когда стукнуло, грюкнуло, потом лягнуло и вошел начальник СИЗО подполковник Сапожников. Я давно объяснил, что не встаю в его присутствии, и только повернулся и поглядел. Он подошел к койке, по-братски положил мне руку на плечо и сказал:

— Гелий Иванович, на этот раз вам все-таки придется встать. Собирайтесь в больницу.

— В какую? В ту же, где вы меня пытались кормить?

— Да, другой у нас нет.

— Вы считаете, что там в тюремных условиях меня могут вылечить?

— Мы обязаны вас госпитализировать, поместить в стационар.

Я поднялся, сел, морщась от боли в груди и бедре. [...]

Я потребовал бумагу и сочинил заявление прокуратуре и начальству КГБ сразу. Смысл его был таков. Говорят, где-то в странах прогнившего Запада (даже чуть ли не у фашистской хунты Пиночета!) существует правило — в подобных случаях отпускать подследственного под залог. Как обстоит с этим делом в нашей — самой демократичной и человеческой стране? Кажется, у нас существует изменение меры пресечения — т. е. меня могли бы для лечения, продолжая следствие, освободить из-под стражи?

После этого я поставил три требования:

1. Немедленно уведомить жену о моей болезни и переводе в тюремную больницу.

2. Немедленно предоставить свидание с женой.

3. В самом спешном порядке, в связи с тяжелейшим сердечным обострением плюс радикулит — сочетание, лишшающее меня сна и излечимое только в условиях свободы, — принять решение об изменении меры пресечения и дать мне возможность лечиться в вольных условиях.

Ответ ждать себя не заставил. На другой день следователь Слобоженюк привез красивую бумагу со штампами, печатями и подписями.

Подписали кто-то из прокуратуры и начальник следственного отдела КГБ Украины полковник Туркин В. — тот самый, что приснился мне в «Третьем сне, рассказанном следователю Слобоженюку», и что на «артиста Райкина похож».

В бумаге значилось:

1. Свидание с женой разрешено быть не может, поскольку жена принимала участие в изготовлении и распространении антисоветских документов Снегирева и свидание может нанести ущерб следствию.

2. Изменение меры пресечения — т. е. освобождение Снегирева из-под стражи для лечения — нецелесообразно, поскольку может нанести ущерб проведению следствия.

На требование сообщить жене о болезни и больнице вовсе не последовало ответа.

Вот так. Кратко, сжато. И все — в интересах следствия. А ты иди отдохни.

Но я забежал вперед. Сочинив 2 марта свое грозное «требую!», я вручил его Слобоженюку и услышал:

— Эти ваши требования, Гелий Иванович, звучат нелепо и только вызовут раздражение у начальства. Вам сейчас, знаете, о чем надо подумать? Помните наш разговор в начале января — вы еще стишки разные тогда сочиняли?

— Вы все-таки опять о покаянном варианте?

С достоинством и спокойствием, преодолевая боль, я поднялся из-за стола.

— Этого не будет. Забудьте.

— А зря, — негромко процедил Слобоженюк, укладывая в папку мою бумагу. — Был бы совсем другой разговор.

Через полчаса я уселся между двух вертухаев и по знакомым, любимым, желанным, проклятым улицам вторично отправился в Лукьяновскую тюрьму.

## **Проклятый месяц март...**

Мне надо записать все шесть месяцев моих под следствием, с сентября запомненных стишков мало, но я не знаю, сколько мне дано времени, и спешу хоть как-то, второпях, лежа изогнутый в три погибели и почти не видя строки, записать главное — март. Весь ужас, все омерзение, и как я сломался.

Пишу в больнице. Парализован — с марта. Прошел месяц после операции, и у меня ощущение, что надвигается вторая. Врачи мои мне почти прямо говорят: всякие срезы, посева, стекла, пленки — плохи, утешают меня — вон, мол, сколько случаев, вон женщина после операции внука воспитывает. Ладно, пусть воспитывает, и я хочу.

Словом, успеть бы записать март. Пишется быстро, но ужасно тяжело физически писать: лежу на левом боку, сердце зажато, все болит, строку не вижу, перечитать не могу.

2 марта я прибыл в свою старую родную палату — изолятор Лукьяновской тюрьмы. Все то же — знакомое, почти родное: кашка манная (4 ложки)

и творог (шарик в 5 граммов) на завтрак, наваристого борщу от пуза и каша с куском вареного мяса в обед, картошка с тюлькой на ужин.

Большое окно — решетка, особый щит из непрозрачного стекла, сетка из проволоки — так все устроено, что видишь только верхушки деревьев где-то неподалеку; но в рамах — стекло, даже в одной раме выбит кусок и бумагой заклеен: там дома, в СИЗО, в окнах слюда, полное отсутствие режущих предметов.

Кровать, стол, два стула (один — деревянный, другой с обивкой — для зада вертухайского: три пары их сменяются возле меня по суткам, и днем или вечером один из двоих, как правило, сидел в камере с книжкой), вешалка, умывальник, он же писсуар для меня, пока текла моча.

Только доктора Инну свою я не застал — то ли ее больше ко мне не прикрепили, то ли, чем черт не шутит, действовали на нее мои «Бегите прочь, в глухую ночь, пешком, в любые двери!» — сбежала она из тюрьмы.

Врачом мне назначили некоего Виктора Васильевича. Речь о нем впереди.

Пошли кардиограммы, анализы мочи и крови, панангины, анальгины и димедролы...

Май — пишу о марте. Числа 5 марта начала отниматься правая нога — от носков вверх. Боли в бедре и во всех костях. И в груди. С того же дня перестал без клизмы какать, да и клизмание давало мало: вышла вода, а надуваться невозможно больно (стенокардия). 12-го правая нога отнялась совсем — лежала мертвая и уже не болела, и то же пошло в левой. Не испражнялся уже дней пять. Поставили 17 марта клизму, перетащили меня санитар Шурик (интересная фигура) с одним сердобольным вертухаем на расшатанный стульчак над ведром; вода вышла, дуться не мог. И тогда, изгибаясь и балансируя, сам себе залез пальцем в зад и полчаса выдирает оттуда куски окаменевшего дерьма. Шурик смотрел с ужасом, вертухай убежал вон от вони и грязи. Потом Шурик поливал на руки, на бедра. Как я там отмылся — воняло все дерьмом, а руки, по-моему, до сих пор воняют. Когда меня перетаскивали со стульчака на койку (тот самый сердобольный вертухай и Шурик), Шурик вдруг крикнул:

— Э, ты сцишь.

Пошла вдруг моча, которая уже сутки там сидела. Вертухай отскочил, ругаясь. Упал я уже на койку. Облил ее всю, как-то подвернули, в мокром спал. Оттуда и начался пролежень на крестце, который до сих пор цветет.

Я потребовал врачей для консультации. Пришел хирург (местный майор в сапогах и фуражке с малиновым околышем) — не по его части. Три дня ждали невропатолога — пришлого, своего не держат. Пришел — толковый, внимательный, долго осматривал, стучал молотком, колол, царапал, чертил. Я узнал, что тело мое потеряло чувствительность от пальцев ног до ребер, что с мочой и калом так и должно быть.

— Остальное я изложу вашему лечащему врачу. Да, для полной уверенности в диагнозе необходима спинномозговая пункция.

Я тут же от пункции в тюремных условиях отказался.

Названия и сути моей болезни я таким образом от консультанта не узнал, но по полусловам его моему фашисту-врачу, по крестикам и ноликам, которые он рисовал у меня на спине между лопаток, понял: порча в позвоночнике, где-то у шеи.

И сразу догадка: у шеи? Не там ли, где меня особенно «бережно» удерживали и зажимали мои кормильцы (см. стихота «Первая Больничная»)? [...]

Из жутких моментов — еще один.

Было это где-то в те же дни, левая нога тоже не держалась уже, только весь низ моего тела передергивали судороги. Ребра стягивал обруч, будто изнутри распирало. Я почти не пил, почти не ел, не мочился и не испражнялся целый день.

Ежедневно появлялся мой врач — Виктор Васильевич, — молодой, сдержанный, вежливый, заботливый. Он говорил, что я преувеличиваю, что надо не поддаваться самовнушению, писать тугоструй и хорошо какать, и уже во всяком случае каждый день по три часа сидеть: под спину на кровать перевернутый стул, и, на него откинувшись, сидеть, кушать, читать, писать, участвовать в допросах.

Утром после бредовой ночи, — спал я, нежно прижимая персонально для меня приобретенную «утку», но она оставалась порожней, ворочали меня с боку на бок Шурик с вертухаем, — проснулся весь раздутый от мочи и дерьма. Звал фельдшера, сестру — ничем они помочь не могли:

— Вот сейчас придет врач.

Часов в 11 пришел врач. Пощупал живот, велел опять же сидеть, тогда пойдет и моча и кал, но раз такое дело — он может дать слабительное, а чтобы наверняка — то посильнее: английскую соль, двойную дозу. Выпил я соль, была она в холодной воде, не растворилась, и я ее сгрыз — и потянуло меня пить. Литра два воды выпил я в тот день.

К вечеру меня раздувало еще больше: соль действовать не собиралась. В 7 вечера пришел Виктор Васильевич, сказал:

— Да, не подействовала.

Дал выпить рюмку касторки, велел поставить масляную клизму.

— Это вас сразу освободит, — и исчез.

Но меня не освободило. Клизма тотчас выскочила в судно, и сколько я ни дулся — ни фига.

Ночь была... Ну, словом, вздут до предела, моча вот-вот потечет горлом вместе с касторовым калом. Утром меня усадили, и я часа полтора рвал касторкой с желчью. Съел ложку меда и стал рвать медом с желчью. Моча и дерьмо, не преувеличиваю, циркулировали в голове.

Фельдшер и сестра помочь опять ничем не могли. Виктор Васильевич в этот день отсутствовал — научная конференция. Наконец, догадались вызвать хирурга, Бориса Борисовича. Звали его часа два. По-моему, я уже коротко всхрипывал, когда он явился.

Короче. Хирург выщедил из меня катетером полторы утки чудесной мочи, а затем велел делать сифонную клизму: я лежал на боку, задницей на

самом краю кровати на клеенке, — в меня вливали воду, какое-то время она во мне задерживалась, а потом с дерьмом была фонтаном. Пропустили ведра полтора воды — и Борис Борисович не уходил, руководил сам.

Потом на другую сторону кровати, отодвинув от стенки, — промыли кишечник: заглotal я тот самый гибкий зонд, которым меня три месяца назад здесь же насильственно кормили. Лили в него воду через воронку, а она лилась через рот и нос со слизью, горечью, сладостью и ошметками.

Потом меня оставили одного в той же позиции, и у меня еще долго хлестало из зада. Потом опять пришли люди, как-то что-то мокрое убрали, подоткнули, перевернули меня.

Не знаю, стало ли мне легче. Мне было все равно. Я весь чувствовал себя в дерьме и моче, внутри и снаружи...

Удивительно во всем этом вот что. Пишу я это, лежа в современном цивилизованном отделении одной из лучших киевских больниц, здесь опытные, внимательные, уделяющие мне много внимания врачи. Я парализован, моча течет в утку, ставят клизмы. По рекомендации моего знакомого врача в поисках лечения от рака (!) держу диету: уже 10 дней — соки, кислое молоко, яблоки.

Тем не менее, из меня при чистке с клизмой, как я в тюрьме пальцами из себя сам, выковыривают кучу окаменевшего дерьма, спускаются вниз старые залежи. Через день, а то и каждый день — вспышки температуры; доктора удивляются — отчего? Вчера прошу:

— А сделайте-ка мне сифонную клизму.

— Зачем? Вы же ничего не едите с вашей дурацкой диетой, там же ничего нет.

— Ладно, сделайте.

Делают. И вынимают из меня килограмма два дерьма, а сколько вони, газов. Уже кончили лить, а говно, уже жидкое, все ползет.

Понятная картина: залежи месячного стажа, типичное отравление организма собственными экскрементами.

Здесь хорошие, внимательные, знающие врачи. Здесь царство *бесплатного и безответственного* советского здравоохранения.

...Вот теперь самое время спросить:

— Почему же ты не покончил с собой?

Вопрос нелеп. Покончить было невозможно. Неподвижен, ни повеситься, ни удушиться. Ни ножа, ни куска стекла (очки забраны, только на допрос). И вертухай тут как тут: днем — оба, ночью — посменно, каждую минуту вертят глазок. Они для этого ко мне и приставлены, а не для оказания санитарной помощи. Невозможно.

Когда меня распирало, когда задыхался от мочи и говна, молил я Господа, чтобы прекратил он муку мою. Чтоб муки прекратил и сломаться не допустил. Но Господь не внял. Мученье длется и сегодня, а сломался я тогда же.

Допросы по всякой мелочевке продолжались — в среднем через день. Следователю Слобоженюку надо было наблюдать нарастание моей агонии.



Он расспрашивал о здоровье, о лечении, сочувствовал, принимал какие-то меры, потом стал (за свой счет! — ?) привозить мне кефир, — и я что-то говорил, о чем-то просил.

И, наконец, он дождался.

— Слушайте, Слобоженюк, что, ни пункций, ни лечения моей болезни здесь вести невозможно?

— Н-ну, почему, все лечат.

— Бросьте. Это лечат в институте нейрохирургии.

— Конечно, там вернее.

— Так что же? Будем иметь свеженький труп 50-летнего мужчины?

— Ну, почему же.

— А ведь это не в ваших интересах, Слобоженюк, согласитесь.

И опять знакомая фраза:

— Что ж, Гелий Иванович, везде умирают.

— Логично, и все-таки вам очень не хотелось бы, чтобы политический заключенный издох под следствием.

— Да, не хотелось бы.

— Так как же лечить его, как же ему не дать издохнуть?

— Переводить вас в обычную больницу и содержать там под стражей мы не можем. Значит, будут как-то лечить здесь.

— Об этом уже говорено: трупик.

— Есть, Гелий Иванович, единственный вариант. Может быть, еще не поздно, хотя дело почти окончено и сейчас это труднее, не знаю, пойдет ли на это начальство.

— Опять же — чистосердечное раскаяние?

— Да.

— Так сказать, под медицинской пыткой? Выкручивание рук, да еще к тому же больных?

— Ну-ну-ну, что вы себе позволяете?

— Называю вещи своими именами, следовательно Слобоженюк.

— Не хочу даже слышать такого.

Помолчали. И Слобоженюк заговорил о том, что, может быть, еще и не поздно, начальство пойдет, а помилование в связи с чистосердечным раскаянием сейчас, в ходе следствия, до суда, это совсем не то, что после суда, да и когда он еще будет — ведь нельзя же на суд в таком состоянии, и я буду чист, и с жены спадут всякие обвинения, и детям никто никогда не вспомнит...

— Подумайте, Гелий Иванович, хорошо подумайте. Есть еще время, но его уже мало.

И я промолчал. И этим все сказал.

И 13 марта я сочинил стихок, сочинил оправдание своего предательства. Все красиво: «не моральных — физических сил не хватило...»

Сочинилась и проза. Выглядела она искренне, и моя по стилю, и написана. Счастье, что тупоголовые жандармы заменили ее своей.

Звучала она так:

*Правительству СССР*

*Благодарю правительство СССР за проявленное ко мне разумное милосердие.*

*Полгода я провел под следствием КГБ. Я был арестован за сочинение и распространение моих так называемых «документов», порочащих Советское государство. За эти полгода я много передумал, переоценил и осознал по-новому. И пришел к выводу, что все мои взгляды и настроения в корне неверны.*

*Я не сумел верно оценить основные узловые моменты в истории Советского государства и пришел к ошибочным выводам. Из ошибок и недоделок, неизбежных при строительстве всякого нового общества, я сделал вывод о несостоятельности советской социалистической системы.*

Далее я писал, что сожалею, что мои «документы» попали по моей вине за рубеж и стали оружием антисоветской пропаганды, каялся в том, что отказался от советского гражданства, и просил вернуть мой паспорт, поскольку «за эти полгода окончательно осознал, что не мыслю жизни вне Родины», обещал вести себя достойно, как подобает, и в заключение просил прессу опубликовать мое заявление.

Идиотская профессиональная привычка: не смог написать похуже, не в своей манере. К счастью, говорю еще раз, подправили гебисты.

Почему я выбрал форму благодарности Правительству? Искал, болван, гарантий: сумеют напечатать только после того, как освободят, как будто им трудно заменить «Благодарность Правительству» на «Прошу Правительство»...

На другой день утром произошел такой разговор с моим врачом Виктором Васильевичем.

— Скажите, доктор, как же вы собираетесь лечить здесь меня дальше?

— Не знаю. Вы же отказались от спинномозговой пункции, диагноз неизвестен.

— Пусть я соглашусь, диагноз станет известен — кровоизлияние в спинной мозг или опухоль, — но лечить здесь в ваших условиях этого нельзя.

Почти торжественно он изрек:

— Могу заверить вас в одном: ни в какую другую больницу вы отсюда направлены не будете.

— Ну, ваши заверения немного стоят, мою судьбу решают чины повыше.

Он посуровел, глянул зло.

— Тем не менее, я знаю, что говорю.

— Ясно. Значит, мне отсюда не выйти. Так? — Он промолчал.

— А вы знаете, Виктор Васильевич, как это называется? По нормам человеческой морали?

— Нет, не знаю.

— Фашизм.

Его передернуло, хотел возмутиться, но смолчал. А я продолжал:

— Можно уточнить: пыточное следствие.

Четким военным шагом он вышел из палаты. За ним последовали вертухаи. [...]

Явился Слобоженюк, и я сообщил ему, что решение мною принято. Как ни прятал он радость, она из него так и перла. Я прочитал ему «Благодарю Правительство». Он радовался, скрывал, говорил, что как основа политического (т. е. для прессы) документа это неплохо, но главное — большой документ с мотивами, раскаянием и деталями для следствия, на основании которого будет написано постановление об освобождении.

— Ну, этот документ вы мне сочините сами, — сказала я.

Он согласился.

Что-то он вякнул, что я непозволительно вел себя с врачом, на что я отпарировал:

— Не сдохнет. Скушаете, раз уж каюсь.

— Ну, знаете, все-таки осторожнее, не так резко.

Тут я потребовал гарантий:

— Я раскаюсь, все напишу и подпишу, вы потом все это используете, а свободу я фиг увижу?

— Какие могут быть гарантии? — озадачился он.

— Свидание с женой. Пусть она придет сюда, и вы в моем присутствии сообщите ей, что вот я немножко болен, раскаялся и такого-то числа буду освобожден. Для меня это — вполне достаточная гарантия.

Он засомневался, сказал, что подумает (т. е. посоветуется с начальством), а на другой день сказал:

— Отпадает. Свидание с женой отпадает.

Идиоты! Как же они боялись, что жена взглядом, полсловом даст мне понять, какой вокруг меня поднялся шум, и тем самым удержит меня от покаяния.

Два дня я настаивал на своем, а он твердил: нет, невозможно. Между тем становилось все хуже, и я по-прежнему валялся в дерьме. А когда вечером приходил фельдшер в фуражке, сапогах и грязном халате и выпускал мне мочу (мыл он перед тем руки?), то в коридоре я слышал веселые, к фельдшеру обращенные вопросы:

— Ну, кончил колоть сифилитиков?

— Хорошо, какие же гарантии? — спросил я Слобоженюка.

— Каких вы хотите гарантий? Наше слово — вот гарантия. А кроме того, подумайте сами: зачем нам вас обманывать?

— Ну, слово ваше — наплевать и растереть... А насчет зачем — тут есть резон...

И я изрек формулу:

— Моя болезнь — ваш союзник, вы это знали с самого начала. Но в то же время теперь она вас подстегирует к тому, чтобы все-таки обойтись без трупа.

Болваны! Если бы я не валялся в дерьме, если б не убивала боль, если бы сохранились еще хоть какие-то силы — из-за одной их боязни свидания с Галкой я не пошел бы на покаяние! Причиной их боязни могло быть только одно: слишком большой шум «за бугром», и они по дурости своей признавали: да, шум большой.

— Ладно. Пусть без гарантий. Пусть завтра приезжает полковник Туркин — с меня достаточно разговора с ним.

Как же Слобоженюк подскочил, как едва скрыл свое счастье, его пронзившее!

— Да, да, конечно, завтра с утра, обязательно. Часам к 11-ти — процедуры к этому времени все закончат?

— Какие процедуры — один укол витамина.

— Да, да, Гелий Иванович, надо в настоящую больницу. Вы правы, здесь, конечно, не лечение. И пункция здесь ни к чему, вы правы. Надо вам поскорее в неврологическое отделение, в хорошую больницу. Ну, теперь все, Гелий Иванович, в ваших руках!

Разговор этот происходил в четверг, 23 марта. И до самого 31 марта Слобоженюк ежедневно повторял:

— Ах, как бы мне хотелось, чтобы вы покинули это заведение здоровым, вышли отсюда собственными ногами!

На что я однообразно отвечал:

— Это возможно только при варианте — ногами вперед.

А обруч сжимал грудь все туже, а боль в груди все усиливалась, пузырь распирало (мочу спускали раз в сутки, вечером, пил как можно меньше). Появилась температура — к вечеру 38-38,5°. На крестце случайно обнаружили пролежень, бросились мазать, заклеивать — как же, свидетельство плохого ухода.

24 марта в пол-одиннадцатого вбежал Слобоженюк.

— Сейчас, сейчас придет Владимир Петрович.

Он заходил по палате и при этом просил меня о том, чтобы я все-таки поздоровался и называл Владимиром Петровичем, и не позволял себе ненужных резкостей, и даже намекнул бы начальнику, что раскаяние мое не от беды, а в самом деле искреннее.

— Гелий Иванович, ведь это все теперь уже роли не играет, а на вопрос вашего освобождения повлияет, не сомневайтесь, и даже — что очень важно! — ускорит сроки. Ох, как бы мне хотелось, чтобы вы ушли отсюда своими ногами!

И появился Туркин. Само обаяние, тихий голос, мягкость во всем.

— Вот, полковник, — начал я, — мой друг капитан Слобоженюк, как и перед первой встречей, просил меня, чтобы я был с вами вежлив — поздоровался бы, назвал по имени-отчеству и пр. На сей раз я выполняю его просьбу: приветствую вас, Владимир Петрович, несущий мне избавление. Ну, а насчет искренности или неискренности раскаяния, — я полагаю, для вас это не так уж важно: я покаялся, разоружился, признал себя банкротом, ни в какие политические игры более не полезу, — а с вас этого достаточно.

Он поулыбался, что-то сказал, согласился. Затем мы единодушно решили, что действовать необходимо с максимальной быстротой, в этом заинтересованы и они, и я, ибо мне день ото дня все хуже. Сообщил мне Туркин, что опухоли у меня нет, в этом его заверили врачи по результатам тюремного рентгена. Решили, что капитан не пожалеет своего ни личного, ни служебного времени, чтоб сочинить то мое большое заявление следствию и прокуратуре, а затем не менее обширное «Решение прокуратуры и следствия»: эти бумаги должны были обежать множество инстанций.

— Да, полковник, но где же все-таки гарантии, что меня освободят? В свидании с женой вы отказали — чему верить?

И он добро и ласково, веско сказал:

— Поверьте мне. Поверьте моему слову. Вы будете освобождены. Надо только написать все так, как положено. Но вы напишете, это я уже вижу. Писать вы умеете, и все вам понятно.

Ах ты, сволочь паршивая, — раскусил меня, добрый дедушка, все ему во мне понятно!

Я сказал:

— Настоятельно прошу вас уложиться к следующему уик-энду. Сегодня пятница. До следующей пятницы обещаю вытянуть, субботы и воскресенья не обещаю, могу не пережить.

— Мы сделаем все возможное. Думаю, что успеем. Но, Гелий Иванович, в случае чего — вы же сильный человек, ну как-то там до понедельника.

— Не выдержу, — криком простонал я.

— Постараемся, Гелий Иванович, постараемся. Думаю, успеем.

Затем я спросил, куда они меня свезут, и сказал, что есть у меня влиятельные родственники, которые могли бы принять меры.

— Ну, Гелий Иванович, — даже обиделся Райкин, — я думаю, у нас (у нас!) все-таки немножко больше возможностей, чем у ваших родственников. Вы будете устроены как положено, не беспокойтесь.

Тут он не солгал: в палате Октябрьской больницы, куда меня привезли, заранее была отлажена подслушивающая аппаратура, а на другой день с утра соседнюю кровать занял глуховатый еврей; то же повторилось потом и в институте нейрохирургии, только уже тут был не еврей и не глуховатый, и опять же в Октябрьской, когда я вернулся после операции: не еврей, но уж совсем глухой. Станный шаблон, эта глухота у сексотов!

Это было 24 марта, в пятницу. С этого дня я перестал молиться. Мои длинные, добрые, с видениями ближних моих, о которых я просил Бога, с видением суровых Божьих глаз сны — пропали, растворились, прекратились. Я или забывал о молитве, или вспоминал, но вскоре терял нить, или комкал и не доводил до конца. Господь не принимал моих молитв.

И прану мою йоговскую я с этого дня перестал гонять по телу — по всем органам, по всем закоулкам. Зато стал вдвое курить. Если до того курил по полсигаретки, то теперь стал по полной, пачку в день. Иногда, накурившись

до перебоев в сердце, до экстрасистол и тахикардии, хватал тут же новую, затягивался раз, два, три — ну же, ну, останавливайся, сердце, хватит, будем кончать? — Нет, оно не кончило. [...]

Можно на этом и заканчивать. В тот же день в течение пяти часов «мы» со Слобоженоюком сочинили большое мое «раскаяние» — прокуратуре и следствию. Два дня он не появлялся, — видимо, сочинял то расширенное «Постановление». Потом появился, привез кефир, убедился, что мне совсем худо и что таки-да надо спешить изо всех сил, — я курил, ничего не мог есть (ложка меда и бутылка кефира в день), то ли спал, то ли бредил. 30-го, в четверг, чувствовал, что силы и в самом деле на исходе, и целый день пел песни: перепел все, что вспомнил, — Окуджаву, Галича, Высоцкого.

Да, с молитвами в этот день изменилось. Перестал я просить родных своих забрать меня к себе немедленно, стал просить подождать немного, дать увидеться с любимыми, с Филюхой, которому обещал вернуться; стал просить дать донести до них, любимых моих, стишата эти, какие там они есть, а пусть не погибнут для людей.

А вот освободили меня — и как отрезало! Ни строчки не просится. Больше того: забытое из там написанного вспомнить не могу.

Вот, собственно, и все. Они торопились, и они успели. К пятнице.

Появились сдержанно сияющие врач Виктор Васильевич и следователь Слобоженок.

— Ну вот, Гелий Иванович, подписывайтесь. Говорил я начальству: ох, будет ругаться Гелий Иванович, рассердится, что переделали.

Я смотрел на них.

— Не тяните. Что? Успели?

— Успели, Гелий Иванович, успели, успокойтесь. Сейчас придет машина — и готово.

Сознаюсь, меня проняла слеза.

Потом я читал и подписывал идиотское покаяние «Стыжусь и осуждаю» — еле читал, не видел ничего от боли, сливалось. На мгновение прояснилось — уперся взгляд в эпитет «бесчестные» перед Некрасовым и Григоренко. Выбросил. Они потом все равно восстановили.

Прочитал последние строчки большого документа — всего документа, оказалось, мне почему-то не положено:

*«...следствие прекращено и заключенный из-под стражи освобожден, поскольку не является более социально-опасным».*

Потом сборы, в которых я в суতোлке забыл оставить санитару-зеку Шурику оставшиеся сигареты. Носилки.

Два дюжих санитар-гебиста. Машина.

Дорога, клочки неба, деревьев, домов. Никакого ощущения свободы. Только — дерьмо, дерьмо, дерьмо вокруг и внутри, и во рту, жидкое, и мозг плавает в нем, и тонет. И пустота. [...]

Когда я заявил о раскаянии, Слобоженок сказал:

— Да, Гелий Иванович, еще одно: вы должны раскрыть ваши связи.

— То есть?

— Через кого пересылали документы на Запад, кто доставлял вам их отсюда?

Я был готов к этому, заранее все продумал.

— Пожалуйста, хоть сейчас. Мои связи простые, односторонние: уезжал отсюда человек — совсем, навсегда...

— Евреи?

— Не только. Пожалуй, больше неевреев... И увозил для пересылки в тот или иной адрес.

— А оттуда?

— А оттуда — все по почте. Прощаясь, договаривались об условных обозначениях; и все было ясно.

— Ну, хорошо, а вызов жене из Израиля как пришел?

— А вызов вручила мне на пороге моей квартиры незнакомая женщина. Позвонила, спросила жену, потребовала представить паспорт, вручила пакет в оберточной бумаге — и исчезла.

— Ну, Гелий Иванович, рассказывайте.

— Вот и рассказываю. Верьте, нет — дело ваше. Говорю здесь об этом вот почему: я никого не продал, не предал. Как на духу. И всё. И точка. [...]

12 апреля из второго грудного позвонка больному вырезали опухоль — какую-то охватывающую, обжимающую. Добро — или зло — качественная она, — как острил Михаил Аркадьевич Светлов, «вскрытие покажет».

\* \* \*

*Прости меня, двадцатый век,*

*Прости — я только человек.*

*Играй отбой, трубач.*

*Играй отбой, трубач...*

Он редко пел эту песню в больнице, только когда ему становилось совсем нестерпимо больно. А боль не отпускала его тела ни на день, от того субботного апрельского утра, когда жена и сыновья впервые увидели его в палате, до его последних зимних часов, всецело заполненных мучениями. Еще девять месяцев страданий, таких же ужасных, как и месяц март. [...]

Когда нас начали пропускать к Гелию, его истощенные, высохшие руки были еще способны держать карандаш. Так, — парализованный, двигая лишь одной кистью, царапая каракули, рвя бумагу, — он писал нам все то, что хотел бы сказать, но не мог: эта — больничная — камера отличалась от тюремной лишь бóльшим количеством микрофонов да изрядным, по словам здешних нянечек, числом приставленных к подвальной аппаратуре работников.

Так и общались с ним те, кто хотел передать или услышать что-то важное, — разбирая его зигзаги, выписывая крупными буквами свои слова:

ведь зрение-то его, и так еле державшееся в нем, ухудшилось в тюрьме еще больше.

И именно так в конце лета, когда пальцы уже сжимали карандаш из последних усилий, передал он нам свою последнюю просьбу: составить хронике этого его последнего — больничного — ада и подсоединить ко всему предыдущему в качестве эпилога. Волю эту его мы здесь и выполняем.

Фактов, которыми мы располагаем, безусловно, недостаточно для создания правдивого рассказа об этих девяти месяцах, гораздо больше могли бы сказать жена и дети Гелия, видевшие его ежедневно. Однако просил Гелий нас, друзей своих, не вовлекать его близких в эту посмертную литературу, не давать им знать ни о чем, чтобы хоть смерть его облегчила их жизнь. И эту волю выполняем мы, проливая таким образом совсем мало света на загадочную историю странной болезни и смерти Гелия Снегирева. Но теплится в нас все же надежда, что рано или поздно и эта тайна станет известна миру, извлекутся из сейфов КГБ доказательства, свидетельствующие о еще одном подлome преступлении зловещей державы против прав своих подданных, а имя Гелия Снегирева займет свое место в нескончаемом ряду имен других мучеников правды, раздавленных тоталитарной машиной.

*Друзья Гелия*

Тридцать первого марта 1978 — Гелий Снегирев привезен из тюрьмы КГБ в Октябрьскую больницу г. Киева, помещен в пустую двухместную палату.

1 апреля — к больному пропускают жену и сыновей. Заявление Снегирева напечатано в газете «Радянська Україна». В палату подселяют второго «больного».

11 апреля — не оповещая родных, Снегирева перевозят в Институт нейрохирургии. Также двухместная «резервная» палата (в обычных палатах находится по 8-10 человек), в которую за два часа до этого помещен еще один пациент «для обследования».

12 апреля — операция на позвоночнике, проводит ее светило украинской хирургии проф. Михайловский. Снегиреву объявляется, что опухоль доброкачественная, вырезана. В тот же день «Заявление» перепечатывает «Литературная Газета» в Москве.

До конца мая Снегирева содержат в Институте нейрохирургии. Жену, близких и друзей к больному не пропускают. Состояние не улучшается.

15 апреля — в ответ на требование жены встретиться с врачами, сообщить ей диагноз и результаты гистологии ее направляют в Институт онкологии — «привезти консультанта-специалиста». Специалист ехать не соглашается, просит привезти срезы ткани ему. В Институте нейрохирургии отказывают, обещают связаться сами, диагноз по-прежнему держится в тайне.

29 апреля — Снегирева перевозят обратно в Октябрьскую больницу.

Май — неоднократные визиты работников КГБ. Следователь Слобоженюк сетует на шум за рубежом, просит Снегирева написать что-нибудь «в ответ». Снегирев отказывается. Следователь Слобоженюк: «Смотрите,



Гелий Иванович, как бы вы не передумали, когда это будет хуже». — «Вы имеете в виду, что мне станет еще хуже?» — «Ну, Гелий Иванович, все может быть». [...]

Июнь — в разговоре с близкими и друзьями врач Снегирева часто повторяет: «Положение не улучшается только из-за того, что после удаления опухоли на месте операции остались рубцы, сжимающие спинной мозг. Отсюда — паралич». В ответ на предложение использовать иностранные онкологические препараты: «Что вы, совершенно не нужно, так как опухоль доброкачественная».

Постоянно ухудшается состояние приобретенного еще в тюремной больнице пролежня на крестце. Температура колеблется от 38 до 40°.

Июль — несмотря на нефункционирующую перистальтику и общее состояние, Снегирев начинает делать в постели гимнастику, пытается сидеть, готовясь к переезду домой. Из записей в беседе с другом: «Убивать лечением — это тоже убивать».

В конце июля Снегирев объявляет врачам о решении перебраться домой. Через несколько дней (посоветовавшись с ГБ) врачи отказывают на том основании, что в домашних условиях трудно лечить пролежень. Больной перестает пользоваться больничными противопролежневыми средствами, переходя к лечению мумие, добытого друзьями. Положение начинает улучшаться.

Август — несмотря на уговоры, Снегирев настаивает на переезде. Врачам приходится согласиться. Назначается срок — 10 августа. Однако неожиданно 7 августа больному становится значительно хуже, вновь появляются судороги и боли, граница отсутствия чувствительности тела поднимается еще выше. Попытка снова отказаться от лекарств не удается из-за очень высокой температуры. Переезд становится невозможен.

Из разговора друга Снегирева с лечащим врачом: «Конечно, это рак». — «Рак чего?» — «Рак второго позвонка, ему же вырезали там опухоль. Мы делаем все, что можем».

В ином разговоре с одним из друзей заведующая отделением больницы, очевидно, принимая его за работника КГБ, говорит: «Вы ведь знаете, мы делаем все, что вам нужно. Без наших средств все было бы совсем не так». — «Вы хотите сказать, что Гелий Иванович уже умер бы?» — «Да, а ведь это не нужно, не так ли?»

Пока не нужно.

Сентябрь-октябрь — снова визиты ГБ с теми же требованиями. Снегирев: «Согласен что-либо написать только после того, как выйду из больницы». Состояние тяжелое. Перевод в урологическое отделение для операции по вставлению постоянного катетера. Операцию делают без наркоза, после чего Снегирева помещают в общую палату (9 человек), уровень медицинской помощи гораздо ниже. Просьбы больного перевести его обратно удовлетворяются лишь через неделю. Новое посещение ГБ, однако следует очередной отказ.

Из записи беседы с другом: «Думаю, будут меня скоро кончать. Других способов воздействия уже не осталось». Остались: жену Снегирева вы-

## **ПРОЩАЙ, ГЕЛИЙ СНЕГИРЕВ — НАШ ДРУГ!**

Повторяем — наш друг! Много выпало на его сравнительно короткую жизнь: марксистские иллюзии, глубокое разочарование в них, попытка единения с целым государством, тюрьма, минутная и трагическая слабость, вырванная у него, как теперь оказалось, под пыткой, и, наконец, тяжелый недуг, от которого он так и не оправился.

Прощаясь сейчас с замечательным украинским писателем, нам хотелось бы еще раз подтвердить, как мы всегда гордились и продолжаем гордиться тем, что он был нашим другом, близким и дорогим нам всем человеком.

Люди уходят, но после них остаются их дела. После Гелия остались его книги, главная из которых — лирико-публицистическое исследование «Мама моя, мама...» навсегда останется в отечественной литературе как эпическая поэма великой печали и праведного гнева.

Сама история этой очищающей вещи станет еще одним скорбным свидетельством эпохи ГУЛага, эпохи, по которой потомки будут изучать безмерные бездны нашего исторического забвения.

Сейчас, оглядываясь на пройденный им путь, можно с уверенностью сказать, что при всех его взлетах и падениях, писатель оказался достойным своего назначения.

Еще раз, прощай, наш друг, Гелий Снегирев!

Редакция «Континента»

зывают на допрос и вскоре публикуют в газете «Вечерний Киев» статью под ее именем; старшему сыну отказывают в работе. Еще одна запись: «Шантажировать меня они будут и после смерти».

Ноябрь — возникают новые пролежни, врачи узнают об этом только после того, как их замечает жена. Из-за болей и изнеможения Снегирев перестает слушать радиоприемник, не может писать. По словам жены, ежедневно с апреля дежурящей у его кровати, во сне несколько раз произносит — январь... шприц... японский укол... Однако, просыпаясь, говорит, что помнит только что-то странное, и то очень смутно.

Декабрь — Снегирев сообщает друзьям о своем новом решении: вызвать представителя КГБ и потребовать разрешения уехать за рубеж для лечения. В беседе с друзьями говорит: «Я иду на этот шаг, понимая, что это конец — ведь раскрыться они никак не могут. Но больше я так не могу».

Еще один разговор Снегирева с лечащим врачом: «Так что же, опухоль снова развилась во втором позвонке?» — «Да нет, там была только метастаза. Ее и вырезали». — «А где же сама опухоль?» — «Ну, это неизвестно». — «То есть ее и не пытались искать, не старались определить местонахождение?» — «Я вообще-то не знаю, операцию делали не у нас».

18 декабря по звонку жены Снегирева в больницу приходит следователь Слобоженок. Выслушав Снегирева, он пугается, высказывает сомнение в том, что начальство даст на это санкцию, но обещает поговорить.

«Решение мы вам сообщим», — говорит Слобоженок на прощание.

В течение следующих дней Снегирев отдает последние распоряжения — все устно, писать уже не может.

Среди них: после смерти пригласить на вскрытие одного из друзей, профессионального врача-патологоанатома. Похоронить тело на Байковом кладбище в могиле отца.

Последними его видели живым: друзья — в отведенный им день посещения, 24 декабря, сыновья — 26 декабря, жена — вечером 27 декабря.

28 декабря утром Г. И. Снегирев скончался. Несмотря на то, что номера домашних телефонов жены и детей были известны нянечкам отделения, а также были записаны на отдельном листе бумаги, о чем врачи знали, жене Снегирева о смерти сообщили через четыре часа работники КГБ. ... К этому времени вскрытие было закончено. Официальный диагноз: рак предстательной железы с метастазами во всех частях тела.

По требованию ГБ, похороны состоялись на следующий же день. В обход всех законов, принятых в Киевской погребальной службе, тело было в тот же день кремировано и захоронено. Во время всей процедуры похорон крематорий охранялся работниками КГБ.

Двадцать второго сентября, в день ареста, Г. И. Снегирев был сильным, здоровым человеком 49 лет.

С этого дня до дня его смерти прошло: 191 день в тюрьме и 272 дня в больнице. Итого: 463 дня.

## ВАЛЕРИЙ ЧАЛИДЗЕ

### О некоторых тенденциях в эмигрантской публицистике<sup>1</sup>

Из истории... известно, что «идеологи» всегда были мягче идущих за ними политиков.

*А. Сахаров*

...Мы вступаем в эпоху великих подмен, соблазнов, замутнения совести и сознания.

*Прот. А. Шмеман*

Я считаю полезным обсудить некоторые удручающие меня тенденции в деятельности русской политической эмиграции. Тенденции эти, вообще говоря, не новы, но в последнее время некоторые из них обновились, причем во многом благодаря поддержке их А. Солженицыным, отчего и мое обсуждение будет связано с критикой некоторых его политических высказываний.

Я знаю, что критика политических взглядов Солженицына может раздражить многих его почитателей. В утешение им скажу, что литературные и гражданские заслуги его слишком велики, чтобы пострадать от критики. Сказавши это, уже не буду прерывать свое изложение поклонами и напоминанием о его заслугах.

Все годы моей общественной активности я занимался узко правозащитной тематикой, не вмешиваясь в политические споры ни в России, ни в эмиграции. Не вмешался бы и теперь, если бы не чувствовал, что ситуация может стать опасной. Я думаю, в конечном счете это мое выступление связано с идеей защиты прав, ибо разумно думать о правах человека и в будущем.

### Легенда номер один

В первые годы после революции политически было естественно, что беженцы со дня на день ждали конца большевистского режима. Впослед-

---

<sup>1</sup> См. также статью В. Буковского «Почему русские ссорятся?» в настоящем томе.

ствии, когда советская власть уже вполне контролировала страну, это эмигрантское ожидание не исчезло, но оно было естественно психологически.

Гибель советской власти предрекали и во время войны, хотя не все мечтали о поражении России от Гитлера: многие честные патриоты в эмиграции молились за победу русского оружия. На что-то надеялись, впрочем, и они: что-де русские солдаты, победив Гитлера, повернут свое оружие против Кремля. При всей политической необоснованности этих надежд, они не смешны. Хотя нынче и модно говорить, что эмиграция — это бегство от страданий своего народа, но ведь известно, что в эмиграции страданий тоже хватало, и даже для благополучных отсутствие Родины было страданием; в среднем эмигрантское житье не сравнимо с тем, что испытал народ в России, но это все равно были страдания, и не странно, что люди хватались за надежду на скорые перемены, пусть и необоснованную надежду.

Но одно дело соображения психотерапии, и другое — политическая публицистика: здесь лучше быть реалистичным, если не хочешь быть пусто звоном. А ведь легенда эта не умерла даже после победоносной войны и послевоенного укрепления СССР.

Уже в 1957 году после явного морального укрепления власти в СССР после критики «культы личности» Сталина эмигрант И. Курганов заявил: *«Брожение в России, как подземный гул революционного вулкана, слышится уже более явственно»*. Не знаю, может быть, издали слышнее. Мы в России никакого гула не слышали.

Нет его и теперь, даже через десять лет после начала правозащитного движения. Да, это движение росло, расширялось географически и социально, но это не революционный гул.

Между тем, предсказания о скором крахе коммунистов повторяются все время. Впрочем, благодаря очень важным разъяснениям А. Солженицына, теперь уже не ждут кровавой революции: он напомнил, что кровь не спасает. Но зато теперь ждут быстрых постепенных перемен. Да и Солженицын отдал дань этой легенде, но признал вскоре, что нравственная революция — процесс медленный. Предсказания о скором крахе коммунизма слышны из России, но не становятся от этого более убедительными, тем более, что из России же слышны были пророчества о скором конце мира. [...]

Очень важно понять, что власть в СССР достаточно прочна и, возможно, переживет всех нас. Она не только прочна, она гибка, и это значит, что под давлением обстоятельств она меняется и может становиться человечнее, хотя и сопротивляется этому. Но по своей природе власть эта порочна в основе, и очень важно не забывать, что она может стать вполне бесчеловечной, как это уже было. Поэтому для тех, кто хочет помочь народам России, важно понимать, какого рода давление извне и изнутри может заставить эту власть изменяться в сторону большей человечности — медленно, увы, очень медленно, но все же изменяться. И важно понимать, какое давление сделает ее хуже. Кормить же друг друга и западных друзей России легендой о скорых

переменах значит не просто обманывать себя и других, а попросту «выйти из игры», утратить ту небольшую возможность влиять на события, которая все-таки есть у эмиграции. [...]

### Есть ли ненависть народа к коммунистам?

Еще одна легенда. Нет этой ненависти.

Есть недовольство почти во всех слоях народа. И это недовольство высказывается людьми с большей или меньшей смелостью. И именно это — признак прочности власти. То, что люди недовольны правящей элитой, — нормально и не есть гул революционного вулкана. Глупа и слаба та власть, которая это боится допустить. Мы хотим большего — чтобы люди это недовольство могли выражать публично, в прессе, и добиваться удовлетворения [своих] претензий. Власти не хотят этого допустить, боясь ослабить себя, но та степень бытовой гласности недовольства, которую они терпят теперь, не ослабляет их и не свидетельствует о готовности народа скинуть их.

Во-первых, это обычно недовольство властью в ее конкретных проявлениях, а не принципиальное недовольство этой властью вообще. Иногда это недовольство примитивное, на уровне зависти к тому, что у начальства большая зарплата. Такое недовольство есть и в западных странах, и мы не говорим в этом случае о ненависти народа к власти.

Во-вторых, у подавляющего большинства народа нет представления о том, возможна ли другая власть, кроме той, которую они видят. Нам здесь говорят, что народ ненавидит именно коммунистов, — между тем, знакомство с тем, что слышишь в народе, показывает обратное: начальниками часто недовольны оттого, что они не настоящие коммунисты — зажрались, забыли идеалы, да и коммунизм строят как-то не так. Конечно, многие уже понимают, что обещание коммунизма — это блеф, но у них нет альтернативной идеи для принципиального, политически значимого недовольства.

Люди верят в то, что приятно: послушать эмигрантов, так достаточно дурновения, чтоб народ навсегда отвернулся от власти. Не последнюю роль в укреплении этой легенды играют показания некоторых вновь прибывших: то ли люди хотят придать большую значимость своему свидетельству, то ли сами принимают желаемое за действительное, но часто в таких показаниях рисуется бумажный тигр вместо могущественной державы.

Нельзя так. Нельзя, скажем, поговорив со сбежавшим солдатом, объявлять, что советская армия гудит брожением. Это обман не только самого себя, это обман опасный для многих, и это тоже старый обычай в эмиграции. (Если верить источникам, генерал Власов в беседе с Гиммлером заявил, что, дойдя со своей армией до Москвы, он *по телефону закончит войну*, поговорив со своими товарищами в советском командовании!)

Пора, наконец, отряхнуться от иллюзий и стать реалистичнее. Эмиграция кормит мир сказками о скором конце коммунистов уже 60 лет. Не хватит ли?

Психологически не есть ли эти иллюзии признаком духовной слабости, неспособности смело понять, что духовная поддержка, которую мы отсюда можем оказать народам России, должна быть рассчитана на многие годы и мы не должны ждать или обманывать других, что будем вознаграждены успехом. Уж не заразились ли наши эмигранты прагматизмом у западной публики: здесь ведь принято браться за дело, лишь если виден впереди успешный результат. Но это в их жизни. От нас требуется другое.

Мы в правозащитном движении прошли эту школу безнадежности. Мы действовали, не видя впереди успеха, зная, что если и можно чего-то ждать, то лишь очень медленных сдвигов.

### «Еще не рухнувший Запад»

Это слова А. Солженицына. Активизацией антизападной пропаганды в эмигрантской прессе мы обязаны, пожалуй, именно ему. Его критика западной жизни и политики иногда воспринимается как способ выразить что-то неизвестное ранее из его политических верований, а иногда — кажется, что это ворчание неосведомленного человека. [...] Описание западной демократии и свободы подменяется карикатурой, с детства знакомой по советским газетам. Что же скажут те, в России, кто не верил этому газетному бреду? Скажут: «Наверное, правда, вот и Солженицын говорит...»

Не к Западу обращены эти страстные речи. Солженицын — не наивный политик, чтоб думать, что без логики, без точного изучения фактов, одними страстями, он сможет изменить западный образ жизни и политики. Вся страсть его речей о Западе обращена к людям в России, и призыв в них один: не следуйте Западу, его демократии, его свободе, его разврату, не следуйте всему, что отвращает ваши души от чего-то расплывчатого, но истинного, высокого, русского.

Другая тенденция, также чтоб отвратить русских слушателей от Запада, — обвинение западных держав. Хорошо, что я уже оговорил, что поклон в этой статье не будет: не поклон это, а признание моральной правоты Солженицына во многих его упреках Западу. Конечно, можно было бы эти обоснованные упреки выразить более связно и убедительно, но у него достаточно причин для страстности, страстности русского страдальца, помнящего, как на эту непомогшую Европу или Америку смотрели из России, из лагерей, и получали то, что воспринималось как предательство: и выдачу беженцев на удобрение ГУЛагу, и лицемерные похвалы зверскому режиму, и глухоту к честным свидетельствам о страданиях людей.

Но, во-первых, многие его упреки морально справедливы лишь с точки зрения россиянина: они ждали, им не помогли. Другой вопрос — могли ли, должны ли были. Ответ не тривиален. Не буду обсуждать прошлое. Главный упрек — в теперешнем отступлении перед напором коммунизма в мире, в том числе упрек в том, что не поддерживает Запад антикоммунистические силы в СССР.

Напор коммунистического влияния в мире беспокоит многих. Сам я тоже часто ворчу по поводу уступок США коммунистической экспансии. Но я понимаю, что многое здесь — следствие плюрализма западного сообщества государств, и меньше всего желаю Западу, чтоб он оказался Единым — это означало бы утрату многих ценностей западной цивилизации. [...]

Суждение о ситуации, исходящее из примитивной схемы Запад — Восток — борьба за третий мир, чревато ущербностью в выводах. Как и человек, страна не преуспееет, если пойдет против самой себя, против своей психологии. В американском сознании глубоко укоренена идея изоляционизма. Хорошо это или плохо, опасно или нет, эту идею не разрушишь сразу.

И теперь, во времена межконтинентальных ракет, идея изоляционизма еще достаточно сильна в умах американцев, хотя уже нет на земле места, где можно было бы изолироваться. Вот улыбка Судьбы — именно ненавистные Солженицыну либеральные силы пытаются убедить американцев в запоздалости их изоляционизма, в необходимости большей политической активности в мире, в том числе в необходимости печься об обеспечении прав человека в других странах.

Хотя на права человека у Солженицына взгляд особый, но и он, и многие в России и эмиграции недовольны пассивностью американского интереса к нарушению прав в СССР. Для такого недовольства есть причины, но эта «пассивность» ни в коем случае не есть признак деградации и ослабления Запада, как это утверждается. Напротив, сам интерес к правам человека в мире — совершенно новое явление.

Классический принцип государственного суверенитета требовал полного безразличия к внутренним делам международных партнеров. Допускалась лишь дипломатическая забота о судьбе лиц своей нации и иногда своей религии, проживающих на территории другого государства. Этот принцип работал веками; человечеству понадобилось покопаться в золе немецких крематориев, чтобы понять, что в наш век обеспечение прав связано с международной безопасностью, и поэтому теперь оправдано отступление от классического принципа суверенитета в том, что касается обеспечения свобод. До этого просто не возникало всерьез такой мысли и информация о советских лагерях не могла серьезно влиять на политические отношения с СССР.

Бывали отдельные случаи, когда политики, то ли от душевной боли, то ли чтоб покрасоваться перед избирателями, делали заявления, например, о преследовании церкви в СССР или, еще раньше, о притеснении евреев в царской России. Но действительный международный интерес к обеспечению свобод в мире возник после Атлантической хартии и Всеобщей декларации прав человека. Потом — долгие годы теоретической работы по выработке Пактов о правах человека и конвенций. Но еще в конце 60-х годов практически никакого влияния на политику идея международной защиты прав человека не имела.

Выход этой идеи в политику я отношу за счет международного влияния советского, а затем и восточноевропейского, правозащитного движе-



ния. Именно мы с самого начала движения указывали на международные правозащитные соглашения как на инструмент международного давления. Именно наше движение в последние 10 лет породило *международное движение* в защиту прав человека в Восточной Европе с вытекающим отсюда давлением людей на свои правительства. Без влияния нашего движения на западные умы невозможно представить себе американского президента, объявляющего международную защиту прав человека частью политики правительства. [...]

Процесс международной защиты прав человека только начался. Разумно содействовать его росту. Разумно также помнить, что есть силы, даже на Западе, которые не хотят его роста.

### **Поношение права и прав человека**

Не странно ли, что писатель, столь громогласно разоблачивший нарушения прав человека в СССР за полвека, громогласно защищающий угнетенных и помогающий им, в то же время резко выступает против *идеи права* и *идеи прав человека* в том ее виде, как она сформулирована цивилизацией.

Что это, непонимание существа идеи права или опять пропаганда на Россию: не берите с них пример?

Не странно ли и то, что многие эмигрантские публицисты, озабоченные притеснениями в СССР, даже выступающие в защиту своих соотечественников, в то же время демонстрируют часто свое непонимание идеи прав человека и идеи права? Уже модным стало подчеркивать чрезмерность развития права на Западе, вновь модным стало говорить о том, что для будущей России право — вещь второстепенная, ибо общественные отношения в России должны строиться на основе какой-то особой нравственности русской души. Если это говорит публицист, я воспринимаю это как заблуждение, проистекающее от недостаточного знакомства с предметом. Если это говорит политик, — я чувствую в этом хитрый обман будущего порабитителя.

Право — это комплекс наперед сформулированных и компетентно утвержденных правил о том, как строятся отношения людей в обществе. Отсутствие или недостаточное развитие этого комплекса правил влечет производ, часто удобный тому политику, который к этому призывает.

Мы знаем, что в истории эпохе писанного права предшествовала жизнь общества по праву неписанному, так называемому обычному праву, где не было четкого разделения права и этики. Переход к писанному праву был неизбежен с усложнением общественных отношений. Право регулирует и отражает общественные отношения, и в нашу эпоху право не может не быть сложным, ибо сложны общественные отношения.

Я хочу подчеркнуть тезис: «Либо право, либо произвол» — иного не дано человеческому обществу ни природой, ни Богом. Я сам удивляюсь тому, что эти мои слова звучат столь абсолютистски, столь безапелляционно, — но это так. И полезно помнить, что если политик с любимыми добрыми наме-

рениями призывает к отходу от идеи права при построении человеческих отношений, значит, он хочет произвола и, естественно подозревать, хочет именно своего собственного произвола. Я также хочу подчеркнуть наднациональность идеи права и дилеммы право — произвол. При всех особенностях конкретных правовых норм в разных государствах существо идеи права одно везде, и везде наступает произвол, когда отходят от права.

Непонимание существа идеи права русскими эмигрантами возможно. Без специального изучения, живя в России, эту идею понять трудно. Право в СССР провозглашено инструментом политики правящего класса. Именно там с помощью смешения права с идеологией, с помощью хитроумной системы пробелов в праве и дозволенных властью отступлений от права оправдывают произвол. Именно там, оправдывая произвол, провозглашают неразрывность прав и обязанностей, тезис, который теперь повторяет Солженицын.

Солженицын, критикуя западную юридическую жизнь, полагает, что юридическая правота есть высший критерий правоты в западном обществе. Это просто не так. Юридические требования — это минимум требований, и очень важно, чтоб этот минимум был компетентно утвержден народом как закон и был известен всем. Юридические гарантии прав — это максимум, как далеко человек может заходить в своих проявлениях. Но есть еще сложившиеся веками и неписанные нормы поведения и деятельности — этика.

Есть этические нормы, общие для всех, — нарушив их, человек практически теряет уважение общества. Есть нормы специфичные для определенного социального строя, — нарушение их может поставить человека вне этого слоя. Этих этических норм масса, — они усваиваются людьми с детства, раньше чем они научаются понимать законы. Эти этические нормы необычайно сильны, иногда сильнее законов. Человек очень часто не позволит себе зайти так далеко, как разрешает закон, ибо чувствует, что это будет неэтично. И власти часто не могут преследовать человека за то, что наказуемо по закону (например, в США есть законы о наказании за гомосексуализм — власти штатов не могли бы теперь применить эти законы: неэтично!). Увидеть западное общество, живущее только по правилам юридическим, — значит, еще не увидеть его. И самоограничение, и ограничение общественное не менее свойственны людям на Западе, чем в обществах, не знающих столь сложной правовой структуры. И жертвенность, вопреки упреку Солженицына, тоже не редкость здесь, хотя нигде нельзя ждать ее от каждого.

Солженицына возмущает чрезмерная свобода личности на Западе: *«Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество от иных личностей — и на Западе приспела пора отставать уже не столько права людей, сколько их обязанности».*

Это неверно. Защита прав личности до крайности не доведена, — напротив, и в западном обществе эта область права развивается и будет развиваться. Что касается обязанностей, то отставать их нечего: коль скоро они предусмотрены законом, дело властей следить за их исполнением. Прелесть

правовой идеи в том и состоит, что обязанность — это то и только то, что предписано делать по закону, а право человека — это все то, что законом не запрещено. Смещение прав и обязанностей логически бессмысленно.

Свой скептицизм относительно идеи прав человека Солженицын высказывал неоднократно — еще в сборнике «Из-под глыб». [...] Немало досталось и прессе. В карикатурном изображении Солженицына пресса — главный враг рода человеческого, предтеча антихриста: засоряет коммерческим мусором, заморочивает мозги читателей, заполняет пустоты догадками, собирает слухи, раскрывает оборонные тайны страны, симулирует общественное мнение и прочее, и прочее. А главное: *«Много выше утерянное право людей не знать, не забивать своей божественной души — сплетнями, суесловием, праздною чепухой».*

Напрашивается сказать, что уж правом не знать Солженицын в данном случае воспользовался сполна, ибо вместо того, чтобы узнать, что такое американская пресса, которая двести лет охраняет свободу в обществе, он предпочел, не зная, карикатурно ее охаять. Но, может быть, не так уж плоха западная пресса, если Бог избрал инструментом ее спасения самого Солженицына?

Я не готов писать целую книгу, чтоб обсудить все сказки о западной жизни, которые успел рассказать Солженицын. Я считаю его по-своему ответственным человеком, и не думаю, что он стал бы рассказывать эти легкоопровержимые сказки в расчете на западных людей. И я повторяю, все это безответственное поношение Запада направлено на Россию: там не смогут опровергнуть, там поверят пророчьему призыву: ни в чем не следовать Западу.

«Вестник русского христианского движения» № 128 поместил обзор отзывов на Гарвардскую речь Солженицына. Сказано: «Речь всколыхнула всю страну...» Ну, «всколыхнула» — это дань растущему культу личности Солженицына, но, правда, речь поразила многих. И поразила потому, что американцы поспешили провозгласить Солженицына символом борьбы за свободу. Теперь же видно, что он годится лишь в символы борьбы за свободу от коммунизма, но никак не за свободу вообще.

### **Русская жестокость или марксистский яд**

Неудивительно, что в нынешней политической пропаганде вопрос о причинах революции 1917 года — один из основных. Солженицын и его последователи доказывают, что виной всему исключительно марксистский яд, впрыснутый в здоровое и прекрасное тело святой Руси. Другие утверждают, что зверство послереволюционного режима объясняется русским национальным характером, жестокостью традиций, отсутствием правосознания, — это иллюстрируется худшими страницами русской истории, и бывает, что ссылка на жестокость Иоанна Грозного оказывается доводом в защиту марксизма.

Обе эти крайние точки зрения слишком примитивны, чтобы их критиковать здесь. И та и другая — свидетельство непомерной политизации истории.

Теперь меня интересуют именно политические цели Солженицына и его последователей. Цели эти глубоко не скрыты. Надо, во-первых, показать ядовитость марксизма, то, что он всегда придет к концентрационным лагерям; во-вторых, напомнить, что марксизм — это западный яд: берегись развратного Запада; в-третьих, идеализировать царскую Россию.

При всей моей антипатии к марксизму, все же замечу, что дискуссия с теорией должна вестись также теоретически: одна ссылка на практику нынешнего коммунизма и его зверства не может опровергнуть теории Маркса. Одно важное обстоятельство о роли марксизма в истории часто забывают. Когда Маркс и Энгельс писали свой манифест, «призрак коммунизма» действительно бродил по Европе. Никому не было ясно, что это за призрак, в какие одежды он готов одеться. Отвлечемся от симпатий Маркса и Энгельса и признаем ценным то, что они этот призрак описали и показали одним, чего можно желать, другим — чего надо опасаться. Они не изобрели, не придумали этот призрак. Многие цивилизованные страны послушались этого предупреждения, оказались достаточно гибкими, чтобы допустить развитие защиты прав трудящихся, улучшение условий их жизни и труда, — и социального взрыва не было. Россия этого предупреждения не послушалась — улучшение положения трудящихся шло слишком медленно, заостренная иерархическая структура общества была не способна к гибкости и обновлению. Взрыв мог бы произойти и без пропаганды марксизма.

Вообще революцию 1917 года и в феврале и в октябре пытаются представить как какой-то случайный успех кучки чуждых России заговорщиков, а не как событие, назревавшее в обществе десятилетиями, событие, которому прямо или косвенно содействовали многие слои российского общества.

В журнале «Зарубежье» читаем: *«Русская революция не соответствовала ничьим интересам. Объективно не нужная, ни для кого не желанная и вовсе не неизбежная — такова она в ее неповторимом своеобразии. Осуществленная ничтожнейшим меньшинством, она вызвала сопротивление огромного большинства.»*

*Наконец, она несомненно запоздала...»*

Быть может, это лишь утешение фантазией, но не связано ли это утешение с легендой номер один, нет ли здесь цели убедить людей, что и теперь революцию можно сделать с легкостью?

Идеализация царской России имеет целью не только пристыдить марксизм и большевиков. Солженицыну и его последователям нужно убедить людей в ценности авторитаризма — не обязательно в форме царского самодержавия, не обязательно даже прославлять последнего императора (он и ругнул Государя за отречение). И тут уже большевики на втором плане — они свалили Республику, но вина за это на Республике! Это либералы и социалисты перед большевиками отступили: *«Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка»,.. «так что не только не было никакой Октябрьской революции, — но даже не было и настоящего переворота. Февраль упал сам.»*

«...Я понял, что несчастный опыт февраля, вот, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу».

Вот они, лозунги: все беды от Республики, от демократии; не стремитесь к ним, не поддавайтесь на обман отравленных Западом либералов. А кто либералы? — все те, кто говорит о праве и о правах!

И для подкрепления вывода — рассказ о том, как эти гнусные либералы здоровую Россию подтачивали и как ее защищал Марков 2-й, глава Союза русского народа, печально известного черносотенной идеологией и практикой. Чтоб знали люди, кто их настоящий друг.

### «Демдвиж»

Ну, а что же делать с теми, кто и теперь, несмотря на уроки истории, готов проповедовать права человека, республику, демократию? Обругать? — Сразу всех неудобно: все-таки Сахаров, все-таки права человека. Ну, с идеей прав человека расправиться легко: показать, к какому разврату и оскудению душ привела эта идея на Западе, — это мы уже видели. А правозащитное движение? — прямо не сокрушишь — слишком оно благородно. И вот приходит на помощь художественный метод борьбы. Мастер слова, художник, употребил отвратительного звучания слово «демдвиж», чтоб выразить все свое презрение. Не думайте, что я придираюсь, он — не советский бюрократ, для которого любые сокращения привычны; художник случайно не употребит столь гнуснозвучного сокращения. Сокращения чего? Лишь немногие называли наше движение демократическим. Общая тенденция была и осталась — не связывать наше движение ни с какой политической доктриной, и называем мы его правозащитным.

Ну, художественный метод борьбы проблемы не решит. Нужны другие доводы. Эмигрантская пресса их находит.

Как удачно, что в движении встречаются инородцы. Тут я должен виновато потупить взор, хоть я и не еврей, но все-таки инородец. К тому же, у движения много друзей на Западе. *«Наше дело — это реакция на деятельность тех евреев или полуевреев, которые воображают себя оракулами, говорят от имени взлелеянного за границей с помощью иностранного капитала «демократического движения», существующего почти исключительно в еврейских кругах»*. Ну, прямо из советской газеты, если только слово «еврей» заменить на вежливое «сионист». Вы думаете, автор этих слов антисемит? Ничуть не бывало. Вот он пишет о себе: *«Я никогда не был юдофобом и всегда осуждал вульгарный антисемитизм»*.

Другой способ — похоронить движение раньше времени. Злорадная похоронная статья уже была в «Вестнике РСХД» семь лет назад. Тогда, в 1972 году, был трудный период, но хоронить было рано. Последующие семь лет движение было очень активно, расширялось географически и социально и получило невиданную поддержку на Западе. Теперь оно вновь потише — опять хоронят. [...]

Еще довод против движения, тут уж и Сахарова можно затронуть: у него очень мало последователей среди народа. И не только мало последователей: защищаем мы немногих. А надо-де защищать весь народ, а не меньшинства. А особенно раздражает критиков, что мы защищали право на эмиграцию, — то есть и евреев. Говорят также, что нет у нас позитивной программы, что, анализируя советское право, мы поддакиваем советской пропаганде: дескать, какое уж там право, одно бесправье.

Должен ли я отвечать на все это? Скажу только, что мы защищали всегда права всего народа. Невозможно защищать права, не ссылаясь на достоверно известные случаи. Это всегда конкретные казусы, а не взгляд и нечто; они часто касаются социальных, религиозных, национальных групп, тех групп, которые сами о себе заговорили и потому дали нам информацию. А может быть, дело в том, что мы защищаем тех, кого не надо защищать?

Позитивная программа? Она есть: помогать людям, даже когда не можешь помочь.

Мне еще в Москве говорили: «Чего вы добиваетесь, вы же бессильны». Я отвечал: «Я не могу, видя людей в цепях, снять эти цепи. Но я могу помочь людям знать, что они в цепях, и идти с поднятой головой». Это моральное кредо. Это нравственное движение, у нас нет политических целей, но я понимаю, что наше существование раздражает тех, у кого есть авторитарные политические цели. Мы им мешаем больше, чем большевики.

Вот у Синяевского разговор в лагере:

*«Некто: ...Нехватало, чтобы русский народ прожидовел, заразившись либерализмом... Нет, Россию надо подморозить!»*

*Синяевский: ...Куда — эту нашу, — дальше подмораживать?..*

*Некто: А чтобы не сгнила... под влиянием евреев... В подмороженном виде, после чекистов, мы ее получим — невинной...»*

С точки зрения «высших духовных целей» критикуют наше движение как бесперспективное, даже в случае успеха его требований. Солженицын говорит: «Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: дайте нам права! То есть — отпустите заземленную руку! Ну, отпустят или вырвем. — А дальше?»

Ну, во-первых, мы никогда не просили «дайте нам права». Права у людей есть, надо, чтобы их не нарушали. Мы просто показывали людям, как пользоваться этими природными правами вопреки противоправным попыткам власти запретить это.

Во-вторых, — что же дальше? А дальше жить люди будут, жить нормальной жизнью, будут свободно выбирать, чему себя посвятить: возвышенным духовным ценностям, к которым манит Солженицын, или низменным интеллектуальным и эмоциональным интересам, к которым побуждает их животная природа; свободно будут выбирать, жить им при демократии или теократии, при республике или монархии. И это очень большая ценность — жить, свободно реализуя свои природные возможности, не будучи «подмораживаемыми» ни большевиками, ни знатоками великой национальной истины.

## Православное возрождение

Нет такого возрождения. Между тем эмигрантская пресса полна сообщениями о громадном увеличении числа верующих православных, о притоке молодежи в церковь. Нет данных, чтобы утверждать это. Известно, что много молодых людей проявляют интерес к православию, но это идет параллельно с тем, что молодежь интересуется всеми духовными течениями, о которых нельзя узнать из официальных публикаций: неподцензурной философией, буддизмом, йогой, спиритизмом и т. п. Известны отдельные кружки и религиозные семинары, посвященные и православию, и другим религиям, известны случаи крещения молодых интеллигентов, увлечение религиозной тематикой у неофициальных художников, но — ничего подобного массовому возврату народа в православие нет.

Нынешнее усиление интереса к православию в России можно назвать *православным возрождением* не более обоснованно, чем *правозащитное движение* называть *политическим возрождением народа*.

У авторов статей в эмигрантских журналах нет никакой сравнительной статистики, чтобы сделать заключение о резком росте числа верующих. Приходится основываться на сообщениях приезжающих и на письмах из России. Обычно это общие впечатления, не позволяющие судить о росте числа верующих как о массовом явлении. В одном журнале, например, под заголовком «Возрождение православия в России» опубликовано письмо с жалобой на то, что цены на Библию на черном рынке очень высоки.

Но зато есть лозунг в эмигрантской публицистике: Даешь православное возрождение! — причем лозунг политический, ибо полагают, что обращение к православию — часть программы политического спасения: православие вместе с национализмом мыслится как духовная основа желанного авторитарного строя в России.

Я думаю, что православие еще в меньшей мере, чем другие христианские учения, может быть духовной основой какого бы то ни было политического строя: оно не политично по своей природе, в отличие, скажем, от мусульманства, изначально созданного как религиозно-политическая доктрина.

По многим признакам складывается впечатление, что в православии видят инструмент для вытеснения существующей политической системы и государственную идеологию будущего, — я сомневаюсь, что этого можно достичь, существенно не испортив дух и доктрину православия. Впрочем, Солженицын политизировал литературу, и все равно это хорошая, талантливая литература. Быть может, ему удастся политизировать христианство, так что это будет талантливо и притом останется христианством.

Я хочу, однако, подчеркнуть, что религиозное чувство, обращение к Богу — глубоко интимно и обычно не связано для людей с мирскими заботами и проблемами. Попытка использовать эти интимные чувства для достижения или пропаганды политических целей — это способ отвлечь людей от веры, а учитывая положение Православной церкви в современной

России это путь, чтобы вызвать отход верующих от их церкви. И я думаю, это безнравственно.

Я не специалист в этих вопросах, я лишь хочу предостеречь от использования религии как политического инструмента. Я также считаю порочным и опасным планировать навязывание людям любой государственной идеологии в будущем.

## Национализм

Русские собственно-националистические претензии к коммунизму основываются на том, что народ действительно оказался оторванным от национальной истории; вместо национальной культуры его 60 лет кормили стандартной жвачкой политизированной культуры с претензией на интернационализм, даже само понятие «русский» утрачивает свой смысл и сливается с политическим понятием «советский».

Претензии весьма обоснованные, и можно только радоваться этому направлению культуры.

Но мы знаем, что с национализмом может быть связано много дурных проявлений, и нормально, что интеллигенция пристально следит за развитием националистической публицистики — это не оскорбление, а внимание. И мы замечаем, что в русской официальной и неофициальной публицистике, как и в эмигрантской, есть эти дурные проявления.

Сахаров обратил предостерегающее внимание на изоляционистские националистические тенденции «Письма вождям» Солженицына. Ответ Солженицына не внес уточнений: «*За русскими не предполагается любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже о “национальном самосознании”, даже оно объявляется опасной гидрой*». Это не так. И Сахаров и другие русские интеллигенты такое возрождение готовы приветствовать, мало того, они сами — *лучшая часть этого возрождения* (почему-то забывают об этой подробности).

Речь, однако, о *дурных* проявлениях национализма. Вот некоторые из таких проявлений.

*Кровяные аргументы* — это когда ссылка на кровь, на национальное происхождение считается или подразумевается аргументом в споре или пропаганде. Я уже цитировал эмигрантские аргументы против правозащитного движения, что-де евреи. У самого Солженицына встречаются кровяные аргументы: у Ленина якобы четверть русской крови (читай — вот откуда все беды), злой его гений — еврей Парвус. При всей ненависти к большевикам Солженицын трогательно говорит о русском *по крови* рабочем Шляпникове, незаслуженно оттесненном от руководства большевистской партией.

ОГПУ, судя по описаниям Солженицына, было еврейской лавочкой — дескать, мы, русские, тут ни при чем. [...]

*Политизация патриотизма* — это дурное проявление мы помним по сталинским временам. В эмигрантской публицистике такой политизации тоже



достаточно: то обсуждается, что не каждый русский вправе считаться русским; то говорят, что русское возрождение может быть только религиозным; то говорят, что евреи-коммунисты утратили свое еврейство.

*Духовный изоляционизм* — другое дурное проявление национализма. Хотят доказать, что русский дух особый, что к чему-то великовозвышенному Богом предназначен, что-де быть нам третьим Римом и на этом основании надобно уберечь Россию от западного растлевающего влияния, — уже говорил я об этом.

*Демократия не для русских* — этот лозунг — следствие предыдущего дурного проявления национализма. Вот так! Что немцу здорово, то русскому — смерть. А почему не для русских — довод-то смешной: существовала демократия и республика несколько месяцев в 1917 году, да ничего не получилось. И еще довод: посмотрите, до чего демократия довела на Западе! А что такое демократия? — *Право каждого участвовать в управлении своей страной* — так выходит, русским этого права не давать? Не справятся? Ну вот, мы боялись национализма как утверждения о национальном превосходстве, а нам подают тезис о национальной неполноценности!.. Это не шутка. Именно это имеют в виду теоретики националистического авторитаризма: «...в приложении европейской парламентской системы к России ее (системы) недостатки будут удесят�ряться такими факторами, как недостаточное (почти нулевое) правосознание русского народа, расхлябанность и безответственное отношение к делу, безудерж русской души»<sup>2</sup>.

Недавно «Русская мысль» опубликовала статью, в которой ставится под сомнение приемлемость всеобщих политических выборов в будущей России на том основании, что народ развращен и пьяниц много. Не странно ли, что я, инородец, должен защищать русский народ в споре с русскими националистами? Да если бы русский народ состоял только из пьяниц — это все равно ваш народ, и Россия должна быть такой, как решит именно этот народ, а не фантастически переделанный!

## Авторитаризм

Вот это якобы для русских — и душу божественную сохранишь, и порядок будет, и целей достигнешь — туманных, но Богом перед Россией поставленных. И на этой мязине опять хотят провести исстрадавшуюся страну!

И что интересно: *авторитаризм* и ни слова больше — тайной покрыто желаемое устройство общества. Кто принимает решения? Царь? Патриарх? Верховный писатель? Никаких разъяснений ни у Солженицына, ни у его последователей. Только и разговору, что будущая Россия должна быть православной, с высоким национальным духом и авторитарной. А что будут делать с теми, кто ни православия не захочет, ни высокого духа? С диссидентами? Неизвестно. И это настораживает.

---

<sup>2</sup> «Вестник РХД», 1976, № 119.

В обсуждении националистического авторитаризма проскальзывают и напоминания о некоторых достоинствах немецкого национал-социализма. Например, Ю. Блинов весьма своевременно указывает на некоторые достоинства национал-социализма перед большевизмом: «Профашистское движение “немецких христиан”, объявившее фюрера богоизбранным вождем, пользовалось почти неограниченной свободой действий...» Это напоминает нам, что у политизированного христианства много преимуществ, но оно имеет один важный недостаток — перестает быть христианством.

Конечно, никто открыто нацизм в эмигрантской прессе не пропагандирует, но вот ген. Власов в последние годы вновь стал героем и образом патриотизма в некоторых эмигрантских кругах (действует двойной этический стандарт: Ленина проклинают за германские деньги, Власова славят за переход на сторону Германии и вооруженные действия против своего народа)<sup>3</sup>.

Все это было бы не страшно, если б речь шла о недосказанных идеях. Но у меня есть сильное впечатление, что определенная часть эмиграции вдохновлена идеями вождя и ведет действительную политическую работу в направлении националистического авторитаризма. Я не знаю, осведомлены Солженицын об этом, но я чувствую, что работа ведется во имя его идей. Хотя и не будет успеха у этой затеи, но политическое влияние она возьмет может и влияние опасное.

### **Национал-коммунизм возможен**

Не я первый пытаюсь предостеречь, это носится в воздухе. В компартии, в генералитете, в КГБ есть достаточно влиятельных лиц, которым близка идея национализма в сочетании с коммунизмом. Руководство КПСС прагматично, оно не дает хода этой идее, потому что теперь это не необходимо. Они пускают в ход этот казенный национализм, если обветшалой идеологии нужна будет подмога. Активизировав авторитарно-националистическую пропаганду, эмиграция усиливает те группы в советском руководстве, которые хотят национал-коммунизма, и облегчают для них пропагандистскую работу и в партии и в народе.

Некоторые считают, что национал-коммунизм невозможен в многонациональном государстве. Это не так. Сталину удалось близко подойти к реализации этого. Ему не понадобилось русских объявлять единственными «арийцами» — каждая из советских наций была «арийской». Как это отражалось на меньшинствах в республиках — мы знаем, страдали от этого не только евреи. Как это отражалось на интеллектуальных связях с цивилизованным миром — мы тоже помним, запрещались целые области науки со

---

<sup>3</sup> О Власове сказано много противоречивого. Пусть не согласятся со мной его почитатели, но одно им следует понять: русский народ не пошел за Власовым во время войны, не пойдет он и теперь; попытка использовать фигуру Власова в нынешней антикоммунистической пропаганде — это нечто фантастически неразумное.

ссылкой на космополитизм. Запад был объявлен не только политическим, но и национальным врагом. Националистическое чванство нанесло огромный урон развитию культуры и в России, и в республиках.

Часто забывают, что в большинстве советских республик в очень слабой форме уже реализован национал-коммунизм, хотя и без активной поддержки Москвы. Мало заметна на Западе, но сильна дискриминация меньшинств в республиках, а в Средней Азии даже племенная дискриминация, сильно национальное чванство республиканского руководства и официальной культуры. Тем не менее, республики уживаются под гегемонией Москвы, несмотря на внутренний национализм. Торжество национализма на общесоюзном уровне не только не оскорбит, но окрылит национализм республик.

Ведь главная цель коммунизма в использовании националистических тенденций будет в том, чтоб отвратить людей от чуждых наций, от Запада, от идей свободы и демократии.

Что, вкратце, проповедают эмигрантские авторитаристы?

- Духовную изоляцию от Запада.
- Охрану народа от идей свободы и народоправия.
- Национализм.
- Авторитаризм.
- Православие.

Все это, кроме православия, по душе национал-коммунистическим силам. Приняв четыре пункта, они, как Сталин, для показухи могут сделать вид, что допускают и пятый, — хотя государственной идеологией останется коммунизм, усиленный националистическими предрассудками худшего свойства.

Итак, мой вывод, мой призыв — быть осторожнее, помнить, что пропагандой отсюда мы можем не только постепенно улучшить эту систему, но и ухудшить — а ухудшение может быть страшным.

Понимают ли эмигрантские пропагандисты эту опасность? Некоторые понимают. *«Если установится новая, неонацистская власть, то пустит ли она в стране глубокие корни? Мне лично кажется, что не пустит...»* Вот это утешение! 60 лет твердили, что большевизм — это не надолго, не пустит корни. Теперь утештесь, нацизм тоже будет не надолго!

## ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ

### «Почему русские ссорятся?»

Этот вопрос я постоянно слышу теперь на всех пресс-конференциях и публичных выступлениях. Друзья задают его с тревогой, недруги — со злорадством. Казалось бы, что тут особенного? В парламенте или прессе любой демократической страны мира — ссор и споров гораздо больше. Что ж спрашивать с эмиграции, где ссоры традиционны? В какой эмиграции их не было? В русской они существуют много лет. Непонятно только, почему это так вдруг взволновало мировую печать.

Нетрудно заметить разницу между публичным выражением несогласия и сосредоточенной, политически рассчитанной газетной кампанией. За последние 3 месяца статья Чалидзе — шестнадцатая или семнадцатая в мировой прессе, направленная против Солженицына (иногда заодно и против Максимова)<sup>1</sup>. Такой атаки он не удостоивался даже в советской прессе. Статьи огромные, нередко не меньше приведенной выше. И это в то время, когда невозможно опубликовать коротенькое письмо протеста в защиту Тани Великановой и Глеба Якунина, а сообщение Франс-Пресс из Москвы об аресте Некипелова не опубликовано практически ни одной газетой. [...]

Я, конечно, не политик, но сдаётся мне, что эта бешеная атака объясняется вступлением в новый этап, — так сказать, этап «вьетнамизации войны». Для определенной части западного истеблишмента мы со своим движением как кость в горле. Им бы договориться с советскими полюбовно, «ограничить вооружения», уступить все, что требуют, — ведь все равно отберут, так лучше отдать. Словом, брось, а то уронишь. Главное же — продавать, продавать, продавать — все, что можно, от кока-колы до человеческого достоинства. Они даже теорию выдумали, что всякое освободительное движение на востоке — опасно. Дестабилизирует равновесие в мире, приводит к войне, потому что коммунисты могут отчаяться и хлопнуть напоследок дверью. Сытый коммунист лучше голодного, и т. д. Наше существование мешает им сговориться (достаточно вспомнить поправку Джексона).

---

<sup>1</sup> См. в настоящем томе статью В. Чалидзе «О некоторых тенденциях в эмигрантской публицистике». — *Прим. ред.* — 2012.

Для другой части истеблишмента мы не просто кость, мы нож в горле. Для них СССР — все еще «объективный» союзник, а всякая критика его ударяет и по их идеологии. 10-15 лет назад в Париже любой, кто стал бы критиковать восточноевропейский коммунизм, не говоря уже о марксизме, был бы заклеен как фашист. Сейчас в Париже даже члены компартии о коммунизме говорить стыдятся. Можно ли себе представить, чтобы десять лет назад Раймон Арон за руку с Жаном-Полем Сартром и Андре Глюксманом пошли просить французского президента о помощи вьетнамским беженцам — беженцам от коммунизма! Это невероятная комбинация для Франции. А почему она стала возможна? «Солженицын. ГУЛаг», — вот все, что ответят тебе в Париже, имея в виду всех «диссидентов». Для них мы — одно, а Солженицын — символ этого единого явления. Так можно же себе представить, как «левый» истеблишмент его/нас ненавидит.

Да, в этом наша беда. Мы «между двух стульев», мы им здесь всем, всему истеблишменту одинаково ненавистны. Ни одна реальная политическая сила нас не поддерживает. Поддерживает же нас симпатия людей, с политикой не связанных. На них-то и нацелена теперь массивная газетная кампания.

Попытки ниспровергнуть Солженицына, а с ним вместе и фактор «диссидентов» в мировой политике — дело давнее. Впрочем, пожалуй, они начались еще до Солженицына, с уверения политиков и обозревателей, что сталинские беззакония ликвидированы Хрущевым, что жить становится лучше, жить становится веселее (я намеренно опускаю предшествующий период, когда самого существования террора не хотели признавать, а беженцев из коммунистического рая объявляли фашистами и агентами ЦРУ). Царит разгул либерализма (это в период новочеркасско-александровских расстрелов). Затем пошли заверения, что «диссиденты» — крошечная горстка людей, никого не представляющая и никакого значения не имеющая. Чуть не каждый год объявляют о конце движения, и так добрых 15 лет.

Никогда не забуду, как моему другу, корреспонденту Ассошиэйтед Пресс в Москве Дженсену его вашингтонское начальство запретило писать какие-либо статьи после нашего с ним интервью в 1970 году. Пробыть тогда какую-нибудь информацию об арестах было необычайно трудно. Журналиста, высланного из Москвы, автоматически выгоняли с работы в его стране или переводили на плохую работу. Не забуду я и 1971 год, когда Всемирный конгресс психиатров в Мехико, под прямым нажимом политиков, отказался обсуждать нашу документацию. Начиналась эра детанта. (Впрочем, фактически она началась, по-моему, прямо с 1917 года.)

Понадобились чрезвычайные усилия честных людей на Западе и на Востоке, чтобы наш голос, наконец, услышали. Затем принудительная эмиграция сотен правозащитников — и сразу же масса статей об их неспособности устроиться и жить в свободном мире. Дескать, что там за них в СССР переживать: несвобода — их естественное состояние.

Ну и, конечно же, Солженицын, главное бельмо на глазу. То, оказываясь, он в Вермонте ГУЛаг себе устроил, отгородился колючей проволокой.

То деньги от налогов скрывает. То к Пиночету в гости собирается. Главное же — реакционер, и слушать его не надо.

Целый период был, когда нас пытались поссорить, приспособить для своих нужд, делили на «плохих» диссидентов и «хороших». Я как раз в это время оказался на Западе и, помню, все недоумевал, почему же в Англии меня обвиняют, что слишком «правый», а во Франции — что слишком «левый». Какой только чуши ни писали, какой только политической и человеческой подлости я ни увидел. В Германии я, оказывается, агент КГБ, во Франции — агент ЦРУ. Все это чуть-чуть стихло вокруг меня, как только стало известно, что иду учиться<sup>2</sup>. С глаз долой — из сердца вон. Но стоит только появиться где-нибудь во время каникул, — взывают, как по команде.

В Норвегии не какой-нибудь коммунистический листок — крупнейшая газета страны поместила по моему приезду большую статью и две фотографии. Под фотографией Солженицына подпись — *Буковский*. Под моей — *Солженицын*. А в тексте: «на службе реакционных сил...», «пособники крупного капитала...» и т. п. В Канаде, в Ванкувере, после моей лекции в университете — погромная статья: не сказал ничего хорошего о своей стране. Все у него плохо. В Исландии, после выступления о злоупотреблениях в советской психиатрии, — письмо в газету. Оказывается, я наглый лжец, так как, рассказывая об укрутке, сказал, что мокрая парусина, намотанная на заключенного, сжимается по мере высыхания. Автор письма всю жизнь работает с парусиной и веревками и знает, что парусина не садится. Подписано, конечно, инициалами. Думаю, что здесь, на Западе, у меня теперь, после трех лет жизни, врагов больше, чем в СССР после 34-х. И это только у меня, а что же должно твориться вокруг Солженицына!

Наконец, наступил период, когда стали «создавать» диссидентов» — конечно же, таких, чье «мнение» выгодно противопоставить мнению подлинных правозащитников. Нужно остановить Картера в его кампании за права человека — срочно находят кого-то в Москве, кто заявляет корреспонденту, что позиция Картера вредна. И это сразу в печать, крупными буквами, на первую полосу. А заявление политзаключенных в поддержку политики Картера — где-то в конце, мелким шрифтом, да и то не во всякой газете. Пишет Сахаров обращение к Белградскому совещанию — на той же странице «Нью-Йорк Таймс», сразу следом, статья «тоже диссидентов» Соловьева и Клепиковой о том, что Сахаров наивный чудаки, не от мира сего, изолированный от народа, генерал без армии.

Пожалуй, самой большой находкой были братаны Медведевы. Хоть сами они никогда себя к «диссидентам» не причисляли, а все больше к советникам «голубей в Политбюро», здесь они числились в лидерах «левого крыла диссидентов». Я, переезжая из страны в страну, только диву давался, до чего ж эти братаны плодovitы. Практически ни одной такой газеты, ни одного

---

<sup>2</sup> С осени 1978 г. В. Буковский изучает нейрофизиологию в Кембридже. — *Прим. ред.* — 1980.

журнала нет, где бы их не напечатали. Это не считая книг и прочих мелких лекций. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Выдвинули Сахарова на Нобелевскую премию — Жорес Александрович уже в Норвегии, убеждает общественность, что нельзя дать премию мира создателю водородной бомбы. Разворачивается кампания в защиту арестованных хельсинцев — Жорес Александрович в парижской газете объясняет, как вреден шум на Западе для людей «там». Надвигается осуждение советской психиатрии в Гонолулу — Жорес Александрович тут как тут, заявляет в Америке, что, кроме него, ну и, пожалуй, Плюща, никого в психушку по политическим мотивам не сажали. Да всего и не перечислишь...

Ведь это же находка. Пусть-ка диссиденты удушат себя своими руками. Солженицын — «писатель-диссидент», и безызвестный Х. — «писатель-диссидент». Вроде как сбывшаяся угроза Сталина Крупской насчет «другой вдовы Ленина». Любой ишак, который сейчас вякнет против Солженицына или «Континента», сразу же найдет мировую прессу вкупе с почетным званием писателя-диссидента Советского Союза.

Вот тебе и 16 статей за три месяца.

А дальше — проще. Слухи, разговоры, вопросы:

— Почему русские все время ссорятся?

Что с них взять, с диссидентов, вечно ссорятся, ни на что не способны, сами не знают, чего хотят.

И еще того хлеще, вырисовываются контуры зловещей «новой правдой». Так и видишь на трибуне мавзолея Солженицына, Андропова и Орехова, принимающих парад диссидентов на Красной площади. (Андропов, конечно же, из них самый либеральный.) А из Спасских ворот, под звон московских сорока сороков, выезжает на белом коне командующий парадом Максимов в бурке и буденовке. Жуть.

Простительно Ольге Карлайл по невежеству валить в одну кучу Глазунова и Солженицына. (Не для таких ли советологов и нарисовал Глазунов Солженицына?) Другие же вполне ведают, что творят. Но социальный заказ есть социальный заказ. Даже Некрич, всю жизнь бывший искренне верующим коммунистом (но не конформистом), отчего с трудом пустили его в Америку, теперь уже слишком «правый» для американских университетов. Контракта ему не продлевают. (А литературный критик Соловьев — уже лектор политических наук.) Вот так-то, без психушек и Лубянки, а контрактами да страницами «Нью-Йорк Таймс», пуще же всего — соблазном быть принятым и уважаемым «академической, интеллектуальной средой», удается иногда то, что КГБ не под силу. Многие же усваивают эту особую «академическую» психологию вполне искренне, незаметно для себя. Все-таки надо же чему-то научиться у Запада.

Статья Чалидзе — первая статья честного человека на модную тему, и если, скажем, Янову отвечать нелепо, а с Синявскими пусть прогуливаются душеведы, то Чалидзе, бесспорно, заслуживает честного ответа.

Я не собираюсь защищать или оправдывать Солженицына — прежде всего, потому, что у меня с ним расхождений не меньше, чем с Чалидзе. Ну, а кроме того, он и сам в состоянии ответить, если захочет. Да и речь пойдет не столько о Солженицыне, сколько о наших собственных взглядах и представлениях, о Западе и Востоке, о прошлом и будущем.

С очень многим, сказанным в статье Чалидзе, я согласен. Многого могу понять как реакцию на весьма специфическую эмигрантскую прессу. Если уж американская пресса оставляет желать лучшего, то от чтения эмигрантской (особенно в Америке) и подавно можно голову потерять. Все же остается в статье еще слишком многое, чтобы обойти ее молчанием. Очень уж сильно в ней влияние распространенных интеллигентских мифов и страхов.

Мифы начинаются почти сразу же, поскольку Чалидзе пытается судить о предмете, ему вовсе незнакомом, — о народе. Если я верно помню период нашего общения в Москве, его контакты с народом ограничивались хождением в магазин на Арбате и общими (не частыми) прогулками по городу. То есть степень общения не многим большая, чем у иностранного туриста, владеющего русским языком. Да и характер у него был необщительный, о чем он и предупреждал всякого нового собеседника. Что уж он мог «слышать в народе», как он теперь изяшно выражается, не знаю. Помню только однажды сказанную им фразу, сильно меня поразившую, а именно: что за одно только, пожалуй, мы должны благодарить власти — за то, что защищают нас от народа. Помнится, тогда, несмотря на мое необычайное уважение к Валерию Николаевичу, я вдруг почувствовал между нами пропасть, поскольку ни в уголовных лагерях (куда, как известно, тянут в массе своей обыкновенный народ), ни в экспедициях по Сибири и Крайнему Северу, ни в иных моих поездках — никогда я не испытывал необходимости в защите от людей, таким образом встреченных, тем более в защите властей.

Был я, не в пример Валерию Николаевичу, человеком весьма даже общительным, а потому, легко сошедшись с любым попутчиком (или сокамерником), распив с ним по стакану водки или спирта (чаю — в лагерных условиях), чувствовал себя вполне защищенным. Водка у нас — верный стимулятор задушевной беседы, и, могу заверить, самые потаенные, сокровенные мысли о нашей Совецкой власти будут вам тотчас же высказаны даже и без провокационного исполнения государственного гимна, как то рекомендовал бравый солдат Швейк.

Признайтесь, Валерий Николаевич, ведь Вы никогда не пили на троих с шоферюгами, не сажали картошку с бабами в Калининской области, не воровали деталей с заводского склада вместе с напарником, не пили по случаю холеры перцовку (для профилактики) со шкиперами и плотгонами Печорского судоходства? Оттого Вы, верно, и не знаете, что «коммунист» у нас слово ругательное, плохое слово. За него могут и по шее дать. В лучшем же случае обидишь хорошего человека ни за что, ни про что. Не то что бы к ним была лютая ненависть, такая, как к милиции, но презрение — как к жуликам, получающим привилегии не за работу, а за красную книжечку. Это



я говорю о рядовых членах партии или низовых активистах. Но уже райком вызывает ненависть — как воплощение власти. Недаром во время всех локальных бунтов, как то было в Муроме, Александрове или Нальчике, райкомы (горкомы) страдали наравне с милицейскими участками.

Никоим образом нельзя сравнивать недовольство людей на Западе своим правительством и ту дремучую ненависть, которая есть в наших краях к власти. (У нас слово «правительство» никто и не употребит даже.)

Конечно, и дури сколько угодно, и глупости. Например, оккупацию Чехословакии, насколько о том можно судить, простые люди в большинстве одобряли (интеллигенция — хоть не всегда открыто, но осуждала).

Идея коммунизма, думаю, никогда не была воспринята толком, да так и не прижилась. За все время я встретил только одного (1), который утверждал, что верит в эту идею. То ли правда такой дурак он был, то ли выпили мы недостаточно — сказать не берусь. Зато вот деревенский дурачок Вася Гудин из Тамбовской области, который сидел с нами на экспертизе в институте Сербского в 1967 году, обвинялся по ст. 70 за то, что, приехав в г. Тамбов, «*вел антисоветскую пропаганду среди пассажиров на вокзале*», — так тот искренне недоумевал, в чем его вина: в деревне же все так говорят. [...]

То, что сейчас стали больше говорить вслух, конечно, не есть признак надвигающейся революции, но и отнюдь не признак прочности власти. Так же, как скрываемое недовольствие не таит в себе опасности взрыва (при Сталине, например). Просто стали меньше бояться. Уменьшение страха — самое большое наше достижение за последние 20 лет. Его-то здесь и принимают за «либерализацию» режима.

Ненависть очень типична для нашего общества, и любопытно, что в партийной бюрократии ненависти к идеологии коммунизма можно встретить даже больше, чем в простом люде. Если бы не назойливая пропаганда, эти последние о коммунизме, может, и вообще бы не вспоминали.

Неверно, что начальство искренне критикуют за отход от идеалов. Просто есть такая рефлекторная привычка у советского человека — внутренне спорить с пропагандой, ловить ее на лжи. «Гляди-ка, партийные! — может сказать человек. — Идейные, да? А мясо через партраспределитель получают, когда его в магазине нет». И это столь же мало означает поддержку коммунистических идеалов, как наши бесконечные ссылки на социалистическую законность не означали веры в нее. Ненависть не означает близких перемен, революций в любом случае (и слава Богу, а то с таким запасом ненависти, который накопился в стране, миллионам скрутят голову). [...]

\* \* \*

Рассуждения Чалидзе о тенденциях в критике Запада — пожалуй, одно из самых слабых мест его статьи. Это образчик того самого типично высоколобого американского журнализма, из-за которого я терпеть не могу американских газет. Читаешь, читаешь — и все никак не поймешь: брать зонтик, не брать зонтика? Это у американцев (в особенности так наз. *профессоров*

*политических наук* и интеллектуалов от журналистики) считается хорошим стилем, объективностью автора, признаком таких глубоких познаний, когда все не так просто, как думает наивный, непосвященный читатель. Таким стилем можно написать все, что угодно: о засолке огурцов, о Ближнем Востоке, о климате в пустыне Гоби, о первой помощи потерпевшим кораблекрушение. Все, что должно вытекать из статьи, это:

- проблема необычайно сложна и многогранна;
- автор, глубоко эрудированный человек, знает проблему досконально и не напрасно получал стипендию от Рокфеллеровского фонда;
- автор умышленно умалчивает о своем мнении, так как не хочет его навязывать умному человеку, который и так все поймет;
- подписывайтесь на нашу газету, она создана специально для таких, как Вы.

Американцы привыкли: читают и рекомендуют знакомым во время коктейль-парти так, чтобы это слышали окружающие. Я же кусаю ногти и злюсь. Мне, к примеру, завтра огурцы солить. Так класть соль или не класть? Этот странный стиль процветает в Америке добрых сорок лет, и никто не решится возразить. Чего доброго, прослышешь недотепой, которому нужны готовые рецепты, а не первоклассная журналистика.

Но вернемся к «еще не рухнувшему Западу» (слова А. Солженицына, музыка В. Чалидзе). Сначала нам говорят, что Солженицын активизировал антизападную пропаганду. То ли из политических целей, то ли по незнанию — неясно. Затем Солженицын, выходит, ненавидит «демдвиж», т. е. своих читателей, защитников, перепечатчиков, сидевших и все еще сидящих за его произведения, да к тому же следующих его заповеди «жить не по лжи». Любит же он, оказывается, тех, кто его не читает, поносит в открытых письмах в «Литературке» и живет по лжи. Ну да ладно. [...]

Далее классический американский журнализм достигает в статье таких высот, что я уже не могу связать его с темой. Тема сама собой исчезает, и остается только два вопроса, а вернее — одно убеждение и одно впечатление: а) что армии должны быть наемными; б) что бессмысленности сталинских репрессий 30-х годов иностранцы понять не могли. У читателя же остается одно впечатление — вот это здорово! Будет о чем поговорить на коктейль-парти. Только неясно все-таки: брать зонтик, не брать зонтика?..

Как пишет Чалидзе — «ответ не тривиален».

\* \* \*

Бесспорно, всякие предсказания скорой революции в СССР нелепы, а пропаганда ее — преступна, как и пропаганда террора. Только сентиментальные писатели могут утверждать, что революции происходят от нищеты и бесправия народа — в момент, когда народ доведен до крайности. До конца никто не знает, отчего они происходят, но при нужде и голоде человек больше склонен к воровству, к индивидуальному бунту или к тупой покорности. При бесправии же человек о своем праве не ведает, да и слишком унижен,

чтобы какого-то права требовать. Умелое правительство всегда может легко подкупить наиболее даровитых и энергичных среди этой массы разобщенных, озлобленных людей. Короче говоря, все это ведет к застою и гниению, как мы и видим в СССР. Я не знаю ни одного примера революции, случившейся в разгар сильной диктатуры. В этом состоянии, даже если бы какая-то сказочная внешняя сила устранила существующую структуру управления, то произошла бы полная катастрофа, анархия и взаимоистребление.

Революции чаще всего случаются, когда настоящие нищета и бесправие давно позади, но накопленная злоба и недоверие к власти делает всякую реформу ненавистной, недостаточной. В этом положении нерешительное или неумелое правительство — гарантия революции.

Ждать от революции справедливости и свободы — поразительная наивность. Всякое общественное потрясение поднимает со дна общества самую муть, и — «кто был ничем, тот станет всем». В революцию выдвигаются самые жестокие, подлые, кровожадные люди с сильными деспотическими характеристиками. Разбойничьи атаманы. После упорной междоусобицы наиболее жестокий и хитрый среди них сосредоточивает в своих руках всю власть. То есть революции всегда кончаются тиранией, а не свободой и справедливостью.

Может ли все это произойти в СССР? К сожалению, может, но вряд ли скоро. Пока что существующая там власть (хоть и не умная, и теряющая свою решительность год от года) все же достаточно крепка, чтобы отказаться от любых реформ. Даже куцые косыгинские реформы не прошли в том виде, как первоначально предлагались. И в этом есть своя логика. Власти понимают, что нынешний неповоротливый бюрократический аппарат не сможет справиться с напором стихии, вызванной значительными реформами. Нет уже тех лихих мальчиков с маузерами, умеющих играть со стихией. Сегодняшний коммунистический режим в СССР, пожалуй, самый консервативный в мире. Даже Хрущев оказался слишком революционным. Никаких же значительных общественных сил, независимых от власти и способных заставить власть пойти на реформы, у нас пока что не сформировалось.

Период их формирования может быть сколь угодно долгим, в зависимости от поведения правительства, международной ситуации и проч. и проч. При нынешнем положении экономические трудности не заставят власть провести значительные реформы. Таким образом, как это ни печально, но скорых улучшений ждать нельзя, не говоря уже о радикальных переменах. Можно ожидать лишь медленного роста независимых общественных сил на фоне общего застоя и разложения. Пока что проявились лишь контуры этих растущих общественных сил: национальные движения, религиозные движения, гражданско-правовое (интеллигентское по преимуществу) движение и зачатки рабочего движения.

Нынешний повышенный интерес к 1917 году, а вместе с ним и к «будущей революции» во многом вызван Солженицыным, его историческими изысканиями. Пока что мы не имели возможности прочесть все 6 томов «Красного колеса», но некоторое упрощенное представление о его концеп-

ции получили из «Августа 14-го», «Ленина в Цюрихе», «Письма вождям» и интервью Би-Би-Си. Эти-то впечатления и вызвали теперь бурю полемики, негодования и обвинений в коварных политических замыслах.

Мне кажется, основная ошибка критиков Солженицына происходит из убеждения, что Солженицын — политик. И на литературно-публицистические высказывания Солженицына Чалидзе пытается отвечать как на политические декларации.

Быть может, со мной не согласятся многие, включая самого Солженицына, но я не могу считать его политиком. Писатель, публицист — да. Историк — может быть (я судить не компетентен). Но не политик.

Мне возразят, что его деятельность имеет политический резонанс, касается вопросов политики. Очень может быть, но это его политиком не делает. Так же, впрочем, как это не делает политическим правозащитное движение.

В самом деле, человек, в зените своего влияния удалившийся писать многотомный исторический роман, — политик? Человек, вся общественная деятельность которого сводится к помощи политзаключенным, — политик?

Его самый «политический» труд — «Письмо вождям» — поражает своей наивной, вполне писательской верой в силу слова. Только-то и нужно, оказывается, что потолковать с Брежневым и Косыгиным обстоятельно, объяснить им истинные национальные интересы, призвать к покаянию, и те, вспомнив русских матерей да родные просторы, бухнутся в ноги, порвут свои партбилеты, освободят женщину от каторги, и воцарится на Руси единение душ.

Другой пример, недавний, еще разительнее. Первая и вторая эмиграции имели свою миссию, говорит Солженицын в своем интервью Би-Би-Си, — а вот третья — не имеет. Миссия эта, оказывается, состояла в том, чтобы засвидетельствовать преступления коммунистов. В чем же разница? Третья-то тоже бежит из СССР, не обратно. Разница, видимо, в том, что первую и вторую — с миссией — никто не слушал, а третью — без миссии — слушают. И еще — первая и вторая отступили с оружием (и поэтому молодцы), а третья — без оружия убежала (бяки). (Так ведь им оружия дать не догадались!) Первая и вторая спасались от ЧК, ну а третьей надоели, видимо, черная икра и тульские пряники.

Любой человек, мыслящий политически, понимает, насколько возможность эмиграции облегчила жизнь в СССР. Какое это огромное наше завоевание! Ведь нельзя же ждать от народа, чтобы он и теперь, дружно, миллионами, кидался на чекистские амбразуры. До тех пор, пока единственной наградой за сопротивление властям была тюрьма, только горстка людей на то осмеливалась. Теперь же появились шансы, что вышлют в Вену или в Цюрих. Конечно же, при таком виде наказания от желающих нет отбоя. В такой ситуации — где теперь все усилия властей воспитать ненависть к капитализму, к врагам, к Западу? Попытки изолировать, оболванить? И поскольку выпускают обычно самых беспокойных, протестующих, то их число растет.

Но Солженицыну и дела нет. Не любит он третью эмиграцию, нет у нее миссии — и всё тут. Опять скажете — политик?

Но вернемся к его исторической концепции. Как-то, во время одной из наших бесед в 1977 году, когда я недоумевал, почему он так редко выступает, не реагирует на текущие события, он ответил, что это было бы ему очень трудно, так как психологически он живет в конце XIX—начале XX вв. Этот ответ объясняет мне многое. Писателю свойственно настолько вживаться в проблемы своих героев, в их беды и муки, что они как бы становятся для него важнее реальной жизни. Нетрудно понять, что со своей обычной внутренней опаленностью, сотни раз пережив со своими героями трагедию 1917 года, он бессознательно переносит ее в сегодняшний день. Какими же близорукими, идиотскими должны звучать речи всех этих меньшевиков, эсеров и даже кадетов на фоне нашего знания последующих событий! Да и кого из нас не бесила та благодушная слепота, с которой русское общество приветствовало революцию, тот энтузиазм, с которым все бросились в пропасть. Синявский так, кажется, и Чехова готов был оттрепать за захоточную бородавку. Мы, сидя во Владимире, как-то достали в библиотеке воспоминания Крупской о Шушенской ссылке Ильича. А там — и барашек один в неделю, и молока вволю, и еще деньги (ссылному!) — и всё недоволен. Ну, скотина ненасытная! Попадись нам Ильич о ту пору — живьем бы сожрали. Конечно же, досталось и царскому режиму — за мягкость.

Вот в таком-то настроении пребывая уже несколько лет да растравляя себе душу чтением разных возмутительных исторических источников, приходит Солженицын к выводу, что все зло — от либералов. Что ж, можно его понять. И то сказать, даже Керенский, кажется, в 1957 году, в интервью Би-Би-Си, на вопрос, с чем бы он сейчас боролся, повторишь история, ответил: «С керенщиной!»

Если б знать, где упасть... Но хоть в будущем, в будущем-то не повторить той же роковой ошибки. А что такое будущее? Может, это уже завтра или в пятницу на той неделе? И ждать нечего. Отсюда фраза в интервью Би-Би-Си, что *«опыт февраля, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу»*.

В одну из бесед в том же 1977-м спросил меня Солженицын осторожно, согласен ли я, что прямо вот так, от тоталитарного режима, перейти сразу к демократии невозможно. Нужен какой-то подготовительный, переходный период. Разумеется, я был согласен, и мы дипломатически не стали вдаваться в детали, развивать эту тему. Для меня этот переходный период означал борьбу общественных сил в стране за свою самостоятельность, борьбу, в результате которой тоталитаризма все меньше, а демократии все больше, до той поры, когда и революции уже не надо. То есть этот переходный период, с моей точки зрения, уже начался. Для него он все еще зиял впереди черным провалом. И где же тогда взять мудрого автократа, чтоб сдержать стихию? Разве что в православии... А значит, уже сейчас нужно постараться ослабить тенденции либеральные и усилить православие.

Удивительная это, конечно, мысль, что свободе и демократии нужно людей обучать, как тригонометрии. В основе ее нечто вроде порочного

круга: сразу к свободе перейти нельзя, не обучены, а как же обучать в условиях несвободы? Религия тут — плохой помощник. Христианство существует почти две тысячи лет, однако не убергло нас ни от коммунизма, ни от фашизма. Тем более не спасет коррумпированная, подконтрольная православная церковь. Уж если и учиться демократии, то только в процессе борьбы за свои права (разумеется, ненасильственной). В этом смысле роль солженицынского автократа исполняет сейчас советская власть. Вот и вся сущность спора.

Казалось бы, зачем горячиться, почему для Солженицына именно сейчас враг № 1 — либералы, а для других враг № 1 — Солженицын, точно уже нет советской власти?

Представим себе на минуту, что весь наш спор происходит в Москве, на чьей-нибудь кухне. Кому бы пришло в голову обвинять оппонента в коварных политических замыслах, в стремлении к диктатуре и т. п.?

Но уж так устроена эмиграция, такова в ней болезненная переоценка собственного значения, страсть к политиканству, к групповщине и партийности, что любое высказанное предположение или сомнение сейчас же истолковывается как «попытка с целью захвата власти». По мере удаления от государственных границ СССР как-то само собой теряется чувство реальности и эмиграция начинает ощущать себя неким вторым, альтернативным правительством. Всякий спор, ссора воспринимаются как правительственный кризис, а всякий громко и веско говорящий человек — как претендент на пост премьер-министра, а то и узурпатор.

Одна эмигрантская монархическая газетка по наивности выразила это общее чувство предельно ясно: «*Как только коммунисты осознают свою неспособность управлять страной, они сами пригласят законного Наследника на престол*». Сцена поисков членами политбюро законного наследника по всей Европе вызывает лишь улыбки. Но посудите сами, разве более почтенные эмигранты выражаются лучше?..

«*Если мне завтра предложат выбирать между советской властью и властью Солженицына, — заявляет уважаемый профессор логики А. Зиновьев, — я предпочту первую*». Ну вот, наконец-то человек поучаствовал в первых в своей жизни свободных выборах! Отдал свой голос за блок коммунистов и беспартийных.

Не избежал этой иллюзии и Чалидзе. Простительно писателям верить в мистическую силу слова. Непростительно Чалидзе верить, что словесные заклинания могут заставить советскую власть трансформироваться из коммунистического государства в националистическое. Прочитывая с десяток дремучих авторов эмигрантских листочков, да таких, которых уже и «Правда» стыдится цитировать, он вдруг делает вывод, что весь этот вздор может оказать «политическое влияние» — «*усилить в советском руководстве те группы, которые хотят национал-коммунизма*». Вот ведь как влиятельны эмиграция и ее листочки. То-то я все удивляюсь, отчего это советское руководство такое глупое?

*«Итак, мой вывод, мой призыв — быть осторожнее, помнить, что пропагандой отсюда мы можем не только постепенно улучшить эту систему, но и ухудшить, — а ухудшение может быть страшным».* Практически каждое слово этого основного вывода Чалидзе вызывает у меня возражения.

Во-первых, никакой пропагандой мы здесь не занимаемся. Наша обязанность — обеспечить гласность стране, ее лишенной, дать обрести голос тем, кому зажали рот. Есть масса людей здесь (и Солженицын среди них), которые, кроме того, высказывают свое мнение. Это — пропаганда?

Во-вторых, влияние высказанных здесь мнений на жизнь в СССР практически нулевое (влияние гласности хоть и не огромно, но весьма значимо). Люди там не глупей нас, живущих здесь. Да наши эмигрантские споры вызывают у них скорее досаду, чем интерес. То есть все то, что Чалидзе именует пропагандой, ни ухудшить, ни улучшить ситуации там не может. Наивно полагать, что внутренние, весьма жесткие законы эволюции советского общества можно изменить эмигрантской болтовней.

Неужто так трудно понять, что коммунистическая идеология существует у нас не в виде идеи, а в виде особой структуры общества, структуры весьма жесткой. Откуда этот миф о советской гибкости? Разве что из внешнеполитических успехов? Так тут ни ума, ни гибкости не надо, если Запад сам себя на лопатки кладет.

Из всех пяти пунктов «программы национал-коммунистов», доверительно сообщенной нам Чалидзе, я не нашел ни одного, который не был бы уже выполнен советской властью настолько, насколько возможно выполнить. Что еще могут сделать власти, чтобы усилить «духовную изоляцию от Запада» или «охрану народа от идей свободы и народоправия»? Туристов не пускать? — валюта нужна. Радио глушить — дорого, да и бессмысленно. Не участвовать в международных форумах, мероприятиях, организациях? Уйти из ООН? Вот мы все огорчимся!

Ну, а национализм? Только и остается им всем в ЦК косоворотки надеть да еврейский погром (в Госплане) устроить. Все остальное есть. Даже и православие давно используется в дипломатических, шпионских и пропагандистских целях.

И отчего это Вы, Валерий Николаевич, вдруг так испугались, в такую панику ударились, не пойму. Родную страну забыли, что ли?

\* \* \*

Несмотря на то, что права человека стали в последние годы модной темой, именно правозащитный аспект нашей деятельности остался наиболее труднопонимаемым. Нет никаких способов объяснить определенного типа людям, что правозащитный характер движения — не мимикрия, не тактика, а так же, как отказ от насилия и подполья, принципиальная наша позиция. Разумеется, для тех, у кого цель — правовое государство.

Каждый человек, испытавший произвол, согласится, что любой закон лучше беззакония. В худшем варианте очень плохого закона он, по крайней

мере, гарантирует вам подчинение закону, обязательному для всех сторон, а не человеку и его прихоти. Даже это хоть как-то охраняет ваше достоинство.

Путь от полного произвола революции к правовому государству лежит через плохие, компромиссные, даже дискриминационные законы. Вам прежде всего нужно заставить вашего противника принять бой на выгодной вам правовой территории. В ситуации абсолютного произвола (если такой возможен) всё, что вы делаете, оборачивается против вас. Насилие плодит насилие, попытка обороняться произволом против произвола лишь увеличивает произвол.

Как только есть хотя бы какой-то закон, регулирующий ваши отношения с другими людьми и с властью, у вас появляется шанс. Во-первых, законы имеют тенденцию совершенствоваться в силу того, что система законов должна быть непротиворечива, в силу того, что меняется ситуация, и в силу вашей собственной деятельности.

Многих людей раздражает это «качание прав», кажется бессмысленной тратой сил. Даже если положительный результат возможен, достижения его медленны. Что ж —

Нам не надо скорой помощи,  
Нам бы медленную помощь.

По крайней мере, не будете чувствовать себя виноватыми в произволе ни прямо, ни косвенно.

В вопросах понимания права у нас с Чалидзе не может быть много расхождений. Все же в его статье я нашел пункт, нуждающийся в обсуждении.

Безусловно, правовая область — не стихия Солженицына. Соответственно, юридические термины он может употреблять совсем не так, как это принято. Зачем же сразу видеть за этим злой умысел, заговор, далеко идущие политические планы? Уверены ли Вы, Валерий Николаевич, что он правильно употребляет слово «обязанности»? Не путает ли он его со словом «ответственность»? По существу, его мысль, высказанная в Гарвардской речи, сводится к тому, что преступники безнаказанно терроризируют общество. При чем тут обязанности? У преступника нет обязанности быть наказанным.

*«Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления ее, дает преступнику оставаться безнаказанным или получать незаслуженное снисхождение — при поддержке тысячи общественных защитников. Если где власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нарушают права бандитов»* (цит. по «Вестнику РХД» № 125).

Для меня очевидно из приведенного, что он имеет в виду проблему соотношения прав и ответственности за правонарушения (т. е. гарантию права).

Избавившись от терминологической путаницы, станет ли кто оспаривать, что есть такая диспропорция в западной жизни? И не нужно, как делает Чалидзе, отсылать эту проблему к властям предрежащим, коль скоро дело



властей — следить за исполнением законов. Мы же знаем, что в демократическом государстве власть — более или менее функция от общественных настроений. Напоминать людям об ответственности или хотя бы взывать к их чувству ответственности, как делает Солженицын, вовсе не вредно.

Наши американские друзья не живут в социалистической Европе, и им трудно понять, что здесь постепенно узаконивается все то, что «в интересах трудящихся» (т. е. их лидеров).

Оставив в стороне Солженицына, скажу, что и меня эта проблема живо интересует. Ведь вот представьте себе, я, например, никак успокоиться не могу, что красные кхмеры, убившие 3 миллиона человек, уже как бы осуждены общественным мнением, их же учителя, профессора французских университетов, все так же уважаемы, благополучны, лощены, и даже совесть их не мучает. И добро бы это было в новинку, но ведь уж десятки стран прошли тот же путь. Неужто нельзя этому предел положить?! Правильно сказал Сахаров о политиках, идущих следом за идеологами. Это почти закон. Нравственно эти профессора — соучастники преступления. Но ведь то нравственно, не юридически...

Неужто мы так беззащитны, бессильны? Ведь вот даже с невинным табакером нашли способ бороться. Заставляют производителей печатать предупреждения о возможном вреде на каждой пачке. Почему же нельзя заставить законодательно печатать на каждой марксистской книге, что изложенная в ней теория привела на практике к гибели десятков миллионов людей за последние 60 лет?

Я, помню, встретил в лагере человека, осужденного за соучастие в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны. Он ужасно возмущался и виновным себя не считал:

— Моя работа была только открывать дверку в газовую камеру. Закрывать ее должен был другой.

Я не могу отделаться от мысли, что все эти профессора-марксисты, так же, как и прочие безответственные люди, чувствуют себя столь же невиновно, как и этот человек. Они ведь тоже только открыли дверку...

И напрасно опять касаться вопроса о том, кто же виновен больше — марксизм или «русская жестокость». Старый, шовинистический аргумент, широко используемый сейчас еврокоммунистами. Что же мне Вам, Валерий Николаевич, как еврокоммунистам, приводить примеры Кубы, Югославии и двух Германий? К счастью для спорщиков, к несчастью для многих миллионов людей, коммунистический эксперимент был «поставлен» историей чисто. Ну, что еще общего между всей этой массой абсолютно различных по культуре, истории, языку, религии и т. д. стран, кроме марксистской идеологии? Какая же еще нужна «теоретическая дискуссия»? С бродячим призраком?

Если и узнал я что-то новое за последние три года, так это только, что люди везде одинаковы. Открытие мое оптимистично — поскольку дает надежду, что там будет когда-нибудь так, как здесь. Но оно же и пессимистично — ведь здесь тоже может случиться, как там. [...]

Категоричность, с которой Чалидзе утверждает, что «нет религиозного возрождения», настораживает. Так же настораживает утверждение Солженицына, что религиозное возрождение — единственная сила, способная противостоять нынешнему режиму в СССР («Персидский трюк»). Упорство, с которым оба эти автора вбивают клин между религиозным движением и остальным движением за права человека, меня пугает. Это на советскую власть повлиять трудно — поссорить же людей очень даже легко.

Очевидно, что основная заслуга правозащитного движения состоит в выработке позиции, методики. Эту методику усвоили как национальные движения или начинающееся движение рабочих, так и религиозное движение. Да и чем, собственно, занимается религиозное движение, как не защитой прав верующих? Даже власти начинают усваивать правовой подход. Медленно, но усваивают. Внутри страны и религиозное движение, и все остальные независимые движения работают вместе (сознательно или бессознательно), помогая друг другу. Тому много примеров. Зачем же стремиться расколоть эти движения?

В дни, когда арестованы Якунин и Регельсон, Великанова и Некипелов, Горбаль и Терляцкас, боровшиеся за единую и неделимую свободу человеческой мысли, не стыдно ли нам из своего безопасного далека осыпать друг друга обвинениями, занимать нашими дрызгами газетные полосы к радости врагов и спорить с ученым видом, какое же из движений главней, чья команда выиграет, будто болельщики на футбольном матче.

Есть у нас — не миссия, конечно, — но ответственность за происходящее, но обязанность (моральная) сделать все, даже невозможное, чтобы хоть наши внуки смогли выбрать то, во что верят. И нет у нас права о том забывать.

## В редакцию журнала «Континент»

*Открытое письмо*

Несколько недель назад Александр Гинзбург в телефонном разговоре со своей женой просил меня высказать мое мнение о статье В. Чалидзе «Хомейнизм и национал-коммунизм». Не имея текста статьи, я не мог тогда выполнить этой просьбы. Мой друг в одном из московских домов просил дать ему статью, чтобы ознакомить меня, но получил отказ; ему удалось, однако, записать текст статьи на пленку. Ознакомившись вчера со статьей в магнитозаписи, я пришел к выводу, что у меня нет возражений к опубликованию статьи, наоборот, ее опубликование представляется мне целесообразным. Статья написана в стиле серьезной и хорошо аргументированной полемики и посвящена вопросам, представляющим несомненный интерес для читателей журнала. В статье содержится обсуждение некоторых взглядов А. И. Солженицына, высказанных в его «Гарвардской речи», в «Письме к вождям» и в других публицистических выступлениях, а также в выступлениях его сторонников. Это такие вопросы, как оценка значения демократии и автократии, понятие прав человека, национализм, политизация религии, соотношение понятий свободы и обязанностей перед обществом, оценка положения в СССР — отношение людей к коммунизму, к религии и т. п., значение свободы эмиграции, обсуждение значения Февральской революции, осуждение Солженицыным позиции Запада в кардинальных вопросах современности и западного образа жизни.

Я отношусь с величайшим уважением к А. И. Солженицыну, к его роли в раскрытии перед всем миром преступлений строя, к его литературному таланту, к его прямоте и непримиримости к злу. Но я уже имел возможность в 1974 году высказать свое несогласие с его оценками по ряду важнейших вопросов. В статье В. Чалидзе, также относящегося к Солженицыну с большим пиететом, я вижу талантливую дискуссию, которая кажется мне очень важной для всех, озабоченных принципиальными вопросами общественной жизни. Мне хотелось бы, чтобы журнал был достаточно широким и печатал дискуссионные статьи, не всегда совпадающие со взглядами всех членов редколлегии, — это важно для поднятия авторитета журнала. [...]

С уважением и наилучшими пожеланиями

*Андрей Сахаров*  
1980, № 23

## ВАЛЕРИЙ ЧАЛИДЗЕ

### Сахаров и русская интеллигенция

Я думаю, это началось в начале XIX века. До этого культура в России существовала в основном в кругах, приближенных к трону, и существовала под покровительством короны. Но при Александре I, — быть может, под влиянием его же неосуществленных либеральных намерений, — какая-то часть талантливой и творчески настроенной публики отделила себя от покровительства трона и образовала еще не социальный слой, а лишь отдельные группы интеллектуалов, не только независимых от власти, но к этой власти настроенных более или менее оппозиционно. Это отделение происходило постепенно. Еще Пушкин, который известен своим свободолюбием и своей независимостью, продемонстрировал в конце жизни, что такой отрыв культурной публики от власти и от сконструированной властью иерархической структуры был странен, неестественен: мы помним полуготовность Пушкина примириться с императором. Но, хотя не все это тогда осознали, отрыв культуры от власти в России произошел.

Почему я начал так издавека? Потому что без понимания места интеллигенции в России, в российском обществе мы не поймем места Сахарова в теперешнем российском обществе. Сахаров — это не только героическая фигура, возбуждающая восхищение всего мира своим призывом к соблюдению прав человека и к свободе. Это также и трагическая фигура на фоне русской истории, на фоне истории русской интеллигенции.

Кто виноват в этом конфликте власти и культуры в России? Наверно, обе стороны. Конечно, власть, желавшая подчинить развитие культуры своим целям, желавшая видеть в интеллигентах в большей степени пропагандистов имперского величия, чем свободных художников и ученых, и в то же время сами интеллектуалы, которые, вступив не в однодневный, а в двухвековой конфликт с властью, оторвали себя от участия в позитивном политическом процессе в России, избрали в этом процессе исключительно негативную роль, роль критиков, и в результате, в конце прошлого века, роль разрушителей существовавшей системы. Образовался особый, ни с чем не сравнимый слой — русская интеллигенция. Я не вижу ничего подобного в западных странах. Здесь есть интеллектуалы, здесь есть деятели культуры, противопоставляющие себя власти, но, вообще говоря,

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
А. Д. САХАРОВА

\* \* \*

*А. Д. Сахарову*

И глянул окрест, и душа его...  
И грянул оркестр, глуша уязвленную грудь.  
И ленинский жест, как прожектор, нашаривал,  
кого заглушить, задушить и согнуть.

По всех нас проехала очередь  
с бетонного броневичка,  
и если мы живы не очень-то,  
то выжили все-таки пока.

И пока не истлела, не окостенела  
от животных нас отличившая речь,  
сквозь залпы оркестра, сквозь марши расстрела  
нам некогда связки беречь.

И глянул окрест, и душа его...  
И глянул другой, уязвлен.  
И третий наощупь нашаривал  
и связывал связь времен.

*Наталья Горбаневская  
Париж, декабрь 1980*

нет слоя, который играл бы в обществе ту же роль, что и русская интеллигенция.

История развития этого слоя в России и трагична, и величественна. Этот слой содействовал разрушению вековой российской империи, но после революции, когда власть переменялась, этот слой остался в оппозиции к власти и сама власть стала в оппозицию к слою, ее породившему. Быть может, это потому, что по сути, по идеологии этого слоя он должен находиться в оппозиции к власти. Мы много знаем о кровавом преследовании интеллигенции во времена советской власти, мы знаем о том, что истребить интеллигенцию не удалось и что интеллигенция по-прежнему существует в России и вклад ее в мировую культуру продолжает быть заметным. Но трагедия этого слоя не только в том, что он преследуем, трагедия этого слоя для истории России, для судьбы народа этой страны в том, что этот слой исключил себя из политического процесса. Этот слой не просто по стечению обстоятельств, но принципиально по идеологии своей отказывается от всего, что приблизило бы его к принятию решений о судьбах страны. С точки зрения этики этого слоя, считается постыдным для человека, принятого в интеллигентных домах, занять какое бы то ни было положение, связанное с принятием государственных решений. Мало того, постыдным, с точки зрения этики этого слоя, является обычное, общечеловеческое стремление к успеху, к построению карьеры. Я вспоминаю своих друзей-интеллигентов в России, для них слово «карьера» — слово ругательное, постыдное. Главное, что ценится в этике этого слоя, — это более или менее беззаветное служение культуре, идеалам искусства и науки без явного стремления к признанию своих успехов обществом и властью.

С одной стороны, Сахаров по своему психическому складу, по своей этике, даже по характеру суждений, даже по убеждениям — это типичный представитель русской интеллигенции. С другой стороны, это человек, не только согласившийся на занятие государственных постов, но и достигший больших успехов в государственной иерархии и много сделавший для укрепления существующей в России власти. Всем известно, что он сделал большой вклад в разработку военного применения термоядерной реакции, что он много лет занимал руководящее положение в системе военно-промышленного комплекса и за успехи был удостоен высочайших правительственных наград. Такие случаи бывали. Интеллигенты, бывало, и раньше соглашались на занятие государственных постов и достигали успехов, но при этом они, как правило, переставали быть интеллигентами в специфически русском смысле этого слова, при этом интеллигенция уже не считала их своими.

Сахаров не перестал быть интеллигентом, он не потерял способность мыслить независимо не только в области науки, но и в области общественной, там, где государственная иерархия не считает его вправе мыслить независимо. Он не потерял способности быть честным и не скрывать этого. После многих лет деятельности в государственной иерархии он в 1968 году

с шокирующей прямотой высказал свои мысли о развитии российского общества и об опасностях, подстерегающих мир. Это было честное выступление, к которому властям следовало прислушаться. Но это было слишком непривычно — государственная иерархия исторгла Сахарова. Власть еще раз продемонстрировала симметрию в отношениях с интеллигенцией. Интеллигенция не приемлет власть всей своей этикой, фактом своего существования. Власть отвечает ей тем же. Симметрия, впрочем, неполная: власть сажает интеллигентов в тюрьмы или ссылает в места, подчас весьма отдаленные.

За годы своей общественной деятельности Сахаров стал символом свободы, символом неприятия тирании, за эти годы Сахаров сказал много разумного и хорошего. Но, когда я думаю о будущем, мне кажется, что в историю он войдет прежде всего тем, что он был одним из тех немногих смелых интеллигентов, которые пытались сломать барьер между властью и культурой, пренебрегая этическими запретами своего слоя и пренебрегая тем непониманием, которого он неминуемо должен был ожидать со стороны властей.

Такие попытки были и раньше, но власть и интеллигенция ни разу не пытались сблизиться одновременно: попытки одной стороны пойти навстречу разбивались о непонимание другой. Александр II проводил прекрасные реформы, которые должны были импонировать интеллигенции, но, увы, тогдашняя интеллигенция не хотела ждать постепенных сдвигов; тогда, во второй половине XIX века, она начала оттачивать топор, который рубил ее головы после 1917 года.

История — насмешница. Упущен был момент, не пошли навстречу реформам Александра II и манифестам Николая II, и пришлось идти навстречу Брежневу — всё диссидентское движение началось с попытки диалога с властью. Но тут уж власть оказалась глуха и недальновидна — не отозвалась на этот шаг интеллигенции.

Я не хочу делать рискованных прогнозов, но я не исключаю, и даже надеюсь, что будущее мирное развитие ситуации в России приведет когда-нибудь к тому, что власть осознает необходимость сотрудничества с интеллигенцией без того, чтобы пытаться интеллигенцию переделывать и мешать ей оставаться честной. И, быть может, когда-нибудь ситуация в России изменится настолько, что, как и в других цивилизованных странах, интеллигенция перестанет считать зазорным для себя участие в политическом процессе, а следовательно — в процессе управления своей страной. Это звучит утопично, но Сахаров дал пример того, что это возможно, дал пример того, что можно быть причастным к процессу управления страной и в то же время остаться интеллигентом, остаться честным и искренним человеком. [...]

Историческая трагедия личности Сахарова — в том, что он противопоставил себя двухвековому историческому заблуждению, противопоставил себя двухвековой розни между интеллигенцией, представляющей дух российского общества, и властью, представляющей его силу.

Я не пытаюсь какой-либо одной причиной объяснять многочисленные трагедии, постигшие Россию за эти два века, но эта рознь, это непонимание интеллигенции и власти — несомненно, одна из важных причин многих трагедий. Я не думаю, что гармоничное развитие российского общества в будущем возможно без преодоления этого двухвекового конфликта. Этот конфликт слишком глубок, ни одна сторона не сделает первого шага в ближайшем будущем. Преодоление этого конфликта зависит только от смелости людей в том, чтобы побороть существующее непонимание, и Сахаров в наше время был первым выдающимся смельчаком, который, будучи государственным человеком, не только не перестал быть интеллигентом, но и продемонстрировал это.

*1981, № 28*



## ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

### Статус советского политзаключенного

«...Инакомыслящий да имеет право, если уж не на свободу, то, во всяком случае, на сносную тюрьму! Таков печально-реалистический предел моих упований в качестве узника».

«Письмо президенту США», —  
Э. Кузнецов, концлагерь «Сосновка», б. 2. 1977 г.

В данном случае под «Статусом советского политзаключенного»<sup>1</sup> автор не имеет в виду паутину законов и подзаконных актов, определяющих реальное, обеспечиваемое всей системой государственного насилия, положение политзаключенных, но комплекс прав, традиционно считающихся принадлежащими политзаключенным и ими так или иначе отстаиваемых.

Советский Союз, вопреки очевидности, отрицает наличие у него политических узников. Позиция не ахти какая самобытная: общеизвестно, что политзаключенные томятся только в чужеземных узилищах, а в своих — одни грязные уголовники (как *их* разведчики — сплошь продажные шпионы, а свои шпионы — всегда благородные разведчики).

Понятие политзаключенного иногда трактуется удручающе разноречиво. Казалось бы, не велика беда, когда бы эта разноречивость, даруя тюремщикам свободу демагогического маневра, не сказывалась на положении конкретных людей. Создается впечатление, что дело тут, с одной стороны, в недостаточном вникновении в специфику советского государства, с другой — в слепой подвластности европейскому стереотипу толкований понятия «политзаключенный», а также — в эффективности умелой и бесстыдной спекуляции советской пропаганды на несовпадении западного стереотипа с коммунистическими реалиями<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Впредь именуемого для простоты Статусом.

<sup>2</sup> Считаю не лишним процитировать В. И. Юкшинского. В этой цитате достаточно представительно сконцентрированы противоречивость и нечеткость типичных суждений об интересующем нас предмете. «*Особой группой*», — пишет он, — *являются*

В ноябре 1976 года мы с В. Черноволом<sup>3</sup>, встретившись в больничной зоне № 385-34, составили документ под названием «Статус советского политзаключенного». Писать приходилось с поминутной оглядкой, таясь и шарахаясь; от официальной юридической литературы, никак не разрабатывающей понятие политзаключенного, проку нам не было; доступ к зарубежным или самиздатским источникам нам, естественно, был заказан, и мы, как я теперь вижу, кое-что упустили при определении понятия политзаключенного. Наиболее существенным промахом мне представляется неточность формулировки § 1: «*Политзаключенным является всякий, осужденный по политическим мотивам*». [...]

Существуют два наиболее распространенных подхода к определению понятия политзаключенного: лишенный свободы за деяние, совершенное с политическими целями, и лишенный свободы государством в политических целях. Другими словами, это разница между теми, кто сознательно, руководствуясь теми или иными политическими целями, совершает какое-то деяние, и теми, кто ни в каком политически целенаправленном (или мотивированном) деянии не виноват, но лишен свободы государством, преследующим свои политические цели. В обиходном языке эта разница зафиксирована, как разница между борцами с режимом и его жертвами. К последним можно отнести репрессированных по классовому, религиозному или национальному признакам, а равно тех, кто пострадал от так называемых *чисток*. Например, заложников, арест и расстрел которых практиковался по крайней мере до 1922 года, «кулаков и подкулачников», т. е. миллионы зажиточных или стремившихся стать зажиточными крестьян, «членов семей врагов народа», верующих, крымских татар, волжских немцев, калмыков, ингушей, чеченцев, евреев...

---

*“политические”. Эта квалификация условна во всех отношениях. Во-первых, потому что советский кодекс таковой квалификации не знает. (А раз сам советский кодекс не знает, то... — Э. К.)... Во-вторых, потому что “политических” преступников в европейском понимании этого слова в Советском Союзе действительно нет или почти нет, так как нет организованной оппозиции власти...» (В чем, вроде как, опять же виноваты не те, кто всякий намек на оппозицию душит на корню, а те, кто, полужадушенные, эту оппозицию все же не удосужились создать. — Э. К.)*

Это было на странице 28, а на странице 29-й выясняется, что даже и наличествуй какая-никакая оппозиция, все равно и этого мало... «*Несколько оживленное дело обстоит с “оппозицией”, которую, конечно, нельзя смешивать с революцией (? — Э. К.). Но оппозиционеры, встреченные мною в лагерях, во-первых, не принадлежали ни к какой централизованной организации, а во-вторых, оставались всегда на советской платформе, как и подобает оппозиции*». — Юшкинский В. Советские концентрационные лагеря в 1945-55 гг. Мюнхен, 1958.

<sup>3</sup> Украинский журналист, арестован в 1972-м году за так называемую антисоветскую пропаганду и приговорен к шести годам лагерей и трем годами ссылки. В 1980 арестован по фальсифицированному обвинению в «попытке изнасилования» и приговорен к 5 годам лагеря. — *Прим. ред.* — 1980.

В. Чалидзе, например, считает политзаключенными только жертв режима, правда, при этом оговаривая, что «находит такое употребление термина удобным... так как в этом случае любой, названный политзаключенным, заслуживает особо оправданного моей этикой заступничества». Представителем противоположной точки зрения выступает А. Солженицын: по его мнению, «жертвы», т. е. людоедской власти не сопротивлявшиеся, политзаключенными считаться не могут, они — «кролики», обыватели<sup>4</sup>. Тем, кто сам хлебнул лагерного горя, эта позиция эмоционально близка, однако с правовой точки зрения она не удовлетворительна. Его формулировка, с одной стороны, широка, с другой — узка: «Политзаключенные — это те, кто знают, за что сидят, и тверды в своих убеждениях». Широка, ибо под нее, например, подходит и профессиональный вор: он знает, за что сидит, и тверд в своей «воровской идее». Узка, ибо, во-первых, игнорирует жертв режима, не предусматривает возможной эволюции их убеждений, а во-вторых, не охватывает тех, кто сидит не только за свои убеждения, но и за действия в соответствии с таковыми, а эти действия, кстати говоря, могут носить и общеуголовный характер.

Наиболее сбалансированным мне представляется такое определение: политзаключенным является всякий, лишенный свободы за убеждения или деяние, совершенное с политическими целями, а равно всякий, лишенный государством свободы в своих политических целях.

\* \* \*

Основные положения Статуса, за который политзаключенные российских тюрем и каторг начали особенно упорно воевать в последней трети XIX века, таковы: отдельное от уголовных преступников содержание, добровольность работы, сносное питание и неунизительные бытовые условия, нелимитированное получение любой литературы, но главное — система выборных старост для решения всего круга проблем арестантского самоуправления и представительства перед лицом тюремной администрации всех интересов заключенных. Старостат в полной его форме (правда, редкой) тем еще был хорош, что практически устранял один из наиболее болезненных вопросов всех тюрем и лагерей — доносительство и шпиономанию: при полном старостате заключенный не мог вступить в какой-либо контакт с администрацией, таковой осуществлялся только через посредничество старосты.

Отстаивая свои права, политзаключенные того века поистине не щадили живота своего — тут и массовые голодовки, и даже групповые самоубийства... Но главное — им оказывали поддержку с воли, и не только формируя благоприятное общественное мнение посредством соответствующих публикаций в газетах и журналах, но и устраивая демонстрации, а порой при-

---

<sup>4</sup> Пострадавших за веру Солженицын справедливо не включает в категорию «кроликов».

бегая к прямому террору<sup>5</sup>. В значительной мере именно благодаря этому непрерывная каждодневная война узников (сперва — еще за один сантиметр пола в камере, за глоток свежего воздуха, за право не снимать шапку перед начальством, а потом за Великую Хартию Арестантских Вольностей — Старостат) во многом увенчалась успехом: в начале этого века Статус стал прочным завоеванием. Разумеется, в зависимости от общей ситуации в стране, тюремщики время от времени пытались наступать на права политзаключенных, но эпоха работала на революционеров, и им уже без особых усилий каждый раз удавалось вновь утвердиться в своих правах.

\* \* \*

Трудно поверить, но порой не столько о невозможной свободе мечтают раз и навсегда зачисленные в разряд «врагов народа», сколько о приличной тюрьме — до того все беспросветно и безысходно.

Тюрьма — показательный сгусток ряда существенных особенностей всей государственной системы. В частности, по уровню арестантских несвобод, по арестантским харчам можно верно судить о политическом и экономическом состоянии всей страны. К примеру, тюрьме никак нельзя быть сытной, когда все государство живет впроголодь. То же относится и к положению ссылного. Вот, например, Ленин в ссылке. Не говоря уже о его политической несвободности, не говоря уже о том, что восхоти он бежать, ему легче было из Сибири добраться до Швейцарии, чем теперешнему «вольному» крестьянину сбежать из колхоза в соседний городишко, присмотримся к тому, как он жил на государственное пособие. Вот что об этом пишет Н. Крупская: *«Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое “жалование” — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья... Правда, обед и ужин были простоваты — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мяса, работница... рубила мясо на котлеты для Владимира Ильича — тоже на целую неделю... В общем ссылка прошла неплохо»*. В ноябре 1897 года Ленин сообщает матери: *«...я растолстел за лето, загорел... Вот что значит охота и деревенская жизнь!»*

А вот как в октябре 1976 года описывает советскую ссылку А. Болонкин<sup>6</sup>: *«Дома только деревянные и переполнены до отказа. Жилья и работы нет. Выставили меня на улицу (ночью минус 25 градусов) без гроша в кармане. Пред-*

---

<sup>5</sup> Атмосферу того времени хорошо передает факт оправдания судом присяжных заседателей Веры Засулич: в 1877 году она стреляла в петербургского генерал-губернатора Трепова за то, что он приказал высечь розгами политзаключенного Боголепова, отказавшегося снять перед ним шапку.

<sup>6</sup> И. А. Болонкин — доктор физико-математических наук, русский, в 1972-м году за распространение самиздатской литературы приговорен к 4-м годам лагерей и 2-м годам ссылки, которую отбывал (до очередного ареста в 1978 году) в поселке Багдарин, Бурятской АССР.

*ложжи жить и питаться с теми, кто отбывает в милиции 15 суток. Хорошо, что один человек съжалился, дал рубль взаймы... После недели раздумий мне предложили место чернорабочего (80 рублей в месяц) при геологической партии и койку в общежитии.*

*Со снабжением плохо. О колбасе и молоке здесь не слышали. Гнилые яблоки (падалка) здесь стоят рубль семьдесят... В магазине нет промтоваров, в библиотеке — литературы. Комнату снять очень трудно. Единственное предприятие — прииск по добыче золота в соседнем поселке Маловск, но работы и там нет...»*

История советского деспотизма — в значительной мере история советских тюрем и концлагерей. Чем жестче захлестывалась кремлевская петля на горле всей страны, тем многомиллионной кишели застенки, тем чаще умирали заключенные от голода, работы, побоев и пуль. Но в то же время застенки даже и в эпохи наиболее мрачные, беспокорные, могильно безмолвные были единственным местом, где рабы все-таки осмеливались так или иначе бунтовать, — именно их кровью написаны самые обнадеживающие страницы советской истории.

Уже в середине 30-х годов трудно было, сунувшись наугад в любую точку российского необъятья, не натолкнуться на липкую паутину концлагерей. Это трехстволка, нацеленная на:

- 1) уничтожение всякой оппозиции,
- 2) культивирование страха как самого испытанного метода контролирования населения и
- 3) обеспечение хозяйства страны дешевым рабским трудом. Каторжный труд при отсутствии техники безопасности, при недостаточном, не обеспечивающем регенерации сил питания быстро выводит из строя значительную часть заключенных, и поэтому экономическая рентабельность лагерных работ может быть обеспечена лишь за счет постоянного притока свежей рабсилы<sup>7</sup>.

Однако все это устоялось потом, а начиналось все более или менее радужно — с теперешней точки зрения, разумеется.

Опубликованный 17 мая 1919 года декрет ВЦИК Советов о лагерях принудительных работ, в частности, содержал две ныне совершенно немислимые статьи — реликты недавних арестантские вольностей<sup>8</sup>. Но важнее было

---

<sup>7</sup> Вот суть лагерного хозяйственника: «Он (Кадымов — директор лагерного совхоза Эльген. — Э. К.) ...вел свое хозяйство именно как экстенсивное, основанное на рабском ручном труде, на частой смене «отработанных контингентов». Когда ему докладывали об очередных вспышках «надежа» заключенных, он отвечал: «Новых получим. Поеду в Магадан. Добьемся!». — Гинзбург Е. Крутой маршрут.

<sup>8</sup> Ст. 39: «Все заключенные избирают старосту, одного для всего лагеря, который и является посредником между заключенными и администрацией». (С начала 30-х годов запрещено заступаться за других заключенных, даже написать в защиту сокамерника жалобу — преступление. — Э. К.)

другое — нигде законодательно не зафиксированный, но реально существовавший спецрежим для политзаключенных. Властям пока было не до того, и арестанты пользовались моментом: уже осенью 1918 года Статус был явочным порядком введен политузниками Суздальской тюрьмы.

Е. Олицкая пишет: *«Политзаключенные получали некоторую надбавку к общему питанию. Они были освобождены от принудительных работ, не подвергались оскорбительной для человеческого достоинства проверке, в политизоляторах допускалось самоуправление, политзаключенные выбирали из своей среды старостат и, в основном, только через него сносились с администрацией. Могли выписывать журналы и газеты».* «Однако, — сообщает она на той же странице, — под эту рубрику подводились не все политические “преступники”, а только члены социалистических партий и анархисты. Члены других политических партий — кадеты, трудовики, народные социалисты, мусаватисты, словом, все, не стоящие на социалистических позициях, не причислялись к политическим. Они назвались “казрами” (контрреволюционерами) и содержались в лагерях и тюрьмах на общем режиме вместе с уголовниками».

Поражает недалновидная, с оттенком чванливости, легкость, с которой эти социалисты угодили в ловушку привилегированного по отношению к другим политзаключенным положения. Это разделение, как верно заметил Солженицын, трагически предрешало всю череду бесславных поражений узников в войне с тюремщиками. Однако несправедливо относить это лишь к эгоизму «борцов за всеобщее равенство», дескать, воевавших только за свои блага. Не без этого, конечно, но основное в другом — от века разъедающей русское политическое движение нетерпимости, в неистовой взаимной враждебности даже и «бездны мрачной на краю». Как это социалисты могут даже и перед лицом смерти объединиться с какими-нибудь там кадетами, не говоря уже о бывших белогвардейцах!

С другой стороны, не кадеты и белогвардейские офицеры, а именно эсеры и анархисты с их дореволюционным тюремным стажем были носителями традиций организованного сопротивления. Еще и поэтому их надо было отколоть от «казров» — дабы не заражать бунтарским опытом всю массу политзаключенных. Теперь узникам противостояли нерыхлые ключники царских времен, не жандармы, стеснявшиеся своей голубой униформы, но профессиональные расстрельщики, гордившиеся черными кожанками — кобура всегда расстегнута, чтобы выхватливая рука не мешкалась... За устройство новых тюремно-каторжных порядков взялись не дилетанты, но вчерашние узники, те, кто сами всю тюремную науку превзошли изнутри. Нет горшшего тюремщика, чем вчерашний арестант, и эсеры-эсдеки-анархисты, вернувшиеся под своды казематов с сознанием своих арестанских прав и с давно отработанными навыками борьбы за них, довольно скоро ощутили на себе, что только теперь-то и начинается настоящая тюрьма.

---

Ст. 43: *«Передача продовольственных продуктов отдельным заключенным не допускается. Все переданные продукты должны поступать в общий котел».*

По мере стабилизации советского режима, положение политзаключенных ухудшалось. Санкционированное Кремлем наступление на арестантские права началось весной 1923 года, а 19 декабря того же года по соловещким политзаключенным, заявившим устный протест против ликвидации Статуса, открыли стрельбу без предупреждения — шестеро убитых... Но это была всего лишь пристрелка, уже не за горами времена, когда начнут убивать за всякий шепот-ропот, а голодовка будет расцениваться как мятеж<sup>9</sup>.

В первое послереволюционное десятилетие заключенным плохо-бедно, но все же помогал Политический Красный Крест. Однако по мере все более откровенного превращения «исправительных» лагерей в «истребительные», любые проявления сочувствия, сострадания к «врагам народа» становятся сперва предосудительными, а потом и смертельно опасными. С 1929 года Политический Красный Крест все неотвратимее хиреет, чтобы в 1936-м окончательно испустить дух. Если не ошибаюсь, всякие помышления о Статусе умерли в 1937 году, когда не только за любое, самое зачаточное поползновение как-то организовать ставили к стенке, но и смирейших, безропотных поливали с вышек свинцом — просто для пристрелки пулеметов. Какой уж тут Статус!

Но вот после смерти Сталина (а еще больше после убийства Берии) арестанты уловили некоторую растерянность своих тюремщиков, предощущавших возможность опасной для них перемены политического курса, — и мятежный дух забурился в лагерях, напугав Москву восстаниями в Джезказгане, на Воркуте, на Колыме. Требовали пересмотра дел и смягчения бесчеловечного лагерного режима. Восстания были раздавлены танками, расстреляны из пулеметов, но когда бы не они, неизвестно, как работала бы пресловутая хрущевская Комиссия, освободившая в 1955-56 гг. большую часть политзаключенных. И в период работы этой Комиссии, и еще долго после нее практически всякое бурление в лагерях отсутствовало — надежды на либерализацию сверху рождали боязнь протеста, могущего рассердить подобривших начальников. Да и времена для лагерей тогда наступили самые баснословные — бериевцы как-то тушевались, не сразу поняв, что бояться им в сущности нечего, что без них «самое демократическое в мире государство» в любом случае как без рук... Но скоро они приободрились: колыхнулись волны новых арестов — в основном, студентов. Надежды лагерных сторожков — «сынов ГУЛага» поуявили. Неярко полыхнула забастовка в 7-й мордовской зоне и кончилась бесславно, тут и там зашевелились, зашептались по лагерям вчерашние студенты, пытаясь организовать, но с ними расправились беспощадно, а тут как раз подоспела Сессия Верховного Совета (декабрь 1958 года), и депутат Б. И. Самсонов потребовал, чтобы заключенные *«воспитывались в условиях более тяжкого труда»*<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Например, в 1937 году расстреляли 150 участников голодовки во главе с Михаилом Шапиро (Воркута, 8-я шахта).

<sup>10</sup> Заседание Верховного Совета СССР 5-го созыва. 2-я Сессия. Стенографический отчет. Изд. Верховного Совета СССР, М., 1961.

Режим все неотвратимее ужесточался, готовилась расстрельная статья 77-1, и грозным намеком на скорое ее появление стала газетная кампания «гнева народного» против «курортных условий в лагерях»<sup>11</sup>... И пошли расстрелы за расстрелами... Только в той зоне, где находился я<sup>12</sup>, в 1963 (наиболее свирепом) году по этой статье расстреляли 13 человек и не менее 20-ти приговорили к добавочным срокам — от 12 до 15 лет. Формально эта статья должна была прекратить «бесчинства заключенных, терроризирующих тех, кто встал на путь исправления, или дезорганизующих деятельность администрации»<sup>13</sup>, но на самом деле именно заключенные были буквально терроризированы этой статьей — по меньшей мере, до 1967 года<sup>14</sup>. Стоило сказать стукачу, что он стукач, как вам приписывали «глумление и издевательство» — извольте стать к стенке<sup>15</sup>... Даже выколотый на лице лозунг почему-то уже не считался обычной антисоветской агитацией, но — «*действием, дезорганизующим деятельность колонии*». Последний расстрелянный за наколку политзаключенный — Тарасов (декабрь 1971 года, Мордовия, лагерь № 385-10).

В разные времена резко различен уровень арестантской покорности или воинственности, пассивной страдательности или безоглядного бунтарства, безропотного умирания целыми косяками или дружного наступления на тюремщиков. Однако учет всей совокупности обстоятельств, в которых наблюдался подъем или спад арестантского сопротивления, говорит о том, что одни и те же люди в разные времена ведут себя по-разному. Подъем или спад лагерного сопротивления всегда находится в тесной связи с общей обстановкой в стране и мире. Сразу после войны украинцы-западники и прибалтийские «лесные братья» держались в лагерях дружными и воинственными землячествами, пока вооруженное национально-освободительное движение на Украине и в Прибалтике не было подавлено. До того времени им было куда бежать (хотя бы в ночных мечтаниях своих), до того времени они чувствовали себя частью движения, воинами с четким комплексом пред-

<sup>11</sup> См.: Касюков, Мончанская. Человек за решеткой — «Советская Россия», 27. 8. 1960: от имени народа авторы потребовали для заключенных «суровых и трудных условий» и, кроме того, чтобы, «отбыв срок, заключенный не рассчитывал на милосердие».

<sup>12</sup> Мордовия, лагерь особого режима №385-10, около 500 чел.

<sup>13</sup> «Комментарий к уголовному кодексу РСФСР», М., 1969.

<sup>14</sup> Ст. 77-1 УК РСФСР: «Действия, дезорганизующие работу Исправительно-трудовых Учреждений»: «Особо опасные рецидивисты, осужденные за тяжкие преступления, терроризирующие в местах лишения свободы заключенных, вставших на путь исправления, или совершающие нападения на администрацию, а также организующие в этих целях преступные группировки или активно участвующие в этих группировках, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15-ти лет или смертной казнью».

<sup>15</sup> «Комментарий к уголовному кодексу РСФСР» поясняет, что «*терроризирование честно работающих осужденных может выражаться в глумлении и издевательствах над ними*».



ставлений о долге и ответственности. Помогала им держаться и бытовавшая среди них надежда на США, которые обязаны воспользоваться послевоенной слабостью СССР и избавить человечество от советского фашизма. Этот миф питался рассказами все новых и новых партий арестантов, вливавшихся что ни день в тюремно-лагерные врата, — радиоприемники вчерашних бойцов лесных отрядов то и дело ловили утешительные заграничные призывы: «Держитесь! Не сегодня-завтра Америка придет вам на помощь!»

Потом был послесталинский взлет повстанчества, спад его во время хрущевской «оттепели» и долгий период (примерно до 1967 года) скептической пассивности, утраты всяких надежд на эффективность бунтарства — хороший лагерный тон предписывал экзистенцированное мировосприятие, трагический, обреченный стоицизм личностного противостояния «сволочам» и ироническую усмешку в ответ на любые попытки хоть как-то организоваться.

Во второй половине 60-х годов начинается интенсивная перестройка мятежных умов как в лагере, так и на воле: уже предощущаются свежие ветерки, кое-что сдвинулось в мире, обозначился двусмысленный дрейф континентов, который позже станет известен под именем разрядки, все отчетливее выявляется неустрашимый ряд надобностей советского военно-промышленного комплекса, надобностей, понуждающих режим к хотя бы частичному отказу от традиционной политики полной закрытости для мира, осознается зависимость некоторых аспектов советской домашней политики от международного общественного мнения, становится все нагляднее роль гласности — не столько в расчете на внутреннюю общественность, сколько на внешнюю. В конце 60-х годов почти все инакомыслящие отказались от подпольщины, верно поняв эффективность громкого, максимально гласного выражения своих несогласий с режимом. Оценка внутренних возможностей (в смысле упований на поддержку со стороны значительных масс людей) осталась прежней — трезво-пессимистической, но с пониманием все возрастающей потребности советского режима предстать в глазах Запада поприличней, крепнет надежда на помощь извне. В политических лагерях усиливается движение за права заключенного. В начале 70-х годов судороги массовых голодовок то и дело сотрясают узилища. Теперешний тюремный режим уже не может позволить себе открытого уничтожения бунтарей, он вынужден действовать с оглядкой на Запад, убедившись, что даже заключенные умудряются, обойдя бесчисленные препоны, информировать мир о происходящем за колючей проволокой. Советские властители вынуждены играть в либерализацию, суть которой — давить тишком, по-коварней, не оставляя явных следов. Естественно, ту же тактику вынуждены усваивать и непосредственные давилышки — тюремщики.

Усиление правозащитного движения на воле стимулировало правозащитные настроения у лагерных бунтарей. Практически во все времена в лагерях была так называемая *отрицаловка* — те, кто отчаянно отказывался выполнять любые распоряжения властей и безвылазно мерз и голодал в камерах. Но вот

в начале 70-х годов вновь, словно из праха расстрелянных и замученных, возрождается волшебное слово *Статус*, и вчерашняя анархистствующая «отрицаловка» начинает подводить под свое отчаянное индивидуальное неприятие лагерного режима некую общезначимую платформу — требование Статуса для всех политзаключенных. По рукам пошли гулять варианты самодельных «Статусов» — вещественное свидетельство роста правозащитных настроений. К сожалению, бросающаяся в глаза доморощенность этих «Статусов» подрывала доверие к ним. Было известно о существовании международных «стандартных минимальных правил обращения с заключенными», но никто их даже и мельком не видал<sup>16</sup>.

[...] Нам нужен авторитетно признанный «Статус», на недвусмысленные параграфы которого можно было бы ссылаться. [В феврале 1977 в письме одному из членов Комитета защиты прав человека в СССР я] предлагал проект «Статуса политических заключенных», написанный Черноволом в содружестве со мной. Текст этого «Статуса» мгновенно разошелся по лагерям, и ГБ, пытаясь вынюхать его авторов, впервые столкнулась с неслыханным: не менее дюжины арестантов громогласно объявили себя авторами. Давно ли за такой текст грозила расстрельная 77-1!.. Но теперь ГБ сочла за лучшее распространить слух, что «Статус» сочинен ЦРУ и каким-то коварным способом заброшен в лагерь.

Запроволочный режим за последние пять лет если и помягчал, то очень незначительно. Зато уменьшился риск получить в лагере добавочный срок — и арестанты приободрились. Осенью 1977 года изоляторы мордовских политлагерей были переполнены: около 60 заключенных участвовали в движении «100 дней за Статус» — отказались от работы, сопротивлялись стрижке волос, сорвали с одежды нагрудные таблички, поочередно объявляли голодовку за голодовкой...

Проблемы организации и деятельности мест заключения обсуждались на международных конгрессах<sup>17</sup>. В своих резолюциях они неизменно подчеркивают необходимость гуманного обращения с заключенными, недопустимость их эксплуатации и применения жестоких и вредных для здоровья методов воздействия. Три последних конгресса пенитенциариев одобрили методически отозвались с советской тюремной политике — ссориться с могучей державой небезопасно... Почти не сомневаюсь, что очередной такой конгресс (в августе 1980 года в Сиднее) благосклонно выслушает рассказы со-

---

<sup>16</sup> Только теперь, получив возможность ознакомиться с ними, я могу не голословно, но ссылаясь на конкретные статьи этих «Правил», утверждать, как далек советский закон (а особенно практика) от международно признанного минимума. Достаточно сказать, что из 89-ти предписывающих статей этих «Правил» 36 статей, хотя и числятся в советском Исправительно-трудовом кодексе, на самом деле не соблюдаются, а 15 статей и вовсе в нем отсутствуют.

<sup>17</sup> Женева — 1955, Лондон — 1960, Стокгольм — 1965, Токио — 1970. О том, где проходил конгресс 1975 года, сведениями не располагаю.

ветской делегации и вновь порекомендует всем прочим странам учиться у советских тюремщиков.

Советская карательная политика в последние 5-6 лет стала по необходимости более гибкой и коварной. Стремясь к численному сокращению осужденных непосредственно по политическим статьям, репрессивные органы предпочитают расправляться с негодными, фабрикуя против них уголовные обвинения. К тому же сейчас, несомненно, период интенсивного накопления политических досье, которые могут понадобиться в любой момент завтра. О тюремной политике государства, где отсутствуют силы и возможности контролирования власти или реального противостояния ей, не всегда можно адекватно судить по наличному числу политических заключенных. Порой важнее не то, сколько их сейчас, а то, что в любой момент их будет как раз столько, сколько это нужно государству. Политзаключенные — всегдашняя неизбывная советская реальность, и потому всегда будет актуальной проблема «Статуса». Приходится быть реалистом: советская система немыслима без политических репрессий, давление Запада, сколь бы оно ни было сильным, может принудить СССР в те или иные моменты к сокращению общего числа политических узников и даже к освобождению некоторых из них, но не всех, не всех... И потому, требуя свободы для каждого, одновременно необходимо способствовать всему, что может принудить советские власти к гуманизации тюремного режима.

*1980, № 26*

## ДЬЯКОН СЕРГИЙ ЖЕНУК

### Империализм и нацизм

#### 1. Оценка империализма

Прежде всего уточню, что я не придерживаюсь марксистского определения понятия «империализм». Империализм отнюдь не является «высшей стадией развития капитализма» и следствием «господства монополий и финансового капитала», которым, дескать, нужны были рынки для сбыта товаров и вывоза капитала (Ленин). Наоборот, капитализм является детищем империализма, а не его родителем. [...]

И распались древние и современные империи не из-за «внутренних противоречий» и, тем более, не из-за «политического возмужания пролетариата», а совсем по другим причинам. Рим погиб из-за чрезмерного гедонизма, охватившего и угнетателей и угнетенных. Китай — из-за изоляционизма. Оттоманскую империю разгромили другие, более могущественные империи (в основном, ради защиты единоверцев-христиан). Западноевропейские империи, превратившись в демократические государства, а не в коммунистические (как рассчитывал Ленин), сами «распустили» свои империи. Только Россия как будто «выполнила завет Ильича», шагнув в коммунизм. И этот единственный случай исполнения пророчеств Ленина оказался самым катастрофическим для всего населения империи и всего мира. [...]

Обобщая различные западные толкования, можно сказать, что *империализм* — это концепция, имеющая целью образование империи, т. е. большого, объединенного под единым правительством государства (*imperium* — власть, господство). Империалисты стремились объединить несколько мелких, национально родственных государств, чтобы путем расширения территории и увеличения природных и человеческих ресурсов создать мощное государство, способное более успешно экономически развиваться и обороняться от своих соседей. Или — что греха таить — способное покорять и слабеньких соседей, и далекие заморские просторы. Но эта завоевательская тенденция появилась позже, когда исчерпались возможности расширять государство за счет родственных мелких государств. Аппетит пришел во время еды!

С наступлением феодального периода, когда право наследственности получили (в той или иной степени) все прямые наследники феодала, про-

цветавший в древности империализм почти совсем сошел со сцены. Государства дробились, слабели и экономически беднели с каждым новым поколением. Чтобы получить от отца владеньице побольше, наследники нередко убивали своих братьев. Чтобы расширить свое владение (тоже имперская тенденция) за счет соседа, нужно было уничтожить его армию и убить его самого. В результате, во второй половине феодального периода Европа превратилась в банку с пауками.

Единственной объединяющей силой была власть Ватикана. Но она объединяла своих пасомых только для борьбы с иноверцами. Это и спасло Европу от посягательств могущественной Оттоманской империи и, отчасти, татарского нашествия. Разделу же государств между наследниками Ватикан не препятствовал. Их объединение угрожало бы могуществу «имперского» Ватикана.

На этом фоне возрождение древних имперских идей безусловно представляется положительным явлением. Объединение многочисленных княжеств под единые имперские короны было необходимым условием для зарождения и развития современной индустрии, финансовой системы, модернизации сельского хозяйства; для быстрого распространения образования и развития научно-исследовательских работ. Социальные условия жизни также претерпели изменения к лучшему. Вместо двух классов, всемогущих властителей и совершенно бесправных подданных, появился «средний класс» — промышленники, финансисты, коммерсанты, частные земледельцы.

Главнейшее же изменение произошло в «психологии» людей. Если при феодализме каждый житель маленького княжества (герцогства, графства) поневоле должен был считать врагами или, по крайней мере, потенциально опасными иностранцами жителей соседних княжеств, то теперь весь народ слился в единую нацию, хотя этнически зачастую и многонациональную. Тесно окружавшие враги отодвинулись теперь на сотни и даже тысячи верст. Жизнь «на осадном положении» кончилась. Мирные условия очень способствовали развитию частного хозяйства, а с ним и хозяйства государственного.

Все это, конечно, только очень упрощенная схема. Переход от феодальной россыпи к имперским монолитам не проходил гладко, а тем более — мирно. Говоря по совести, издержки переходного периода были велики. [...]

Наиболее отрицательной чертой империализма надо считать его экспансивность. Англичане и испанцы были наиболее жестокими. Французы и итальянцы — более мягкими. Русские не смотрели на покоренные народы как на рабов, и в «колониях» зачастую жилось коренному населению лучше, чем крестьянам в «метрополии». Лермонтов написал часто бросаемое коммунистами и нацистами нам в упрек стихотворение «Прощай, немытая Россия...», уезжая не в демократическую Америку, а на Кавказ, в «российскую колонию», где жилось свободнее и лучше, где не было ни рабов, ни господ. И если ни одного индуса или эфиопа мы не видели на правительственных постах Англии, то в Российской империи там встречались и грузины, и та-

тары, и украинцы, и белорусы. А среди интеллектуальной элиты уж и совсем не было различий между «эллинами и иудеями».

Спору нет, между объединенными в одно государство народностями и нациями происходили трения, и не всегда они пользовались одинаковыми правами. А разве не было трений в национально «единокровных» государствах? Да и распри эти были несравненно меньшим злом, чем вражда между представителями одних и тех же народностей, расчлененных на мелкие княжества. И до определенного предела (во времени) эти внутрисоциальные распри постепенно смягчались, старые обиды забывались, неравенство в правах сглаживалось; браки между представителями разных народностей очень способствовали этому.

## 2. Национализм — нацизм

Поворот в противоположную сторону произошел с момента зарождения ницшеанско-нацистских идей, когда вместо центростремительных сил начали развиваться центробежные. Даже в самых малочисленных нациях и народностях появились глашатаи несравненного превосходства данного народа и ничтожества и зловерности всех прочих. Угольки межнационального антагонизма долго тлели, не причиняя вреда государствам. Но с конца прошлого столетия кое-где вспыхнули большие пожары. Особенно в Германии, которая после замены империи демократией впала в такую «неразбериху», вконец разорившую ее и деморализовавшую, что, спасаясь от коммунизма, кинулась искать спасения в национал-социализме. Последствия известны. Такими же были бы они, если бы Германия сдалась на волю коммунистов (в 30-х гг.).

И вот теперь, к концу XX века, некоторые политические деятели начинают все больше забывать о зле, учиненном миру интернационалистами-марксистами и национал-социалистами. Они обращают наше внимание не на них, а на зло, нанесенное империализмом и связанным с ним национализмом. Они призывают нас на борьбу не с существующим, тяжело гнетущим и быстро распространяющимся злом, а с давно отжившим — сменившимся на Западе демократией, а на Востоке советской тиранией — империализмом.

Здесь необходимо уточнить разницу между национализмом и нацизмом, между которыми нынче очень часто ставят знак равенства. Национализм, особенно христианский (а не безбожный, языческий), — явление интровертное. Он обращен внутрь своей нации и побуждает ее к единению, сплочению, внутреннему примирению и, главное, к внутренней национально-братской взаимопомощи. Короче говоря — к внутринациональной взаимной любви (следствие христианского вероучения). Этнически эти нации могут быть многонациональными (Россия, США и другие). В мирных условиях сплоченная здоровым национализмом нация готова жить дружно и с другими народами. По нынешней терминологии — сосуществовать, вести культурный обмен (и торговый, конечно), находиться в «детанте». Среди цивилизованных стран так оно и было. Бывали и войны, но с наступлением мира

сразу же все становилось на свои места. Никаких железных или бамбуковых занавесов не появлялось.

Нацизм экстравертен. Он тоже ратует за сплочение своей нации («расово чистой»), но не позитивными побуждениями, а сугубо негативными — противопоставляя свою нацию всем другим как высшую и разжигая звериную ненависть к другим нациям, особенно к соседям.

К сожалению, очень многие последователи разделения России (после освобождения ее) на ряд мелких государств опираются не на здоровый национализм, а на неподдельный нацизм. Они представляют это разделение не как раздел дружной крестьянской семьи в прошлом, а как «освобождение из тюрьмы народов», с неперменным в таком случае озлоблением на всех, от кого данная народность отделяется. Такой «метод отделения» имеет корни не только в современном нацизме, но и в давно ушедшем в неги феодализме, когда для приобретения себе лишнего клочка земли надо было убивать родного брата.

Чтобы убить брата, надо было и в себе и в своих подчиненных убить братские чувства и разжечь себя и их горячей ненавистью. Точно так же поступает и определенная часть наших «националистов» из «нацменьшинств». Вместо того, чтобы дать своему народу веские доказательства преимущества отдельной жизни (в области экономики, политики, культуры) перед совместной или «федеративной» жизнью, они предлагают только один тезис: русские — наши кровные, исконные враги, с которыми не только жить, но и дышать одним воздухом добрым людям нельзя. [...]

Разжигание такой вражды никак не может пройти без соответствующих последствий. 30-е и 40-е года мы помним. Но предположим, что русские действительно заслужили (своим империализмом) жестокой кары. Предположим, что слезы Шевченки, кровь Шамиля и других национальных героев и негероев должны оплатиться русской кровью и русскими слезами. (Если забыть, что и русские за прошлое тысячелетие тоже пролили немало слез и крови, защищая и свои народы и чужие от многочисленных врагов.) Предположим, что так по нынешним цивилизованным правилам необходимо поступать.

Что же получится? Во-первых, в любой войне, даже вражде без войны, страдает отнюдь не одна только сторона, а обе. Гибнут не одни подвергающиеся отмщению, но и мстители. Значит, пострадают не только «виноватые» русские, но и отделившиеся народы. Во-вторых, какое бы переселение народов ни произвели «националисты», начисто рассортировать распяленные по всей стране нации и народы вряд ли удастся. Да и невозможно все народы выделить в самостоятельные государства. В результате, на оставшейся в распоряжении русских земле, как и на отделившихся территориях, непременно останутся не только не имеющие своих «исконных территорий» евреи, греки, немцы, цыгане или слишком мелкие народности — якуты, тувинцы, юагиры, но и представители «великих наций», давно породнившиеся между собою — с русскими и представителями других народов.

Словом, и остаток России, и отделившиеся государства опять же окажутся многонациональными, если, конечно, последние не решат национального вопроса так, как гитлеровцы разрешали «еврейский вопрос».

В таком случае, за что же будут нести кару оставшиеся в России «нацменьшинства»? Ту же кару, которую готовят русским слишком рьяные «националисты». Это уж будет настоящее братоубийство.

В-третьих, — мой самый слабый довод в пользу мирной и дружной жизни (общей, отдельной или федеральной), — это христианство. Все мы, за малым исключением, виним коммунистов в их воинственном безбожии и в проистекающей из этого их бесчеловечности. Но разве разжигание межнациональной вражды согласно с христианским учением? А ведь очень многие «националисты» считают себя христианами. Православными или католиками — неважно. Да и люди, исповедующие другие религии, тоже разжиганием ненависти грешат против своих моральных законов. Во всяком случае, я — верующий человек — совершенно уверен, что, буде народы нашей общей родины пойдут за проповедниками ненависти и тем, как в 1917 году, преступят Законы Божии, не будет и добрых человеческих законов. Из зла добро не вырастает. А жизнью во зле мы «наслаждаемся» уже две трети века. Не довольно ли с нас?

### 3. Здравый смысл

Понять все это и (потому) отвергать человеконенавистнические идеи может всякий здравомыслящий человек. Достаточно быть непредвзятым, объективно мыслящим человеком любой народности и религии, чтобы понять, какое зло эти идеи таят в себе. И не только для тех, против кого носители этих идей разжигают ненависть, но и для их же нации и, в конечном счете, для них же самих. Германский пример и тут применителен.

Предлагаемое вашему вниманию (ниже) письмо составлено и подписано представителями разных народностей, религий и даже атеистами, но оно является ярким примером такого вненационального здравого смысла и в оценке «русского империализма» и «нездорового национализма». В 1951 году государственный секретарь США Дин Ачесон заявил о «кровной связи русского и советского империализма». Его «теорию» горячо поддержала газета «Нью-Йорк Тайме». Р. Абрамович, тогдашний редактор «Социалистического Вестника» (орган РСДРП меньшевиков, основанный Л. Мартовым), написал ответ в эту почтенную газету. Кроме него подписали письмо: М. В. Вишняк, нынешний редактор «Нового журнала» Роман Гуль, В. М. Зензинов, Е. П. Иргизов, тогдашний редактор «Нового журнала» М. М. Карпович, А. Ф. Керенский, Б. А. Константиновский, И. А. Курганов, Б. И. Николаевский, Л. Б. Смирнов, Г. П. Федотов, В. М. Чернов и С. М. Шварц. Заподозрить этих старых революционеров, политиков и публицистов в приверженности «русскому великодержавному империализму» никак нельзя. И все же их здравый рассудок заставил их написать это письмо. Вот оно:



**Политика кремля — не национальная политика России**  
*Открытое письмо редактору (газеты) «Нью-Йорк Таймс»*

Милостивый государь!

Ваша передовая статья от 28 июня «Реализм по отношению к России», в которой комментируется речь Государственного Секретаря г. Ачесона, произнесенная в Хаус Форейн Аффферс Комити 26-го с. м., должна вызвать ряд серьезных возражений со стороны русских демократов, которые в свое время боролись за свободу против монархии, а теперь долгие годы борются за нее против большевизма.

Мысль, которая красной нитью проходит через речь г. Ачесона и, в еще более заостренной форме, через Вашу передовицу, сводится к тому, что, как Вы пишете, *«советские властители следуют империалистическим русским традициям, с той только разницей, что к русской военной мощи они прибавили новые виды оружия: коммунистический заговор, революционную психологическую войну и косвенную агрессию»*.

Г. Ачесон со своей стороны утверждает, что Сталин является только продолжателем той политики завоеваний и экспансии, которую Российское Государство вело на протяжении последних 500 лет.

Мы считаем эти утверждения совершенно ошибочными с исторической точки зрения. Но они еще гораздо опасней с точки зрения политической и для демократии русской, и для демократии мировой. Говоря об истории, не следует упускать из виду того, что не одно Российское Государство из маленького княжества, путем захвата и консолидации, превратилось в мировую империю. История всех других больших государств, возникших за последние столетия в Европе, и не только в Европе, — развивалась путем колонизации и экспансии, войн и захватов. [...] Русский народ не представляет в этом отношении исключения. Завоевательная политика русской монархии в основном закончилась в последнюю четверть XIX века. После революции 1905 г. и до 1914 г. русский народ и русская политика не были ни более воинственны, ни менее миролюбивы, чем политика других государств. И мы не слышали еще до сих пор со стороны ответственных политиков и писателей в США упреков в том, что Россия несет большую долю ответственности, чем ее союзницы — Франция, Англия и США, за общую оборону против австро-германской агрессии 1914-18 гг.

Первые шаги победоносной демократической революции в феврале 1917 г. были ознаменованы актами Временного Правительства, которые свидетельствовали о полном отсутствии у него каких-либо экспансионистских или воинственных намерений. Временное Правительство активно отстаивало перед союзниками мир без аннексий и контрибуций, на основах самоопределения всех народов, и само подало пример, добровольно дав захваченной царизмом Польше полную независимость.

Все эти меры в тот момент были поддержаны огромным большинством русского народа, который доказал, что завоевательная внешняя

политика и угнетение национальностей отнюдь не являлись традициями самого русского народа. [...]

Даже большевистская диктатура заняла — под давлением «нетрадиционных» настроений огромных масс русского народа — позицию радикального отрицания каких-либо завоевательных или националистических настроений.

Лишь в результате своей внутренней эволюции, своей идеологии и всего своего политического существа большевистская диктатура, оказавшаяся по ряду исторических обстоятельств способной удержаться у власти в течение трети века, — создала государство совершенно нового типа, в истории еще никогда небывалого, — государства-партии, государства, в котором всё: не только земля, недра, фабрики, дома, транспорт, но и самый народ является безраздельной собственностью диктаторской партии. Не Сталин — орудие в руках империалистического русского народа, а народ — орудие в руках партии Сталина. Эта партия, правящая методами неслыханного террора и насилия над народом, лишенным всякой свободы и всех возможностей сопротивления, ни по своим собственным воззрениям, ни объективно не является национальным правительством России. Она интернациональна по самой своей сути. Ее цели определяются не интересами страны и народа, которыми она правит, и даже не только заботой о своем самосохранении, а стремлением к безграничному расширению территории своего государства, в конечном счете, к господству над всем земным шаром. Но не в интересах российского государства или «великорусского племени», к которому, кстати, многие лидеры компартии вовсе и не принадлежат, — а в интересах международного коммунизма, для утверждения владычества возглавляемой ВКП мировой Компартии.

Именно непониманием этой основной истины, которую мы тщетно уже в течение многих лет старались внушить общественному мнению Запада, и объясняются очень многие роковые ошибки, совершенные союзниками до второй мировой войны, и во время ее, и после нее. Люди, сами стоявшие во главе своих стран и действовавшие в интересах своих народов, в первую очередь психологически не в состоянии понять душевного уклада людей из Кремля. Они их мерили своей меркой, приписывая им свои собственные мотивы и побуждения, и естественно, что их представления о вероятной политике Советской России неизменно оказывались ложными. Отсюда — Ялта, и Тегеран, и Потсдам, и политика по отношению к Китаю.

Ту же ошибку собираются теперь, по-видимому, повторить снова некоторые американские государственные деятели. Их в этом, к сожалению, поддерживает Ваш орган, пользующийся столь заслуженным вниманием во всем мире.

Объявляя Сталина, по существу, продолжателем «традиционной русской политики», Вы тем самым в известной степени отождествляете режим Сталина с русским народом, Вы возлагаете на русский народ, на его интеллигенцию, на его руководящие слои известную долю ответственно-

сти за политику Сталина. А это должно иметь свои политические и психологические последствия в самой России. Американские речи и статьи о тождестве сталинской агрессии с национальными традициями России будут подхвачены всей коммунистической пропагандой для построения своего антитезиса: «Значит, — скажут они, — борьба западных держав ведется не только против Сталина, как они до сих пор лицемерно утверждали, а против самого русского народа. Значит, Сталин в борьбе против Запада защищает не только себя, но и российское государство, но и русский народ».

Антинациональная и антинародная диктатура Сталина никогда не отказывалась прибегать к самой грубой пропаганде русского патриотизма, когда ей было это полезно. Так она поступила в самый критический период Второй мировой войны, когда она лицемерно отказалась от интернационализма, от пропаганды коммунизма и всю свою пропаганду сосредоточила на разжигании патриотических и национальных инстинктов.

Мы считаем нужным предостеречь ответственных руководителей западных держав, в которых угнетенный русский народ видит своих естественных союзников, от опасной попытки — во имя исторических обобщений, не соответствующих исторической истине, — создать видимость общности интересов между сталинской диктатурой и русским народом. В той титанической войне, которая надвигается на них по вине сталинской диктатуры и только ее одной, одним из главных шансов победы демократии над варварством и рабством является активное содействие или, по меньшей мере, пассивное сочувствие широких масс русского народа. Этот шанс может быть потерян, если США и другие союзники не заявят без оговорок и ограничений, что борьба с их стороны ведется только против господствующей над народами России и сателлитов коммунистической диктатуры, но не против России или народов России.

Мы говорим о «народах России». Ибо российская демократия, в лице своих наиболее авторитетных и связанных с жизнью России течений, проявила твердую решимость к справедливому и демократическому разрешению вопроса о «национальных меньшинствах». Считая наилучшей формой будущей свободной России федеративную республику всех народов на основе равенства, российские демократы признают в то же время право каждого народа на полное самоопределение путем свободного демократического голосования под наблюдением Объединенных Наций.

Мы считаем, что нарастившая за последнее время атмосфера взаимного понимания и сотрудничества американской демократии и российской, проявившаяся в рождении групп граждан, считающих российский народ своим союзником, и в заявлениях государственных деятелей и (печатных) органов, потерпит тяжелый урон, если ноты, прозвучавшие в речи г. Ачесона и в Вашей передовой, стали бы политикой США.

*Нью-Йорк, 28 июня 1951 г.  
Подписи: Р. Абрамович и др.*

Еще за год до того, отвечая оппонентам из нашей эмиграции, Р. Абрамович писал («Соц. Вестник», июнь 1950): *«Неправда, что она (сов. диктатура) создала в России подлинно-национальное государство и преследует национально-русскую, нужную русскому народу, политику. Ее политика вовне и внутри идет вразрез с самыми насущными и жизненными интересами народных масс... Моя главная задача... состоит в том, чтобы убедить русский народ там, что в той мировой борьбе, которая разыгрывается между сталинской диктатурой и демократиями, он (народ) тоже должен выбрать свой лагерь — в лагере демократии. Он может это сделать пока не физически, а морально, психологически. Но даже чисто моральное занятие позиций может сыграть огромную роль.*

*Мы будем отстаивать перед общественным мнением мира, что война должна вестись не против русского народа, который, по нашему твердому убеждению, не отвечает за поступки своего правительства; и мы будем открыто спорить с теми, кто будет уверять, что Сталин имеет глубокую поддержку в народе и что его политика является поэтому политикой всего русского народа».*

Имена сменились, но положение остается прежним. Хотя теперь последователи осуждаемой Абрамовичем политики и выделяют из среды всего русского народа только великороссов, приписывая им одним «ответственность за поступки своего правительства», суть дела не меняется. Да даже если бы это было и так, нам, выходцам из СССР и коренным жителям Запада, следовало бы приложить все усилия к тому, чтобы оторвать и эту часть народа от правительства, сделать ее своим «моральным, психологическим» союзником. А тем более не следует ее (великорусскую часть народа) толкать в объятия рабовладельцев-правителей; не делать многомиллионный народ действительной базой коммунистической деспотии.

#### 4. Мировая проблема

«Нездоровый национализм» охватил не только многих активистов из народностей, входящих в состав СССР (или России). Это мировая проблема. Даже внутри получивших свободу мелких и не мелких (Канада, например) колоний и доминионов европейских государств (да и в самих метрополиях) центробежные силы набирают мощь и в ущерб своим, зачастую и без того слабым и беспомощным государствам рвут их на клочки. Страдают при этом, как правило, больше всего именно те племена и народности, которые, по замыслу их национальных вождей, должны во что бы то ни стало отделиться, стать самостоятельными государствами, возглавляемыми этими вождями.

Не избежали этой участи и США. «Националисты»-негры проповедью ненависти к белым портят жизнь и белым, и государству в целом, а тем более себе. [...] Но рабство давно ушло в неги. По нынешним законам негры совершенно равноправны. Во многих социальных и экономических аспектах они даже пользуются значительными привилегиями. Но неравенство, как ни суди, все-таки есть: негров не с большой охотой принимают на работу, негритянские дети в школах учатся хуже белых ребят, арестам (пропор-

ционально) черная молодежь подвергается чаще и т. д. В результате этого черные живут значительно беднее белых.

Но почему так получается? Исключительно потому, что разжигаемая «националистами» ненависть к белым делает негров «социально неуживчивыми» на работе. Они (конечно, далеко не все) нарушают рабочую дисциплину и вносят нестроения в рабочий коллектив, саботируют работу и т. д. Идущие в школу черные подростки (тоже не все) думают не о приобретении знаний, а лишь о мести ненавистным белым соклассникам, учителям и даже школам и школьному инвентарю. Эта же вдолбленная в их головы жажда мести подталкивает молодежь на преступления. Выходит, виноваты и не белые и не черные, а только те, кто сеет межрасовую ненависть и помогающие им умеренные «благожелатели».

Что же делать? Для выделения черных в особое государство у них нет своей территории. Да они выделения и не хотят: в своем государстве жить нужно будет исключительно за свой счет, а не на «проценты с рабовладельческого капитала». И знают активисты, что разоженная ими злоба в своем народе, не имея другой цели, обратится на самих же себя. Что в районах «черных гетто» и наблюдается.

Остается один выход: вычеркнуть прошлое! Черным забыть о рабстве, а белым о том, что черные «националисты» натворили за последние десятилетия. И, отбросив человеконенавистничество, отбросив «нездоровый национализм», постараться стать единой, здоровой, дружной нацией. Именно — нацией, объединенной общими интересами семьей.

В США это почти неразрешимая проблема. На нашей же родине, среди простого народа (преобладающего большинства) «нездоровый национализм» не пустил еще глубоких корней. Таких глубоких, как в США. Если при доброй воле всех народов, населяющих СССР, а особенно их национальных вождей, всю энергию, затрачиваемую на совершенно ненужные междоусобные распри, обратить на борьбу с общим врагом — коммунизмом, победа будет за народом.

Я верю, что *только* при условии всеобщего нашего примирения между собою мы можем освободить и себя от коммунистического гнета, и весь мир — от угрозы коммунизма. И тогда ни империализм, ни нацизм не будут страшны всем нам. Ни нам, ни всему миру.

И при этом больше всего выиграют не «великороссы», а именно те «угнетенные нации», о которых неумело пекутся экстремистские националисты.

Из трех наследников империализма — коммунизма, нацизма и демократии — я отдаю предпочтение последней. Хотя и она далеко не идеальна, но несравнимо лучше других. При ней могут существовать в мире и многонациональные государства и возможен прогресс в области государственного и социального устройства. Первые же два наследника — темная могила, в которой медленно умирают заживо погребенные и единоплеменные государства, и многонациональные.

# ЗАПАД — ВОСТОК



**ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА**

## **Смысл свободы в современном мире**

[...] Свобода во всех ее проявлениях может похвастаться впечатляющими успехами. Одного взгляда на послевоенный мир могло бы быть достаточно, чтобы приободрить нас. Достаточно напомнить об установлении четырех свобод, провозглашенных президентом Рузвельтом в 1941 году (включенных также в Атлантическую хартию): свободы слова, свободы религии, свободы от нужды, свободы от страха. Разумеется, они еще не воплощены полностью и повсеместно в повседневную реальность. Тем не менее, их широкое признание является фактом жизни современного мира. А этот мир весьма еще далек от практического расового равенства или же от полной религиозной свободы. Но, по крайней мере, расистские идеологии и религиозная дискриминация не имеют уже на земном шаре «добраго имени».

Послеколониальный мир может служить еще одним источником воодушевления. Почти целиком отвергнутые ранее континенты обеспечили сейчас себе законное право в международном сообществе. Возник Израиль, еврейское государство, о котором давно мечтали. В конце войны лишь Либерия и Южная Африка были независимыми государствами на Африканском континенте, а Эфиопия только обретала тогда вновь свою независимость. Декларация ООН была подписана в 1945 году 50 нациями. Ныне число членов ООН превысило 150. В последние десять лет распались последние бастионы действительного колониализма, — и в то же время старая диктатура, Португалия, открыла новую, демократическую страницу своей истории. В соседней Испании сорокалетняя тирания окончилась со смертью Франко.

Не менее многообещающи социальные успехи. Не имея ни малейшего намерения хвалить или же ругать капиталистическую систему, все же мы не можем отрицать, что современный капитализм весьма далек от крайностей: «потони или выплыви». И не закрывая глаза на несправедливости, можно указать также и на более высокую социальную подвижность, имеющуюся в наше время.

Торжествующий оптимист во мне все время подвергается искушению сказать и несколько слов о правах женщины. Ныне кажется непостижимым, как могло случиться, что во Франции — отечестве Свободы, Равенства и Братства — женщина приобрела право голосования лишь в 1945 году, во

время первых послевоенных выборов. Таково, однако, было положение во многих других странах — как на Западе, так и на Востоке. Вы должны представить себе эту картину: всей женской части общества был закрыт доступ к избирательным урнам, не говоря уже о равном образовании, о праве на работу и других основных правах. Достопримечательно, что сегодня даже в Иранской исламской республике побаиваются отменить избирательное право для женщин и их другие права или же, по крайней мере, проявляют в этом вопросе осторожность.

Мои наблюдения вынужденно схематичны. Но позвольте мне лишь добавить к оптимистической части обзора два пункта, вернее два имени, не заходя, впрочем, слишком далеко, — ибо они будут использованы лишь как символические вехи. Одно из имен — д-р Мартин Лютер Кинг. Разумеется, трудно забыть убийство этого лидера движения за гражданские права и многие другие мучительные переживания этой борьбы. Но чтобы представить расстояние, пройденное нами, было бы достаточно отметить, что день рождения д-ра Мартина Лютера Кинга — 15 января — уже отмечается как праздник в ряде штатов, и уже высказана идея провозгласить его национальным праздником. Другое имя — с прямо противоположной стороны — сенатор Джозеф Маккарти, именем которого названо целое течение — маккартизм. Оба: и человек, и течение — упоминаются сейчас лишь (или же главным образом) как постыдное воспоминание.

Итак, наше поколение, возможно, с точки зрения успехов свободы достойно величайшей гордости.

Однако...

Оглянитесь вокруг: сколько задач оказалось невыполненными, сколько мрачных явлений предстает перед нашими глазами! Гитлер разбит, нацизм потерпел поражение. Однако сколько неонацистов всевозможных мастей поднимают свои знамена, выкрикивают свои знакомые лозунги, демонстрируют свои свастики и даже пытаются маршировать в районах, тесно населенных людьми, спасшимися от катастрофы европейского еврейства. Расизм определенно отступает. Но ядоносный Ку-клукс-клан не уничтожен. Африка сбросила колониальное иго. Но сотни тысяч погибли там уже в независимых государствах. Сообщения о массовых убийствах в разных частях свободной Черной Африки постоянно приходят к нам. [...] Кастовая система в Индии была уничтожена законом немедленно после того, как эта страна стала суверенной республикой в 1949 году. Но, посещая Индию в последние десять лет, я мог своими глазами видеть, что означает «человеческое достоинство», когда сотни тысяч бездомных лежат на улицах и дорогах.

Так называемый Железный Занавес пострадал от существенных трещин после смерти Сталина. К тому же, террор ослаб. Сеть концентрационных лагерей существенно сократилась. Но ГУЛаг не есть лишь явление прошлого, и основные права человека в Советском Союзе по-прежнему даны на откуп милости его правителей. Дух Сталина еще способен восстать из могилы и пройтись по русской земле.

Ко всему этому и даже сверх того, для нас невозможно быть уверенными в долговечности побед свободы. Поколение, бывшее свидетелем ГУЛага и Освенцима, по необходимости далеко от оптимизма. Напротив, мы хорошо отдаем себе и должны отдавать себе отчет в тех иррациональных силах, которые действуют в мире, а также в потенциальной непредсказуемости человеческой природы. В конце концов, Освенцим — творение одной из самых цивилизованных наций в сердце Европы.

Более того, говоря словами Джорджа Стейнера: *«Теперь мы знаем, что человек способен читать по вечерам Гёте и Рильке, что он может играть Баха и Шуберта, а по утрам идти на свою повседневную работу в Освенцим... Мы знаем, что некоторые из тех, кто проектировал Освенцим и управлял им, были научены читать Шекспира и Гёте и продолжали их читать».*

Если Освенцим вознесся «из сердца европейской цивилизации», ГУЛаг вырос из системы, исторически связанной с движением, поднявшим знамена социальной справедливости и освобождения угнетенных. К несчастью, история знает много примеров борцов против угнетения, ставших после победы и обретения власти самыми худшими тиранами. Не раз видели мы людей, освобожденных от одного господства, чтобы вскоре стать жертвами еще более жестокого правительства.

Здесь я должен вставить свои личные воспоминания. За свои семь лет советских тюрем и лагерей я встречал среди прочих эзков тысячи бывших коммунистов. Большая их часть прежде провели многие годы в тюрьмах Польши, Румынии, Литвы, будучи готовы отдать свою жизнь в борьбе против ненавистных буржуазных режимов за коммунистический «мир завтра». Я не могу забыть их рассказов о тюремной жизни там и здесь. И хотя они находились за такими же решетками, за такими же железными дверьми и тяжелыми замками, мои спутники по заключению признавались, что по сравнению с советской войной против них как против «врагов народа» капиталистические преследования и наказания коммунистов чаще всего выглядят как нечто весьма и весьма мягкое. Со своей стороны, я готов предложить вам прочесть истории революционеров, заключенных в царской России, включая историю заключения и ссылки Ленина, и вы убедитесь, что все это было чем-то вроде дома отдыха или же пикника по сравнению с советским ГУЛагом.

Конечно, превращение освободителей в угнетателей обычно «продается» как временные неизбежные шаги для защиты революции или же во имя великого будущего: «необходимое зло» на пути к новому обществу и к грядущему миру. Шекспир, уже комментируя это, сказал: *«Дьявол для своих целей может цитировать Писание».* Но тем временем преступления во имя мнимых высших целей пристаю к природе человека и общества, а временные строгие меры превращаются в постоянные и в явно бесконечный деспотизм, как это и произошло с так называемой *переходной* диктатурой пролетариата в Советском Союзе.



Поэтому, в соответствии с историческим опытом, защитники свободы во всем мире должны остерегаться опасностей, воплощаемых личностями и движениями, которые никогда не ошибаются, которые говорят во имя высших целей, которые предлагают общее спасение и счастье. Помимо этого, что же собственно произойдет с образом грядущего мира, *олам хаба*<sup>1</sup>, если человек и общество могут быть уже полностью совершенны в этом мире?

В любом случае хотелось бы распознавать угрозы свободы, скрывающиеся в категорических псевдомессианских концепциях. Один из персонажей Грэма Грина справедливо заметил: *«Величайшие святые были людьми с более чем средними способностями творить зло, а худшие злодеи зачастую едва не достигали святости»*. Итак, мы должны довольствоваться не вполне совершенным миром и быть чем-то меньшим, чем ангелами.

Я должен далее признаться, что все мое существо трепещет в ужасе от ангелов и богов, обитающих на земле, даже если они приземлились здесь на плечи приветствующих их возбужденных толп. Вы могли бы сказать, что свободе угрожает божественная истина, когда та превращается в политическую силу. Иранская революция, происходящая на наших глазах, разумеется, есть именно такой случай. Она — живой пример замены одного авторитарного правления другим, с подобными, если только не худшими, чертами и методами жестокой власти. [...]

Кто знает, что собственно припасено на ближайшие годы для иранского народа? История слишком часто видела случаи сопротивления диктатур всякому ослаблению их хватки. Муссолини однажды заметил: *«Революция — это идея, владеющая штыками»*. В иранской революции идея, разумеется, есть, но она быстро улетучивается в тени штыков и виселиц. Правда, нет уже больше инструментов самодержавной монархии и ее тайной полиции. Сейчас есть лишь освобожденные, республиканские штыки; благочестивые, святые виселицы...

При разговоре о свободе необходимо отметить и странный подход, согласно которому все, что обнаруживает антизападную или антиамериканскую, а иногда и антиизраильскую направленность, почти автоматически возводится в «статус» прогрессивного. [...] Аналогичный избирательный подход заметен и в отношении к империализму и антиимпериализму. Всё, оказывается, зависит от того, кто предъявляет то или иное требование или совершает тот или иной шаг. Западная страна обычно вмешивается в дела других, поджигает войну, стремится к неокOLONIALному господству и к империалистическим авантюрам. Но Советский Союз и его приспешники приходят в другие страны лишь как бескорыстные друзья, с миролюбивой миссией или же протягивают руку братской помощи национально-освободительным движениям.

Более того, в нашем мире широко распространено орвелловское «двоемыслие». Такое «двоемыслие» (из «1984») заметно в самом употреблении

---

<sup>1</sup> На иврите — это мир после прихода Мессии. — *Прим. пер.*

слов и терминов. Бедные слова, как ими можно манипулировать, злоупотреблять, фальсифицировать! Ненасытная жажда власти представляется нередко как спасение нации или же класса. Кое-какие диктаторские системы объявили себя частью «свободного мира» и рассматривают себя как таковую. В социалистических странах царит глубокая пропасть между рабочими массами и «новым классом», но зато они присвоили себе имя «бесклассовых обществ». Крайний страх прославляется в песнях как беспримерное «вольное дыхание». Полное господство гигантского соседа над малыми странами называется «нерушимым братством». Военная агрессия — дружеская рука. Полнейшая цензура — высшая форма свободного выражения. Государства с однопартийными системами, управляемые силой с помощью навязанных правительств, объявляются «народными демократиями»; лагеря принудительного труда — исправительными, образовательными учреждениями; выборы с единственным списком кандидатов, одобряемым обычно 99,9% избирателей, — свободными выборами.

Кажется, что наиболее популярным и лживым видом «двоемыслия» является различие между «левым» и «правым». Для этого я вооружусь оценкой польского философа Лешека Колаковского. Он замечает:

*«Многие государства и политические движения почти автоматически обретают имя левых (или марксистских), если только получают советское оружие, другие же объявляются правыми, как только они хотят сбросить иностранное иго, если это иго оказывается советским». [...]*

Теснее связывая эти мысли с предметом нашего обсуждения, мы могли бы сказать, что тревога о свободе требует, среди прочего, полного освобождения наших суждений от «двоемыслия» и от всех других двойных мерок. В этом смысле следует также освободить из искажающего пленения различные слова и термины. И мы должны знать, — снова цитирую Колаковского, — что *«не существует реакционных пыток и прогрессивных пыток, левых концлагерей и правых концлагерей, цензуры ради угнетения и цензуры ради освобождения»*.

Другими словами, ни одна тирания, самая что ни на есть радикальная и революционная, не является благодетельной и прогрессивной. Рабство остается рабством, нетерпимым рабством во всех его возможных ароматах и оттенках.

Я хочу закончить словами, которые могут показаться тривиальными. Свобода — или демократия — будет всегда и всюду встречать опасности и угрозы. Но свобода так драгоценна, что было бы преступно оставить ее без присмотра, без защиты. Повторим слова Томаса Джефферсона — слова, приобретающие вес приговора:

*«Вечная бдительность — цена свободы».*

## ВЛАДИСЛАВ КРАСНОВ

### Русский склад ума или западное состояние умов?

*О книге Рональда Хингли «Русский склад ума»<sup>1</sup>*

Это отнюдь не рецензия на книгу г-на Хингли, а скорее ответ на нее — диалога ради — с точки зрения одного из неприкаянных носителей этого самого русского склада ума.

Рональд Хингли — человек влиятельный на Западе. Лектор Оксфордского университета, он опубликовал свыше двадцати книг по русской литературе, языку, истории и политике. В числе его книг «Краткая история России» и «Русская революция», книги о Сталине и о русских царях, о нигилистах и о тайной полиции, о Достоевском и о Чехове. Широта его интересов, творческая плодовитость и неизбежное влияние среди читающей публики заставляют отнестись к новой книге с повышенным вниманием. [...]

Должен сказать, что книга достойна внимания не только сама по себе, а главным образом как выражение модной сейчас на Западе тенденции трактовать коммунистический тоталитаризм как явление сугубо русское. Одни выводят его из «варварского» русского обычая пеленать младенцев, другие из «монголизма» русских общественных учреждений, третьи из прирожденной «грозности» русских царей или из суровости русской зимы, четвертые, пятые и десятые — из чего угодно, лишь бы ярлык был наклеен: «сделано в России». Поэтому не приходится особенно удивляться, что Хингли выводит его из так называемого *русского склада ума*, то есть по существу из русского национального характера.

Разумеется, в самом желании проследить связь между формой государства и характером, или складом ума, населяющего его народа нельзя подозревать нечто предосудительное. Наоборот, всякий читатель, выбравшийся, как я, из марксистско-ленинского смрада о происхождении коммунизма из империализма как последней стадии капитализма, жадно набросится чуть ли не на любую другую теорию как на отдушину на волю. Но не забудем и того, что воля-то волей, а воздух-то там тоже не всегда свежий, а иногда и прямо-таки с подозрительным душком. Едва ли кто возьмется отрицать,

---

<sup>1</sup> *Ronald Hingley. The Russian Mind. New York, Scribner, 1977.*

что если не коммунистическая, то во всяком случае промышленная революция — со всеми отбросами — началась с Запада.

Тезис Хингли можно свести к четырем основным положениям:

- 1) русский национальный характер, хоть он и обладает рядом положительных черт, в общем «плох» и уж, во всяком случае, хуже, чем у таких западных народов, как англичане и французы, немцы и американцы;
- 2) «плохой» национальный характер русского народа на протяжении всей истории связан, «как курица с яйцом», с «плохими» авторитарными режимами;
- 3) стало быть, и коммунистический тоталитаризм происходит из того же самого «лукавого», то бишь русского национального характера или склада ума;
- 4) угроза коммунистического тоталитаризма Западу и всему миру все более возрастает потому, что *«знакомство с Россией обычно приводит к русскому типу поведения даже среди самых невосприимчивых иностранцев».*

Первый пункт своего тезиса Хингли основывает на наблюдениях немалого числа иностранных путешественников. Просуммировав, получаем следующий перечень пороков, изъянов и недостатков русского национального характера: лень и неспособность к планомерному труду; смиренность и раболепие; отсутствие самодисциплины и личной инициативы, безалаберность и расхлябанность; пьянство и чревоугодие; увлечение скандалами, театральной позой и великодержавным красноречием; любовь к вранью (художественному) и надувательству (безыскусному); чувственная распушенность и ухарство; нетерпимость ко всему, кроме нечестности и подлости; неумение мыслить и выражаться точно.

Было бы несправедливо упрекнуть г-на Хингли в полном забвении положительных качеств русского народа. Он упоминает, например, его *«доброту, щедрость и способность к состраданию».* Но поскольку Хингли на них особо не задерживается, то и нам не резон. В конечном итоге он обобщает русский национальный характер двумя отличительными чертами: а) излишеством во всем; и б) тенденцией *«переходить из одной крайности в другую и при этом умудряться каким-то образом занимать одновременно две взаимоисключающие позиции».*

Вероятно, иной русский читатель сочтет своим патриотическим долгом ринуться на защиту национальной чести и разнести книгу Хингли в пух и прах уже и по первому пункту. Мне же думается, этого делать не стоит хотя бы потому, что это отвлечет нас от остальных его пунктов. С меня довольно признания Хингли, что русские сами *«остро осознают свои недостатки и критикуют себя и строже, и проимчивей, чем даже враждебно настроенные чужеземные наблюдатели».* Право, не чужеземцы же открыли на Руси горе от ума и мертвые души, лишних людей и нигилистов, хлестаковщину и маниловщину, обломовщину, шатовщину и карамазовщину, а в наше время и образованщину. Соглашаясь или не соглашаясь с Хингли по первому пункту,

нельзя не приветствовать его стремления разговаривать с нами нелицеприятно, что особенно ценно в нашу эпоху национальной уравниловки. Да, может, и то верно, что со стороны оно виднее. Во всяком случае, да не подумает г-н Хингли, что я вступаю в спор с его книгой ради национального ребячества и скоропалительных пререканий, кто кого хуже (при нынешнем глобальном положении едва ли позволительно задаться вопросом «кто кого лучше?»).

Собственно, и против второго пункта тезиса Хингли нет у меня принципиальных возражений. Ведь с «Государства» Платона уже известно, что характер народа является одним из важнейших факторов, определяющих тип государственного устройства, и наоборот. Поэтому нет ничего удивительного в утверждении Хингли, что «плохой» характер русского народа, коль скоро он действительно признан таковым, взаимосвязан с «плохими» авторитарными режимами на протяжении всей русской истории, «как курица с яйцом». [...]

Хингли ссылается, в частности, на такой довод А. В. Никитенко в пользу авторитарного строя России (приводимый здесь в обратном переводе с английского): «*Стоит трем-четырем русским собраться во имя продвижения какой-либо идеи или общего дела, и вы можете быть абсолютно уверены в том, что они обязательно перессорятся, начнут устраивать друг другу подвохи, и через два-три дня вот уж и разошлись*». Хингли охотно присоединяется к выводу «либерала» Никитенко, что «*наше единственное спасение зиждется на вмешательстве (авторитарной) власти*».

Хингли приводит пример из своих личных наблюдений над русскими эмигрантами. [Столкнувшись в каком-то лондонском учреждении с безалаберностью русских эмигрантов и] вопреки своим лучшим чувствам, Хингли обратился, по его выражению, «к методам Ивана Грозного, Петра Великого и Сталина», хоть и в миниатюрном масштабе. Только тогда совершилось чудо: русские сотрудники принялись за работу «дружно и эффективно», и «никаких затруднений больше не возникало». Вслед за описанием этого эпизода Хингли так обобщает свою философию русской истории, на которой построена вся книга: «*Ежовые рукавицы или полная анархия — вот выбор, перед которым русские подчиненные ставят любого человека, которому доверена ответственность за их коллективные усилия. Не придется ли поэтому заключить, что именно русский склад ума привел к авторитарному государству? Или что русский склад ума является скорее продуктом авторитарного государства? С уверенностью можно сказать лишь то, что эти два феномена связаны друг с другом, как курица с яйцом*».

Хотя я не могу полностью согласиться с такой философией русской истории, должен признаться, что, к сожалению, наблюдения Хингли в общем подтверждают мои собственные впечатления. Невольно приходит на память невеселая шутка: «*Один русский — русский, два русских — драка*». Россиянам стоит об этом крепко призадуматься как раз сейчас, когда на повестку дня стал уже вопрос об устройстве посткоммунистической России. Как бы честны и искренни ни были устремления подсоветского «демократического движения», какой бы популярностью ни пользовалось само сло-

во *демократия*, приходится согласиться с Солженицыным, что послекоммунистическая Россия должна стать авторитарной, прежде чем она сможет рассчитывать на развитие в сторону демократического идеала — и чтобы не стать добычей бессовестных демагогов.

Однако из признания того, что русский склад ума, или русский национальный характер, со всеми его изъянами лучше всего совместим с авторитарным строем, отнюдь не вытекает, что он также совместим и с нынешним коммунистическим тоталитаризмом. К сожалению, именно такой вывод делает Хингли в третьем пункте своего тезиса: коммунистический тоталитаризм является-де, прямым наследником авторитарных традиций царской России. И, что еще хуже, несмотря на то, что Хингли применяет термин «тоталитаризм» только к послереволюционному периоду, он не показывает его принципиального, коренного отличия от авторитаризма, считая его всего лишь разновидностью последнего. [...]

Ошибка Хингли тем более досадна, что, в отличие от большинства западных специалистов по России, он не питает иллюзий насчет тоталитарной сущности нынешнего режима. Он знает, что тоталитаризм начался не со Сталина, а еще с Ленина, и что в настоящее время развился в «*форму рабства, более изысканную и всеохватывающую, чем любая из известных истории*». Не приходится упрекать Хингли и в ходком на Западе желанно-мысли, что эта форма рабства — явление преходящее, то есть своего рода болезнь коммунистического роста, и что после смерти Сталина коммунизм якобы неуклонно и сам собой перерастает в разновидность с человеческим лицом. «*Несмотря на эти иллюзии, — пишет Хингли, — Запад наконец начинает сознавать, что по сравнению с положением при Хрущеве угнетение при Брежнев не ослабело, а усилилось*». [...]

Книга Хингли продиктована не столько академическим интересом к России, сколько чувством глубокого беспокойства за судьбу своей страны и западных демократий вообще. Его беспокоит как рост тоталитарной угрозы извне, так и проявления симптомов тоталитаризма внутри западных демократий. Эти проявления Хингли видит в половой уравниловке и в потакательстве «*наглым, грубым, лохматым и невежественным*» недорослям-крайунам; в презрении к частной собственности и к профессиональной выучке со стороны отпрысков богатых семейств; в студенческих беспорядках и в осмеянии профессоров, старающихся поддерживать академический уровень; в оправдании политического терроризма и революционного насилия; в утопизме и фразерстве оголтелых бомбометателей; в оправдании уголовных преступлений «пагубным» влиянием среды; в презрении к правам личности со стороны левой интеллигенции. По мнению Хингли, все это симптомы политической патологии, или *психопатологии*.

Не берусь спорить с этим диагнозом, тем более что сам Хингли подкрепляет его авторитетом Достоевского, который уже проанализировал подобный общественный недуг в «Бесах». Но в чем я совершенно не могу согласиться с Хингли, так это в его определении происхождения и развития

этого недуга — в четвертом пункте его тезиса. Согласно Хингли, современная «психопатолитика» на Западе и во всем мире — это результат заражения некоторых кругов населения такими русскими национальными чертами, как излишество и крайность во всем. В прошлом веке эти черты породили в России нигилизм, нечаевщину и даже *«девушек-бомбометательниц хрупкого сложения, но со стальными нервами»*. В наши дни, подразумевает Хингли, эти черты вне пределов России породили бессмысленный терроризм Красных бригад и банд вроде «Баадер-Майнхоф». Как эта зараза перекочевала из России XIX века на сегодняшний Запад, Хингли даже не пытается объяснить, если не считать объяснением его поразительное утверждение, что знакомство с Россией само по себе приводит к русскому типу поведения. *«Не становимся ли мы все теперь русскими XIX века?»* — патетически восклицает он в заключительном параграфе своей книги. — *«Если это так, то жаль, что эта коллективная психика... распространяется на международной арене, хотя она, может, и убывает в стране своего происхождения...»* [...]

Признавая, что нигилизм, терроризм и другие формы экстремизма в самом деле бурно проявились в России в течение полувека, предшествовавшего коммунистической революции, осмелюсь утверждать, что они никогда не были более русскими, чем, скажем, «русский грипп», поразивший Запад прошлой зимой. Вирус психопатолитики не знает национальных границ. Англию он поразил в 1642 году, Францию — в 1789, а Россию — в 1917. В Англии он разразился «куцым парламентом», казнью короля и «железнобокой» внутренней и внешней политикой Кромвеля. Во Франции — якобинством, казнью короля и королевы, гильотиной, культом «Верховного Существа» Робеспьера и имперскими завоеваниями Наполеона. В России этот вирус привел к роспуску Учредительного собрания, к поголовному уничтожению царской семьи, «культу личности», массовым чисткам, лагерям смерти, промывке мозгов, показательным судам, шарашкам и — в наши дни — к *«форме рабства, более утонченной и всеохватывающей, чем любая из известных историй»*. [...]

Давно пора понять, что коммунистический тоталитаризм — не национальная болезнь, а общечеловеческий недуг. Симптомы этого недуга повсеместны, и местные вирусные атаки, если их вовремя не изолировать, угрожают глобальной эпидемией. Поэтому и курс лечения должен быть глобальным, и для его определения надо прежде всего разобраться в происхождении и развитии самого недуга.

Тот факт, что симптомы политического психопатства бурно проявляются в наши дни даже в наиболее развитых, цивилизованных, свободных, демократических и преуспевающих странах, — не ставит ли под вопрос саму концепцию социально-экономического детерминизма, которая под названием марксизма установила полную монополию в историографии за железным занавесом и которая даже без ссылки на Маркса оказывает преобладающее влияние на историографию в свободном мире? Книга Хингли тем и интересна, что представляет собой попытку вырваться из тисков этой концепции. Но, вырвавшись из одних тисков, не попадает ли он в другие?

Не поддается ли он общей человеческой слабости, которая заставляет нас навьючивать своими грехами беззащитного козла отпущения? Мне думается, что такого козла Хингли увидел в русском складе ума. [...]

Между тем, намеки на то, где следует искать источник как нынешней психопатологии на Западе, так и тоталитарного недуга человечества вообще, содержатся в самой книге Хингли. К сожалению, духовным истокам тоталитаризма Хингли не уделяет должного внимания. Мне же думается, что среди всех других факторов любого исторического процесса, включая сюда и нынешний рост тоталитаризма, ведущая роль принадлежит не социально-экономическому, не политическому, не фактору национального характера, а фактору духовно-интеллектуальному.

Исходя из примата духовно-интеллектуального фактора, постараюсь теперь противопоставить тезису Хингли свой: коммунистический тоталитаризм связан «как курица с яйцом», не столько с русским складом ума, сколько с западным типом мышления, сложившимся в результате духовного сползания христианской западной цивилизации в ее нынешнюю секулярную и материалистическую фазу, и, поскольку все другие страны, в том числе и Россия, следуют за Западом в том же направлении, коммунистический тоталитаризм — это недуг всего секулярного человечества.

Чтобы хоть немного компенсировать неизбежную голословность этого тезиса ввиду малого размера статьи, постараюсь теперь конкретизировать его, разбив на составные части:

- 1) Коммунистический тоталитаризм не только не имеет ничего общего с русским авторитаризмом, а есть качественно новая форма государственности, коренным образом отличающаяся от всех предшествующих форм — как в России, так и вне ее.
- 2) Главная особенность этой новой формы государственности — то, что она основывается на идеологии марксизма, претендующей на авторитет абсолютной, универсальной и единственно-непогрешимой религии всего секулярного человечества.
- 3) Тоталитарная сущность марксизма коренится как в самой личности Маркса, движимой фанатической нетерпимостью и непомерной гордыней человекобожества, так и в духе времени, в которой та сформировалась.
- 4) Помимо материализма, утилитаризма, позитивизма и слепой веры в научно-технический прогресс, этот дух времени определялся не только атеизмом, но и богоборчеством.
- 5) Оформившись интеллектуально в эпоху Просвещения, богоборческий дух до сих пор продолжает оставаться одной из важнейших черт, характерных для нынешнего научно-технического направления человечества вообще и для Запада — как инициатора и предводителя этого направления — в особенности.
- 6) Лучше всего богоборческий дух нынешней фазы западной цивилизации был схвачен в разгар промышленной революции Мэри Шелли в ее мифе



об одном западном ученом, пожелавшем превзойти Создателя в Творении, но преуспевшем лишь в лабораторном производстве человекоподобного чудовища на горе человечеству и на свою погибель.

- 7) Современник и духовный и интеллектуальный собрат Франкенштейна — Карл Маркс — тоже возомнил себя современным Прометеем, титаном-богоборцем и благодетелем человечества, и из достижений бездуховной западной учености «сотворил» свой план создания нового человечества.
- 8) Эксплуатируя в своих целях благосклонность русского образованного общества ко всему западному, Ленин и его соратники сделали все, чтобы превратить Россию в лабораторию западного прогресса и претворить план Маркса в действительность — и весьма даже преуспели, но лишь в превращении России в труп и в последовавшем «оживлении» этого трупа в «новое общество», но не с человеческим лицом, а с рылом, при виде которого сам Маркс затрепетал бы и в могиле.
- 9) Поскольку это чудовище, нареченное выше коммунистическим тоталитаризмом, есть интеллектуальный и духовный (точнее: бездуховный) отпрыск Запада, последний несет ответственность за преступное и печальное хождение чудовища по миру не меньшую, чем вольные и невольные работники российской лаборатории западного прогресса, из которой чудовище вышло в свет.
- 10) Запад едва ли сможет справиться со своим блудным пасынком до тех пор, пока сам не отрешится от богоборчества и не откажется от антидуховных идей материализма, утилитаризма, позитивизма и, конечно марксизма, которые, вкупе с такими недавними «измами», как релятивизм и экзистенциализм, продолжают определять культурную, идеологическую и политическую жизнь Запада.

По мере того, как нынешнее пораженческое состояние умов на Западе будет увеличивать угрозу окончательного соблазна коммунистическим тоталитаризмом, западные демократии неизбежно окажутся перед выбором: или доказать свою жизнеспособность посредством самоограничения своих свобод, как это было сделано, например, в борьбе с национал-социалистическим и фашистским тоталитаризмом, или уступить свое место более авторитарным режимам, тысячелетняя история которых доказывает, что они не только сами по себе никогда не приводили к тоталитаризму, но и могут послужить наиболее надежным заслоном демократии против тоталитарной угрозы. Как-никак, на карту поставлено не только существование капитализма, либерализма или западных демократий, но и всего человечества.

Всё остальное — перекладывание вины, но не с больной головы на здоровую, а с дурной на несчастную: с западного состояния умов на русский склад ума. Как рыба гниет с головы, так и современное человечество — с Запада.

## ТЬЕРРИ ВОЛЬТОН

### Париж—Москва или Париж под Москвой?

Выставка «Париж—Москва. 1900—1930», официально открытая французским и советским министрами культуры 31 мая 1979 года в Центре им. Жоржа Помпиду<sup>1</sup> в Париже, по замыслу организаторов, выступает как результат прекрасных отношений между Францией и СССР. Действительно, такой выставки русского и советского искусства, где было бы представлено более 2500 произведений как живописи и архитектуры, так и литературы (а вокруг выставки — еще и музыкальная программа, и показ кинофильмов), Западу еще не показывали.

Казалось бы, грех жаловаться, даже если и испытываешь вполне законное чувство неловкости. Просто советские власти сочли французов «заслуженным народом», предоставили французской публике статут «привилегированной» и оказали нам честь поглядеть на то, что они до сих пор прятали. Потому-то и гордятся некоторые французские организаторы выставки, потому-то и хвастаются «атмосферой доверия», царившей между ними и их советскими коллегами во время подготовки выставки. Это уже не просто самовосхваление, поскольку за такими похвальбами скрыты не одни лишь многочисленные трудности периода подготовки, но и намеренные умолчания, и прямая ложь.

Трудности? Они начались в тот момент, когда руководители Центра захотели устроить ретроспективную выставку «Париж—Берлин—Москва». Советская сторона категорически отказалась: нельзя, мол, смешивать стили. А ведь культурные связи, существовавшие между тремя столицами, неопровержимы... Здесь-то и собака зарыта: сопоставление «соцреализма» и «национал-социализма» оказалось бы по меньшей мере компрометирую-

---

<sup>1</sup> Центр имени Жоржа Помпиду, называемый также Бобуром, был открыт в феврале 1977 г. Вместительное здание современной архитектуры расположено в самом центре Парижа. В Бобуре постоянно действуют публичная библиотека, синематека, фонотека, Музей современного искусства. В распоряжении Бобура — собственный бюджет, выделяемый государством и составляющий 90% всех государственных расходов на культуру. К слову, основные расходы по выставке «Париж — Москва» были сделаны за счет французской стороны, т. е. из бюджета Бобура. — *Прим. ред.* — 1979.

щим для советской идеологии. Обещанный одними «новый человек» слишком напоминает того, которым гордятся другие. Более того, лучше избегать некоторых исторических параллелей, иначе как не заметить сходства между нарастанием нацизма и сталинизма?

Ну, Бобур и уступил, трилогия не состоялась, зато в прошлом году провели выставку «Париж—Берлин». Ох, и разошлись же по этому случаю организаторы, внушая каждому посетителю, какая вина лежит на политиках Веймарской республики и вообще на порочной капиталистической системе за то, что Гитлер пришел к власти. [...] После такого доказательства доброй воли, впрягшись в работу по подготовке новой выставки, руководители Центра, возможно, рассчитывали на равноправное сотрудничество. Но они недооценили своих советских напарников. Пришлось им набраться горького опыта, когда в течение года надо было выторговывать одну работу за другой, дабы не обмануть ожиданий французской публики. Понятно, что в таком торге не обойтись без компромиссов. А где компромисс, там и умолчания, и, хуже того, просто ложь. [...]

Можно ли говорить о заслугах, когда выставлены многочисленные произведения, которых никогда не видел законный «хозяин» (в СССР, как трубят об этом на всех перекрестках, «искусство принадлежит народу»), а ни выставка, ни сопровождающий ее толстый каталог ни словом об этом не упоминают? А среди таких спрятанных от народа сокровищ — Кандинский, Малевич, Гончарова, Ларионов, Филонов, Татлин и т. д. Можно ли гордиться тем, что в Париже замалчивается трагическая судьба русской поэзии? Выставлены книги и заметки Мандельштама, Ахматовой и других, но ни слова о том, что одни погибли в лагерях, а других травили «на воле». Можно ли гордиться портретом расстрелянного Гумилева в экспозиции Бобура, в то время как не только стихи его не издаются в СССР, но само его имя вычеркивается даже из научных комментариев? Одним словом, стóит ли похваляться верностью официальным советским тезисам и советской версии истории? Однако именно в этом преуспели безропотные руководители Бобура под знаком «добротного сотрудничества» двух стран. [...]

Главное — не огорчить советских друзей. Во имя этой аксиомы посетителю приходится проглотить сведения о том, как под властью большевиков и Советов процветал и благоденствовал авангард. Что же до тех, кто не потерпел, чтобы рука государства водила его кистью или резцом, у кого достало мудрости уехать подальше от неминуемых лагерей, надвигающегося расстрела или хотя бы голодной смерти, — то их жизнь в изгнании, согласно выставке, не что иное, как «заграничное путешествие» (Шагал, Кандинский, Цадкин, Певзнер, Габо и др.). Какой печальный эвфемизм для этих «туристов» в Вечности...

Вот и выходит, что, будучи на сегодняшний день самой большой выставкой русского и советского искусства, когда-либо показанной на Западе, «Париж— Москва» — это еще и самая огромная мистификация, устроенная советскими властями в этой области.

Тем не менее, факт этот признают с трудом. Почти вся французская пресса, за редким исключением, поспешила приветствовать «событие», не задумываясь о моральных и политических проблемах, поставленных выставкой. Но к счастью, через несколько дней после ее открытия был проведен коллоквиум «Культура и коммунистическая власть».

Реализовать идею коллоквиума, возникшую еще за несколько месяцев до выставки у Наташи Дюжевой, парижской переводчицы и дочери норильского ээка, было далеко не просто. Отсутствие средств, трудности, связанные с поисками подходящего помещения, — на ее месте многие отступили бы. Она же продолжала держаться за свой проект, оказавшийся целительным средством против мистификации «Париж—Москва». Были люди — Н. Горбаневская, автор этих строк, некоторые другие, — которые сразу поверили в этот замысел. Не раз и не два планы коллоквиума обсуждались с главным редактором «Континента». Пьер Эмманюэль добивался, чтобы Бобур — самое подходящее место для проведения коллоквиума, вскрывающего истинный смысл здесь же проходящей выставки, — выделил для этого один из своих многочисленных конференц-залов. Напрасный труд! [...]

В конце концов, благодаря профессору Янкевичу, участников встречи приняла в своих стенах Сорбонна — старейший парижский университет. В течение двух дней на четырех заседаниях выступили писатели, философы, историки, искусствоведы — как эмигранты из СССР и других стран Восточной Европы, так и французы. В битком набитом амфитеатре звучали конкретные, с фактами в руках разоблачения фабрики советского соблазна, поселившейся на верхнем этаже Бобура. От Игоря Голумштока, восстанавливавшего непростую правду о взаимоотношениях советской власти с русским авангардом, до Андрея Синявского и Ефима Эткинда, жестоко и остроумно вскрывших измышления каталога и выставки, через Михаила Геллера, блестяще показавшего, как дубовый советский язык убивает язык русский, — коллоквиум позволил прежде всего поставить под сомнение представленный на выставке официальный советский образ истории искусства и истории как таковой. Тому же были посвящены выступления французских специалистов по периоду 1900—1930 гг.

И все-таки главное было, не ограничиваясь прошлым, показать непреходящий характер замалчиваемых на выставке проблем: смерть всякой живой культуры, как только она начинает подчиняться давлению государства, и постоянное возникновение независимых культурных ценностей. По этому поводу Наталья Горбаневская напомнила присутствующим о значении самиздата и тамиздата, а Александр Смоляр подробно рассказал о польском «летучем университете» и Товариществе научных курсов, об успехах независимых издательств и самиздатской прессы в Польше. [...]

Но самое, быть может, существо проблемы затронули бывшие коммунисты Пьер Дэкс и Доминик Десанти: почему марксизм и коммунистическая идеология по-прежнему, несмотря ни на что, зачаровывают французскую интеллигенцию?

В самом деле, можно ли вообразить Бобур, настоящий храм современной французской культуры, участником какого-нибудь мероприятия во славу гитлеровской Германии? Или же во славу какого-нибудь сегодняшнего диктаторского режима Латинской Америки? Такое мероприятие, даже под прикрытием «культурного обмена», не замедлило бы вызвать настоящую бурю всеобщего негодования. Однако стоит напомнить, что, не будь коллоквиума в Сорбонне, выставка «Париж—Москва» просто-напросто освятила бы узы французского сотрудничества с советским тоталитаризмом, без единого слова протеста.

Как и почему такое сообщничество остается возможным, в то время как нельзя уже не знать фактов о действительности осуществленного социализма? Ответ на такой вопрос не однозначен. [...]

К государственным соображениям относятся те, что во имя дипломатических отношений заставляют рассматривать гостеприимство Бобура, оказываемое некоторым аспектам советской культуры, как вполне естественное. Да еще и добавлять со спокойной совестью, что выставка позволила увидеть произведения, находившиеся до сих пор в подвалах, не забыв, конечно, упомянуть, что советские власти обещали показать эту выставку в Москве в 1981 году. А ведь именно из государственных соображений следовало бы знать цену кремлевским обещаниям. Поспорим — впрочем, почти не рискуя проиграть, — что те несколько русских супрематистских и конструктивистских работ, заново увидевших свет в Париже, вернувшись на родину, снова лягут в запасники. Но государственным мужам не до таких мелочей, — что, впрочем, не раз уже доказала вся политика Франции по отношению к СССР.

Конечно, — и к счастью, — прошло то время, когда большая часть французской интеллигенции на страницах своих статей и книг воскуряла фимиам небывалым советским достижениям. Сегодня все стало сдержанней, но иное молчание — пособник куда более красноречивый, чем любое слово. Этим-то красноречивым молчанием и отличились французские организаторы выставки «Париж—Москва». [...]

Этот пример не единственный. Центр имени Жоржа Помпиду, витрина французской культуры, постоянно и охотно потворствует осуществленному социализму. Но «государственные соображения» здесь ни при чем. Бобур пользуется значительной независимостью от государственной власти. Истинные причины надо искать скорее в образе мыслей руководителей и вдохновителей Бобура. Здесь мы сталкиваемся с тем фактом, что персонал Центра, как, впрочем, и всякого другого французского культурного учреждения, прежде всего «антикапиталистичен», следовательно, проникнут «левым сознанием», хотя и не обязательно прокоммунистическим. Это сознание, пронизавшее всю официальную культуру<sup>2</sup>, склонно превозносить

---

<sup>2</sup> Разумеется, «официальная культура» существует во Франции не в советском понимании термина. Культурное творчество свободно, цензуры как учреждения нет, и культурные учреждения теоретически независимы от власти. На практике это

социализм, и все — из-за господствующего во Франции дихотомического мышления, механически противопоставляющего капитализм социализму. Мы, конечно, знаем, что на востоке не рай, но еще тверже убеждены, что мы-то живем в аду. Каждым своим мероприятием Бобур безудержно разоблачает эксплуатацию, нищету, слаборазвитость, отчуждение, неравенство, загрязнение среды — порождения капитализма. Под таким углом зрения социализм многим может показаться наименьшим злом. И это отношение все еще очень распространено.

Таким образом, несмотря на то, что светлый образ СССР серьезно потускнел, он все еще стрижет купоны со сложившейся ситуацией, своеобразную сверхприбыль с симпатий к «вечно живому идеалу социализма». Советским руководителям это хорошо известно. Осознав свои потери в том, что касается политического кредита, они стараются наверстать упущенное за счет культурных владений. Кончились те времена, когда только хор Красной Армии выпускали сотрясать стены парижского Дворца Sports. Став изощреннее, власти экспортируют балет Большого театра, а еще лучше — Театр на Таганке или Андрея Вознесенского. Не доказательство ли это либерализма? Прием, оказанный прессой выставке «Париж—Москва», лишний раз показал, что советское руководство — на верном пути.

Надо заметить, что в этой области французские власти проявляют, мягко говоря, необычайную терпимость. Мы снова возвращаемся к «государственным изображениям». Во имя их власти, не задумываясь, цензурируют даже телевидение, когда оно рискует слишком откровенно обеспокоить «советского партнера». Такое произошло в июне 1977 года, когда в день приезда Брежнева в Париж была запрещена телевизионная передача, в которой преобладало критическое отношение к СССР. Совсем недавно перенесли показ фильма о «кремлевских шпионах», поскольку в намеченный для фильма день начался визит Жискара д'Эстена в Москву. Что же до полного отступления французского правительства на Белградской конференции, когда был поднят вопрос о нарушении прав человека в странах советского блока, то о нем уже достаточно известно.

Было бы упрощением думать, что такая терпимость — нечто новое. Речь идет, в действительности, о некоей константе французской политики. [...] Внутри страны ничто не удерживает власти от разоблачения опасности «коллективизма» (например, как только речь заходит об Общей программе,

---

более или менее остается в силе для кино и театра, так как, даже получая государственные субсидии, они, в основном, финансируются частными ассоциациями. Что же касается массовой культурной работы, особенно развитой и играющей особенно важную роль в провинции, — это уже не так. Эта работа проводится преимущественно в рамках Домов культуры и Домов молодежи, которые финансово зависят от центральной и, прежде всего, муниципальной власти. Так что даже при отсутствии цензуры всегда можно оказать влияние на культурную политику с помощью субсидий и соответствующего подбора персонала, что и делается во всех муниципалитетах — как правых, так и левых. — *Прим. ред.* — 1979.

которой некоторое время были связаны коммунистическая и социалистическая партия), зато политика СССР пользуется невероятным попустительством тех же властей. Но противоречие здесь чисто внешнее. На самом деле, как бы парадоксально это ни выглядело, оба языка предназначены для внутреннего пользования. Первый из них вызывает к чувствам мещанина, к его желанию сохранить и защитить частную собственность, второму же предназначено задевать националистическую струнку, столь чувствительную у французов. А для националистов пугало — не «советская гегемония», а «американский империализм». Причины этого лежат глубоко, а корни, наверное, уходят в коллективное подсознание всего французского народа, для многих поколений которого главным врагом была Англия. Так что Франция прежде всего страдает англофобией, а заодно — и американофобией. И, наоборот, можно с полным основанием говорить о довольно распространенном русофильстве. В массовом сознании «тоцїк» куда симпатичнее «джентльмена-фермера». [...]

Ясно, что все это на пользу СССР. И примкнувшей к «идеалу социализма» интеллигенции, и страдающему германо- и англофобией народу Советский Союз представляется как «привилегированный союзник». Стоит ли в этом случае удивляться, что, несмотря на общеизвестные факты, у советского тоталитаризма все еще столько молчаливых сообщников в этой стране? Было бы, безусловно, гораздо труднее организовать выставку «Лондон—Москва» или «Рим—Москва». (Правда, что и с точки зрения развития культуры такие выставки менее обоснованы.) Однако советские руководители, исходя именно из политических соображений, не прибегают к этому средству оболыщения. Зато есть «Париж—Москва».

И все же — можно ли говорить о нависшей над Францией угрозе «финляндизации»? На примере трудностей, с которыми сталкиваются сегодня те, кто ведет кампанию бойкота Олимпийских игр в Москве, можно и поверить в существование такой опасности. Не случайно, что общественное мнение с гораздо большей легкостью откликнулось на кампанию по разоблачению диктаторского режима в Аргентине в связи с проведением Кубка мира по футболу в 1978 году. Видно, существует двойная мера, двойной подход. Многие, наверно, уже готовы, как Франсуаза Жиру, типичная представительница новейшего политического либерализма, потребовать исключения из участия в московских Олимпийских играх за нарушения прав человека — Аргентины!

К сожалению, такого рода политическая непоследовательность — вещь широко распространенная. Многие ли из тех, кто обоснованно осудил государственный переворот в Чили в 1973 году, восставали против вторжения в Чехословакию в 1968-м? А те, кто десять лет тому назад кричал: «Янки, прочь из Вьетнама!», — примутся ли они сегодня кричать: «Кубинцы, прочь из Африки!» или «СССР, прочь из Афганистана!»?

В конце концов, «финляндизация» — это всего лишь состояние духа, при котором уничтожается всякая способность сопротивления диктату. А

чтобы суметь сопротивляться, недостаточно только желания — надо еще знать своего врага и быть готовым к встрече с ним. Ни одно из этих требований не выполняется во Франции в отношении советского тоталитаризма. Действительность осуществленного социализма по-прежнему остается неосознанной и «главный враг» все еще грозит не с Востока, а с Запада. [...]

«Слабость» такого рода недопустима, будь она даже одиночным явлением. А если добавить к этому постоянное попустительство по отношению к социалистическим режимам, то перед нами — симптом капитуляции перед тоталитаризмом. А тогда и попытки измерить серьезность зла становятся бесплодными, и до «финляндизации» рукой подать.

*1979, № 21*



**Академику Сахарову**

Дорогой Андрей Дмитриевич!

Поздравляю Вас с 60-летием, за которое Вы успели проделать такой редкий душевный путь от избыточных к угнетенным. Никакие испытания не сламывают сильного характера, но закаляют его. Желаю Вам, чтобы вопреки насилию ссылка оказалась для Вас духовно плодотворна и открыла бы Вам новые глубины в служении своему народу. Обнимаю Вас

*А. Солженицын*

\* \* \*

Дорогой Андрей Дмитриевич,  
сегодня, как и всегда, мы все — с Вами.

*Владимир Максимов*

«Русская Мысль», 21.5.1981



**ПЕТР ГРИГОРЕНКО**

## **К вопросу о государственной независимости и взаимоотношениях между народами СССР**

### **I. Ситуация в СССР**

Советский Союз — правопреемник Российской колониальной империи. Но он не простое ее продолжение. Российская империя была современницей всех других колониальных империй. И была основана на тех же принципах. Идя путем нормального развития, Российская империя со временем развалилась бы так же, как развалились они.

Она не распалась, не исчезла лишь потому, что власть в стране захватили большевики. Они преобразовали ту империю на других основаниях, усилили и расширили ее, превратили в колониальных рабов и «имперскую нацию». Созданный большевиками государственный строй прежде всего обновил фасад империи. Переименование российских колоний в союзные и автономные «республики», с образованием в них марионеточных правительств, пропагандистское освещение перед внешним миром этих действий нового государства как национального освобождения и одновременное жестокое, но тихое придушение национальных движений создавали для мира видимость единства народов СССР. Мир принял это как аксиому и признал СССР как единое союзное государство. Однако самые важные преобразования российской колониальной империи произошли не на фасаде, а в ее основах, в самой жизни народов. Национальное неравенство было ликвидировано. Но как? Всех людей всех наций, всех вероисповеданий, всех социальных слоев, всех уровней культуры превратили в винтики, шестерни, шурупы нового общества. Людей стали ценить только за возможность их использования в общественных (читай — государственных) интересах. Фактически свободных людей превращали в рабов, не считаясь с их национальностью. Иностранцы же наблюдатели воспринимали это низведение людей до рабского уровня как ликвидацию дискриминации по национальному признаку.

А кому должны служить те рабы? Государству. Какому? Российскому? Да нет! Самых русских превращают в рабов, подобных украинским, литовским, узбекским, грузинским, латышским и другим. Служить теперь нужно не на-

циональному государству. Правящий класс этой страны составляется, как и массы рабов, не на национальной основе. Национальность учитывается только при организации органов так называемой советской власти. Здесь нужно продемонстрировать внешне, что у власти в преобладающем большинстве стоит коренная нация.

Но действительная власть не у советов, а у партии. Советы — только вспомогательные органы этой власти, которая в целом комплектуется не по национальному признаку, а по признаку пригодности к выполнению винтовых функций в системе самой власти. Создает эту систему и сохраняет ее не «имперская нация», не «русские шовинистические элементы» и «русифицированные отступники и прислужники» из среды «нерусских», а коммунистическая партия. А для вступления в нее ни теоретически, ни фактически нет преград, обусловленных национальностью. И вот только из этой национально индифферентной партии набираются чиновники всех органов власти. И учитывается при этом только партийность и умение быть соответствующим винтиком или шестерней управляющей машины, послушно выполнять все указания сверху. Только из партии рекрутируются все органы власти — партократия и ее высший слой — партийная олигархия с Политбюро во главе.

Никогда российская «имперская нация» не допустила бы, чтобы диктатором над нею стал грузинский гангстер Коба, или русифицированный украинец Хрущев, или украинский болгарин Брежнев. Этим людям могла привести к власти лишь партократия, которая является единственным господствующим социальным слоем империи, называющей себя Советским Союзом. Партократия — единственная власть в СССР. И стоит эта власть над всем, в том числе и над органами власти, избираемыми «всенародным голосованием». Эта «избранная власть» только прислуживает партократии, которая опирается на партию, но не выбирается ею. Она обновляется путем самовозрождения, за счет партии.

Советский Союз во многом напоминает Российскую империю. И не удивительно.

*Во-первых.* Партократия присвоила себе российскую историю, извратив ее по-своему и приспособив к своим потребностям.

*Во-вторых.* Партократия использует в своих интересах российский патриотизм и великодержавно-шовинистические настроения, которые еще имеются в среде русских.

*В-третьих.* Государственная власть в СССР создавалась по образцу российской государственности, с использованием российских государственных чиновников и их опыта создания строго централизованного бюрократического государства и руководства таким государством.

*В-четвертых.* Для внедрения единого имперского языка, без чего невозможно управлять огромным бюрократическим централизованным государством, использован опыт русификации, проводившийся в царской России.

*В-пятых.* Ради ослабления национальных движений используется опыт Российской империи по денационализации нерусских народов; выселение их с национальных территорий и перемешивание наций путем проведения искусственных миграций.

Но эти видимые приметы не делают Советский Союз Российской империей. Если бы это была Российская империя, в ней господствовала бы русская культура. А она не господствует, так же, как не господствуют соответствующие культуры в союзных и автономных республиках. Если бы российская культура господствовала, как кое-кто говорит, во всем СССР, то разве бы жили на чужбине, или изолированные на своей Родине, выдающиеся русские писатели, художники, музыканты, певцы, ученые? Нет, в Советском Союзе, в России в том числе, вместо русской культуры и других национальных культур, на оскудевшем языке российского народа и языках нерусских народов господствует, при поддержке и под надзором партократии, антикультура соцреализма.

Таким образом, СССР — партократическая колониальная империя. И это не просто теоретический вывод, вокруг которого можно вести бесконечные академические дискуссии. Нет, это коренной, основательнейший вопрос практики национально-освободительной борьбы в СССР.

Если это Российская колониальная империя, то весь русский народ является твердой и надежной опорой правительства в его борьбе против национально-освободительных движений. Русский народ в этом случае не позволит дезорганизовать свое правительство, и национальные движения смогут рассчитывать лишь на сочувствие отдельных русских гуманистов. Дело национального освобождения в таких условиях — безнадежно. Если государственный строй крепкий, не дезорганизован, он, имея современное вооружение, задавит любые взрывы национального протеста.

Другое дело, если это не национальная русская, а партократическая империя. В этом случае русский народ заинтересован в том же, что и другие нации СССР, — в ликвидации империи — и выступит с ними вместе как союзник; безнадежным станет положение правительства. Я уверен, что мы имеем дело не с Российской, а с партократической империей. Управляет ею партократия, которая основывает свою власть на партии и созданном ею партийно-полицейском аппарате. В состав этой империи входит больше ста наций, в том числе русские. Все эти нации, за небольшим исключением (крымские татары, немцы, месхи), равны между собой, точнее — выравнены общим рабством.

Партократичными являются и сателлитные государства, которые тоже органически подчинены Советской колониальной империи, хотя и в другой форме. Помощью оружием, военными советниками и кубинскими войсками в Африке, Азии и Южной Америке Советский Союз также стремится к созданию партократических стран. Он намеревается подчинить себе мир через мировую партократическую империю. Эта империя, следовательно, является угрозой для всего мира. Поэтому борьба за ее де-

колонизацию не может быть делом одной нации. Это задача всего мира. Вырваться из лап этой империи, отделиться от нее какой-то одной нации невозможно. Каждая поработанная нация, борясь за свою свободу, должна бороться в рамках всеобщей освободительной антикоммунистической борьбы.

## **II. Вопросы освободительной борьбы народов СССР**

1. Единство партократии на международно-партийной основе и ее стремление к поработению всех наций мира, а также равенство (в рабстве) всех наций империи диктуют необходимость их единства в борьбе за свое национальное и социальное освобождение. А чтобы обеспечить это единство, надо создать атмосферу полного доверия между ними, что возможно лишь на базе искреннего признания Устава ООН, Всеобщей Декларации Прав Человека, Пактов о Правах и Заключительного Акта Хельсинкских Соглашений.

2. Очень важно всем нациям, особенно тем, которые были когда-то господствующими и имеют великодержавные устремления, постоянно подчеркивать:

а) Каждый народ имеет неотъемлемое право быть хозяином на своей земле, то есть иметь самостоятельное, полностью независимое государство. Исходя из этого, за всеми народами СССР признается право на государственную самостоятельность. Это право следует признавать без каких-либо оговорок и условий. Его нельзя, в частности, затуманивать лицемерными толкованиями сторонних лиц в вопросах форм самоопределения и форм взаимоотношений с другими народами. Эти вопросы не имеют отношения к самоопределению. Наоборот, таким путем можно лишь посягать на суверенные права народа и вмешиваться в его внутренние дела. Взаимоотношения с другими народами и сотрудничество с ними — дело иного времени, когда народ основательно окрепнет в самостоятельном государстве и наберет сил и опыта, чтобы вести переговоры с другими государствами на равноправной основе. [...]

б) Каждый человек стремится к свободе. Предусловием свободного развития является обеспечение его гражданских свобод от вмешательства государственных органов, а это возможно лишь в условиях демократии, которая гарантирует также равенство перед законом всех граждан независимо от национальности, расы, религии и пола, а национальным меньшинствам — свободу развития их национальных, духовных и материальных ценностей.

3. СССР перманентно пребывает в состоянии социально-экономических, политических и национальных противоречий и глубоких кризисов. Борьба всех народов СССР, особенно русского, за Права Человека, против произвола партократии и бюрократии, за политические права и свободы, против социальной несправедливости и экономического давления, за свободу интеллектуального творчества, а также национально-освободительные и ре-

лигиозные движения благоприятствуют образованию общего фронта всех народов СССР на принципах равенства и взаимного признания. Только такой фронт может гарантировать победу.

4. Самой большой помехой для образования единого фронта всех наций СССР являются проявления российского великодержавного шовинизма и антирусский провинциальный национализм (то и другое больше в эмиграции, чем в СССР). Исходя из этого, необходимо в борьбе за единство: разъяснять всем народам СССР факт политического, социального и культурного порабощения русского народа, проводить линию раздела между этим народом и кремлевской партократией, которая опирается на международную партию, но использует в своих интересах исторические традиции российской государственности и русский патриотизм; разоблачать демагогические мероприятия партократической власти — образование автономных и союзных республик и предоставление последним права выхода из СССР; добиваться, чтобы эти пустопорожние декларации были превращены в действительность: неограниченного права агитации за выход из состава СССР и за государственную самостоятельность союзных республик; возвращения на этнографические территории и восстановления автономии крымских татар, месхов, немцев Поволжья; установления дипломатических отношений с Украиной и Белоруссией, которые являются членами Организации Объединенных Наций, государствами мира.

Особое внимание обратить на борьбу с теми мероприятиями партократической власти, которые представляются как русские и тем пятнают русский народ. Мы имеем в виду такие действия народоубийства, которые систематически используют органы власти: русификация, выселение аборигенов за пределы национальных республик и поселение на их место людей других национальностей, уничтожение исторических традиций и культуры нерусских народов, плохо завуалированная проповедь великодержавного шовинизма, ксенофобии, антиукраинства, антисемитизма, разжигания межнациональной розни и вражды.

Относиться с полной непримиримостью к концепции так называемого советского народа как к неприкрытому геноциду, как к попытке убийства всех наций СССР; решительно бороться против этой концепции и одновременно разъяснять, что попытки русских шовинистических кругов в СССР и за границей отождествлять с понятием «Россия» все республики Советского Союза, а с понятием «русский» — все народы СССР, равнозначны концепции «единого советского народа».

## ЭДУАРД ОГАНЕСЯН

### Философия национализма

Настоящая статья может быть интересной тем, что основные идеи так называемого системного подхода автор вынес из Советской Армении, где этими идеями был увлечен весьма широкий круг национально мыслящей научно-технической интеллигенции. Пытаясь как-то систематизировать и философски осмыслить идеи, высказываемые в бурных спорах, в которых некогда участвовал и автор, он вместе с тем попытался сохранить тот непрофессиональный философский уровень, на котором велись дискуссии по философским вопросам национального бытия.

Автор считает эти идеи интересными не потому, что они оригинальны, — напротив, все они в той или иной форме уже высказаны профессиональными философами, — а потому, что они были высказаны людьми, у которых не было почти никакого философского образования. Идеи эти были подсказаны кибернетикой и физикой, а других-то знаний, собственно, у этих «философов» и не было. Оправдание своим национальным чувствам научно-техническая интеллигенция Армении искала в законах природы, но, в отличие от марксистов, она не только находила их там, но и убеждалась, что отсутствие национализма является чем-то противоестественным и, с точки зрения сохранения целостности природы, аморальным. Каковы же основные идеи, вокруг которых формировалось, да и сейчас формируется, национальное мышление армянской интеллигенции?

**Идея первая.** С незапамятных времен люди считали, что философия не должна быть связана с политикой, поскольку философия наблюдает мир, тогда как политика его переделывает. Философия связана с поисками истины и основана на правдолюбии. Она честна и объективна, и ее истины рождаются на базе борьбы мнений. Политика же занята чисто человеческими делами. Поле ее деятельности — человеческое общество, для руководства которым необходима власть, борьба интересов, насилие или прочие воздействия, способные создать в обществе общественную целенаправленность. [...]

Но жизнь сложнее, и на каждом шагу она в противовес логике упрямо твердит нам, что нельзя политику полностью отделить от философии.

Ярким примером этой невозможности является французская революция, которая свершилась под знаменем идей французских просветителей. Революция эта была одухотворена идеологией. Еще более была одухотворена идеологией русская революция, которая свершилась не во имя познания мира, а во имя его переустройства. Таким же был фашизм.

Постепенно стало проясняться, что политика, лишённая идеологии, превращается в ценность в себе и для себя. И это естественно, поскольку если цель политики есть создание более справедливого, точнее, более приемлемого общества, то она никак не может обойтись без услуг философии. Все политики, да и просто люди, нуждаются в каких-то жизненных ориентирах. Для националистов разных времен и народов эти ориентиры носили различный характер. Религия, раса, социальная совместимость, общность исторической судьбы или всё это, вместе взятое, служили базой ведения национальной политики. Но база эта в сущности своей носит мировоззренческий характер и в аксиологическом плане может быть осмыслена лишь в философии. Вот почему национализм политический должен строиться на национализме философском. А философия, являясь наукой о миропонимании, по существу, определяет место наций в общем мироздании. И, следовательно, истоки национализма необходимо искать не в общественных формациях, а глубже — в первопричинах.

**Идея вторая.** Бытие и сознание попеременно определяют друг друга, но ни одно из них не имеет первенства ни по времени, ни по значимости. Но оказывается, нам нужно четко оценить, где главное, а где второстепенное. Мы хотим обнаружить причину и следствие, базис и надстройку. И там, где нам не удастся сделать это опытным путем, мы прибегаем к предположениям, на которых и строим свои теории. Но чего стоят наши предположения? [...]

Бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Причем оба эти процесса происходят одновременно, взаимно обуславливая друг друга. Выбрать за начало отсчета сознание или бытие означает не больше, чем выбор внешних условий. И, следовательно, в задачу философии входит не бесплодная попытка утверждения царства бытия над сознанием или наоборот, а выделение тех областей существования, где решающую роль играет бытие, и тех, где эта роль принадлежит сознанию. При этом не следует забывать, что их взаимная обусловленность существует всегда и всюду.

**Идея третья.** Кирпичами мироздания являются иерархически взаимосвязанные материально-духовные системы, целостное восприятие которых металогично, т. е. осуществляется вне рамок логического мышления.

По существу, эта идея в несколько иной форме была сформулирована Бергсоном и базировалась на принципе, который гласит, что целостность системы, или ее образ, больше, чем сумма ее составных элементов. А если это так, то логика, которая при изучении явлений и предметов разлага-



ет целое на составные части, не способна познать образ. [...] Уже сегодня философски мыслящие кибернетики поняли, что на основе отдельных признаков нельзя построить образа и что вычислительные машины способны всего лишь суммировать признаки, но никак не воспринимать образ. Целостные и естественные системы, образуя целостность мира, ничего общего не имеют с понятием «субстанция», потому что субстанция — не разлагающаяся, сама себе равная сущность. А система содержит в себе разнообразие, достаточное для формирования образа. Целостность системы — это ее статическое свойство. Динамическая особенность системы заключается в ее целенаправленности. Анализ целенаправленности и целостности систем, который был проведен по всем правилам кибернетики, показал, что из системной целостности и целенаправленности следует целостность истории, связь времен и равнозначность оценок событий прошлого, настоящего и будущего.

**Идея четвертая.** Наряду с субъективными ценностями, которые формируются большинством голосов, существуют объективные ценности, которые связаны со структурой мироздания и которые формируются голосами авторитетов. В области объективных ценностей «о вкусах спорят», ибо там не человек определяет ценность, а ценность определяет достоинство и значимость человека. Там не только спорят о вкусах, но от спора отстраняются люди «с некомпетентными вкусами». Там ценность Баха или Достоевского решается не большинством голосов «некомпетентных», а меньшинством голосов «специалистов». Но кто же эти «компетентные специалисты»? Легче всего придумать им название. Название, собственно, уже давно придумано. Это пророки, не ученые, а пророки, ибо эти специалисты в вопросах познания объективных ценностей выполняют ту же роль, что и пророки в вопросах познания Бога. Гораздо труднее показать источник объективной ценности. Отступая перед этой трудностью и движимые поверхностными представлениями о справедливости и равенстве, релятивисты вообще отказались от объективных ценностей и построили свою субъективистскую аксиологию, где при определении ценностей мнения всех равны, ибо для них единственным источником ценности является собственная удовлетворенность. Если мы творим добро, — говорят они, — то делаем это для того, чтобы получить от этого удовлетворение.

Но объективные ценности существуют, и связаны они со структурой мироздания. Не случайно все те, кто вступает в контакт с истиной, нисколько не сомневаются в наличии объективных ценностей. Будь то художник или верующий, революционер или ученый, если он признал наличие чего-то, что важнее его самого, он тем самым уже признал наличие объективных ценностей. И если в мире все еще существует жертвенность, то это самое прекрасное наше качество зиждется на объективной ценности. И эта объективная ценность имеет такую же иерархическую структуру, какова структура мира. Если целостность мира, ее образ и целенаправленность есть ее

главное свойство, то эта целостность и целенаправленность и есть самая главная ценность. Если в структуре мира животные, растения, человек, семья, нация, общество являются естественными системами, т. е. кирпичами мироздания, то каждая из этих систем имеет объективную ценность на соответствующем уровне иерархии ценностей.

**Идея пятая.** Нация является естественной системой и в этом своем качестве представляет объективную и абсолютную ценность.

Все прочие общественные ценности, которые характеризуют общественные режимы, являются относительными и субъективными ценностями, поскольку связаны не с сущностью, а с внешней формой правления системы. Система же сохраняет свою целостность потому, что имеет внутреннее управление, т. е. самоуправляема. Лучшей же формой внешнего управления будет та, которая совпадает, или, точнее, не противоречит внутренним принципам самоуправления. Всякая попытка навязать всем нациям какую-то одну «хорошую» систему правления противоречит законам достаточного разнообразия, которое необходимо для сохранения целостности образа мира.

Системный подход к проблемам национального бытия позволил избежать анализа таких вопросов, как общность языка, культуры, территории, или вопроса, когда и как появились нации. Все это относится к научному подходу, который, расчленив систему, пытается изучить составные элементы и связи между ними. Мы же знаем, что образ не исчерпывается и не объясняется характерными признаками. Для системного подхода важно лишь одно: является ли нация естественной системой, одним из кирпичей мироздания, или это искусственная общность, рожденная на базе наших нужд как форма сотрудничества.

О том, что нация есть продукт добровольного сговора людей, уже давно никто не говорит. Но у противников естественности национального бытия есть более тонкие инструменты. Многие из них пытаются доказать, что нации появились не в результате сговора или договора, а сами собой, без определенной цели, как результат случайного суммирования отдельных волей. Так появляются тропинки в лесу и цены на свободном рынке. Каждый действует в угоду себе, а в результате рождается нечто новое. Так, мол, появились и нации.

Однако статистический анализ и теория случайных процессов показывают, что случайные явления не могут порождать порядок: вероятность такого события столь мала, что ее можно было бы сравнить с рождением музыкального шедевра из случайного подбора музыкальных звуков. Из случайных волей индивидуумов не могла родиться национальная воля. Нация и национальная воля могли родиться только из целенаправленной реализации некой изначальной идеи. Наличие наций делает общество управляемым, ибо управляемость системы связана с ее размерами. Интересно в этой связи отметить, что социологи давно заметили некоторую связь между раз-

мерами нации и степенью анархичности национального характера каждого члена нации.

Этим как бы подтверждается тот факт, что в замыслах природы национальная структура общества связана с управляемостью общества. Там, где рушится национальная структура, появляется опасность неуправляемости, опасность хаоса. Эта неуправляемость хорошо известна специалистам по «теории больших систем», и пренебрегать ею не следует также в человеческом обществе.

Что же касается иерархической лестницы: человек — нация — человечество, — то здесь системный подход рассматривает эту связь с точки зрения целостности мира. Иначе говоря, каждая из вышеназванных ступеней иерархии лишь корректирует самоуправляемость нижней ступени.

И вот на основе вышеизложенных пяти идей в Армении начинает формироваться национальная форма общественного мышления. Именно отсюда начинается история армянского инакомыслия. Уже в 62-м году то, что сейчас получило название «самиздат», в Армении расцвело повсеместно. Неофициальные исследования национального вопроса, передаваемые из рук в руки, были столь частым явлением, что уже никто и не пытался это скрывать. А уровень исследований показывал, что за этими рукописями стоят ведущие писатели и историки республики. Власти смотрели на это сквозь пальцы до тех пор, пока в 1965 году в Ереване не состоялась общенациональная демонстрация, приуроченная к 50-летию геноцида армян в Турции. «Самиздат» 60-х годов удалось задуть, поскольку исходил он от высокопоставленных особ. Но вот эстафету инакомыслия подхватила молодежь и пошла своим особым, не знающим страха, молодежным путем. Но все-таки мы должны давать себе отчет в том, что начало было заложено теми идеями, которые здесь были кратко изложены.

*1979, № 20*

**АНДЖЕЙ ДРАВИЧ**

## **Зарубежная Россия**

*Книги, люди, журналы, идеи*

*ОТ РЕДАКЦИИ—1980:* Публикуя статью польского критика, исследователя русской литературы, мы предполагаем, конечно, что не каждый наш читатель (включая нас самих) согласится с каждым из его положений. Однако трудно не согласиться с тем, что такой полной и уравновешенной картины новейшей эмиграции сама эмиграция еще не создала. [...]

*«Зарубежная литература, как особая глава в истории русской литературы, идет к своему неизбежному концу».* Этими меланхолическими словами заканчивал Глеб Струве свою «Русскую литературу в изгнании», написанную в середине 50-х годов. Меланхолия эта, горькое сознание заката и умирания — подлинная и всеобщая эмоциональная атмосфера, господствовавшая в зарубежной России того времени. Но оказалось, что и замечательный литературовед, и многие другие неожиданно ошиблись в свою пользу. Теперь видно, что то, о чем четверть века назад писал Струве, должно было стать лишь некоторой паузой, отсрочкой наследования, тем, что русские называют «безвременьем».

Биологический закат и жизненный тупик явно тяготел над судьбами первой эмиграции — массы людей, более или менее вынужденно покинувших Россию в результате большевистского переворота. Стало очевидно, что великим проектам и программам эмиграции не суждено исполниться, что попытки найти форму компромисса, перекинуть идейные мосты к стране не выгорели, — а было их множество, начиная со сменовеховцев и евразийцев, и всегда в них было заложено зерно капитуляции. Зато не стало очевидно — еще, ибо для этого нужна сегодняшняя перспектива, — что в сфере культуры (а нас интересует именно она) исторический проигрыш был, по меньшей мере, сомнителен, если этот проигрыш вообще существовал, ибо можно доказать, что обе России, отечественная и эмигрантская, культурно сосуществовали как тайно сообщающиеся сосуды с расщепленными и перепутанными соединениями. За рубежом отцеживались и хранились элементы, которых в стране как раз не хватало и которые в окончательном, уже общем итоге оказались или окажутся необходимыми.

Истинная национальная культура не спешит, она неотъемлемо наделена особым самоохранительным чувством бережливого накопления ценностей. Георгий Федотов попал в точку, предложив в 1936 году эмиграции поставить на отечественных «молчалников». И эта Россия будущего виделась ему достойной того, чтобы сделать на нее «*ставку Паскаля, ставку веры, — ставку, без которой не для кого и незачем жить*»<sup>1</sup>. Тем, кто не обладал федотовской зоркостью, оставалась взамен горькая очевидность дезинтеграции, впитывания в чужие культуры, разные области которых заполнялись пришельцами на -off, -eff, -sky; оставался тяжкий опыт хождения по мукам бесподанных XX века, столь отличный от положения политэмигрантов до 1917 года, — в частности, потому, что большей части заинтересованного большевизмом мира эмигранты представлялись отбросами с помойки истории.

После Второй мировой войны на Западе появилась вторая эмиграция, с самого начала, однако, отягощенная грузом навешенной на нее коллективной ответственности за преступления единиц, смакующая свои тройные обиды, нанесенные своими, немцами и союзниками, — а значит, изначально менее заметная, притаившаяся, не желавшая бросаться в глаза, нацеленная прежде всего на физическое выживание и взаимопомощь. Отдельные пришельцы из этого второго эшелона нашли свое место в науке и культуре первой эмиграции, создали также свои организмы, но все это не дало впечатления нового качества или открытия новых перспектив, а только, казалось, чуть оттягивало навороженный Глебом Струве неизбежный конец.

Сознание близкого упадка углубило десятилетиями укреплявшийся комплекс неполноценности по отношению к культуре, создаваемой на родине, до такой степени, что, не будь того же Струве, не было бы даже очерка истории эмигрантской литературы, ибо она явно не выглядела достаточно достойным внимания предметом исследования! Это убеждение было свойственно и нерусским русистам, за малыми исключениями игнорировавшими культуру зарубежной России. Лишь недавние годы принесли в этой области несомненные перемены. Итак, наступало заведомое примирение с мыслью, что, когда исчезнут последние эмигранты, тогда всему, что возникло в их кругу, одна судьба — рухнуть и быть забытым, оставив след лишь в упоминаниях или примечаниях позднейших историков в качестве третьего степенного фонда единственно значимых отечественных событий.

Но ситуация изменилась. Наступило **явление третьей эмиграции**.

Ее генеалогия — предмет споров. В одном из последних номеров парижского «Континента»<sup>2</sup> появилась статья, внушающая, что она создана кремлевскими стратегами и цель ее — «*дезинформировать и дезориентировать Запад, укрепить позиции СССР во внешнем мире*». Следует отметить, что в здравом уме сразу рождается недоверие к такой сатанинской, пара-

---

<sup>1</sup> Федотов Г. Тяжба о России. — «Современные Записки», т. 62, Париж, 1936.

<sup>2</sup> Хенкин К. Русские пришли. — «Континент», 1980, № 22.

лизирующей картине. Пожалуй, мы окажемся ближе к правде, предположив, что в клубке причин и следствий, действий и противодействий, а также разнообразных мотивировок явление новой эмигрантской волны уже вышло за рамки каких бы то ни было первоначальных замыслов, живет своей жизнью, которая не подчиняется управлению на расстоянии и чревата непредвиденными возможностями, решительно ускользая от концепции заговора. Возможно, у власти были определенные намерения, которые действительность переросла, а то и обратила в противоположность; но, кроме того, режиму пришлось кое-что совершать под давлением, и нет уверенности, всегда ли он хорошо знал, что делает. Еще в 1922 году когда из России выслали большую группу интеллигенции, эмиграция получила мощный приток духовных сил. Результат различных официальных начинаний в наше время (от уговоров и угроз с одновременным лишением возможности нормально существовать, через фиктивные «временные выезды» с позднейшим лишением возможности возвратиться, и вплоть до принудительной высылки) — приток еще более мощный, к тому же постоянно обновляемый, который радикально оживил биологически угасающий организм зарубежной России.

За границей сейчас находится большая группа писателей с достаточно весомыми именами: Солженицын, Некрасов, Максимов, Синявский, Бродский, Коржавин, Эткинд, Зиновьев, если назвать только важнейших. Скончался, правда, Анатолий Кузнецов и незабвенный Александр Галич, связывавший все эмигрантские группировки. Ожидается, в свою очередь, приезд Аксенова, Войновича и Копелева. Прибавим к этому большую группу писателей второго эшелона, многих хороших публицистов и эссеистов, в особенности из русско-еврейской диаспоры, и совсем молодых, но уже подающих серьезные надежды людей; наконец, университетских филологов и историков.

Вдобавок, издательские начинания этого круга в значительной степени используют приток литературы с родины, печатаемой с согласия авторов или без; некоторые из них, живя в России «отечественной», стали таким образом *de facto* жителями зарубежной России. Отечественный самиздат и вещи, о которых заведомо известно, что им не пройти цензуру, втягиваются в тамиздат, т. е. выходят в зарубежных издательствах, после чего, тайком провезенные в Россию, они начинают свой первый или второй кругооборот на родине. Рамки этого кругооборота не широки, ограничиваясь, в общем-то, частью — лучшей частью — литературных кругов. Но это лишь начало процесса, предвиденного Федотовым в те поры, когда он ставил на «молчальников» и рассчитывал, что в будущем они раскроют рот. Недостижимая мечта первой эмиграции, предмет ее постоянных попыток, обходных маневров, финтов, предложений, уступок (притом что большевиков, жаждавших безоговорочной капитуляции, все это не интересовало), — исполнилась, шаг за шагом, полностью вне этой власти: формируется единство русской культуры, сближаются два берега национального сознания, разорванного в

течение шестидесяти лет. К этому подошло бы название, которым озаглавил свою книгу эмигрантский историк литературы Юрий Мальцев — «Вольная русская литература». Его история рассказывает, правда, прежде всего о самиздате, но в последние годы, когда собственно самиздат утратил разбег, как раз и наступило стирание издательских границ.

Речь идет о единстве, наконец-то реализующемся, пусть даже только начатом. Но разве дела не обстоят так, как постоянно можно услышать в русской диаспоре, что ни о каком, мол, единстве нельзя говорить, поскольку эмиграцию раздражают неистовые свары?

Действительно, первое слуховое впечатление каждого, кто склонит ухо в эту сторону, — гам перекрикивающих друг друга голосов. Как правило, сильно нажаты эмоциональные педали, нет недостатка в пророческом пафосе, и легче столкнуться с инвективами *ad personas*, чем с обдуманно аргументами. [...]

Не нужно доказывать, что само эмигрантское положение, с его — так или иначе, всегда присутствующим — привкусом проигрыша, настраивает драчливо, а разреженный чужестранный воздух облегчает резкие и не всегда координированные движения. Об этом знают все эмиграции мира. Согласимся же, что русские оказались в особой ситуации, способной многое объяснить. В стране, которую они покинули, на их (всех без исключения) памяти не существовало общественное мнение и его организмы. Всё, что личности, группы, круги, коллективы могли бы высказать по самым важным вопросам, записало в стране, как в бочке, забитой затычкой официальной линии. Ничего странного, что оно вырвалось с шумом. Идет коллективное обучение политической речи, поиск себя самих, настраивание голосов. Эмиграция является продолжением разогнанного шестьдесят два года назад Учредительного Собрания и парадигмой будущей духовной жизни на родине. Ей приходится платить цену этого разрыва, причем, пожалуй, не чересчур высокую — даже тогда, когда борцы на ристалище дискуссий считают дозволенными любые приемы. Нормы и формы явятся со временем — имейте терпение. [...]

Стоит сориентироваться, какова в области культуры, а особенно литературы *расстановка русских сил за пределами страны*.

Одна из ее форм — система журналов, литературных или уделяющих внимание литературе.

Здесь ситуация долгое время была стабильной. Основанный в 1942 году в Нью-Йорке «Новый Журнал» был и остается ежеквартальником старших поколений, хранящих традиционные вкусы. Он наследовал традиции главного органа довоенной эмиграции, парижских «Современных Записок», и всей исторической линии русских т. н. *толстых журналов*. Ориентация на реализм, постсимволизм, постакмеизм, нелюбовь к новаторским штучкам, но зато многообразие весьма ценных архивных публикаций, сокровищница сведений о культуре и истории в мемуарном разделе, живая публицистика с неоднородным, впрочем, уровнем аргументации.

Еще дольше, 55 лет, существует в Париже «Вестник Русского Христианского Движения». Наряду со статьями из области основной, богословской и религиозно-философской, проблематики, а также по вопросам религиозной жизни в России, здесь много литературных публикаций, в особенности ведущих происхождение от того же духовного течения. Журнал вел также оживленные дискуссии о возможностях и концепциях духовного возрождения России, но в последнее время они стали несколько уплощенными. Дело в том, что главный редактор, так сказать, принес журнал в дань, — правда, не кому-нибудь, а Солженищину, и теперь «Вестник» с безоглядной преданностью пропагандирует взгляды великого вермонтского отшельника и его сторонников. Пыл этот заходит так далеко, что редакция немедленно отмежевывается от собственных публикаций, если они не нравятся Солженищину, — как известно, неслыханно чувствительному в отношении всего, что припахивает опорочиванием доброго имени России, и, при всех своих огромных достоинствах, не самому терпимому человеку.

С 1947 года в Париже выходит главная еженедельная газета эмиграции, «Русская Мысль», воистину Ноев ковчег с представителями всех видов, где трогательные остатки угасающей старосветскости (некрологи, тематические уголки, советы, объявления, светская хроника, болтовня престарелых дам в стиле *belle époque*) соседствуют с информацией и комментариями текущих событий, публикациями прежней и нынешней литературы, обзорами выходящих изданий. Газета старается всем потрафить и быть открытой трибуной, что делает ее пестрой, но живой. [...]

Во Франкфурте-на-Майне с 1946 года выходит ежеквартальный журнал «Грани», связанный с издательством «Посев». Эти организмы второй эмиграции, созданные — в силу вышеупомянутой специфики этой последней — в некоторой изоляции, годами возбуждали в различных кругах подозрительность и сомнения в том, кому они в действительности служат; однако, глядя трезво, следует сказать, что нет никаких противопоказаний тому, чтобы принимать их такими, как они есть. До пришествия третьей эмиграции «Грани» были главным и очень богатым источником публикаций новой русской литературы, и заслуга их велика: они помещали основные тексты Войновича, Владимова, Максимова, Гроссмана, в них напечатан «Котлован» Платонова, публиковался Солженищын, и специальный номер был посвящен делу Синявского и Даниэля, — одним словом, в «Гранях» была масса значительных вещей. [...]

Третья эмиграция вообще принесла с собой журнальный бум. Люди, которые на родине могли печататься лишь с большим усилием и потерями, обнаружили, что создать свой журнал на Западе нетрудно, а отмеченный выше взрыв самовыражения придал размах их начинаниям. Сразу зарябило в глазах от числа журналов. Впрочем, играли роль и более серьезные причины. Именно они, в первую очередь, были решающими в возникновении и облике «Континента».



«Континент» — это опять-таки попытка восстановить традиции и форму «толстого журнала», т. е. литературно-общественного издания, представляющего и различные литературные жанры, и различные типы размышления о литературе и жизни. Избранное название налагало добровольные обязательства: «...мы видим задачу нашего журнала,— говорилось в редакционном вступлении к первому номеру, — не только в политической полемике с тоталитаризмом, но прежде всего в том, чтобы противопоставить ему — этому воинствующему тоталитаризму — объединенную творческую силу художественной литературы и духовной мысли Восточной Европы, обогащенных горчайшим личным опытом и вытекающим из него видением новой исторической перспективы». Что бы ни думать об отдельных материалах двадцати с лишним номеров ежеквартального журнала, в котором иногда ощутима недостаточная жесткая хватка редакторской руки, — главное его устремление, несомненно, исполняется трудолюбиво и от души. «Континент» смотрит широко, мыслит открыто, дает место на страницах многообразным взглядам, ищет союзников на Западе и сотрудников среди восточных товарищей по несчастью. Польше он уделяет весьма почетное место. Регулярно выходят его издания на иностранных языках, из которых особенно интересно и довольно независимо немецкое.

Результатом раскола в «Континенте» стал выходящий менее регулярно, по замыслу ежеквартальный, журнал «Синтаксис», предприятие супругов Синявских. Это журнал весьма камерный, производимый домашним способом, посвященный критике, эссеистике и публицистике, направленности либерально-западной. Редакторы заявляли, что они высоко ставят интеллектуальную провокацию, остроту мысли, эффектную форму и что им отвратительна литературная серость «соцреализма наизнанку». Их специальностью стала полемика с различными формами и извращениями русской мысли неославянофильского типа. В этой роли журнал оказался нужным, будоражащим, задиристым.

Журналы «Эхо» и «Ковчег», за которыми из Варшавы удастся следить лишь урывками, сформировались схоже: как предприятия более молодых эмигрантов, начинающих или менее известных писателей, заранее бунтующих против академизма существующих журналов. Оба дают ведущее место эксперименту, в особенности связанному с традицией Обэриу, — многими годами позже это влияние оказалось плодотворным. «Эхо» также заявило: «Понятие редактору нам ненавистно», — предполагая, что будет печатать все, что ему понравится; в результате оба журнала скорее напоминают альманахи, где нет определенной линии, ибо в ней нет потребности. Эта юношеская развязность, подкрепленная богемным духом, хорошо вписывается в парижский пейзаж, и панорама эмиграции была бы без них безусловно беднее.

Есть еще журнал художников «Третья волна», уделяющий много места литературе, — он решился открыто заявить, что является альманахом. И здесь авторы разнообразнейшие, а важнейшие вопросы связаны с группировками. Эмиграция художников попала на Запад в трудный момент всеоб-

шего пресыщения и убежденности, что все уже было; так что ей приходится с огромными усилиями бороться за признание своего экспериментаторства, которое на родине было смелым и шокирующим, а за ее пределами возбуждает, правда, и уважение, и умеренный интерес, но чаще всего не является открытием или неожиданностью. Нет недостатка и в спорах о том, кто лучше представляет русское искусство и кто кому мешает занять соответствующее положение. Но это уже не наша забота.

Еврейская эмиграция лишила Россию многих ясных умов и бойких перьев; поэтому нет ничего удивительного, что в Израиле возникло несколько журналов, в которых литература занимает значительное место. Среди них выделяется ежемесячник «Время и мы». Это, пожалуй, наиболее профессионально, *lege artis*, редактируемый журнал в эмиграции. Им руководит Виктор Перельман, бывший сотрудник «Литературной газеты», умело дозируя литературные тексты, воспоминания, документы, сенсационные и развлекательные материалы.

Так выглядит перечень только самых важных или самых заметных журналов.

Вторая форма расстановки сил — это *писатели-эмигранты и их произведения*.

Чувство угасания предыдущих эмиграций совпало с кончиной выдающихся писателей: умерли Бунин, Ремизов, Зайцев, Георгий Иванов, на много раньше покинула эмиграцию Цветаева и умер Ходасевич. Литературе неоставало крупных индивидуальностей, — к счастью, этот вакуум в известной степени компенсировался (если это вообще возможно) неутомимыми трудами критиков и литературоведов, обеспечившими непрерывность культурной традиции. Читатель получил важнейшие исследования и издания текстов, без которых работа русиста была бы вообще невозможной, если речь идет о современной литературе: историю русской литературы в стране и за рубежом Глеба Струве, книги Чижевского, Маркова, Ермолаева, эссеистику Владимира Вейдле, фундаментальные издания Пастернака, Ахматовой, Клюева, Мандельштама, Гумилева, Цветаевой, труды русских философов, четыре тома альманаха «Воздушные пути», антологии поэзии и прозы. Первостепенную роль сыграло воспитание нового поколения ученых, — здесь следует отметить плодотворное влияние Романа Якобсона. С благодарностью следует вспомнить издательства, в особенности слишком поспешно ликвидированное, а по прошествии лет восстановленное издательство имени Чехова в Нью-Йорке, — в его честь можно было бы написать пламенную оду.

Так что третья эмиграция не пришла на пустое место, тем более, что русисты-русские оказали сильное влияние на западную русистику и в значительной степени были попросту ее воспитателями.

В настоящее время Солженицын без усталости трудится над своим гигантским историческим циклом, публикуя очередные т. н. *узлы* из эпохи заката царизма. Крепкий живописец социальных полотен, Максимов опублико-

вал после выезда автобиографическое «Прощание из ниоткуда» и повествующий об эпизоде послевоенного сталинизма «Ковчег для незваных». Некрасов использует формы более свободные, репортажные, с лирическими отступлениями и сведением счетов с прошлым. Два серьезных тома стихов опубликовал Бродский; поэзия его вне России стала, кажется, приобретать черты некоей особой невесомости, смысл которой станет ясен лишь со временем. Невероятно эффектно вторгся, предшествуемый своими «Зияющими высотами», Зиновьев; его первая книга доказывает, что во всех сферах советской жизни осуществляется принцип *contraditio in adjecto*, и жизнь эта оказывается нелогичной по своей сущности, рассуждения же логика превращаются в литературу, притом высокого класса. Прибыв на Запад, Зиновьев продолжает публиковать новые книги, но все они пока что остаются в ключе, уже блестяще реализованном в «Зияющих высотах». Синавский, пожалуй, наиболее выдающийся из живущих русских критиков, вернулся — и правильно сделал — к своей основной специальности, опубликовав «В тени Гоголя» и «Прогулки с Пушкиным»; эта последняя, написанная с дьявольски иконоборческим пылом, вызвала скандал в среде пушкинистов. Судя по напечатанному фрагменту, должен стать событием роман свежего эмигранта Юза Алешковского «Кенгуру», фантастически-гротескный, политический и плутовской, утопический и реалистический.

Кроме того, систематически пишут и издаются Гладилин, Владимир Рыбаков, Терновский, Марайзин, Кандель и многие другие прозаики, о которых уже можно говорить серьезно. Нет недостатка в поэтах. [...] Увлекательные книги, соединяющие публицистику и расчеты с прошлым, издали выдающийся филолог Ефим Эткинд и прозаик Григорий Свирский; историк Александр Некрич опубликовал исследование о репрессивной национальной политике «Наказанные народы». Вообще политическая эссеистика и публицистика расцветает особенно бурно, и здесь нельзя не упомянуть имя известного историка и публициста второй эмиграции Абдурахмана Авторханова. В этой области блеснул подлинным талантом отважный Владимир Буковский: в книге «И возвращается ветер...» он произвел трезвый, мудрый и стилистически совершенный анализ своего опыта. В критике появились многообещающие имена Майи Каганской и Натальи Рубинштейн; нашли свое место в науке многие историки (например, Михаил Геллер) и филологи (с весьма любопытной русистикой Иерусалимского университета, в шутку определяемой как «структурализм с человеческим лицом»), занявшие университетские посты по всему миру. [...]

Как во всякой живой литературной среде, в эмиграции возникают произведения менее ценные и сомнительные, иногда свидетельствующие всего лишь о малом таланте, иногда о спесивой мании величия, иногда о чрезмерной запальчивости. Особые обстоятельства эмиграции и ненормальность условий ее жизни часто способствуют расшатыванию критериев: на короткое время это может помочь комбинатору, приодевшемуся в перья дисси-

дента, или вызвать применение льготного тарифа по отношению к человеку более отважному, чем талантливому, который полагает, что если он выстоял в тяжких испытаниях, то писать, философствовать или поучать других — роль, принадлежащая ему по праву. Есть и обычные составные элементы среды: зависть, обостренный дух конкуренции; к этому нередко присоединяются мессианские настроения и стремление к власти над умами; дает себя знать многолетняя изоляция от всемирного круга мысли и культуры. Однако все это существует в обычных пределах и на краешке существенных явлений и споров, не заслоняя их и не перевешивая. Это подтверждается при любой трезвой и объективной калькуляции несомненных и сомнительных эмигрантских ценностей.

Есть, наконец, и третий вариант расстановки сил в эмиграции, а именно *позиции и взгляды*, поддающиеся описанию также лишь в самых приближенных очертаниях.

Спектр их широк. Если смотреть на эмиграцию как на наследницу прошлого и предтечу будущего Учредительного Собрания, то едва распускающийся русский парламентаризм продемонстрирует все цвета и оттенки. На крайне левом фланге (сохраняя традиционную терминологию) окажется в настоящее время Жорес Медведев, на расстоянии, из России, поддерживаемый братом Роем и сторонниками из круга самиздатского журнала «XX век». Их определяют как «неомарксистов»; они сами пишут о себе как о «диссидентах марксистского типа». Их характеризует вера в возможность возрождения ленинских традиций и «истинного социализма». Они критически относятся к большинству оппозиционных группировок и, в свою очередь, встречают всеобщую неприязнь и даже упреки в том, что они оказывают определенные услуги власти. Объективности ради следует все-таки напомнить, что Рой и Жорес вместе и по отдельности написали ряд ценных трудов: о репрессивной психиатрии, о почтовой цензуре, о Сталине, Солженицыне, авторстве «Тихого Дона» и т. д.; что оба в совершенстве владеют техникой публицистики: спокойной, умеренной, элегантно, точной в полемике, сравнительно наиболее близкой к средним европейским стандартам и, по крайней мере, не общераспространенной в диаспоре; наконец, что их концепции, по-видимому, подчинены прагматическому желанию достичь адресата, умонастроенность которого они учитывают, — партийного «аппаратчика» среднего и высшего уровня, не глухого к словам о реформизме (Жорес предполагает, что такая группа существует). Этому адресату они втолковывают, что Сталин для партии был нерентабелен, поскольку уничтожал ее, и что реформы, не нарушающие существа системы, гораздо выгоднее, нежели застои. В действительности таких уговоров можно сомневаться, перевес тактических комбинаций над существом дела можно в принципе поставить под вопрос, однако в рамках принятых посылок все это не бессмысленно и не обязательно вполне безрезультатно.

Двигаясь слева к центру, мы наталкиваемся на «левых либералов». Сюда относятся, в частности, Плющ, Янов, Левитин-Краснов, Белоцерковский,

Андреев, близок к группе Эткинд, а в России — с оговорками — Сахаров. Программный сборник статей «СССР. Демократические альтернативы» позволяет сделать вывод, что группировка эта сильнее в полемике с противниками справа, чем в описании альтернатив: авторы довольно беззаботно, как из рукава, вытрясают концепции «децентрализации» и «демократизации», перечисляют черты, которыми должно обладать будущее российское общество, но ни между собой этого не согласовывают, ни более глубокими аргументами не подкрепляют. Так что все остается каталогом благих пожеланий и деклараций верности идеям опять-таки, разумеется, «истинного социализма». Союзников они ищут среди европейских «зеленых» и в Социалистическом Интернационале.

«Левых либералов», называющих себя также «демократическими социалистами», можно примерно приравнять к левым социал-демократам. За ними мы обнаруживаем нечто вроде зачатка либеральной партии, — это был бы круг «Синтаксиса», однако в большом приближении, ибо в целом «либералы» довольно распылены. По существу, современный русский западнический либерализм — всего лишь наиболее общая направленность, а также проявление усталости от идеологии.

Род беспартийного центра составляет круг «Континента». В номере первом позиция журнала была сформулирована в четырех пунктах: религиозный идеализм, антитоталитаризм, демократичность, беспартийность. С течением времени ударение на первом пункте как бы ослабло и журнал заботится о сохранении характера возможно более широкой платформы. В плане отрицания «Континент» характеризуется последовательным и хорошо аргументированным антикоммунизмом и решительной неприязнью к марксофильским флиртам и заигрываниям, модным какое-то время среди западной интеллигенции. Выражение этой неприязни дал также главный редактор Владимир Максимов, человек резких суждений, в памфлете «Сага о носорогах»<sup>3</sup>, и сделал это в согласии с законами жанра. Это рубка наотмашь, так что острие топора не всегда ложится со стопроцентной точностью и пресловутые щепки тоже, вероятно, летят, иногда же жертву глушат обухом. Однако кто знает, лучше ли тут сработали бы более тонкие инструменты и подмороженные эмоции: противник не выдуман, а выбор *modus operandi* — неотъемлемое право пишущего. Характерно, что текст Максимова вызвал невероятную бурю, в которой, однако, не нашлось места ни желанию понять авторские намерения, ни разговору по существу; многочисленные эмигрантские голоса вообще усомнились в праве Максимова писать памфлет, полагая, что мстительное чувство падет не только на автора, но и на всю эмиграцию (почему бы это?), и не отказали себе в удовольствии намекнуть, что виной всему — дурное советское воспитание и бродяжническое детство автора. Один Андрей Синявский в своем полемическом выступлении был глубже и сравнительно спокойней.

<sup>3</sup> См. «Континент», № 19, а также настоящий том.

Правее «Континента» парламентскую картину завершает Солженицын и люди, близкие к нему в России и за рубежом; это можно назвать христианско-национальным направлением. Здесь находится очаг нынешних яростных споров о будущей России. Достаточно сказать, что бескомпромиссный пророк Солженицын пропагандирует вместе со своими союзниками образ религиозного возрождения, основанного на принципе покаяния и взаимного прощения грехов; затем — авторитарную, внеидеологическую модель правления как более подходящую для России, чем — в принципе оцениваемый отрицательно — опыт парламентной демократии; право народов СССР на самоопределение — типа «да, но...», т. е. ограниченное общими интересами; наконец, страстную убежденность в уникальности опыта и призвания России и значения ее национальных традиций. С этого фланга берет свое начало всё возобновляемый и неслыханно антагонистический спор о том, является ли большевизм эманацией русского духа или же, наоборот, ракоподобным западным наростом на здоровом теле нации.

В сжатом изложении все это звучит достаточно упрощенно; к тому же, выступления этой группы, а в особенности ее программный сборник «Изпод глыб», вызвали резкое контрастное выступление всех левых группировок. Довольно легко и, в общем, убедительно было доказано, какие опасности заключены в программе, условно говоря, группы Солженицына; она, в свою очередь, приняла спор, оставаясь на своих позициях. Откладывая вопрос о более широкого рассмотрения, стоит заметить, что, пожалуй, так же, как у главного антагониста этой группы, Медведева, программа, о которой идет речь, — не столько множество чистых идей, сколько производная размышлений о возможности эффективных действий в условиях неслыханно острого кризиса сегодняшней России. Медведев подчиняет принципы тактике; Солженицын, как кажется, — стратегии. Он, судя по всему, полагает, что ничто, кроме религии и, так сказать, национального самоутверждения, не способно стать цементом поразительно хрупкой структуры, какой стала бы Россия после смены власти. Это, парадоксальным образом, род прагматической утопии. Ясно одно: рассматривая всерьез, не следует преувеличенно пугаться этой программы, поскольку пока это набросок, первая примерка, выражение уже поминавшегося самообразования в области политической мысли. Здесь больше, чем где-нибудь, проявляется наследие изоляции (другое дело, что ее пока что объявляют добродетелью): группа Солженицына трудится, изобретая все заново и для исключительного употребления, словно никто никогда и нигде за пределами России не изобрел ничего, о чем стоило бы знать и чем стоило бы воспользоваться.

Во всяком случае, не нужно верить тем, кто внушает, что программа группы Солженицына отвечает ультранационалистическим и расистским позициям, проявляющимся в России как в аппарате власти, так и вне его. Эти последние заведомо предполагают, что цементом будущей России станет нынешняя официальная идеология, которую группа Солженицына полностью отвергает, — отсюда вытекают иные, еще более принципиальные отличия.

Так-то вот «особая глава» не только не завершилась, но разрастается в новую книгу, и конца ей не видно. Эмиграция растет численно, ее литература — в своем значении. Это трудней увидеть изнутри, но достаточно изменить угол зрения, оказавшись снаружи, между Россией-страной и Россией-заграницей, чтобы убедиться, что отношение их потенциалов меняется на глазах.

Испытываешь чувство какого-то географического сюрреализма, к которому трудно психологически приспособиться, когда людей, являющихся фрагментами Москвы, Киева, Ленинграда: Максимова, Некрасова, Бродского, видишь на фоне Сиднея, Парижа, Венеции. Горько думать, что, если тебе удастся увидеть их страну, она будет неузнаваемой без них и без многих других. Но надо привыкать к мысли, — и да будет таков вывод из этих размышлений, — что Россия изменила свои границы и что их уже не обвести одним контуром.

Все это невесело и полно человеческих драм, а то и трагедий. Трудно найти себя в новой структуре, трудно сохранить равновесие. Нелегко складываются отношения и с родиной, и с Западом. Решение выехать иногда, *ex post*, как бы требует дополнительного оправдания в заявлениях о том, что в России уже ничего стоящего нет и быть не может. Такой нигилистический пессимизм присущ далеко не всем, но он и не редкость. Со своей стороны, на родине реагируют обостренной подозрительностью и язвительностью: пусть им там не кажется, что они одни хранят честь России и обладают монополией на правду и порядочность!

В XIX веке великая русская литература дала Западу образ человека, освобожденного от всех внешних зависимостей. Это было великое открытие, проверенное Западом во всех отношениях. И как раз тогда, когда результаты этого, кажется, доходят до крайности, новые писатели современной России начинают хором говорить о своей — примитивной, конкретной, приземленной — несвободе. Естественно, им грозит остаться неуслышанными, ибо их новое, мило улыбающееся окружение думает: это же не про нас... И это даже в эпоху Солженицына, в которую мы, к счастью, живем, когда «Архипелаг» вызвал формирование нового духовного уровня. Будут ли пришельцы обладать достаточным упорством и талантом, чтобы вымученное и выстрадавшее свое «возвыситься до всечеловеческого»?

Кому-кому, а нам не должно быть трудно понять новую ситуацию русских. В конце концов, к нам когда-то бежал предтеча политэмигрантов князь Андрей Курбский, чтобы написать Ивану Грозному: «...*заклучил ты Царство Русское, а значит, и свободную природу человеческую, как в опоке адской*». Так что нам надлежит, по крайней мере, набраться терпения, доброй воли и сознания, что Россия теперь и рядом с нами, и далеко от нас, со всеми вытекающими последствиями.

Эта вторая, зарубежная Россия во всех своих программах будущего всегда видит с собою свободной — свободную Польшу. Это и очевидно, и опти-

мистично, однако это не означает, что нам не о чем говорить подробней. Солженицын призвал оба наши народа к полному взаимному покаянию за все прошлое зло. Удержимся от первого импульса, который заставляет воскликнуть о диспропорции, — вдумаемся и не забудем, что Солженицын честно исчислил нанесенные нам обиды. Наверно, и всему остальному придет время. А пока что самое время напомнить нашим русским друзьям, что, кроме их и нас, образ свободного будущего должен включать также и нерусские народы нынешнего Союза. Некоторые, особенно «Континент», учитывают это постоянно, но не все.

Что же будет дальше? У нас была наша Великая Эмиграция, в какую-то эпоху духовно перераставшая масштабы страны, хотя всегда обращенная к стране. Новая русская эмиграция постоянно увеличивается в размерах. Достигнет ли она величия, соответствующего ее величине?

Есть такая русская поговорка: спросите что-нибудь полегче.

*1980, № 26*



## АЛЕКСАНДР СМОЛЯР

### Парадоксы либерализации и революция в Польше

**ОТ РЕДАКЦИИ-1982.** Эта статья была написана до объявления в Польше «военного положения», однако авторский анализ сохраняет не только историческую ценность. В ответе на вопрос «Как пришла Польша к своей революции?» содержится указание и на те потенциальные силы, которые уже сейчас серьезно подрывают запланированное торжество контрреволюции и которые, возможно, в ближайшие годы или месяцы принудят генералов от партии к отступлению. Вопрос сейчас в том, что окажется сильнее: старый возвращающийся страх или испытанное счастье полноты гражданского мужества? [...]

«Польско-ярузельской» называют эту войну так и не утратившие остроты поляки. Даже памятью о том, что принципиальные вдохновители «решительных мер» сидят в Кремле или на Старой площади, горько сознавать, что в Польше нашлось достаточно «местных чиновников, комиссаров, губернаторов», чтобы объявить войну собственному народу. Станет ли эта горечь поводом извериться во всем, опустить руки? Толкнет ли она, наоборот, к еще большей решимости сопротивляться? Сохранится ли в Польше надежда? Если да, то сохранится и способность к сопротивлению. В этом ключ к будущему и Польши, и всей советской империи.

Как всякое значительное общественное движение, не свести к однозначности и то, которое захватило сейчас Польшу. В нем можно видеть революцию, а можно — мирное движение за реформы; выдвигать на первый план материальные требования, потребность более человеческих отношений в обществе или же религиозно-нравственное измерение; подчеркивать его классовый характер или всенародный отказ от послушания, столкновение трудящихся с государством-предпринимателем или нации с новой Тарговицей<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Тарговицкая конфедерация — заговор магнатов против Станислава Августа и Конституции 3 мая, призвавших «братскую помощь» Екатерины II, за чем последовал второй раздел Польши. — *Прим. пер.*

Польская революция не только многослойна — она еще как бы внутренне противоречива. С одной стороны, она, как ни одна революция в прошлом, является всеобщим движением. Она необыкновенно радикальна в первоначальном значении этого слова: она целится глубоко, стремится дотянуться до корней зла. Поэтому она не ограничивается политическими проблемами, формами институтов коллективной жизни или правил социального общежития — большую ценность придает она, пожалуй, проблемам достоинства человека, нравственным нормам межчеловеческих отношений. [...]

Чтобы толком описать происходящее в Польше, следовало бы пустить в ход пары взаимопротиворечащих понятий типа «организованная стихийность», «самоограничивающаяся революция», «национально-освободительное движение, отказывающееся назвать своего угнетателя».

Все эти противоречия, антиномии польской революции, ее ограниченность и непоследовательность — результат всеобщего сознания огромной опасности, перед которой стоят поляки, опасности реальной, о чем напоминает опыт Венгрии, Чехословакии и — совсем недавний — Афганистана. Чтобы заклать опасность, уменьшить риск, поляки не только навязывают ограничения своей революции, но готовы — вот уж, действительно, парадокс — поддерживать рушащиеся стены Ancien Régime'a. Со смешанными чувствами наблюдают они результаты докатившейся и до самой партии волны демократических требований.

События, свидетелями которых мы являемся, — следствие и продолжение процесса десоветизации, который с разной степенью напряженности, то убыстряясь, то тормозясь, идет с 56-го года. Желая обнаружить специфику процессов десоветизации, неизбежно возвращаешься к прежним попыткам.

## **О Венгерской революции и Пражской Весне**

### **Десоветизации путем распада системы**

Венгерская революция началась 23 октября 1956 года с мирной, разрешенной властями демонстрации солидарности с польским народом, переживавшим тогда перемены, известные под названием Польского Октября. Демонстрация, превратившаяся в массовый протест против ненавистной системы, была встречена пулями политической полиции и вызванных на подмогу советских войск. Население ответило вспыхнувшей по всей стране забастовкой. Распадается партия и администрация, с каждым днем редет и исчезает политическая полиция, армия братается с населением. Стихийно формируются рабочие и региональные советы, созывающие народное представительство. Нежелание и неумение властей предрержащих провести десталинизацию страны, чувство национального унижения и доходящие известия о Польском Октябре — все это подействовало, как взрывчатая смесь. Назначенный премьер-министром Имре Надь под нажимом революционизировавшегося общества провозглашает возврат к политическому плюрализму

и создает правительство национального единства, в состав которого входят представители ликвидированных во время сталинизации политических партий. Символом перемен, разрыва со старой системой становится роспуск прежней компартии и объявление о создании новой. Дьёрдь Лукач, философ и один из ее основателей, предполагал, что на свободных выборах она соберет не больше 3% голосов. Перед лицом готовящейся новой советской интервенции Надь объявляет о выходе Венгрии из Варшавского пакта и ее нейтрализации. На рассвете 4 ноября советские танки входят в Будапешт.

Революция продолжалась меньше двух недель, и этого было достаточно для ликвидации советского строя. Система, которая казалась всемогущей, исчезла не столько в результате вооруженной борьбы и революционного насилия, сколько вследствие массового публичного отказа взбунтовавшихся венгров от послушания. Оказалось, что, кроме немногих продавшихся режиму групп да еще тех, кто боялся ответственности за совершенные преступления, советской власти в Венгрии не на кого было рассчитывать. В этом отдавали себе отчет даже такие люди, как Надь — идейный коммунист, стремившийся к реформам, которые устранили бы наиболее отталкивающие черты системы; перед лицом поражения патриотизм заставил его присоединиться к общественным устремлениям.

### **Десоветизация путем внутренних реформ**

Очередная попытка десоветизации была предпринята в Чехословакии в 1968 году. То, что принято называть Пражской Весной, началось с перемен в партийном руководстве. Несмотря на то, что чехословацкая попытка закончилась аналогично венгерской, и течение ее, и характер были иными. Тут не было стихийного взрыва, воли к уничтожению ненавистной системы и обретению независимости от Советского Союза. К Советскому Союзу относились, в основном, дружелюбно, а режим обладал более широкой социальной базой, чем в Польше или Венгрии. Пражская Весна не была направлена против компартии и в значительной степени была результатом инициативы партийной интеллигенции и части партаппарата. Основной целью инициаторов, находивших все большую общественную поддержку (всеобщей она стала лишь перед лицом внешней опасности, незадолго до вторжения), была демократизация строя. Главные требования относились к сфере информации, вплоть до ликвидации цензуры, к необходимости провести фундаментальные экономические реформы, изменить роль компартии в политической системе страны (из коллективного диктатора она должна была стать социальным инициатором, в крайнем случае «более равным» среди равных членов Национального Фронта) и повысить роль партий-«союзников», до сих пор служивших чистой декорацией. Возрастает роль профсоюзов, различных общественных организаций, создаются сильные группы давления (Клуб беспартийных активистов), участвующие в создании атмосферы этого периода. Изменение роли компартии в обществе

было тесно связано с ее внутренней эволюцией: началась ликвидация традиционных основ партии ленинского типа, где безраздельно господствует аппарат, — партия демократизировалась.

Пражская Весна больше обещала, чем осуществила. Некоторые элементы системы советского типа подверглись сомнению, но такие люди, как Дубчек, не были склонны воскресить плюралистическую систему, отказаться от привилегии «последнего слова» партии во всех решениях.

Тем не менее, можно полагать, что Брежнев со товарищи трезвее, чем многие вожди КПЧ, оценивали динамику и направленность процесса, на который все больше влияло общество. Вторжение произошло меньше чем за три недели до созванного на 9 сентября XIV съезда КПЧ. Впервые в истории коммунистического движения делегаты съезда были избраны путем подлинных выборов. Мало того, основным критерием на этих выборах было отношение делегатов к продолжающемуся процессу десоветизации. [...]

Венгерская революция вела к десоветизации путем распада системы, Пражская Весна — путем ее реформирования. Советская армия затормозила и остановила оба процесса.

### **Польша вчера — десоветизация путем либерализации**

Первая польская попытка десоветизации едва не окончилась так же трагически. Польский 56-й год напоминал венгерский всеобщим отношением общества к системе и к СССР. Против рабочих Познани пришлось послать танки — как несколькими месяцами позже против рабочих Будапешта. В Польше, как и в Венгрии, хотя слабее, стал ощутимым распад органов контроля над обществом: цензуры и полиции; партия стала в значительной степени пустым названием. Повсеместно раздавались голоса протеста против зависимости Польши от Советского Союза.

Многие факторы привели к тому, что Польский Октябрь не имел того трагического финала, как вспыхнувшая несколькими днями позже революция в Венгрии. Свою роль, несомненно, сыграла память о войне, в особенности о Варшавском восстании. Этот дорогостоящий урок реализма заставлял искать возможных, а не исключительно желаемых решений.

Важную роль сыграла, — и это напоминает Пражскую Весну, — значительно бóльшая, чем в Венгрии, гибкость существенной части партийного руководства, стремившейся к некоторой гуманизации системы: действовали как идеологические мотивировки, так и желание укорениться в польском обществе.

Общественное давление в сторону создания более человеческих условий жизни, большего ощущения безопасности, ликвидации унижительных символов государственной и национальной зависимости встретилось с идущим свыше стремлением к ограниченной политической демократизации. Это стремление было столь сильно, что позволило вовремя произвести перемены, разрядившие нарастающую напряженность. Некоторые из

них: прекращение массовых репрессий, введение некоторых норм правозащитности — проводились в согласии с общей тенденцией во всем социалистическом лагере. Другие были вырваны обществом или, что то же самое, проведены властями в поисках общественной поддержки. Была допущена деколлективизация сельского хозяйства, прекратились репрессии против Церкви, были признаны ее роль и права, получили признание рабочие советы, расширена автономия предприятий; власти пошли на проведение выборов с числом кандидатов, превышавшим количество мест, ограничили цензуру, вузам дали автономию, а молодежи — право на несколько разных молодежных организаций, ликвидировали закрепощение рабочих суровыми дисциплинарными правилами, наконец — обеспечили чуть большую независимость государства от СССР. Реформистские тенденции в партии, а особенно общественный нажим были достаточно сильны, чтобы гарантировать устойчивость некоторых уступок, но слишком слабы, чтобы сохранить их все.

Каков итог осуществленных и неосуществленных обещаний Польского Октября? В самых общих словах можно сказать, что сохранить удалось те уступки, которые ограничивали поле деятельности власти, — потеряно же было практически всё, что затрагивало принципы функционирования системы в области народного хозяйства, в общественной или политической жизни. Иначе говоря, системе удалось либерализовать, но не демократизировать<sup>2</sup>. Несмотря на то, что незаконное оставалось основой системы, большинство граждан могли спать спокойно. Значительные области интеллектуальной и творческой деятельности были исключены из-под прямого политического контроля. Основательная деидеологизация публичной жизни повысила автономию личности, не подвергаемой такому «промыванию мозгов», как в других коммунистических странах. Нравы повседневной жизни перестали быть предметом внимания партии и полиции. Один за-

---

<sup>2</sup> Здесь мы будем понимать под либерализацией всякую перемену в политической, общественной, экономической или культурной жизни, которая приводит к ограничению сферы прямого или косвенного контроля со стороны политической власти. Эти перемены могут быть сознательной политикой властей или вырваны под нажимом общества. Ограничения власти могут гарантироваться в порядке закона либо быть исключительно результатом изменения соотношения сил между властью и обществом, без изменения буквы закона. Можно говорить о либерализации, происходящей как в демократической системе, так и в авторитарной или даже тоталитарной (классический пример — нэп). Под демократизацией же мы будем понимать процесс расширения круга людей, участвующих в принятии решений относительно всего общества или имеющих влияние на эти решения. Расширение «гражданских прав» может ограничиться Центральным Комитетом, может охватить весь партаппарат, партию или еще более широкие социальные группы. Таким образом, понятие демократизации относится не к сфере, но к способам отправления политической власти и к ее представительности. — *Прим. авт.*

пальный наблюдатель в начале 60-х годов написал, что коммунистическая власть в Польше, желая выжить, научилась самоограничению.

Ограничению территории власти, т. е. либерализации, не сопутствовали изменения механизмов ее функционирования. Внутрипартийный плюрализм, прорезавшийся в эпоху Октября, выражал временную слабость партии, а не перемену ее природы. Одновременно идет ликвидация разнородности, микроплюрализма вне партии. Обострение цензуры ослабляет возможность общественного нажима и контроля.

Быстро отброшены проекты реформ демократизации народного хозяйства. Рабочие советы как органы рабочего самоуправления на предприятии постепенно ликвидируются.

Почему судьба оказалась менее милостива к мероприятиям по демократизации? Немаловажен тот факт, что у коммунизма в Польше, в отличие от Чехословакии, не было плодотворной почвы. Этим ослаблялось стремление даже самых радикальных внутрипартийных сил к расширению «гражданских прав» на все общество — слишком велик был риск. Популярность Гомулки справедливо оказалась мимолетной, связанной со всеобщим чувством угрозы национальному бытию. В этом, национальном аспекте Октября — еще одна причина слабого акцента на демократизацию. Общество тогда, по понятным причинам, сильнее всего ощущало, во-первых, освобождение от террора и ограничение произвола властей; во-вторых — проблему зависимости Польши от СССР. Прогресс либерализации и очевидный рост автономии Польши в рамках блока давали обществу определенное удовлетворение, а Гомулку, символ этих перемен, превращали в национального героя. Вес механизмов отправления власти осознавался меньше. Доверие к лицам нередко заменяло веру в эффективность институциональных гарантий. Но важнейшую причину несостоявшейся послеоктябрьской демократизации следует искать, по-моему, в отношении СССР к этим попыткам.

В сознании советских вождей либерализация — не трагедия: она не создает принципиальной угрозы системе. На их языке ее можно назвать шагом назад, который предшествует двум шагам вперед. Советский Союз знавал свои периоды либерализации (особенно годы нэпа и, разумеется, послесталинская «оттепель»). Пока нерушима партия ленинского типа, пока монополия насилия — физического (полиция, армия), материального (труд и зарплата) и духовного (цензура, пропаганда, образование) — остается в ее руках, всякое ограничение сферы власти может рассматриваться как временное явление, плановое отступление для перегруппировки войск перед новой атакой. Поэтому лишь угроза партии, ее военизированной структуре, ее месту в политической системе неприемлема для Москвы.

Как выглядит дальнейшее развитие Польши на наших осях координат? История, вероятно, уделит 60-м годам не слишком много места. По сравнению с 50-ми, сначала трагическими, затем полными надежд, по сравнению со взрывчатыми 70-ми — это период малой стабилизации между бурями.

Государство-партия стремится вернуться на позиции, уступленные ею обществу. Обостряются судебные и внесудебные репрессии, начинаются новые попытки ограничить роль Церкви, постепенно подчинить крестьян, но всё это ограниченные успехи ресоветизации. Самые большие опустошения произведены в области свободы слова и творческих свобод. Все грубее действует цензура, все более жестокому контролю подвергаются печать, творческие союзы, научные учреждения. Кульминация этого процесса — мартовские события 1968 года, за которыми последовали массовые процессы на основе сфабрикованных обвинений, массовая чистка интеллигенции, эмиграция тысяч евреев, небытие, в которое ввергнуты самые замечательные деятели литературы и искусства.

Ясно, что на оси «демократизации» 60-е годы тоже не отметили ничего положительного. Когда в декабре 1970-го полетел Гомулка, мы не удивились, узнав, что не было не только демократии, но и *партократии*, и *бюрократии* (власти Политбюро), — власть находилась исключительно в руках Гомулки и его ближайшего окружения.

После декабря 1970-го на вид мало что изменилось. Некоторые люди потеряли власть, на их место пришли новые. Пообещали выяснить, кто несет ответственность за декабрьскую кровавую расправу, — составленный текст доклада так и не был опубликован; пообещали экономические реформы — и быстро о них забыли; сделали несколько жестов, рассчитанных на то, чтобы привлечь интеллигенцию.

Неверие в глубинность происходящих перемен отразили две остроты начала 70-х. Одна приветствовала наступившие перемены восклицанием: *Новое возвращается!* В другой перемены сравнивались со стаей ворон, сгоняемой с дерева: они быстро на него возвращаются и *заново* — гадят и галдят, галдят и гадят (по-польски «заново, снова» звучит так же, как «обновление»).

Однако, если приглядеться, с начала 70-х годов обнаруживаются едва заметные, но существенные перемены. В эти годы постепенно исчезает страх как социальное явление. Этому способствует ряд факторов. В социальном сознании стираются образы войны и сталинизма. Церкви удается преодолеть ощущение «одиночества в толпе», столь распространенное ранее. Важными вехами на этом пути было избрание Кароля Войтылы на папский престол и затем его визит в Польшу. Большую роль в преодолении страха играет демократическая оппозиция, самим своим существованием демонстрирующая силу солидарности и бесстрашия.

Наиболее существенно меняется роль рабочего класса. Начиная с декабря 70-го рабочие как бы приобрели неписанное право вето. Очередная неудавшаяся попытка повышения цен в июне 1976 года, отмененного на следующий же день, подтвердила неписанную привилегию, от которой с тех пор рабочие не собираются отказываться. Это означало новое существенное ограничение коммунистической власти в Польше, т. е. ее вынужденную либерализацию. Как до этого ей приходилось частично считаться с интересами крестьян, так теперь интересы рабочих становятся границей, которую

нельзя перейти под угрозой нового массового взрыва с непредсказуемыми последствиями.

В 70-е годы также смягчилась репрессивность системы. Многое, за что раньше карали, теперь или не преследуется, или преследуется меньше.

Либерализация, результат рабочего права вето, отнюдь не была широким жестом властей. Она была завоевана и сохранялась в силу повторяющихся забастовок и постоянной угрозы их расширения. Но в ином плане либерализация была не только вынужденной, но и дозволенной свыше. Во многом это было следствием коренного изменения стратегии партии в ее отношениях с обществом.

Политику конца 40-х и начала 50-х гг. можно коротко охарактеризовать как войну против народа. После краткой послеоктябрьской идиллии и до конца 60-х годов мы наблюдаем смешанную стратегию конфронтации и интеграции. В каждый данный момент атакуется конкретный, заранее выбранный противник: Церковь, интеллигенция, евреи. В идеологическом же плане все более подчеркиваются мотивы национальной, социальной и политической солидарности, — эта тенденция стала господствующей в 70-е годы. Забыты «классовые враги» и «классовая борьба» — доминирует лозунг национального согласия, единого сообщества всех поляков. Эта перемена — результат как ослабления власти, так и ее активного стремления обрести статус «законного представительства» всего народа. Этим можно объяснить менее агрессивное отношение к Церкви и сравнительную терпимость к участникам демократической оппозиции. Выбор стратегии поведения по отношению к обществу заставлял искать менее террористические методы решения социально-политических конфликтов.

Того же требовали и все более усложняющееся экономическое положение и обостряющаяся, особенно после июня 76-го, социальная напряженность. Когда власть все сильнее ощущала, что сидит на вулкане, репрессии против независимой интеллигенции легко могли нарушить неустойчивое общественное равновесие. Либерализму властей способствовала и углубляющаяся экономическая зависимость от Запада: партия не могла себе позволить шаги, способные пресечь поток жизненно необходимых западных кредитов. В особенности нельзя было слишком демонстративно идти вразрез с модными решениями Конференции в Хельсинки.

Таким образом, в 70-е годы, особенно во второй половине их, в Польше создается парадоксальное положение. С одной стороны, в школах, на заводах, в издательствах, в парткомах, в вузах углубился процесс советизации. Март 68-го оставил прочные следы в официальной общественной жизни: стерилизация культуры, невозможность дискуссий или предложений о серьезных переменах, усиленная идеологическая муштра. В то же время гражданское мужество как бы подешевело и стало доступней: несмотря на всяческие преследования, выбор независимого пути уже не приводил в тюрьму и, что, может быть, еще важнее, не загонял в изоляцию, не создавал ощущения впустую растраченной жизни. За пределами опустошенной и бесплод-



ной официальной культуры развивалась все более богатая творческая, интеллектуальная, общественная жизнь, устанавливающая новую иерархию, признаваемую широкими кругами общества.

Множатся примеры нонконформизма, а то и прямой оппозиции в рамках «официальной Польши», среди тех, кто в центр своего политического мышления ставит процессы, идущие в аппарате власти. Это целая гамма чрезвычайно различных явлений — от безнаказанной публикации в эмигрантском издательстве заметок высокопоставленных деятелей до работ семинара «Опыт и будущее», в создании и деятельности которого важную роль сыграли члены партии. Однако всё вместе это свидетельствовало об усиливающемся параличе власти.

## **Границы либерализации и кризис системы**

Анализ перемен в Польше после 1956 года приводит к выводу о неравномерном развитии вдоль выбранных нами осей координат. При заметной либерализации со сталинских времен неизменен способ организации и контроля официальной общественной жизни.

Постепенный и ограниченный характер либерализации сводил на нет угрозу советской интервенции. Каждый раз перед Кремлем вставала альтернатива: либо смириться с ограниченными издержками — допущением права вето рабочих, укреплением Церкви или самоорганизацией групп интеллигенции, либо платить неизмеримо более высокую цену вооруженного вмешательства. Даже в декабре 1970 года, когда варшавские власти были готовы к самым суровым мерам по подавлению рабочего бунта, Кремль стремился избежать вовлечения в конфликт и советовал найти «политическое» решение. Судя по опыту, у себя дома советские власти наверняка использовали бы менее «либеральные» методы. Есть также основания полагать, что Москва не возражала против подписания соглашений 1980 года, предпочитая компромисс открытому столкновению. Это не означает, что она мирилась с последствиями подписания соглашений.

Но, даже протекая постепенно и с соблюдением «советских правил игры», процесс либерализации не может продолжаться безгранично. Пределы либерализации определяются не только Кремлем и теми, кто в Польше заинтересован в сохранении «статус-кво», но, прежде всего, фундаментальным противоречием: нельзя ограничить сферу деятельности власти без нарушения самих принципов функционирования системы советского типа. Сужение поля деятельности власти, естественная тенденция которой — стремление к всемогуществу и вездесущности, ведет к глубокому кризису всей системы.

## **Экономическая политика и либерализация**

В ряде статей последнего времени, анализирующих причины кризиса в Польше, описания симптомов и оценки довольно схожи и неопровержимы. Все эти оценки примерно делятся на те, где подчеркнута архаичная, при-

митивная система организации экономики, и те, где на первый план выдвинуты ошибки в экономической политике. [...]

Такой анализ, однако, оставляет без ответа весьма существенный вопрос: отчего именно в Польше (и уже в третий раз) наблюдается глубокий экономический кризис, сопровождаемый политическим потрясением.

Мне кажется, для понимания причин этих специфически польских кризисов следует рассмотреть выводы из фундаментального противоречия между логикой системы советского типа, почти не изменившейся в Польше с конца 50-х гг. и той особой эволюцией, которую претерпевает польская власть и которую мы назвали либерализацией.

Сначала, однако, краткое отступление о логике экономической системы советского типа. Парадоксальным образом, система планирования и управления, которая, согласно стереотипам, особенно успешна в слаборазвитых странах, давая им возможность ускоренного развития, — в действительности предполагает наличие изобилия. Но изобилия особого рода: власти практически могут абстрагироваться от ограничений, связанных с материальными или людскими ресурсами, — например, внезапно повысить темпы роста экономики, увеличить расходы на вооружение, ограничить продажу мяса на рынке, а «сэкономленные излишки» экспортировать, вычеркнуть из плана расходы на здравоохранение, а вне всякого плана предпринять строительство металлургического комбината.

Это изобилие, являющееся прерогативой власти, возможно благодаря пренебрежению общественными потребностями, но представляет собой необходимое условие функционирования экономики советского типа. Если бы не возможность повышать капиталовложения и тормозить динамику доходов населения, эта экономика давным-давно оказалась бы в застое. «Изобилие» служит плановику для компенсации низкой производительности экономики, ее неизбежной расточительности.

Нормальное функционирование экономики советского типа требует изобилия трех основных факторов производства: труда, капитала и общественного терпения. Однако уже с конца 50-х гг. ограничения становятся все более очевидными во всех странах советского блока. Дефицит — противоположность изобилия, фундаментальная черта хозяйствования в современном обществе — бьет и по советскому плановику. Все более дефицитны трудовые и сырьевые ресурсы, все труднее принуждать общество мириться с лишениями и покорно терпеть.

В начале 70-х гг. в Польше власть уже не могла рассчитывать на терпение общества. Декабрьские события и затянувшееся еще на несколько месяцев брожение заставили ее осознать границы поля маневрирования. Руководство знало, что Декабрь может повториться и, главное, что этого нельзя допустить во имя сохранения самого строя.

Естественной в таком положении стала политика, ставящая на первый план потребление. Удовлетворение потребительских нужд общества стало единственным возможным способом завоевать если не благосклонность, то

хотя бы спокойствие общества. Рост материальных благ должен был также подменить иные блага и общественные ценности, которых эта система не может предоставить обществу. Перестав быть амортизатором, сглаживавшим последствия экономически нерациональных решений, потребление превратилось в одну из первоочередных задач властей.

На мой взгляд, опыт польской экономики показывает границы либерализации, не сопровождаемой изменением принципов функционирования экономики. Власть, опирающаяся на произвол, на искусственное «изобилие», не может функционировать в условиях все более сужающегося поля выбора, все более расширяющегося «дефицита».

Этот тезис подтверждается на примере сельскохозяйственной политики. Отказ от коллективизации в 1956 году не означал отказа от планов подчинения сельского хозяйства прямому контролю государства. История этих лет — это история попыток постепенного закабаления крестьянства. Каждый раз властям приходилось отступать, чтобы избежать глубокого кризиса сельскохозяйственного производства, а следовательно, растущего недовольства городского населения. Однако очередные неудачи не приводили к окончательному признанию индивидуального сектора в сельском хозяйстве. Отступление всегда носило временный характер, было тактическим выжиданием более удобного момента для «социалистической перестройки сельского хозяйства».

Не будучи в состоянии национализировать сельское хозяйство, власти «национализировали» его будущее, сделали все от них зависящее, чтобы остановить его развитие. Этому служили и политика цен, бившая по доходам крестьян, и политика капиталовложений, лишавшая их возможностей развития, а зачастую и простого воспроизводства находившихся в их распоряжении средств, и введенные ограничения на покупку и наследование земельных угодий и т. п.

Снова парадокс либерализации в условиях советской системы: власти были не в состоянии преодолеть ограничения, наложенные на них независимым сельским хозяйством, но не были и склонны примириться с действительностью. Результат — застой сельскохозяйственного производства. И другой парадокс: венгерское сельское хозяйство, после подавления революции подвергнутое жестокой коллективизации, находится в значительно лучшем состоянии, чем польское, по преимуществу единоличное. Получив полный контроль над сельским хозяйством, венгерские власти не видели причин вести войну против крестьянства. Наоборот, они широко снабжали крестьян средствами производства, допускали некоторую неформальную (а значит, и не бесповоротную) деколлективизацию труда, устанавливали выгодное соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и в конечном итоге добились значительного роста сельскохозяйственного производства.

Можно править при помощи террора или, наоборот, опираясь на общественное признание. Но система, которая неспособна ни терроризировать

общество, ни обрести его признание, обречена на глубокий, хронический кризис и распад.

Коррупция, небывало распространившаяся в Польше 70-х гг., также, по моему мнению, выросла из столкновения традиционных советских принципов с вынужденной либерализацией. Помимо развитой системы привилегий, в правящих кругах всегда существовала тенденция использовать свое положение для получения дополнительных благ и преимуществ. 70-е годы приносят Польше такое разрастание этого явления, что можно уже говорить о появлении клептократии — социальной группы, рассматривавшей свои высокие посты исключительно как источник незаконных доходов.

Классическая советская система решает проблему клептократии с помощью чисток, полицейского контроля доходов и трат, чувства постоянного страха у работников аппарата власти. В демократическом государстве развитие патологических явлений тормозится путем общественного контроля: пресса, выборы и т. п. Система, сложившаяся в Польше в 70-е годы, не имела ни той, ни другой возможности. Сталинской идеократии 50-х годов пришла на смену идеологическая партократия 60-х, породившая, в свою очередь, поколение «либеральных» клептократов 70-х годов.

## **Несколько слов о венгерской либерализации**

Венгерский опыт за четверть века после подавления революции, на первый взгляд, противоречит сформулированному выше положению. Действительно, в Венгрии с начала 60-х гг. мы наблюдаем процесс либерализации, который делает ее уникальной в советских владениях страной, где сравнительное благосостояние населения соединяется с довольно широким либерализмом коммунистической власти.

Советское вторжение и последовавший за ним террор сломили сопротивление венгерского общества. Однако от прежней сталинской системы в Венгрии не осталось и следа — ее нужно было не восстанавливать, а создавать заново. Разгром сопротивления и всеобщая апатия дали коммунистической власти широкое поле маневра. Это показала проведенная жестокими методами коллективизация.

Желание прорвать изоляцию партии от общества склонило Кадара и его коллег к радикальной перемене политики в первой половине 60-х годов, что выразилось в лозунге: «Кто не против нас, тот с нами». Государство-партия самоограничивается во многих областях. Сделаны серьезные уступки крестьянам: они не получили землю, но в рамках колхозов приобрели значительную автономию; существенно возросли их доходы. Заметно либеральнее стала и политика в отношении интеллигенции. Границы Венгрии на Запад открылись шире, чем в любой другой стране советского блока. Проведенная в 1968 году реформа ощутимо изменила структуру экономики. Власти терпимо относились к развитию независимого предпринимательства и

к повышению роли т. н. параллельной экономики. Значительно смягчилась и репрессивность системы.

Эта политика была довольно благожелательно встречена населением. Не бросающийся в глаза компромисс был сочтен за максимум того, чего можно было достичь после поражения революции и под неусыпным присмотром Москвы.

Либерализация в Польше была результатом непрекращающихся конфликтов между коммунистической властью и обществом (или отдельными группами общества), а не результатом соглашения между обществом и властью и не вела к такому соглашению. Наоборот: каждая новая победа общества повышала напряженность в его отношениях с властями — в частности, и потому, что каждую уступку приходилось завоевывать, а то и оплачивать кровью. Потому-то либерализация вела не к расширению социальной базы и «легитимности» власти, а к новому падению ее авторитета в широких кругах общества. В Венгрии же либерализация не была вынужденной, хотя принципиальную роль в выборе этой политики сыграло стремление властей сломить пассивное сопротивление общества, войти с ним в какой-то контакт.

Второе отличие венгерской либерализации: соглашаясь на постепенное расширение сферы свободы в условиях ограниченного давления со стороны общества, власти сами выбирали масштабы и области либерализации. Иначе говоря, они не подвергали риску все здание системы — более того, выбирали как раз те области, где допущение широкой общественной инициативы не только способствовало уменьшению социальной напряженности, но и повышало общую эффективность системы. Так, гибкая политика в отношении крестьянства или терпимость к «параллельной экономике» способствовали повышению благосостояния венгров, а в результате — и политической стабилизации. В Польше же либерализация происходила не там, где властям было удобней ее допустить, а там, где угнетение было для общества непереносимей. Поэтому она затрагивала жизненно важные точки системы, приводя к ее постепенному параличу.

Наконец, в Польше борьба за ограничение коммунистической власти приводила к выделению и обособлению различных социальных групп. В Венгрии уступки всегда имели как бы конкретного адресата: власть бдительно следила, чтобы не появились организованные группы ее противников, чтобы дело не дошло до выдвижения коллективных требований.

Со времени венгерской революции прошло 25 лет. Затянулись раны, постепенно размывается психологическая основа компромисса, основанного на данных обществу уступках. Этому способствует еще и факт, что, как и в других странах социалистического лагеря, нарастают экономические трудности, а с ними — и общественное недовольство. В будущем это может «полонизировать» венгерский вариант либерализма. Но может произойти и другое — попытка советизации Венгрии, возвращения ее политического развития назад, к состоянию всех, за исключением Польши, стран Восточной Европы.

## Революция и перспективы

Если развитие Польши в направлении либерализации и демократизации шло неравномерно и процесс далекой зашедшей либерализации при блокировании перемен в направлении второй координаты неизбежно вел к напряженности, конфликтам и кризису системы, отсюда еще не следует, что августовские события 1980 года вытекали из этого неизбежно. В революциях, в крупных общественных движениях элемент случайности всегда играет огромную роль. Несомненно, власти могли сделать выбор в пользу более разумной политики в отношении крестьян и избежать продовольственного кризиса; проводить более рациональную экономическую политику и не довести до теперешней драматической ситуации; избрать другую стратегию по отношению к растущей демократической оппозиции и, быть может, предотвратить формирование хорошо подготовленных деятелей в среде рабочих и крестьян; наконец, больше заботиться о моральном состоянии собственной «голосующей публики», не допустив или ограничив клептократию. Таким образом, катастрофа системы не была неизбежна, но стала возможна благодаря фундаментальному противоречию между логикой произвола, на котором основана коммунистическая власть, и ограничениями, навязанными ей обществом.

В событиях лета 1980 года и дальнейших, в уступках, на которые народ заставил пойти партию и которые зафиксированы в различных соглашениях, можно заметить продолжение прежней тенденции к либерализации. Действительно, признание свободных профсоюзов, права на забастовку, сужение компетенции органов цензуры — все это означает дальнейшее радикальное ограничение монополии власти. Однако очевидно, что идущие в Польше процессы не сводимы к продолжению и расширению либерализации.

Само возникновение независимых профсоюзов и других подлинно общественных организаций есть политический акт огромного значения, ибо создание независимых учреждений в сфере общественной жизни не может быть аполитичным в рамках данной системы. В крайнем случае, его можно считать антиполитическим, ибо цель его — ограничить самую сферу политики, осуществляемого партией контроля.

Далеко за пределами логики либерализации — гарантированное Гданьским соглашением право рабочих влиять на решения относительно всей экономики, всего общества в целом. Ленин писал в свое время, что хозяйственный план есть вторая программа партии, — и вот профсоюз завоевал (пусть пока на бумаге) право участвовать в выработке решений, которые, по Ленину, принадлежат партии. Точно так же нельзя вместить в рамки либерализации и всё более частые примеры устранения из аппарата власти наиболее скомпрометированных его представителей: не имея возможности избрать своих подлинных представителей, общество стихийно стремится узаконить такую практику, при которой оно, по крайней мере, будет контролировать спущенных ему свыше наместников.

Наконец, само по себе соблюдение навязанных политике ограничений должно привести к радикальным преобразованиям внутри нее самой. Дру-

гими словами, дальнейшее расширение либерализации требует далеко идущих изменений в механизме отправления власти, т. е. демократизации.

### **Возвращение на землю**

Лето 1980 года, открыв возможности для глубоких изменений в системе, одновременно ввергло Польшу в зону повышенной опасности. Никто не знает, какой выбор сделают власти в Кремле перед лицом дальнейшего развития польских событий. Никто не знает также, возможно ли создание некой «гибридной» системы, которая обеспечит сохранение того, что является самым важным для Советского Союза, и в то же время позволит удовлетворить устремления поляков. [...]

Похоже, что Москве легче согласиться с теперешним состоянием разложения государственного организма, чем со стабилизацией в неприемлемом для нее направлении. Москва не признаёт и не признает происходящих в Польше перемен: слишком они опасны для ее физической и идеологической империи, — вместе с тем огромные потери (в прямом и переносном смысле), в которые обойдется вооруженное вмешательство, удерживают Советский Союз от наиболее естественного для него решения.

Принятая пока что Москвой стратегия «ни войны, ни мира», все чаще сопровождающаяся необычайно грубым, неприкрытым нажимом, рассчитана на изматывание польского общества кризисом, непрерывным напряжением, на укрепление сторонников порядка «любой ценой». Но эта ситуация негативного равновесия может пойти на пользу польскому обществу, несмотря на все приносимые им жертвы, ибо чем дальше, тем глубже и необратимее перемены в политической, общественной и духовной жизни страны.

### **События в Польше и будущее советской империи**

Польская революция стала источником надежды не только для поляков, но и для миллионов людей на Востоке и Западе, которые верят, что советская система не вечна. Потому-то, как в 1956-м, а затем в 1968 году, постоянно слышишь вопросы о вероятности распространения движения за свободу на другие страны империи, включая Советский Союз.

Увы, в историческом развитии нет механических закономерностей. Появление массового сопротивления в Польше не означает, что подобное движение автоматически последует в других странах. В отличие от сказок, в истории счастливые развязки редки.

И все же, несмотря на эти оговорки, несмотря на необходимую долю скептицизма, трудно отделаться от мысли, что события в Польше могут сыграть определяющую роль для будущего империи. На этот раз советская система поражена в самом сердце, в самый корень, в то, что в глазах ее правителей оправдывает сам смысл ее существования. На этот раз мы имеем дело не с движением за реформы, возникшим в рамках партии, которая пытается найти способ сосуществования с обществом на основе компромисса. На

этот раз речь идет не о временных уступках, от которых затем можно будет отказаться. На этот раз советская власть оказалась лицом к лицу не с раздробленной массой, а с обществом, сумевшим восстановить свою целостность, реконструировать разорванные связи, возродить взаимное доверие, моральные ценности, веру.

Глубокий кризис советской империи проявился и на другом ее краю. В Афганистане все началось с самого заурядного коммунистического переворота в 1978 году. Вначале реакция общества не была слишком резкой: вероятно, прежний режим был не чересчур привлекателен. Однако затем произошла беспрецедентная в истории СССР вещь: социальная база, на которую он мог опереться, не только не расширялась, но постоянно сужалась, что привело к затяжной войне колониального характера.

В истории захватнической политики Советского Союза, начиная от вторжения в Грузию в 1921 году и кончая интервенциями в Венгрии и Чехословакии, особенно поражает необычайная способность советских властей находить себе в занятых, завоеванных, оккупированных странах некоторую — пусть даже ограниченную — общественную поддержку. В 56-м или 68-м году управление захваченной страной чрезвычайно быстро, по сути дела — сразу, оказывается в руках местных, а вовсе не советских чиновников, комиссаров или губернаторов. Эта социальная база создавалась по-разному: террором, подкупом, но и путем удовлетворения некоторых важных нужд местного населения. Афганистан — первый пример в истории, когда эта стратегия оказалась безрезультатной.

Когда-то советская империя соблазняла людей своей идеологией, было время, когда на нее с надеждой были обращены глаза народов, стремившихся стать экономически развитыми нациями. Теперь у нее осталась только сокрушительная военная мощь. Московский Казанова больше не в состоянии соблазнять — он может только насиловать. А пример Афганистана показывает, что и это больше не остается безнаказанным.

Итак, два явления, два процесса ставят советскую империю в драматическое положение: с одной стороны — общенародная война за независимость, с другой — общенародное движение за все более широкую автономию, за возможность вести дела у себя дома в соответствии с собственными традициями. Афганская война показала всему миру империалистическую природу советской власти. Польская революция показала, что советский строй не вечен, что из этого тупика можно найти выход.

Как Польша, так и Афганистан демонстрируют, что самой большой угрозой для империи являются надежда и сопротивление. Когда-то советский строй опирался на слепую веру ничтожного меньшинства и на чувство бессилия задавленного террором большинства. Сегодня он может рассчитывать лишь на апатию, безропотность и безверие угнетенных народов.



## СЕРГЕЙ СОЛДАТОВ

### Эстонский узел

*Размышления о национальной судьбе и межнациональных отношениях*

#### Вторжение

Душное лето 1940 года. Восточная Эстония, волость Вайвара, Нарвское шоссе. По шоссе движется грохочущая, серо-зеленая лавина — бесконечные колонны танков, орудий, бронемашин, спецмашин и грузовиков, до отказа набитых мотопехотой. Бойцы бездумно и лихо горланят «Катюшу». Какая-то часть делает привал. Группа солдат и офицеров в краснозвездных фуражках и пилотках окружает русского белоголового мальчика. Град вопросов: «А кем ты станешь, когда вырастешь большим? А хочешь ли поехать с нами в СССР?» Захватывая страну, готовясь к репрессиям, сталинские командиры, по указанию хозяина, носили маску приветливости с населением.

Не помню уже, что я им тогда отвечал. Но через четверть века судьба даст собственный ответ: повзрослев, я стану убежденным противником советского империализма, воплощаемого в этих разговорчивых офицерах, и затем поеду в СССР, в один из его концлагерей, — на многие годы. Ну а пока, надсадно ревя моторами и отравляя девственный, приморский воздух выхлопными газами, бронированные полчища Сталина спешно, без боя, занимают жизненные центры маленькой, мирной, процветающей страны...

Я глубоко уважаю память выдающегося эстонского национального лидера президента Эстонской Республики Константина Пятса и потрясен его судьбой. С июля 1941 года он уже никогда, до самой смерти не покинет стен советских тюрем и специальных медицинских заведений И в начале хрущевской «оттепели», глубоким стариком, одиноко умрет в одной из психобольниц Калинина, несломленным и непримиримым. Тогда в злосчастном 1940 году, отдавая войскам приказ не сопротивляться и соглашаясь на разоружение вооруженного союза «Кайтселийта» (около 30 тыс. членов!), он, конечно же, руководствовался любовью к своему народу, стремясь избежать кровопролитного столкновения и оградить нацию от невосполнимых потерь. Все это можно понять. И все же... Возможное, но не принятое решение вождей демократического государства начать оборонительную войну против захватчиков и за национальную свободу, имея за собой народ

и вооруженные силы, могло бы принести если не военно-оперативный, то морально-политический успех.

А пока что, при поддержке вооруженных до зубов чужеземных войск, разыгрывался фарс установления «власти трудящихся», а затем была инсценирована комедия «воссоединения в семью народов СССР». По ночам, правда, начинают исчезать вместе с семьями политические деятели, «виновные» лишь в том, что служили своей стране. Народ пока угрюмо молчал, но некоторые карьеристы спешили преуспеть в новых условиях...

## Истребление

Вслед за частями Красной Армии пришли, как водится, подразделения НКВД. Любопытно, что, прежде чем начать массовые расстрелы, как в стенах замка Курессааре, и кровавые пытки, как в обширных подвалах кондитерской фабрики «Кавэ», чекисты... дали населению Таллинна концерт народной песни и пляски. Подлинная магическая пляска ведьм для усыпления своих будущих жертв!

И вот настала зловещая ночь на 14 июня 1941 года, когда около 12 тыс. эстонских граждан, поднятые со своих постелей, сначала вместе, а потом отделенные от женщин, стариков и детей, умирая от жажды и невыносимого обращения, в вагонах для перевозки скота начали свой скорбный путь в Сибирь, на Север и в другие районы СССР. И почти для всех этот путь окажется последним. Они уже никогда не увидят своей родины. Массовые аресты и расстрелы продолжались и дальше. С начала войны будет насильно мобилизовано более 30 тыс. юношей, цвет которых погибнет под Великими Луками в 1942/43 г. Всего было угнано на Восток около 60 тыс. человек. Отступая, советские войска уничтожали за собой заводы, сооружения, электростанции, железные дороги, увели весь торговый флот и автомашинный парк, вывезли все запасы сырья и продовольствия, угнали скот, незаконно присвоили львиную долю национального достояния когда-то процветающей страны. Особенно поражает, что уничтожали народные дома, волостные управления, маслобойни, холодильники, построенные на деньги, собранные эстонским крестьянином. И что самое страшное, сжигали жилые дома и церкви...

На высоком холме в Вайвара, куда сходились старое и новое шоссе, стояла прекрасная, белоснежная православная церковь. Над ней высилась башня с зеленым куполом, с узорчатыми позолоченными крестами. В августе 1941 года серпасто-молоткастые соплеменники зацепили эти кресты тросом и при помощи трактора сорвали башню вместе с крестами, церковь разграбили и подожгли, иконы же и другие изображения были найдены на опушке леса в порубленном и изгаженном виде. Та же участь постигла и лютеранскую церковь. А как забыть того лесника, заподозренного в снабжении «лесных братьев» продовольствием? Во дворе собственного дома и на глазах у собственной семьи он был замучен до смерти. На его теле нашли десятки штыковых ран... [...]

Аресты, депортации и расстрелы продолжались еще целое десятилетие после войны. В одном только 1949 году, в ходе т. н. коллективизации, было угнано в Сибирь и на Север почти сто тысяч человек. Всего эстонский народ за 15-летие 1940 – 1955 потерял убитыми, расстрелянными, погибшими, депортированными и вынужденными эмигрировать почти треть своего состава.

## Порабощение

[...]

1. *Тоталитаризация.* С большевистским вторжением, нации были навязаны коммунистическая идеология, не принимаемая подавляющим большинством нации с ее развитым чувством индивидуальности, тоталитарный режим, чуждый общественной традиции и душевным склонностям, и культурная жизнь, враждебная национальному духу и историческому наследию. Все это вызывает упорное сопротивление со стороны наиболее активной и решительной части нации и населения Эстонии.

Практически 12 лет после войны, в основном, в условиях сталинского террора, продолжалась самоотверженная, неравная вооруженная борьба эстонских партизан. Зарубежная эстонская эмиграция энергично поддерживала требования независимости и свободы для своего народа в условиях свободного мира. С 1966 года в Эстонии начинается период невооруженной, политической борьбы против иноземного господства, за восстановление свободного и независимого государства. Возникли политические союзы: «Демократическое движение Эстонии», тесно связанное с «Демократическим Движением Советского Союза», и «Эстонский Национальный Фронт», были разработаны их политические программы, обращения в ООН и др. документы, издавались журналы «Ээсти демокраат» («Демократ Эстонии»), «Ээсти рахвуслик хяял» («Голос эстонской нации»); активисты союзов содействовали изданию «Демократа» и «Луча свободы» на русском языке.

В 1974-75 гг. были арестованы 5 активистов ДДЭ («Демократического Движения Эстонии»), ДДСС («Демократического Движения Советского Союза») и ЭНФ («Эстонского Национального Фронта»), в том числе и я. Десятки людей были репрессированы внесудебно. Но борьба продолжалась. Уже в августе 1979 года 45 представителей Балтийских стран обратились в ООН и к Западу, в защиту своего права на независимость. В 1980 году были арестованы эстонские борцы М. Никлус Ю. Кукк, погибший в 1981 году в Вологодской тюрьме, В. Нийтсоо, Т. Мадиссон, В. Калеп и многие другие. С июня 1981 года в Эстонии распространялись листовки с призывом провести 1 декабря и в первый рабочий день каждого последующего месяца «Полчаса молчания» с остановкой всякого движения и работы — в поддержку следующих требований: а) вывод советских войск из Афганистана, б) невмешательство в дела Польши, в) прекращение вывоза продовольствия из страны, г) прекращение тайных видов снабжения, д) освобождение политзаключенных, е) сокращение воинской службы на полгода, ж) введение в действие основных принципов Декларации прав человека и Хельсинского

договора... Советской милиции и КГБ удалось на первый раз заблокировать бойкот, и широкого участия населения пока добиться не удалось. Но цыплят по осени считают...

2. *Колонизация.* В великодержавных целях советское руководство наращивает организованный и стимулирует стихийный поток переселенцев из России в Эстонию. Вместо 60 тыс. русских на 1940 год там ныне, за счет переселения, проживает их 410 тысяч. Всего неэстонского гражданского населения на 1980 год — 517 тыс., т. е. около 35% населения. Вместе с многочисленными военными континентами и их обслуживающим персоналом общая численность инородного населения далеко переваливает за 50%.

Что бы сказали французы или немцы, если бы на их землю переселилось по 18-20 млн. китайцев или индонезийцев, а с их военными частями — по 28-30 миллионов? Число «гастарбайтеров» и беженцев в ФРГ не превышает 5-6 млн. (т. е. ок. 10%), а в Англии установлены жесткие квоты на иммиграцию из стран Содружества и слышен голос общественного протеста. Непатриотично русскому человеку в поисках сладкой жизни и длинного рубля заселять национальные территории, в то время как исконно русские области (Псковская, Костромская, Орловская, Кировская и др.) пустеют. Будущее демографическое решение в Эстонии может быть только одно: благожелательная репатриация колониалистского населения, со снижением % инородного населения до нормального (15%).

3. *Русификация.* Неприятно, когда пытаются насильно германизировать, гебраизировать или русифицировать какой-либо народ. Одна из наиболее возмутительных форм русификации в Эстонии — подавление национального языка и административное навязывание русского. Зачем же осквернять этот достойный язык, превращая его в дубинку против коренного национального языка — основного духовного наследия нации, плода многовекового творчества? Ничего, кроме неприязни к русскому языку, этим добиться нельзя.

Эстонцы любовно называют свой язык «эмакеель», что в переводе означает «материнский язык». [...] Недаром очередная попытка Министерства просвещения ЭССР (1980) по указанию из Москвы сократить уроки эстонского языка и резко увеличить часы русского стали поводом к массовым молодежным демонстрациям в Таллинне и Тарту. Для разгона 5-тысячной демонстрации в Таллинне пришлось вызывать, кроме милиции, регулярные армейские части. [...]

## Присвоение

Эстонский народ имеет небольшую территорию (45 тыс. кв. км) и обладает ограниченными природными ресурсами. В великодержавных интересах и вследствие хищнического ведения хозяйства национальные ресурсы быстро истощаются, без малейшей заботы о будущих поколениях. Близки к исчезновению запасы сланца и торфа, все меньше становится морской рыбы, загрязняется воздух, отравляются реки и водоемы. Большой ущерб нанесен лесам, и лишь благодаря рациональному хозяйствованию эстон-

ского земледельца еще плодоносит почва. Основная часть промышленной и мясомолочной продукции, картофеля и зерна вывозится в Россию, производимая электроэнергия (Нарвская ГЭС и Балтийская ТЭЦ) идет на снабжение Северо-Запада России, в то время как население начинает испытывать постоянные перебои в подаче электроэнергии.

Искусственно поднятая зарплата, широкая распродажа автомобилей и возможность строительства домов до определенного времени стимулировали труд крестьян. Но в обстановке всеобщего экономического кризиса и неуклонного падения покупательной способности рубля производительность сельского хозяйства резко упала. И к концу 1978 года впервые за много лет были полностью сорваны госпоставки по мясу, молоку и маслу. [...]

За последние 3-4 года произошло резкое снижение жизненного уровня. В стране высокоразвитого мясомолочного производства имеется в продаже лишь один низкокачественный сорт колбасы, продажа масла в одни руки снижена до 200 г, нет сухофруктов, фруктов, свинины, копченых изделий, рыбы и многого другого. Постоянно пропадают из продажи простейшие товары широкого потребления: нитки, мыло, полотенца, хлопчатобумажные ткани, постельное белье, шерстяные нитки и изделия и т. п.

Нация, способная обеспечить свое процветание, не должна быть принудительно нивелирована под общий низкий уровень Советского Союза. Процветание России должно достигаться ее собственными силами, а не за счет ограбления национальных окраин. Для этого у России есть и богатые природные ресурсы, и многомиллионное, трудоспособное население. Будущее экономическое решение для независимой Эстонии — безвозмездный переход всего оборудования и всех сооружений, созданных в период советского господства, в собственность Эстонского государства. Это будет лишь частичным возмещением уничтоженного и расхищенного за полвека эстонского национального достояния.

### Сопоставление

Зная, что с Эстонией стало после июня 1940 года, уместно выяснить, что было до.

Политически Эстония была классической свободной, демократической республикой, обеспечивающей всем своим гражданам и подданным всю полноту прав человека, в том числе широкую возможность общения со странами всего мира. Лишь с 1934 года, в связи с подъемом экстремистских сил и под влиянием ситуации в Германии, президентская власть была усилена, ее полномочия расширены и некоторые гражданские права ограничены.

*Экономически* она была процветающей страной — не только на уровне Швеции, Дании и Финляндии 30-х годов, но в каких-то деталях даже превосходя их. Основу благосостояния страны создавал эстонский крестьянин своим редкостным трудолюбием, бережливым и разумным хозяйствованием на неласковой и неплодородной земле. Важен был и добросовестный труд эстонского рабочего. Страна обладала значительным торговым и ры-

боловным флотом. Экспорт масла и бекона в европейские страны, доход от промышленных концессий, туризма и международных здравниц обеспечивал стране приток твердой валюты. Несмотря на известные затруднения в период мирового кризиса 1929-33 гг., она была страной высокого благосостояния. И была бы ею сейчас...

*Культурная жизнь.* Издавались десятки газет и журналов, книги выходили большими тиражами. Все интересное и значительное в мировой литературе, философии и науке было переведено на эстонский язык. В стране проводились певческие праздники и художественные выставки, действовали театры и музеи, строились народные дома и школы. В каждой местности были певческие хоры, театральные коллективы, кружки народного танца, оркестры народных инструментов. Работал Тартуский университет — всемирно известный образовательный центр. Развивалась наука, особенно ее гуманитарные области. Высокого развития достиг спорт во всех его видах.

*Национальные отношения.* В Эстонии проживало около 60 тыс. русских, часть которых пренебрежительно относилась к независимому национальному государству. Вместе со шведами, немцами и евреями неэстонское население составляло около 100 тыс. человек. Все они пользовались всей полнотой гражданских прав и широкой культурной автономией. Ограничивалось лишь принятие на службу в государственные учреждения — требовался язык, гражданство и необходимый образовательный ценз.

Как жило русское национальное меньшинство? Полноценная жизнь была у Русской православной церкви, существовало русское представительство при парламенте Эстонии, русские могли свободно выезжать в любую страну, функционировали русские учебные заведения вплоть до гимназий, издавались русские газеты, журналы и книги, действовали русские общества и организации, проводились певческие праздники и слеты, работал русский театр и проводились концерты русских народных инструментов... Пользовались ли русские в советской России такими же возможностями для развития своей национальной культуры, как в стране, которую они иногда иронически называли «картофельной республикой»?

Советское вторжение превратило вольный народ в угнетенный; независимое государство — в несвободное; процветающее хозяйство — в необеспеченное; развивающуюся культуру — в подавляемую; полноправные нации — в бесправные. Национальное же Эстонское государство обеспечивало своему населению человеческий и полноценный образ жизни. Вот почему я сторонник восстановления Эстонской Республики! Вот почему боролся и борюсь во имя этого, хотя мне очень близки судьбы других стран и народов.

### **Что делать?**

[...] Эстония является самой малой страной среди союзных республик СССР. Именно поэтому она требует наибольших забот и наибольших усилий по спасению ее народа, по освобождению ее страны. И здесь все зави-

сит от дееспособности различных сил, расположенных в мире. Эти мировые и национальные силы могли бы успешнее исполнить свой моральный и политический долг, если в отношении Эстонии:

*на Востоке*

— признают несправедливость захвата страны, неестественность, бесчеловечность и обратимость навязанных ей социальных процессов, безусловность ее права на самоопределение и саморазвитие;

— будут содействовать ее независимости, выводу войск с ее территории, репатриации колониалистской группы населения, передаче всех советских экономических ценностей в республике в ее собственность;

в *политэмиграции* будут наращивать усилия во имя передачи правдивой информации на родину, оказания человеческой поддержки жертвам преследований, большего сплочения и сотрудничества с союзническими силами эмиграции, привлечения содействия западных сил;

*на Западе*

— будут основываться на положениях Атлантической Хартии, Устава ООН, Декларации предоставления независимости колониальным странам и народам, Международного пакта о гражданских и политических правах, Хельсинкского договора и примут действенные политические и экономические, социальные и правовые меры во имя самоопределения и независимости эстонского народа и помощи ему.

Все сказанное полностью относится ко всем несправедливо захваченным странам и угнетенным обществам, ко всем зависимым и несвободным народам.

В иных случаях я особенно ясно понимаю, что значит чаадаевско-солженицынский стон: иногда стыдно быть русским. [...]

Неблагополучно сейчас в Советском Союзе и России. Налицо резкий рост недовольства и социальной напряженности в стране. Причины тому *экономические*: неуклонное снижение жизненного уровня, острый недостаток продовольствия и товаров массового потребления, наличие тайного снабжения; *социальные*: жилищный кризис, плохое медобслуживание, неудовлетворительность транспорта, недостаток мест в яслях и детсадах; *внешнеполитические*: непопулярная и кровопролитная война в Афганистане, соблазнительный пример свободного профсоюзного движения в Польше, растущая угроза войны с Китаем; *внутриполитические*: преследование участников религиозного и правозащитного движения, обострение национальных противоречий. Все это в ряде случаев вызывает массовые протесты, как показали забастовки 1980-81 гг. в Горьком, Тольятти, Минске, Киеве, Куйбышеве, Тарту, Кульдре.

Правительство лихорадочно ищет выхода из создавшегося кризиса, запугивая, например, внешней опасностью и в то же время тайно закупая у своих «врагов» рекордное количество зерна в 1981 году — 46 млн. тонн. Но оно никогда не найдет его в границах существующей системы. Выход надо искать вне системы. [...]

Главную задачу для Восточной Европы и России я вижу в морально-политическом Возрождении, при котором воцарится Свобода, расцветет Любовь и будет достигнуто общечеловеческое Единство. Оно заключается: для нерусских народов Советского Союза — в самоопределении и самоочищении; для русского народа — в самоосвобождении и самоочищении; для несоветских народов восточного блока — в достижении независимости и в самоочищении. И содействовать этому могут более сплоченная политэмиграция и наиболее сочувствующие круги Запада.

Дело Свободы Восточной Европы является частью всемирного дела Свободы и Любви. Европа — неделима! Ее будущее — в воссоединении Запада и Востока на основе свободы, сотрудничества, солидарности и взаимопонимания. Свободная Восточная Европа и Свободная Россия — это надежнейший партнер Запада в будущем, гарантия мира и процветания в новой, целостной Европе, которую мы должны созидать уже сегодня!

*1982, № 32*



## ГУСТАВ ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

### Два эссе

#### Егор и Иван Денисович<sup>1</sup>

В одиннадцатом томе польского собрания сочинений Чехова находим мы «Остров Сахалин» — в первом (неполном) переводе Ирены Байковской...

Чехов решил ознакомиться с островом каторги в конце 1880-х годов. Вполне вероятно, что именно на Сахалине он надеялся дойти до сути современной российской жизни и жизни человеческой вообще. [...]

К путешествию он готовился с присущими ему добросовестностью и основательностью, слегка кокетничая «скромностью» своего писательского, врачебного и общественного положения: *«Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий... Нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе»*. Однако он прекрасно понимал, зачем едет. В том же письме он добавлял, что *«Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный или подневольный»*, и полагал *«нас всех»* ответственными за *«каторжный остров»*. Следующее признание относится к тому же периоду подготовки к путешествию: *«...Благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости (а это были уголовные кодексы Российской империи, выписки из истории тюрем, документы о колонизации Сибири. — Г. Г.-Г.), я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я имел невежество не знать раньше»*.

10 июля 1890 года он причалил к берегам острова.

Провел он там три месяца. Почти невероятно, сколько успел он сделать за столь краткий срок. Осмотрел все тюрьмы и поселения, произвел перепись населения острова, записал десятки разговоров, самолично организовал карточную систему опроса, которую в наши дни практикуют группы социологов и специалистов анкетирования. Доступ ему закрыт был только

---

<sup>1</sup> Это эссе было одним из первых иностранных откликов на выход «Одного дня Ивана Денисовича». — *Прим. ред.-1978.*

к политическим ссылным. *«Я... видел всё, кроме смертной казни... По воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом».*

Он работал над книгой четыре года (с перерывами) и относился к ней как к исследованию, которым собирался «немножко заплатить» в счет своей задолженности перед медициной. Тем не менее «доктор» Чехов говорил, что перед отъездом «Крейцера соната» Толстого была для него событием, а теперь смешит и кажется чем-то бессмысленным. «То ли я благодаря поездке возмужал, то ли разума лишился — чёрт его знает». И в самом деле, эта смесь научного отчета, инвентарной описи, ежегодника статистики, исследования на стыке психологии, социологии, медицины и права, которую представляет собой книга о Сахалине, могла ввести в заблуждение разве что цензора, но отнюдь не рядового читателя.

*«В Корсаковском посту живет ссыльнокаторжный Алтухов, старик лет 60 или больше, который убегает таким образом: берет кусок хлеба, запирает свою избу и, отойдя от поста не больше как на полверсты, садится на гору и смотрит на тайгу, на море и на небо; посидев так дня три, он возвращается домой, берет провизию и опять идет на гору... Прежде его секли, теперь же над этими его побегими только смеются. Одни бегут в расчете погулять на свободе месяц, неделю, другим бывает достаточно и одного дня. Хоть день, да мой. Тоска по свободе овладевает некоторыми субъектами периодически и в этом отношении напоминает запой или падучую; рассказывают, будто она является в известное время года или месяца, так что благонадежные каторжные, чувствуя приближение припадка, всякий раз предупреждают о своем побеге начальство. Обыкновенно наказывают плетями или розгами всех бегунов без разбора, но уж одно то, что часто побеги от начала до конца поражают свою несообразностью, бессмыслицей, что часто благоразумные, скромные и семейные люди убегают без одежды, без хлеба, без цели, без плана, с уверенностью, что их непременно поймут, с риском потерять здоровье, доверие начальства, свою относительную свободу и иногда даже жалованье, с риском замерзнуть или быть застреленным, — уже одна эта несообразность должна бы подсказывать сахалинским врачам, от которых зависит наказать или не наказать, что во многих случаях они имеют дело не с преступлением, а с болезнью».*

Однако «болезнь свободы» не распространяется на всех сахалинских ссыльнокаторжных. Только один раздел книги озаглавлен, и это означает, что автор хотел как-то подчеркнуть его важность. Называется раздел этот «Рассказ Егора».

Чехов встретил каторжника Егора в доме одного чиновника. Это был сорокалетний крестьянин «с простодушным, на первый взгляд глуповатым лицом». В дом чиновника он приходил не по обязанности, но «из уважения», чтобы помочь прислуге, старухе. Мастер на все руки, он постоянно был чем-то занят, постоянно искал себе дела и спал лишь по два-три часа в сутки. Только в праздники видели его стоящим где-нибудь на перекрестке, в пиджаке поверх красной рубахи, выпятившего живот и расставившего ноги. Это называлось у него «гулять».

Сослали его на Сахалин «за убийство». Из его простодушного и путаного рассказа явствует, что обвинили его без всяких на то оснований и засудили безвинно, за отсутствием свидетелей. На Сахалине он почти доволен своей участью. Когда его спрашивают, скучаешь ли по дому, он отвечает: *«Нет. Одно вот только — детей жалко»*. О чем он думал, когда в Одессе его вели на каторжный пароход? *«Бога молил»*. — *«О чем?»* — *«Чтобы детям ума-разума послал»*. Почему не взял с собой на Сахалин жену и детей? *«Потому что им и дома хорошо»*.

Наталья Модзелевская вполне справедливо пишет в послесловии: *«Наи-трагичнейший персонаж каторги мы встречаем в “Рассказе Егора”, записанном внешне бесстрастно. Егор — это в некотором роде собирательный образ этих нищих духом, которые не отличают уже справедливости от беззакония, которые утратили восприимчивость и к своим и к чужим страданиям и в ком не тлеет даже хотя бы искорка протеста. Они принимают свою участь с бесконечной покорностью; им даже удается быть довольными. Эта ужасающая сила инерции и покорности, как показывает Чехов, становится одной из опор, на которых держится каторга»*.

Для автора «Записок из мертвого дома» страдания осужденных на каторгу имели характер ничем не объяснимый, были как бы ступком извечной человеческой доли; каторжники-поляки, как точно заметил Ежи Хостовец, раздражали Достоевского попытками рационального или мистического изъяснения этой доли. Для Чехова смиренное страдание Егора стало обвинением этому обществу; автор книги о Сахалине имел бы полное основание поместить на ее титульном листе восклицание Марка: *«Сколько же убого общество, которое для своей защиты вынуждено звать на помощь палача!»*

\* \* \*

Шестьдесят лет спустя мы наблюдаем на каторге внука или правнука Егора, Ивана Денисовича Шухова. Послал ли ему Бог «ума-разума»? Помогла ли ему революция разобраться в своей доле? Выбил ли новый строй в нем «хотя бы искорку протеста»? Вернула ли ему новая власть «восприимчивость к своим и чужим страданиям», наделила ли его способностью «отличить справедливость от беззакония»?

Читая повесть Александра Солженицына, во всем этом можно усомниться. И самое страшное не то, что неслыханное и бесчеловечное издевательство над заключенными откровенно вошло в обиход системы. Самое страшное — это короткие замечания, столь же бесстрастно записанные и мимоходом рассеянные в солженицынском тексте, как «Рассказ Егора» в книге Чехова. *«Сколько раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идет, не убавляется его вовсе»*. [...] *«Эта полоса была раньше такая счастливая: всем под гребенку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то еще можно прожить, не околеет, — а ну, двадцать пять проживи?»* А вот фраза, завершающая повесть: *«Прошел день, ничем не омраченный, почти счаст-*

ливый». Ничем не омраченный — это после 900 минут, из которых каждая полна муки и унижения! Почти счастливый! Разве не слышатся здесь отголоски речей Егора? Только в одном его внук или правнук научился наконец «отличать справедливость от беззакония»: «А разобраться — для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребает да своим лейтенантам премии выписывает. Тому ж Волковому за его плетку. А тебе — хлеба двести грамм лишних в месяц. Двести грамм жизнью правят». Егор все же не принужден был отдавать жизнь за 200 грамм хлеба: в свободные минуты он стоял на перекрестке выставив живот...

Иван Денисович *«уж сам... не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо. Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы — домой. А домой не пустят...»*. «Отчего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин?» — «Потому что им и дома хорошо». «Алеша, — говорит Иван Денисович молодому баптисту с соседней вагонки. — Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад». Раздражал немного его этот Алеша, как раздражали Достоевского каторжники-поляки: «Вишь, Алешка... у тебя как-то складно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел?» [...]

Сколь же несчастно общество, которое для своей защиты вынуждено звать на помощь палача!

\* \* \*

Чтение книги Чехова о Сахалине приводит нас теперь к дополнительным размышлениям. Что за поразительные времена, когда знаменитому и недужному писателю охота была целых три месяца добираться к Богом и людьми забытому острову каторжников! «От Красноярска до Иркутска, — писал он с дороги, — страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку... Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю Бога, что Он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие... Многие я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека». Еще больше увидел и пережил он «как литератор и просто как человек» на Сахалине.

В наше время обладание знанием не требует подобных усилий; тем не менее, для современного «литератора и человека» оно не стало от этого делом более простым и легким. Десять лет тому назад в нашумевшей полемике с Камю на страницах «Тан модерн» Сартр писал: «И я считаю советские лагеря явлением недопустимым; но равно недопустимо, на мой взгляд, и то, как каждодневно использует их буржуазная пресса». Буквально то же самое сказал мне три года назад Владислав Броневский. На деле это означает, что

«недопустимым» в равной мере является как существование лагерей, так и сведения о них, поскольку «небуржуазная» пресса, как правило, либо окружала их заговором молчания, либо считала вымыслом прислужников «холодной войны». Иван Денисович таким образом вынужден был дожидаться, когда его судьба предстанет перед трибуналом, заслуживающим большего доверия.

Благодаря повести Солженицына мы имеем сегодня такой трибунал — во главе с самим Хрущевым. Наконец-то «единственно-верная» пресса привлекает из лагерей «единственно-верную» пользу. Но хотя мы и с удовлетворением следим за заседаниями «единственно-верного трибунала» — это ничего, что задержался он на четверть века, — мы не в состоянии сбить с глаз долой один давний фотоснимок 1935 года, который Борис Левицкий включил в свою прекрасную книгу «От красного террора к социалистическому благоденствию». Книга является обзором лагерей Беломорканала (в которых, по приблизительным подсчетам, погибло триста тысяч заключенных). На первом плане — пара мастеров своего дела: Ягода с Кагановичем. Чуть сбоку, в кепке набекрень и рубашке навыпуск, с простодушным и на первый взгляд глуповатым лицом, с заложенными за спину руками и выпяченным животом, — подмастерье: Никита Сергеевич. Тоже, может статься, внук или правнук Егора.

1963

## Силоне на Востоке

«Я родился первого мая 1900 года». Силоне это часто повторял, с искоркой иронии и удовлетворения в своих глубоких прекрасных глазах. Кто склонен придавать символический смысл датам, мог бы добавить сегодня: «И умер в ночь с 21 на 22 августа 1978, почти точно в десятую годовщину оккупации Чехословакии». Обе эти даты, замыкающие жизнь, творчество и всё более и более отчужденную, полную разочарований и наконец заглохшую партийную деятельность одного из самых больших современных писателей, — обе эти даты отмечают также целую эпоху: от веры в идеальный социализм до окончательных и бесповоротных похорон социализма «реального».

Году в 36-м, в предпоследнем классе гимназии в Кольцах, я прочитал (разумеется, по-польски) сначала «Фонтамару», а потом «Хлеб и вино». Впечатление было огромное. Польские читатели любили Силоне, особенно те, кто был более или менее близок к идеям социализма. Даже коммунисты им горячо восхищались. Но те, кто пришел к власти после войны, разумеется, перечеркнули его существование: его книги не переиздавались, строго-настрого было запрещено упоминать его имя в печати. Лишь после «Октября» 1956 года, в итоге кратковременной «либеральной амнистии», была переиздана «Фонтамара». Однако — очевидно, под давлением Москвы — Силоне вскоре снова сделал жертвой цензуры. [...]

Вспоминаю об одном эпизоде, рассказанном мне Силоне в пору нашей с ним дружбы. В Рим, в ответ на визит Сарагата в Польшу, с государственным визитом прибыл президент Польской народной республики, старый коммунист Охав. Польское посольство устроило в большом римском отеле прием для «культурных кругов» столицы. Силоне, будучи приглашен, сначала колебался, но, наконец, решил пойти. В тот момент, когда его представляли президенту ПНР, он увидел, как Охав просял. «Силоне? Какая радость, как я счастлив познакомиться с вами лично, ведь я буквально пожирал ваши книги в тюрьмах довоенной реакционной Польши!» На что Силоне: «Я чрезвычайно польщен, господин президент. Но если дела обстоят именно так, нельзя ли было бы переиздать мои книги в прогрессивной стране, которую вы возглавляете, — если не для тюремных читателей, то по крайней мере для тех, что на свободе?» Охав поблбднел и ничего не ответил. В этом весь Силоне: равнодушный к условностям, когда дело касается истины, резкий и удивительно человечный, решительный и спокойный. Тот же самый Силоне, который в 1927 году в Москве единственный не побоялся и не поколебался дать отпор Сталину на заседании Коминтерна, отказываясь «в темную» осудить никем не читанный документ «контрреволюционера» Троцкого.

Я познакомился с Силоне в Риме в конце 1955 года, тогда же, когда и с Никола Кьяромонте, которого я никогда не устану оплакивать. Они пригласили меня сотрудничать в только что основанном журнале «Темпо презенте». [...] Для меня, обосновавшегося в Италии писателя-беженца из Восточной Европы, было большой удачей бросить якорь в этом родном порту. В Силоне и Кьяромонте я нашел понимание и почувствовал интерес к делам, которые меня волновали; оба они бесчисленное количество раз демонстрировали то сочувствие, ту человеческую солидарность, которая значит гораздо больше, чем простое любопытство. [...]

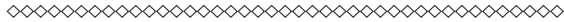
В Советском Союзе Силоне был проклят тотчас после его разрыва с партией. Там Силоне еще менее известен, чем в Польше. Положение отчасти изменилось, когда несколько лет назад за границей вышла по-русски «Судьба одного бедного христианина». Я в этом убедился из беседы с Максимовым, когда он готовил к выпуску в свет первый номер «Континента». Он попросил меня уговорить Силоне войти в состав международной редколлегии журнала. И добавил: «Его очень высоко ценят Солженицын и Сахаров». Мои «уговоры» в римском доме Силоне продолжались ровно две минуты. Он с уважением и восхищением относился к свободным писателям и мыслителям России и Восточной Европы. В своем последнем интервью, за месяц до смерти, он сказал о Гарвардской речи Солженицына: «Я очень высокого мнения о Солженицыне, хотя и не во всем с ним согласен. Неверно, что духовная сила сегодня сохранилась только на Востоке».

В новой книге Зиновьева «Светлое будущее» есть повторяющийся мотив оборванной старушки, которая своими частыми и молчаливыми появлениями под окном московской квартиры рассказчика (крупного марк-

систского философа) волнует его и будоражит совершенно необъяснимым образом. Мне хочется думать, что и Зиновьев прочитал по-русски «Судьбу одного бедного христианина», что и он надолго призадумался над словами Целестина, обращенными к папе Бонифацию VIII: *«Бог создал души, а не учреждения. Души бессмертны, а не учреждения, не царства, не нации, не церкви. Ваше Святейшество, если вы посмотрите вон в то окно, вы увидите на лестнице перед собором оборванную старушку, нищенку, существо, которое в жизни мира сего ничего не значит; она сидит там с утра до вечера. Но через миллион лет, через тысячу миллионов лет душа ее будет существовать, потому что Бог создал ее бессмертной. А Неаполитанское королевство, Франция, Англия, все другие государства с их армиями, судами, прочим — все они обратятся в ничто».*

1978, № 18

# РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ



**ВИКТОР ТРОСТНИКОВ**

## **Конец эпохи самоугождения**

[...] Эпитетов двадцатому веку надавали много. Это и «век атома», и «век космоса», и «век социальных преобразований». Можно дать еще десятки определений. Но каждое из них берет какую-то частную деталь. А нельзя ли ухватиться за главное?

Несомненно, можно. Наш век следует определить так: это был век, в котором бездуховность достигла максимума и начала испытывать все обостряющийся кризис. В этих словах лежит ключ к пониманию всех главных особенностей заканчивающегося столетия. Такая формулировка хороша тем, что «духовность» — понятие очень четкое. *«Духовность есть обличение вещей невидимых»*, говорили наши мудрые предки, и точнее не скажешь. Следовательно, *бездуховность* есть неспособность воспринимать невидимое.

Раз наш век бездуховен, значит, он материалистичен. Тому, кто слеп и глух к вещам невидимым, остается признать лишь вещи доступные чувственному восприятию, т. е. материальные. Бездуховность рождает в нас материализм и философский, и житейский.

Впрочем, к теории, которая кладет в основу картины мира понятие материи и пытается вывести из него все остальное, даже трудно отнести как к философии. Философия по самому своему определению есть наука о сокровенной сущности вещей, поиски подлинного, а не кажущегося смысла бытия. Для материализма же вещи служат своим конечным оправданием, и за поверхность происходящего он не ощущает никакой глубины, никакой тайны. Но поскольку он претендует на то, чтобы быть философией, ему приходится прятать свое равнодушие к истинному знанию за дымовой завесой знания ложного. Описание явлений он выдает за их объяснение, метафизику подменяет изложенной на философском жаргоне физикой. По этому поводу можно было бы просто пожать плечами, как это делали лучшие мыслители прошлого столетия, но в нашем столетии выяснилось, что тут не до смеха. Кроме научной стороны, имеется и сторона социальная, и в этом смысле материалистическая философия заставляет отнести к себе в высшей степени серьезно. [...]

Идеологи материализма заявляют, что они любят народ и желают ему добра, а поэтому стараются освободить его от ложных верований и на-



править его усилия на достижение не иллюзорного, а реального счастья. Возможно, многие из таких заявлений вполне искренни. Но беда в том, что ложными-то являются как раз понятия материалистов о реальности. Бездуховность, т. е. неспособность осознать, что невидимое существует не в условном или психологическом, а в самом прямом смысле, делает материалистов почти слепыми, ибо самая важная и содержательная часть бытия не дана нам в непосредственном чувственном восприятии. На нее накинута тонкое покрывало, ограждающее ее от праздного любопытства зевак. Тем не менее, и сам факт ее существования и основные ее черты человеческое сознание способно постигнуть, если только оно прибегнет не к одним внешним, но и к внутренним средствам познания. В этой полупроницаемости, в частичной сокрытости наиболее фундаментальных элементов сущего заключена вся суть гносеологической системы. Так сделано для того, чтобы истина принадлежала только тем, кому она действительно нужна. Здесь мы сталкиваемся как бы с целомудрием тайны, и в этом — удивительная мудрость мироустройства. Чтобы заглянуть в святая святых вселенского замысла, человек должен пройти некую проверку, оказаться полноценным не только физиологически, т. е. иметь нормально функционирующие рецепторы зрения, слуха, осязания и т. д., но и *душевно*: чувствовать многомерность бытия и испытывать потребность проникнуть в его глубинные измерения. Материалист не выдерживает этой проверки, не проявляет тонкости чувств и подлинной любознательности, а поэтому для него закрывается путь к познанию, и он еще гуще окутывается тьмой. Постепенно он окончательно отказывается от света, начинает называть его отрицание «просвещением» и рьяно пропагандирует его в народе. Что должно получиться из такого «просвещения», сказано в Евангелии: оба упадут в яму.

Навязывание обществу материалистической доктрины губительно. Правительство, избирающее материализм официальной философией, совершает роковую ошибку. Его вводит в заблуждение активный, наступательный элемент, характерный для первой фазы господства этой доктрины, — страстный призыв к освобождению человека, импульс к раскрепощению от всего, что закабалит людей. Оно ошибочно видит в этом созидательное начало. Однако соединенное с бездуховностью это превращается в начало разрушительное. И через некоторое время правительство обнаруживает, что все шестеренки, которые должны приводить в движение нацию, крутятся вхолостую. Люди становятся циниками, энтузиазм переходит в равнодушие, и общество делается неуправляемым.

Политический деятель, исповедующий материалистическое мировоззрение, рассуждает следующим образом: надо обеспечить людям материальное благосостояние и воспитать их в духе коллективизма, тогда счастье придет само собой, так как способность быть счастливым заложена в человеке от рождения. Но такой ход мысли в высшей степени безграмотен. Природная основа человеческого организма позволяет человеку наслаждаться

жизнью лишь на животном уровне. Но этого человеку мало. Он давно возвысился над животными и спуститься на чисто биологический уровень существования уже не может, даже если бы захотел. Для полноценного бытия ему нужно очень многое, выходящее за рамки биологии, например, ощущение исполненного долга, уверенность в том, что в его деятельности есть какой-то смысл, что суммарный итог его жизни не сводится к событиям самой этой жизни и в нем имеется остаток, ценность которого не выражается в категориях времени и пространства. Удовлетворение этих запросов души обеспечивается не физической природой индивидуума, а природой социума, в который человек включен, и характером этого включения. Общество играет решающую роль в раскрытии потенций личности, в появлении у нее чувства осмысленности существования.

Если послушать, что говорят философы-материалисты, то может показаться, будто они с этим согласны. Но такое впечатление обманчиво. Их утверждение «общество формирует личность» имеет ложный смысл уже потому, что глубоко ложной является их трактовка понятия *общество*. Здесь их мысль вертится в плоскости политических, экономических, правовых и бытовых межчеловеческих отношений. Они простодушно полагают, что надо спуститься с небес на землю и организовывать общество на реальных, а не воображаемых началах, и тогда оно будет хорошим, а все личности будут освобождены и раскрыты. Но этот упрощенный подход к столь сложному явлению, как социум, приводит к непредвиденным последствиям.

Делаясь государственной доктриной и получая возможность устраивать людские отношения по своей программе, материализм не только не сохраняет, но и активно ломает все те общественные регуляционные системы, действие которых для него слишком таинственно. Каждый индивидуум может сколько угодно иронизировать над официальным мировоззрением, а оно тем временем проводит свою разрушительную работу. И в один прекрасный день индивидуум обнаруживает себя в совершенно новой социальной атмосфере и чувствует, что ему нечем дышать. Его охватывает беспокойство, на сердце ложится какая-то тяжесть. Даже простые телесные удовольствия утрачивают для него значительную долю былой привлекательности. Будто и солнышко светит не так ярко, и осенние листья пахнут не так приятно. Условия жизни вроде бы неплохие, нет войны, дети растут здоровыми... А существование лишилось стержня, стало призрачным, потеряло ценность. Все есть, а радости жизни нет. Что же произошло?

А произошло вот что. В саду росло дерево. Хороша ли была почва, благоприятен ли климат — нам неизвестно, но дерево выросло высоким, и его крона весело зашумела листвою. И вот заботу о нем взял на себя некий садовник. С виду он был обыкновенным человеком, но имел один дефект мышления: никак не мог вообразить, что под поверхностью земли могут находиться какие-то предметы. Ему казалось, что там ничего не может быть, а те, кто говорят о подземных предметах, — суеверные и невежественные люди. Исходя из такого своего представления о реальности, он спилил де-

рево и поместил его в железобетонный стакан, считая, что теперь оно будет стоять гораздо прочнее. Но листья вдруг начали желтеть и сохнуть.

Идеолог-материалист, облеченный полномочиями организовывать по своей теории общественные отношения, поступает, как этот садовник. И если даже он руководствуется самыми добрыми намерениями, людям от этого не легче: их души все равно начинают усыхать и свертываться.

Материализм может утверждать себя и в другой форме — как *образ жизни*. Эта его разновидность тоже есть порождение бездуховности. Оба побега растут от одного ствола и, несмотря на внешние различия, родственны друг другу.

Житейский материализм не стремится выразить себя в каких-то научных формулировках: он спокойно обходится без теоретической базы. Он любит подчеркивать, что в теории познания придерживается тезиса плюрализма — допускает, что истина не единственна. Но у него есть принцип, от которого он никогда не отходит: надо жить так, чтобы было удобно и приятно. Поэтому такой материализм можно назвать еще и гедонизмом. Он как раз потому и обладает некоторой философской расплывчатостью, что менять точку зрения на мир бывает приятно. Он не желает связывать себя прочными узами ни с каким конкретным мировоззрением, чтобы не лишиться возможности сегодня увлечься одной философией, а завтра — другой. Правда, при всем этом видимом свободомыслии он все же обнаруживает устойчивость симпатий: всегда флиртует с какой-нибудь формой философии человеческого самообслуживания, вроде прагматизма, позитивизма или экзистенциализма.

Связь этого материализма с бездуховностью самая непосредственная. Для того, кто перестал воспринимать невидимое, многое из того, что прежде рассматривалось как существующее, становится воображаемым. Из его картины мира один за другим выпадают целые пласты. И все же у него должна остаться какая-то опора. Опорой для человека может быть лишь то, что он считает реальным. У бездуховной личности объем реальности очень ограничен, но все же и у нее имеется некоторый выбор. Возможность выбора и приводит к расщеплению материализма на две разновидности. Одни считают «самым реальным» то, что находится вне нас и дается нам в сенсорных ощущениях; другие придерживаются убеждения, что с наибольшей надежностью можно говорить о реальности нас самих со всеми требованиями нашей природы. Они изучают и используют материю, не особенно вдумываясь в ее философский статус. Поэтому их и можно назвать житейскими материалистами.

Понятно, что этот вид материализма тоже сильно воздействует на социум и переделывает его по своему шаблону. Он приспособливает его к потребительским запросам и поэтому держит приблизительно на уровне индивидуума. С его точки зрения, общество должно оставаться достаточно многообразным, чтобы каждый человек мог извлечь из него что-то, что доставит развлечение или окажется полезным. [...]

Господство материалистической *доктрины*, действительно, приводит к сужению национального сознания, к оскудению языка и других выразительных средств — например, искусства. Но тут есть и другая сторона. В исходном тезисе философского материализма о первичности материи и непреложных законов ее движения и вторичности всего остального проступает мысль об относительной ничтожности и уязвимости человека. Хотя современные философы-материалисты иногда восклицают «все для человека!», это скорее заигрывание с публикой, чем логический вывод из их теории. Нельзя обожествлять два объекта, нельзя служить сразу двум господам, и если тот, кто обожествляет материю, начинает провозглашать богом еще и человека, это выглядит фальшиво. В честной материалистической картине мира с ее бесконечным пространством и временем человек предстает крошечной пылинкой, чем-то случайным, что по стечению обстоятельств возникло из «первичного бульона» путем автоматической эволюции. И это представление не может не сказаться на общем умонастроении общества, которому навязана такая картина. Над этим обществом царит дух строгости и дисциплины, ему доступна идея суровой необходимости. Оно вырабатывает в своих гражданах определенную непритязательность, способность терпеть лишения, сознание превосходства целого над частью. Его индивидуумам понятно жесткое слово «надо». Услышав его, они не задаются вопросом: «а зачем, собственно, надо?», ибо в их души прочно вьелось ощущение фатальности законов социального развития. В какой-то мере членам этого братства не чужды даже аскетизм и самопожертвование. Для них жизнь все еще есть напряжение и борьба — борьба за светлое будущее, приход которого предсказывается теорией. И в этом напряжении, каким бы напрасным оно ни было объективно, нередко раскрываются возвышенные свойства человеческой природы и возникает субъективное чувство исполненного долга.

Гедонистическое общество, объявляет оно об этом открыто или нет, поощряет не аскетизм, а его противоположность — эпикурейство. Это постепенно приводит к обеднению личности. Хотя это общество обязано оставаться достаточно ярким и многокрасочным, чтобы обслуживать потребности индивидуумов, оно медленно, но неуклонно сползает вниз вместе с индивидуумами.

Конечно, в своем стремлении как можно больше насытить жизнь комфортом и удовольствиями, гедонизм пытается использовать самые различные свойства людской природы, в том числе и такие прекрасные чувства, как религиозную интуицию, патриотизм, бескорыстную любовь к знанию и т. д. Ведь из них можно извлечь немало практической пользы и приятных переживаний. Но все же постепенно центр тяжести переносится им на всё более примитивные проявления человека, на его биологию, а затем и на физиологию. Этот процесс редукции развивается стойко, так как для того, кто бездуховен, низменные чувства и грубые инстинкты проще, надежнее и реальнее тонких эмоций. В результате, за последние 80 лет гедонистические общества очень изменились, и изменились в худшую сторону. Если бы

какой-нибудь эпикуреец, умерший в конце прошлого столетия, встал бы сейчас из гроба, он содрогнулся бы от омерзения и назвал бы современных эпикурейцев скотами. Мы не замечаем масштаба совершившейся деградации только потому, что она шла постепенно. В жажде острых ощущений, в погоне за все новыми раздражителями и новыми утехами отменялся то один нравственный запрет, то другой, но прежде, чем сделать еще один шаг по направлению к полному бесстыдству, людям давалось время привыкнуть к тому состоянию, в какое их привел предыдущий шаг.

В обществе потребления возникает губительный порочный круг. В нем развивается тенденция делать ставку на животные побуждения людей, так как такое капиталовложение окупается быстрее всего, а у людей, подвергающихся воздействию этого общества, такие побуждения начинают расцветать все пышнее, тогда как высшие части души, не находя достаточной поддержки, неуклонно атрофируются. Снижение духовного типа индивидуумов заставляет общество все азартнее играть на темных страстях, а темные страсти все больше стимулируются этой игрой. Дичает человек, и параллельно дичает общество. Мельчает личность, и соответственно упрощается социальная структура.

\* \* \*

[...] Даже в самых дальних уголках людям некуда деться от вторжения атеистической идеологии или потребительского образа жизни. Трудно кому бы то ни было пойти сегодня против материалистического мировоззрения и против материалистического жизнеустройства. Они ошеломляют народы простотой и доступностью своих рецептов и, не давая опомниться, разоряют их, отнимая у них вековые национальные заветы. Это можно сравнить с грубым вмешательством в устоявшиеся жизненные циклы природы. Теперь мы хорошо знаем, чем обычно кончается такое вмешательство. В одном месте из лучших побуждений уничтожили воробьев, а потом их пришлось ввозить из-за границы. В другом месте неосторожно развели кроликов, и эти пугливые зверьки стали наводить страх на фермеров. В третьем месте на большой реке понастроили плотин, и вода зацвела, а рыба подохла. В этом отношении мы наконец-то несколько поумнели и стали говорить: экологические системы очень чувствительны ко всем внешним воздействиям, и без достаточного обоснования нельзя нарушать их баланс, ибо это может привести к катастрофическим последствиям. Но ведь людское общество сложнее и тоньше любой природной системы! Тем не менее, здесь никто ничего не остерегается и не интересуется обоснованиями. В наше время считается, что общество — нечто крайне простое, что каждый с одного взгляда разберется, что в нем надо улучшать и что отменять. Такое мнение — прямое следствие духовного ослепления нашей эпохи.

Материальная сторона, которая в нашем существовании первой бросается в глаза, является, несомненно, важной. Но она никак не может служить стержнем нашей жизни. Таким стержнем должно быть понимание

фундаментальных аспектов мироустройства, т. е. тех вещей, которые превосходят наше бытие и включают его в себя как часть. Наше бренное земное существование, как и всякая конечная данность, не самодостаточно. В нем нет и не может быть объяснения его смысла, нет и не может быть полноты. Полнотой обладает только бесконечность, поэтому смысл человеческой жизни может быть осознан и прочувствован только в категориях бесконечных. Это непреложный закон логики, обойти который невозможно. Однако выработать соответствующие представления о мире и месте в нем человека индивидуум самостоятельно не в состоянии. Их может дать ему только общество, где они зреют столетиями и принимают конкретную форму, приспособленную к специфическим особенностям данного народа. Процесс формирования национальных представлений о коренных аспектах бытия не менее сложен и загадочен, чем становление экологической системы леса или болота. Это — сугубо нерукотворный процесс, суммирующий не только спонтанную духовную работу различных поколений, каждое из которых имело свой уникальный опыт и вносило уникальный вклад, но также откровения пророков и отшельников, которых нельзя назначить правительственным указом. Не менее сложны и невоспроизводимы и механизмы хранения складывающегося таким образом органического миропонимания и мироощущения. Оно удерживается в особенностях народной речи, в укладе жизни простых людей, в нравах и обычаях, в детских играх, в легендах и сказаниях, в архитектуре, одежде, прикладном искусстве, в народных промыслах, а главное — в национальной религии, как в ее вероучительном аспекте, так и в обрядовом.

Когда стране навязывается материалистическая идеология или материалистическое мироощущение и потребительский образ жизни, эта бесценная система жизнеобеспечения безжалостно разрушается. Независимо от того, восторжествовала ли здесь теория рукотворного построения коммунистического рая или же утвердился культ обогащения, из национального сознания одно за другим начинают выпадать все понятия, относящиеся к мистическим основам народного существования, так как теперь они перестают означать что-либо реальное. [...] Национализм, распространяющийся сейчас по всей земле, есть самый простой ответ на разрушение внешними силами того невидимого, что создавалось веками и служило стержнем народной жизни. В нем стихийно проявляется коллективный инстинкт самосохранения.

Но силы сторон не равны, и мир все сильнее захлестывает современное варварство. Прямолинейность мышления берет верх над утонченностью, мешанский быт вытесняет сложные уклады иерархических обществ с их причудливыми отношениями между сословиями и кастами. Все неотвратимо движется к нивелировке и однородности, к воцарению стандарта и пошлости. Вступил в силу вселенский закон возрастания энтропии, которому людской род в течение семидесяти тысяч лет ухитрялся не подчиняться. Хорошее перерождается в мерзкое, возвышенное — в подлое. [...]

Печально не только то, что силы, насаждающие бездуховность, могущественны, но и то, что у подвергающихся их воздействию народов возникает иллюзия выбора, хотя на самом деле выбора нет. Им кажется, будто они сами могут определить свою судьбу — взять за образец либо капиталистические порядки, либо социалистические, — и это усыпляет их бдительность. Можно лишь диву даваться, насколько хитер дьявол, притворно разделившийся надвое: один из видов зла можно выдавать за добро.

Правда, разрушить невидимые механизмы жизнеобеспечения нации очень нелегко, особенно если национальный организм был здоровым и сильным. Такой организм обладает страшной живучестью: как его ни кромсай, он находит внутренние способы заживления ран, вырабатывает в себе удивительные компенсационные аппараты, мобилизует какие-то таинственные ресурсы и продолжает существовать и функционировать. Огромной жизнеспособностью обладают, в частности, американский и русский народы. Они выработали в себе многие качества, которые частично уравнивают вред, наносимый им воцарением бездуховности. В них появился иммунитет против целого ряда вирусов, размножающихся на питательной среде материализма, поэтому Советскому Союзу и Соединенным Штатам легче всего противостоять *собственному* варианту материализма. В этой адаптации можно было бы видеть нечто обнадеживающее: уповать на то, что обе державы вылечатся когда-нибудь от слепоты и снова обретут утраченную духовность и с нею полноту бытия, но процессу исцеления роковым образом препятствует возникающее на государственном уровне стремление направить весь мир по своему пути и возникающий на индивидуальном уровне соблазн заимствования чужого, которое издали кажется привлекательнее своего. Ситуация осложняется еще и тем, что все убеждены, будто третьего варианта не существует. *«Считаете ли вы либеральную демократию приемлемой моделью или предпочитаете авторитарную государственную систему?»* Заданный вопрос весьма типичен для нашего времени. Но ставить его — настоящее безумие. Это все равно, что спрашивать: что лучше — утонуть или попасть под поезд?

Только в самое последнее время появились признаки осознания бессмысленности такого обсуждения. Одним из таких признаков можно считать выход 21-го номера журнала «Континент», где опубликована анкета, содержащая совсем иной вопрос: *существует ли выход из дилеммы западная демократия — восточный тоталитаризм?* Это правильный подход к делу, ибо и так называемая демократия, и пресловутый тоталитаризм — глухие тупики. Выход, конечно, есть: русским надо излечиться от своего тоталитаризма, а американцам и западноевропейцам — от своей демократии. Но сделать это они могут лишь своими собственными силами, опираясь на лучшие национальные традиции, на заветы своих великих предков. Однако это пока мало кто понимает, и безумный вопрос дискутируется снова и снова, радуя сатану и заставляя людей тратить массу времени и энергии только для того, чтобы туже затянуть петлю на своем горле.

Возникает какая-то безысходность. Люди, которые понимают, что в их отечестве не все ладно, вместо того, чтобы искать причины этого и терпеливо устранять их, восклицают: сделаем все так, как у наших соседей! И им не приходит в голову, что у тех масса собственных бед. Чудовищная деятельность левацких террористических групп ярко демонстрирует, чего нужно ждать от перенесения на западную почву марксистских идей в их прямом, не ослабленном вакциной «еврокоммунизма», значении. Философское отрицание бессмертной души, против которого в России давно выработано противоядие иронии, на незащищенном от него Западе приводит к логическому выводу о бессмысленности понятия нравственных норм и о допустимости убийства ни в чем не повинных людей. Если левое движение и впредь будет развиваться в странах капитализма, мы станем свидетелями таких ужасов, равных которым еще не было в истории. Но тем не менее катастрофическим было бы насаждение западных порядков в России. Направить Россию по пути так называемой западной демократии было бы последним бесчеловечным экспериментом над этой многострадальной страной, на живом теле которой было уже испытано столько политических изобретений.

А провести такой эксперимент хотят многие. Слово *демократия* стало сейчас каким-то фетишем. Человек, который скептически отзовется о демократии, берется на подозрение. Но это лишь одно из самых убедительных свидетельств современного одичания. Восхвалять то, что в наше время принимается под демократией, — значит либо быть бездумным конформистом, присоединяющимся к мнению большинства, либо убежденным сторонником самого пошлого жизнеустройства. То, что называют сейчас демократией, на самом деле есть *охлократия* — власть стада, торжество толпы.

Популярность демократии прежде всего говорит о всеобщем историческом невежестве. В прежние времена, когда культура мышления была еще достаточно высокой, вопрос о предпочтительности демократического, аристократического или монархического способа правления обсуждался довольно подробно и были выявлены недостатки и преимущества каждого. Об этих исследованиях сейчас никто не вспоминает. Когда, например, спрашивают: «*доросла ли Россия до демократии?*», никто не задает встречного вопроса: «*а может быть, она давно переросла демократию?*» и не обсуждает проблемы: «*доросла ли Америка до аристократической формы правления?*». Современный обыватель, разучившись думать, усваивает, как заклинание, тот термин, который для него приятнее звучит. А слово «демократия» нравится ему тем, что в нем он улавливает отголосок идеи: историю должен делать народ, ибо «глас народа есть глас Божий».

Эта идея абсолютно верна. Но парадокс заключается в том, что вплоть до того момента, когда восторжествовала нынешняя демократия, история всегда и делалась народом, а с этого момента перестала им делаться.

Секрет в том, что народ — это вовсе не масса, не количественное большинство. Принадлежность к народу определяется наличием прочных связей с космическим кругооборотом бытия, с землей, с природой, с Богом. На-



род — носитель национального завета, источник таинственной мудрости, создатель языка и религии и вообще всего подлинно нового и нерукотворного. Он — основа всей той экосистемы, которую представляет собой всякое живое общество. И основа эта глубоко мистична. В то же время она абсолютно реальна. А вот толпа, несмотря на ее зримость, многочисленность и крикливость, иллюзорна. Народ имеет лицо, толпа безлика. Народы разных стран резко отличаются друг от друга, толпа везде одинакова. Народ — некто, толпа — никто. И вследствие демократического правления история сейчас управляется никем. Ее швыряет то туда, то сюда слепая стихия.

Нет ничего нелепее и безграмотнее представления, будто с помощью голосования можно найти какую-то историческую оптимальность. Прав был Бердяев, говоря, что если бы история решалась голосованием, то она никогда не началась бы. Можно добавить: а начавшись, не двигалась бы дальше вперед. Вот она и прекратила поступательное движение и дрейфует без руля и без ветрил. А такой дрейф всегда кончается выбрасыванием на скалы.

Нельзя, конечно, сказать, что народа уже нигде не осталось. Народ есть еще во всех странах. Но дело в том, что как раз там, где утвердился постулат демократии, т. е. в США и в Западной Европе, народ составляет меньшинство, поэтому тамошняя система выборности властей дает ключи к политике не народу, а новым плебейам, которые точно так же, как и плебеи Древнего Рима, требуют лишь хлеба и зрелищ. И это страшно. Плебеи страшны тем, что в силу своего социального конформизма всегда выражают не провинциальный смысл эпохи, а случайные зигзаги моды. Сегодня они кричат одно, а завтра с таким же энтузиазмом противоположное. Это к ним применимы теории Маркса и Фрейда, рисующие человека пассивной игрушкой природных сил. Но Маркс и Фрейд ошибались, полагая, будто жизнь и деятельность этих людей составляли историю. История всегда творилась в глубинном измерении, для плебеев недоступном; она была последовательностью откровений, а откровения нисходили только к личностям, но не к толпе. И эти личности были мистически связаны со своим народом, поэтому историю творил в конечном счете народ. Но делал он это не прямо, а с помощью многоступенчатого незримого механизма, понять сущность которого современный бездуховный человек совершенно не в состоянии.

Чтобы увидеть порочность современной демократической системы, не надо быть глубоким философом. Задумавшись об этом хотя бы несколько минут, нельзя не понять, что суммированием голосов нельзя получить никакой истины, а значит, и отыскать наиболее достойных руководителей страны, тем более, что сейчас голосуют не за подлинно существующих людей, а за их образы, созданные средствами массовой информации. В Афинской республике каждый гражданин лично знал Перикла, поэтому его выбор был хоть как-то оправдан; знание же избирателями современных кандидатов — чистая фикция. Большая истина не складывается из малых заблуждений, и ошибочные мнения частных лиц при усреднении не могут перейти в непогрешимое высказывание, ибо усреднение не улучшает качества мнений.

Утверждать, будто система подсчета голосов обеспечивает осуществление властью воли народа, — значит не понимать того фундаментального факта, что народ не есть сумма индивидуумов, а есть особый мистический сверхорганизм, имеющий свои собственные способы исторического самовыражения. Эта система ведет лишь к капитуляции власти перед числом, перед массой. Но даже если эти соображения покажутся кому-то слишком сложными, он может убедиться в неэффективности демократической системы на фактах, так как кандидаты, собравшие большинство голосов, сплошь и рядом оказываются жуликами и наносят нации значительный вред. [...]

Весь пафос современной демократии состоит не в выборности власти, а в ограничении ее компетентности, в отвоевании у нее так называемых *прав человека*, а точнее — прав индивидуума. Достойный или недостойный кандидат сядет в президентское кресло — это неважно; главное, чтобы он понимал, что будет сидеть в этом кресле прочно лишь в том случае, если угодит индивидуумам, ибо впереди новые выборы. Но у индивидуума на первом плане стоят шкурные биологические интересы, элементарные потребности данного момента. Он не способен заглянуть в будущее, лишен исторического мышления и исторической интуиции, а поэтому безответствен. Ему нет дела до основного закона миропорядка, заключающегося в том, что взрослому человеку изначально принадлежат не права, а обязанности, а права развиваются по мере выполнения им обязанностей. У него свои законы: простенькие правила житейского материализма. Политическое господство таких выключенных из вселенских циклов и замкнувшихся на самих себя индивидуумов и есть охлократия. [...]

В центре мировой охлократии — Соединенных Штатах — сформировалось множество защитных механизмов против этой системы. Из старушки-Европы туда пришли такие традиции, как добросовестность выполнения своей работы, стремление к профессионализму, бережное отношение к любому имуществу. Несмотря на культ денег, там все же укоренилась определенная деловая порядочность и аккуратность. И даже само обожествление доллара имеет у американцев отчасти идеальный характер. Доллар превратился у них как бы в абстрактный регулятор взаимодействия людей между собою и отношения каждого человека к самому себе. Количество нулей банковского счета определяет у них не столько возможность тратиться, сколько уверенность, что жизнь прожита не напрасно, что все делалось правильно. Но вот, скажем, в России ничего этого давно уже нет, и если здесь провозгласить демократию, которая включает в себя право свободного предпринимательства, то это будет никакое не предпринимательство, а повальный грабеж, не стесняемый никакими сдерживающими факторами.

\* \* \*

Но независимо от того, разрушит ли одна из фракций всемирной партии бездуховности другую фракцию, навязав ей собственные формы жизнеустройства, или же их спор будет продолжаться, создавая иллюзию, будто су-

существуют разные точки зрения на мир, дела наши на исходе XX века нельзя назвать иначе, как из рук вон плохими. Когда столетие только начиналось и на Парижской выставке по этому поводу пускали фейерверки, никто не думал, что оно закончится так мелко и пошло. У мнительных натур могли быть апокалипсические страхи и смутные предчувствия войн и революций, но уж пошлости не предвидел ни один скептик. Ведь тогда все твердо верили в поступательное движение человечества.

Однако пошлость воцарилась в мире, все победила, всем овладела, всюду проникла, всюду пустила корни, и спрятаться от нее стало некуда. Жить стало возможно, только ни о чем не задумываясь. Едва перестаешь подстраиваться ко всеобщей беготне, едва остановишься, оглянешься вокруг и сравнишь увиденное с тем, что просит душа, сразу же начинаешь чувствовать пустоту бытия. Кажется, всего много в нашем веке, но выбрать душе нечего, ибо все мерзко и безобразно. Безобразен шизофренический тезис о первичности материи и вторичности духа, несовместимый ни с логикой, ни с основным элементом внутренней жизни каждого человека — ни на секунду не покидающим его ощущением своей личности. Детская наивность этого тезиса отнюдь не умиляет, а вызывает тревогу за состояние общественного рассудка. Безобразно низведение человека средствами массовой пропаганды, массовой культуры и могучей рекламы на уровень бездумного потребителя. Наблюдая однотипную жизнь современных мешан, не только не имеющую никаких перспектив одухотворения, но и с каждым годом делающуюся все более примитивной и стандартизированной, начинаешь испытывать уже не тревогу, а отвращение. Мерзостен современный наукообразный стиль мышления — новый вариант древнего книжничества, вызывавшего гнев Христа. Создателями и распространителями его являются наши ученые. Когда они пишут о своем предмете, это еще как-то можно читать, поскольку при этом излагаются конкретные вещи; но как только они уходят в сторону от своих профессиональных вопросов и начинают делать обобщения, прогнозировать будущее, давать обществу советы, рассуждать о морали, нравственности и этике, анализировать возможности установления контактов со внесемными цивилизациями, подсчитывать вероятность спонтанного зарождения жизни на других планетах и т. д. — это становится непереносимо. Стандартность мысли, безликость языка, банальность жизненных установок, омертвельность чувств и убогость воображения жрецов современной науки заставляет отвращение перейти в страх. Ведь толпа верит, что ученые владеют ключами от истины, а на самом деле они давно погрязли во лжи. [...]

Не менее тягостное впечатление производят люди, увлеченные политикой. Их преобразовательные программы часто прямо противоположны, и это порождает в их среде страстную полемику. И все же у них есть одно общее свойство мышления, по которому их сразу можно узнать. Все они твердо верят в возможность построения *рукотворного рая*.

В математике доказательство того, что такой-то объект имеется, называется «теоремой существования». Без нее пытаться строить объект очень

рискованно, так как может оказаться, что его нет в природе. Пример такого напрасного труда — знаменитая квадратура круга. В течение тысяч лет фанатики геометрии верили, что имеется вычерчиваемый циркулем и линейкой квадрат, площадь которого равна площади заданного круга. На его построение было затрачено много сил и времени. И только в конце прошлого века Линдеман доказал, что такого квадрата вообще не существует. После этого попытки выполнить квадратуру круга прекратились.

Общественные структуры неизмеримо сложнее геометрических, и они строятся не из точек и прямых, а из куда более загадочных элементов. Но главное отличие состоит в том, что общественные структуры лишь малой своей частью расположены в чувственно воспринимаемом слое бытия, а все остальное погружено в область невидимого. Именно туда, в глубинные измерения, запрятаны все узлы и пересечения, все секреты устройства. Но фанатики политических преобразований этого понять не желают и хотят вычертить идеальное общество с помощью циркуля и линейки, тратя на это гораздо больше усилий, чем изобретатели квадратуры круга. Они умеют мыслить лишь на *бытовом уровне*, и тут разворачиваются вовсю. Государство для них, как и для Руссо, — просто общественный договор, а отсюда и их убежденность, что его можно перезаклучить каким угодно образом. И каждый из них рьяно развивает свою программу перезаклучения. При этом они кажутся себе очень умными и предусмотрительными, так как любая политическая идея имеет у них вид логической фигуры, называемой импликацией: «если, ... то». Но беда в том, что в слое повседневной реальности, из которой мысль современного политика выскочить не способна, существуют лишь обрывки и фрагменты целостного бытия, а поэтому в нем нельзя построить подлинно строгих логических замыканий, и внешне правдоподобные импликации всегда оказываются произвольными и ложными.

Поскольку квадратура не получается, политики очень сердятся. Они начинают обижаться на своих политических оппонентов; им невдомек, что историю вершит не деятельность партий и фракций, а нечто такое, что втекает в наш видимый мир *оттуда* — из той части бытия, где только и может развязаться завязанное *здесь*. [...]

\* \* \*

Раздражительность и обиженность всегда являются симптомами слабости. Не обманывает этот признак и на этот раз. Мы живем не только в эпоху взаимных обид, но и в эпоху расслабленности. Даже великие государства стали бессильными, ибо общества лишились способности напрягаться, а индивидуумы разучились жертвовать своими интересами ради общего дела. Миллионная толпа трепещет сейчас перед кучкой террористов. Раньше их уничтожил бы как бешеных собак безоружный народ, а теперь наисовершеннейший полицейский аппарат не может их поймать, а если и поймает, то всего лишь сажает под замок в комнату с цветным телевизором. Отмена смертной казни говорит не о возросшей доброте, а о том, что, независимо

от того, признаем мы на словах религиозные утверждения или нет, мы уже абсолютно не верим ни в какую жизнь, кроме телесной, и смерть для нас есть бесконечная потеря, в то время как мера преступности любого деяния конечна. Мы пасуем перед мыслью о потустороннем и сосредоточили все свои устремления на жизни *здесь*. А мужество и твердость приходят лишь *оттуда*.

Но ведь спокойно жить на земле долго все равно не удастся! Кончается нефть, загрязняется океан, отравляется атмосфера. Подсчеты показывают, что скоро разразится всеобщая катастрофа невиданных масштабов. В этот час нам понадобятся и мужество, и терпение, и стойкость духа, а как раз их-то в нас и не окажется. Спрашивается: на что же мы надеемся?

Уповать на политическое разрешение кризиса абсурдно, ибо политики видят только симптомы общественных недугов и не понимают их причин. Многие люди стали сейчас осознавать это и относиться к политике с недоверием и даже презрением. Но вместо того, чтобы искать другой выход из тупика, они проникаются каким-то оптимистическим фатализмом. [...]

Если мы задумаемся, почему человечеству до сих пор удавалось выйти из кризисов невредимым, то мы обнаружим, что его неизменно спасала внешняя помощь — помощь Бога. Ветхий Завет буквально переполнен описаниями того, как Бог предотвращает события, которые могли бы привести к катастрофическим для людей последствиям. Он направляет людское племя по верному пути устами пророков, запугивает его знамениями и чудесами. Но с течением времени непосредственное вмешательство Бога в людские дела ослабевает. Это не случайно. Вся суть Божьего замысла в отношении человека состоит в том, чтобы примирить в его лице дух и материю, «*сделать внутреннюю сторону как внешнюю, и внешнюю сторону как внутреннюю*» (Евангелие от Фомы). В богословии это называется обожением вселенной. Человек задуман Богом как средство для обожения мира. Для выполнения своей миссии человек должен, оставаясь материальным по телу, стать божественным по духу. Это значит, что он должен стать совершенным. Совершенство же включает в себя свободу. Следовательно, человек должен становиться все более свободным, а это предполагает удаление от него Бога, ибо явное присутствие Бога рядом с ним сковывало бы его свободу. Но свобода предполагает возможность бунта и отпадения. Так возникает «*божественный риск*». Существо, на которое Бог возлагает все Свои надежды, может не оправдать этих надежд, и каким бы всемогущим Бог ни был, Он не в силах уменьшить степень риска. Особенно велик риск на поздних стадиях совершенствования человека, когда его свободу нарушить уже почти недопустимо. Сейчас мы как раз и достигли такой стадии.

Две тысячи лет назад уже был момент, когда вся кропотливая работа Бога по выращиванию Себе в этом мире помощника была поставлена под угрозу. Материалистическая цивилизация Древнего Рима увлекла человечество на смертельно опасный путь. Люди возмнили, что нет у них другой цели, как угождать самим себе и обслуживать самих себя. И к этому моменту внутренняя свобода человека достигла такой степени, когда прямое воздействие со

стороны Бога было уже исключено. Но Бог нашел удивительное средство. Он прислал на землю в образе простого смертного Своего Единородного Сына, и Бог-Сын, ценой унижения и крестной муки, спас человечество. После Воскресения и последующего нисхождения на Иисусовых учеников Св. Духа история пошла по новому руслу.

Нынешний момент очень похож на тот. Наша цивилизация — Новый Рим. Опять увлечение материей, опять самоугождение. Но сейчас степень нашей свободы увеличилась, ибо мы от многого были освобождены Христом. Сейчас и такая форма помощи, как воплощение Бога в человека, была бы непозволительно резкой. *Теперь мы должны выпутаться сами.* А коли не выпутаемся, то погибнем — на то и «божественный риск». И нечего утешать себя тем, что до сих пор мы не гибли. Во-первых, мы были детьми, которых можно водить за ручку, а сейчас стали взрослыми и сами ответственны за свою судьбу. Во-вторых, неверно, что не гибли. Погиб и неандертальский человек и другие ветви, которых антропологи называют «неудавшимися вариантами». Точно так же может погибнуть и «гомо сапиенс», если попытка Бога сделать из него добровольного помощника окажется неудавшейся.

А чтобы стать такими помощниками, которым Бог может сказать: *«больше не называю вас рабами»*, — мы должны понять смысл своей свободы. Тогда мы поймем и другое: что Бог, не желая оказывать на нас давление, лишь спрятался от нас, а на самом деле Он существует и внимательно наблюдает за нами. Тогда, оставаясь совершенно свободными, мы с необходимостью повернем души к Богу. На один наш шаг к Нему Бог делает десять шагов нам навстречу. Так произойдет диалектическое «снятие» риска. Снова, как в день Пятидесятницы, на нас заструится благодать Духа, и все наши понятия изменятся, а проекты будут забыты. И если это случится, то в день своей смерти двадцатый век воскликнет: на какие же глупости я потратил лучшие свои годы!

1980, № 25

## ВАДИМ ЯНКОВ

### Нации и национализм

#### 1

Ветер рационально-либерального мышления, начавшись в Европе, а затем перекинувшись во все страны мира, повсеместно развеивал или пытался развеять древние культурные образования: социальные уклады, цивилизованные круги, мировые религии. Ему почти всегда приходилось наталкиваться на встречное сопротивление. Часто первое соприкосновение только разжигало тлевший издавна огонь, старое культурное начало вспыхивало свежим костром, и лишь спустя несколько поколений, когда догорали запасы топлива, оказывалось каким-то образом возможным соединение его с рациональной мыслью и с идеями свободы и народовластия.

Но, сменяя культурные пласты, рациональное мышление в какой-то момент приходит в соприкосновение с пластами, по видимости природными, — с человеческой национальностью. Во многом это ощущение ошибочно. Структура национальности создана из материалов разного типа. Среди них, вероятно, имеются и природные, расовые, генетически определяемые, воплощенные в спектре национальных темпераментов, в динамике характеров, в наборе специфических одаренностей. Но над ними высятся надстройки культурного типа.

Прежде всего язык. Формально он обычно и определяет национальность, отделяя ее от других. Но, конечно же, его специфический внутренний строй, связанное с ним народное образное мышление вносят свой вклад в сугубо национальное видение мира, как-то определяют формы понимания и выражения. Таким же глубоким пластом оказывается система народных обычаев и ритуалов бытового или же полузабытого или живого религиозного смысла. Ее дополняет своеобразная структура взаимоотношений людей друг с другом.

Еще выше — собственно народная культура: фольклор, музыка, танцы, ремесла, формы бытовых предметов, в частности структура жилища как некоего микрокосмоса национальности.

И, наконец, на самом верху — высокая культура, уходящая в универсальное и все же впитывающая в себя соки национального, а с другой стороны, возвращающая нечто, ощущаемое национальностью как свое.

Все эти компоненты в каждом отдельном случае образуют уникальное сочетание и могут вбирать в себя элементы более широкой цивилизации. Иногда мировая религия так тесно сплавляется с национальностью, что кажется составляющей ее ядро. Иногда она отходит на задний план, а народ видит себя прежде всего в бытовом, ритуальном, языковом началах.

## 2

Но когда под воздействием рационалистического мышления рвутся связи великих религий, объединявших языки в надязыковом живом единстве, единство национальное начинает представляться чем-то природно-естественным. Этому, конечно, немало способствует хозяйственно-социальное развитие, создающее в ряде случаев новые связи, конституирующие страну, но феномен имеет и духовные основания, действующие и в тех случаях, когда национальность расплывлена между разными политическими образованиями.

Великая религия обладает некоторой конкретной универсальностью, и ослабление великой религии связано с утратой этой универсальности. Я понимаю под этим ту целостную картину мира, которую дает религия, картину, расписанную красками святости, долга, спасения, картину, в которую вовлечена любая человеческая личность, исповедующая религию, причем вовлечена всем своим существом, — словом, картину мира, в котором человек находит смысл себя самого, смысл конкретный и осязаемый. При этом религия по сути своей обращена ко всем людям, а потому имманентно общезначима, подлинно универсальна — всё, разумеется, при условии ее принятия. Сказанное относится и к таким культурным образованиям, как китайская цивилизация, например, чьи характерные черты во многом отличаются от всего религиозного, зародившегося к западу от Гималаев.

Итак, ослабление великой религии связано с замутнением этой картины мира. Рациональное мышление пытается дать вместо конкретной универсальности религии свою, основанную на разуме и опыте универсальность, но она оказывается недостаточной заменой — она абстрактна. В самом деле, в ее основе лежит естественнонаучная картина мира, сама по себе не дающая смысла конкретному человеку с его неповторимым местом в мире. Конечно, она дополняется рационалистическими системами морали и естественного права, открывающими перед человеком измерения свободы и равенства, но и они абстрактны: люди уравниваются как представители видового начала (например, как носители разума у Канта), свобода во многом формальна и способна отпугивать при отсутствии какого-нибудь дополняющего начала. Конкретное, воплощающее в себе однократный незаменимый смысл, отсутствует. Здесь-то и вступает в дело национальность, давая, с одной стороны, некоторое воплощение абстрактной универсальности разума, его конкретизацию, сопряженную, конечно, с искажением первоначального смысла, и выступая, с другой стороны, заменой ослабленного религиозного начала.



В этом рациональный (или псевдорациональный) и мистический полюсы явления национализма.

### 3

Рационализм, расчет всегда входили в жизнь разных слоев народа, в особенности слоев городского населения, и равным образом входили в нее связанные с ними рационалистические правила моральной жизни, универсальное рационалистическое мышление требует теперь, однако, чтобы вся целокупная жизнь была построена на началах рациональности — провозглашается, что для человека естественно то, что основано на его естественной силе разума. Национальность и предстает человеку как природный естественный материал для рационалистической аргументации. Подлинное оружие *ratio* скрыто, конечно, в лабораториях логиков, философов и ученых, там оно оттачивается и шлифуется, там все более и более выясняется его природа, там делаются попытки создания систем с его помощью, но для масс такое оружие недоступно, им нужен зримый образ рациональности, ее конкретное воплощение, — и вот это воплощение найдено, и можно уйти в него, укрыться от отгалкивающей абстрактности разума.

Формы народного быта, приемы рассуждения, народная система ценностей представляются теперь таким естественным воплощением разума. Собственно говоря, естественными они представлялись всегда и везде. Новым моментом является их понимание как универсально разумных; в народную жизнь вкладывается пафос претензии на общезначимость, общечеловечность. Какое-то смутное сознание этнической и локальной обусловленности все же остается: «мы такие», «у нас так принято». Но это сознание прекрасным образом соседствует с представлением о том, что именно принятое у нас является наилучшим. Для рационалистически-морального национализма важен фон других национальностей, других моральных и бытовых укладов.

Инонациональный тип обычно является в националистическом сознании чем-то однородным и недифференцированным. Для массового человека разнообразие характеров доступно только в пределах его национального мира. Что касается других национальностей, то они для него просто украинец, просто казах, просто еврей, — и все эти типы воспринимаются как то или иное отклонение от естественного (степень определяется уровнем знакомства, контактов, традициями и другими конкретными факторами). Знакомство с ними только подтверждает здоровое убеждение в моральном превосходстве своей собственной национальности: она и только она воплощает в себе естественные ценности жизни и этики. Характерно, что национализм очень часто использует рациональные (т. е., казалось бы, общечеловеческие, общезначимые) аргументы, но почти никогда применение этих аргументов не заканчивается признанием превосходства какого-либо инонационального уклада над собственным. Всегда с логически безупречной ясностью они обосновывают превосходство собственной нации.

#### 4

К этому моменту привходит другой: национальность выступает как замена конкретной универсальности религии. Это не всегда означает упадок самой религии; она продолжает свое существование, но национальность перестает ощущать себя в первую очередь как часть народа верующих (христиане, мусульмане) — на первое место выдвигается национальная религиозная жизнь. В самом национальном начале ищется теперь дополнение к умаляющейся конкретности религиозной жизни. Умаление это тесно связано с возросшей рациональностью образа жизни, с ее проникновением в гущу народных слоев, с расколдованием мира, с утратой первоначальной магии. Религия также начинает невольно толковаться и ощущаться рационалистически. Место и смысл, которые она дает в мире человеку, недостаточно теперь конкретны, нужна более живая конкретизация — и вот она обретается в конкретности национального.

Национальное получает облик святости. Теперь оно подлинный священный дом человека. Священны народные обычаи, священны традиции, язык (до какой глубины может дойти это ощущение святости, можно понять, вспомнив стихи Гёльдерлина). Народ начинает заслонять собою все-ленскую церковь, причастность ему становится источником жизненных сил. Как во времена, предшествующие появлению великих религий, *civitas ropuli* выдвигается на передний план. Но если тогда племенные образования формировались вокруг локальных магических культов, то теперь таким культом становится сама национальная жизнь.

Здесь часто требуется дополнение в демоническом, оскверняющем, и другие народы с чуждым и непонятным укладом жизни подходят для такой роли. Они начинают ощущаться не как просто нечто ушербное, но как враждебное конкретное воплощение космического зла. В этом — источник самых опасных и разрушительных форм национализма.

#### 5

Рационально-моралистическое и мистическое начала в чистом виде — только полюсы национального самоощущения. Они вплетены как моменты в конкретную и сложную историю Нового времени, т. е. историю становления индустриального общества и его распространения по миру. Судьбы национализмов оказываются связанными с социальным и политическим развитием. Говоря абстрактно, нация представляется естественной основой для массового, индустриального государства. Реально же национальные и государственные границы не повсеместно совпадают, и в зависимости от конкретной констелляции и под влиянием других факторов национализмы принимают ту или иную конкретную историческую форму.

Типика этих национализмов заслуживает серьезного изучения как в историко-фактическом, так и в абстрактно-социологическом плане. Явно отличаются между собою национализмы наций-государств, изначально не знавших проблем собириания и явившихся источниками современно-

го развития (Англия, Франция), национализмы наций разделенных, вынужденных затратить значительные усилия на обретение государственности (Италия, Германия XIX века), национализмы имперских наций (Россия). На всё это накладываются различия, вызванные традициями и степенью подготовленности к восприятию индустриального и либерально-рационалистического начала, а в связи с этим различия в возможности сочетать национализм с гуманитарными универсальными тенденциями. Там, где это удавалось, национализм мог оказаться творческой силой, дающей свой вклад в мировую культуру. Там же, где это не удавалось, национализм мог обрести исключительную форму, и — независимо от того, базировалось ли это на рационалистическом самовозвеличивании или на мистическом самообожествлении, — результатом являлось саморазрушение культурных национальных потенциалов.

Религиозные и вообще цивилизационные универсалистские влияния могут смягчить исключительные тенденции национализма в пределах, разумеется, универсализма, им свойственного (общехристианский или общемусульманский мир). Синтез поэтому здесь может оказаться благотворным. Известное умеряющее влияние оказывает на первых порах и псевдорелигиозное движение марксистского типа, соединяющее предполагаемый рациональным универсализм с конкретной мифической картиной осмысления мира. Но в конечном счете псевдорелигия теряет свой пафос, и в образовавшейся пустоте могут пышно расцвести воскресшие национализмы. Почвой их будет теперь разочарованность в универсальном, духовная опустошенность, и следует ожидать, что именно они примут самые разрушительные, отталкивающие формы.

## 6

Является ли национализм последним и окончательным словом в осуществлении человеческих стремлений обрести укрытость в коллективном, или же возможно развитие, связанное с его преодолением или хотя бы умерением? В мире все еще идет работа сил, поднятых Просвещением, сил разума, свободы, хозяйственной организации, хотя затмеваемая порою взрывом встречной реакции дорациональных укладов. Конечно, в настоящий момент, как кажется, человечеству предстоит решать и новые глобальные проблемы — демографическую, экологическую, истощения ресурсов. Кроме того, реакция на силы Просвещения достигает таких размеров (в экспансии советского империализма, например), что возникают опасения за саму судьбу этих сил. Поэтому вопрос лучше поставить таким образом: возможно ли в принципе развитие, примиряющее национальности и дающее человеку укорененность в чем-то более универсальном, именно развитие, сопряженное с работой сил разума?

Прежде всего нужна определенная историческая констелляция — какой-то период существования либерально-демократического национального государства в мирном окружении. В этих условиях постепенно ослабевают

стимулы национализма: уязвленность угнетенных народов и недобрая совесть народов-угнетателей. Средние слои населения делаются доступными аргументам универсально-этического либерального лишения, рационалистический национализм начинает преодолеваться.

Конечно, для того, чтобы в роли абстрактного субъекта — человека вообще — универсальных морали и права мог реально выступить иноземец, нужно предварительное с ним знакомство, нужно, чтобы в том месте, где ранее виднелась одна нерасчлененная масса немцев или поляков, возник теперь целый спектр характеров со своеобразным распределением положительного и отрицательного. Но коль скоро это знакомство состоялось в длительном реальном общении на разных социальных уровнях, то начинается приходить понимание того, что интернациональная маска не вправе заслонять от нас индивидуальное лицо партнера, что расовое и национальное этически нейтрально. Что привычная национальная моральная система заслуживает сопоставления с чужими. Что должна быть общая почва, общая система в отношениях между людьми как таковыми — общая этика и общие правовые основы.

## 7

Можно ожидать поэтому в будущем — вряд ли очень близком — окончательную победу идей свободы и разума, победу их в универсальном плане. Ее прообразом может служить современная Европа. Но для того, чтобы эта победа была прочной, нужно определение национализма и в другом плане — в плане мистико-религиозного отношения к национальности. В этом отношении национальное начало давало всегда нечто нужное человеку, и оно не может просто бесследно раствориться в абстрактности либеральных принципов. Человек и для себя и для других не может стать человеком вообще — отвлеченным субъектом отвлеченных правовых норм. Национальное и то, чем оно выражало неповторимую конкретную универсальность, должно сохранить себя, точнее, должно сохранить свою творческую, положительную энергию, так ярко проявившую себя в истории культуры при оплодотворении универсальными идеями. Нации должны стать друг для друга не просто абстрактными лингвистическими кругами, охватывающими абстрактных субъектов морали и права; они должны обрести друг для друга конкретное положительное лицо. Возможно ли это?

## 8

До какой-то степени это возможно на уровне собственно культурном, расширяющем морально-правовое отношение. Знакомство с характерными особенностями национальной жизни само по себе завершается открытием своеобразной ценности этой жизни, ее красоты и выразительности. Еще большую интенсификацию дает здесь знакомство с высокой культурой другого народа. Общечеловеческие ценности предстают нам в неповторимом воплощении, обусловленном народными задатками. Сама мировая культу-

ра окрывается как переключка этих разнородных голосов, в которой одна и та же тема проходит в столь разнообразных исполнениях, что становится ясно: она обеднела бы, не будь этих исполнений, и не существует никакого усредненного стандартного исполнения, так сказать, чисто общечеловеческого исполнения этой темы. Существование разнообразия воплощений тем мировой культуры — не случайный, но естественный факт ее жизни, без которого немислимо развитие.

## 9

И все-таки последнее слово — за пределами собственно культуры. После грядущего ослабления псевдорелигий и культа национальностей человечество так или иначе будет искать новые формы конкретной универсальности, видимо, формы всемирно-человеческие. Трудно делать здесь определенные предсказания; пытаюсь только угадать отдельные черты.

То, что давало людям ранее желанные опору и смысл: великая религия или национальное начало, — исчезнут. Напротив, в них выделится ядро этой опоры — уникальный ситуационный язык, прибежище неповторимого смысла. Отпадут же тянущиеся оттуда в эмпирический мир нити прагматического истолкования, поскольку такие истолкования подлежат другому — логико-эмпирическому и морально-правовому языку.

При этом отказ от внешнего истолкования скрытой в религиозном и национальном началах глубины конкретности будет сопровождаться отказом от притязаний этих начал на исключительность. В конкретное переживание своего смысла войдет конкретное признание смысла чужого. Космос человечества будет ощущаться как космос непереводаемых выражений смысла, — и это придаст локальному выражению ту универсальность, которой недоставало национализмам. Человек начнет понимать человечество как свою среду, в которой он и другие занимают свое осмысленное место, — как ранее ощущались город, племя, страна, религия, цивилизация, — с конкретным видением его, человечества, сплетенности из разнородных нитей.

Этот подлинно конкретный универсализм многогранного выражения смысла должен радикально отличаться от эмпирико-рационального универсализма науки, морали и права. Вряд ли он будет напоминать кантовский культ человечества, например. И вряд ли он будет иметь свои условные формы, — скорее он распространится по миру как параллельное понимание, остающееся в формальных границах своего собственного. В нем и может найти свое разрешение национализм мистического толка.

## Интервью с Виктором Спарре

[...]

— *Как бы вы определили понятие «религиозного», выраженного средствами современного искусства? Ограничились бы вы только работами, в которых используются явные религиозные образы или религиозная символика?*

Я не могу увидеть разницы между религиозным и нерелигиозным искусством. Я думаю, что все искусство религиозно. Искусство рождается из стремления найти связь или цельность в существовании. Должно быть понятно, что слово *цельность* описывает духовное измерение, к которому человек может приблизиться посредством творчества, религиозного экстаза или подлинной набожности. Я хочу сказать попросту: если нет веры, если не чувствуешь наличия духовной истины, которой нужно придать форму, — не нужно идти в художники, ибо у тебя нет оснований заниматься живописью.

— *Но можно все же сказать, что некоторые художники более религиозны, чем другие?*

Конечно. Если осознаешь свою веру в Господа, тогда, естественно, преобразуешь свои творческие способности в таинство понимания или даже в переживание Божественного.

— *В некотором смысле можно сказать, что работы Мондриана религиозны, в то время как работы Тулуз-Лотрека нет. Не правда ли?*

Но в то же время Тулуз-Лотрек оказал большое влияние на Руо, который был глубоко религиозен. И Руо, будучи христианином, писал своих ужасных проституток и другие картины, которые были еще «хуже», чем у Тулуз-Лотрека.

— *И, конечно, Церковь осудила его за это.*

Да, и Церковь, и его близкие друзья. Для Руо это было тяжело. Он был в безысходном состоянии, но чувствовал, что просто не может принять христианскую живопись своего времени, которая была сентиментальной и лживой.

— *Китч?*

Да, как «Христос» Торвальдсена. В этой статуе есть что-то мягкое, что-то лживое. Правдивый художник должен был порвать с этой фальшивкой. Нужно было быть честным в отношении жизни как она есть. Но для Руо это было как распятие. Через страдание он понял, что христианство — это не свод моральных правил, но опыт спасения. Поэтому Руо оказался способен так изобразить Христа, с такой духовной силой, которой европейское искусство не достигало со времен Средних веков. Только через правдивость можно прийти к любому виду истинно религиозного искусства. Нельзя притворяться. Как сказал Жак Маритэн: *«Если ты христианин, не пытайся писать христианские картины; живи как христианин и будь хорошим художником»*. Допустим, вы приступаете к изображению Христа и стараетесь сделать то, что понравится зрителю. Вот сюжет воскресения из мертвых, — но сколько вы видели картин, на которых Христос идет так, как будто Он только что выпил чашку чая, а в Библии сказано, что Воскресение было потрясением, и люди падали как мертвые? Очень редко можно увидеть картину, которая передает это потрясение.

— *Могли бы вы сказать, что все религиозное искусство должно содержать в себе элемент потрясения?*

Думаю, что должно. Я также полагаю, что мы уже перешли от разговора о религиозном искусстве к совершенно отличной теме — к христианскому церковному искусству. Это понятие относится к тем редким произведениям искусства, которые иконописцы называют нерукотворными. Это картины, выражающие христианское таинство прощения, центральную идею в нашей вере в Бога, Который принял страдания для того, чтобы спасти человека от самого себя. [...]

— *Какой художник оказал на вас наибольшее влияние?*

Я всегда был захвачен иконами. Для меня также очень много значит Руо. Не так его стиль, как дух, который излучают его работы. Но прежде всего я должен сказать об одной работе, которая никогда не покидала моего сознания с тех пор, как я впервые ее увидел. Это Распятие, написанное с таким страданием и с таким жестоким реализмом Матиасом Грюневальдом в 1590 году. Я долго не мог принять его, пока не узнал, что Изенгеймский алтарь был написан для монастырского госпиталя. Во время чумы перед этим алтарем клали умирающих, чтобы несчастные могли ощутить, что Христос принимает на Себя все наши уродливые язвы и гноящиеся раны, которые поражают тело и душу. [...]

— *Для меня в религиозном искусстве кажется очень важным то, что оно должно быть таинственным и не обязано быть доступным.*

Не в логическом смысле.

— *Вы, может, помните, что Кьеркегор называл это «непрямым сообщением». Иногда бывает совершенно необходимо затруднить понимание, чтобы заставить людей использовать свое воображение. Создается впечатление, что большая часть современных художников стараются облегчить задачу.*

Вы правы. Часто думают о том, чтобы создать нечто прекрасное — декорацию на стене, которая не имеет никакого значения. Я совсем не стремлюсь к красоте. Я стремлюсь к правде...

— *...которая часто нарушает покой.*

Да, в большинстве случаев покой нарушается.  
[...]

— *Чувствуете ли вы близость к русской живописи, а не только к иконописной традиции?*

Боюсь, что я плохо знаю современное искусство России. [...] Возвращаясь к ситуации в Советском Союзе, — похоже, что режим как бы осознал полный провал создания нового советского атеистического человека. Даже верховный жрец идеологии Суслов, кажется, покровительствует религиозному национальному искусству, чтобы укрепить расшатанный режим. В прошлом году Илье Глазунову, официозному художнику, написавшему портрет Брежнева при всех его регалиях, позволили показать для полумиллиона москвичей серию слащаво-религиозных работ.

Но странно и удивительно подумать, как много русских было в авангарде начала века: Малевич, Сутин, Шагал, Кандинский. [...]

— *Когда вы впервые начали делать витражи?*

Работать со стеклом я начал случайно. В Норвегии был большой национальный конкурс. На западном побережье, в Ставангере, у нас есть прекрасный собор. В нем было несколько витражей в плохом состоянии, которые решили заменить. Я выиграл конкурс, хотя ни разу не работал с витражами. Поэтому мне пришлось учиться. Год я экспериментировал. Я обнаружил, что стекло — замечательный материал, я был полностью им захвачен, я чувствовал, что оно мне очень подходит. Это один из самых таинственных материалов, потому что то, с чем вы работаете, — это свет. Когда вы делаете витраж, свет уже присутствует. Все, что нужно сделать художнику, это ввести тени. Художник останавливает свет, но не полностью. Он делает окно, через которое нельзя смотреть наружу, но Нечто снаружи смотрит в это окно, и это Нечто — свет. В этом заключена религиозность, с самого начала. Худож-



ник — грешник, замутняющий свет. Но свет пронизывает тьму; и если бы не было тьмы, нельзя было бы видеть свет. В этом заключено таинство. [...]

*— Почему советское правительство так напугано тем, что оно называет «авангардом»? В большинстве произведений искусства религиозность не выражена явно, да и так называемые религиозные деятели на Западе не проявляют к ним особого интереса. Так чего же так боятся советские власти?*

Это очевидно. Советский режим установился благодаря идеям, которые теперь застыли в неподвижные догмы. Даже партийные лидеры больше в них не верят. Кремлевские старцы потеряли способность обновлять свои представления, поэтому они ненавидят творчество. Советский режим не боится традиционного искусства или традиционной Церкви. Но они знают, что идеи их мертвы и что скоро будут мертвы их тела. Они испытывают отчаянный страх, что творчество может привести к культурному возрождению, что религия сможет возродить Веру.

*Вел беседу Эдвард Робинсон  
1980, № 26*

## **АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ**

### **Заметки об идеологии**

#### **1. О социальном статусе марксизма**

[...] С самого начала оговорюсь, что коммунистическим обществом я называю общество такого социального типа, какое сложилось в Советском Союзе и является классическим образцом для всех прочих стран, идущих по тому же пути (с незначительными отклонениями, обусловленными историческими особенностями этих стран, а отнюдь не переделками в их марксистских проектах). Впрочем, если кому-то такое словоупотребление не нравится, я на нем не настаиваю, ибо речь пойдет о более конкретном явлении — о марксизме.

Наука, религия и идеология не существуют изолированно друг от друга и в чистом виде, т. е. без элементов друг друга и без взаимного влияния. Религиозные учения претендуют на создание картины мира и на объяснение различных явлений природы и общества, религиозные организации выполняют идеологические функции, наука содержит многочисленные элементы идеологии, дает материал для последней и используется ею и т. д. Однако в наше время можно отчетливо видеть и различие этих явлений. Возникли антирелигиозные идеологии, необычайного развития достигла наука, отобрав у религии и идеологии функции познания, утратили былую идеологическую роль многие религиозные учения. И можно достаточно определенно фиксировать различие функций рассматриваемых явлений в общественной жизни.

Задача науки — поставлять обществу знания, разрабатывать методы получения и использования знаний. Употребляемые в науке понятия имеют тенденцию к ясности, определенности, однозначности. А формулируемые в науке утверждения по идее (и в тенденции) допускают возможность проверки. Религия же имеет дело с явлениями души, с религиозными чувствами людей, с верой. Идеология, в отличие от науки, конструируется из определенных, многосмысленных языковых выражений, предполагающих некое истолкование. Утверждения идеологии нельзя доказать и подтвердить экспериментально и нельзя опровергнуть — они бессмысленны. В отличие от религии, идеология требует не веры в ее постулаты, а формального признания или принятия их. Религия невозможна без веры в то, что она провозглашает. Идеология же может процветать при полном неверии в ее лозунги

и программы. Это очень важно различать. В идеологию не верят, ее принимают. Вера есть состояние человеческой психики, души. А признание (принятие) есть лишь определенная форма социального поведения. Когда верят в идеологию, то происходит историческое смещение, в результате которого идеология присваивает несвойственные ей как таковой функции религии. Когда доводами разума пытаются доказывать или опровергать принципы идеологии, то смешивают ее с наукой. Задача идеологии — не открытие новых истин о природе, обществе или человеке, а организация общественного сознания, управление людьми путем приведения их сознания к некоторому установленному общественному образцу. Идеология может начаться с претензией на то, чтобы быть наукой. Но, став идеологией, она теряет все основные признаки науки. Идеология может заимствовать из науки ее понятия и утверждения. Но, став элементами идеологии, последние теряют характер элементов науки, становятся неопределенными и непроверяемыми. В рамках идеологии могут высказываться научные идеи, суждения, гипотезы. Но они не определяют общую ситуацию. Лица, высказывающие это, делают это не в качестве идеологов, а в качестве ученых, волею обстоятельств вовлеченных в идеологию.

Идеология рассчитана на массы людей. Нужен специальный аппарат признания ее. И такой аппарат формируется. Его задача — принуждать людей к признанию идеологии, карать тех, кто сопротивляется. Конечно, в этом есть и элемент добровольности, ибо признание идеологии в условиях ее господства позволяет многим людям добиваться успеха в карьере и иметь какие-то блага. Для многих без признания идеологии вообще невозможно существование. Таким же аппаратом принуждения обладала в свое время, например, и христианская Церковь. Но Церковь сочетала в себе не только религиозные функции, но и идеологические. И порой использовала первые в интересах вторых. Возможность разделения и даже противопоставления этих функций обнаружилась сравнительно недавно, когда стали возникать антирелигиозные идеологии (марксизм, национал-социализм).

Обратимся теперь к марксизму. Исторически он возникал как претензия на научное понимание всего на свете. [...] С претензией на научность марксизм существует и теперь. Он декларирует себя в качестве науки, причем — в качестве самой научной науки. Специалисты по марксизму готовятся в университетах внешне так же, как специалисты для физики, химии, биологии, математики... Часто они готовятся вместе со специалистами для науки, так что их различие обнаруживается лишь впоследствии, когда они начинают играть различные роли (когда, например, один физик начинает делать исследования в области микрофизики, а другой пишет книги о значении высказываний Ленина и Энгельса для развития физики; когда один математик доказывает теоремы, а другой занимается демагогией насчет гениальных идей классиков марксизма в математике и рассматривает пару плюс и минус по аналогии с парой буржуазии и пролетариата). Специалисты по марксизму получают ученые степени и звания, избираются в академии наук.

И надо признать, что кое-что в рамках марксизма делается такое, что похоже на науку и что можно рассматривать с научной точки зрения. Однако в главном и целом марксизм (по крайней мере, в Советском Союзе) давно утратил признаки науки и превратился в идеологию в самом строгом смысле этого слова. Может быть, он являет теперь самый классический образец идеологии. Такова ирония истории. Марксисты до сих пор настаивают на том, что благодаря марксизму философия впервые стала наукой. Фактическое же положение прямо противоположно этому: именно с марксизмом и в марксизме философия впервые в истории утратила качества науки и стала ядром и составной частью идеологии. Когда казалось, что философия достигла максимума научности, она на самом деле отдалилась от науки на максимально далекое расстояние. [...]

Главное, что определяет наукообразный вид марксистской идеологии в сформировавшемся коммунистическом (советском) обществе, — это его фактическая роль в функционировании этого общества. Марксизм маскируется под науку, и благодаря этому легче изобразить сложившееся общество как высший и закономерный продукт объективных законов истории, изобразить деятельность руководства как деятельность от имени этих объективных законов, изобразить всякий корыстный интерес и идиотизм руководства как гениальное научное предвидение.

Первые годы (и даже десятилетия) существования советского общества для некоторой части населения марксизм играл роль, подобную религии. Была вера в его постулаты и лозунги. Он владел душами этих людей. Но постепенно эта вера испарилась (особенно — после Второй мировой войны). И марксистская идеология, естественно, стала еще более интенсивно привлекать себе в сообщники науку, прикидываясь другом и покровителем науки и, само собой разумеется, высшей наукой. [...] Но марксизм возникал не только как претензия на научное понимание всего на свете, а и как выражение интересов и мечтаний угнетенных и обиженных классов общества, как выражение вековых мечтаний человечества о рае земном. А мечты и желания по своей природе не имеют ничего общего с наукой. Социальные мечты суть утопии. Превращение же утопии в науку исключено — об этом говорит настоящая наука и практический опыт человечества.

А тот факт, что марксизм не только в качестве могучей организации людей, но и по своему текстуальному виду не есть наука, можно установить путем анализа любых его понятий и утверждений. Ни одно понятие в марксизме (буквально ни одно!) не удовлетворяет логическим правилам построения научных понятий. Ни одно утверждение марксизма (не считая пустых банальностей) не может быть проверено по правилам проверки научных утверждений. Например, громя неугодных ему философов (а эти погромы основателями марксизма инакомыслящих суть теоретическая подготовка к будущим массовым репрессиям) и выдавая за свои открытия украденные у них мысли (что тоже в духе марксизма), Ленин дает «свое» знаменитое «определение» материи как объективной реальности, данной

нам в ощущениях. При этом он наивно (т. е. по невежеству) полагает, что «материя» — самое общее понятие. Но даже начинающим студентам (а порой — и школьникам) известно, что по правилам определения понятий выражение «объективная реальность» будет более общим, чем «материя», а оба выражения «объективная реальность» и «данная нам в ощущениях» с точки зрения построения понятий более «первичны», чем «материя». Я уж не говорю о том, что выражение «объективная реальность» ничуть не яснее по значению, чем «материя». Но такого рода глубокомысленные по видимости (и пустые по существу) выражения производят впечатление высокой науки. И нередко даже на крупных ученых. Впрочем, тут удивляться не стоит, ибо среди ученых кретинов встречается не меньше, чем среди представителей других профессий.

Придумывая свой коммунистический земной рай (и называя свои вымыслы научным коммунизмом), основатели марксизма и их последователи игнорируют самое элементарное требование опытной науки, — [поскольку] не существует и самый ее предмет. Но если даже рассматривать их «научный коммунизм» как проект будущего общества, то и тут можно увидеть игнорирование самых азов действительно научного подхода к обществу. Например, они совершенно игнорируют факт дифференциации общества на социальные группы и иерархию последних, неизбежное разделение общества на слои с различными жизненными условиями, разнообразие видов деятельности и социальных позиций людей, вследствие которых знаменитые лозунги «каждому по труду» и «каждому по потребности» либо превращаются в пропагандистские пустышки (если их понимать буквально), либо реализуются в форме, ничего общего не имеющей с их текстуальным видом (а именно — труд начальника оценивается выше, чем труд подчиненных, а потребности определяются в зависимости от социального положения индивидов).

Но самый сильный показатель того, что марксизм есть идеология, но не наука, есть отношение марксизма к опыту реальных коммунистических (или социалистических) обществ, которые считаются построенными по его проекту. Более чем шестидесятилетний опыт Советского Союза и опыт многих других коммунистических стран дал и дает совершенно бесспорные свидетельства о природе этого общества. Массовые депрессии, низкий жизненный уровень для большей части населения, прикрепление к местам жительства и работы, колоссальные различия в жизненном уровне высших и низших слоев населения, подавление всякого инакомыслия, отсутствие гражданских свобод, карьеризм, взяточничество, система привилегий, бесхозяйственность, расточительность на руководящие спектакли, милитаризация и т. д. и т. п. И как на эти факты реагирует марксизм? Просто не признает, считая всякие разговоры о них клеветой. [...] Именно научное исследование реального (а не выдуманного, идеологического) коммунизма могло бы без особого труда обнаружить, что все эти факты не случайны, что они вырастают из самих основ коммунистического строя жизни, что они суть неизбежные спутники реализации именно положительных идеалов

марксизма. Хотя марксизм и начинал свою историческую карьеру с намерения научно объяснить ход общественного развития, закончил он ее полным отказом от научного понимания общества, в котором он завоевал роль господствующей государственной идеологии.

Я думаю, что нет надобности рассказывать о поведении марксизма в качестве идеологического диктатора в прошедшей истории Советского Союза. Оно всем хорошо известно. Это — подлости, подлоги, преступления... Говорят, что марксисты руководились добрыми намерениями. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Но утверждение о благих намерениях тут ложно. Никаких иных намерений, кроме намерений живых людей — участников этой марксистской армии идеологов — удовлетворить свои эгоистические потребности, тут не было. [...]

Марксизм оказался в высшей степени удобным в качестве идеологии побеждающих коммунистических режимов вовсе не потому, что он научен. Если бы он был наукой, да еще высшей, он успеха иметь не мог бы. На изучение науки, как известно, нужно специальное образование. Нужны годы и годы. Он оказался удобным именно потому, что породил огромный поток идеологических текстов, демагогических обещаний и лозунгов, похожих на науку, но не требующих никакой научной подготовки. При желании можно с поразительной быстротой научиться продуцировать марксистские тексты и речи абсолютно для любой ситуации. А для властей марксизм дает чудесный метод и богатую фразеологию для оправдания любой их пакости. Любой руководящий кретин может сделать вклад в «науку», если, конечно, ему позволят (или сочтут это нужным) его соратники. Именно неопределенность и бесформенность понятий и бессмысленность утверждений марксизма и необходимость не буквального его понимания, а истолкования делает его удобным для господствующих слоев общества, ибо истолкование марксизма становится прерогативой высшего партийного руководства. В марксизме написано такое множество разнообразных фраз, что на все случаи жизни можно выбрать подходящие фразы и истолковать их в желаемом духе. Эту работу и выполняет огромный марксистский идеологический аппарат.

## 2. О советской философии

Советская философия есть составная часть могучего идеологического аппарата советского общества. И отделить ее от этого аппарата можно лишь условно. Это — довольно большой (по числу людей) слой, в который включаются лица, получившие специальное философское образование, работающие в философских учреждениях или на особых философских должностях и вообще в своей активности так или иначе причастные к философии. Этот слой занимает довольно высокое положение в иерархии советского общества. В него входят многочисленные кандидаты и доктора наук, доценты и профессора, академики и члены-корреспонденты, директора институтов, заведующие отделами и секторами, редакторы газет и журналов и т. д. и т. п.

А это все — лица, входящие в привилегированные слои общества. Даже низшие представители философского сословия имеют сравнительно приличные условия существования, а многие из них имеют перспективу подняться в более высокие слои и даже — в высшие. Во всяком случае, лица, избравшие философию в качестве своей профессии, потом редко отказываются от нее. Разве что — ради более успешной карьеры и более сытной жизни в аппарате партийных инстанций (вплоть до ЦК КПСС) и в органах государственной безопасности. Советская философия целиком и полностью находится под контролем партийных органов. Более того, вся масса философов является эффективным орудием партии в идеологическом воспитании общества и в идеологическом контроле за ним. Подавляющее большинство советских философов суть члены партии и активные партийные функционеры. Беспартийные суть редкое исключение. [...] Отбор на философские факультеты производится очень строго. Проникновение в философскую среду лиц, чуждых марксизму (официальной философии СССР), — дело довольно редкое. Как только таковые обнаруживаются, они беспощадно подавляются и изгоняются. Всё обучение философов — подготовка их к роли идеологических работников. Образование дается довольно примитивное, поверхностное и тенденциозное, но вполне достаточное для будущей роли в обществе. В силу систематического отбора в философскую среду бездарностей и в силу низкого уровня образования интеллектуальный уровень советской философии чудовищно низок. Чтобы хотя бы несколько повысить этот уровень, в философскую среду привлекают математиков, физиков, биологов, историков и т. п., главным образом — через философскую аспирантуру. В философской среде они обычно сильно прогрессируют в общей болтовне на материале конкретных наук и процветают, поднимая интеллектуальный уровень философии лишь по видимости. Этот путь соблазнителен тем, что он способствует карьере и довольно необременителен, ибо нужно быть законченным кретином, чтобы не получить диплом или не защитить диссертацию по философии. Если я не ошибаюсь, даже один известный хоккеист защитил диплом по философии, а один дипломат стал академиком. Число же работников КГБ с философскими дипломами, докторов наук и даже членов-корреспондентов академии наук не счесть. [...]

Конечно, в советской философии можно обнаружить отдельных различных и умных специалистов, отдельные талантливые работы на уровне мировых образцов. Однако общей картины советской философии и ее фактической роли это не меняет. Поэтому я и буду к этому в дальнейшем относиться как к нарушениям нормы, а не как к норме. Однажды я публично оценил советскую философию как помойку в интеллектуальном и нравственном отношении, и я от этой оценки не отказываюсь и теперь, считая ее вполне адекватной.

Хотя советская философия в целом есть часть идеологии и не имеет ничего общего с наукой, она всячески стремится выдать себя за науку, причем за науку самую высшую, самую глубокую, самую всеобъемлющую и, вместе

с тем, самую строгую и точную. Вы не сможете назвать ни одного крупного исторического события или научного открытия, относительно которого советские философы не претендовали бы на самое правильное и подлинно научное его истолкование. Сознание своего «подлинно научного», «единственно правильного» и т. п. превосходства над всеми прочими философами прошлого и настоящего (включая и своих собратьев зарубежных марксистов; исключая, конечно, лишь Маркса и Энгельса) — такова фундаментальная психологическая черта советской философии. [...]

Советские философы определяют философию как науку о наиболее общих законах природы, общества и познания, ничуть не заботясь о коварстве употребляемых слов и даже не подозревая о нем. На самом деле всякий закон универсален, но не всеобщ. И никаких всеобщих законов вообще не существует. Приведите мне пример хотя бы одного такого всеобщего закона, и я покажу, что он либо ложен (т. е. есть отвергающие его исключения), либо является соглашением о смысле общих слов. Но пусть то, что советские философы считают «общими законами», есть некий общий разговор в таких выражениях, как «материя», «пространство», «время», «движение», «качество», «количество» и т. д. Все-таки какие-то рамки этими выражениями задаются. Но если вы посмотрите, чем фактически занимаются советские философы, вы увидите, что они эти границы никогда не соблюдают. Они говорят и пишут обо всем, что угодно. Они вторгаются во все сферы культуры, на которые им указывают свыше или за счет которых можно так или иначе поднажиться, удвоить или утроить тщеславие, сделать карьеру.

Но чем бы советские философы ни занимались, основная задача их — пропаганда марксизма, внедрение марксизма во все сферы духовной жизни общества, причисление под марксизм всех значительных явлений культуры, пропаганда и возвеличивание речей партийных вождей, травля всего выходящего за дозволенные рамки. [...]

В советской философии есть отдельные вкрапления, которые сами по себе могут быть отнесены к области науки. Таковы, например, логика, методология науки, эстетика, этика и т. п. Но их удельный вес ничтожен. Кроме того, и они так или иначе выполняют идеологические функции, будучи составным элементом идеологической жизни в целом. В свое время, например, даже мои логические исследования, не имевшие ничего общего с марксизмом, так или иначе использовались в интересах последнего. Хотя бы в форме некоторого примера «свободы творчества» в рамках советской философии.

Советская философия стремится идти в ногу с веком. Открыли новую микрочастицу в физике — сразу отклики: статьи, диссертации, симпозиумы. Открыли «дырку» в космосе — опять статьи, диссертации, симпозиумы. Установили коммунистический режим где-нибудь в Африке — статьи, диссертации, симпозиумы. Написали Брежневу новую речь или даже книгу о его необычайных подвигах — само собой разумеется, статьи, диссертации, симпозиумы. Но все это по существу есть лишь чисто идеологическая, т.



е. формальная реакция на происходящее. Никакого позитивного участия философии в научном творчестве никогда и нигде не ощущается. Она не делает никаких своих открытий. Более того, она принципиально призвана истолковывать и обобщать чужие открытия. Для нее *обобщать происходящее* — наговорить и написать достаточно большое количество подходящих слов, причем так, чтобы начальство было довольным, чтобы для себя из этого кое-что извлечь можно было. А чтобы желаемое было достигнуто, есть лишь один путь как-то привязать происходящее к банальным или бессмысленным марксистским фразам, т. е. путь пропаганды и возвеличивания государственной марксистской идеологии.

Одной из характерных черт советской философии является беззащитное воровство из науки, культуры и философии Запада. Делается это под видом критики западной философской мысли. Общий принцип здесь таков: воруеться какая-то западная мысль, делается вид, будто до этой мысли советские философы сами додумались или будто все это уже у классиков было, а затем западные мыслители критикуются за искажение этой самой мысли. Некоторые наиболее талантливые и образованные советские философы делают вид, будто они используют критику западной философской мысли как удобную форму познакомиться с этой самой мыслью советских читателей и высказать свои собственные оригинальные мысли, по идее выходящие за рамки марксизма. Но это, увы, лишь самообольщение. Советские идеологические цензоры и контролеры, разрешая к печати такие «смелые» творения (а обычно их печатают в партийных журналах и издательствах), свое дело знают хорошо. «Собственные оригинальные» мысли авторов все равно выступают лишь как ничтожные прибавочки к монументальным положениям марксизма, а западная мысль препарируется на потребу советского идеологически обработанного человека. От мыслей не остается ничего. Остаются лишь некие умыслы и замыслы.

Советская философия существует и производит мощные потоки идеологических помоев главным образом для внутреннего потребления и отчасти — для заграницы. В Советском Союзе то, что делается для заграницы, делается немного лучше того, что делается для внутреннего потребления. Советская философия всячески стремится завоевать место на международном идеологическом и вообще культурном рынке, и потому она старается выглядеть для внешнего мира поприличнее. Иначе теперь, в условиях пошатнувшегося морального и интеллектуального престижа марксизма, завоевать какой-то авторитет совершенно немислимо. Но и в этой роли советская философия не может быть ничем иным, кроме как элементом в идеологической экспансии Советского Союза в страны Запада. Какими бы образованными, интеллигентными, либеральными, терпимыми и т. п. ни выглядели представители советской философии в общении с западными деятелями культуры, они выполняют ту же функцию, какую раньше выполняли ортодоксальные сталинисты. Они лишь выполняют эту функцию лучше своих предшественников. Столкнувшись с такого рода представите-

лями советской философии, знайте, что они специально отобраны для этой роли — производить нужное впечатление, что им *дозволено* быть «вольнодумными» и даже порой критиковать какие-то стороны марксизма и признавать какие-то заслуги западной философии.

Как относится советское население к своим философам? В большинстве случаев — с безразличием или с презрением. Но не следует из этого делать оптимистические выводы. Как бы люди ни относились к философии, они соприкасаются с нею систематически и постоянно испытывают ее контроль за их сознанием и ее оглуляющее влияние. Люди не сопротивляются ей. Сопротивление исключено, ибо за это — плохие отметки, исключение из учебных заведений, невозможность продвижения по иерархической лестнице и т. п. Они вынуждены принимать ее и усваивать, определенным образом формируя свое сознание и характер мышления. В результате даже люди, критически относящиеся к советскому образу жизни и советской идеологии, полемизируют с ними в плоскости того же строя мышления, теми же средствами, с теми же последствиями, т. е. все равно остаются во власти этой философии.

Каковы перспективы советской философии? Превосходные. По числу дипломированных философов, кандидатов и докторов, доцентов и профессоров философии Советский Союз давно обогнал самые передовые капиталистические страны. Правда, сейчас несколько снизились темпы прироста. Но зато качество философов улучшается. Они с каждым годом все более приближаются к западным образцам (изучают иностранные языки, борются отпуская, западных философов коллегами называют), успешно справляясь при этом с традиционными функциями идеологических надсмотрщиков и погромщиков. На Западе советских философов уже сейчас принимают с распростертыми объятиями, а в недалеком будущем они тут будут себя чувствовать как дома. В свою очередь, советские философы предоставляют богатую арену для удовлетворения тщеславия стареющих и устаревших западных философов, которые за упоминание их имени в советской философской литературе (пусть в качестве недоумков и прислужников капиталистов!) готовы пожертвовать всеми ценностями западной демократии.

Советские философы имеют целый ряд несомненных преимуществ перед западными. Во-первых, им не нужно терзаться в поисках новых творческих идей, ибо они у них были, есть и будут, — это суть идеи марксизма, а также гениальные (что само собой разумеется) постановления Партии и Правительства и речи руководителей. А что в мире вообще может сравниться по творческой новизне и глубине с речами партийных вождей, написанными при участии самих советских философов?! Во-вторых, при всем разнообразии советских философов они образуют нечто единое и монолитное в качестве чиновников государственного идеологического аппарата, тогда как западная философия распадается на десятки и сотни всякого рода школ, школок, групп и группок. В-третьих, советская философия опирается на всю мощь советского государства, хорошо поддерживается им в качестве

своего важного оружия, чего нельзя сказать о западной философии. Далее, советская философия постоянно находится в состоянии готовности нападения на любого противника, на которого ей укажут свыше, осуществляя свои погромные действия как будничную привычную работу. Наконец, советская философия выигрывает, когда ее хвалят, и выигрывает, когда ее ругают, — выигрывает от всякого внимания, проявляемого к ней. Она тогда начинает ощущать себя не в качестве идеологической помойки, какую она является на самом деле, а в качестве значительного явления в духовной жизни человечества. И такую она начинает казаться окружающим. Лишь презрение и безразличие к ней низводит ее до адекватного ей уровня социальной значимости. Но западная философия не способна к такому отношению к советской философии как к целому. [...]

Хочу подчеркнуть, что существующая международная философская ассоциация, абсолютно ничего общего не имеющая с интересами науки, весьма способствует укреплению советской философии. Но я сомневаюсь в том, чтобы западные философы отказались от нее, ибо она и им дает возможность тешиться в бессмысленных спектаклях международного масштаба, какими являются международные конгрессы и прочие события того же рода.

В заключение хочу заметить, что рассматривать советскую философию с точки зрения перечня проблем, которыми занимаются те или иные философы, и списка опубликованных их работ — значит упустить в ней самое главное, а именно — ее роль в советском обществе и в проникновении последнего в страны Запада. Советская философия — это огромная масса людей, среди которых любой западный философ может найти существо, подобное себе. Но прежде чем признать в этом существе коллегу и соратника в поисках некоей истины, западному философу не мешало бы знать о том, что это существо (за редкими исключениями, которые можно перечесть на пальцах) есть служащий идеологического аппарата коммунистического общества и его, западного философа, потенциальный или даже актуальный погромщик.



**ИГОРЬ БИРМАН**

## **Экономическая ситуация в СССР**

Я отдаю себе полный отчет в крайней серьезности темы, мрачности доводов и драматичности моих выводов. И, скажу это сразу, многие с выводами не соглашались. Впрочем, я сам пришел к ним не сразу.

Эмигрируя в 1974 году, я отлично осознавал, что дела в советской экономике из рук вон плохи. Как «обыкновенный» житель, я видел рост цен (явный на рынках и не совсем явный, но весьма ощутимый в госторговле), удлинение очередей, ухудшение качества товаров. Как экономист, я знал и причины: общее замедление темпов развития экономики, слабый рост производительности труда, назревание проблем с сырьем и топливом, недостаточный научно-технический прогресс, развал сельского хозяйства и многое другое. При всем том я думал тогда, что радикальные реформы экономической системы были бы благотворными, что, состоясь они, дела бы пошли много лучше.

И, как говорится, едва вывалившись из самолета в Вене, я начал объяснять все это встречным и поперечным. Увы, встречные были больше заняты собственными заботами, а поперечные рассказали много интересного.

— Что многое, которое я торопился выложить, было более или менее известно специалистам.

— Что специалисты (так называемые советологи) вкалывают истово, умело препарируют советскую печать, а сосредоточившись на каком-то узком вопросе, знают о нем зачастую больше, чем мы, которые «оттуда».

— Что много уже было предвещателей краха советского режима вообще и советской экономики, в частности, но (этого я и сам не мог не заметить) крах не состоялся. Так что, хотя и острят, что нет таких трудностей, которых бы не создали большевики, чтобы затем целеустремленно их преодолевать, в стране нет голода и мерзости запустения, а в некоторых отношениях, — например, военном, — страна уверенно идет вперед.

— Что мнение эмигранта по определению тенденциозно и что на Западе ученому полагается иметь «сбалансированную точку зрения», видеть и указывать не только минусы, но и плюсы.

А скоро я и сам увидел, что замечательная капиталистическая экономика имеет множество проблем и при сравнениях с ней кое-что в советской

экономике выглядит довольно привлекательным, скажем — отсутствие безработицы, а также нециклический характер развития.

Отчетливо представляя себе кризис советской экономики, я не менее отчетливо ощущал политическую стабильность режима, его выживаемость, отсутствие в нем механизма изменений. Уже здесь, на Западе, я познакомился с подобными же представлениями собратьев (и сосестер) по эмиграции, а также сторонних наблюдателей, и это тоже подсказывало: режим как-то справится с экономикой.

Постепенно я начал глядеть через ржавеющий занавес немного иначе, чем вначале. При взгляде отсюда, извне, СССР и впрямь выглядит много сильнее, чем при взгляде изнутри. [...]

\* \* \*

Я сказал выше, что советологи хорошо знают детали. Действительно знают, но редко приподнимаются над ними, обзеревают всю совокупность экономических фактов, осмеливаются на широкие обобщения. Не стоило мне также равняться на советологов еще и по той причине, что они ужасно горды употреблением западных экономических теорий. Я не отрицаю эти теории огульно, но к советской экономике они явно не подходят; они недостаточно универсальны, чтобы в одно и то же время удовлетворительно объяснять реалии и западных экономик, и принципиально отличной от них советской экономики. Большинство советологов не видят этого, основывают свои выводы на неподходящих теоретических построениях и часто попадают в полный просак.

И, разумеется, еще одна гордость советологов — их «сбалансированные воззрения» — часто оказываются на поверку недостатком, а не достоинством. Многие ученые и журналисты переходят здесь опасную грань, смещают пропорции, незаметно для себя уравнивают, скажем, значительные «за» и мелкие, пустячные «против». К тому же стремление во всех случаях дать сбалансированную позицию превращается часто в самоцель.

Это случается и со многими оценками советской экономики. Слушаешь (читаешь) иногда и думаешь: вроде бы все верно он (она) говорит, но когда переходит к выводам, то столько скажет «с одной стороны» и «с другой стороны», что в конце концов избежит более или менее определенного заключения. И объективность (ученость) свою продемонстрировал, и не рискует ошибиться в предсказаниях, так что получается по-одесски — наверное может быть, но безусловно вряд ли.

## I

Трудности советской экономики отнюдь не новость, о них и в советской печати много говорилось и говорится. [...] Попробуем кратко подытожить состояние дел, рассмотрим его сначала по отраслям народного хозяйства.

*Сельское хозяйство.* Грубо говоря, в стране должна производиться примерно 1 тонна зерна «на душу населения». Сравнительно небольшая часть

идет на хлеб и другие продукты, а основная на семена (тем больше, чем ниже урожайность) и на корм скоту, много зерна теряется. Если произведено меньше 1 тонны на душу, то мяса не хватает. Но никогда производство зерна не достигало заветной 1 тонны на душу населения, из-за чего и приходится закупать его за границей даже в урожайные годы.

В только что опубликованных «Основных направлениях» нового пятилетнего плана на 1981 — 1985 годы предусмотрено среднегодовое производство зерна в 240 млн. тонн. Понятно, что план завышен: даже в рекордном 1978 году собрали несколько меньше, чем намечено в среднем на все пятилетие, а неурожаи наверняка будут и в новой пятилетке. Но даже при выполнении плана — до 1 тонны на душу населения остается значительная дистанция.

В целом сельское хозяйство с 1913 года существенно выросло (в особенности производство сахарной свеклы, хлопка, яиц) при сокращении сельского населения с 131 до 98 млн. чел. Однако нет никаких сомнений, что без колхозов и совхозов оно было бы куда более успешным. Вот элементарный факт. В стране имеется 553 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, из них в личном пользовании колхозников находится 4,2 млн., а в личном пользовании рабочих и служащих (в том числе работников совхозов) — еще 3,7 млн. гектаров, то есть примерно 1,5% от всех угодий. И вот на этих-то клочках земли, практически без всякой механизации, без искусственных удобрений, производится что-то около четверти или даже трети всей сельскохозяйственной продукции<sup>1</sup>.

При Сталине из деревни качали все возможные и невозможные соки. Никак не скажешь это про последние десятилетия — сюда направляются машины и материалы, капитальные вложения достигли пятой части от всех капиталовложений по всему народному хозяйству. Кроме того, государственный бюджет ежегодно тратит многие десятки миллиардов рублей на покрытие убытков сельского хозяйства<sup>2</sup>. А результат пшиковый.

Чего только ни пробовали, как только ни исхитрялись. После Сталина отменили «палочки» за трудодни, меняли налоги, установили гарантированную денежную оплату, ликвидировали МТС, учреждали сельскохозяйственные производственные объединения вместо райкомов партии, осваивали целину, осушали и увлажняли, вводили, ликвидировали и восстанавливали травопольные севообороты, сеяли кукурузу, провели бесчисленное количество пленумов ЦК КПСС, укрупняли колхозы и переводили их в совхозы. Словом, практически уже все попробовали; объявленная не-

---

<sup>1</sup> В официальных справочниках этих данных нет, но такие оценки специалистов проскальзывают в печати. Например, по словам заместителя председателя Госплана СССР, «сейчас на приусадебных участках колхозников и рабочих совхозов Воронежской области производится четвертая часть всей сельскохозяйственной продукции» («Лит. газета», 1979, 4 мая).

<sup>2</sup> Приходится это делать потому, что цены на мясо и другие сельскохозяйственные продукты слишком низки.

давно с большим шумом специальная «продовольственная программа» по сути дела ничего нового не представляет. И таким образом экспериментально доказали: путей для улучшения работы сельского хозяйства нет. Значит, и надеяться на это не приходится, значит, продовольственная проблема будет становиться всё острее.

*Промышленность.* В отличие от несчастного сельского хозяйства промышленность всегда была особой гордостью советских правителей. С 30-х годов она стремительно росла, были созданы десятки новых отраслей, тысячи крупных и гигантских предприятий. Здесь работает теперь под 40 млн. чел., в основном высококвалифицированных рабочих и инженеров. Именно благодаря такому бурному промышленному росту страна стала мощнейшей военной державой. Всё же следующие факты заслуживают самого пристального внимания.

Во-первых, официальные показатели роста промышленности явно преувеличены. Скажем, не мог общий объем промышленного производства вырасти с 1940 года в 20 раз. Явно завышены также и сравнительные оценки, невозможно поверить, что советская промышленность производит более 80% от того, что производит американская промышленность, хотя в такую чепуху верят многие западные эксперты. Однако даже эти завышенные официальные данные демонстрируют сильную тенденцию к снижению. Происходит резкое снижение темпов, причем особенно сильно они упали за последние годы. Не от хорошей жизни на новую пятилетку планируют весьма скромный рост, причем совершенно понятно, что и это не состоится.

Во-вторых, основным источником развития промышленности долго были так называемые экстенсивные факторы, т. е. постоянный приток новых рабочих рук и громадные капиталовложения в строительство новых предприятий. К ним же следует отнести колоссальные, удобно расположенные природные ресурсы. Теперь же ни на существенный прирост рабочей силы, ни на увеличение капиталовложений рассчитывать не приходится, резко ухудшилось дело с природными ресурсами. То, что лежало поближе к поверхности и к основным промышленным районам, то, что было наилучшего качества, уже израсходовано. Приходится копать (бурить) глубже, перерабатывать больше, возить дальше. Приходится все больше зарываться в Сибирь, а это много труднее и много дороже<sup>3</sup>.

В-третьих, постоянно и быстро росло производство так называемых средств производства, а не того, что люди используют сами. Если в царской России производство средств производства в промышленности (знаменитая «группа А») составляло треть, а другие две трети составляло производ-

---

<sup>3</sup> Это отдельная и большая тема, но стоит заметить, что едет в Сибирь меньше людей, чем покидает ее, что на создание здесь так называемой инфраструктуры уйдут десятилетия и триллионы рублей, что Сибирь и Дальний Восток уязвимы стратегически.

ство предметов потребления («группа Б»), то за последние 15 лет группа А составляет три четверти, а группа Б — лишь четверть от всего объема промышленного производства. Правда, в группу А входит и производство военной продукции, но все же в целом промышленность работает главным образом «сама на себя»; тот факт, что три четверти ее продукции не идет в потребление, является, может быть, самым ярким свидетельством ее глубокой неэффективности.

Еще одним ярким свидетельством является, в-четвертых, постоянная зависимость промышленности (так же как и других отраслей) от зарубежной техники и технологии. Мощный подъем в 30-е годы состоялся на базе импорта американской и европейской техники, были приглашены тысячи иностранных специалистов. Масса оборудования была получена по ленд-лизу и вывезена из Германии после войны. Новое впрыскивание состоялось в 70-е годы как результат детанта.

Говорят, что советская наука не так уж сильно отстает от западной и что беда в плохом, медленном внедрении. Насчет внедрения это очень верно, но есть сомнения и насчет самой науки. Численность научных работников в СССР составляет четверть всех научных работников мира, на науку расходуется почти 5% всего национального дохода, а по числу Нобелевских премий на душу населения СССР занимает последнее место среди всех 20-ти стран, граждане которых такие премии вообще получили<sup>4</sup>. Трудно провести соответствующие измерения, но создается вполне определенное впечатление, что по многим отраслям промышленности техническое отставание СССР не сокращается, а нарастает.

*Другие отрасли.* Ограниченный журнальными рамками, очень коротко скажу, что в других отраслях народного хозяйства дела обстоят не лучше. Транспорт — постоянное «узкое место», которое все более сужается. Что говорить, когда в Сибирь не идет ни одна автомобильная дорога с твердым покрытием, когда в деревнях царит практическое бездорожье, когда грузы на железнодорожных станциях и в портах ждут отправки долгими месяцами, когда пресловутый БАМ, объявленный «всенародной» стройкой, строится много медленнее, чем строили железные дороги в конце прошлого века в царской России<sup>5</sup>. Советский пассажирский авиатранспорт зависит от погодных условий неизмеримо больше, чем западный, газеты переполнены горькими жалобами на обслуживание железнодорожных пассажиров, крупнейшие автозаводы пришлось строить на иностранном оборудовании, морские суда заказывают за границей.

---

<sup>4</sup> Оговорюсь, что в математике, по которой Нобелевские премии не присуждаются, уровень как минимум сравним с любой западной страной. Хотя, с другой стороны, за последние годы десятки первоклассных математиков эмигрировали.

<sup>5</sup> «В России в течение 1899—1904 гг. построено и открыто для правильного движения жел.-дорожных линий... 14369 верст». — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, дополнительный том 1а, 1905. С. 744.



По общему признанию, одной из главных причин этого является систематический недостаток капиталовложений в транспорт, но на их увеличение не приходится уповать.

Постоянно нам твердили: «страна-стройка». И, правда, по улицам не пройдешь, нет завода, где бы хоть что-то не строилось или не перестраивалось. В строительстве (без промышленности строительных материалов) занято 10% всего числа рабочих и служащих в народном хозяйстве, но ведется строительство безобразно, другого слова не подберешь. Качество отвратительное, сроки всегда и намного нарушаются<sup>6</sup>, начинают и бросают, стоимость стремительно растет<sup>7</sup>.

Очень трудно сказать что-то особенное относительно *торговли*, читатели и без меня знают, что она несравнима с западной, а также с восточной. Дело не только в катастрофическом недостатке товаров, но и в одновременной (при таком недостатке) неразвитости торговой сети, в элементарном бескультурье (во всех смыслах) обслуживания, отсутствии простейшей механизации и т. д., и т. п.

Как экономист, обращаю внимание на одну вещь. В СССР, если не учитывать различных косвенных налогов и других фокусов с ценами, так называемая торговая наценка (то есть то, что добавляется к оптовой цене) составляет 3-7% от продажной (розничной) цены, в Америке же она приближается к 100%. Вообще говоря, этот факт можно толковать так: платит в конце концов покупатель, и на Западе он сильно переплачивает. В каком-то смысле это действительно так, но, с другой стороны, мы платим за удобства: отсутствие очередей, несметный выбор, возможность вернуть неподошедшее. И — тоже важно, — мы можем себе позволить платить! Я не идеализирую западную торговлю, я просто хочу сказать, что если бы даже в СССР хватало товаров, то торговля работала бы еще хуже, уровень ее развития потрясюще низок.

Можно длить этот печальный список — лесное хозяйство соревнуется своими неудачами с сельским, городское население имеет мало телефонов, а сельское не имеет их совсем, трамваи и троллейбусы берут с бою и т. д. Я не берусь назвать отрасль, в которой все было бы в порядке, которая действительно справлялась бы со своими задачами. Ни одной.

## II

Нельзя не сказать хотя бы коротко о военных расходах. Западные наблюдатели обычно сильно их преуменьшают — в частности, ЦРУ долгие годы свято верило официальным советским показателям по этому поводу.

---

<sup>6</sup> Многие заводы строятся десятилетиями. Например, строительство Череповецкого металлургического комбината началось где-то в 50-х годах, план на текущую пятилетку предусматривает продолжение строительства.

<sup>7</sup> Практически никогда не бывает, чтобы уложились в первоначальную смету строительства. Согласно официальной статистике, стоимость строительства сокращается, но, по многочисленным свидетельствам в литературе, она быстро растет.

Но даже когда в середине 70-х годов ЦРУ увеличило свои оценки вдвое, они все еще, по-моему, «не добрали». Дело тут даже не в самих абсолютных показателях — вопрос этот сложен и довольно спорен, а в том, что экономисты ЦРУ и другие специалисты явно преуменьшают долю военных затрат в советском национальном продукте. У них получается, что эта доля составляет порядка 11-13. Это, конечно, не имеет ничего общего с действительностью. Читателей этого журнала вряд ли надо убеждать, что советские военные расходы чудовищны по своей величине, что именно в военных отраслях сосредоточены лучшие силы и средства, что это первый и самый главный приоритет, что денег здесь почти не считают.

В связи с нашей темой нас, разумеется, прежде всего интересует влияние военных расходов на текущее экономическое положение и на ближайшие экономические перспективы. Что касается первого, то ясно, что экономика развивалась бы быстрее, люди жили бы много лучше, если бы военные расходы были меньше. Была ли такая возможность, можно ли было тратить на вооружение меньше без угрозы безопасности страны? Проклятый вопрос, но его надо ставить, надо пытаться на него ответить.

Не буду дебатировать — есть ли угроза СССР со стороны западных стран и в том числе Америки? Ответ представляется более чем очевидным, но нельзя запретить советским руководителям иметь по этому поводу собственное мнение. Куда более труден вопрос о «китайской угрозе». Хотя все западные специалисты единодушны: сегодня Китай не опасен СССР, — нельзя ничего гарантировать насчет страны с миллиардным населением и тоталитарным режимом. Поэтому никто и не говорит, что СССР должен распустить армию и не тратить на вооружения ни копейки.

Однако можно и нужно указать, по крайней мере, такие вещи. Прежде всего СССР систематически ввязывается в различные военные предприятия по всему глобусу. Оружие и военные инструкторы предоставлялись Коре, Вьетнаму, Кубе, Египту, Ираку, Сирии, Сомали, Эфиопии, Анголе и т. д. Действительно ли соответствующие многомиллиардные траты вызывались стратегическими интересами страны, ее народа?! Учтем при этом, что эти предприятия всегда усиливали международную напряженность, вели к убыстрению гонки вооружений, т. е. опять-таки вели к новым колоссальным затратам.

А зачем были потрачены немислимые средства на строительство мощнейшего морского флота? Отнюдь не для защиты советских границ, — дорогие эти игрушки бороздят воды Средиземного моря и Индийского океана. Опять-таки никто не говорит, что стране вообще не нужен военно-морской флот, речь идет о пропорциях, о том, что советский флот сегодня никак не назовешь средством защиты, обороны.

Не будем говорить об Афганистане. Значение вторжения в Афганистан надо рассматривать на общем фоне американо-советских отношений и переговоров об ограничении стратегических вооружений. В начале прошлого десятилетия начались маневры вокруг детанта, было подписано соглашение

ОСВ-1, начались переговоры об ОСВ-2, появилась ясная возможность сократить военные расходы. И Америка сократила их: со 100 млрд. долларов в 1968 году они упали к 1976 году на треть — до менее 66 млрд. долларов, и процент военных расходов от национального продукта упал почти в два раза. А советские правители, как раз наоборот, их резко подняли. Правда, по официальным данным, они остаются неизменными вот уже более десяти лет, но всерьез в это верить не приходится, — по всем оценкам, советские военные расходы очень существенно возросли за этот период, разногласия существуют лишь относительно размера возрастания.

Этот акт советского руководства непростителен. Дело не только в том, что, направив на непроизводительные цели огромные средства, оно нанесло вряд ли поправимый удар собственной экономике — среди причин замедления ее роста чудовищные военные траты занимают не последнее место. Дело также и в том, что, потратив так много средств, «перетратив» Америку, оно бросило вызов, который был немедленно подхвачен. Военные расходы Америки снова резко поднялись, начался новый раунд гонки вооружений. Даже для богатой Америки этот новый раунд труден, хотя и терпим; для СССР он будет много тяжелее, правителям придется опять затягивать пояс на животах собственных граждан<sup>8</sup>.

### III

Я уже сказал выше, что народное хозяйство в целом и промышленность в особенности развивались за счет экстенсивных факторов. К ним, в первую очередь, относится численность рабочей силы. Вот соответствующие данные о числе рабочих и служащих по народному хозяйству СССР<sup>9</sup>:

Год	Численность рабочих и служащих, млн. чел.	Прирост за пятилетие, млн. чел.
1945	28,6	
1950	40,4	11,8
1955	50,3	9,9
1960	62,0	11,7
1965	76,9	14,9

<sup>8</sup> ЦРУ дважды объявляло, что, если СССР и снизит свои военные расходы, это не принесет стране каких-либо серьезных экономических выгод. Я критикую эту странную точку зрения в «Вашингтон Пост».

<sup>9</sup> Сюда не входят колхозники и не должны входить военнослужащие. По всей видимости, сюда не входят также работники КГБ (в том числе погранохрана) и МВД, зато, по-видимому, входят заключенные.

1970	90,2	13,3
1975	102,2	12,0
1980	113,0	11,8
1985 [план]	116,0	3,0

Обратим внимание, как резко изменяется ситуация: в прошлом каждые 5 лет численность рабочей силы возрастала более, чем на 10 млн. чел., что являлось основным источником роста экономики<sup>10</sup>, но в текущей пятилетке прирост будет почти в 4 раза меньше, чем в предыдущей.

Уже само по себе такое резкое снижение прироста рабочей силы<sup>11</sup> будет иметь очень серьезные последствия, но это еще не всё. Во-первых, очень значительная часть всего прироста пойдет в так называемые непроизводительные отрасли хозяйства, главным образом — в сферу обслуживания, т. е. эти люди не будут участвовать в увеличении выпуска продукции. Во-вторых, основная часть прироста рабочей силы придется на среднеазиатское и азербайджанское село, мусульманское население которого крайне неохотно переселяется в города и еще менее охотно двигается из своих республик. Таким образом, в РСФСР, на Украине и в Белоруссии, где производится подавляющая масса промышленной продукции, прироста численности рабочей силы в этой пятилетке практически не будет, а в следующей пятилетке ее численность даже снизится.

В-третьих, такое положение с рабочей силой могло бы как-то компенсироваться ростом производительности труда, но здесь дела тоже плохи. Уже в последней пятилетке рост производительности труда был очень низким, и в текущей пятилетке планируется такой же скромный ее рост. Надо при этом отметить, что по ряду причин есть серьезные основания считать, что показатели за 1976 — 1980 годов завышены, а план наверняка не будет выполнен.

За счет чего, собственно, растет производительность труда? Имеется несколько факторов, рассмотрим важнейшие из них.

Очень существенна в этом отношении квалификация кадров, и она возрастает. Не менее существенно желание людей работать лучше, производить больше, а вот тут-то дело обстоит очень плохо. В сталинские времена людьми двигал страх — «кнут»; заменил его «пряник», который до поры до времени более или менее действовал, а теперь перестал. Из-за инфляции, громадных денежных накоплений (которые люди не могут использовать)

<sup>10</sup> Стоит заметить, что относительный прирост (в процентах) уменьшался по мере роста числа рабочих и служащих, что и было одной из наиболее существенных причин замедления общих темпов экономики.

<sup>11</sup> Одна из основных причин — «демографическое эхо войны», т. е. резкое падение рождаемости в начале 40-х и, соответственно, в начале 60-х годов.

пропал интерес к более интенсивной, более производительной работе. Несмотря на то, что именно в СССР несравненно шире, чем на Западе, используется сдельная оплата труда, люди, не имея надлежащего интереса, работают кое-как, и качество их работы скорее ухудшается, чем улучшается. Добавим к этому жуткий алкоголизм. [...]

Очень важный фактор — улучшение общественной организации производства, лучшее распределение ресурсов, прогрессивные изменения отраслевой структуры и т. п. Здесь шансов на улучшение едва ли не меньше. С ростом экономики управление ею становится более громоздким, менее эффективным.

Во многом решающей в современных условиях является автоматизация производства, внедрение новых машин и технологических процессов, то, что называется научно-техническим прогрессом. Я уже подчеркивал сомнительность тезиса о больших достижениях советской науки, но, с другой стороны, страна сильно отстала, она далеко не использует и то, что сделано собственной наукой и, тем более, зарубежной. Внедрение новой техники и различных новинок не стало лучше, никто в этом по-настоящему не заинтересован.

И последнее по счету, но не по важности — капиталовложения. Они необходимы и для простого расширения производства, и для подъема его технического уровня. А их объем начал, по сути дела, снижаться.

В целом страна тратит на эти цели уникально много, более четверти всего производимого в стране национального дохода. Хотя прямые сравнения тут невозможны из-за различий методологии, все же ни одна западная страна даже близко не подходит к такому высокому удельному весу капиталовложений в национальном продукте. Уникально также, что подавляющая часть этих огромных средств направляется не на удовлетворение потребностей населения, а на производственные нужды<sup>12</sup>. По меньшей мере спорно — благотворны ли были такие громадные капиталовложения в прошлом, даже в советской печати проскальзывает деликатно выраженные сомнения в этом, но становится все более ясно, что сегодняшний их уровень вызывается прежде всего их глубокой неэффективностью, тем простым и трагичным обстоятельством, что на них тратятся чудовищные средства<sup>13</sup>, а результаты несоразмерно малы.

Что, собственно, это падение означает? То, что для получения того же самого эффекта, для поддержания прежних темпов роста экономики надо все время увеличивать сумму капиталовложений. Однако уже в течение

---

<sup>12</sup> В 1979 году 94 млрд. руб., т. е. 72% от общей суммы капиталовложений, пошли непосредственно на промышленность, сельское хозяйство, транспорт и само строительство. К этому следует добавить пару десятков миллиардов на коммунальное строительство, лесное хозяйство, заготовки, торговлю и т. п. Сколько точно идет на военное строительство, подсчитать трудно. На жилищное строительство идет лишь немногим больше 10% от всех капиталовложений.

<sup>13</sup> В строительстве, промышленности строительных материалов и машиностроении занято больше трети от общего числа всех рабочих и служащих.

большей части 70-х годов уменьшался их абсолютный прирост и началось заметное уменьшение относительного прироста, общая сумма растет очень медленно, план на следующую пятилетку предусматривает рост всего на 12-15%, что много меньше, чем когда-либо в советской истории.

Опираясь официальными данными, я не подвергал их выше серьезной критике, в частности, потому, что если даже им полностью доверять, результаты все равно получаются достаточно неутешительными. Однако здесь я должен сказать, что данные о капиталовложениях даже на общем фоне советской статистики слишком сомнительны. Не в том смысле, что на них тратится меньше, — как раз это, по всей видимости, более или менее верно. А в том, что показатели динамики капиталовложений сильно завышают их реальную отдачу, так называемые физические объемы строительства и других видов экономической активности, ими оплачиваемые. Иначе говоря, если, например, по статистике выходит, что общий объем капиталовложений в «сопоставимых» ценах был в 1975 году 113 млрд. рублей, а в 1979 году — 131, то из этого отнюдь не следует, что реальные объемы того, что было совершено, выросли на 16%. Прежде всего, даже по официальным данным «ввод в действие» вырос за это время примерно на 13% (остальное пошло на увеличение «незавершенного строительства»). Все же более существенно, что, как можно судить по различным косвенным данным и признакам, здесь явная фикция: затраты на капиталовложения растут настолько быстрее, чем их результаты, что можно уверенно утверждать: уже в прошлой пятилетке начался процесс постепенного сокращения прироста основных фондов народного хозяйства. Или, иначе говоря, при продолжающемся некотором росте затрат на капиталовложения их реальные результаты начали уменьшаться. Или, еще иначе говоря, чтобы восстановить рост ввода основных фондов в народное хозяйство, потребовалось бы намного увеличить общий объем затрат на капиталовложения.

Еще один важный момент заключается в том, что резко возросла доля капиталовложений, направляемых на замену выбывающих основных фондов, и соответственно сократилась их доля на создание новых. Прямые расчеты здесь затруднительны, но, очень грубо говоря, если 15 лет назад примерно 16% всех капиталовложений направлялось на замену выбывающих фондов, то сейчас — не менее 30%. По ряду свидетельств, особенно велика эта доля в сельском хозяйстве: до 80% всех машин, поставляемых сельскому хозяйству, идут на замену выбывающих.

Общий вывод из всего этого непреложен — несмотря на то, что капиталовложения поглощают громадную часть национального продукта, они более не обеспечивают рост народного хозяйства.

#### IV

Совсем коротко о внешней торговле.

Внешняя торговля, основанная на международном разделении труда, обычно взаимовыгодна, хотя в случае с СССР это далеко не всегда ясно —

из-за выключенности рубля из международных валютных рынков, его изолированности крайне трудно, если вообще возможно, провести соответствующие измерения, соизмерить плюсы и минусы, судить о степени выгоды. Государство зарабатывает на внешней торговле десятки миллиардов рублей в год, частично затыкая тем самым зияющую дыру в бюджете. Но в то же самое время страна имеет громадный долг в 20 с лишком миллиардов долларов.

Вне зависимости от способа подсчета валютных результатов, очевидно, что внешняя торговля существенно необходима. Прежде всего, именно через нее в страну идет возрастающий поток таких технических средств, которые не удастся произвести самим, и тем самым частично сглаживается научно-техническое отставание. Из-за границы ввозится много зерна. Поступает также научное оборудование, много потребительских товаров. Все бы хорошо, но за импорт надо платить. Чем? Экспортом, продажей золота, за счет «неторговых» операций и залезая в долг.

Общие объемы продажи золота (а также алмазов) довольно значительны и, грубо говоря, покрывают около 20% общей потребности страны в «твердой» валюте, в которой и производится торговля с Западом (а также с развивающимися странами). Еще большее значение имеет продажа оружия<sup>14</sup>, но вместе с продажей золота, а также «неторговыми» операциями (такими, как иностранный туризм и заработки морского флота) она вряд ли дает более половины всей потребности в валюте для внешней торговли с Западом.

Чтобы поддерживать существующий уровень торговли, а тем более, чтобы расширить ее, надо, следовательно, экспортировать. Страна долго была, как говорится, «сырьевым придатком» развитых стран, продавая лес, пушнину, в 20-е годы — зерно, теперь же — много нефти и немного (пока) газа. Перспектив на существенное расширение продажи на Запад промышленных товаров, в общем, нет. Что касается нефти, то тут дело тоже обстоит не слишком хорошо. За последние годы страна много выиграла от роста мировых цен на нефть, но ее добыча растет медленнее, чем собственные потребности в ней. С известным предсказанием ЦРУ, что СССР к середине этого десятилетия начнет импортировать нефть, соглашаться не приходится хотя бы по той простой причине, что за этот импорт нечем платить, но не менее ясно, что экспорт нефти на Запад скоро должен прекратиться. Единственная надежда — газ Ямала, и сейчас лихорадочно идут переговоры о строительстве многотысячекилометрового газопровода в Западную Европу. Стро-

---

<sup>14</sup> За 1973 — 1977 годы СССР продал оружия всего на 23,4 млрд. долларов, в том числе странам Варшавского пакта на 6,9 млрд. долларов, Югославии — 0,5, Китаю — 0,3, Северной Корее немного больше, Вьетнаму — 0,6, Египту — 1,2, Ирану — 0,4, Ираку — 2,6, Сирии — 3,1, Индии — 1,1, Алжиру — 0,5, Анголе — 0,3, Ливии — 1,8, Кубе — 0,5, Перу — 0,6 и т. д. Объем этой продажи лишь немногим уступает объему продажи оружия Соединенными Штатами и намного превосходит продажу оружия другими странами. Используя советскую официальную терминологию, СССР надо теперь называть «продавцом смерти».

иться он будет на иностранном оборудовании и за иностранные кредиты, следовательно, первые годы поставками газа будут покрываться долги.

Трудно здесь оперировать точными числами. Все же в целом можно уверенно утверждать следующее: в лучшем случае стране удастся более или менее поддерживать текущий уровень внешней торговли с Западом, для ее существенного расширения нет реальных возможностей. Не потому, что Запад не хочет торговать, а потому, что нечего продавать.

Таким образом, нет реальных перспектив на решительное улучшение дел в советской экономике с помощью внешней торговли.

## V

Пора обратиться к самому, пожалуй, чувствительному вопросу — жизненный уровень населения. [...]

Довольно распространено мнение, что советским правителям вообще наплевать на благосостояние населения. Думаю, что это не совсем так, но к делу это мало относится. Вне зависимости от своих личных желаний и предпочтений, советское начальство должно заниматься жизненным уровнем. Лишь в условиях жесточайшего террора Сталину удалось провести коллективизацию, индустриализацию и милитаризацию страны за счет жизненного уровня (при росте населения мяса производилось меньше, а зерна много меньше, чем в 1913 году, известно, что жилищное строительство почти не велось, и т. д.). Наследники Сталина, добиваясь поддержки населения, пытались несколько сместить приоритеты: они сначала несколько уменьшили военные расходы, чуть уменьшили другие затраты, и с тех пор почти в течение четверти века жизненный уровень поднимался. С крайне низкой точки (в 1953 году он был буквально нищенским для большинства, а в особенности для деревни) и медленно, но, по сути дела, именно этот процесс и обеспечил режиму поддержку масс.

Я знаю, что тут со мной не согласятся многие, все же мое мнение, основанное на поездках по всей стране, на сотнях разговоров, на наблюдениях друзей и коллег, таково. Большая часть населения политически индифферентна, немалая часть едва терпит, однако большинство политически активных людей поддерживало режим. Понятно, что немалое значение имеют отсутствие альтернатив и результат действия лучшего детища режима — пропагандистской машины, — но подъем жизненного уровня тут едва ли не самый существенный элемент. Крайне трудно сказать, насколько именно поднялся жизненный уровень<sup>15</sup>, но несомненно, что улучшились жилищ-

---

<sup>15</sup> По официальным данным, заработная плата рабочих выросла по сравнению с 1913 годом в 7,3 раза, с учетом ликвидации безработицы — в 8 раз, а с учетом сокращения продолжительности рабочего дня — в 10,5 раза; реальные доходы крестьян — в 15,8 раза. По тем же данным, реальные доходы всего населения выросли по сравнению с 1940 годом на душу населения в 5,6 раза. Трудно опровергнуть эти данные, поскольку заботливо не сообщается, как именно, по какой методологии они исчислены, но нет никаких сомнений — они очень сильно завышены.



ные условия<sup>16</sup>, вошли в повседневный быт телевизоры и холодильники, расширилась продажа автомашин, улучшилось питание<sup>17</sup>, люди стали несравненно лучше одеваться и т. д. Понятно, что этот процесс не был «гладким», он протекал по-разному в разные периоды, в разных районах и для разных групп населения.

Все же наиболее существенны для характеристики как этого процесса, так и сложившейся в его результате ситуации, следующие моменты.

Во-первых, важен не столько сам абсолютный уровень потребления (стандарт жизни), сколько его динамика. И не менее важны другие, нединамические сравнения. Но при всем при том много более важно то, что я называю «ножницами», то есть разница между потребностями и степенью их удовлетворения. На протяжении всей человеческой истории стандарт жизни поднимался, но никак не скажешь, что современный человек доволен своим материальным положением больше, чем его неисчислимые предки: не менее быстро, чем потребление, росли и потребности, желания людей. Не отвлекаясь на исторические параллели, скажу, что этот процесс можно наблюдать и для рассматриваемого периода. Более точно говоря, как мне кажется, ножницы начали несколько сдвигаться в начале рассматриваемого периода, но постепенно положение стало меняться. Желания людей, их конкретные потребности в нормальном жилье и нормальном питании, в красивой удобной одежде, в таких элементарных вещах, как стиральная машина, которая действительно стирает автоматически, а не полоскает белье, в личном телефоне и т. д. росли и осознавались быстрее, чем эти потребности удовлетворялись, то есть ножницы начали все сильнее раздвигаться.

Во-вторых, из-за преступно безграмотной политики властей население теперь имеет чудовищные накопления в различных формах (в сберкассах, в кубышках, в облигациях), и чудовищность этих накоплений расстраивает торговлю, подрывает последние стимулы к подъему производительности труда, к перемещению рабочей силы в те районы и отрасли, где она более всего нужна. Крайне серьезно также, что власти практически вынуждены

---

<sup>16</sup> Я совсем не хочу этим сказать, что население удовлетворено жилищными условиями. Вот, например, при наличии 3 млн. кооперативных квартир в очередях на вступление в кооперативы стоит 1 млн. чел. К ним надо добавить тех, кто уже вступил в кооператив, но квартиру еще не получил, и многие миллионы тех, кто не имеет денег. Вообще определить обеспеченность населения жильем затруднительно, хотя, по публикуемым данным, в среднем в городах приходится 13 кв. м «полезной площади» (т. е. включая все подсобные помещения) на душу, что, конечно, страшно мало по современным стандартам. Масштабы жилищного строительства, с учетом выбытия из-за ветхости и реконструкции, не позволяют надеяться, что в течение ближайших десятилетий жилищная проблема в стране будет разрешена.

<sup>17</sup> Потребление мяса сильно выросло, намного больше потребляется также сахара, яиц, молока, выросло потребление овощей. Однако в целом питание много хуже, чем в западных странах, и еще очень далеко отстоит от т. н. рациональных норм, разработанных советскими же экспертами.

забрать эти накопления (как минимум надолго «заморозить» их), что неизбежно вызовет взрыв массового недовольства.

В-третьих, в последние годы рост жизненного уровня практически остановился. Правда, по официальной статистике это не так, но здесь мы опять не должны верить ей, тем более, что она легко опровергается другими официальными показателями<sup>18</sup>.

Все же наиболее важное, в-четвертых, заключается в том, что не видно перспектив на восстановление роста жизненного уровня. Источником такого роста может быть подъем производительности труда и, следовательно, увеличение объемов производства, в частности, в сельском хозяйстве, но на это нет надежд. Другим источником улучшения жизни людей могли бы быть глубокие структурные преобразования экономики, в особенности сокращение военной промышленности, но на это тоже не очень приходится рассчитывать.

Поскольку мы оперируем средними цифрами, сам факт остановки роста уровня жизни необходимо означает, что этот уровень для определенных групп населения уже ухудшился. Так, те, кто не крадет и не имеет «дополнительных» к зарплате доходов, фактически уже потребляют меньше из-за роста цен и все более полного исчезновения из торговли дешевых товаров. Этот процесс снижения жизненного уровня будет неизбежно продолжаться, захватывая все более широкие круги населения. Очень сильным ударом будет также неизбежное изъятие властями денежных накоплений.

Не хочется употреблять громких и торжественных слов — все же приходится сказать: именно доказанная более чем полувековой практикой неспособность режима обеспечить собственному народу более или менее достойную материально жизнь, его очевидное бессилие в этом является самой глубокой причиной его (режима) недолговечности, его неизбежного будущего падения. Не американские империалисты и сионисты, не диссиденты и даже не пекинские марксисты, а собственная экономическая система является злейшим врагом режима, врагом, который в конце концов его разрушит.

## VI

Почему же все-таки я делаю из всего этого такие мрачные выводы, и почему, в особенности, я делаю их именно сейчас? В чем, собственно, состоит примечательность, как когда-то говорилось, текущего момента, куда именно этот момент течет?

---

<sup>18</sup> Обратим внимание, что и по ним рост «реальных доходов на душу населения» замедляется. Показательно также, что этот рост лишь чуть-чуть выше, чем рост средней заработной платы, т. е. «реальные доходы» и увеличиваются, таким образом, в основном в виде увеличения денежных доходов. Но прирост последних идет не на увеличение реального потребления, а в рост денежных накоплений, в частности, в сберкассах. Есть и другие показатели: например, в 1979 году фактически сократилась по сравнению с предыдущим годом продажа населению важнейших культурно-бытовых товаров — часы, телевизоры и т. д., и это при росте населения. Сократился также рост ввода в действие жилой площади.

Основное заключается в том, что развитие экономики, ее движение вперед если еще не остановилось, то вот-вот остановится. Приведу еще один ряд чисел, на этот раз характеризующий все народное хозяйство в целом:

Годы	Рост национального дохода за пятилетие, в процентах
1941-45	-20
1946-50	200
1951-55	83
1956-60	54
1961-65	37
1966-70	45
1971-75	31
1976-80	22
1981-85 [план]	19

Нас уже не удивляет, что рост национального дохода, то есть всей экономики, так стремительно падал и дошел до низкой величины. Однако приведенные показатели, в особенности последние из них, заслуживают подробного обсуждения.

Прежде всего, в очередной раз заметим, что мы используем официальные данные, которые не заслуживают полного доверия. В частности, есть полное основание полагать, что они завышают реальные темпы развития экономики, в том числе фактически имевшие место в последней пятилетке. У меня нет четких доказательств, и поэтому я избегаю давать здесь точное число, но наверняка в 1976 — 1980 годах прирост национального дохода был существенно ниже, чем 22%<sup>19</sup>.

Тем меньшего доверия заслуживают планируемые на 1981 — 1985 годы показатели, хотя, заметим это, они планируются меньшими, чем когда-либо. Учтем при этом, что никогда план на пятилетку по этому показателю не был выполнен. Не менее существенно, что, как я старался показать выше, нет никаких причин для роста национального дохода: численность рабочей силы

---

<sup>19</sup> Такой рост был, в частности, определен при предположении о росте капиталовложений в отчетном темпе. Как я уже выше говорил, это явно не так. Пикантно также, что «произведенный национальный доход» растет быстрее, чем «национальный доход, использованный на потребление и накопление». Есть и другие косвенные данные, которые достаточно красноречиво говорят то же самое.

едва увеличится, производительность труда вряд ли вообще будет расти. Не забудем также, что мы говорим об абсолютном росте, а в расчете на душу населения дело будет еще хуже. Крайне существенно также, что невыполнение плана по национальному доходу вызовет значительное уменьшение объема капитальных вложений, а это, в свою очередь, еще больше ударит по объемам производства, то есть по самому национальному доходу.

В некоторых обсуждениях я увидел явное непонимание всей важности того, к чему мы пришли, к чему пришла советская экономика. Один экономист заметил мне, что рост даже в 2% в год не так уж плох, если он постоянен, что экономика многих западных стран растет примерно в таком же темпе. Мне пришлось разъяснять по этому поводу многое. И то, что нет надежд на постоянный рост советской экономики даже в таком темпе. И то, что с таким темпом более или менее справляются страны, в которых неизмеримо выше уровень жизни и нет колоссального бремени военных расходов. И что экономика этих стран не имеет громадных диспропорций — в них уже все более или менее устоялось, наладилось.

В этой связи надо настоятельно подчеркнуть крайне важный момент, который многие забывают. Почти все проблемы советской экономики значительно сглаживались, смягчались за счет ее роста. Два примера. Первый — советская экономика всегда работает на пределе, не имеет резервов мощностей, ей всегда не хватает рабочей силы, материалов и т. д. В этих условиях она вообще могла функционировать только в условиях роста. При прекращении роста отсутствие резервов немедленно даст себя знать крайне болезненно, если не разрушительно. Второй — советская экономика резко диспропорциональна, причем ее отраслевая структура весьма нединамична, здесь не происходят резкие структурные изменения (возникновение новых отраслей при исчезновении некоторых старых). И это обстоятельство тоже резко даст себя знать при остановке роста экономики.

Моим оппонентам также трудно понять, о чем идет речь, по той простой причине, что в западной экономике всегда бывают циклы, что хозяйство то развивается быстро, то, во время кризисов, даже переходит на «отрицательный рост», а потом движение вперед восстанавливается. Принципиальное отличие советской экономики от западной заключается в том, что здесь нет причин для циклов, что длительное снижение темпов развития имеет здесь *необратимый характер*.

Мне довелось видеть отчет двух служащих Конгресса США об их командировке в Москву в декабре 1980 года. Там их всячески заверяли, что трудности с начинающейся пятилеткой — временные, что уже в следующей пятилетке они (трудности) будут преодолены. Это, конечно, чепуха. Нет реальных причин, которые могли бы исправить положение даже через пять лет, тем более, что в конце десятилетия начнется прямое уменьшение численности населения в рабочем возрасте и что уменьшение капиталовложений в текущей пятилетке решающим образом предопределяет недостаточное развитие производственных мощностей для следующего пятилетия.

Итак, особенность «текущего момента» заключается в остановке роста экономики, а также, как я писал выше, в остановке роста жизненного уровня. Это настолько серьезно, что советская экономика может не дожить до следующего пятилетия.

## VII

Главное возражение против моего вывода таково: советское начальство достаточно хорошо информировано о состоянии дел в собственной экономике, и они не самоубийцы. Поймут они наконец, что необходимы срочные и радикальные меры, пойдут на реформы экономической системы. Давайте обсудим это.

Оговорюсь сначала, что необходимость реформ еще не всем до самого конца ясна, прежде всего, потому, что некоторые не хотят это понять. В ближайшем окружении Брежнева всегда считалось: главное — это поменьше всяких реформ, поменьше волн. В основе глубокая вера: — всё, в общем-то, в порядке, система работает, надо не метаться, не суетиться, и постепенно все наладится. Эту веру не изменили очевидные экономические неудачи, что видно из характера объявленных летом 1979 года реформ — по сути дела, ничего особенного они не изменили.

Нежелание реформ во многом связано также и с тем, что тут слишком много неясного. Общее их направление. Их степень. С какой скоростью их проводить. Так сказать, политическая цена реформ. И многое другое.

Что касается общего направления, то довольно еще многие вполне искренне думают, что неуспешность экономики проистекает от недостатка элементарной дисциплины. [...]

Такие настроения поддерживаются многими обстоятельствами. Понятное опасение начальников всех рангов — как бы изменения не отразились на них самих. Идеологические причины. Вера в то, что дальнейшее развитие электроники, компьютеризации планирования и управления подведет под действующую систему адекватную ей техническую базу. Страх, что «либерализация экономики» поведет к общей либерализации в стране, создаст для режима непосредственную политическую угрозу.

Трудно, конечно, говорить определенно — все же я думаю, что реальное движение в этом направлении мало вероятно. Если же оно состоится, то экономическое положение наверняка еще более ухудшится. Правда, усиление централизации должно будет сопровождаться общим политическим «зажимом», что поможет как-то справиться с недовольством населения, но крайне сомнительно, что в этих условиях режим сумеет долго держаться. Главное — экономика при этом будет неуклонно и быстро разваливаться, что расстроит всю жизнь в стране.

Надо сказать, что «централизаторским настроениям» сильно помогает то, что люди не видят ясной альтернативы — неясно, как именно двигаться в противоположном направлении и что это конкретно даст.

Рассматривая это другое направление, надо сразу же отвести крайнюю точку зрения — воссоздание в стране капиталистической экономики. Будучи много лучше советской, западная экономика сама испытывает столь драматические трудности, что никак не может служить образцом для подражания. И, если всерьез принять такой курс, он потребует очень длительных и болезненных усилий. Капитализм без капиталистов — нонсенс, значит, должна появиться национальная буржуазия, а процесс ее создания, так называемое первоначальное накопление, никогда не выглядел привлекательным. Нет людей, умеющих хозяйствовать по-капиталистически, нет соответствующих институтов, нет для этого и многих других условий. Вместе с тем уместно сказать, что, как это ни парадоксально выглядит, само по себе создание капиталистической экономики вполне сочетается с тоталитарной политической властью: капиталистическая экономика существовала и при Гитлере и при Франко.

Практически речь идет о создании некоего гибрида, то есть серьезной модификации существующей экономической системы в сторону ее децентрализации, пробуждения и побуждения инициативы предприятий, резкого усиления стимулов, но при сохранении государственной собственности и, следовательно, при общем государственном руководстве экономикой.

Однако здесь остается очень много неясного, а то, что уже ясно, не очень ободряет.

Что, например, делать с сельским хозяйством? Негодность колхозов и совхозов уже всем ясна. Пока пошли по такому пути. Во-первых, все больше создают подсобных хозяйств при крупных промышленных предприятиях, но даже при сомнительном предположении, что эти хозяйства успешны, не приходится рассчитывать, что именно здесь выход, — таким образом всё сельское хозяйство не преобразуешь. Во-вторых, начали создавать аграрно-промышленные объединения, соответственно в пятилетнем плане весь раздел о сельском хозяйстве назвали «Развитие аграрно-промышленного комплекса». Сама по себе индустриализация, специализация сельского хозяйства вполне благотворна, так сказать, плохого здесь мало. Все же понятно, что на этом пути никак не разрешается проблема создания у людей, работающих на земле, личного материального интереса. Да и советская промышленность — не Бог весть какой образец для подражания.

Итак, результатов это не даст, придется пойти на радикальные преобразования. Какие же? Распустить колхозы и упразднить совхозы? В общем, да, но тут же возникает множество проблем. Как делить среди крестьян имущество колхозов и совхозов, по какому именно принципу? Кто и как будет использовать крупные машины, большие здания (например, скотоводческих ферм)? Можно ли надеяться, что освобожденные от колхозов крестьяне сразу же кинутся на поля, будут их искусно удобрять, в правильные сроки засеивать и убирать урожай лучшим образом? Как именно они будут сбывать урожай?

На эти вопросы можно найти ответы, но в целом ясен ряд вещей. Прежде всего, польский опыт ясно показывает: отсутствие колхозов еще не решает всех проблем, поэтому надо допустить сравнительно крупные хозяйства в деревне, разрешить «эксплуатацию» труда. На это пойти очень трудно, но дело также и в том, что все это не произойдет сразу, необходим длительный мучительный процесс, в ходе которого из сельского хозяйства будут вытесняться неумелые и нерадивые, удачливые будут укрепляться, будут создаваться новые институты, связи, структуры. На это нужны годы, если не десятилетия, а пока что надо каждый день завозить хлеб и молоко в магазины.

Всем этим я отнюдь не хочу сказать, что надо уповать на агропромышленные комплексы и рыскать по миру за зерном. Но надо понять: сразу, вдруг сельское хозяйство не перестроишь, нужны продуманные, подготовленные действия, причем они наверняка не приведут к немедленному всеобщему успеху.

В еще большей степени сказанное относится к другим отраслям народного хозяйства: здесь проблемы рациональной организации еще сложнее из-за необходимо более крупных масштабов, из-за много больших связей предприятий с поставщиками и потребителями. [...]

Меры нужны очень радикальные, очень решительные, но их немедленный эффект, как мы это видели на примере с сельским хозяйством, может оказаться очень неприятным.

Я пишу это за месяц до XXVI съезда КПСС, на котором ничего не должно произойти, не для того съезды созываются. Однако вскорости, по элементарно-биологическим причинам, к власти в Кремле придет «новая команда», и ей надо будет поспешить что-то делать: я не для красного словца говорил выше о надвигающейся катастрофе.

Срочные реформы абсолютно необходимы, но как их делать, какие конкретные шаги предпринять? И как объяснить населению, что даже при реформах его жизненный уровень неизбежно снизится, — обещаниями грядущих благ люди сыты уже по горло. Моего совета никто не просил, да и не очень я расположен его давать. Но, размышляя еще и еще о ситуации и о будущем, приходишь к таким, представляющимся очевидными выводам.

1. Чем больше будет оттягиваться реформы, тем в более трудном положении окажется экономика, а следовательно, и страна.

2. Мелкие, малозначные, неструктурные реформы, скажем, такого типа, какие были объявлены летом 1979 года, создают лишь иллюзию руководящей деятельности, ничего по сути не меняя. Они ничего значительного и не дадут.

3. «Совершенствование» планирования, различные организационные перестройки, типа создания новых (ликвидации старых) министерств тоже малозначимы, как это уже было много раз продемонстрировано; пересадки чиновников ничего не меняют.

4. Нельзя исключать возможность прихода к власти в стране деятелей, которые начнут «завинчивать гайки», будут «укреплять дисциплину», уси-

ливать централизацию управления экономикой. Это наверняка еще ускорит движение к экономической катастрофе.

5. В принципе необходимой представляется «либерализация» экономики, воссоздание частной собственности (хотя бы в некоторых лимитированных размерах и формах), предоставление предприятиям возможности оперировать самостоятельно, вознаграждать их в соответствии с достигнутыми экономическими результатами. Однако очень неясно, как именно это сделать, какие конкретные меры предпринять.

6. Если (когда) это будет сделано, возникнут чрезвычайные трудности в переходный период: перед тем как стать лучше, вещи будут много хуже. Единственно возможный способ, как я уверен, заключается в том, чтобы одновременно с глубокими реформами экономики кардинально уменьшить военные расходы: сократить армию, переключить основную часть военной промышленности на производство мирной продукции, а научные институты и конструкторские бюро — на работу по научно-техническому прогрессу в гражданской промышленности (и в других отраслях) и по созданию новых потребительских товаров.

7. Во всех случаях у советского населения нет никаких шансов на улучшение материального положения в близком будущем. Во всех случаях у него уберут (как минимум — частично) денежные накопления, снабжение продовольствием просто не может стать существенно лучше, примерно так же обстоит дело с жилищным строительством и промышленными товарами. Если глубокая либерализация экономики будет быстро проведена, то некоторые результаты ее население начнет ощущать лишь через несколько лет.

8. У нас нет серьезных оснований судить о возможной успешности советской экономики даже при условии ее радикального изменения. Вернее говоря, безусловно, что при правильных мерах она должна «ожить», работать более продуктивно, но, насколько это «более» будет действительно велико, будет соответствовать все расширяющимся ножницам «потребности — удовлетворение», просто невозможно сказать.

Я вообще настроен довольно пессимистично насчет, так сказать, экономического будущего мира. Единственная надежда, которая брезжит на горизонте, — овладение неисчерпаемыми энергетическими ресурсами атома.

Но, пока это будет сделано, любая экономика будет испытывать возрастающие трудности, и вопрос лишь идет о их степени, о способности каждой конкретной экономики выжить.

Повторив, что мне не очень ясно, сумеет ли советская экономика выжить даже при глубоких, структурных реформах, я должен сказать, что это вообще ее единственный шанс, других просто нет.

## VIII

Перед тем как закончить, еще раз повторю: я — сторонний наблюдатель, я ни в коем случае не хочу вмешиваться в политическую борьбу в стране, ко-



торую покинул навсегда. Все же нельзя избежать некоторых политических выводов, непосредственно следующих из всего сказанного.

Я уже говорил выше, что режим в общем поддерживался и все еще поддерживается большинством населения, но это недолговечно. Начавшийся процесс остановки экономики, прекращение роста жизненного уровня и неизбежное его снижение, неотвратимая ликвидация денежных сбережений приведут к острому недовольству. В каких формах оно проявится, очень трудно судить, но формы эти могут быть и очень жестокими, кровавыми.

Стоит вспомнить, что февральская революция не была организована революционными партиями, она произошла, когда в Петроград три дня не подвозили хлеб.

Надо сказать ясно и недвусмысленно: такого рода события приведут не только к потокам крови, но и к разрушению хозяйственного механизма. При всей серьезности экономической ситуации, никто сейчас не умирает от холода и голода; если же система просто рухнет, положение станет совершенно невыносимым.

Мне никак не хочется «поддерживать» режим, но как экономисту мне очевидно: для высших национальных интересов страны было бы неизмеримо лучше, если бы необходимые преобразования были произведены сверху. Я уже говорил, что в системе нет механизма изменений, но создать его и применить неизмеримо легче и нужнее, чем ждать взрыва народного гнева.

С большой симпатией слежу я за героической борьбой диссидентов за гражданские права. И все же недоумеваю, почему они не говорят об элементарном человеческом праве — иметь достойное жилье, нормально питаться, одеваться по вкусу. Это элементарное, повторяю, гражданское право отрицается существующей в стране экономической системой, именно она мешает людям более или менее нормально жить.

И последнее. Нельзя не сказать, что международная политика страны тоже ведет ее к катастрофе. Не только потому, что гонка вооружений увеличивает опасность ядерного конфликта. Но и потому, что эта гонка непереносима для советской экономики.

*1981, № 28*

# ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА



## МОСКОВСКАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

25 апреля 1979 г.

Документ № 87

### О положении заключенных в лагерях СССР

#### Из редакционного предисловия 1979 г.

Мы представляем в качестве документа московской Группы «Хельсинки» доклад, составленный политзаключенными Уральских лагерей: основателем московской Группы «Хельсинки» Юрием Орловым, членом Украинской группы «Хельсинки» Миколой Матусевичем, Зиновием Антонюком и Валерием Марченко<sup>1</sup>.

Ю. Орлов был арестован в феврале 1977 года, осужден в июле 1978 (7 лет лишения свободы в лагере строгого режима и 5 лет ссылки). Находится в лагере с августа 1978 года М. Матусевич, арестованный в апреле 1977 года и осужденный в апреле 1978 года (7 лет лишения свободы в лагере строгого режима и 5 лет ссылки). З. Антонюк отбывал семилетний срок лишения свободы в Мордовских и Уральских лагерях строгого режима, а также, в течение трех лет, во Владимирской тюрьме; в январе 1979-го, по окончании срока заключения, направлен в ссылку, где, по приговору, должен отбыть три года. В. Марченко был арестован летом 1973 года, осужден, как и остальные соавторы доклада, по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» на 6 лет лишения свободы и 3 года ссылки. Большую часть срока отбыл в Уральских лагерях; в 1977-78 гг. около полугода находился в Киевской тюрьме КГБ на «профилактике» (от него добивались заявления об отказе от своих взглядов — «раскаяния»). Марченко тяжело болен, и предстоящий этап в ссылку угрожает его жизни.

---

<sup>1</sup> Седьмой раздел доклада написан Пятрасом Плуирасом-Плумпой. П. Плуирас-Плумпа арестован в ноябре 1973 г., осужден в декабре 1974 г. (8 лет строгого режима). По тому же обвинению в антисоветской пропаганде он уже отсидел 7 лет в 1958-65 гг. (арестован был в возрасте 19 лет). Отбывает наказание в Уральских лагерях. — *Прим. ред.-1979.*

Составить такой доклад в условиях лагеря, переправить его за кордоны лагеря — чрезвычайно трудная задача; если обнаружат, поймут с «поличным» — не только пропадет вся работа, но и подвергнут новым репрессиям. В связи со специфическими трудностями утрачен раздел пятый доклада.

\* \* \*

Этот документ, составленный на основе непосредственных наблюдений его авторов, испытавших на себе и советское «правосудие» и советскую «исправительно-трудовую» систему, содержащий не только изложение фактов, но и анализ ряда аспектов советской пенитенциарной системы, — Группа считает очень важным, очень значимым. Группа полностью разделяет с авторами доклада ответственность за его содержание.

Мы обращаемся к главам Правительств стран, подписавших Хельсинкский Акт, а также к общественности этих стран с просьбой о широком распространении документа Ю. Орлова, М. Матусевича, В. Антонока, В. Марченко.

25 апреля 1979 г.

Члены московской Группы «Хельсинки»:

*Е. Боннэр, С. Каллистратова, М. Ланда,  
Н. Мейман, В. Некипелов, Т. Осипова,  
Ю. Ярым-Агаев.*

## I. Введение

Главное в проблеме заключенных в СССР — это большое количество граждан, лишенных свободы полностью или частично, по решению суда или административным порядком. Все они в той или иной форме привлекаются к принудительному труду. Их общее число сохраняется в секрете, но оно поддается приблизительной оценке. Заключенные исправительно-трудовых колоний особого, строгого, усиленного режима; колоний-поселений; воспитательно-трудовых колоний для несовершеннолетних; так называемые *химики*, освобожденные условно-досрочно и привлеченные к труду; ссыльные; высланные, — встречаясь на пересылках, в следственных изоляторах-тюрьмах, сравнивают свои наблюдения относительно числа репрессированных. Большинство сходятся на том, что общее число з/к, включая следственные тюрьмы и лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) для лиц, признанных пьяницами, не менее трех миллионов человек, а общее число включенных в принудительный труд не менее пяти миллионов, то есть порядка 2% всего населения.

Приходится констатировать, что если постоянная армия безработных является типичным злом капиталистической системы, то, наоборот, посто-

янная, приблизительно такого же масштаба, армия занятых принудительным трудом является типичным злом «реального социализма» тоталитарного толка. [...] Эти миллионы заключенных и полузаключенных, занятых принудительным трудом, миллионы прошедших через это в прошлом, миллионы членов их семей — не менее ощутимая часть трудящихся, чем безработные и члены их семей на Западе.

[...] можно утверждать, что подавляющее число советских з/к оказываются за колючей проволокой в результате косвенного провоцирования преступлений общими условиями существования. Разумеется, это не означает, что мы хотим оправдать насилие или воровство. Мы лишь указываем на существование коллективного сопричастника — социально-экономическую и политическую систему. Большинство з/к — выходцы из рабочих и крестьян, в лагерях они и сами являются рабочими. Большая часть уголовных преступлений — это хулиганство, воровство, разбой, грабеж, хищения различного масштаба. Значительная часть преступлений совершается в пьяном виде, велик процент пьяниц, и ЛТП составляют уже заметную долю общего числа колоний.

Сами по себе эти пороки характерны для любого современного индустриального общества. Аномальным является здесь не их наличие, а чрезвычайно высокий уровень. Можно указать на следующие источники этого явления:

1) отсутствие такого канала отвлечения людей, особенно молодежи, от пьянства и преступности, как участие в коллективной борьбе за жизненный уровень, за свои права (имеются в виду не планируемые правительством митинги и демонстрации, а также забастовки и т. д.);

2) отсутствие еще одного канала отвлечения — возможности инициативного предпринимательства (без эксплуатации чужого труда). Между тем, существует ряд направлений деятельности, где частная инициатива повысила бы уровень жизни народа; [...]

3) нежелание части граждан мириться с хронической <нрзб><sup>2</sup> по сравнению с известными им западными стандартами и по сравнению с обеспеченностью руководящего меньшинства. Еще раз отмечаем, что мы не имеем целью оправдать преступления, совершаемые на этой почве, но мы указываем на условия, провоцирующие их. Государство провозглашает своей целью высокий уровень жизни народа, однако во многих регионах оно не в состоянии реально обеспечить его;

4) потеря веры в моральные принципы у части молодежи, происшедшая и в результате преследований религиозно-этического характера, и в результате разочарований в государственной идеологии;

5) запрет на информацию общественности по таким вопросам, как число и динамика роста преступлений, число з/к и режим их содержания, нарушение гуманности, и т. п.;

---

<sup>2</sup> Вероятно, нуждой. — *Прим. ред.-1979.*

б) наличие определенной заинтересованности государства в использовании принудительного труда. Недостаточная оплата труда, плохие условия приводят к недобору рабочей силы в некоторых промышленных районах. З/к и «химики» играют здесь роль как бы вынужденных штрейкбрехеров, заменяющих рабочих;

7) концепция «перевоспитания», согласно которой большие сроки заключения, жестокие условия содержания и общее преобладание мер устрашения, неотвратимости наказания, — наилучший путь избавления общества от преступности. В действительности же, как признают иногда в беседах официальные лица, «исправительные» уголовные колонии — это настоящая школа преступности, аморализма, где человек человеку волк, где из-за узаконенной нехватки продуктов питания и вещей процветает спекуляция и первобытно-хищные принципы взаимных отношений. [...]

Мы обращаем внимание профсоюзных и других рабочих организаций, что СССР является такой развитой индустриально страной, в которой сохраняется пролетариат в самом первобытном смысле этого слова. Положение миллионов граждан, занятых принудительным трудом, можно было бы сравнить с положением крепостных уральских рабочих давно прошедшей эпохи.

Необходимо иметь в виду, что не только политические, но и немалая часть уголовных преступников осуждены несправедливо даже с формальной точки зрения, или, во всяком случае, жестоко. Это результат судебного, и в особенности следственного, произвола.

Режим содержания заключенных всех категорий во многих аспектах содержит прямые нарушения международных обязательств Советского Союза по правам человека. [...] На основании жалоб многих з/к, с которыми встречались политические заключенные, можно уверенно говорить о скудном питании в тюрьмах и большинстве колоний, о низком заработке во многих местах работы «химиков», об избиениях в некоторых тюрьмах, о тяжелых условиях этапирования, о плохом медицинском контроле в некоторых колониях, об угнетающем действии локальных зон, в которых колючая проволока окружает каждый барак в нескольких метрах от его стен и т. п. [...]

Проводимая внутри страны национальная политика находит свое отражение в национальном составе политзон. Среди заключенных Мордовских и Уральских лагерей 30-40, а иногда и более, процентов составляют украинцы, около 30% прибалты и менее 30% русские и представители других народов СССР. Именно украинцы вынесли основную тяжесть борьбы против произвола сталинских лагерей, несут они ее и теперь. [...] ведь советская пенитенциарная система направлена на уничтожение личности, а сохранить личность как таковую можно лишь в сопротивлении. Сопротивлению, несмотря ни на какие наказания. [...]

Представляемый доклад суммирует, в основном, положение в политзоне № 35, в которой мы находимся, за последние примерно 2 года. Его различные разделы написаны разными ПЗК. [...] Требования малого объема и другие трудности привели к тому, что масса фактов осталось за пределами доклада.

## II. О труде заключенных

В советской пенитенциарной системе «общественно-полезный труд» провозглашен чуть ли не основным средством воспитания. А поскольку пенитенциарная система — это слепок с общества, то ей присущи пороки, характерные для общества в целом, но в более оголенной форме. Сама же по себе идея воспитания трудом, если ее принимать разумно, содержит положительное зерно. Однако в советском агрессивно-бюрократическом исполнении самая разумная идея способна превратиться в свою противоположность.

В исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) СССР принудительный труд является существенной частью наказания — это его главная особенность. Далее, в ИТУ власть выступает по отношению к заключенным в качестве бессовестного эксплуататора, стремящегося урвать побольше, а дать поменьше, используя для этого не только силу, но и обман; наконец, труд в политических ИТУ — это один из рычагов, с помощью которых КГБ и администрация стараются сломить невыносимую моральную и политическую позицию человека, и не только в заключении, но и после освобождения, ибо полное перевоспитание понимается в КГБ только в одном смысле: как сотрудничество с властями. В этих условиях было бы нелепо говорить о каком-либо воспитательном труде.

Вызывает большое сомнение и общественная полезность труда заключенных. В социально-психологическом плане общество привыкает, как к чему-то естественному, к существованию миллионов современных крепостных рабочих.

В плане экономическом существенно, что заключенные работают на самом устаревшем, часто давно списанном оборудовании, с применением устаревшей же технологии. Следовательно, миллионы людей проходят в заключении школу технологического отставания, а большой отряд инженеров и техников, управляющих трудом з/к, свыкается с устаревшими методами. Таким образом, дешевизна продукта принудительного труда едва ли покрывает убытки, связанные с консервированием архаических методов технологии.

Труд как наказание сопряжен с очевидными физическими и моральными потерями, унижает человеческое достоинство, воспитывает не граждан, а рабов. В некоторых случаях труд заключенных так изнурителен, что его можно назвать пыткой. Например, труд в ПКТ осуществляется на пониженном питании, которое можно еще более понизить при невыполнении выработки, или, к примеру, в части камер Владимирской тюрьмы работа организована по системе, которую з/к называли «СССР» (спальня, столовая, сортир, работа — все это совмещено в камере размером 10 м<sup>2</sup>, где годами живут и работают 2-3 заключенных). В камерах установлены лампы, которые включаются в 6 часов утра и работают до 10 часов вечера, т. е. в течение 16 часов. Изнуренные скудным питанием, заключенные вынуждены соглашаться на

эту «услугу» работодателя, им нужно заработать тюремный ларек — 3 рубля в месяц, ведь, как известно, продукты питания и предметы первой необходимости разрешается закупать только на деньги, заработанные в ИТУ. По словам заключенных, работающих по системе «СССР», здоровье человека редко выдерживает более полугода этот труд и непрерывный стук по 16 часов в день; обычно срываются через три месяца. Уходят из рабочей камеры путем отказа от дальнейшей работы, то есть через карцер и строгий режим. Но отказ от работы дает администрации формальный повод вычитать стоимость питания, одежды и обуви из денежных средств, имеющихся на личном счете у неработающего з/к. Поэтому многие из неполитических заключенных через год, когда кончатся заработанные гроши, снова вынуждены возвращаться к системе «СССР» (если администрация не предложит «по благу» работу на заводе, имеющемся при тюрьме), быстро разрушающей их здоровье. Несмотря на такие тяжелые условия труда, тюремная администрация всегда имеет «свободный рынок рабочей силы», так как заключенные (неполитические), испытывая постоянное чувство голода, готовы работать на любых условиях.

Политзаключенные более стойко переносят голод и наказания и отказываются от работы по принципиальным соображениям, — например, новое движение за статус политзаключенного явочным порядком, начавшееся в 1975 году. Не все, конечно, работы являются тяжелыми и вредными, но такие работы имеются все-таки во многих уголовных и политических лагерях. Так, в многочисленных лесных зонах очень тяжелые работы на лесоповале и на так называемой *бирже*, где часто приходится вручную затаскивать под распил бревна большой толщины. В политической ИТК-36 очень вредна работа по набивке ТЭНов (деталь электроутюга), на которой приходится работать с респираторами или марлей на лице. [...]

Необходимость помощи семье — главная причина сверхурочных работ заключенных. Расценки, однако, столь низки, что работая по 12 часов в сутки, заключенные едва могут посылать семье 50–60 рублей в месяц. Согласно исправительно-трудовому законодательству РСФСР и союзных республик, труд заключенных оплачивается по нормам и расценкам, действующим в народном хозяйстве. Согласно же приказу МВД, расценки работ заключенных должны быть примерно на 5% ниже, чем у вольных рабочих. Действительная ситуация с расценками еще хуже, так как заключенные работают на более устаревшем оборудовании, чем вольные, а также ввиду произвола в расценках, допускаемого в ИТУ.

Иногда нормы и расценки устанавливаются откровенно индивидуально, то есть в зависимости от поведения политзека. Например, стоило Симчичу принять участие в защите Марченко от произвола, как норма по фрезерной обработке резцов, где работает Симчич, стала просто невыполнимой, несмотря на сверхурочную работу. С переходом на эту работу вместо Симчича более лояльного человека были возвращены прежние нормы и расценки. Вообще говоря, нормы выработки очень высоки, выполнить норму нелегко.

[...] Следует учесть, что 50% реального заработка заключенного вычитается в пользу МВД. Из каждого процента сверх 100% нормы выработки вычитается, однако, лишь 25%, а из каждого процента сверх 200% не вычитается ничего, поэтому для МВД невыгодно, чтобы у заключенного, несмотря на сверхурочную работу, получалась выработка не только выше 200% нормы, но существенно выше 100%. Отсюда и постоянное взвинчивание норм. [...] Из денег, оставшихся после этих вычетов на МВД и снятия сумм по искам, вычитают стоимость питания, одежды, обуви. Причем при раскладе питания на 12 рублей в месяц, со счета з/к снимают под видом разных накладных затрат примерно в два раза больше. Заключенных заставляют работать существенно больше, чем вольных рабочих: не по 41 часу, а по 48 часов в неделю (по 8 часов 6 дней в неделю), но необходимо еще учитывать дополнительные 2 часа общественных работ и отработку дней, проведенных на свидании с родственниками. Заключенные не имеют отпусков, они не получают надбавок за сверхурочные работы, их могут заставить работать и в праздничные дни. [...] Производственная надбавка дается за перевыполнение нормы, но в ИТК-35, как, впрочем, и в других политзонах, она немедленно снимается; например, из-за непосещения политзанятий или когда появляется рапорт надзирателю о случае нарушения режима, где бы это нарушение ни происходило (например, Лисовой шел из столовой «не строим»). [...] Часто такие рапорты, придирки сыплются даже на заключенных, просто обращающихся с жалобами и заявлениями о фактах беззакония в зоне в различные советские органы, поскольку это расценивается как нелояльность к советской власти.

Закон предусматривает в ИТУ профессионально-техническое обучение для заключенных, но ученические деньги начальство нередко старается не выплачивать, принуждая учеников сразу выполнять нормы выработки, дополнительную плату (как ученику) утаивая. Практикуют абсолютно не аргументируемое снятие зексов с уже оформленного приказом по колонии ученичества (заодно и с оплаты). [...] Поскольку труд — это и рычаг, с помощью которого вводится в действие вся система наказаний, начиная с лишения права покупать продукты в ларьке или лишения права на свидание с родственниками и кончая штрафным изолятором, ПКТ и тюремным заключением на срок до 3 лет, то соответственно посыпались и наказания.

Казалось бы, единственное, что нельзя отобрать у непокорного заключенного, это надбавки в питании за вредность (например, металлисты в ИТК-35 получают за вредность по стакану молока в день). Но и здесь бывают «забывания» включить в список на спецмолоко. [...]

Закон гласит, что труд заключенных организуется с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, установленных законодательством о труде. На практике это положение полностью игнорируется. Кого только ни принуждали приступать к работе на станке до сдачи экзаменов или даже без какого бы то ни было обучения. И наказывают за неподчинение. Собственно, наказывают за отказ подчиненного нарушать законодательство о труде.



Впечатляющим примером того, как начальство идет на полное игнорирование не только всех законов и правил по технике безопасности, но и просто элементарной человечности, является эпопея принуждения Светличного, у которого на руках отсутствуют 8 пальцев, работать на компрессорной установке. Решением ВЦСПС за последние годы создана разветвленная сеть правовой инспекции труда. Существует и указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 октября 1976 г. «Об административной ответственности за нарушение законодательства о труде и правил по охране труда». Не вдаваясь в анализ эффективности этих узакониваний на вольных предприятиях, отметим, что предприятия МВД, на которых трудятся миллионы современных пролетариев, остались вообще вне этих узакониваний.

Вообще говоря, система ИТУ, через которую пропускают весьма значительную часть населения государства, является очень важным звеном функционирования реального социализма, сохранения атмосферы бесправия, чувства незащищенности рядового члена общества перед произволом начальства.

### **III. Взаимоотношения между администрацией и политзаключенными**

Взаимоотношения между администрацией и заключенными преследуют цель «перевоспитания и исправления осужденных», то есть добиться от них отказа от своих убеждений, используя прежде всего исправительно-трудовое законодательство РСФСР и закрытые инструкции МВД, по-видимому, относящиеся к наиболее жестоким из действующих ныне в мире. Той же цели служит изнурительный труд; низкокалорийная пища; поток наказаний, сыплющийся за малейшее нарушение; строжайшая изоляция от внешнего мира.

Подъем в лагере ИТК-35 производится в 6 часов утра. И достаточно 3/к остаться в постели на 1-2 минуты дольше, как дежурный помощник начальника колонии, обычно поджидающий у двери, заскакивает в секцию и, торжественно оглашая, вносит штрафников в список. [...] Что упомянутые наказания производятся выборочно, легко было заметить по тому, как капитан Поляков или старший лейтенант Чайка отворачиваются от 3/к, сотрудничающих с администрацией, которые замешкались на своих койках. Старожилы-двадцатипятилетники рассказывают, что в пятидесятые годы «будители» обычно заскакивали с деревянными колотушками и били проспавших по чем попало, так что в семидесятые годы наказание, скажем, лишением права приобретения продуктов в ларьке на очередной месяц ретроспективно можно расценивать как гуманное.

В 6 часов 35 минут проводится поверка. Наказывают за опоздание все ту же категорию «неисправимых».

В Мордовии лагадминистрация, скупаемая заботой о здоровье осужденных, обязала всех делать утреннюю гимнастику — унылая картина, где выделяется отнюдь не бодрая группа инвалидов, которая под мелодию

«Прощание славянки» выполняет надлежащий комплекс. Неучастие в мероприятии наказывается.

На завтрак и с него, после поверки, отправляются строем. Причем, чтобы не утруждать себя, а то и по издевательским побуждениям, прапорщики заставляют большинство ожидать во дворе, пока поедят инвалиды, получившие диетпитание. Ускорить эту процедуру могут только крайне неблагоприятные погодные условия.

За 25 минут до 8 — начала работы — з/к выстраивают перед производственной зоной и после поименной переключки выводят на завод. Так начинается здесь каждый день 48-часовой рабочей недели. [...]

После вечерней поверки в 18 часов 30 минут трижды в неделю проводится политчас. За неявку наказывают. В 35-м лагере удалось добиться отмены подобных наказаний многочисленными протестами прокурору в 1974 году. Тогда администрация стала использовать здесь как средство давления невыдачу 2-4 рублей на ларек за перевыполнение нормы. Доказать, что «производственные» деньги не имеют к лекциям и информации никакого отношения, не удавалось на протяжении нескольких лет. [...]

Отбой в 22 часа по местному времени означает «мертвый час» в полном смысле этого определения. И. Залмансона неоднократно наказывали за хождение после отбоя. Д. Верхоляк едва сумел доказать, ссылаясь на диагноз в медкарточке, что он задержался в туалете по причинам чисто физиологического, а не антисоветского свойства.

Для видимости объективности, к перевоспитанию з/к, не желающих отказываться от своих убеждений, подключают и лиц, работающих в ИТК по вольному найму. В роли послушных статистов они, входя в состав воспитательной комиссии, подписывают любые постановления. [...] Так, туберкулезник Пронюк, у которого нет одного легкого, отсидел 5 месяцев камерного режима. Так КГБ и МВД оплатили, наконец, «виновнику» массовой месячной голодовки и забастовок лета 1974 года. [...]

Сам факт заключения уже служит причиной наказания. «Поводы» в таком случае находятся путем по-садистски скрупулезного следования режимным требованиям... Так, Подгорецкий зашел к цензору, старшему лейтенанту Колесниченко, в куртке парикмахера. Поздоровавшись, он спросил, нет ли ему письма (рабочие часы парикмахерской совпадают со временем приема у цензора). Она потребовала, чтобы Подгорецкий привел себя в надлежащий вид и доложил, как положено: «Осужденный такой-то явился по вашему вызову». Подгорецкий отказался от выполнения бессмысленной процедуры. После этого Подгорецкий был наказан за «несоблюдение форм одежды и грубость с представителем администрации», хотя все 26 лет заключения он является примером вежливости и опрятности. По рапорту капитана Кытманова, Б. Шахвердян был лишен ларька за то, что «не поднялся для приветствия».

Обычно очередность наказаний такова: устное предупреждение, выговор, лишение ларька на месяц, карцер, ПКТ и тюрьма. Часто, однако, этот

порядок не выдерживается и как к наиболее эффективному средству прибегают к лишению ларька и карцеру. С 1977 года, после ввода новых правил внутреннего распорядка ИТУ, стало возможным бессрочное помещение в карцер. Однако это положение Правил, ныне дозволенное «де юре», широко использовалось «де факто» ранее. [...]

Атмосфера безнаказанности, в которой действует администрация, превращает каждого прапорщика, не говоря уже об офицерах, в настоящих профессиональных истязателей в зависимости от степени озлобленности. «Дай мне его в отряд, он у меня шелковым станет», — говорил старший лейтенант Кузнецов начальнику другого отряда о В. Павленкове, и такие слова не были пустым бахвальством. Отрядный Кузнецов, вечно пьяный, развлекался тем, что выискивал повод для наказания. С. Сорока в рождественский вечер поставил на своей тумбочке свечку и елочную ветку, — в карцер. Неаккуратно заправленная койка — в карцер. Расстегнутый ворот — в карцер. Да мало ли за что можно карать «государственных преступников».

Широкая шкала довольно разнообразных наказаний зачастую оказывается недостаточной, и тогда в ход идет составление ложных рапортов. Классическим примером подобной фальсификации может служить акт, составленный по распоряжению нач. оперчасти Храмушина на Буковского об отсутствии на рабочем месте. В своей жалобе в прокуратуру Буковский указал, что отсутствовать, равно как и присутствовать на рабочем месте он в тот день не мог, поскольку это был выходной — воскресенье. Пронюка наказали за невыход на работу, хотя у него имелось освобождение по болезни.

#### **IV. О медобслуживании**

[...] Очевидно, что серьезность медобслуживания больных определяется видом и сложностью заболеваний. Трудоспособность, а также размер возможных наказаний для з/к должны определяться администрацией, исходя из заключения комиссии ВТЭК, которая раз в год свидетельствует всех з/к. Заключение же ВТЭКовских комиссий, как правило, подвержены рекомендациям сотрудников МВД и КГБ, а также зачастую предвзятым характеристикам главврача зоны. Так, в свое время были признаны инвалидами, а затем лишены II группы инвалидности (группы, дающей право работать почти всегда по желанию) И. Светличный, В. Подгородецкий, Г. Гимпу, В. Филоненко. Противозаконность таких решений очевидна, поскольку у Светличного не отросли 8 пальцев на руках, у Подгородецкого не исчез горб, у Гимпу не появился оперированный желудок, а у Филоненко не прекратилось прогрессирующее заболевание костного мозга (тромбоцитопения). [...]

Фальсификация результатов анализов, то есть запись их в улучшенном виде, в Центральной больнице ИТУ, а также в медчастях зон 35, 36, 37 — распространенное явление. Например, в историю болезни Марченко занесли данные, не соответствующие истине. Результаты анализов, проведенных ему до ареста в Киевском институте заболевания почек, разительно

отличаются от аналогичных, проведенных в киевском изоляторе КГБ во время пребывания там на «профилактических собеседованиях».

От инвалидов III группы (определяющей работу с ограничениями) администрация требует норму выработки, строго наказывая в случае ее невыполнения. Группа инвалидности не только не является фактором, обеспечивающим з/к облегченные условия содержания, но даже не спасает от режимных преследований. [...]

Атмосфера нарушения законности и злоупотреблений, царящая в ИТК, приносит свои зловещие плоды. Показательна здесь смерть Мамчура. После нескольких вызовов к заболевшему з/к сначала явился прапорщик, затем ДПНК<sup>3</sup>, замполит, и прошло значительное время, когда нашли дежурную медсестру Кузнецову (но она не знала, что предпринять, спрашивала у з/к Черкавского, «давать ли укол магнесии?»). Потом, наконец, явилась Т. А. Соломина (врач, исполняющий обязанности терапевта, но окончившая факультет сангигиены), которая, видя катастрофическое состояние Мамчура, сумела лишь распорядиться: «госпитализировать». А больной, у которого сначала была резкая головная боль, потом галлюцинации и рвота, впал в беспамятство... У него начались судороги, исказилось лицо. Явные симптомы инсульта — у Мамчура несколько лет была инвалидность по поводу гипертонии — не были обнаружены ни медсестрой, ни лечащим врачом на протяжении почти трех часов. В результате на месте не была оказана первая неотложная помощь. Вскрытие показало кровоизлияние в мозг. [...]

Медработники ИТУ ВС-389 являются исполнителями самых возмутительных распоряжений администрации. Летом 1975 года по оперативному заданию майор Ярунин лично осматривал анальные отверстия и прямую кишку Б. Шахвердяну перед свиданием. В июле 1976 года в присутствии прапорщика Ермаковой женщиной-медиком производился гинекологический осмотр матери Марченко. Налицо обкрадывание больных з/к, нанесение ущерба здоровью ожидающих своей очереди в больницу. [...]

Транспортировка из 36 и 37 зон в Центральную больницу (35-й лагерь) осуществляется в обычных автозаках (смерть Плейша была ускорена из-за этого), тогда как в законе оговорена необходимость перевозки больных в специально оборудованном транспорте.

Диетпитание в ИТУ ВС-389 остается на крайне неудовлетворительном уровне. В рационе постоянно несвежие, даже не пригодные к употреблению продукты. Так, с августа 1977-го по сентябрь 1978 года еда готовилась из квашеной капусты, которая была несъедобна еще зимой. Масло в диетпитании летом-осенью 1978 года заменялось маргарином либо комбижиром. В августе-сентябре готовили сушеный картофель. За 6 лет существования зоны 389/35 больные не получали свежих фруктов. Да и стоимость так называемой диеты — около 23 рублей — вряд ли разрешает приобретение минимума калорий, необходимых больному.

---

<sup>3</sup> Дежурный помощник начальника колонии. — *Прим. ред.-1979.*

Центральная больница — небольшое двухэтажное здание, куда свозятся больные из 35, 36, 37 зон. Из-за желания администрации всячески ограничить контакты между зонами, три группы больных постоянно находятся в постоянно закрытых помещениях, куда сестра и врач входят в сопровождении прапорщика. Отсутствие круглосуточного дежурства медиков (медсестра в Центральной больнице формально находится от 8 до 20 часов) подвергает опасности жизнь тяжело больных, равно как и отсутствие дежурного санитаря причиняет им дополнительные страдания. В связи с вышеупомянутым оперативным соображением (пресечение контактов) прогулка разрешена лишь два часа в день на локализованных участках. Медперсонал ЦБ состоит из главврача Шелия (хирург), лечащего врача Черкасовой Т. Н. (терапевт), штата медсестер (3-6 человек). Операционная, лаборатория и рентгенкабинет позволяют проводить на месте операции и исследования в зависимости от квалификации исполнителя, но обычно несложные. На консультации, а также в более тяжелых случаях оперирования приглашают врачи из Чусовской больницы.

В каждой из зон имеется санчасть с одним-двумя врачами, однако из-за нерегулярности завоза медикаментов, а также отсутствия специалистов (стоматолог на 36 зоне не появлялся почти полтора года — 1976-1977 гг.), положение с медобслуживанием остается неудовлетворительным. Около 30% з/к, находящихся в ИТК ВС 389/35, серьезно больны.

В их числе, с недугами, практически неизлечимыми в местных условиях: Герович — рак мочевого пузыря, Филоненко — воспаление костного мозга, Марченко — нефрит. Активирование же находится в прямой зависимости от убеждений осужденного, его поведения, позиции в лагере.

Трагический итог такого медобслуживания в Скальнинском ИТУ начиная с лета 1972 года выражается в следующем списке безвременно умерших: Митюк (умер при этапировании из Мордовии на Урал, не была оказана помощь при сахарном диабете), Гантварс (гипертония), Куркис (прободение язвы), Кибартас (рак печени), Мишкенис (послеоперационное осложнение), Опанасенко (повесился в больнице), Рудокас (сердечная недостаточность), Кнавиньш (инфаркт), Плейш (заболевание желудочно-кишечного тракта), Луш (инфаркт), Мамчур (инсульт), Межалс (инфаркт), Строганов (астма, сердечная недостаточность). [...] По рассказам з/к, прибывших из Мордовии, там положение с медобслуживанием еще хуже. [...]

## VI. Об этапировании

Этап в большинстве случаев тяжелое испытание для з/к. Он длится бесмысленно долго — в 7-10 раз дольше, чем при обычной поездке. За время этапирования з/к обычно несколько раз перегоняют в воронки из вагона, из воронка в одно, другое, третье помещение очередной пересыльной тюрьмы и обратно: «быстрее, быстрее...» (вместо точек нередко следует мат), автоматчики, собаки, «садись, встать», обыск, еще обыск и т. д. Для з/к с тяже-

лым багажом это превращается в кошмар. Правда, все имущество большинства уголовных з/к укладывается в жалкие узелочки. Что касается больших, то конвой, как правило, не проявляет к ним снисхождения. Они должны передвигаться так же, как и все, сопровождаемые руганью и толчками. Поразительно, что, если тяжело больного з/к нужно отправить в тюремную больницу, его перегоняют обычным этапом — лишь бы он передвигал ноги, но можно и на носилках. В большинстве наблюдаемых нами (и другими политзаключенными) случаев их не сопровождает врач или сестра. Если больница недалеко, то тяжело больного перевозят на обычном воронке. Дорога ухабистая, она вытряхивает из него всю душу.

По рассказу В. Марченко, во время перевозки автозаком (воронком) заключенных от железнодорожной станции до Казанской пересыльной тюрьмы (7.04.78) в общую камеру воронка, рассчитанную на несколько человек, затолкали 28 человек. Их держали в железной воронке, на солнцепеке, около часа на тюремном двореке (это обычно). Задыхавшиеся люди умоляли конвой выпустить их, но безрезультатно. Он же сообщает, что в тесном даже для одного человека одиночном боксе 24. 04. 78 держали троих: Циоса, Зейтуяна и Марченко. Их выпустили через полчаса только после обещания пожаловаться прокурору. Но другие оставшиеся в общей камере, не политические, ждали еще несколько часов. Кто-то мочился на пол. В автозаках и тесных, грязных, бестуалетных камерах-«отстойниках» пересыльных тюрем люди ожидают часами. Еще хуже маленькие, всегда вонючие боксы на одного-два человека. З. Антонюк в июле 1978 года просидел целый день в изоляторе в таком боксике (при этапировании из Владимирской тюрьмы в ИТК-35). Антонюк болен костным туберкулезом и тяжелым заболеванием печени.

Камера столыпинского вагона имеет размер полного или половинного плацкартного купе без окна, с решетчатой стенкой в коридор, где шагает часовая. Окна туалета окрашены или обычно закрыты, вентиляция выключена. Вместо 10-ти, соответственно, 3-х человек, которые могут лежать поместиться в этих камерах, туда обычно набивают 14-18 и, соответственно, 5-6 человек, вынужденных проводить там 1-3 суток. Иногда на короткое время (несколько часов) туда набивают до 25 человек. Туалет не имеет воды, умыться невозможно, постельные принадлежности, конечно, нет.

В большинстве случаев конвойные грубы и циничны. Они выдают воду и выводят в туалет лишь после того, как весь вагон начинает колотить ногами в решетчатые двери, иногда это бывает два, чаще 3-4 раза в сутки. При этом на каждый день этапа з/к получает около 600 грамм хлеба, селедку средних размеров, 20 грамм сахара. Когда на перегоне Москва-Киров в июне 1978 года Ю. Орлов попросил у конвойного дать попить, ответ гласил: «Обойдешься без воды». Вместе с ним в половинной камере поместили двух стариков-туберкулезников, при ходьбе поддерживавших друг друга. Не допросившись туалета, один из них помочился в целлофановый мешочек, разлив половину по полу и нижней полке. Затем, для изоляции от политического, их перевели в другую камеру, набитую битком. Когда один из них

хотел лечь на пол, конвой не разрешил. В. Лисовой, после тщетных просьб вывода в туалет, вынужден был мочиться прямо в камере в случайную банку. З. Попадюка в августе 1977 года в Пензенской тюрьме держали в одной камере с туберкулезными и сифилитическими больными. Антонюк на перегонах Харьков–Свердловск–Пермь и в самой Свердловской пересылке наблюдал в ноябре 1972 года, как офицеры выводили из камер женщин к себе для сожительства.

М. Матусевич, как голодающий, сопровождался врачом на этапе из Кива в ИТК-35 (июнь 1978 г.). Однако врач отказалась оказать какую-либо помощь уголовному з/к соседней камеры вагона с тяжелым внутренним заболеванием и с тяжелым заболеванием кожи. Его должна была бы сопровождать сестра, но этап отправился без нее. Он был весь мокрый от гноя, и другие з/к рвали рубашки и портянки для перевязок. Таковы вкратце условия этапирования.

[...]

## **VII. Пресечение информации**

[...] В 1974 году на пресс-конференции в Москве академик А. Сахаров предоставил западным корреспондентам материалы из лагеря 389/35, переписанные рукой з/к З. Антонюка. Поскольку эти документы были корреспондентами сфотографированы и опубликованы, они стали достоянием и КГБ. Несколькими месяцами позднее в лагере ВС 389/35 З. Антонюка вызвали на так называемую наблюдательную комиссию и предложили написать в газету письмо с раскаянием, в противном случае ему пообещали, что он будет приговорен к тюремному заключению.

Поскольку З. Антонюк от подобной сделки отказался, в июле 1975 года он был отправлен во Владимирскую тюрьму. В 1978 году С. Глузман и С. Ковалев в лагере 389/36 были приговорены к камерному заключению в ПКТ на шесть месяцев за то, что собирали и хранили информацию о положении заключенных в лагере. Чтобы помешать выходу информации за пределы лагеря, администрация самым варварским способом мешает свиданиям заключенных с родными. Так, Ю. Хведько за 11 лет заключения имел возможность лишь два раза повидаться с матерью (в 1969 и 1974 гг.). Как только кто-либо из родственников сообщал, что собирается приехать, администрация отвечала, что Хведько лишен права на очередное свидание.

В мае 1978 года во Владимир на свидание с З. Попадюком приехала его мать. Тюремная администрация сразу за какую-то мелочь лишила Попадюка права на свидание. Лишь через несколько недель Дойников проговорился об истинной причине лишения свидания: «Мать по дороге во Владимир заходила в Москве по разным адресам антисоветчиков и собирала новости. Ее и впредь будут лишать свидания с сыном». [...]

Если заключенному предоставляются длительные свидания, то приехавших женщин и детей часто раздевают догола и обыскивают, подверга-

ют самому унижительному осмотру. [...] Обыскивая девятилетнего сына и пятилетнюю дочь П. Плумпы, надзиратели отделили их от матери, увели в отдельную комнату, раздели догола и разорвали одежду. В мае 1978 году Р. Маркосяну во время двухчасового свидания с братом не разрешили поздороваться с пожатием руки. Было также запрещено разговаривать на родном, армянском языке. Присутствующий при свидании надзиратель все время предупреждал, что если будет сказано хоть одно слово по-армянски, то свидание сразу прекратят.

Как правило, во время краткосрочных свиданий разрешается разговаривать только на русском языке. Если дети или родственники заключенного нерусской национальности не знают этого языка, то они и не имеют возможности воспользоваться общим свиданием.

Национальные или религиозные моменты администрация мест заключения часто использует для конфискации или задержания корреспонденции. Письмо З. Антонюка от 1. IX. 76 г. к жене было конфисковано администрацией Владимирской тюрьмы под тем предлогом, что в письме цитируется Геродот на украинском языке. В результате у З. Антонюка на целый год прервалась переписка. [...]

Администрация лагерей на несколько недель задерживает письма заключенных нерусской национальности. Еще в 1976 году М. Кииренд обратился к Чусовскому прокурору. Жалоба не дала результатов, а лагерный представитель КГБ сообщил, что письма, написанные на национальных языках, направляются в КГБ. Кииренд послал заявление начальнику Скалинского управления КГБ Дегтяникову. «По существующему закону, я должен отправлять и получать письма в течение трех дней, однако администрация лагеря 35, ссылаясь на то, что мои письма и письма ко мне пишутся на эстонском языке, вручение и отправку писем автоматически затягивает более, чем на месяц. Этот факт расцениваю как проявление шовинизма». Всем, кто с подобными жалобами обращается к администрации лагеря ВС-389/35 и 36, цензор или другие представители внушают мысль, что заключенные нерусской национальности должны отказаться от привычки писать письма на родном языке. [...]

К категории враждебной или клеветнической информации, подлежащей конфискации, относятся религиозные книги или письма на религиозные темы.

Так, в мае 1977 году И. Огурцову (ВС-389/35) пришла пасхальная посылка, в которой, кроме прочего, была Библия. Работники администрации лагеря посылку вскрыли, Библию похитили, а посылку, уже без Библии, отослали назад.

П. Плумпе, ВС-389/36, пришли письма с переписанными главами из Библии. 17. I. 77 г. начальник оперчасти Рожков ему сообщил, что эти главы конфискованы. Как религиозные и тенденциозные.

Заключенные почти никогда не получают писем из-за рубежа, за исключением писем из Израиля, которые конфискуются чуть реже. За все



время пребывания в лагерях не получили ни одного письма, присланного из-за границы, М. Киренд, В. Марченко, З. Антонюк, И. Грабанс и многие другие. И. Огурцов изредка получает письма только из Польши. П. Плумпа за все годы получил только одно заграничное письмо (6 февраля 1976 г., из Швейцарии).

В лагерях ВС-389/35 и 36 как вид запрещенной информации рассматриваются даже жалобы политзаключенных, направляемые в государственные инстанции. Так, 1. 4. 77 г. у В. Марченко при личном обыске была изъята жалоба, адресованная ген. прокурору СССР Руденко, в которой сообщалось о ряде нарушений законности, допущенных во время следствия и судебного разбирательства дела В. Марченко.

В лагере 389/35 было конфисковано заявление В. Лисового от 31. 12. 78 г. председателю Совета Союза Шитикову, в котором он выразил пожелание, чтобы в лагерной столовой было больше свежих овощей.

В марте 78 года И. Грабанс направил жалобу в президиум Верховного Совета СССР в связи с тем, что письма из Латвии к нему идут два-три месяца. Вскоре после этого переписка И. Грабанса была вообще прервана, и в течение уже пяти месяцев он не получает ни одного письма.

Эти факты, которые составляют лишь малую часть общего целого, свидетельствуют, что управление лагерей ВС-389 имеет весьма обширные возможности для нарушения прав человека и государственных законов в отношении политзаключенных. Так, ему предоставлено право пресечения любой информации о подобных нарушениях вплоть до конфискации жалоб заключенных в вышестоящие инстанции.

В лагерях строгого режима не положено иметь телевизоры и радиоприемники, кроме офицерской радиоточки. Количество корреспонденции — писем, открыток, телеграмм, — которое заключенный имеет право отправить в неофициальные инстанции, ограничивается двумя в месяц. Использование телефонной связи полностью запрещено. Запрещена отправка заявлений, жалоб и другой корреспонденции такого характера в негосударственные организации.

Заключенному не разрешается в жалобе защищать других заключенных, а также не разрешаются коллективные жалобы. Представители «Красного Креста», иностранные корреспонденты и другие иностранные лица никогда не разговаривали с заключенными советских политлагерей. Нужно сказать прямо: советские заключенные смеются, когда читают в советской прессе сообщения о том, каким ограничениям в своих правах подвергаются политзека на Западе или даже в чилийских лагерях. Эти ограничения не идут ни в какое сравнение с ограничениями прав в советских лагерях.

## ВИКТОР ТРОСТНИКОВ

### Увольнение

[...] Началось все с литературного альманаха «Метрополь». Я стал одним из двадцати трех его авторов. В начале 1979 года составители передали макет альманаха в Главлит, а через некоторое время, после того, как стало ясно, что разрешения на печатание здесь не дадут, его стали готовить к изданию в Америке. В этот период верхушка нашего писательского союза развернула бурную активность, чтобы пресечь зарубежную публикацию сборника, которую она, конечно, предвидела. [...]

Руководители союза писателей панически перепугались того, что в провинциальном американском издательстве выйдет ничтожным по нашим масштабам тиражом сборник, составленный из тех вещей советских авторов, которые лежали в свое время в советских издательствах, но были отклонены как неудачные. Почему они этого так испугались?

— Ясна и причина, — скажут житейские мудрецы, — секретарь Московского отделения СП не хотел слететь со своего поста.

Что ж, может быть такое объяснение и верно, но оно сразу порождает новые вопросы. Людей снимают с постов в тех случаях, когда они не выполняют возложенных на них функций. По своему статусу СП есть общественная организация, основная функция которой — отстаивание интересов писателей. Профессиональные литераторы объединяются в свой творческий союз с той целью, чтобы через его выборные органы реализовать свое право на имеющиеся в нашей стране формы социального обеспечения, включая оплату по большичному листу и пенсию, и сверх того добиваться для себя целого ряда льгот — дополнительной жилплощади, дачных участков, путевок в привилегированные дома отдыха, внеочередной продажи автомашин, преимущественного перед не членами союза права публиковаться. Последнее особенно важно, так как никакой другой зарплаты, кроме гонораров, у писателя нет и его благосостояние прямо зависит от объема его публикаций. Короче говоря, СП есть род профсоюза. Но в таком случае секретарь Московского отделения СП никак не должен был осуждать идею «Метрополя», так как она возникла как раз в русле борьбы писателей за свои профессиональные и жизненные интересы. Им осточертели эти вечные цензурные рогадки, эти мелочные придирки к словам и фразам, и однажды они решили:

раз не всё наше печатают здесь, пусть хоть что-то из отвергнутого напечатает там. Однако человек, который по своей должности вроде бы мог их и поддержать, занял по отношению к ним самую враждебную позицию. Кстати, пора назвать его по имени.

Имя первое: Феликс Феодосиевич Кузнецов.

Этот человек открыто выступил против писательских интересов и при этом не только не опасался потерять свой пост профсоюзного лидера, но даже намеревался его этим укрепить. Что же это может означать?

Опять я слышу голоса знатоков: — Да это и ежу понятно, ведь СП только считается... — Знаю, знаю, не настолько я глуп, чтобы не знать, что руководство союза писателей подчиняется не писателям, за него голосовавшим, а государству, поскольку сам этот союз есть никакое не общественное, а обычное советское учреждение типа министерства. Мое внимание привлекает сейчас не это обстоятельство, а другое. Вдумайтесь: *считается*, что это общественная организация, а это министерство, и все знают, как обстоит дело в действительности. Но тогда возникает вопрос, кем же «считается», что это общественная организация? Можно ли так говорить, если не существует людей, которые бы так думали? Ведь обычно мы употребляем слово «считается» в тех случаях, когда люди заблуждаются. Например, мы говорим: «Считается, что от жабы бывают бородавки, но это не так». А в данном случае заблуждающихся нет.

Но языковое чутье подсказывает нам, что это слово здесь вполне уместно. Просто у него появился некий новый смысл, специфический для сегодняшней России. Он выражает не ту ситуацию, когда кто-то ошибается, а другие знают правду, а ту, когда все до единого в одном месте говорят одно, а в другом месте другое, причем первое есть ложь, а второе — правда, и все это знают. Вот эту-то самую ложь, которую в определенных обстоятельствах у нас начинают говорить как по команде, и обозначают словом *считается*. «Считается» означает у нас «никто не верит, но все делают вид, будто верят».

Занеся в свое досье это ценное лингвистическое наблюдение, двинемся дальше. Если СП есть простое государственное учреждение, то в лице Феликса Кузнецова сборника «Метр6поль» испугалось наше государство, т. е. «система». Почему же? Антисоветской агитации в нем не было, тайны не выдавались. В основном в него вошла беллетристика и стихи, т. е. то, что не раз публиковалось нашими авторами за границей совершенно легально и не вызывало никакого шума. Тем не менее испуг был очень велик. Это странное на первый взгляд обстоятельство может пролить свет на некоторые секреты нашей «системы». [...]

В «Метр6поле» было сразу два криминала — внутренний и внешний. Во-первых, это было коллективное действие, т. е. то, что рассматривается у нас как самое нежелательное. Видя, что официальный союз не только не помогает им публиковаться, но, напротив, ставит всяческие рогатки, группа писателей образовала как бы свой независимый союз — пусть совсем маленький, но зато реально, а не фиктивно борющийся за их права. Вот это-

то и ввергло начальство в панику. Оказывается, в громадном теле наших общественных институтов нельзя допустить даже мельчайшего инородного вкрапления. Надо заметить, что солидарность «союза двадцати трех», действительно, была очень велика: несмотря на отчаянные усилия, ни одного человека так и не удалось отколоть! [...] Во-вторых, в предисловии к альманаху было сказано, что его издание является реакцией на цензурные притеснения, которым подвергаются у нас писатели. Это было вынесение сора из избы. Мировая общественность получила доказательство того, что утверждение нашей пропаганды о свободе творчества ложно. Это усиливало переполох, который вызвал «Метрополь». Для нашей системы очень важно, чтобы внешние люди всерьез верили, будто то, что у нас «считается», и есть наша действительность.

А теперь вернемся к цепи событий.

Ознакомившись с макетом «Метрополя» и похолодев от ужаса, Феликс Кузнецов предпринял энергичную попытку сорвать заграничное издание сборника или, по крайней мере, заранее его дискредитировать. На этой стадии оставался лишь один способ достичь цели — заставить кого-то из авторов выйти из числа участников и сделать по этому поводу публичное заявление. И вот на каждого из двадцати трех была предпринята отдельная атака. Одному, например, говорили: вы же русский, зачем же вам примыкать к этой еврейской шайке? Другого увещевали: вы же еврей, как же вам не противно быть в одной компании с этим антисемитом? Третьему доверительно сообщали: ведь Аксенов все это затеял для того, чтобы сделать себе на Западе рекламу, а потом эмигрировать, а вы-то, дурачки, поверили в его искренность!

На кого действовали кнутом, на кого и пряником. Что же касается меня, то на мою работу, т. е. в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, где я был доцентом кафедры высшей математики, прислали, как у нас говорят, «телегу» — донос, соединенный с жалобой и требованием наказать. Прислал ее все тот же Феликс Кузнецов, а попала она к секретарю институтской партийной организации, чье имя и будет в нашем списке вторым.

Имя второе: Александр Аполлонович Выгнанов.

Он вызвал меня к себе в кабинет и больше часу с грозным видом выговаривал мне за то, что я, воспитатель молодежи, принял участие в таком грязном начинании. В конце разговора он потребовал от меня выхода из сборника. Чтобы оттянуть время, я пообещал подумать, и этот ход оказался удачным, так как потом к этому разговору никто не возвращался. Но, конечно, моя судьба была в принципе решена. Ждали лишь удобного случая. Весной 1981 года по институту пошло сокращение штатов, и первым на нашей кафедре подпал под него я. Так произошло мое увольнение, и институтское начальство, у которого целых два года было неспокойно на душе, облегченно вздохнуло.

О том, как оформили мое увольнение, я скажу дальше, а сейчас мне хочется немного поразмышлять о Выгнанове. Я не раз делал попытки мысленно влезть в шкуру таких людей, как Выгнанов, играющих в жизни

сегодняшней России столь громадную роль, но это никогда мне не удавалось. Учитывая, что такой человеческий тип формируется годами, я старался вжиться в его судьбу: побывать и комсомольским активистом в школе, и вожаком стройотряда в институте, и подающим надежды начинающим партийным работником, и молодым выдвиженцем, опьяненным своей карьерой и готовым на все, чтобы продолжить ее дальше. Все это я мог себе представить, ибо находил в собственной душе зачатки и тщеславия, и цинизма, и карьеризма. Но в одном месте биографии я никак не мог «войти в образ», так как оно казалось мне противоестественным для человека. Я не был способен понять, как можно решиться сделать окончательный выбор и бесповоротно встать на *этот* путь. [...]

[Я имею в виду путь, который освещается сиянием *единственно правильного учения*. Только представьте себе:] в жизни человека наступает критический момент. Его натура страстно хотела расправиться, и вдруг ощутила, что ее сжимают. Вместо ожидаемых богатств беспредельного мира ему предлагают скудный казенный паек. Ему показывают кое-как намалеванную плоскую картинку и говорят, что это и есть все сущее. Но ведь настоящий, живой человек там уместиться никак не может. А одна из дорог развилки ведет туда, где всю жизнь придется делать вид, будто и вправду веришь фанерному плакату. Как же живой человек может выбрать эту дорогу? Однако же выбирают... Непостижимо!

Не будучи в состоянии этого понять, я не могу анализировать фигуру Выгнанова с точки зрения психологии и вынужден подходить к ней с чисто внешней стороны. Но и такое обсуждение бесполезно — оно прояснит для нас значение среднего партийного звена в нашей государственной жизни.

Заметим, что меня вызвал для проработки не ректор института, которому я, собственно, только и подчинен, а секретарь партбюро. Отчего, с какой стати? Ведь я не член партии, и Выгнанов мне не начальник. До этого происшествия я даже не слышал его фамилии и не знал, где находится его кабинет. Объяснение может быть здесь только одно: в наших учреждениях наиболее важные вопросы решаются не администрацией, а партийцами. [...] Чтобы избежать упреков в наивности, я добавлю следующее. Я осведомлен о том, что партия является у нас руководящей силой, и знаю, что это даже записано в Конституции СССР. Но, простите, разве у нас считается, что человек, которого члены какой-то производственной партийной ячейки выбрали своим секретарем, автоматически становится начальником и беспартийных работников этого производства, которые за него не голосовали и которых там подавляющее большинство? Нет, конечно. Механизм партийного руководства предполагается не таким. В моем случае Выгнанов должен был воздействовать на ректора, подчиненного ему по партийной линии, а уж ректор — принять по отношению ко мне нужные меры. Но Выгнанов не стал усложнять процесса и принял меры сам. Он говорил со мной таким тоном, будто именно он и был моим работодателем. Он не только ощущал законность своей власти, но и проявлял активность.

Впрочем, это не повод, чтобы говорить о нем так долго. Пора выводить на сцену следующее лицо. Имя третье: Фридрих Израилевич Карпелевич.

Это — мой заведующий кафедрой, хороший математик, интеллигентный, воспитанный, с мягким характером. Мы проработали вместе около десяти лет. Я был его правой рукой, точнее — заместителем по научной работе. Совместно написали учебное пособие. Иногда по вечерам он звонил мне домой и по часу обсуждал кафедральные проблемы. Считал меня одним из лучших своих преподавателей и многим об этом говорил. Всегда был ко мне очень доброжелателен, а порой просто ласков.

15 апреля 1981 года он пригласил меня в свою комнату на кафедре и между нами состоялся следующий диалог:

— Вы слышали, что в институте идет сокращение штатов?

— Да, как раз сегодня мне сказали.

— Вы подпали под сокращение и лучше меня знаете, почему. Советую вам подать заявление об уходе по собственному желанию.

— Я должен подумать, это дело серьезное.

— Думайте, но поскорее. Через два дня должны дать ответ.

На этом мы расстались.

Не буду притворяться человеком с железными нервами. Как ни готовишь себя к таким вещам (а я готовил себя к увольнению уже давно), они всегда приходят внезапно и вызывают некоторый шок. Весь остаток дня я всерьез раздумывал, не подать ли мне, действительно, «по собственному», чтобы не портить трудовой книжки. И только среди ночи, проснувшись как от толчка, всем существом почувствовал, что такого я сделать не могу и никогда не сделаю. Почему я должен облегчать задачу моим гонителям, которые боятся сказать вслух, за что они меня гонят? Нет уж, пусть так и сформулируют: уволен за нелегальные публикации за границей. Поглядим, поднимется ли у них рука так написать!

Прошло два дня, потом еще три. Карпелевич много раз меня видел, но к разговору не возвращался. Потом как-то все же спросил:

— Так что вы решили?

— Знаете, ведь тут моя судьба на карте, хотелось бы поговорить с вами не на ходу, а как следует. Может, сегодня поговорим?

— Но у вас еще два часа занятий, а я не знаю, смогу ли дожждаться. Постараюсь дожждаться.

Однако по интонации я понял, что он не только не станет дожждаться, но нарочно уйдет раньше. Так оно и произошло. С тех пор и до самого заседания месткома, т. е. около двух месяцев, он избегал со мной всяких бесед. Однажды, идя навстречу по улице, сделал вид, что не заметил. Я догадался, что в наших институтских высших сферах что-то «химичат». Карпелевич — не тот человек, которого начальство посвящало бы в свои замыслы, поэтому он выглядел несколько обескураженным. Но инстинктом я чувствовал, что он готов будет выполнить любое указание свыше, каким бы оно ни было. Вспоминая наши прежние отношения и удивляясь, как я мог так сильно

ошибиться в этом человеке, я иногда пытался сам перед собой за него заступиться. А может быть, он все-таки порядочный? Я же пока ничего твердо не знаю... И я снова начинал перебирать в уме те три степени порядочности, которые в данной ситуации мог себе представить.

Высшая степень: он горой встает на мою защиту. Он заявляет начальству: я не позволю сократить лучшего преподавателя кафедры, моего заместителя; увольняйте тогда и меня!

Средняя степень: он не защищает меня, но устраняется от личного участия в этом грязном деле. Он говорит: хорошо, у вас есть какие-то высшие соображения по поводу его увольнения, вот вы сами и найдите способ его уволить; отстаивать я его не буду, но и помогать вам не стану.

Низшая степень: он уступает давлению сверху и сам представляет меня к сокращению, но сохраняет при этом «человеческое лицо». Он беседует со мной по душам: понимаете, дела обстоят так-то и так, на меня давят и я ничего не могу поделать, но, может быть, вам будет полезно уже то, что вы вовремя об этом узнаете; давайте, в конце концов, вместе подумаем, как вам следует сейчас себя вести.

На первое я, конечно, не рассчитывал. Нынче у нас осталось очень мало людей, которые так себя повели бы, хотя по прежним российским меркам это считалось совершенно естественным поведением. Второе отпадало, поскольку, предложив мне в начале подать заявление, Карпелевич показал себя послушным исполнителем воли администрации. Третье тоже отпадало — ни в какие разговоры он со мной вступать не хотел, а случаев к тому было много. А опускаться ниже третьего было некуда — там царила уже одна подлость. Так что, как ни крути, а выходило...

И только дня за два до развязки у меня возникла мысль, которая позволила мне снова убедить себя, что он не подлец. Я подумал: наверное, ту фразу о заявлении он выпалил сгоряча, под влиянием только что произошедшего бурного разговора с начальством, почти в стрессовом состоянии, а потом одумался и устранился от участия. Поэтому и молчит, и наверное, не только со мной, но и с *ними*. Вероятно, как раз потому все и застопорилось, что он забастовал.

На заседании месткома выяснилось, каким безнадежным идеалистом оказался я в своих этих фантазиях.

Я чувствую, что нам никак не отмахнуться от одного серьезнейшего вопроса: в чем таится секрет существования таких людей, как Карпелевич? Для меня они еще загадочнее, чем люди типа Выгнанова. В случае Выгнанова мне непонятен лишь один момент его жизни — когда, будучи еще живым человеком, он добровольно встал на путь служения мертвой идеологии. В случае же Карпелевича мне непонятна вся его жизнь. Каждый день, проведенный им на земле, есть олицетворенное подтверждение таинственности нашего мира, в котором невозможное оказывается почему-то возможным.

Ведь те, кто скажут об этом человеке, что он никогда не лжет, не совершит предательства, всегда подаст ближнему руку в беде, скажут правду.

Действительно, говоря о себе, Карпелевич очень искренен, рассказывая о чем-то, им виденном, точен в описании. Действительно, он не проболтается жене знакомого об измене мужа. Действительно, если кто-то из сотрудников окажется в нужде, он первым даст деньги по подписке, и даст щедро. И это для него не показное поведение, а глубоко органичное, вошедшее в плоть и кровь. И этот же самый человек, как мы скоро убедимся, глядя мне в глаза, говорил несусветную ложь и при этом даже не покраснел. Этот же человек тайно предал меня и после этого оставался со мной любезным и дружелюбным. Этот же человек не пошевелил пальцем, чтобы помочь мне в очень трудную минуту моей жизни, хотя мог сделать это безо всякого для себя ущерба. Что же это за чудеса? Не свидетельствует ли наличие подобных людей о зыбкости и неопределенности нашего существования и об условности связей и отношений, которые мы склонны абсолютизировать? [...]

Вглядимся в Карпелевича повнимательнее.

Люди этого типа отличаются от всех прочих одним-единственным признаком, но как раз в нем и состоит их суть. Им свойственно убеждение, что существуют как бы две разные жизни — частная и служебная, причем в частной жизни поступки оцениваются по одним критериям, а в служебной — по другим, большей частью противоположным. То, что в частной жизни считается недопустимым и вызывает омерзение, в служебной может заслуживать похвалы, а то и восхищения. Продав меня с потрохами, Карпелевич не ощущал себя негодяем лишь потому, что сделал это на службе, где, по его мнению, господствует особая шкала оценки человеческого поведения, и по этой шкале он вел себя не «гнусно», а «ловко». Да, все дело именно в наличии двойных критериев! Как эти люди ухитряются не перепутать их, мне неизвестно, но факт состоит в том, что это им удается. И таких людей очень много. Я встречал их и в издательствах, и в академических институтах, и в вузах, так что они образуют как бы племя неких биологических мутантов, обладающих специфическим свойством. Любопытно, что все они интеллигенты и почти все беспартийные. Последнее, впрочем, понятно: ведь вступив в партию, берешь на себя обязательства вести себя определенным образом и во внеслужебное время, а главный принцип, на котором держится это племя, — несмешиваемость служебного и частного критериев поведения.

В психиатрии известен синдром «раздвоение личности», при котором больной чувствует себя то одним человеком, то другим и эти двое, поочередно живущие в одном теле, ничем между собою не схожи. Переход от одной личности к другой происходит произвольно, иногда в самый неподходящий момент, и болезнь сильно угнетает свою жертву. Карпелевичи же трансформируются, когда сами того захотят, и совершенно безболезненно. Их приспособленность к двойной жизни просто удивительна. Но вот окружающим бывает трудно к ним приспособиться. Это я испытал на себе, когда сидел на месткомке.



Заседание вел председатель месткома — человек до примитивности простой и неинтересный. Но из-за своей типичности он тоже заслуживает персонального упоминания.

Имя четвертое: Анатолий Касымович Асанов.

Он попросил Карпелевича сообщить присутствующим мотивы моего сокращения. Карпелевич сказал:

— Я представил Виктора Николаевича к сокращению по той причине, что его научная специальность не соответствует профилю научной работы кафедры.

Я слушал и ушам не верил. Неужели он говорит это обо мне — человеке, которому сам же поручил всю организационную работу, связанную с научной деятельностью кафедры? Я ожидал чего угодно, только не этого. Мне вдруг показалось, что Карпелевич совершил грубую ошибку, и мне ничего не стоит теперь выиграть дело. Я вспомнил, что недавно мы сдали отчет, в котором указывалось, что за последние пять лет коллектив кафедры издал две монографии. В отчете этого не говорилось, но автором обеих монографий был я. Сейчас я расскажу и о них, и о других моих публикациях, о докладах, прочитанных мною там-то и там-то, о том, что на недавнем заседании кафедры моя научная деятельность была единодушно одобрена, о том, что некоторые мои математические результаты используются в такой-то лаборатории, а прикладные работы как раз соответствуют профилю нашей кафедры, — и все станет ясно... Как видите, я все еще не понимал сути происходящего!

**Асанов (мне):** Вы согласны с формулировкой?

**Я:** Во-первых, я сразу же поставлен в неравноправное в сравнении с администрацией положение. Я только сейчас узнал о мотивах сокращения. Почему мне не удосужились сообщить их хотя бы накануне, чтобы я мог подумать, посоветоваться с друзьями, с юристом, наконец? Если профсоюз действительно защищает интересы трудящихся, то пусть члены месткома обратят внимание на это грубое нарушение моих элементарных прав. Мне наносят удар, подготовленный в течение двух месяцев, а на ответное движение мне дается лишь несколько секунд. Разве это справедливо? Ну да ладно, я отвечу без подготовки.

И тут я изложил все возражения против текста представления, которые казались мне очень вескими. Их набралось довольно много, — я даже сам не ожидал, что их так много. И вдруг Асанов перебил меня:

— Вы еще долго собираетесь говорить? Вы говорите уже пять минут.

Тут я, наконец, прозрел, и через две минуты свою речь закончил.

**Асанов (Карпелевичу):** Что вы на это скажете?

**Карпелевич:** Виктор Николаевич — кандидат философских наук, а у нас кафедра математики. Поэтому я и утверждаю, что направление его научной работы не соответствует профилю кафедры.

Пока он это говорил, я вглядывался в его лицо. Видя его лицо, я не мог не воспринимать его как порядочного человека. Я слишком привык к тому, что это лицо — лицо порядочного человека. Но то, что он сейчас говорил,

мог сказать только законченный подлец. Это было предательство, это была ложь. Он прекрасно знал, что в моей диссертации исследовались не отвлеченные философские категории, а основания математики, к тому же я защитил ее давно, и теперешняя моя кафедральная научная работа определялась не темой диссертации, а чисто математическими интересами, возникшими у меня после защиты. Передо мной в чистом виде демонстрировался феномен раздвоения личности, но мне трудно было вместить его в сознание.

На душе стало тяжело и тоскливо. Все сделалось мне безразличным, и я ждал только одного: когда же закончатся эти никому не нужные формальности. Мне противостояла слепая сила, и я на мгновение оробел перед ней. А может, и правда — почему «подлость»? Может быть, и в самом деле просто «чистая работа»? Вообразите: человека выгоняют за философские публикации за границей, но никто не только не обсуждал их содержания, а даже и не произнес о них ни единого слова!

Формальности закончились, и я был уволен.

\* \* \*

Что ж, нет худа без добра. Поскольку я теперь нигде не работаю, у меня есть время поразмышлять.

В ходе моего изгнания передо мной открылись некоторые такие стороны нашей действительности, на которые в нормальных обстоятельствах не очень обращаешь внимание. А они отражают самую суть нашего жизнеустройства.

Фундаментальнейшим свойством нынешней российской действительности является ее иллюзорность, выдуманность, искусственность. На языке философии это точнее всего передается термином «небытийность».

Причина небытийности нашей жизни состоит в том, что она управляется призраками, порожденными фантазией нашего коллективного сознания. Конечно, поскольку эти призраки обрели у нас такое огромное могущество, их нельзя назвать чем-то вообще не существующим. Но существуют они в особом смысле. Нами управляет не то, что действительно есть, а то, что «считается». Отсюда и происходит очень низкое качество нашей жизни, ее мелкость, ее дешевизна. [...]

Это странное небытийное бытие не свалилось к нам с неба, а явилось закономерным завершением длительного исторического процесса.

Как известно, корни нашего общества тянутся в европейское Возрождение, когда впервые были выдвинуты идеи коренных социальных преобразований и построения на земле рукотворного рая. Наше государство основал Ленин, Ленин — ученик Маркса, Маркс — последователь французских просветителей, те — преемники социалистов-утопистов. Именно утопии были первым звеном цепи, приведшей к тому, что мы видим сейчас в России. Наши теоретики этого и не отрицают. Они честно признают своими вдохновителями Томаса Мора, Кампанеллу, Сен-Симона и Фурье. Однако если мы заглянем в Советский Энциклопедический Словарь, мы прочтем

там, что утопия есть «*обозначение всех сочинений, содержащих нереальные планы социальных преобразований*». Вот тебе раз! Какие же они «нереальные», если их удалось реализовать? Даже в школьных учебниках мы пишем, что светлая мечта Кампанеллы и Сен-Симона осуществлена в нашем обществе. Конечно, некоторые детали не совпали, но достигнуто главное: уничтожено социальное неравенство, все люди объявлены братьями, на место веры поставлена наука, установлен принцип «кто не работает, тот не ест», и т. д. Христианство первых веков тоже отличалось от современного, как в вероучительном отношении, так и в обрядовом, но мы же не говорим, что это разные вещи, и обозначаем их одним и тем же словом. Почему же мы отказываемся применить термин «утопия» к нашему укладу жизни, который меньше отличается от изобретенного Кампанеллой, чем сегодняшнее католичество или православие от веры апостола Петра?

Дело начнет проясняться, если мы обратим внимание на слово *планы*, имеющееся в цитированном определении, и прочитаем еще одно определение, взятое отсюда же: утопия есть «*изображение идеального общества*». Слово *идеальное* означает здесь не столько «хорошее», сколько «нематериальное», «воображаемое». «Утопичность» состоит именно в идеальности», т. е. в воображаемости, но отнюдь не верно, что всякая воображаемость лежит в будущем. Воображаемая общественная система может существовать и в настоящем, и это как раз и есть наш случай. Нереальное общество обрело у нас реальность, соединив в себе все то, что мы обозначаем словом *считается*, и утопия тем самым осуществилась, оставаясь типичной утопией. Много столетий она располагалась в грядущем, и ее поклонникам стало наконец обидно. Они поднатужились и перенесли ее в сегодня. [...]

Впрочем, вскоре стало выясняться, что все не так уж и хорошо, во всяком случае, не спокойно. Стоит чуть-чуть ослабить бдительность, и призрачная реальность начнет растворяться в океане подлинной реальности. Чтобы этого не случилось, прежде всего надо сделать воображаемой всю людскую жизнь, а не какие-то отдельные ее аспекты, иначе то, что осталось в ней бытийным, станет источником порчи для небытийности, и последняя начнет гнить. Надо закупорить все каналы, связывающие людей с космическим кругооборотом; надо абсолютно в каждой области человеческого функционирования создать свое «считается». Эта программа неукоснительно выполнялась у нас с самого первого дня. Как только грядущее было решено перенести в настоящее, так сразу же были приняты крутые меры к тому, чтобы изолировать наше общество от главных источников бытийности.

Таких источников три: национальное чувство, земля, религия. Нация, в отличие от толпы, представляет собой живой организм, поэтому ведет себя не так, как ей предписывает схема, а как направляют ее вечные и нерукотворные законы жизни. Земля хранит в себе тайну воспроизводства сущего, прикосновение к которой делает человека мудрым. Религия прямо соединяет нас с Началом Бытия. Ни одному из этих факторов нельзя было позволить действовать на наше общество, иначе вся затея провалилась бы. И

вот русских людей превращают в не имеющий национальности передовой отряд мирового пролетариата. И вот под лозунгом уничтожения кулачества уничтожают крестьян и разрывают связь народа с землей. И вот подвергают яростному гонению Православную церковь, рушат храмы, жгут чудотворные иконы...

Наряду с этим надо было защититься и от других факторов, тоже достаточно серьезных. Вывести из пределов воображаемого мира к подлинности могут высказывания людей, не принадлежащих утопическому обществу, а также простой человеческий здравый смысл, иногда все-таки различающий, где истина, а где фальшь. Поэтому пришлось создать мощную систему фильтров и заглушек для информации, поступающей из-за границы, и установить строгий принцип «невынесения сора из избы», чтобы создать за рубежом иллюзорные представления о наших реальностях и тем самым обезвредить иностранную информацию уже на корню. А еще — людей лишили всех средств к существованию, кроме одного: окошечка кассы, к которому каждый должен подойти раз в две недели и которое может захлопнуться, если человек вдруг начнет руководствоваться не фантомами, а собственным здравым разумением.

Параллельно с этим начали создавать ту псевдореальность, которая должна была заменить искорененную подлинность, т. е. которая отныне должна была «считаться» существующей. Тут все надо было конструировать противоположно бытийности, так как ее смешение с небытийностью недопустимо. Выдуманное должно быть все, только тогда люди прочно привыкнут к самой идее выдуманности и будут смотреть на нее как на универсальный мировой принцип, против которого не пойдешь. Этим и определилось содержание того, что у нас «считается».

Поскольку наше государство авторитарно, считается, что оно является самым демократическим государством в мире.

Поскольку общественные организации играют у нас самую незначительную роль, считается, что они представляют собой основную движущую силу нашего общества.

Поскольку наши профсоюзы всегда защищают интересы администрации, считается, что они зорко стоят на страже интересов трудящихся.

Поскольку наше население относится ко всем партийно-правительственным программам с полной апатией, считается, что оно встречает их с восторгом и энтузиазмом.

Поскольку церковь подвергается у нас сильным притеснениям, считается, что она выполняет свои функции совершенно свободно.

Поскольку у нас на произведения искусства и литературы наложена жесточайшая цензура, считается, что нигде нет такой свободы творчества, как у нас.

Поскольку наше иллюзорное общество не имеет никаких перспектив, ибо оно все-таки иллюзорно, и с магазинных прилавков навсегда исчезает один продукт за другим, считается, что оно имеет самые блестящие пер-

спективы и мы быстро приближаемся к коммунизму, при котором прилавки будут ломиться от снеди...

Конечно, придумать эту воображаемую реальность мало — ее надо постоянно воссоздавать. На это тратятся у нас огромные усилия, и в необходимости такого воссоздания заключается причина необычайной активности наших идеологов. В это дело вовлечены у нас миллионы людей — как профессионалов, так и добровольцев-любителей. [...]

Представление о том, будто уклад нашей жизни организуется «сверху» с помощью голого принуждения, распространено чрезвычайно широко и у нас и за границей. Но это как раз тот случай, когда всеобщая убежденность не является признаком истинности. Это представление в корне ошибочно и... слишком оптимистично. К несчастью, все обстоит у нас много хуже.

Ах, если бы дело происходило так, что захватившие верховную власть диктаторы приказывали нам делать то-то и то-то, а мы лишь под страхом наказания подчинялись бы! Это было бы еще куда ни шло, во всяком случае тут возникала бы надежда. Можно было бы уповать на то, что властители образумятся, прислушаются к голосу народа, найдут себе умных советников или уступят место более толковым людям. Но надо взглянуть правде в глаза. Сегодняшняя российская действительность состоит в том, что тут выросла огромная популяция людей, которые полностью разучились жить в бытийном мире и могут жить только в мире воображаемом. Они-то и занимаются производством всего воображаемого. Их можно уподобить бескислородным бактериям, приспособившимся жить в атмосфере из азота, которые начали потом сами производить необходимый им азот. Утверждение нашей пропаганды, что «за годы советской власти появился человек нового типа» в некотором смысле правильно, только его надо уметь истолковывать.

Поскольку «людей нового типа», разучившихся дышать кислородом, у нас очень много, да к тому же они занимают все более или менее ключевые посты, шансов на скорое посвежение нашего воздуха мало. Наше небытие порождает не злоумышленники, а стихия, а с ней, как известно, даже царям не совладать. Если даже завтра сверху посыплются очень мудрые распоряжения, направленные к искоренению всякой показухи и взаимного обмана, огромная масса средних и низших активистов после некоторого периода замешательства и ропота выработают какой-нибудь новый обман, в котором все и завязнет. Для них это не трудно, ибо фактическая власть в наших градах и весях находится в их руках. Это, конечно, не случайно, в этом имеется глубочайший смысл. Только активисты могут действовать не по букве, а так, как этого требует дух постоянно изменяющейся утопии. Чистая государственность непременно связана с буквой, т. е. с законом, а закон, каким бы он ни был, после его принятия становится чем-то материальным, объективным, т. е. обретает существование высшего ранга, поэтому начинает мешать созданию фантомов. Партийные же активисты не связаны формальностями. Они располагают тысячами средств давления на граждан, — например, могут повысить человека в должности или снять его с работы в зависимости

от того, как он будет себя вести и что говорить. Они умеют решать дела посредством телефонных просьб и неофициальных распоряжений, к которым у нас относятся гораздо почтительнее, чем к казенным бумажкам, приходящим из высших инстанций. И девяносто, если не больше, процентов всего того, что у нас «считается», продуцируется либо непосредственно этим новым уездным дворянством, либо теми его прислужниками, которые охотно содействуют ему в служебное время.

\* \* \*

Итак, все выглядит вроде бы очень мрачно. И все же я хочу закончить разговор на другой ноте. Для философа ясно, что небытийные данности могут продержаться лишь какое-то время, а затем обязательно лопаются. Знают, непременно лопнет и тот фантом, который подчинил себе нашу жизнь. Мой оптимизм сдержанный не потому, что я в этом сомневаюсь, а потому, что фантом может лопнуть не очень скоро.

Говорят, можно обманывать долго одного или недолго всех, но нельзя обманывать долго всех. У нас случай несколько другой — мы сами себя обманываем, поэтому может показаться, что это можно делать вечно. Но беда в том, что при этом надо обманывать еще и космические законы. Хотя на нашем корабле тщательно задраены все иллюминаторы и заткнуты все щелочки, однако по все возрастающей качке мы начинаем догадываться, что идем не в благословенный порт «Коммунизм», а в бурное море, где нам долго не продержаться.

У нас есть много разных «считается», но главное из них такое: считается, что мы строим общество изобилия и что в ходе этого строительства люди становятся все сознательнее. Но каждый из нас знает, что в души людей все глубже проникает цинизм, что общество наше захлестывается коррупцией и что наша пища становится все однообразнее и все дороже. В «Программе партии», принятой 20 лет назад, 1980-е годы рисовались в виде гастрономической лавки, заваленной продуктами, а когда это время пришло, та же самая партия заговорила о «Продовольственной программе», которая является, по существу, программой спасения от голода. Что же будет еще через двадцать лет?

Хотя небытийные вещи неизбежно лопаются, все же кто-то должен помочь им лопнуть. Какая же сила может пересилить у нас ту стихию, которая ежедневно порождает призраки и миражи?

Таких сил две — народ и правительство, т. е. то, что лежит ниже и выше слоя, продуцирующего воображаемую реальность. Если они навалятся на этот слой с разных сторон да как следует поднажмут, то инерция самовоспроизводящейся лжи будет преодолена.

Политики закричат мне: что за глупости, как можно рассчитывать на правительство, которое само вышло из среднего партийного слоя и на него опирается, и на российский народ, пребывающий в полной пассивности. Но я говорю не о наших конкретных сегодняшних возможностях, а лишь выска-

зываю теоретическое положение, которое подтверждается историческими данными. Всегда, когда над Россией нависала серьезная угроза, народ, вчера еще вялый, быстро активизировался, а правительство, подчиняясь инстинкту самосохранения, начинало осуществлять народные чаяния, обрушиваясь с репрессиями на тот промежуточный господствующий слой, который его же и выдвинул. В такие моменты интересы высшей власти и простого народа начинали совпадать, и они действовали совместно. Метафизические предпосылки такого альянса понятны — они состоят в том, что обе силы обладают бытийностью. Народ обладает ею уже потому, что занимается материальным производством, а материя бытийна. Правительство, правда, становится бытийным при одном дополнительном условии: если оно является национальным правительством. Правительство, возглавляющее нацию, тоже обретает реальность. Оно становится как бы мозгом живого существа, и в нем, откуда ни возьмись, появляется и мудрость, и интуиция, и даже способность к мистическим прозрениям. Без такого правительства нам своей жизни не переделывать, следовательно пока можно сказать только одно: прежде всего мы должны снова стать русскими. А поскольку русских нет без православной веры, как, впрочем, и вообще нет ни одной нации без национальной религии, значит, не обойтись нам и без духовного и церковного возрождения.

То, что я сейчас сказал, может послужить поводом для обвинения меня в «национал-большевизме». Хотя этот термин несет в себе внутреннее противоречие, ибо большевизм, основанный на безбожии, и русский национализм, основанный на православной вере, несовместимы, и хотя совсем уж нелепо наклеивать этот ярлык на меня, все же я скажу на этот счет несколько слов, чтобы поставить все на места. [...]

Когда мы говорим о национальном возрождении России, мы имеем в виду не политические реалии, а категории совсем иного рода — внутреннее ощущение себя русским, любовь к родной истории, к родной культуре, к родному языку, к родной природе, уважение к заветам предков, к национальной вере. На этой базе могут произрасти самые разные политические формы, кроме, правда, марксизма. В том числе, разумеется, и буржуазная демократия. Соединялась же она с русским национальным и религиозным чувством в Новгородской республике XIII века...

Таковы некоторые философские мысли, навеянные недавними событиями моей жизни. Резюмируя их, я рискну сделать прогноз. Так как жизненные силы России еще велики и погибать она не захочет, ей так или иначе придется встать на путь национального и духовного возрождения. Никуда нам от этого не деться, никак нам от этого не отвертеться. Никакого другого способа избавиться от призраков, заманивающих нас все ближе и ближе к краю бездны, и обрести надежную бытийность не существует.

Начнется ли в ближайшие годы такой подъем и в каких формах он будет протекать — поживем, увидим.

## УОЛТЕР РЕЙЧ

### Иное мнение

Шестой конгресс психиатров в Гонолулу принял решение, которое разожгло одну из самых жестоких профессиональных баталий. Конгресс признал недопустимыми и осудил злоупотребления психиатрией в СССР в политических целях: ложные диагнозы и их последствия — заключение инакомыслящих в психиатрические тюрьмы. Всего за несколько часов до голосования я сидел в номере мотеля Вайкики с Андреем Снежневским — одним из тех, кого прямо обвиняют в фабрикации ложных диагнозов в политических целях.

— Советские диагнозы инакомыслящим ставятся очень аккуратно и точно, — настаивал проф. Снежневский, — а то, что мы видим сейчас на конгрессе, — это всего лишь апогей кампании, вот уже лет десять как развязанной против советской психиатрии, всего только истерический спектакль.

Он утверждал также, что если бы я, опытный психиатр, сам обследовал кого-либо из диссидентов, то я убедился бы в абсолютной правоте советских врачей.

Через четыре месяца я получил приглашение от одного из друзей Петра Григорьевича Григоренко. Один из самых известных диссидентов, Григоренко — в прошлом генерал Советской Армии, орденосец, один из создателей советской военной теории, — выступив с политическими протестами, дважды был объявлен душевнобольным и упрятан в психиатрическую тюрьму. Мне сообщили, что, выпущенный на полгода к сыну в США, Григоренко просит американских психиатров обследовать его. [...]

Мы посоветовались с несколькими коллегами. Дело в том, что повторная экспертиза такого рода противоречила некоторым профессиональным принципам<sup>1</sup>. Такого еще не делалось. Возникал ряд проблем. Сумеем ли мы провести обследование достаточно беспристрастно? Не подвигнет ли нас простая человечность к некоторой предвзятости, так что мы увидим пол-

---

<sup>1</sup> Так, например, французские психиатры обследуют бывших советских заключенных психиатрических тюрем только в рамках сопоставления действительности и советских экспертных заключений. Согласно профессиональной этике, они считают возможным проводить полную экспертизу лишь тогда, когда человек обращается с просьбой о лечении. — *Прим. ред. -1979.*



ную норму там, где на самом деле есть отклонения? Кроме того, мы знали, что у других диссидентов, подвергнутых в СССР принудлечению, отмечены те же симптомы, что у Григоренко, им поставлены те же диагнозы, — если наша экспертиза подтвердит, что генерал психически болен, не станет ли это автоматически приговором для других? А если кто-то из этих других и верно болен, — не принесет ли наша экспертиза ущерб самому Григоренко?

Тем не менее, мы решили экспертизу провести. Но прежде всего мы должны были заручиться формальным официальным согласием генерала. Мы сообщили ему все свои соображения. Он не только дал свое безусловное согласие, но и оговорил, что акт экспертизы должен быть открыт для всех и непременно опубликован, каковы бы ни были выводы экспертов. В конечном счете, сказал он, терять ему нечего: ярлык сумасшедшего на него уже налепили.

Мы составили документ за подписью Григоренко о его согласии на обследование и на публикацию результатов: нам следовало предупредить возможные упреки в нарушении врачебной тайны. Григоренко прочел русский перевод документа и спокойно подписал его.

Далее следует описание обследования.

## Биография

Петр Григорьевич Григоренко родился в 1907 году в православной крестьянской семье на Украине. Его мать умерла от тифа, когда ему было три года. В 1913 году отец женился вторично, но мачеха бросила дом через год, когда отец ушел на фронт.

Григоренко первым в своей деревне вступил в комсомол. В возрасте 15 лет он отправился в Донецк, где работал машинистом, а вечерами учился. В 20 лет он вступил в партию и по партийной путевке был направлен в Военно-инженерную академию, которую окончил с отличием в 1934 году. В рядах Красной Армии он участвовал в 1939 году в военных действиях против Японии и был ранен в спину осколком гранаты. Еще два ранения получил во время Второй мировой войны.

После войны Григоренко преподавал в Академии им. Фрунзе в Москве. В 1949 году назначен начальником научно-исследовательского отдела, в 1958 — начальником отдела кибернетики. В это время он уже был кандидатом наук. В 1959 году получил свое высшее звание — генерал-майора. К моменту выхода в отставку (пятью годами позже) он был автором более чем 60 статей по военной науке, в большинстве своем засекреченных.

Григоренко имеет множество наград, в том числе орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны и семь медалей.

Женился впервые в 1927 году, через 15 лет последовал развод. Три сына от этого брака живут в СССР. От второго брака (с его нынешней женой) имеет одного сына, Андрея, который несколько лет тому назад эмигрировал в США.

## Диссидентская биография

Григоренко имел несколько небольших столкновений с властями, — например, протестовал против антисемитизма в своей академии. Но первый серьезный конфликт произошел после его выступления на партконференции в Москве. Он призвал к демократизации устава партии, в результате чего был лишен делегатского мандата. Почти в то же время он написал открытое письмо к московским избирателям, критикуя «неразумную и часто вредную деятельность Хрущева и его окружения». Был немедленно уволен из академии и спустя полгода переведен с понижением на Дальний Восток. Там он создал «Союз борьбы за возрождение ленинизма» (1963 г.) в составе 13 человек и написал листовку о возвращении к ленинским принципам. Был арестован и направлен на экспертизу в институт им. Сербского, где его признали душевнобольным и невменяемым. Вышел из психиатрической больницы специального типа весной 1965 года, вскоре после падения Хрущева.

Не считая возможным менять свою позицию, лишенный военной пенсии, Григоренко вынужден искать любую работу и в возрасте 58 лет поступает работать грузчиком. Он неоднократно посылал письма протеста Косыгину, в «Правду», в КГБ. Он открыто протестовал против лишения его воинских званий и постоянно участвовал в публичных демонстрациях против процессов над диссидентами.

В 1969 году он вылетел в Ташкент, чтобы выступить в качестве свидетеля защиты на процессе диссидентских лидеров. Его тут же арестовали, и следствие направило его на психиатрическую экспертизу. Ташкентская экспертиза признала его нормальным. Тогда его отправили в Москву, снова в институт им. Сербского, на повторную экспертизу, — там его опять признали душевнобольным.

На этот раз он пробыл в спецпсихбольнице четыре года. Выпущенный в 1974 году, он возобновил свою деятельность.

В 1977 году он получил выездную визу на полгода — навестить своего сына в Нью-Йорке и сделать срочную операцию, которую он не доверял советским врачам. Тремя месяцами позже Указом Верховного Совета за подписью Брежнева он был лишен советского гражданства. После этого Григоренко получил политическое убежище в США.

### Григоренко — пациент советских экспертов

Дважды комиссия института им. Сербского назначала Григоренко принудительное лечение в психиатрической больнице специального типа. Оба заключения были идентичны.

Главным доводом невменяемости было то, что протесты Григоренко — результат психопатологического состояния, а не разумного решения. Согласно актам экспертизы, Григоренко страдает хронической паранойей, которая время от времени достигает порога невменяемости, и тогда больной вступает

в конфликт с советскими законами. В частности, у него развился «бред реформаторства» — потребность деятельности, направленной против властей, желание перестроить общество и одержимость диссидентской темой.

Как сказано в этих заключениях, Григоренко не может контролировать свое поведение и отвечать за свои поступки, а поэтому должен быть изолирован как больной, неспособный участвовать в своем судебном процессе и защищать себя.

По утверждению советских психиатров, болезнь усугубляется, а частично и вызвана артериосклеротическими изменениями сосудов головного мозга.

### **Порядок проведения новой экспертизы**

Чтобы провести обследование в максимально полном объеме и с предельной точностью, мы несколько изменили обычную процедуру.

Беседы с обследуемым (в общей сумме восемь часов) каждый из нас проводил по отдельности. Один из нас находился в Гарварде, двое — в студии видеозаписи Института психиатрии штата Нью-Йорк.

Вопросы, задаваемые генералу, касались всех сторон его жизни, включая семью, детские воспоминания, сексуальную жизнь, интеллектуальное развитие и нравственные установки, его идеи, влечения, интересы, взаимоотношения с людьми... Особое внимание мы обращали на его политические взгляды и на мотивы тех или иных «диссидентских» поступков. Все ответы сообщались нам через переводчика, одновременно велась запись на видеомгнитную пленку.

В порядке проверки диагноза психопатии, фигурирующего в советских актах, консультанты медицинского факультета Гарвардского университета провели три специальных обследования. Трехчасовая тестовая программа Ирен П. Стивенс включала задачи на интерпретацию, «проективные тесты» (подобные тестам Роршаха, так наз. *чернильным пятнам*), с помощью которых обнаруживаются параноидальные признаки. Вопрос о склерозе, фигурирующем в советском заключении, был исследован невропатологом Норманном Гершвиндом. Эта сторона состояния здоровья Григоренко подверглась также всесторонней проверке восьмичасовым набором тестов, которую проводила Барбара П. Джоунз.

Наконец, все видеозаписи мы передали в лабораторию биометрических исследований Института психиатрии штата Нью-Йорк. Сотрудники института изучили собранную информацию с точки зрения того, соответствует ли весь этот материал, согласно их критериям, картине какого-либо психического заболевания, имеющегося в настоящем или пережитого в прошлом.

Григоренко по-английски не говорит и не читает. Доктор Борис Зубок, психиатр, эмигрировавший из СССР в 1973 году, информировал Григоренко обо всех наших процедурах, объяснял нам некоторые аспекты принятой в СССР диагностики и был нашим консультантом и переводчиком в течение всего обследования. Разумеется, мы понимали, что советские психиа-

тры вполне могут выразить подозрение, что д-р Зубок как эмигрант скрыл какие-то признаки заболевания обследуемого. Поэтому при экспертизе постоянно присутствовали еще три человека, владеющие русским языком. Все они нашли перевод предельно точным и добросовестным.

## Беседы и выводы

Григоренко — широкоплечий мужчина с прекрасной осанкой, голову бреет, походка медленная, слегка шаркающая.

Во время бесед с нами он был, в основном, очень спокоен, но временами проявлял живейший интерес ко всей процедуре обследования. Особенно заметно было это оживление, когда он говорил на политические темы, рассказывал, как с годами менялись его взгляды, и еще — когда вспоминал полузабытые удаchi или огорчения. Он способен ответить на прямой вопрос с точнейшими подробностями, память позволяет ему восстанавливать все эмоциональные реакции, весь их широкий спектр — от сожалений до радости, с естественным переходом от грустных моментов к нескрываемому юмору.

Общение с людьми у него устанавливается быстро и легко, с каждым из нас он готов был поделиться своими горестями. Излагая их, он, однако, шутил по поводу своих жизненных перипетий, по поводу удач и иронии судьбы. На вопросы отвечал исчерпывающе, хотя из опыта общения с советской психиатрией знал, что при определенных условиях излишняя детальность может расцениваться как симптом некоторых психических заболеваний.

Большинство наших вопросов было рассчитано именно на проверку параноидальности. Мы задавали вопросы о мотивах тех или иных диссидентских поступков Григоренко. Насколько верно оценивал он опасность своих действий? Имел ли он когда-нибудь параноидальные сверхценные идеи реформаторского характера? Гнала ли его, как это часто бывает с параноиками, неколебимая уверенность, что мир не соответствует реальному о нем представлению? Не было ли у него экзальтированно преувеличенных представлений о собственных возможностях, мании величия, не принимал ли он себя за некоего сверхчеловека или носителя миссии, ниспосланной свыше?

Григоренко отвечал, что никогда не преуменьшал возможных последствий своих поступков. Например, создавая «Союз борьбы за возрождение ленинизма», он предполагал даже возможность расстрела.

— Но если вы думали, что вас могут расстрелять, почему же вы все-таки создавали этот Союз?

— Потому что я никак не мог смириться с режимом. Я знал, что организацию быстро раскроют, но я хотел пробудить чувство нравственной ответственности у других... Советские психиатры расценивали это как несомненный признак душевного заболевания, но фактом остается, что я совершал поступки, вполне оценивая их последствия. Если же американские психиатры, как советские, сочтут это признаком болезни, то я скажу, что они очень ошибутся.

Мы акцентировали тему мотивировок его дальнейшей деятельности, усиленно отмечая ее опасность, способную привести к душевному истощению.

— Так ведь это не личное дело, — сказал он, — это вопросы общественные, общие — кто-то же должен начать... Народ не выносит эту систему правления, но раньше почти не случалось, чтобы кто-либо восстал против нее открыто. Всегда так бывает, что находятся люди, которые что-то начинают, потом к ним присоединяются другие... И те, кто начинает, независимо от того, выдающиеся они люди или самые простые, становятся вроде знамени для тех, кто идет следом за ними... Моей жизнью, моей верной службой коммунистической системе я ведь тоже повинен в том вреде, который она принесла народу, и я хотел в оставшееся время хоть что-то исправить, искупить... Какой смысл прожить еще лишний год жизни, если продолжаешь лгать и закрывать глаза на то, что творится? Лучше прожить остаток жизни так, чтобы не позориться перед собственными внуками. — В этот момент Григоренко, показалось нам, опечалился, но продолжал говорить продуманно и серьезно. — Я думаю, что призыв к служению возникает в душе, когда оно вдохновлено Богом...

— Но почему именно в вашей душе? Разве не могли другие сделать то, что сделали вы?

— Это не совсем точно. Я, по счастью, стал в какой-то мере известен, особенно в результате кампании в мою защиту, которую организовала, главным образом, моя жена. Есть многие, сделавшие гораздо больше, чем я, но о них никто ничего не знает.

— Их тоже подвинул Бог?

— Думаю, что да. Думаю, что Провидение играет в жизни человека куда большую роль, чем нам представляется.

— Не считаете ли вы, что у вас с Богом некие особые отношения?

— Нет. Более того, хотя я безусловно верю, что Бог есть, что есть некий Высший Смысл, я, к несчастью, не могу полностью погрузиться в молитву...

Исследуя отношения Григоренко с другими людьми и интерпретируя его поведение, мы особенно интересовались, нет ли признаков того, что он расценивает все, предпринятое против него, как чье-то стремление лично его преследовать. Зная, что он такой, зная, что он действительно подвергался преследованиям КГБ, мы полагали, что это могло привести к стрессу. Мы допускали, что он мог придавать особое значение хитрости и мстительности властей, арестовывавших его, принудительно госпитализировавших, лишивших его чинов и пенсии. Вместо этого он постоянно указывал на порядочность, честность и откровенность некоторых из своих противников, в том числе даже членов ЦК.

Поскольку советские психиатры упирали на характерологию Григоренко, особо выделяя те черты, что могли подтвердить параноидальность, мы уделили наибольшее внимание тем же чертам характера. Мы, например, спросили его о конфликте, который имел место в 1949 году в связи с его кандидатской диссертацией. В первой главе ее содержалась резкая критика военных теорий не названных по имени высших советских офицеров — ему

было предложено эти места убрать. Мы спросили, как он отреагировал на такой совет, ожидая, что при наличии параноидальных реакций они в подобном случае непременно проявятся. Он ответил, что не сразу, но согласился эти критические места убрать.

Мы нашли и другие свидетельства гибкости характера Григоренко. Во время первого заключения, например, он пересмотрел свои политические убеждения, отбросив те самые «ленинские принципы», из-за которых создал свой нелегальный союз и подвергся аресту и принудительному лечению.

Мы систематически искали других указаний на паранойю, теперь или в прошлом, от самых слабых до самых определенных. Наш консультант-психолог сделал множество проб, но они тоже не дали подтверждающих результатов.

Наконец, мы постарались окончательно прояснить вопрос о склерозе сосудов. В 1972 году Григоренко перенес небольшой удар, который ухудшил зрение, затронув правый глаз. Исследования, проведенные нашим невропатологом, показали признаки артериосклероза с правой стороны сонной артерии, но это никак не могло влиять ни на мышление, ни на поведение, ни на характер — ни в настоящем, ни в прошлом.

## Заключение

Тщательно изучив заново все материалы исследований, мы не обнаружили у генерала Григоренко никаких признаков психических заболеваний. Наши выводы подтверждены исследованиями биометрической лаборатории Института психиатрии штата Нью-Йорк, проводившимися независимо, на материале изучения всех бесед, записанных на видеомагнитофон.

Мы не обнаружили также признаков каких-либо заболеваний в прошлом. В частности, не найдено никаких параноидальных симптомов даже в самой слабой форме.

Наличествующие признаки склеротических изменений не таковы, чтобы иметь хоть какое-то влияние на мыслительные или эмоциональные проявления, на интеллектуальную сторону личности Григоренко и, тем более, на его поведение.

Специальная серия исследований и проверок заключения повторяется Американской ассоциацией психиатров в Чикаго.

Наше обследование Григоренко проводилось с установкой на обнаружение симптомов заболевания. Вместо этого мы нашли человека, который напоминал описанного в советских актах экспертизы столько же, сколько живой человек напоминает карикатуру на него. Все черты его советскими диагностами были деформированы. Там, где они находили навязчивые идеи, — мы увидели стойкость. Где они видели бред, — мы обнаружили здравый смысл. Где они усматривали безрассудство, — мы нашли ясную последовательность. И там, где они диагностировали патологию, — мы встретили душевное здоровье.

## МИХАЙЛО МИХАЙЛОВ

### Югославская трагедия

В то время как о неприглядной истории коммунизма в России напечатаны сотни и даже тысячи книг и исследований, о становлении коммунистической диктатуры в Югославии, о насильственной коллективизации, о югославских лагерях и тюрьмах по многим причинам очень мало известно и на Западе, и на Востоке. Важнейшая причина этому — независимость страны от Советского Союза, явившаяся результатом драматического разрыва Тито со Сталиным в 1948 году, да нынешнее положение Югославии, похожее более на союзничество с западными странами, чем на противоборство.

Верно, что Югославия, то есть югославская коммунистическая партия, впервые в новейшей истории расколола монолитный в те времена коммунистический лагерь и продемонстрировала возможность существования независимого от Кремля коммунистического государства. Вот за это на диктатуру Тито так долго на Западе смотрели сквозь пальцы, и — парадоксально — можно сказать, что были такие годы, с 1948 по 1955, когда правду о Югославии надо было искать в советской прессе. Вообще, когда коммунистические государства обличают друг друга, — обеим сторонам можно доверять, и описание нынешнего Китая в советской прессе намного правдивее, чем статьи в западной, обуреваемой желанием увидеть в Поднебесной Империи признаки серьезной либерализации.

К тому же, находясь в экономической и даже военной зависимости от Запада (в 1951 году Югославия на несколько лет фактически стала членом Североатлантического оборонительного пакта, заключив союз с Грецией и Турцией, в те времена полноправными членами НАТО), югославские коммунисты были вынуждены, в интересах поддержания диктатуры, пойти на либерализацию некоторых сфер жизни. И, несмотря на то, что политическая, организационная, информационная и идеологическая (своеобразный вариант «марксизма-ленинизма») монополия партии и культ личности бессменного вождя остались теми же, что и в других коммунистических странах, в экономической и культурной жизни страны после разрыва со Сталиным можно было видеть югославскую версию нэпа. В 1953 году начался роспуск колхозов (причем насильственная коллективизация проведена была уже после ссоры с Москвой, в 1949 году!), ликвидирован адми-

нистративный план в промышленности и введена некая форма рыночного хозяйства (без частной собственности на средства производства) с более или менее реальным самоуправлением трудящихся в сфере производства и — менее реальным в сфере распределения прибыли. Со своей стороны, даже такое социалистическое рыночное хозяйство выявило большое число безработных, что заставило партию открыть границы на Запад, где ныне работает миллион югославских рабочих, т. е. большая часть рабочей силы страны. Так, полностью монопольно держа в руках все рычаги власти, югославская компартия прослыла более либеральной, чем все другие компартии у власти в однопартийных странах.

Очень часто именно примером Югославии иллюстрируется миф о порочности советского коммунизма, вызванной подпадением его под влияние исконно русских традиций.

Однако рано или поздно всякому мифу приходит конец. Коммунистическая диктатура всюду одинакова, вне зависимости от национальных традиций. [...] Теперь уже можно сказать, что существуют достоверные свидетельства почти обо всех преступлениях югославских коммунистов, за исключением концлагерей на островах в Адриатическом море, где в течение семи лет, с 1949 по 1956, находились в заключении в страшнейших условиях несколько десятков тысяч так называемых коминформовцев, т. е. людей, либо высказавших симпатии к Советскому Союзу (а в Югославии это часто означает — просто к России), либо лишь обвиненных в этом. И хотя их в Югославии и на Западе часто называли «сталинистами», необходимо подчеркнуть, что они не имели ничего общего с советскими сталинцами. Югославским Сталиным ведь был Тито, а не Иосиф Виссарионович. И вот, за семь лет существования этих лагерей в них погиб каждый третий заключенный, процент, не уступающий сталинским лагерям. Выжившие — либо всё еще молчат, либо не находят слушателей в западном мире, в котором их по-прежнему считают «сталинистами», а Тито величают «героем свободы» (слова президента Картера из приветственной речи во время визита Тито в Вашингтон, март 1978). Смеею заверить, что личные свидетельства этих югославских лагерников, которые я от них сам слышал, намного страшнее всего, описанного в солженицынском «ГУЛаге». Надо надеяться, что раньше или позже мировая общественность сможет ознакомиться и с этой лагерной жизнью «антисталинского сталинизма». [...]



## ВИКТОР НЕКИПЕЛОВ

### Сталин на ветровом стекле

А ведь он уже давно, хоть и ненавязчиво, ненароком, мелькает в наших глазах: то в случайном кадре о войне, то на миниатюрном значке в лацкане проводника поезда «Тбилиси—Москва». Говорят, в Грузии портрет Сталина — явление повсеместное, он висит чуть не в каждом доме, в гостиницах, в киосках, в сапожных мастерских.

Ну, пусть в Грузии — он был рожден на той земле, и грузины как-то умудряются увязывать свое национальное величие с именем этого чудовищного тирана.

Но вот замелькал горбоносый профиль со смоляным султанчиком усов и в наших, северных краях... Вот сосед вернулся из Тайшета и привез лакированный овал — фотопортрет в рамке. — «А чё? Все покупали, и я купил! Пусть полежит!»

Это подумать — в Тайшете, через который когда-то серые бушлатные потоки арестантов, тысяча за тысячей, по всем направлениям по указке его текли!.. Портрет сделан на славу: и в рамке, и даже с петелькой готовой — на стену подцепить, сразу видно — не дилетант-одиночка мастерил, а отлаженное производство, поток, массовый подпольный ширпотреб.

Появились и в Москве такие, всех размеров и форм, — то в такси, заместо пружинной дрожащей обезьянки, а то и снаружи, выставленные напоказ на ветровом стекле. И не только на легковушках — на самосвалах, на грузовиках.

Вот и сегодня, на людном среднерусском маршруте, в автобусе «Горький—Москва», встретили мы такой портрет. А в автобусе 50 душ, это уже не в такси, не в каморке какой — в общественном, считай, месте, на обозрение всем. Я смотрю на шофера: молодой, почти мальчик, Сталин таким сегодня — все равно что Тамерлан, историческая абстракция, да и только. Сменщик у него постарше, тридцать с гаком, так ведь и ему, когда Сталин умер, едва ли было больше десяти...

Что же тогда случилось, почему вытеснил шоферских смазливых «гёрлс» этот злодей в мундире генералиссимуса с накладными плечами, с помпезным орденом Победы на богатырской (умеют рисовать вождей!) груди.

Качает ночной автобус, пассажиры примолкли, полумрак, пробегают по стеклам, по плечам, по дрёмным лицам текущие встречные огни. И колеб-

лемый ими, вздрагивает — оживает и подмигивает жутковато, и таит в усах загадочную полуулыбку призрак на ветровом стекле. Я раздумываю: что же это? Случайное поветрие, мода или какой-то новый симптом застарелой, нехорошей болезни общества?

Конечно, возвращение Сталина в нашу жизнь — это в значительной степени требование политической конъюнктуры, т. е. явление, которое могло бы быть санкционировано «верхами». Я не случайно употребляю здесь солагательный оборот: «могло бы быть...»

После развенчания Н. Хрущевым культа личности Сталина в 1956-59 гг. правящая верхушка КПСС очень быстро поняла всю опрометчивость этого решения. Рухнувший Сталин потянул за собою занавесь, обнажая те задворки, которые никак нельзя было обнажать. Сказав «а», нужно было сказать и «б», и «в», и увидеть неизбежный склон к демократизации, и услышать, как мало-помалу затрещала, лишившись какой-то равновесной спицы, вся политическая махина. Очень скоро, фактически еще при нахождении у власти неразумного Хрущева, были резко включены тормозные системы.

Особенно жестко встал вопрос о реабилитации Сталина (т. е. о восстановлении политического авторитета системы в глазах собственного народа и сталинских методов хозяйствования) в первые годы прихода к власти Брежнева. В ту пору (1964-69 гг.) такая реабилитация была реальностью, она едва не произошла. Вспомним все опасения интеллигенции накануне приближавшегося 90-летия со дня рождения Сталина (21. XII. 1969), ее предостережения и протесты. Собственно, в ту пору и зародилось то, что мы зовем в настоящее время «правозащитным (или демократическим) движением», ведь начиналось оно именно как движение антисталинизма, против реабилитации Сталина. К счастью, ожидаемой реабилитации так и не произошло, не засияли вновь портреты «вождя всех времен и народов», не вышли из печати сочинения, все ограничилось лишь свертыванием критики «культа личности» и замолчанием сталинских преступлений.

С тех пор прошло 10 лет. 10 лет углубляющегося хаоса, милитаризации, катастрофического разлада экономики, удорожания стоимости жизни, нехватки основных продуктов питания, роста преступности и пьянства, коррупции и воровства, а главное — неудержимого падения престижа нынешнего руководства в глазах народа, нравственной аннигиляции если не социализма вообще, то того, что им ныне зовется. Ведь сегодня уже мало кто у нас не знает, что «страна развитого социализма» ежегодно закупает у «загнивающей» Америки до 15 млн. тонн зерна, что уровень жизни советского рабочего едва ли не в 10 раз ниже, чем в США, что наше уродливое, нерентабельное хозяйство не разваливается вконец лишь благодаря экономическим подпоркам Запада, благодаря хищническим выкачкам из страны ее сырьевой крови: нефти, газа, леса, золота, пушнины, минеральных руд...

Конечно, нынешнее партийное руководство хотело бы, чтобы народ вдруг вновь стал дисциплинирован, как при Сталине, чтобы он — хоть под гипнозом былой мании пролетарского самовеличия, хоть под страхом Вор-

куты и Колымы — так же хорошо и бескорыстно трудился, подписывался на займы, ликовал у избирательных урн. При этом оно не возражало бы даже, если за спиной у президиумов, на задниках клубных сцен, рядом с Марксом-Энгельсом-Лениным засиял, как встарь, и четвертый, усатый, профиль. То есть сегодняшнее руководство могло бы реабилитировать Сталина. Могло бы в смысле — хотело, но не в смысле — сумело бы. Не сделав этого в 1969 году, оно уже никак не может сделать в 1979-м, пусть к столетию, ибо в стране за эти годы, несмотря на все усилия пропаганды, встало поколение, которое попросту не примет — как не принимает живой организм пересаженную инородную ткань — раскрашенный и гальванизированный муляж.

А как же тогда портрет над баранкой у 20-летнего шофера?

И вот здесь мы сталкиваемся с любопытным явлением. Сегодня Сталин на ветровом стекле — это уже не столько санкция сверху, сколько поправив снизу.

Как ни парадоксально, но это тоже протест, протест против нынешней бесхозяйственности и развала, это как бы тоска по порядку, по лучшей, осмысленной и разумной жизни.

Безусловно, это одновременно и печальное, и дикое явление, ибо, водружая на хоругвь убийцу и тирана, — не ведают эти 20-летние, что творят! Но ведь они и подлинно не знают о всех его преступлениях, они воспитаны на их новом замолчании. Зато они слышали от отцов сказанное порою в сердцах — опять же как реакция на сегодняшнюю несуразную жизнь: — А вот при Сталине больше порядка было!.. — Не крали так!.. — Африку не кормили!.. — Пьянства не было, хоть и водка дешевле стоила!.. — В космос мыльные пузыри на топливе из наших сторублевок не запускали!..

Конечно, в стране еще живы, сильны и еще стоят у государственного кормила так называемые идейные, «любовые» сталинисты. Но все же не они вывешивают сегодня Сталина на ветровом стекле. В большинстве своем это делают стихийно те, молодые и зоркие (хоть часто лишь по поверхности явлений скользит их взор), которые столь своеобразным, отчаянным жестом выражают свой протест против сущего.

Этот бытовой, шоферский «фото-самиздат» — явление совсем иного плана, чем Сталин на государственной киноленте. Каждый портрет Сталина над шоферской баранкой — это, прежде всего, «нет!» портрету Брежнева (а и правда, где вы видели в шоферской кабине портрет Брежнева? Даже Ленина нет!), это — символ, жестокий гротеск, который еще больше подчеркивает всю уродливость нашей сегодняшней жизни, это предупредительный знак, вроде красной стрелки на манометре, который говорит, что дальше так нельзя и пора уже что-то менять.

И я думаю, что когда произойдет, наконец, эта желанная перемена, — она произойдет не в пользу Сталина.



мом» и «империализмом», понимая под таковыми существующие в их странах демократические институты. Вынося тотальный приговор демократии, они провозглашали неведомую утопическую «свободу» по образцу мифологизированного Третьего мира.

Но постепенно «революционный» порыв иссяк: «поднять» народ не удалось! Дискуссии в переполненных аудиториях обнаружили поляризацию мнений и постепенный крах иллюзий. В результате этого краха большинство «остепенилось», ряд бывших лидеров избрали мирные интеллектуальные профессии и мирную политическую работу. Но незначительное меньшинство не успокоилось и, укрепившись в вере в необходимость и благотворность *непосредственного действия*, перешло от утопизма к насилию. Это экстремистское меньшинство, безответственное и невежественное, напичканное плохо переваренными цитатами из классиков марксизма-маоизма-геваризма и т. д. и т. п., нашло выход своим агрессивным наклонностям в насилии. Организовавшись в различные вооруженные подпольные группировки, они начали с «имущественного террора» — с поджогов универсальных магазинов и взрывов зданий, — а кончили захватом заложников и убийствами.

Ныне, по прошествии десятилетия, международный терроризм (своеобразная уродливо-жуткая реализация «Интернационалки») стал грозным знаменем времени, — может быть, «последних времен». Слова *террорист* и *заложник* стали паролем эпохи. Говоря так, мы имеем в виду, конечно, пока еще относительно свободный мир, где юные экстремисты (преимущественно недоучившиеся студенты, богема, деклассированные элементы), вооружившись автоматами и бомбами, решили перейти от «слов» к «делу». Как метко заметил тот же Лакёр, терроризм — *болезнь демократии*: в тоталитарных или хотя бы авторитарных странах не очень-то развернешься. Только за 1975-1977 гг. в западном мире произошло около 4000 похищений, совершенных, в основном, левыми, но иногда и правыми экстремистами, выдвигавшими требования денежного (выкуп) или политического характера. В одной лишь Италии за первую половину 1978 года было зарегистрировано 1487 покушений, в результате которых 23 человека убиты и 318 ранены. При этом становится трудно отличить по «почерку» профессиональных гангстеров от так называемых политических террористов, от тех, кто выдает себя за идейных борцов — во имя класса, нации или всего «прогрессивного человечества». [...]

Какую же цель преследуют все эти террористические организации, — выступающие под анархо-коммунистическими, сепаратистскими или национально-освободительными лозунгами? Всех их объединяет, несмотря на некоторые частные различия, стремление разрушить тот или иной общественно-государственный порядок; посеять страх, панику; путем насилия вынудить тех, кого они считают виновниками своих бед, пойти на уступки. Они постоянно провоцируют демократические правительства, ставя последние перед сложной дилеммой — либо уступить их наглým домога-

тельствам, шантажу, угрозам, насилию, либо дать им соответствующий отпор и не нанести при этом ущерба существующим свободам. В Европе такая дилемма решается соответствующими законодательно-исполнительными органами пока сравнительно успешно, но в таких, например, странах (с куда более слабыми демократическими традициями), как Уругвай или Аргентина, тупамаросы, монтанеросы и иже с ними вызвали своими действиями лишь приход к власти военных диктатур...

Ясно, что без соответствующей финансовой базы террористы не смогли бы действовать с таким размахом. И такую базу им предоставляют «заинтересованные» страны, в основном, коммунистического блока, которые прямо или косвенно, с оглядкой и с опаской (как бы не занести — «эффект бумеранга!» — бактерии терроризма в собственный дом), под видом поддержки национально-освободительной борьбы или под другим соусом помогают тем, кто расшатывает своими действиями устои западного мира. Терроризм сегодняшнего дня стал поистине прибыльной индустрией. По подсчетам специалистов, некоторые террористические группировки располагают капиталом порядка 100-150 млн. долларов в год! Не будь столь обильных «вспрыскиваний», вряд ли был бы неуловимым воспитанник московского университета им. Лумумбы «легендарный» Карлос...

Терроризм наших дней отличается от терроризма, скажем, столетней давности не только несравненно лучшей финансово-технической оснащенностью, но и — прежде всего — *этически*. Ныне нет никакой гарантии, что какой-нибудь новоявленный кондотьер, странствующий из страны в страну и из организации в организацию, выполняя задание своей группы или по собственному почину, не применит в борьбе с «противником» не только портативное ракетное, но и портативное ядерное оружие. Ибо всех этих людей, помимо «революционных» намерений, объединяет поистине дьявольская ненависть к окружающему их миру, абсолютный аморализм, полнейшее презрение к тому, что Швейцер называл «благоговением перед жизнью». Неизвестно, есть ли общая касса и боевой арсенал у нынешнего глобального терроризма, но у него бесспорно есть общие идейно-политические истоки, некий историко-теоретический опыт, который взят им на вооружение.

Столь ли уж глубока нравственная пропасть между «разрушителями старого мира» в прошлом, которые орудовали дедовскими средствами, и нынешними, действующими на базе современной научно-технической революции? Уолтер Лакёр (и не он один) ставит в пример сегодняшним террористам русских народовольцев и некоторых их последователей, которые, по его словам, предпочитали умирать сами, нежели убивать виновных, и были движимы любовью к людям. Терроризм, по его мнению, становится преступлением лишь тогда, когда он направлен против тех, кто сам никого не мучил, не убивал, кто сам по себе — не угнетатель, не палач и не диктатор (а именно таков терроризм сегодня). И все же... — попробуем вернуться к истокам, попробуем по возможности объективно взглянуть на тех, кто некогда в России начал беспощадную террористическую войну с властью.

Поначалу все было как будто мирно... «Ведь русские мальчики как орудут? Иные то есть? Вот, например, здешний воюющий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это же один чёрт выйдет, всё те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время...»<sup>2</sup>

Но вот 4 апреля 1866 года случилось неслыханное — среди бела дня в столице империи неизвестный совершил покушение на жизнь Александра II. Преступник оказался 26-летним дворянином, вольнослушателем Московского университета Дмитрием Каракозовым. Установили также его принадлежность к тайному московскому обществу Николая Ишутина, которое считало себя ветвью бакунинского «Интернационального братства» и ставило конечной целью, согласно докладу следственной комиссии, «*путем революции ниспровергнуть существующий порядок в государстве*». Каракозов был сторонником немедленных насильственных действий, вплоть до царубийства, и действовал на свой страх и риск. Его судили (вместе с другими ишутинцами) и приговорили к повешению... [...]

Психологически неподготовленное к терроризму общество в целом отнеслось к покушению Каракозова резко отрицательно. Действия «фанатика» привели лишь к взрыву репрессий. Были закрыты «Современник» и «Русское слово», приостановили печатанье даже очередных глав «Преступления и наказания», хотя автор недвусмысленно осудил своего героя, «во имя идеи» переступившего через невинную кровь.

Если не считать неудачного повторения каракозовской попытки, предпринятого в следующем году в Париже польским эмигрантом Березовским, террор более чем на десять лет заглох, однако мысль о насильственных формах революционной борьбы давала уже первые ядовитые плоды. В конце 60-х годов в одной из неподписанных бакунинских брошюр периода женеvской эмиграции — «Постановка революционного вопроса» — ставка делалась, в частности, на... разбойный мир: «*Разбой — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Он был со времени основания московского государства отчаянным протестом народа против гнусного общественного порядка. <...> Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного и гражданского строя, установленного государством...*»

В марте 1869 года в Женеву прибывает молодой Сергей Нечаев. Выдавая себя за представителя мифического революционного комитета и беглого узника Петропавловки, он приводит в восторг Бакунина и Огарева. И,

<sup>2</sup> «Братья Карамазовы». Ч. 2, кн. 5, гл. III.

хотя нечаевская программа «казарменного коммунизма» противоречила бакунинскому анархизму, хотя Нечаев лишь упростил, извратил и приспособил к собственным нуждам мысли Бакунина о роли «разбойной» стихии в революции, Бакунин оказал Нечаеву (и без того полному разрушительных эмоций) дурную услугу. В брошюре «Начало революции» (по мнению Н. Пирумовой, автора книги «Бакунин», М., 1970, эта брошюра написана Нечаевым) доминируют две идеи: террор и допустимость любых средств для достижения революционной цели. *«Дела, инициативу которых положил Каракозов, Березовский и проч., должны перейти, постоянно учащаясь и увеличиваясь, в деяния коллективных масс, вроде деяний товарищей шиллерова Карла Моора с исключением только его идеализма, который мешал действовать как следует, с заменой его суровой, холодной, беспощадной последовательностью». «Данное поколение должно начать настоящую революцию,.. должно разрушить всё существующее сплеча, без разбора, с единым соображением “скорее и больше”». «Яд, нож, петля и т. п.!. Революция всё равно освящает в этой борьбе. <...> Это назовут терроризмом! <...> Пусть! Нам все равно!»* (подчеркнуто мною. — В. Ч.).

В знаменитом нечаевском «Катехизисе революционера», наряду с кредо революционного аморализма (*«Нравственно всё то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно всё, что мешает ему»*), предлагается и программа тотального террора: *«Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так, чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих».*

До поры до времени призывы Нечаева и якобинско-бланкистского ткачевского «Набата» (основанного в 1875 году в Женеве) *«к насильственному нападению на существующую политическую власть с целью захвата власти в свои руки»* путем создания хорошо законспирированной иерархической организации не находили широкого отклика в революционной среде. «Земля и Воля» строит расчеты на массовой агитации и в 1876–1879 гг. предпринимает «хождение в народ» (провал его укрепит террористические тенденции внутри народничества).

31 марта 1878 года петербургский окружной суд присяжных, заседавший под председательством А. Ф. Кони, оправдал Веру Засулич, выстрелом в упор ранившую градоначальника Ф. Ф. Трепова. Засулич мстила Трепову за его приказ высесть розгами политзаключенного Боголепова, который не снял шапку перед градоначальником при посещении им Дома предварительного заключения. По собственному признанию Засулич, она понимала, как тяжело поднять руку на человека, но была готова на этот шаг, чтобы даже ценой собственной жизни привлечь внимание к произволу.

Этот оправдательный приговор стал для революционеров как бы пробным камнем, проверкой отношения общества к подобным «выстрелам». Не случайно идеолог народничества Н. К. Михайловский назвал это событие началом политической борьбы в России. [...]



Почти одновременно с Засулич к мысли о необходимости иных, «активных» политических форм борьбы приходят «южане» — Г. Попко, В. Осинский, Д. Лизогуб. По их почину в недрах «Земли и Воли» возникает Исполнительный комитет и намечается террористическое направление. Его сторонники и организовали вскоре убийство шефа жандармов Мезенцева. Исполнителем назначили Сергея Кравчинского. 16 августа 1878 года на Михайловской площади в Петербурге Кравчинский смертельно ранил Мезенцева ударом кинжала в грудь и скрылся. В своей апологетической книге «Подпольная Россия» Степняк-Кравчинский писал: *«Нечего было и думать о взятии приступом твердыни царизма,.. нужно было обойти врага с тылу, схватиться лицом к лицу позади его неприступных позиций, где не помогли бы ему все его неприступные легионы. Так возник терроризм».*

Весною следующего, 1879 года А. Соловьев предложил «Земле и Воле» собственноручно убить Александра II, причем *искупить грех цареубийства* ценою собственной жизни. По свидетельству В. Фигнер, после бурных споров руководящие деятели организации решили отказать в помощи покушению, *«но индивидуально отдельные члены могли оказать ее в той мере, в какой найдут нужной».* Соловьевское покушение, которому суждено было окончательно изменить политико-психологическую ориентацию землевольцев, было предпринято 2 апреля 1879 года и потерпело неудачу. Соловьев всю вину взял на себя и, подобно Каракозову, был казнен... В поведении Соловьева уже проявилась присущая людям его типа готовность *заплатить жизнью за смерть своей жертвы.* Недаром многие из них сравнивали свою судьбу с судьбою христианских мучеников, а казенный «бунтарь» И. Ковальский даже писал, что их борьба *«выше, лучше, святее».*

Обескровленная арестами и казнями, «Земля и Воля» была восстановлена упорными усилиями А. Михайлова, но после выстрела Соловьева действие центробежных идеологических сил логически вело организацию к расколу. Принципиально пересматривалась проблема методов и целей борьбы, отношения к государственной власти, роли политики в революционном движении. Теперь террор (по принципу «или-или») представлялся наиболее «нетерпеливым» одним из самых действенных средств войны с режимом — средством, которое якобы стимулирует борьбу, устрашая одних, воспитывая силою примера других. Как сказал бы Иван Карамазов, им надобно было немедленного «возмездия», *«здесь уже, на земле»*, и чтобы они сами его увидели... Подобно Шигалеву, они словно ждали *«разрушения мира, и не то что бы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого».*

Раскол, назревавший в недрах «Земли и Воли», окончательно оформился после Липецкого и Воронежского съездов (июнь 1879) и привел вскоре к созданию двух самостоятельных организаций — «Народной Воли», стоявшей за активные (террористические) действия, и «Черного Передела», защищавшего мирные методы. После ряда тщетных попыток, 1 марта 1881

года народовольцы бомбой, брошенной на Екатерининском канале в Петербурге, убили Александра II — накануне утверждения им так называемой лорисмеликовской конституции. Первого, неудачливого метальщика — Рысакова — схватили, второй — Гриневицкий — погиб при взрыве вместе со своей жертвой.

Непосредственных участников и зачинщиков покушения осудили на смерть. *«3-го апреля между 9 и 10 часами утра на Семеновском плацу в Петербурге, — извещалось в прокламации Исполнительного комитета “Народной Воли”, — приняли мученический венец социалисты: крестьянин Андрей Желябов, дворянка Софья Перовская, сын священника Николай Кибальчич, крестьянин Тимофей Михайлов и мещанин Николай Рысаков».* Интересно отметить, что Желябов, арестованный из-за предательства еще до покушения, потребовал накануне суда приобщить себя к делу 1 марта: *«...если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности».* И в постскриптуме: *«...требую для себя справедливости»,* т. е. смерти на эшафоте. На суде по делу первоартовцев Желябов заявил: *«...истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и, если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера».* Перед казнью он поцеловал крест. Но, по глубокому замечанию Бердяева («Духи русской революции»), *«сходство революционной святости с христианской есть обманчивое сходство антихриста с Христом»* (подмеченное еще Достоевским!).

Бессмысленное злодейское убийство Александра II привело к торжеству очередных реформ и к усилению реакции и было (по выражению Бердяева) «концом и срывом» самих народовольцев. И конец этот был очень скверным. Издавна разъедавший организацию — по самой ее централизованно-конспиративной природе — рак провокации, на этот раз в лице выдающегося провокатора Сергея Дегаева (действовавшего вкупе с начальником петербургской секретной полиции Судейкиным), доконал «Народную Волю». Убийство Судейкина по постановлению Исполнительного комитета (руками самого Дегаева и его подручных) 16 декабря 1883 года и предшествовавшее ему убийство военного прокурора Стрельникова в Одессе (18 марта 1882 года) были последними громкими террористическими акциями народовольцев. [...]

Вплоть до начала нового, XX века о «большом» терроре было не слышно, пока он вновь не возродился в деятельности партии социалистов-революционеров, считавшей себя идейно-политической наследницей «Народной Воли».

14 февраля 1901 года бывший студент с.-р. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Боголепова, а осенью того же года с.-р. Григорий Гершуни, с благословения Е. Брешко-Брешковской, организовал особую боевую группу внутри партии с единственной целью террора, в которм «бабушка русской революции» видела пример *«великой революционно-*

гражданской доблести». По согласованию с ЦК партии, группа после первого же террористического акта должна была быть названа Боевой организацией и получить фактическую независимость в проведении так называемого *центрального* террора.

Первой жертвой был намечен министр внутренних дел Сипягин. 2 апреля 1902 года молодой социалист Степан Балмашев, переодетый в адъютантскую форму, явился в Марининский дворец и, встретив Сипягина, дважды выстрелил в него. В прокламации, озаглавленной «Боевая организация Партии Социалистов-Революционеров» (с подзаголовком «По делам вашим воздастся вам»), заявлялось: «...*незачем объяснять, почему казнен Сипягин. Его преступления слишком известны, его жизнь слишком всеми проклиналась, его смерть слишком всеми приветствуется*». Такое выступление от имени «всех» звучало по меньшей мере нелогично, поскольку несколькими строчками выше авторы прокламации «скромно» именовали себя сознательным меньшинством: «...*мы, сознательное меньшинство, считаем не только своим правом, но и своей священной обязанностью, несмотря на все отвращение, внушаемое нам такими способами борьбы, — на насилие отвечать насилием, за проливаемую народную кровь — платить кровью его угнетателей...*». Авторы требовали немедленного прекращения производства политических дел, освобождения политзаключенных, «отмены всех исключительных законов и правил национальных и сословных ограничений и изъятий, свободы собраний, печати и слова», а также созыва всенародного Земского Собора... Степана Балмашева, отказавшегося просить о помиловании, казнили 3 мая того же года в Шлиссельбурге. Террор стал программным пунктом партии.

Вскоре в статье «Террористический элемент в нашей программе» можно было прочитать: «*Мы — за применение в целом ряде случаев террористических средств. <...> Террористические удары должны быть делом организованным. Они должны быть поддержаны партией, регулирующей их применение и берущей на себя нравственную ответственность за них* (подчеркнуто мною. — В. Ч.). *Это сообщит и самим героям-борцам то необходимое моральное воздействие, которое невозможно при действиях на свой личный риск и страх, без уверенности в моральной санкции и поддержке партии*». Неदारом Великий Инквизитор у Достоевского говорил, что человек ничем так не тяготится, как собственной свободой, свободой воли, свободой выбора!..

Идейно подчиненная партии, Боевая организация была независима от нее организационно: она получала от ЦК общие директивы относительно выбора места, времени и объекта очередного нападения, — в остальном она была автономна, строго засекречена и имела собственную кассу.

После убийства Сипягина Гершуни скрылся из Петербурга и стал готовить покушение на харьковского губернатора князя Оболенского, «осужденного» за жестокое обращение с голодающими крестьянами. 29 июля 1902 года рабочий Фома Качура стрелял в Оболенского, но промахнулся. После некоторого затишья, 6 мая 1903 года, член БО слесарь Егор Дулебов застрелил уфимского губернатора Богдановича. В том же месяце, после ареста Г. Гершуни, главой

Боевой организации стал Е. Азеф, который обновил и состав так называемых боевиков, и технику террора: на смену револьверу пришел динамит. Осенью 1903 года, облеченный полным доверием (и будучи, как выяснилось позже, негласным сотрудником департамента полиции), Азеф готовит убийство министра внутренних дел Плеве. 15 июля 1904 года боевик Егор Сазонов бросает бомбу в карету Плеве, убивает министра и сам тяжело ранен взрывом. Приговоренный к каторжным работам, он покончил с собой на каторге.

После убийства Плеве следует знаменитое покушение на вел. кн. Сергея Александровича, когда И. Каляев не метнул приготовленную бомбу, увидев, что великий князь едет в карете с женой и племянниками. Только двумя днями позже он подстерег, наконец, великого князя в карете одного и с расстояния четырех шагов бросил бомбу. Это было 4 февраля 1905 года.

Готовились и другие акции «центрального» террора (покушения на Николая II и на П. А. Столыпина), но они не были осуществлены. [...]

1908 год — год разоблачения В. Бурцевым Азефа — стал началом конца Боевой организации. Боевиков арестовывали, их акции лопались одна за другой. Так, 24 сентября провалилось намеченное нападение на «центр центров»: в этот день, — во время смотра Николаем II крейсера «Рюрик», машинист Авдеев и вестовой Каптилович должны были убить царя, но у них не поднялась рука... Через два года новый руководитель Боевой организации Б. Савинков вновь пытался организовать покушение на императора, но в обстановке усилившейся слежки и общей деморализации, а также из-за тактических разногласий с ЦК он решил распустить летучий отряд и отправился за границу.

Бывший член Боевой организации В. Зензинов писал о боевиках: *«Да, люди, бравшиеся за страшное оружие убийства — кинжал, револьвер, динамит, — были в русской революции не только чистой воды романтиками, но и людьми наибольшей моральной чуткости! Они шли на убийство человека лишь после тяжелой и долгой внутренней душевной борьбы, лишь после того, как сами приходили к убеждению, что все мирные средства исчерпаны и бесполезны». И он же: «В глазах русских террористов политическое убийство было последним и высшим актом человеческой активности во имя общего блага, актом справедливости прежде всего — и морально оно в глазах террориста могло быть оправдано до некоторой степени — только до некоторой степени! — лишь тем, что террорист отдавал при этом собственную жизнь».*

Да, были некоторые судьбы, подтверждающие подобную оценку. Не случайно Ивана Каляева посетила в Пятницком арестном доме вдова убитого, великая княгиня Елизавета Федоровна, которая молилась вместе с ним и тщательно уговаривала подать прошение о помиловании. Уже на следующий год вышел в свет «Конь бледный» В. Ропшина (Ропшин — псевдоним Б. Савинкова), написанный на материале покушения на великого князя, с фигурой Ивана Каляева в центре.

Диалог между Ваней (Каляевым) и героем-рассказчиком Жоржем на тему «не убий», составляющий идейную сердцевину книги, по этической

напряженности один из самых захватывающих в русской литературе после Достоевского. «Убить всегда можно», — утверждает Жорж, на что Ваня с волнением возражает: «Нет, не всегда. Нет, убить — тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу» (то есть обречь ее на вечную погибель).

И еще:

«— Ваня, Христос сказал: не убий.

— Знаю. Ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи. <...> Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему, социализм — рай на земле? Ну, а за любовь, во имя любви, кто-нибудь на костре горел? Слушай, я верю: вот идет революция крестьянская, христианская, Христова. Вот идет революция во имя Бога, во имя любви. <...> Маловеры мы и слабы, как дети, и поэтому поднимаем меч. Не от силы своей поднимаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, они будут сильны. Но раньше, чем придут, мы погибнем...»

Терроризм — это довод слабых! — таково, по сути, важнейшее признание в устах террориста, свидетельство бесплодности данного движения, аргумент тупика.

Вопрос о том, можно ли противиться злу насилием, обращенный и к религиозному, и к атеистическому сознанию, — вопрос, от правильного решения которого зависит во многом будущее человечества.

О том, как на эту проблему смотрели сами террористы, мы уже вкратце упоминали. Индивидуальный террор они считали вынужденным. В своем заявлении (10 сентября 1881 г.) Исполнительный Комитет «Народной Воли» резко осудил убийство американского президента Гарфильда, подчеркнув, что в такой свободной стране, как США, «политическое убийство, как средство борьбы — есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своею задачею. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны, и насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия». Перед народовольцами как бы не возникало вопроса, кто и на каком основании, руководствуясь какими критериями, может присвоить себе право самосуда.

«Мы воюем не с личностью, а с принципом самодержавия, много раз заявляли народовольцы <...> Вот почему Маркс, говоря о развитии террористической борьбы в России, подчеркивал, что **морализация в таком случае неуместна, так же как при землетрясении**» (подчеркнуто мною. — В. Ч.), — пишет в своей книге «Героический период революционного народничества» М. Г. Седов. В таком же духе размышляет, готовясь к царубийству, и герой романа С. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» (1889): «Нравственное право и справедливость замысливаемого не подлежали для него никакому сомнению», — говорит о нем автор.

Но был и есть иной — не политический, а метафизический — взгляд на проблему, сводимый к толстовской формуле «непротивления злу насилием». По словам Л. Толстого, для которого насилие было абсолютным злом,

откуда бы оно ни исходило — «сверху» или «снизу», *«одно из главных приобретений человечества — невозможность насилеием и вообще убийством достигнуть своего совокупного блага»* («О борьбе со злом. Письмо к революционеру»). *«Доводы ваши сводятся к тому, — читаем мы в этом письме, — что человек, во имя любви к людям, может и должен убивать людей, потому что есть какие-то для меня таинственные или самые непонятные рассуждения, во имя которых люди всегда и убивали друг друга; те самые, по которым Каиафа нашел, что выгоднее убить одного Христа, чем погубить целый народ»*. И еще: *«...как только правительства или революционеры хотят оправдать такую деятельность (противодействие насилию и убийству насилием и убийством. — В. Ч.) разумными основаниями, тогда является ужасающая бессмыслица, и необходимо нагромождение софизмов, чтобы не видна была бессмыслица такой попытки»*. *«Нельзя огнем тушить огонь, водой сушить воду, злом уничтожать зло»*, — вновь и вновь повторяет Толстой («О непротивлении злу злом»).

Нынешние западные сторонники насильственных форм политической борьбы претворяют в жизнь теории своих учителей, над сознанием которых тяготеют стереотипы: «Парижская коммуна, русская революция, китайская революция». И, говоря о былом российском терроризме — терроризме без заложников, с «правилами», «границами» и «мотивами», мы, при всех скидках на историческую обстановку и общий более высокий духовный потенциал того времени, не станем утверждать, что в высшем смысле тогдашний терроризм был лучше теперешнего. Нет «плохого» и «хорошего» терроризма... [...]

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что нынешние российские оппозиционеры в целом решительно выступают против террористических форм политической борьбы: достаточно напомнить хотя бы о неоднократных заявлениях на этот счет — по разному поводу — академика Сахарова и некоторых других видных инакомыслящих.

Между тем, нравственно-психологическая установка на ненасилие — отнюдь, и это следует подчеркнуть, не свидетельство пассивности или покорности, о чем в свое время неустанно говорил Ганди, проповедуя ненасильственные несотрудничество и неповиновение. *«Ненасилие в действии, — писал он в “Доктрине меча”, — означает сознательное страдание. Это не есть покорное подчинение воле злодея, это есть противопоставление всех духовных сил воле тирана* (подчеркнуто мною. — В. Ч.). Руководствуясь этим законом нашего бытия, один человек может бросить вызов всей мощи незаконно существующей империи и тем самым спасти свою честь, свою религию и свою душу». И, может быть, в том, что именно в России, впервые прошедшей через жесточайший террор «снизу» и попавшей под пресс невиданного террора «сверху», с каждым днем множится число людей, противопоставляющих тотальному насилию лишь силу своего духа, — может быть, именно в этом высший пример для истинных поборников справедливости во всем мире, для всех тех, кто стремится к подлинной свободе.

## КИРИЛЛ ХЕНКИН

### Русские пришли!

Главы из книги<sup>1</sup>

[...] На определенном уровне политико-бюрократической зрелости облик советского руководителя приходит в соответствие с неписаными нормами, приобретает законченные и неповторимые черты. Тусклый взгляд, торжественно-непроницаемое выражение ожиревшего и ухоженного лица, отмеченное неизгладимой печатью самоуверенного бескультурья. А речи! Поколения помощников и референтов писали и переписывали эти обкатанные, укатанные и раскатанные до клоповей плоскости фразы, которые очередной вождь бубнит, чуть не по складам, в микрофон.

Разителен контраст с государственными деятелями Запада. Стройные, тренированные тела, тонкие, подчас даже отмеченные печатью духовности лица, сочиненные эрудированными помощниками выступления.

Но в сложной международной игре свиноподобные существа из Москвы почему-то что ни день обыгрывают своих партнеров. Что же это за особый дар советских руководителей? [...]

Величайшей, если не единственной, победой советского строя мне представляется нахождение некоей формулы химически чистого *инстинкта власти*, по отношению к которому интеллект, как и техника управления государством, играют подчиненную роль.

Этот особый инстинкт может не всегда совпадать с оценками разума или даже внешне убедительного политического прагматизма, но он никогда не обманывает. Руководитель, утерявший этот инстинкт, вылетает тотчас. Хрущев тому пример.

Советское руководство вредных для себя решений не принимает. Я почти готов сказать, что оно органически неспособно такие решения принять. Вряд ли стоит думать, что проведение этих решений в жизнь обязательно будет поручено глупцам. [...]

---

<sup>1</sup> О т р е д а к ц и и — 1980: В книге «Охотник вверх ногами» (выходящей в издательстве «Посев») автор частично затрагивает проблему трех русских эмиграций. Этой проблеме он целиком посвятил вторую книгу, главы из которой мы печатаем в сокращенном виде.

\* \* \*

Генерал Май-Маевский, один из руководителей Добровольческой армии, от чарки не зарекался. Его быстрый, оборотистый, энергичный адъютант капитан Макаров все дела штаба вел сам, зорко следя за тем, чтобы шеф не просыхал. В 1919 году, после трудно объяснимых провалов под Орлом и Харьковом, соратники генерала учуяли неладное. Но капитан Макаров успел скрыться...

Не все, однако, были разоблачены, не все бежали. Да что там — в том же 1919-м, внезапно уверовав в грядущую победу белого оружия, перешла с территории, занятой красными, известная исполнительница русских народных песен Надежда Плевицкая, будущая жена командира Корниловского полка генерала Скоблина. За соучастие с ним в похищении председателя Общевоинского Союза генерала Миллера (1938 г.) французский суд приговорит ее к двадцати годам каторги как советскую шпионку.

В довоенном Париже я знал лично двух бывших красных командиров, перешедших к белым в 1920 и 1921 годах. Да-да, и они тоже...

Все эти люди ушли с Белой Армией, рассеялись по белу свету, включились в эмигрантскую общественную и политическую жизнь.

Но ежели на то пошло, так когда в 1921 году был создан Иностранский Отдел ЧК и его начальник старый большевик Меир Трилиссер принялся за разработку белой эмиграции, то опирался он, надо полагать, не только на опыт Гражданской войны и агентуру, засланную в ряды Белой Армии. Он располагал еще и архивами царской охраны.

\* \* \*

Первая эмиграция...

С 15 по 23 ноября 1920 года прибывали на Босфор суда с частями Добровольческой армии с обозом и беженцами...

Так называемая белогвардейская эмиграция долго жила на чужбине идеалами, безоглядным патриотизмом. Искали ответ на мучительный вопрос: отчего погибла Россия? Россия монархическая, святая, православная. Кто виноват?

Таяла надежда вернуться в Россию, с которой были связаны все помыслы, приедался суррогат знакомого быта в виде торгующей русскими продуктами лавки, периодических балов с вещевой лотереей, встреч Нового года, вечеринок землячеств и однополчан или просто попоек.

Росла неприязнь к надменным и корыстным аборигенам, не понимавшим русской души и желавшим подчеркнуть свое превосходство. Да где им! Умом Россию не понять!..

Страдай тут от кровососов: от владельца завода, от хозяина гостиницы, которому должен за комнату, от владельца лавочки, где исчерпан кредит. Что за люди — ты повесишься, а они веревку распродадут по кусочкам! Что и говорить: царство чистогана. Мелькала мысль: там, на родине всех трудящихся, с этим покончено!



И бывший поручик уже свысока смотрел на французских товарищей по работе. Они еще только мечтают, а «у нас» уже всё осуществили!

Кто-то из его окружения подсказывал сходить в Союз Возвращения на Родину, на улице Бюси, двенадцать.

Там поручика называли «товарищ», звали на просмотр советского фильма, на бал по случаю Седьмого ноября.

Размахивая толстым портфелем, пробегал в свой кабинет секретарь Союза Вася Ковалев. Свой в доску, рубаха-парень (хотя такой же, как все, эмигрант); тряс руку: «А, новый товарищ! Милости просим. Очень рад, очень рад!» Обходительно беседовал похожий на посла СССР Потемкина товарищ Ларин. Слегка в стороне, не втягиваясь в общую суету, мелькали руководители русской группы французского профсоюза шоферов Тверитинов и Лиддле. Не смешиваясь с толпой, прошмыгивал в задние комнаты Сергей Эфрон.

Поручика звали в кружок хорового пения под началом бывшего артиллериста Глиноедского (будет убит в Испании) или в драмкружок под руководством бывшей актрисы Елизаветы Алексеевны Хенкиной-Нелидовой...

Позже кто-то попросит о мелкой услуге: распространить на заводе или среди соседей билеты на бал. Потом нужна будет справка о ком-то из окружавших. Потом появится Сергей Яковлевич Эфрон...

В Париже я жил далеко от этой среды, пропадал на Монпарнасе — благо, заработков отца хватало на безбедную и бездельную жизнь. Этих людей я узнал в Испании.



Сухой, подтянутый, высокий, усики щеточкой, пробор в ниточку, в каждом жесте и слове — белый офицер из советского фильма о Гражданской войне. Таким выглядел мой обычный собеседник капитан Беневоли, поповский сын Беневоленский.

— Офицером, — говорил он, — я был три года. А рабочим всю сознательную жизнь.

Подобные слова я слышал и раньше: «Сколько времени я был поручиком, подпоручиком, прапорщиком? А на заводе уже работаю десять лет».

Риторическая попытка марксистского объяснения случившегося. Стремление на собственной судьбе показать правильность тезиса: бытие определяет сознание.

Какое сознание, какое бытие?

Не помню уже, к какой политической группировке Беневоли примкнул в эмиграции. Но эта организация имела связи внутри России. Очередной «Трест». Оттуда приезжали эмиссары, туда ездили представители.

Меня паспорта, соблюдая правила строгой конспирации при переезде из одной европейской страны в другую, он добрался до советской границы. Надежные люди перевели его в Россию и снабдили фальшивыми документами.

Политические друзья передавали Беневоли с рук на руки, перевозили его из города в город, из деревни в деревню, давали ночлег, кормили, ежеминутно рискуя головой. Это были бесстрашные борцы. В задушевных беседах они обсуждали с эмигрантом судьбы их родины.

Да, говорили друзья Беневоли, мы остаемся верны нашим идеалам, мы будем продолжать борьбу, но, говоря откровенно, как на духу, мы должны признать, что морально и политически мы уже потерпели поражение. Мы останемся рядом с вами и будем продолжать наше общее дело, но мы не имеем права скрывать от вас, что народ, в частности крестьянство России, идет за большевиками. Народ принял эту власть без оговорок, без оглядки. Ведь большевики осуществили его чаяния.

Беневоли вернулся из России потрясенный и смятенный. Значит, народ, который он хочет спасти от большевиков, идет на самом деле за большевиками! Значит, недовольных в России нет, есть лишь брюзжащие злопыхатели — интеллигенты, ретрограды и фанатики, продолжающие борьбу из тупого и злобного упрямства.

Он решил порвать с организацией, которая посылала его в Россию, и пошел на улицу Бюси, двенадцать, в Союз возвращения на родину. Там его встретил старый знакомый, бывший евразиец Сергей Яковлевич Эфрон...

Поразительно, что, когда он мне все это рассказывал, Беневоли уже давно знал, что мифическая организация, которая возила его по России, была создана ГПУ. Он знал, что люди, с которыми он вел задушевные беседы, были советские агенты, что сам он был объектом «разработки» — короче, что его разыграли и обманули. Эфрон давно сам все это ему подробно объяснял. И все же он верил.

Во что? Верил, что люди, с которыми он встречался, лишь объяснили ему то, что было на самом деле. Он верил, что вся эта затея имела целью его, Беневоли, не обмануть, а убедить. А любимое им российское крестьянство действительно живет привольно и счастливо в колхозах. И не было в России никакого голода. Ведь голод не скроешь!

Эфрон уговорил Беневоленского не бросать организацию, в которой тот состоял, а «освещать» ее изнутри. Беневоли делал это много лет и с трудом умолял Эфрона отпустить его обратно в Россию. Через Испанию. Уговорил!

Он никому не сказал, что уезжает. Только накануне отъезда не стерпел. Старому другу, чьих убеждений он давно не разделял, но к которому был лично привязан, он сказал по секрету, что едет в Испанию искупать свою вину перед родиной.

Старый друг обнял его и утешил, сказав, что сам давно работает на ГПУ и будет дальше освещать изнутри их общую антисоветскую организацию.

После войны в Испании уехавший среди последних Беневоли был посажен французскими властями в лагерь. Вместе с этим лагерем его перевели в Алжир. Оттуда, когда в Северную Африку пришли американцы, советская репатриационная комиссия разрешила Беневоли уехать в Россию. Его мечта сбылась.



Я не вижу серьезных причин, мешающих властям на этом уже этапе пресечь стремление уехать. В советских условиях вовсе не нужно объяснять, откуда ваше намерение стало известно властям. Если бы человека, запросившего вызов, приглашали «куда следует» и сразу говорили, что он никуда не уедет, девяносто девять процентов смельчаков отказались бы от своей затеи.

Этого почти никогда не происходило.

Наступает, однако, момент, когда получение вызова становится известным уже официально. Тяжелый маховик полицейской машины медленно приходит в движение. В этот момент, полагаю, определяется (если оно не определено заранее) общее отношение властей к вашему намерению покинуть родину.

С чувством совершаемого подвига и отчаянного противостояния тоталитаризму вы идете в ОВИР. Приди вам в голову мысль, что власти уже давно решили избавиться, по меньшей мере, от полумиллиона евреев и что вас выпихнут не мытьем, так катаньем, вы бы не умирали от страха и вообще задумались бы над тем, что с вами происходит. Но вся ваша прошлая, унылая, серая, бездарная жизнь приучила вас смотреть на выезд за границу как на спасительное чудо и величайшую привилегию. И вы ужасно боитесь спугнуть улыбнувшееся счастье, упустить его.

Те же — их ничтожное меньшинство, — кто понял конъюнктуру, торгуются, как на базаре, и уезжают, добившись для себя различных выгод, часто в виде более или менее шумных и эффектных обстоятельств отъезда.

А вы просто хотите уехать, вам в голову не может прийти, что ваше желание совпадает с желанием властей. И вы не замечаете, что инспекторша ОВИРа, принимающая от вас документы, равнодушно просматривает кропотливо составленную вами бумажку, где так убедительно описано ваше родство с проживающей в Тель-Авиве тетей... Боже, только бы не забыть, как ее зовут!

Но инспектору ОВИРа глубоко наплевать на степень вашего родства. Ведь одно из двух: либо вас отпустят, и тогда вы можете писать, что вам угодно, быть стопроцентным русским и объявлять себя братом президента Израиля. Или вас решено не пускать, и тогда вы не уедете и к родной матери. К тому же, ОВИР все равно ничего не решает.

Но вот все необходимые по существующим правилам документы собраны. Вы отдаете в ОВИР заявление, характеристику с места работы, справку с места жительства, справку из военкомата, вызов, квитанцию из банка об уплате первого взноса за визу.

Что происходит тогда?

Происходит следующее.

В ОВИРе ваше заявление попадает к канцелярию, которая передает его начальнику данного отделения. Тот накладывает резолюцию, после чего заявление со всеми сопровождающими его документами передается оперативному сотруднику, который и начинает составлять собственно выездное ваше дело.

На вас заводится ДОПР. Что это? Это Дело Оперативной Проверки. Как говорится, в России дело начать, нужна бумага и печать.

Оперативный работник начинает соответствующее оформление ДОПР. Это означает, что дело должно быть поставлено на регистрационный учет, его должен утвердить сначала непосредственный начальник оперативно-го работника и провести через утверждение всеми инстанциями: то есть, вплоть до начальника управления или заместителя министра МВД. Когда поставлена последняя подпись, начинается процесс оперативной проверки. Напомню: по линии МВД.

Во-первых, проверяется через так называемый первый спецотдел или отдел агентурного учета, не принадлежит ли данное лицо к кадрам МВД, к общей или специальной его агентуре. Проверяется также возможная судимость или связь с другими людьми, когда-либо привлекавшими внимание органов внутренних дел.

Параллельно то же самое продлевается в отношении ваших ближайших родственников. Если подает вся семья, это несколько упрощает дело.

Пока ничего особенного. В очень многих странах получение заграничного паспорта и выезд за границу связаны с проверкой судимости и наличия или отсутствия заведенного на вас дела в полиции. Уезжая из Израиля, я тоже получал справку в полиции о том, что за мной не числится уголовных преступлений и я не убегаю от суда...

Но в Израиле речь идет о простой проверке полицейской картотеки, и если вы чисты перед законом, то получаете нужную справку и соответственно паспорт. В России все это только начало.

Когда проведена такого рода первая проверка, на вас делается «агентурно-оперативная установка». Это значит, что сведения о вас, а также о ваших ближайших родственниках собирают уже путем опроса соседей, друзей, сослуживцев. Разумеется, в секретном порядке.

Все это шаблон, минимум проверки, если ваш случай абсолютно ясен, не вызывает никаких сомнений.

В случае неясностей заводится новое дело. Это так называемый ДОПР или ДОАР, то есть Дело оперативной разработки или оперативно-агентурной разработки. Тут уже вам уделяется особое внимание. Вербуются агентура из вашего ближайшего окружения или используются уже существующие около вас агенты. За вами могут установить наружное наблюдение и провести так называемые литерные мероприятия, как то: подключить к прослушиванию телефон, перлюстрировать корреспонденцию и т. п.

Наконец материалы собраны. О вас известно как будто всё. Соответствующий оперативный работник суммирует полученные сведения, выносит соответствующее определение и закрывает дело. Конеч?

Ничего подобного. Оперативный работник дает заключение, и дело теперь идет на проверку в выездной отдел или отделение КГБ в республиках. Ведь до сих пор речь шла лишь о Министерстве внутренних дел.

Теперь шутки кончены! Всё всерьез!

Сначала, как и в первый раз, проверяют, не принадлежит ли человек к кадрам или агентуре. Только что не МВД, а КГБ. Проверяют, не принадлежит или не принадлежал ли он каким-либо образом к армейским органам безопасности. Теперь выяснят, нет ли у вас родственников за границей, не связаны ли вы как-нибудь с иностранцами, не переписываетесь ли с кем, проживающим вне России. И вопрос судимости проверят по-другому. Вы, к примеру, могли быть под судом и даже сидели когда-то в тюрьме. Но к моменту проверки судимость с вас по каким-либо причинам снята. Или вас судил когда-нибудь военный трибунал, или вы были осуждены по политическому делу, или же вас судило Особое совещание.

В архивах МВД все это не оставило следов, как нет там следов и ваших прегрешений политического порядка: встречи с иностранцами, переписка с заграницей, наличие родственников, живущих вне пределов родного отечества. А в архивах КГБ это имеется во всех подробностях.

Теперь, в случае надобности, ДОР или ДОАР заводит на вас уже КГБ. То есть за вами следят его филеры, с вами ведут задушевные беседы его агенты, его техника подключается к вашему телефону, его работники фотографируют вас на улице, и т. п.

Если в годы войны вы не были младенцем, то на вас еще пойдет запрос в Главный архив КГБ в Новосибирске. Там хранятся дела всех проходивших или осужденных по так называемым государственным или военным преступлениям. Например, таким страшным, как нахождение на оккупированной противником территории или участие в партизанском движении.

Как будто все? Ан нет. Вдруг что проглядели! Поэтому собранные данные рассылаются сотрудникам выездного отдела на специальном бланке. Это на тот случай, если кто-либо из них имеет на вас какие-нибудь дополнительные сведения. Если таковых не имеется, то получивший такой циркуляр сотрудник пишет в соответствующей графе «сведений не имею» и ставит свою подпись.

Всё? Разумеется, нет! Теперь дело закрывается постановлением оперуполномоченного КГБ и идет на утверждение руководства выездного отдела или Второго управления отделения ГБ.

И только после этого... Нет, вам визу не дают. Но ваше дело, наконец, отправляется в выездную комиссию ЦК партии, которая и решит окончательно, насколько ваш отъезд «целесообразен» и «соответствует интересам государства». И если он ничуть этим интересам не соответствует, то вы никуда и не уедете.

Можно ли всерьез говорить: «я уехал дуром», «КГБ прошляпило»? Попробуйте выдать себя не за того или скрыть подробности вашего прошлого!

Но из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год люди заказывают вызовы из Израиля. И никто им не мешает этого делать.

Трудности предназначены для сравнительно узкого круга лиц, и назначение их особое: это суррогат погрома. Напоминание самим уезжающим и всему миру, что мышеловка может в любую минуту захлопнуться, поток ис-



Но когда уехавший в Тель-Авив к тете и оказавшийся в Нью-Йорке бывший советский гражданин будет на таком месте, где он может пригодиться и сотрудник, которому поручат просмотреть его дело, сможет написать в справке для местной резидентуры: «поддается вербовке», — то дальше — уже дело местного работника: грозить или платить.

Просто психологический тест. Проверка!

Но не у всех такая отметка. Чуть не половина уехали в этом смысле свободными. Но и про них известно: что надо сделать, чтобы человека довести до петли, как разрушить семью, на что купить, чем испугать.

Так что, как писал Чехов: «Не унывай, жандарм!» Мы приехали!

ТАСС, 15 декабря 1975 года:

*«Советское общество по культурным связям с соотечественниками за рубежом — “Родина” учреждено на состоявшейся в Москве всесоюзной конференции.*

*Согласно принятому уставу, Общество является союзно-республиканской организацией. Избран Совет Общества. На первом его заседании избран Президиум. Председателем Президиума избран президент Академии педагогических наук Всеволод Столетов».*

Вчерашние диссиденты, подаванты, отказники, «активисты алии», борцы за права человека или за право воссоединения с тетей в Израиле — мы сегодня «соотечественники за рубежом». Это о нас, для нас. О нас помнят.

Еще бы!

Зачем мы здесь?

Чтобы хоть приблизительно разобраться в этом вопросе, выделим сходства и различия с предыдущими волнами беглецов. Возьмем определение трех эмиграций, данное Александром Исаевичем Солженицыным.

*«Третья эмиграция, — говорит он, — это лишь хвостик, отколок от израильской эмиграции. По значению, по численности — она не идет в сравнение с двумя первыми русскими... Я всегда говорил, что третья эмиграция уехала не из-под пень, как бойцы первой, не от петли, как бойцы второй, — она уехала именно в то время, когда на родине появились и возможности действовать, и силы наиболее нужны там».*

Итак — первая и вторая эмиграции были героические. Мы же в подавляющем своем большинстве поехали «устраивать свою судьбу».

Хотя это, наверное, очень гадко, полагаю, что это так. К тому же все мы уехали из СССР с разрешения начальства, в отношении каждого из нас компетентные и директивные органы приняли решение: *«отъезд целесообразен, соответствует интересам государства».*

Напомню, что нас не только больше, чем бежало когда-то из Крыма, но что далеко еще не все приехали. Да и вообще наш эмигрантский поток производит обманчивое впечатление.

Мы ведь только берем разгон. Мысля по аналогии с царским временем, когда в начале века полтора миллиона евреев, равнодушных к судьбам России, уехали от погромов в Америку, некоторые считают, что и на сей раз вла-



сти выпрут из страны по меньшей мере те же полтора миллиона, а то и два. Ссылаются при этом на численность еврейского населения в СССР.

Не будем гадать. Одно ясно: выедет столько, сколько будет выгодно выкинуть Советскому Союзу.

И тут следует указать вот на что. Третья эмиграция началась постепенно, началась как одолжение внешнему миру. Если бы Западу сразу объявили: в течение ближайших десяти лет вам предстоит принять полтора миллиона советских евреев, то вопрос был бы вынесен на обсуждение ООН, границы прикрыли бы, мог бы произойти международный скандал.

Произошло другое. Евреи начали просачиваться из России постепенно. И постепенно начали за свой выезд бороться. Тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей во всем мире так же постепенно втянулись в эту борьбу за наше право уехать.

Вокруг этой борьбы идет крупная политическая игра, принимаются законы, пререкаются законодатели, создаются комитеты, созываются конгрессы. Вокруг этой борьбы кормятся люди.

Искренность тех, кто на Западе борется за наш выезд, а тем более наше собственное желание уехать, — вне сомнения. И мы, и они поступали, поступаем и будем поступать согласно велениям сердца и совести.

Но когда через сколько-то лет окажется, что на Запад из СССР переселилось пятьсот тысяч, миллион, два миллиона и кто-нибудь вздумает крикнуть «караул!», — будет поздно. Мы уже здесь!

Хотя подавляющее большинство выезжающих — евреи, вряд ли справедливо называть нашу эмиграцию израильской. В Израиль уже сейчас едет меньше трети. Что будет дальше, легко предугадать. Большинство будут ехать туда, где есть работа. [...]

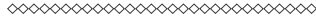
Судя по некоторым признакам, решение перейти к массовому исходу было принято где-то в конце 1968 года. Так что одним из возможных объяснений может быть то, что Москва поверила или сделала вид, что поверила в собственную пропаганду, будто Пражская весна и выступления польских студентов суть происки сионистов.

В Польше, как помните, агитация за выезд проходила организованно: митинги устраивал сам министр внутренних дел Мочар. Политически сознательные участники кричали: «Жида, убирайтесь к Даяну!»

Отдадим должное советскому руководству: в России этот суррогат погрома проходил более цивилизованно. И более рационально. Да и цель, возможно, была иная.

Быть умным советскому руководителю не обязательно. Искрометное остроумие также ни к чему. Когда, обедая в узком кругу и на высшем уровне в городе Вене, Леонид Ильич Брежнев желал сказать что-либо особо примечательное, он доставал из кармана пиджака карточку с напечатанным крупными буквами текстом глубокой мысли, читал эту мысль вслух, а карточку прятал в другой карман. Чтобы не повторяться.

Но попробуйте заставить Леонида Ильича принять решение себе во вред!



Принятое на высшем уровне решение выкинуть часть населения из страны приобретало рациональные черты постепенно.

Да и в момент принятия оно как-то было рационально оправданно. В данном случае инстинктивное желание избавиться от чужеродного тела, источника беспокойства и смутной угрозы, имело, надо полагать, два корня: здоровый утробный антисемитизм и, как оправдание в собственных глазах, желание застраховаться от нападок еще больших антисемитов внутри той же правящей группы.

Процесс осмысливания углублялся. Первоначальный порыв превращался в государственную операцию по чистке тылов и укреплению морально-политического единства страны. Магистральная стратегическая линия обростала тактическими дополнениями и оперативными соображениями соответственно целям различных звеньев советского государственного аппарата. Эти тактические соображения могли позже стать самодовлеющими.

Так, исторический опыт научил Москву, что рассеянное по всему миру обширное и некомандировочное русское присутствие ей выгодно. Только ради такого присутствия массовый выезд затевать бы не стали. Но уж раз он начался...

Оказалось, кстати, что этнический состав эмиграционного потока тот самый, какой нужно.

Выезжающие из СССР евреи в большинстве своем в Израиль не едут, в странах рассеяния почти не ассимилируются и везде, даже в Израиле, живут как русские. Так что, избавляясь от инородного еврейского присутствия, Москва в результате получает на выходе *русскую эмиграцию*.

Одновременно неизбежно возник план забросить с выезжающим потоком определенное количество агентов. На местах оперативные работники получили контрольные цифры и принялись вербовать отъезжающих.

Немедленных результатов это дать не может. Да и не должно. Но на будущее в личных делах накопились письменные обязательства сотрудничать. Цена этим обязательствам не высока. Опять-таки, из-за этого одного не стоило огород городить. Но раз уж так случилось...

Это всё, однако, частности. Пусть в нашей эмигрантской массе есть люди, выполняющие индивидуальные поручения властей, — основную задачу мы все же бессознательно выполняем сообща. Всей нашей массой.

А задача эта — не разведывательная. Это задача политическая. Только на этом поприще может быть полезна наша манипулируемая третья эмиграция.

Мысль, что нами манипулируют, многих коробит. Ирония в том, что, будучи частицей неподвластного нам общего замысла, каждый из нас, чтобы включиться в него, самостоятельно и свободно решал свою судьбу. [...].

Замысла во всем объеме нам не узнать. Но отдельные его элементы видны хорошо. Избавляясь от неугодной этнической группы и создавая за границей хорошо известную, изученную в деталях, с личным досье на каждого неприкаемую массу, советские власти извлекают и другие выгоды. Так, сам

процесс выезда позволяет более гибко воздействовать на направление и состояние инакомыслия в стране. Уже не обязательно сажать диссидента или сослать его в Сибирь. Можно заставить его уехать в Израиль или даже в США.

Подумайте, какой широкий спектр новых возможностей это открывает! Теперь от властей зависит не только то, кто из инакомыслящих будет на свободе, а кто в тюрьме, а еще — кто будет внутри страны, а кто за ее пределами. Кто прославится, а кто останется в безвестности. Кто уедет раньше и займет на Западе более выгодные позиции, а кто поспеет к шапочному разбору. Кто от чьего имени будет говорить!

Появляются почти безграничные возможности держать руку на пульсе переправки на Запад неподцензурной литературы. Что и когда дойдет, а что почему-то не дойдет. К кому дойдет, а к кому и нет.

Это, в свою очередь, дает возможность не только душить советское инакомыслие, но деликатно обеспечивать той или иной тенденции больший или меньший резонанс, а подчас и просто шумный успех за границей. А заодно и оказывать влияние на развитие того или иного строя мысли внутри страны.

Это лишь один аспект совершенно новой ситуации, созданной процессом нашей эмиграции. Есть и другие явления, для которых третья эмиграция — фон и основа.

Выезжая легально, мы, в отличие от беженцев прошлых лет, сохраняем связи с оставшимися в Союзе родственниками, друзьями, знакомыми.

И смываются грани.

Благодаря нашему потоку, сливаясь с ним, им прикрываясь, происходит все убыстряющийся выезд индивидуальный, чаще всего нееврейский, хотя подчас и по израильским визам. Этот поток питает за рубежом странную, хотя и не привлекающую особого внимания группу.

Быстрообразуется все более многочисленная прослойка полуэмигрантов-полусоветских, множатся ряды вчерашних привилегированных советских чиновников, внезапно сменивших место жительства и паспорт.

Благодаря нашему потоку проходят незамеченными вещи, которые еще недавно бросались бы всем в глаза. Видный работник идеологического фронта, лично тесно связанный с ЦК и высшими ступенями КГБ, человек более чем выездной, имевший на Западе огромное число друзей и коллег, вдруг подает заявление на выезд в Израиль и, продолжая (как и его жена) работать на старом месте чуть не до последнего дня, получает выездную визу ровно на двадцатый день — и это уже никого не удивляет. Не удивляет и то, что на Западе этого человека ожидает работа, эквивалентная той, которую он делал в Москве.

Возникают и множатся на Западе салоны, где новые эмигранты высокого ранга принимают и вчерашних советских граждан, только что своего гражданства лишенных, и знатных западных людей, и советских дипломатов, и приехавших в очередную заграничную командировку московских литераторов. Нормально!

Какую это позволяет вести многоплановую игру, где выигрыш Запада проблематичен, а выигрыш Москвы обеспечен!

С этим тесно смыкается и другой процесс. Пропагандно-представительские функции советских работников культуры, начав дробиться несколько лет назад, продолжают дробиться все более. Когда-то Илья Григорьевич Эренбург чуть ли не один метался по всему миру, пудря мозги своим друзьям-интеллектуалам. Сегодня его работу поделили между целой командой литераторов и других творческих работников. Эти новые эренбурги подчас и в посольство СССР не удосуживаются заглянуть. Дела, дела! Они живут вольно, навещают своих вчерашних московских собутыльников, ныне эмигрантов, охотно рассказывают им новости «из дому», прося только «не трепаться» о том, что они рассказывают.

Что же, скажут мне, отлично! СССР превращается в открытое общество.

Так ли это? Пока что эти сложные переплетения отношений на грани эмигрантов и не-эмигрантов создают еле видимую, но очень крепкую паутину самоцензуры, ограничений в отношении возможных помех великому делу советской политической экспансии.

Сколько приходилось слышать предостерегающих шепотков, предупреждений: того-то не делайте, у Икса и так последняя поездка в США чуть не сорвалась. Вызывали в ЦК, бранили, — он мне сам рассказывал. Боже вас упаси писать этакое! Сборник стихов Игрека очень неохотно подписали к печати.

Дружеские связи в этой промежуточной среде оборачиваются чаще всего парализующими путами.

Необычайно разрослась категория «эмиссаров». Их два варианта. Первый почти неотличим от культурного представителя, о котором была речь. Правда, эмиссар может не быть, и чаще не бывает знаменитостью. Во втором варианте это иностранец. В обоих — это человек, всей душой преданный святому делу советского инакомыслия и всегда готовый выполнить небольшое поручение, что-то передать. Для этого он пользуется своими служебными поездками в СССР или визитами из СССР за границу, чаще всего по приглашению друзей. И никто в суете массового исхода не замечает, что больно уж часто и надолго, в нарушение всех правил («в капстрану — один раз в два года»), выезжают эти милые люди. Но, будь то советские граждане или иностранцы, их роднит одно: они призывают к благоразумию — иначе им в следующий раз могут не дать визу!

А промежуточная среда расширяется. Некоторые знаменитые московские салоны просто перенеслись на Запад, сохранив в общих чертах тот же круг посетителей, русских и нерусских, а заодно и подслушивающие устройства. Всё — как в Москве. И водка та же.

Но нам не до таких пустяков!

\* \* \*

*«Геральдика. Родословная. Справки по русским и иностранным родам. Отыскание и художественное выполнение гербов и родословных таблиц. Отыскание прав на титулы и т. д.»*

Такое объявление регулярно появлялось в русских газетах в довоенном Париже.

— Чудачье! — ухмыльнется новый эмигрант. Но разве это объявление не говорит скорее о сходстве между первой эмиграцией и третьей? [...]

Поместите сегодня объявление: *«Прошлые судимости подтверждаем документально. А также личное знакомство с Сахаровым, Орловым, Шаранским, Кузнецовым... Справки об отбывании срока с Гинзбургом, Буковским, Кузнецовым высылаем по первому требованию. Плата по таксе».*

Заработаете большие деньги.

Душераздирающие строки я прочел в покойном тель-авивском журнале «Клуб»: *«...что это была за жизнь! Каждый из нас не спал ночами и ждал стука в дверь: За тобой, ОБХСС!»*

И он слышал о диссидентах!

С нашей родины мы, кстати привезли не только ценности инакомыслия. Когда надо, козыряем и вполне официальными ценностями.

Не вините нас в этом. Эмигрантская невесомость заставляет нас цепляться за всё, что ощущается как более или менее твердая основа.

\* \* \*

Так для чего же мы нужны?

Для того, чтобы дезинформировать и дезориентировать Запад, укрепить позиции СССР во внешнем мире. [...]

Говорят: покидая СССР, потому что мы не желаем там жить, мы выносим этой стране моральный приговор. Отсюда делают вывод: советские власти могли лишь под давлением согласиться на наш отъезд.

И еще: движимые неприязнью к советской модели реального социализма, мы, выехав, укрепим «антисоциалистические силы», рассказывая правду об СССР или, по крайней мере, наше видение этой правды. Мир узнает и содрогнется!

Все, что способно заставить содрогнуться западный мир, он о Советском Союзе давно знает. Когда вышел «Архипелаг» Солженицына, эффект был огромен. Выражение «ГУЛаг» прочно вошло в словарь политических журналистов Запада. От того содержания, которое мы вкладываем в это слово, Запад ушел далеко.

Это нас, а не людей Запада ошеломила раз и навсегда правда о советской действительности. Как зачарованные, мы повторяем эту правду, а наши новые друзья слушают, позевывая. Все эти истории они слышали столько раз!

А для того, чтобы передать им наш опыт на материале новой, западной действительности, у нас нет ни умения, ни языка, ни возможностей это сделать.

Попробуйте, например, объяснить, что люди, борющиеся против строительства атомных электростанций, защищают, сами о том не подозревая, арабских нефтяных шантажистов. Голос Сахарова, сказавшего об этом, услышан не был.

Наши апокалипсические пророчества относительно будущего Запада лишь наводят наших собеседников на мысль, что в советские психушки сажают не зря.

Но все же эти ушедшие из России из отвращения к существующему там строят сотни тысяч человек укрепят общий фронт антитоталитаризма?

Они не укрепят ничего. Только в Израиле, куда большинство никогда не поедут, могли бы они включиться в политическую жизнь страны, влиять на нее и, следовательно, в какой-то микроскопической степени на расстановку сил в мире. В других странах, странах рассеяния, мы, за редчайшими исключениями, в политическую жизнь не включимся. Хорошо изученный опыт прошлых эмиграций показывает, что скорее всего нашу жажду политической деятельности, — если такая жажда вообще есть, — мы обратим на решение судеб России.

На этом пути ловушки расставлены давно и надежно.

Хорошо, скажут мне, это так, пока речь идет о парализации возможной деятельности эмигрантов. Но отсюда до *использования* их далеко. Где же дезинформация и дезориентация?

Хотя мы в основном говорим одно и то же, наши голоса сливаются не в хор, а в какофонию. И тем слышнее спокойные и уверенные голоса тех приехавших с нами людей, которые говорят Западу то, что он *хочет слышать*.

И сразу оказывается, что в сумбуре выкриков и взаимных обвинений эти голоса находят благодарного слушателя. И не просто слушателя. Именно эти и только эти люди с необычайной гладкостью и быстротой получают на Западе возможность работать на таких высотах, которые максимально приближают их к инстанциям, где готовятся политические решения.

Что же эти люди говорят Западу? Они на разный манер повторяют, что руководство Советского Союза — уже не то, что на место старых тупых догматиков пришли или идут молодые, умные прагматики, с которыми можно и нужно договориться, что, делая уступки Москве в военных и экономических вопросах, Запад выигрывает, укрепляя позиции армии и технократов в ущерб КПСС.

Неужели, кроме всего прочего, это вам ничего не напоминает? Как же: *«Власть догматиков-большевиков на излете, народ жаждет монархии и скоро ее установит»* («ТРЕСТ»); *«народ разочаровался в предателях революции и скоро установит в стране демократический строй»* (Савинков); *«власть изменилась, на смену всяким жидам пришли светлые русские головы»* (Шульгин).

И сегодня, как и тогда, «разумные голоса» говорят: только не спугните процесс обновления необдуманно действиями, только не вмешивайтесь. Дайте только время!

Но при чем тут мы? При том, что только на фоне нашего нестройного хора, конфликтов и столь противной Западу нетерпимости могут эти слова звучать убедительно. И уже хотя бы в этом — наша дезориентирующая роль.

Нам надо, в частности, подтвердить своим поведением, что в России не может быть иного собеседника, кроме власти.

Утверждают также, что если третья волна эмиграции и не оказывает благотворного влияния на общественность Запада в целом, то умонастроения либеральной интеллигенции она изменила, отдалив ее от систематически просоветской позиции.

Это верно лишь отчасти. Западная интеллигенция, особенно американская, особенно еврейская, стала более восприимчива к воздействию реальности уже после доклада Хрущева на XX съезде, а главным образом после того, как стало невозможным скрывать существующий в СССР антисемитизм.

Но сегодня оказывается, что братья-евреи из СССР — плохие евреи. Их выписывали затем, чтобы они ехали в Израиль, а они норовят приехать в США и сесть на шею. Их вызволяли как евреев, стремящихся жить еврейской культурной жизнью, а среди них почти не найдешь человека, знающего даже идиш. Их вызволяли как людей, хотевших и при социализме оставаться евреями, а они и при капитализме не хотят ими быть. Кроме того, они буржуазны и алчны. Среди нас слишком много просто бездельников, любителей жить ничего не делая. У привыкших вкалывать западных людей это вряд ли может иметь длительный успех.

Я, Боже упаси, не обобщаю! Я говорю не обо всех. Все это — только отдельные, кое-где имеющиеся, нетипичные случаи. Но как в старом анекдоте про еврея и китайца: «И много вас, китайцев? — Около миллиарда. — Надо же! Так почему же вас не слышно?»

Их, нетипичных, слышно!

— Так на какого черта они вообще нужны?

Вопль еще не раздался. Но он зреет.

И разве так уж невероятно, что, добившись ценой крупных уступок Москве еще большей свободы эмиграции (хотя бы для евреев), Западу придется тайно делать Советскому Союзу новые уступки, чтобы добиться прекращения потока?



— Как вы нам надоели! — сказал мне один западный друг, долгие годы посвятивший изучению инакомыслия и бесконечно много для всех нас делающий. — Вы грызетесь, как собаки, в своей взаимной вражде вы не брезгуете никакими средствами и не останавливаетесь ни перед какими оскорблениями. Хоть детей бы своих постыдились! Я знаю, вы не можете уехать обратно. Так езжайте хотя бы в Израиль!

Полагаю, что в ваших словах больше горечи обманутой любви, нежели истинного отвращения. Но чего же вы ждали?

Что люди, так долго молчавшие, заговорят сразу ровно, умеренно, учтиво и сдержанно?

Что люди, основными качествами которых были упорство и непримиримость (которые и позволяли им выдержать), вдруг станут уступчивы и терпимы?

Что из страны, где всякая мысль — инакомыслие, а всякое инакомыслие — уже мысль, сразу приедут мыслители?

И разве вы не знаете, что любить ближнего своего легко только издали? В Москве это знали, когда собирали нас в путь.



— В ваших рядах, — говорят рационально мыслящие люди, — царит разброд. Вы неспособны договориться между собой. О, если бы вам удалось объединиться!..

После каждой очередной эмигрантской дискуссии, когда еще раз уточнили, кто с кем на одном поле не сядет и почему, что единой партии, единого центра, единой концепции и единого руководства не будет, приходится слышать: происки КГБ! Москва как огня боится объединения эмиграции и никогда ее не допустит.

Так уж повелось думать, что только рука Москвы не дает нам объединиться на единой среднеполитической платформе монархо-марксизма и православного иудаизма, чтобы сообща, вдохновясь принципами плюрализма и парламентской демократии, разрабатывать альтернативные варианты политико-общественных структур постсоветского общества.

Главным аргументом в пользу единства является мысль, что Москва его страшится. Да что может быть выгодней для Москвы, чем собрать нас всех в кучу и контролировать из одного центра!

В том, что мы являемся бессознательным орудием и в то же время объектом операции огромного масштаба, частью общего плана советской политической экспансии, трудно сомневаться.

Но перед лицом этой мощной машины у нас остается мощное средство сопротивления: ясный взгляд на самих себя и на окружающую действительность. Не теша себя никакими иллюзиями, мы можем и обязаны смотреть правде в глаза. Вопрос: «Зачем меня выпустили? Чего от меня, без моего ведома, ждут?» — не праздный вопрос. Ответ на него может быть началом прозрения.

Раскрытие обмана — безотказное оружие обманутых. [...]



## АЛЕКСАНДР НЕКРИЧ

### Сталин и нацистская Германия

Чем дальше мы удаляемся от событий 1939 года, тем яснее становится для нас, что заключение пакта о ненападении между социалистическим Советским Союзом и национал-социалистической Германией не было неожиданным. Конечно, общий ход мирового развития способствовал заключению почти военного союза между Германией и Советским Союзом, но в основе его лежали специфические предпосылки, вытекающие не только из геополитического положения и прагматических целей, но из самой природы режимов этих государств.

Оба режима возникли в результате недовольства широких масс существовавшим порядком. Установление тоталитарного господства одной партии было следствием революции в России и политических изменений в Германии. Оба режима ставили своей целью изменение существовавшего мирового порядка. Совместная борьба против Версальской системы сплотила их в 20-е годы. Не только политическое, но и военно-экономическое сотрудничество Советского Союза и Германии способствовали созданию военного потенциала как в той, так и в другой стране<sup>1</sup>. Советские руководители исходили из неизбежности нового мирового конфликта, в результате которого капиталистическая система должна была погибнуть. Национал-социалистические лидеры также исходили из неизбежности мирового конфликта, в итоге которого должно было быть обеспечено господство «третьего рейха» на века.

Общим были и вражда к буржуазной демократии, и безусловное отрицание моральных норм человеческого общежития.

---

<sup>1</sup> О советско-германском сотрудничестве в донацистский период см.: *Blucher, W.* Deutschlands Weg nach Rapallo. Wiesbaden, 1951; *Carsten, F. L.* The Reichswehr and the Red Army 1920-1933: «Survey», Oktober, 1962; *Castellan G.* Reichswehr et Armee Rouge 1930—1939. Paris, 1954; *Dirksen H. V.* Moskau—Tokio—London. Stuttgart, 1949; *Harvey Leonhard Dyck.* Weimar Germany and Soviet Russia 1926—1933. New York, 1966; *Fisher, Ruth:* Stalin und der deutsche Kommunismus. Frankfurt, 1948; *Hilger G., Meyer A. G.* The Incompatible Allies. New York, 1953; *Karlheinz N.* Die Sowjetunion und Hitlers Machtergreifung. Bonn, 1966; *Rosenbaum K.* Community of fate. Syracuse, New York, 1965; *Weingarten T.* Stalin und der Aufstieg Hitlers. Berlin, 1970.

Начиная с 20-х годов Сталин привык смотреть на Германию как на естественного союзника. В конечном счете Германия, согласно указаниям классиков марксизма-ленинизма и директивам Коминтерна, должна была стать социалистической. Сталина, озабоченного превращением Советского Союза в мощную военную державу и утверждением собственной диктатуры, устраивала дружественная СССР Германия, вне зависимости от ее режима. Национал-социализм даже был лучше, чем любой другой режим, ибо он начисто вымел демократию из Германии. Образ мышления немецкого диктатора был советскому диктатору куда ближе и понятнее, чем государственных деятелей демократического Запада. [...]

\* \* \*

В январе 1933 года к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия во главе с Гитлером.

Отношение ВКП(б) (Сталина) к национал-социализму в 1933 году и в первой половине 1934 года основывалось на характеристике, данной фашизму Исполкомом Коммунистического интернационала, как открытой террористической диктатуре финансового капитала, имеющей своей социальной опорой мелкую буржуазию. С этим была связана и оценка социал-демократии как социал-фашизма и как практический вывод — отказ коммунистов от единого фронта с социал-демократами. XIII пленум ИККИ полагал, что быстро назревающий экономический и социальный кризис перерастет в революционный, что, в свою очередь, приведет к установлению диктатуры пролетариата. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Взгляд на фашизм как на своего рода ускорителя революционного процесса был одной из коминтерновских химер<sup>2</sup>.

Жизнь, однако, не подтверждала правильности установок ИККИ. Коммунистическая партия Германии своей борьбой против германской социал-демократии оттолкнула от себя значительную часть рабочего класса в сторону национал-социализма. Раскол в среде рабочего класса Германии, вызванный установками Коминтерна и политикой КПП, облегчил переход власти в руки национал-социалистической партии Гитлера вполне законным путем — в результате всеобщих выборов, на которых она собрала 11,7 млн. голосов (социал-демократы — 7,2, КПП — около 6 млн.).

С приходом Гитлера к власти началось охлаждение, а затем и обострение советско-германских отношений.

На всемирной экономической конференции 1933 года Гутенберг, немецкий министр экономики и сельского хозяйства, объявил Восточную Европу, включая Украину, полем германской экспансии. В Германии штурмовики и эсэсовцы начали нападать на советских граждан. Советские журналисты

---

<sup>2</sup> XIII пленум ИККИ (декабрь 1933 г.) ориентировал коммунистические партии на новый революционный подъем в Германии, который якобы уже начался (см. «XIII пленум ИККИ». С. 591).

подвергались гонениям. Германские нацисты своей программой экспансии на Восток, антисоветскими речами, хулиганскими выходками штурмовиков сделали невозможным в то время осуществление стремления Сталина к широкому политическому урегулированию отношений с Германией.

То, что такое намерение у Сталина действительно было, подтверждается многочисленными фактами. В первой половине мая 1933 года, спустя три месяца после прихода Гитлера к власти, группа высокопоставленных немецких офицеров во главе с генералом фон Бокельбергом посетила Москву по приглашению советского генерального штаба. Нарком обороны Ворошилов в своей речи на приеме в честь немецкой военной делегации специально подчеркнул желание Красной армии сохранить прежние дружественные отношения с рейхсвером. Примерно в это же время Сталин прочел русский перевод «Mein Kampf». Если он и не был окончательно убежден в антисоветских планах Гитлера, полагая, вероятно, что изрядная доля высказываний Гитлера является не более чем пропагандой, то во всяком случае должен был как-то реагировать. Сношения с рейхсвером были прекращены, а его сооружения на советской территории закрыты.

Однако советское руководство продолжало надеяться, что после того, как острый период в установлении власти национал-социалистов пройдет, будет возможным восстановление прежней гармонии. Об этом откровенно говорил секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе своему гостю германскому послу в Москве фон Дирксену 16 августа 1933 года. [...] Енукидзе подчеркивал, что Германия и СССР имеют крупные общие интересы, заключающиеся в ревизии Версальского договора в Восточной Европе. Енукидзе высказывал надежду, что в скором времени оформится «государственно-политическая линия» и в результате внутривнутриполитического урегулирования германское правительство приобретет свободу действий в сфере внешней политики.

Для понимания образа мыслей советского руководства и его оценки национал-социализма особенно важны слова Енукидзе, что подобной свободой внешнеполитических действий «*советское правительство располагает уже много лет*». Енукидзе таким образом проводил прямую параллель между тем, что происходило в России после революции, и тем, что происходило в Германии после прихода к власти Гитлера, т. е. тем, что сами нацисты называли национал-социалистической революцией. [...]

«Национал-социалистическая перестройка, — утверждал Енукидзе, — может иметь положительные последствия для германо-советских отношений». Енукидзе явно искал и находил общие линии развития, схожие черты между германским национал-социализмом и советским коммунизмом<sup>3</sup>.

В конце 1933-го и в начале 1934-го, т. е. как раз в то время, когда советское руководство обсуждало и решало направление советской внешней политики, обращения к Германии с призывом возобновить дружеские отношения настойчиво следуют одно за другим.

<sup>3</sup> См.: *Karlheinz N.* Die Sowjetunion und Hitlersmachtergreifung. Bonn, 1966.

24 октября 1933 года советник немецкого посольства в Москве фон Твардовский сообщает в Берлин о предложении советского «друга» (вероятно, им был ближайший советник Сталина по германским делам Карл Радек) устроить встречу покидающего пост посла в Москве фон Дирксена с Молотовым<sup>4</sup>. Цель встречи — прояснение советско-германских отношений. Такого рода предложение могло исходить только с самого «верха».

Прием по случаю празднования годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1933 года используется для того, чтобы пустить «в ход» маршала Тухачевского. Он говорит тому же фон Твардовскому, что в Советском Союзе никогда не будет забыто, что рейхсвер был учителем Красной армии в трудный период. Возобновление старого сотрудничества приветствовалось бы в Красной армии особенно сердечно. Надо лишь рассеять опасения, что новое германское правительство ведет против СССР враждебную политику.

М. Литвинов говорит Муссолини 4 декабря 1933 года: «С Германией мы желаем иметь наилучшие отношения». Однако СССР боится союза Германии с Францией и пытается парировать его собственным сближением с Францией<sup>5</sup>. 13 декабря Литвинов повторяет германскому послу в Москве Надольному: «Мы ничего против Германии не затеваем... Мы не намерены участвовать ни в каких интригах против Германии...» Эта же мысль была затем развита Литвиновым в его выступлении на IV сессии ЦИК СССР 6-го созыва 29 декабря 1933 года, вскоре после решения ЦК ВКП(б) о развертывании курса на создание в Европе системы коллективной безопасности. Советский Союз входит в Лигу Наций и становится ее активным членом. Однако, несмотря на официальный поворот во внешней политике, Сталин решает проводить и старую ориентацию на Германию, но не прямо, а исподволь.

Накануне XVII съезда ВКП(б) немцы буквально «атакуются» командованием Красной армии. В Москве по-прежнему не отдают себе отчета в том, что дни рейхсвера как самостоятельной политической силы сочтены, что Гитлер не собирается ни с кем делиться властью, тем более с генералами рейхсвера.

Народный комиссар Ворошилов, начальник генерального штаба маршал Егоров снова и снова повторяют своим немецким собеседникам о желании СССР иметь с Германией наилучшие отношения. [...]

В своем отчетном докладе XVII съезду ВКП(б)<sup>6</sup> Сталин довольно острожен в оценке ситуации с Германией. Он только начинает пересматривать традиционно отрицательное отношение партии к национализму вообще, в том числе и к русскому. Вскоре появятся известные замечания Сталина, Кирова и Жданова на макет учебника по истории СССР. Меняется отношение к историческому прошлому СССР и вместе с тем начинается пересмотр и отношения к фашизму, к германскому фашизму в частности.

<sup>4</sup> DGFP. Serie C, vol. 2, No. 24. P. 40.

<sup>5</sup> Внешняя политика СССР. Т. XVI, № 405. С. 714.

<sup>6</sup> 26 января 1934 года.

Согласно партийным оценкам того времени, Сталин рассматривал НСДАП как орудие монополий и рейхсвера. Он не понимал относительно самостоятельного характера нацистского движения. Полагая рейхсвер хозяйном положения и имея в виду давнее военное сотрудничество Красной армии с рейхсвером, Сталин не мог оценить всей опасности германского фашизма.

«*Мы далеки от того, — говорил Сталин на XVII съезде ВКП(б), — чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме (подчеркнуто мною — А. Н.), хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной*».

Дверь к соглашению с Германией остается открытой. [...]

Расчеты на то, что Гитлер своими репрессиями против немецких коммунистов и рабочего движения прокладывает путь к пролетарской революции, оказались бредом. Гитлер очень быстро консолидировал свою власть, ликвидировал не только рабочее движение, но и неугодных генералов, подчинил рейхсвер и физически уничтожил оппозицию в собственной партии.

Сталин сделал свои выводы из этого: теперь, когда Гитлер укрепился внутри страны, не будет ли он более реалистичен в своей внешней политике? [...]

Советско-германские отношения в течение 1933 — 1934 гг. продолжали ухудшаться.

[...]

30 июня 1934 года Гитлер ликвидировал свою старую гвардию — руководителей штурмовых отрядов, претендовавших на участие во власти. Это событие вызвало у Сталина большой интерес. В Берлин был назначен новый советский полпред Я. З. Суриц, служивший до того в Анкаре. Суриц, который благополучно пережил все «чистки» 30-х и 40-х годов, доверительно рассказывал в начале 50-х о своей беседе со Сталиным по поводу событий 30 июня 1934 года. По словам Сурица, Сталин живо интересовался подробностями «кровавой бани», учиненной в Берлине. Его реплики не были враждебны ни самому Гитлеру, ни другим нацистским руководителям. Больше того, Сталин откровенно выражал свое понимание, если не симпатию, действий Гитлера.

Сталина интересовала эффективность нацистской пропаганды. Он обратил внимание на то, что нацисты ведут ее очень умело и что Геббельс — способный организатор пропаганды. В словах Сталина не было ничего осуждающего Гитлера. Впечатление Сурица находится в полном соответствии с сообщениями Кривицкого и Хильгера в их известных мемуарах<sup>7</sup>. Хильгер рассказывает, в частности, о конфиденциальных беседах между советскими деятелями, среди них Карл Радек, и профессором Оберлендером, принадлежавшим к окружению гауляйтера Эриха Коха, послом Надольным и другими сотрудниками немецкого посольства в Москве. Высказывания Радека

---

<sup>7</sup> *Krivitsky. W. G.* In *Stalin's Secret Service*. Harper & Brothers Publishers, New York, 1939. P. 183. В. Г. Кривицкий — глава советской разведки в Западной Европе, ставший невозвращенцем в конце 1937 г. Г. Хильгер — советник германского посольства в Москве.

несомненно отражали взгляды кремлевского руководства — Сталина и Молотова. Он действовал по поручению Сталина. Радек не скрывал своего восторга по поводу организационных талантов нацистов, силой их движения и восхищался энтузиазмом германской молодежи. *«На лицах немецких студентов, облаченных в коричневые рубашки, — говорил Радек, — мы замечаем ту же преданность и такое же вдохновение, которое озаряли когда-то лица молодых командиров Красной армии, а также добровольцев 1918 года»*<sup>8</sup>.

Радек хвалил штурмовиков и эсэсовцев, называя их «замечательными парнями». *«Вы увидите, — восклицал он, — что они еще будут драться за нас, бросая ручные гранаты»*. Между прочим, Гитлер придерживался противоположного мнения, полагая, что бывший коммунист еще может стать хорошим нацистом, но нацист коммунистом никогда.

Четыре месяца спустя после XVII съезда ВКП(б) Гитлер учинил кровавую расправу над своими старыми соратниками.

Есть много данных, свидетельствующих о том, что Сталин в начале 30-х годов с беспокойством наблюдал растущую оппозицию среди большевистской старой гвардии. Его интерес к событиям в Германии рос в соответствии с его собственными планами ликвидации любых признаков оппозиции к нему персонально. В течение лета-осени 1934 года он готовился к массовой «чистке» в СССР. 1 декабря 1934 года Киров, главный соперник Сталина, был убит в Ленинграде. И немедленно волна пропаганды против так называемых *врагов народа* прокатилась по всей стране, точно так же, как это случилось в Германии после убийства Рема и других. Сталин использовал опыт «ночи длинных ножей».

События 30 июня 1934 года были, вероятно, поворотным пунктом не только для оценки Сталиным германской ситуации, но и его собственных отношений со старой большевистской гвардией, которые давно уже тяготили его, так же как Гитлера тяготили и раздражали претензии «старых товарищей» из командования штурмовыми отрядами.

В расправе, учиненной Гитлером, Сталин усмотрел также окончание «партийного» периода в истории германского национал-социализма и начало «государственного». Прогноз Енукидзе, казалось, оправдывался. Но оставалось серьезное беспокойство. В новом издании «*Mein Kampf*» сохранилась без всякого изменения программа «*Drang nach Osten*», и закрыть глаза на это было просто невозможно.

Карлу Радеку поручается вести кампанию в печати в пользу коллективной безопасности и против агрессивных поползновений нацизма. Сам Радек объяснял с циничной откровенностью руководителю военной разведки в Европе Кривицкому: *«Только дураки могут вообразить, что мы когда-нибудь порвем с Германией. То, что я пишу, — это одно, в действительности дело обстоит совсем иначе. Никто не может дать нам того, что дает нам Германия. Для нас порвать с Германией просто невозможно»*<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Hilger G., Meyer A. G.. The Incompatible Allies. N. Y., Macmillan, 1953, P. 267-268.

<sup>9</sup> Křivitsky. Цит. соч. P. 10.

Радек имел в виду не только военное сотрудничество, но и большую техническую и экономическую помощь, полученную из Германии в годы первой пятилетки. Можно с уверенностью сказать, что иностранная экономическая помощь, и немецкая в частности, сыграла важнейшую роль в строительстве советской промышленности.

Одно за другим появляются предложения СССР Германии: дать совместную гарантию прибалтийским государствам, участвовать в «Восточном пакте», который должен гарантировать любому из его участников безопасность. Оба предложения Гитлером отвергаются.

Курс на организацию коллективной безопасности, т. е. на сближение и на союз с Францией и Англией, усиливается. Теперь у Сталина возникает новая надежда, что боязнь окружения побудит Германию улучшить отношения с СССР.

Довольно прозрачный намек на общность интересов СССР и Германии был сделан Калининским при вручении ему верительных грамот новым германским послом в Москве фон Шуленбургом. Председатель ЦИКа сказал: *«Не следует придавать слишком большого значения выкрикам прессы. Народы Германии и Советского Союза связаны между собой многими различными линиями и во многом зависят один от другого»*<sup>10</sup>. Но в Берлине новому советскому послу Я. З. Сурицу был оказан Гитлером исключительно холодный прием. [...]

Только в конце октября 1934 года Сталин соглашается с рядом предложений Димитрова об изменении методов работы Коминтерна и его постепенной реорганизации.

Тактика народного фронта, предложенная Димитровым в начале 1934 года, стала осуществляться компартиями параллельно курсу СССР на коллективную безопасность. (В 1934 году СССР вступил в Лигу Наций и предложил «Восточный пакт».) Новая политика Коминтерна должна была подкрепить советскую внешнюю политику и особенно была важна для организации выступлений в защиту СССР, если бы оправдались самые худшие предположения и началась бы война с Японией на Дальнем Востоке при одновременной угрозе СССР с запада.

К исходу 1934 года завершилось формирование новой внешнеполитической концепции СССР. Но это вовсе не означало, что Сталин напрочь отказался от попыток оживления дружественных отношений с Германией Гитлера.

В марте 1935 года Германия порвала военные установления Версальского договора и ввела всеобщую воинскую повинность. Разрыв Версальского договора воспринимается Сталиным не только с пониманием, но и с одобрением. Беседуя с Иденом 29 марта 1935 года в Кремле, Сталин говорит: *«Рано или поздно германский народ должен был освободиться от Версальских цепей... Повторяю, такой великий народ, как германцы, должен был вырваться из цепей Версаля»*. В этой беседе Сталин несколько раз повторяет: *«Германцы — великий*

---

<sup>10</sup> DGFP. Serie C. Vol. 3, No. 229. P. 455. Посол Шуленбург — МИДу. Москва, 3 октября 1934 г.

*и храбрый народ. Мы этого никогда не забываем»<sup>11</sup>. Он говорит не немцы, а германцы, то есть так, как называли воинственные племена на рубежах Римской империи, и так, как называли немецких солдат русские во время Первой мировой войны. В разговоре с Иденом Сталин подчеркивает не культурные достижения немцев, а их воинские качества: германцы «великие» и «храбрые». Именно это импонирует Сталину больше всего. Его ничуть не заботит, что речь идет не о Германии вообще, а о национал-социалистической Германии.*

У Сталина в этом разговоре есть, конечно, своя цель: немного поугатать английского министра, отвратить Англию от попыток сговориться с Германией за счет СССР — комбинация, которая больше всего беспокоила Сталина. Он сообщает Идену, что переговоры с Германией о кредитах включают *«такие продукты, о которых даже неловко говорить: вооружение, химию и т. д.*

*Иден (с волнением). — Как? Неужели германское правительство согласилось поставлять оружие для Вашей Красной армии?»*

*Сталин. Да, согласилось, и мы, вероятно, в ближайшие дни подпишем договор о займе»<sup>12</sup>.*

Всего три с половиной месяца спустя, в июле 1935 года, Сталин приказывает торгпреду в Берлине Давиду Канделаки прощупать возможность улучшения советско-германских политических отношений. Можно только предположить, почему поручение было дано торгпреду, а не полпреду Сурицу. Это объясняется не только личной близостью Канделаки к Сталину, земляческими или родственными связями, а общей оценкой Сталиным природы германского фашизма. Канделаки вел переговоры о советско-германских экономических отношениях с Хьялмаром Шахтом — президентом Рейхсбанка, тесно связанным с германскими финансовыми и промышленными кругами. А по мнению Сталина, монополии суть хозяева Гитлера. Обращаясь к Шахту, он таким образом обращался как бы непосредственно к хозяину. Другим лицом, с которым вел переговоры Канделаки, был Герман Геринг. Его в Москве полагали как бы связующим звеном между германскими монополиями и правительством. Оба, Шахт и Геринг, могли бы оказать решающее воздействие на изменение курса германской политики.

Параллельно разговорам Канделаки с Шахтом и Герингом и как бы в ответ на заявление Шахта, что политические переговоры должны вестись через германский МИД, Тухачевский и Литвинов в Москве, посол Суриц и советник советского посольства в Берлине Бессонов подкрепляют «инициативу Канделаки» собственными настойчивыми призывами к улучшению отношений между Германией и СССР. 21 декабря 1935 года Бессонов прямо говорит о желательности дополнить Берлинский договор о нейтралитете 1926 года *«двусторонним пактом о ненападении между Германией и Советской Россией»<sup>13</sup>.*

<sup>11</sup> Внешняя политика СССР. Т. XVIII. М., 1937. С. 249.

<sup>12</sup> Там же. С. 250.

<sup>13</sup> Меморандум фон Твардовского. Берлин, 10 декабря 1935 г. № 472, стр. 931-933. Меморандум Рёдигера. Берлин, 21 декабря 1935 г



О том, что в Москве происходил усиленный пересмотр отношения к германскому национал-социализму, мы находим подтверждение в книге известного публициста Е. Гнедина. Одно из них представляет особенный интерес. *«Я вспоминаю, — пишет Гнедин, — как мы, дипломатические работники посольства в Берлине, были несколько озадачены, когда, проезжая через Берлин (кажется, в 1936 году), Элиава, заместитель наркома внешней торговли, в силу старых связей имевший доступ к Сталину, дал понять, что “наверху” оценивают гитлеризм “по-иному”, — иначе, чем в прессе и чем работники посольства СССР в Берлине»*<sup>14</sup>.

Шахт предложил Канделаки обсудить проблему улучшения советско-германских отношений через дипломатические каналы. Шахт обещал также, со своей стороны, информировать германское Министерство иностранных дел о советском запросе<sup>15</sup>.

В течение 1935 и 1936 годов Сталин продолжал сохранять оптимизм в отношении возможности договориться с Гитлером, несмотря на предупреждения иностранного отдела ОГПУ, что *«все попытки СССР умиротворить Гитлера провалились. Главным препятствием для достижения понимания с Москвой является сам Гитлер»*.

Получение крупного кредитного займа от Германии Сталин расценил как выражение намерения Германии прийти к соглашению с СССР. На заседании Политбюро Сталин возразил на сообщение ОГПУ следующим образом: *«Как Гитлер может воевать против нас, если он предоставляет нам такие займы? Это невозможно. Деловые круги в Германии достаточно могущественны и именно они управляют»*<sup>16</sup>.

Ни конфронтация в Испании, ни заключение германо-японского «антикоминтерновского» пакта в 1936 году не пошатнули уверенности Сталина в возможности соглашения с Германией.

В конце мая 1936 года Канделаки и Фридрихсон (заместитель Канделаки) встретились с Герингом, который не только живо интересовался перспективами развития отношений с СССР, но и обещал прояснить ситуацию с Гитлером. В июле того же года советник посольства Бессонов в беседе с высокопоставленным чиновником германского Министерства иностранных дел Хенке обсуждал конкретные обстоятельства заключения советско-германского пакта о ненападении.

Хенке объяснил, что, по мнению германского правительства, пакты о ненападении имеют смысл между государствами, имеющими общую границу.

---

<sup>14</sup> Гнедин Е. Из истории отношений между СССР и фашистской Германией. «Хроника», Нью-Йорк, 1977. С. 37. Е. Гнедин — сын Парвуса, многолетний сотрудник иностранного отдела газеты «Известия», а затем Министерства иностранных дел СССР. В течение ряда лет и вплоть до своего ареста в июле 1939 г. Е. Гнедин был заведующим отделом печати МИДа СССР.

<sup>15</sup> DGFP. Serie C. Vol. IV. No. 211. Pp. 453-454. Заметки президента Рейхсбанка Х. Шахта о беседе с Канделаки и Фридрихсоном. 15 июля 1935 г.

<sup>16</sup> Krivitsky. Цит. соч. P. 15.

Между СССР и Германией таковой не существует<sup>17</sup>. Это заявление имело кардинальное значение для будущего развития советско-нацистских отношений. В декабре 1936 года и в феврале 1937 года Шахт вновь встретился с Канделаки и Фридрихсоном. Шахт сообщает советским эмиссарам, что торговые отношения могут развиваться при условии, если советское правительство даст заверение через своего посла, что оно отказывается от коммунистической агитации за пределами России. Канделаки, согласно записи Шахта, выразил «симпатию и понимание». Самое важное заключалось в том, что Канделаки сообщил Шахту, что он говорил со Сталиным, Молотовым и Литвиновым. По поручению Сталина и Молотова он огласил их мнение, сформулированное в письменном виде. Оно заключалось в следующем: русское правительство никогда не препятствовало политическим переговорам с Германией. Его политика не направлена против немецких интересов, и оно готово вступить в переговоры относительно улучшения взаимных отношений.

Шахт предложил Канделаки, чтобы это сообщение было передано официально через советского посла в Берлине.

После подписания советско-германского экономического соглашения Сталин был убежден, что переговоры с Германией идут к благополучному завершению: «*Очень скоро мы достигнем превосходного соглашения с Германией*», — сказал он наркомвнуделу Ежову<sup>18</sup>.

Руководителю советской шпионской сети в Западной Европе Кривицкому был дан приказ в декабре 1936 года прекратить разведывательную работу в Германии.

Запросы со стороны Советского Союза Гитлер использовал для запугивания Англии перспективой советско-германского сближения. В начале 1936 года такая возможность расценивалась в военных и дипломатических кругах Англии как весьма реальная. Германский военный атташе в Лондоне барон Гейер говорил начальнику имперского генерального штаба Диллу о довольно сильных прорусских тенденциях в германской армии и о том, что германо-советское соглашение может стать скоро свершившимся фактом, если оно не будет предотвращено взаимным пониманием между Англией и Германией.

В Лондоне полагали, что курс на сближение с СССР пользуется поддержкой рейхсвера, Шахта и группы промышленников, заинтересованных в развитии германо-советских экономических отношений, и даже частью нацистской партии, но сам Гитлер решительно выступает против улучшения всяких отношений с СССР, за исключением коммерческих<sup>19</sup>. В английских политических кругах ошибочно полагали, что инициативу в сближении проявляют немцы<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Письмо Герберта Л. В. Геринга о беседе его отца, Германа Геринга с Канделаки и Фридрихсоном, 28 мая 1936 г.

<sup>18</sup> Krivitsky. Цит. соч. Р. 215.

<sup>19</sup> Foreign Office, No. 371. File 20346, 1936. Soviet Union, No. 477lg. Кольер — Чилстону, 29 января 1936 г.

<sup>20</sup> Manchester Guardian, 7 February 1936.

В Форин Оффисе опасались, что если система коллективной безопасности рухнет, следует ожидать полного изменения советско-германских отношений в сторону сближения. Предотвратить советско-германское соглашение может только политика коллективной безопасности<sup>21</sup>.

Между тем положение в Советском Союзе начало быстро меняться к худшему. Шли повальные аресты, разворачивался в небывалых масштабах террор. В январе 1937 года на открытом процессе в Москве Карл Радек, выполнявший роль и обвиняемого и главного свидетеля обвинения, признался в совершенной якобы измене и в шпионаже в пользу Германии. Оболгав себя и других обвиняемых, Радек ненадолго спас свою жизнь<sup>22</sup>. Все переговоры с немцами, которые Радек вел по поручению Сталина (об этом он, разумеется, умолчал), были инкриминированы ему как измена.

Министр иностранных дел Германии фон Нейрат сообщил 11 февраля 1937 года Шахту, что предложения СССР Гитлером отклонены. Причинами являются советско-французский договор о взаимной помощи и деятельность Коминтерна. Но в то же время Нейрат разъяснил, что, если события в СССР будут и дальше развиваться в сторону установления абсолютного деспотизма, все более зависящего от военных, то в этом случае можно будет вновь обсудить германскую политику по отношению к СССР<sup>23</sup>.

Гитлер руководствовался не только соображениями неустойчивости положения в СССР и враждебной Германии политикой коллективной безопасности, но и тем, что реакция Англии и Франции на ремилитаризацию Рейнской области и денонсацию Локарнского пакта, проведенную в одностороннем порядке Германией, была настолько слабой, что Германии не следует бояться активного сопротивления ее экспансии со стороны западных держав. Гитлер решил, что пока выгоднее разыгрывать антисоветскую карту.

В апреле 1937 года слухи о переговорах между СССР и Германией широко дискутировались в европейских политических кругах и в прессе. Но только после решительного опровержения нацистской прессой слухов об изменении германской политики в отношении СССР Литвинов телеграфным циркуляром от 17 апреля предложил советским представителям в Праге и Париже (СССР был связан с Чехословакией и Францией пактами о взаимной помощи) опровергать сообщения о секретных переговорах с нем-

---

<sup>21</sup> F.O. No. 371. File 20346, 1936. Soviet Union. No. 90/6/36. 11 February 1936.

<sup>22</sup> Сведения о судьбе Радека разноречивы. Он был убит либо в лагере, либо в тюрьме в 1939—1940 гг.

<sup>23</sup> Фон Нейрат — Шахту. Берлин, 11 февраля 1937 г. Кривицкий утверждает в своих мемуарах, что в апреле 1937 г. Канделаки в сопровождении представителя ОГПУ в Германии возвратился в Москву и привез *«проект соглашения с нацистским правительством. Он был принят Сталиным, который полагал, что он наконец-то достиг желанной цели»* (Krivitsky. Цит. соч. Р. 21). Однако это утверждение Кривицкого пока не подтверждается другими источниками и находится в противоречии с установленными фактами.

цами. Предлагалось использовать в качестве доказательства факт отозвания и полпреда Сурица, и торгпреда Канделаки из Берлина.

Шахт и Геринг, на обязанности которых лежало создание наиболее благоприятных условий для развития германской экономики, были несколько разочарованы срывом германо-советских секретных переговоров, так как рассчитывали на поставки сырья из СССР. Отказ в поставках Советскому Союзу заказанных и изготовленных фирмой «Цейс» приборов также вызвал неодобрение Шахта.

Несмотря на неудачу советско-германских переговоров, новый советский полпред в Берлине К. Юренев не упустил случая подчеркнуть в германском Министерстве иностранных дел, что Советский Союз является сторонником *«создания нормальных отношений с Германией и не против хороших. Однако для этого необходимо, чтобы германское правительство прониклось сознанием необходимости конкретного пересмотра своей нынешней политики в отношении нас»*<sup>24</sup>.

Почти все, кто принимал по поручению Сталина участие в негласных советско-германских переговорах в 1933 — 1937 годах, были уничтожены. Последним погиб Бессонов. Его убили в Орловской тюрьме осенью 1941 года во время массового расстрела заключенных, произведенного НКВД перед эвакуацией города. Лишь один Суриц умер естественной смертью в 1952 году.

Отказ Гитлера заключить с СССР широкое политическое соглашение, хотя и был серьезным ударом по планам Сталина, но не отвратил его от этой мысли.

Пакт с Германией, открывший дорогу войне в Европе, был подписан в Москве 23 августа 1939 года.

\* \* \*

Выбор, который сделал Сталин в пользу союза с Германией, вполне соответствовал его убеждениям и образу мыслей. Он оказался недостаточно смелым и проницательным, чтобы остаться в августе 1939 года «вне игры», т. е. не заключать соглашений ни с одной из сторон.

Мечты о союзе между революционной Россией и революционной Германией 1918—1919 года, который должен был привести к искоренению капитализма в Европе, получили свое воплощение в советско-нацистском союзе 1939—1941 года, который чуть было не стал концом для советской системы.

Но ностальгия о несбывшемся господстве советско-германского блока в Европе долго не давала покоя Сталину.

Меньше чем через полгода после вторжения германских армий в Советский Союз, 6 ноября 1941 года Сталин, пытаясь оправдать заключение пакта с Германией и политику, за этим последовавшую, тем, что гитлеровцы были

---

<sup>24</sup> Внешняя политика СССР, т. XX, № 273, стр. 429-430. Запись беседы полпреда СССР в Германии К. Юренева с заведующим политического отдела германского МИДа Вейцкером. Берлин, 30 июля 1937 г.

в известный период националистами, говорил: «Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т. п., их можно было с известным основанием считать националистами»<sup>25</sup>. В устах Сталина, главного теоретика идеологии «пролетарского интернационализма», это прозвучало скорее как одобрение. Почему одобрение? Потому что и сам Сталин занимался «собиранием» земель бывшей империи Романовых: прибалтийские государства, Западная Украина и Западная Белоруссия, а заодно Закарпатская Украина и Северная Буковина — осколки Габсбургской монархии. Впрочем, Сталин не случайно добавил небрежное «и т. п.» Оно могло относиться и к Судетской области, и к Польскому Коридору, судьба которых, как впрочем и всех «и т. д.» областей, должна была решаться в будущем.

Ностальгические нотки у Сталина вновь зазвучали в совсем иной исторической ситуации. В поздравительной телеграмме Пику и Гротеволу от 13 октября 1949 года по случаю образования Германской Демократической Республики он писал: «Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германский и советский народы, что эти два народа обладают наибольшими потенциями в Европе для свершения больших акций мирового значения»<sup>26</sup>.

Бедные другие народы Европы, не обладающие такими потенциями!

Что в действительности имел в виду Сталин, говоря о «свершении больших акций мирового значения», поведала нам его дочь: «Он не угадал и не предвидел, что пакт 1939 года, который он считал своей большой хитростью, будет нарушен еще более хитрым противником. Именно поэтому он был в такой депрессии в самом начале войны. Это был его огромный политический просчет: “Эх, с немцами мы были бы непобедимы”, — повторял он, уже когда война была окончена... — Но он никогда не признавал своих ошибок»<sup>27</sup>.

Все же Сталин иногда делал выводы из них. Главный практический вывод, который он сделал после войны, был отказ от общей границы с Германией. В июне 1941 года наличие общей границы открыло Советский Союз для германского нападения на широком фронте.

После второй мировой войны Сталин отгородил Советский Союз от Германии, в конечном объединении которой он вряд ли сомневался, новым «санитарным кордоном» — кордоном из «братских» социалистических государств. Таким образом он вернулся к старинной мудрой геополитической концепции: не иметь на своих границах сильного соседа.

За время, прошедшее от совершенной Сталиным ошибки и до ее исправления, Советский Союз потерял 20 млн. человек.

1980, № 24

---

<sup>25</sup> Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. I, М., 1953. С. 43.

<sup>26</sup> Внешняя политика Советского Союза. 1949 год. М., 1953. С. 28.

<sup>27</sup> Аллилуева С. Только один год. Харпер энд Роу. 1970. С. 339–340.

# СОЛДАТЫ!

Если вы перейдете на сторону Союзников, с Вами будут хорошо и дружески обращаться. Вас будут хорошо кормить — одинаково как Союзных солдат. Помните что Союзники ваши друзья и не верьте тому, что говорят вам немцы — они вам врут.

Перейдете ли вы к нам добровольно или будете захвачены в честном бою, с вами будут обращаться по добру — по хорошему. Только дайте понять нашим солдатам, что вы сдаётесь. Подымайте руки когда подходите к нам. Снимайте ваши шлемы.

Сохраните эту листовку. Покажите ее союзным солдатам когда будете сдаваться.

ZG27

Такие листовки разбрасывали союзники в тылах у врага в конце сорок пятого года. Все, кто поверили обещанным в них гарантиям, были выданы вскоре на расправу Сталину. (Прим. ред.)

*ОТ РЕДАКЦИИ—1982.* Мы публикуем главу из книги бывшего офицера вермахта гитлеровской Германии, участника Второй мировой войны — с 22 июня 1941 года на территории СССР. Публикуемый отрывок посвящен тому периоду, когда «сомнения и неуверенность» автора стали переходить в трагическую уверенность о гибельном пути, который избрало (и — в силу своей тоталитарно-идеологической основы — не могло не избрать) гитлеровское командование. В книге ему предшествуют воспоминания о том, как поначалу немцев действительно встречали как освободителей. [...]

## ВАЛЬТЕР ЛАМЕ

### Ошибка, которая хуже преступления

Наша армейская пропаганда пообещала народам России освобождение — освобождение от большевизма. Нам, солдатам в России, осуществление этой задачи казалось жизненно решающим. В нем заключались обоснование и смысл нашей борьбы, наше собственное освобождение от неправды войны! Освобождение российских народов, обеспечение их жизненного права на справедливое союзничество с нами — это было общее спасение, цель и реально достижимый мир. При этом, однако, становилось все яснее и нечто иное. Если немецкие лозунги об освобождении задуманы только как пропагандные, то эта ложь может стать и нашей гибелью. Мы уже узнали кое-что о гигантских размерах этой страны, которая не по плечу никакому завоевателю. Мы уже догадывались о ее невероятном военном потенциале, еще усиленном поддержкой союзников. Разбитые надежды отчаявшихся людей обернутся волей к сопротивлению, которая нас уничтожит. Притом тогда дело пойдет не только о предотвращении грозящего России порабощения немцами, но и о том, чтобы усиленным личным участием отвести всякое позорение сталинских властей в былом дружелюбном отношении к немцам.

Уже в первые недели войны в России мы получили все основания опасаться именно такого развития дел. Немецкое командование казалось слепым. Не было никакого официального заявления или приказа, указывавших на общепонятные проблемы и разумные цели и способных привлечь на свою сторону невероятное число антисталинцев в России.

В листовках и пропагандных изданиях, обращенных к красноармейцам и русскому населению, в общих словах говорилось, правда, о свержении большевизма как основной цели. Однако не было никаких убедительных обещаний и указаний относительно людей, которые до этого жили в сталинской системе принуждения и государственном атеизме — в условиях тотального господства над людьми.

В тыловых оккупированных областях повсюду были развешаны портреты верховного главнокомандующего Адольфа Гитлера в партийном мундире национал-социалистической партии и подписью «Освободитель». Казалось, командование не замечает, что этого никак не достаточно для того, чтобы немецкие лозунги освобождения вызвали у русских людей доверие. У людей же везде вставал самый животрепещущий вопрос — быть или не быть, — вопрос о правах в их освобожденной от большевизма стране, вопрос о самостоятельном устройстве их собственной жизни. На эти животрепещущие вопросы немецкое командование не ответило. И в эту пустоту отмежевания от собственных жестоких властителей, поправших человеческие права и человеческое достоинство всех, кто не хотел подчиниться абсолютной власти произвола, вторглись другие силы — сначала недоверие к немецкому командованию, а затем и постановка иных целей.

Непонятные, невероятные известия о положении в тыловых областях просачивались к нам на фронт и, естественно, достигали и внимательных ушей русского населения.

В результате быстрого продвижения боевых немецких частей большие территории Советского Союза были переданы немецкому гражданскому управлению. Оперативные группы «Зихергайтсдинст» (тайной полиции) играли там ужасную роль. Нам казался невероятным слух, что в находящемся в нашей полосе наступления городе Житомире согнали вместе всех евреев и расстреляли за городом из пулеметов. Перед этим они якобы сами должны были копать себе могилы. Однако этот слух мне подтвердил военный судья нашей дивизии. Он видел это шествие скорби и ужаса собственными глазами. Во время своего рассказа этот человек закона (капитан запаса еще со времени Первой мировой войны) дрожал от возмущения. Он, немецкий судья, должен был бесильно наблюдать такой ужас. Один ефрейтор моего орудиного полувзвода, ездивший с заданием в тыловой орудиный парк, был также свидетелем этого события. На гражданской службе он был шофером. Когда он мужественно заявил людям из СД о «позорном беззаконии», ему ответили угрозой, что, если он не замолчит, его постигнет та же участь, что постигла евреев.

Время облегчения и надежд прошло. Для нас мир снова рухнул. Что означают эти совершающиеся от немецкого имени преступления? И какое вообще имели отношение к войне эти несчастные житомирские евреи, жившие своей простой жизнью? Ведь это абсурдно и непонятно даже с простой прагматической точки зрения: ведь в военное время нужна любая рабочая сила.



Что же это за безумие? Но если такое происходило в Житомире, то ведь это наверняка не исключительный случай. Значит, это организованное убийство! Что за сатанинский план скрывался за этим??? И плохие известия все сгущались: в лагерях русских военнопленных ходила голодная смерть. Нас охватывала тревога.

Конечно, при таком огромном количестве русских военнопленных, какое было в начале войны, затруднения со снабжением были понятны. Но почему было не сделать само собой напрашивающегося: не отпустить их по домам, чтобы они на брошенных полях занятых областей могли работать для собственного пропитания? Ведь очень скоро стало видно, что большинство красноармейцев предпочитали лучше работать дома, чем воевать за ненавистную сталинскую систему. Этим было можно помочь русскому народу, а заодно и повлиять на умиротворение страны и ее людей. Вот такие мысли были у нас на фронте, и приходили они нам в голову из простого наблюдения обстановки и положения.

Но военно-политическое управление в нашем тылу явно думало иначе. Гражданское управление оккупированных областей становилось все двусмысленнее, все непонятнее. [...]

В стране, которая столько страдала из-за попрания человеческих прав и человеческого достоинства советскими чиновниками, национал-социалистические учреждения пропаганды осмелились пропагандировать «теорию низшей расы», унижающую славянские народы России! Мы, фронтовые солдаты, знали об этой злоедейской лжи расового сумасшествия. Мы знакомились с замечательными русскими людьми в их домах — и не было никакой разницы, молились они или не молились перед иконами, которые были почти в каждом доме. Многие из нас, знакомые с отрицательными явлениями цивилизации у людей Западной Европы, в особенности видевшие их во время французской кампании, все больше поражались: «Чем дальше на Восток, тем больше встречаешь людей». Вскоре понятие о «низшей расе» стало приводить нас в ярость. Этим извращенным мышлением объяснялись все ошибки и преступления. Вскоре нам уже не требовались новые доказательства грубого, презрительного отношения к людям со стороны гражданского управления. Эти глупцы и преступники свели нас, боевые части, на положение завоевателей. С этим мы ни за что не хотели смириться. Мы отчаянно защищались от этих горьких выводов. Если эта преступная глупость не будет остановлена, конец станет неминуемым: война на уничтожение двух больших неповинных народов с невообразимыми жертвами и катастрофами.

Страх, чувство вины, бессильное возмущение, неуверенность охватили нас, а бессмысленность происходящего нас почти парализовала. Вряд ли кто-нибудь сегодня сможет почувствовать, как нас все это угнетало. Мы стояли в безысходном трагическом кругу. И никакие гладкие речи не могли нас освободить от предчувствия печальной участи, которая на нас неуклонно надвигалась. [...]

В начале нашего пути в Россию мы на многих примерах видели, как из глубинного корня правосознания стихийно и неорганизованно вспыхнуло русское освободительное движение. 22 августа 1941 года майор Красной Армии Кононов, с подчиненным ему советским 436-м стрелковым полком, прикрывавшим отступление 155-й пехотной дивизии, после митинга советских солдат и переговоров с немецким генералом Шенкендорфом, с полным вооружением перешел на немецкую сторону. После того как майор Кононов набрал в лагерях для русских военнопленных под Могилевом и Бобруйском огромное количество добровольцев, уже 19 сентября 1941 года был сформирован новый казачий полк из 1800 человек, с 77-ю офицерами, получивший в приказе Верховного Командования название 120-го Донского Казачьего Полка. Духу времени отвечало то, что знаменосцем этого казачьего полка был назначен казак Белокрылов — он отбыл 12 лет заключения в концлагерях сталинской системы насилия, а два его брата и четверо детей были расстреляны в ГПУ. Просто не умеешь от способности русских людей переносить страдания!

Мы знаем из истории войны, что первый проект концепции русского освободительного движения был разработан в Смоленске. Там состоялось совещание офицеров армейской группы «Центр» и видных людей города. В меморандуме, адресованном «фюреру», городской голова Смоленска и 10 человек городского управления предложили призвать русское население к свержению сталинского режима.

Условиями и предпосылками для совместной борьбы Русский Освободительный Комитет Смоленска назвал:

1. Гарантию независимости России,
2. Конституцию нового правительства России,
3. Образование Освободительной Армии.

Даже тем, кто ничего не знал об этом меморандуме, но пережил развитие дел в России с начала войны, со всеми заботами, печалью, надеждами и разочарованиями, было ясно, что только с такого рода концепцией политического ведения войны, какая была разработана свободолюбивыми силами в Смоленске, можно было успешно использовать шанс поражения советского режима с помощью русских. И только этим путем можно было привести войну с Советским Союзом к благополучному концу.

Все те, кто, как мы, следил внимательным взглядом и сердцем за событиями в России, глубоко почувствовали, что исход войны с Советским Союзом решится в первые месяцы. Если немцам удастся создать общий фронт с враждебными сталинизму силами, то война будет немцами выиграна, — но она будет выиграна и русскими. В России, в особенности в драматическом втором полугодии 1941 года, вопрос был не в одних победах на поле боя и сражений. Вопрос был, в конечном счете, в настоящем освобождении глубоко религиозного, храброго народа от террористического режима, который, обещая рай на земле, завел народ в ад. Этим освобождением Германия могла бы широко открыть двери мирному, добрососедскому сосуществованию европейских народов, а может быть, и умиротворению всего мира, который

отказался бы от идеологий силы, приносящих лишь кровь и слезы. Принесла мир и свободу русскому народу, она упразднила бы безумие этой войны. [...]

Более поздние исторические исследования полностью подтверждают этот наш опыт и наши представления. Известный специалист и знаток, американский профессор Даллин, в своем объемистом труде «Немецкое господство на Востоке» говорит: «*В первой стадии кампании применение политического ведения войны могло лечь на чашку весов, колебавшихся между победой и поражением*»; «*В 1941 году у Германии был благоприятный момент обратиться к населению Советского Союза. Раны, полученные в травматические годы террора и величайшего голода, еще не затянулись*». Мне приходится все время это повторять, чтобы объяснить важность того, что мы узнавали.

Повсюду в течение всего лета и осени 1941 года немецкие солдаты ощущали, а многие и глубоко поняли, что нам, немцам, благодаря надеждам измученного народа, выпала задача, способная придать смысл этой ужасной войне, духовный смысл преодоления бесправия посредством права. И чем глубже мы это понимали, тем больше нарастал страх, потому что мы узнавали о бессмысленных, преступных мероприятиях оккупационной политики в тыловых областях, о непонятном для нас организованном убийстве невинных людей. Эта злополучная, ослепленная идеологией восточная политика лишила себя поддержки истории и упустила такой исключительный шанс!

Мы, фронтовые солдаты, могли лишь надеяться и тревожиться о будущем, и это делало наше положение трагическим. Мы могли лишь надеяться, что на военных командных постах, а также в политическом руководстве найдется достаточно людей, которым хватит смелости понять положение и бороться за исключительный шанс поворота в этой войне, против идеологического ослепления властей предрешающих. Нужно было назвать своим именем пагубное поведение в оккупированных областях и упущения немецкого командования. Нужно было бороться с неправильными действиями, вызванными ослеплением, и защитить тот шанс, который давало немцам русское освободительное движение. Нужно было найти собственную политическую концепцию и осуществлять ее вопреки власти имущим, жестоко подавляющим любую деловую или этическую критику.

Сейчас, когда с тех пор прошло много времени, я должен признать, что понадобился бы жертвенный мученический путь тысяч людей, чтобы пробить брешь в идеологическом сумасшествии, и что этот жертвенный путь на смерть, вероятно, все же был бы напрасным. Я сегодня знаю лишь то, что если идеологическому абсолютизму дать буйно разрастись, если не воевать за создание духовного противовеса, то побеждает безумие, хаос. Неправда некритического возвеличивания чисто количественного плюрализма как ценности не распознана многими еще и сегодня.

История это доказывает: немецкое командование затопил поток докладных записок, с полным пониманием описывающих положение со всеми его возможностями. В них указывалась опасность упустить шанс, содержались предостережения от роковой ошибки. Военное и политическое руковод-

ство были атакованы — их заклинали предотвратить опасность взаимоуничтожающей войны двух великих народов. И здесь стояли друг против друга два основных понимания права. Релятивизация и извращение права всегда мстят за себя, потому что, в конце концов, право основано на Боге и Его духовном законе.

Если идеологии завладевают правом и манипулируют им согласно своим утилитаристским, мелким, жалким точкам зрения, тогда уже сразу одновременно запрограммировано и бесправие, то есть хаос. Выиграли позитивисты со своим главным национал-социалистическим тезисом, что *«право — это то, что полезно нации»*. Определяющими стали близлежащие, мелкие цели примитивного господства и эксплуатации побежденных. Из этого позитивизма проистекли и дальнейшие ошибочные выводы: у кого власть, у того и право.

Возведенную на положение абсолюта идеологию всегда сопровождает ослепление в виде неспособности распознать действительность. Авторы докладных записок того времени, закликающих высшие инстанции, постоянно ссылаются на характер и правовое восприятие русского человека, уверенного в исконном праве человека на жизнь и свободу (в силе права), и предостерегают от опасностей, которые может повлечь пренебрежение таким очевидным правом русских людей и российских народов с их здоровым и сильным ощущением права. Одна такая предостерегающая и закликающая докладная записка хорошо известна мне лично. Ее написал капитан Штрик-Штрикфельдт.

В меморандуме в главную квартиру фюрера, отправленном начальником штаба центральной группы войск генерал-майором фон Тресковым, Штрик-Штрикфельдт предложил для центрального участка фронта организацию Русской Освободительной Армии под русским главнокомандованием. Главнокомандующий вооруженными силами генерал фон Браухич поставит на меморандуме резолюцию: *«Считаю это решающим для исхода войны»*.

Сегодня, спустя сорок лет, я все еще раздумываю об этом упущенном шансе, о последовательном ослеплении идеологов и о том, что другим приходилось бессильно терпеть. Я слышал за эти годы самые тяжелые взаимные обвинения обеих сторон. Главным образом, обвинения тех, кто еще и сегодня не понял причин немецкой несостоятельности и еще меньше понял всю трагичность бессильной борьбы тех, у кого были связаны руки.

Восстановление, в особенности материальное, удалось, а духовное обновление осталось на полпути. После 60-х годов идеологии всемогущи, как никогда, а духовная путаница охватила почти все сферы. Существуют даже ученые-гуманитарии, в том числе богословы, которые отождествляют идеологию с религией, так как и у той и у другой, мол, те же функции. Есть богословы, оправдывающие насилие в духовной борьбе. В угоду власти имущим даже в церковных сферах подавляется личная зрелость, необходимая для ответственного мышления. И только там и сям в виде утешения зажигается огонь истинной духовной борьбы архангела Михаила с отрицанием.

## РОМАН ДНЕПРОВ

### «Власовское» ли?

Возьму на себя сказать: да ничего не стоил бы наш народ, был бы народом безнадежных холопов, если бы в эту войну упустил возможность хоть издали потрясти винтовкой сталинскому правительству, упустил бы хоть замахнуться да матюгнуться на «Отца родного».

*А. Солженицын. «Архипелаг ГУЛаг»*

В последние лет десять, а особенно после появления солженицынского «Архипелага ГУЛаг», как-то уже повелось именовать Освободительное движение времен Второй мировой войны — «власовским». Что, конечно, и неверно по сути.

Причин для этого неожиданно появившегося наименования несколько. С советской стороны — это явная (и довольно успешная) попытка приклеить ярлык с презрительным суффиксом «щина» к многомиллионному движению и связать его с именем одного человека, казненного за государственную измену в Москве 1 августа 1946 года. Дескать, был один главный предатель и изменник и было несколько тысяч или десятков тысяч соблазненных им слабых или же беспринципных людей. Отсюда и «власовщина» и «власовцы». Этот термин бездумно повторяется и теми из недавних советских граждан, которые, попав в так называемый свободный мир, не берут на себя труд как следует познакомиться с тем безусловным в истории нашей родины феноменом, который представляет собой Освободительное движение народов России (ОДНР) времен Второй мировой войны.

В то же время сами «власовцы», т. е. участники ОДНР, особенно его вооруженных формирований всех мастей и оттенков, по вполне понятным причинам не желают отказываться от этого наименования: мученическая смерть командующего вооруженными силами КОНР (Комитет освобождения народов России) и его ближайших соратников сделала для нас наименование «власовец» названием почетным. (Хотя большинство бывших участников ОДНР, с кем автору этой статьи приходилось беседовать, согласны с исторической неточностью этого названия.) В этой статье делается попытка поставить кое-что на свои места.

Ряд историков Второй мировой войны придерживаются мнения, что Гитлер проиграл свою войну против Сталина еще до начала военных действий, где-то между 10 ноября 1940 года и 22 июня 1941-го, т. е. между тем днем, когда возможный план наступления на Советский Союз, носивший до того времени кодовое название «Фриц», был переименован в план «Барбаросса» и война против Советского Союза стала делом решенным, — и началом военных действий. Эти историки (к которым относит себя и автор) считают, что война Германии с Советским Союзом 1941- 1945 гг. была проиграна политически, что Гитлер заставил советский народ защищать своих угнетателей: Сталина и ВКП(б). [...]

Никто не отрицает чисто военных ошибок уверовавшего в свою миссию ефрейтора. Но нет возможности найти документ или же документы, которые бы давали наступающей немецкой армии указания, как обращаться с населением оккупированных советских областей. Нет таких документов и никогда не было. Имеются лишь бредовые или полубредовые разговоры Гитлера за кофейным столом, которые дошли до нас в мемуарах, например, Альберта Шпеера или же в недавно вышедшей третьим изданием книге «Hitlers Tischgesprache» («Разговоры Гитлера за столом»). Там рассказывается, как между запихиваемыми в рот кусками торта вождь Третьего Рейха предсказывал будущее России, с немецкими рыцарскими замками в плодородной полосе, с полуграмотным местным населением и прочими нацистскими прелестями. Но обо всем этом мы узнаем сейчас. А тогда, летом 41-го года, что греха таить, достаточный процент советского населения, еще помнивший немцев 1918 года, переживший лишь десять лет назад коллективизацию и лишь четыре года назад ежовщину, ждал немцев как освободителей. Включая и тех евреев, которые, не желая верить советской пропаганде, отказывались бежать на восток в неизвестное будущее и заплатились за это Бабым Яром.

Однако вернемся к ОДНР. [...]

Вооруженную борьбу ОДНР времен Второй мировой войны можно достаточно четко разделить на три периода.

Первый период. От 22 июня 1941 года до опубликования так называемого Смоленского манифеста генерала А. А. Власова весной 1943 года. Период этот самый длинный, самый неорганизованный и, к сожалению, оставшийся менее всего изученным.

Второй период. От весны 43-го года до 14 ноября 1944 года, когда в Праге был обнародован и принят Пражский манифест с его 14 пунктами. Различные историки ОДНР — главным образом, иностранные, — рассматривая этот период, больше всего концентрируют свое внимание на переговорах А. А. Власова и его окружения с различными немецкими учреждениями и их руководителями. Бои и гибель отдельных добровольческих подразделений, крупных и мелких, как на Восточном, так и на Западном фронтах обычно ускользают от внимания этих историков.

Третий период. От 14 ноября 1944 года до капитуляции Германии в мае 1945-го. Писательница Ирина Сабурова в одном из своих произведений на-

звала это время *«трагической феерией РОА»*. Лучшего названия, пожалуй, не придумаешь. Период этот, частично из-за его краткости, частично из-за того, что к ноябрю 44-го года территория, на которой оперировало ОДНР, свелась лишь к самой Германии, изучен лучше всего. Но, на мой взгляд, он наименее интересен, хотя бы потому, что в это время и исход всей Второй мировой войны, и судьбу ОДНР можно было уже предугадать. Хотя никто не мог предугадать глупости и безжалостности западных союзников в их отношении к бывшим советским гражданам — как участникам ОДНР, так и просто военнопленным или же «остарбайтерам».

К этим трем периодам борьбы ОДНР следует, конечно, добавить и ее эпилог, насильственные выдачи руководителей ОДНР и его рядовых участников. Однако эта тема, несмотря на ее трагичность, а может быть, именно вследствие ее трагичности, выходит за рамки этой статьи.

Совершенно невозможно установить, когда, при какой немецкой части, был создан первый добровольческий отряд из бывших советских военнослужащих. Известно, что в августе 1941 года советский полк под командованием донского казака майора Кононова перешел на сторону немцев и на его основе было создано добровольческое подразделение. Однако есть основания думать, что уже до этого имели место случаи перехода на сторону немцев советских подразделений, которые выражали желание воевать против большевиков и которых немцы не разоружали. Зависело такое от того или иного командира той или иной немецкой дивизии, действовавшего на свой страх и риск. А риск был немалый: в те месяцы немцы шли на восток как по ровному месту, брали сотни тысяч военнопленных и были уверены, что конец войны на носу. Формирование добровольческих частей легко могло рассматриваться как неверие в мощь германской армии со всеми последующими административными выводами.

В городе Фрейбурге (Западная Германия) помещаются военные архивы Федеративной Республики Германии, в которых сосредоточено все то, что не погибло при отступлении и не попало в руки частей Советской Армии. В Вашингтоне, в американских Национальных архивах, находятся микрофильмы захваченных союзниками немецких документов, в том числе и военных, почти все то, что находится в Военных архивах во Фрейбурге.

Только тогда, когда потратишь несколько недель, работая в одном из этих архивов (автор этой статьи работал в обоих), становится ясным, какой огромный размах приняло добровольческое движение в первые два года советско-германской войны. Буквально в каждой немецкой дивизии, находившейся на Восточном фронте, был минимум один, а то и несколько добровольческих батальонов, охотничьих сотен, разведывательных батальонов и взводов и так далее. Это те, кто носил оружие, — безоружные помощники, так называемые хильфсвиллиге, или же сокращенно «хиви», здесь не в счет. Некоторые из этих частей — они редко превышали численность 300-500 человек — так прямо и называются «добровольческий батальон номер такой-то», «разведывательная добровольческая команда номер такой-то», или, в

тех случаях, когда тот или иной немецкий генерал, командир дивизии или корпуса был поосторожнее, часть именовалась «боевая группа такого-то» и давалось ей имя какого-либо немецкого фельдфебеля или же лейтенанта. Позже, когда советские охотники за живыми черепами бросились копаться в этих документах, разыскивая еще оставшихся в живых и невыданных участников ОДНР, эта немецкая осторожность (или чванство?) пошла на пользу. В документах — их надо искать по разделу Eins Caesar, по штабному коду отдела немецкой военной контрразведки, — находится мало фамилий, свойственных народам Советского Союза, — эти люди погибли безымянно. Иди ищи, кто был в «Кампфгруппе лейтенанта Гамфе»!

Командиры немецких дивизий не спешили отпускать от себя эти группы и группочки добровольцев, когда после опубликования Пражского манифеста в ноябре 1944 года стали создаваться вооруженные силы КОНР. Да их к тому времени и немного осталось. Большинство полегло, прорываясь из окружений, стреляя до последнего патрона, когда надежды на прорыв уже не было. Добровольцы знали, что их ждет в плену. Иной раз встретишь в советской художественной литературе осторожные строчки о таких обреченно отстреливавшихся, обреченных людях. И когда читаешь у того же Солженицына об идущих, как шквал, на прорыв бойцах какой-то безымянной добровольческой части, то становится тепло на душе у нашего оплеванного брата. Хорошо дрались, до конца! Русский человек всегда любил и уважал боевую доблесть. Даже, может быть, особенно в гражданских войнах. Но это так, сентиментальные отступления. Пусть читатель извинит за них автора.

Немецкие статистики военного и послевоенного периода считают, что различного типа добровольческие соединения в немецкой армии, так называемые остфербенде всякого рода, насчитывали в свои лучшие времена от 900.000 до 1.500.000 человек. При обычной немецкой точности такая приблизительность — туда-сюда 30% — показательна уже сама по себе. В немецкой армии до 43-го года не было центрального места, куда сходились бы данные о таких подразделениях и частях. А когда это добровольческое управление под командованием престарелого кавалерийского генерала Кестринга и было создано, то все же ряд добровольческих частей им охвачены не были по причине индивидуальных соображений того или иного немецкого генерала, главным образом. К «своим» добровольческим частям они относились ревниво, как к своей вотчине!

Какого типа добровольческие соединения? Это были батальоны РННА, о которой речь будет впереди, казачьи сотни и полки и самые различные национальные части: грузинские, армянские, северокавказские, среднеазиатские и даже идель-уральские легионы (пусть мне объяснят, что это такое), калмыцкие полки и различные украинские части, вплоть до созданной в 44-м году дивизии СС «Галичина». Пусть ретивые обвинители «фашистских приспешников», попавшие на эту сторону, не спешат приписать этой дивизии «подвиги», в которых обычно обвиняются войска СС. Эта была нор-



мальная, пусть отборная, добровольческая часть украинских националистов, одетая в форму СС. Не следует забывать, что снабжение большинства добровольческих соединений было в руках управления СС. Необходимо также различать фронтовые дивизии Ваффен СС — их было к концу войны свыше двадцати — и части так называемого Альгемайне СС, которые и занимались концлагерями, расстрелами и т. д. и из рядов которых и выходили зондер- и айнзацкоманды всякого типа и назначения.

Ранней осенью 1941 года в районе Локоть Брянской области возникает уникальное явление. Там создается — представителями советской интеллигенции и не-военнослужащими Воскобойниковым и Каминским — некий самоуправляющийся край, с собственной десятитысячной армией, РОНА (Русская освободительная народная армия) и соответствующими управлениями. Немцев там нет, за исключением нескольких связанных от 2-й танковой армии, нет и партизан, которые ищут мест, где оперировать легче.

Из этой пары Воскобойников был явно человеком более высоких моральных качеств, но зимой 41/42-го он гибнет. Партизаны забрасывают гранатами его штабной дом. У А. Н. Сабурова, знаменитого советского брянского партизана, в его двухтомных мемуарах «Отвоеванная весна» это происшествие описывается в тонах драматических. Задание партии, подготовка рейда, тяжелый бой и гибель предателя. Все это, говоря вежливо, брехня. Несколько отдельных партизан сумели пробраться через посты «каминцев», как их впоследствии называли, и бросить в дом, где ночевал Воскобойников, несколько гранат. Сам Воскобойников и, если не ошибаюсь, секретарша штаба погибли. Бронислав Каминский, бывший до этого помощником Воскобойникова, принимает начальствование и сразу же вешает нескольких захваченных в этой ли, иной ли операции — это не установлено — партизан. Вот и весь героический рейд сабуровцев.

О Каминском, который после боев на Курской Дуге вел свою «армию» и пятидесятитысячный обоз мирного населения на Запад и, выделив небольшой отряд из своих частей для подавления Варшавского восстания 44-го года, был осенью того же года расстрелян немцами, написано довольно много и довольно плохо. Человек он был, действительно, выражаясь мягко, сложный и страшноватый. Но не все было в нем так черно, как об этом пишут. Его главный биограф, американский историк Александр Далин то ли случайно, то ли сознательно прошел мимо ряда документов в немецких архивах, которые выставляют Каминского в несколько ином свете. Например, письмо Каминского Гитлеру, которое, будь оно отправлено немцами по адресу, принесло бы Каминскому смерть значительно раньше осени 44-го года.

Самоуправляющийся район Локоть мог существовать почти полных два года из-за крайне доброжелательного к принципу русского самоуправления и к самому Каминскому отношения командующего немецкой 2-й танковой армией генерал-полковника Рудольфа Шмитта. Шмитт сменил Гудериана на этом посту после отставки последнего, вызванной поражени-

ем немцев под Москвой. Но когда генерал-полковник Шмитт предложил Берлину, чтобы вся Брянская область, включая сам город Брянск, были выделены в самоуправляющуюся русскими область, он был немедленно отстранен от командования и, так сказать, «выжат» в отставку. Уже после конца войны Шмитт в поезде из Западного Берлина в Западную Германию был обыскан чинами восточногерманской полиции. В его чемодане был обнаружен генеральский мундир, с которым прусский служака не пожелал расставаться. Шмитт был немедленно задержан, и после этого его следы теряются: советские власти, естественно, не спешили с освобождением генерала, который ратовал за русские самоуправления. Может, кто из новоприбывших встречал на островах «Архипелага ГУЛаг» этого друга национальной России?

42-й год можно, пожалуй, считать годом, когда формирование добровольческих частей достигло своего кульминационного пункта.

В Осинторфе, в Белоруссии, с помощью приехавших из Германии трех офицеров-эмигрантов, генерала Иванова, полковника Кромиади (он же полковник Санин) и полковника Сахарова, формируются батальоны РННА (Русская народно-национальная армия). Однако вскоре в Осинторфе появляются бывшие советские офицеры, ставшие впоследствии видными деятелями ОДНР, Жиленков и Боярский. Между ними и офицерами-эмигрантами сразу же, на основе досадных недоразумений, возникают трения. Немцы же, увидев, что осинторфовская акция идет совсем не в нужном им направлении, быстро прикрывают ее, и РННА распадается на отдельные батальоны, которые действуют против местных партизан.

Впоследствии, в 43-м году, эти батальоны перебрасываются на Запад, на Атлантический вал. Ряд критиков ОДНР и лично Власова упрекают последнего за то, что он во время этой переброски обратился к добровольцам этих батальонов с письмом, в котором-де оправдывал эту переброску, фактически превращавшую добровольцев-антикоммунистов в немецких наемников, которым все равно, где и против кого драться. Этим историкам и не историкам, не вдаваясь в разбор положения, в котором тогда находился сам Власов, следует посоветовать повнимательнее прочитать это, в значительной степени написанное эзоповским языком, письмо. Начиналось оно словами: *«По приказу германского командования»*... Умеющий читать да прочитает...

В 42-м году летом начинается победный марш немцев на Восток на южном фланге Восточного фронта. Поражения советских войск этого времени уже принципиально отличаются от страшных поражений лета 41-го года. Если тогда немцы в устроенных ими котлах захватывали сразу по миллиону пленных или около того, а это лишь свидетельствует, что советские солдаты драться не хотели, ибо миллионную армию к сдаче не принудишь, — то летом 42-го года имел место страшный военный разгром. Разгром, вызванный «гениальным» сталинским весенним контрнаступлением под Харьковом, в ходе которого полегло несколько советских армий. Покончив с ними, не-

мецкие дивизии рванулись на Сталинград и Северный Кавказ. Военные специалисты недоумевают и по сей день от такого стратегического плана Гитлера, после поражения под Москвой принявшего на себя верховное командование. Но в задачи этого повествования не входит разбор стратегических ошибок Гитлера и Сталина: в этом, как во многих других аспектах, они, безусловно, стояли друг друга.

Поздней осенью 41-го года немцы на южном фланге дошли до Ростова-на-Дону и закрепились там. С началом наступления 42-го года немцы пошли по казачьим землям, сначала по областям Всевеликого войска Донского, а потом по областям Кубанского и частично Терского войск. Уж кому-кому, а казакам было за что считаться с советской властью! Заходя в казачьи станицы, передовые немецкие части нередко встречали там уже готовые казачьи сотни, вооруженные брошенным советской армией оружием, иногда даже тяжелым. Если немецкий генерал, командующий такой дивизией, относился с симпатией к национальному российскому делу, то этим сотням давалась возможность сразу же присоединиться к немецким частям и гнать вместе с ними советские армии на восток. Если нет, то они оставались в тылу, а иногда, реже, разоружались и отпускались по домам. О возможности возвращения советской власти ни казаки, ни немцы в то время не думали.

Главкомандующий немецкой армейской группой «Юг», генерал-фельдмаршал фон Клейст к идее создания в массовом порядке русских добровольческих соединений относился положительно. К тому же, сам Гитлер со своими бредовыми расистскими идеями считал казаков не россиянами, а какой-то особой нацией. Необходимо признать, что тут ему вторили многие из казачьих деятелей-сепаратистов. Во всяком случае, за «унтерменшей» казаков в те времена не считали, да и зима 41/42-го послужила солидным уроком немцам: формирование ограниченного, я подчеркиваю, весьма ограниченного количества казачьих частей было разрешено.

Формировка казачьих частей происходила приблизительно так: в сопровождении нескольких немцев казачьи офицеры, иногда из «старых» эмигрантов, иногда из советских граждан, посылались в несколько станиц с целью сформировать казачий дивизион. Обычно уже в первой, много — во второй станице дозволенное число добровольцев набиралось в течение нескольких часов, причем многих желающих приходилось отвергать. Скрежеща от злости зубами, вербовщики проклинали немецкую глупость, но поделаться ничего не могли. Похожее происходило и в лагерях военнопленных, откуда тоже брались добровольцы, причем вербовщики не обращали внимания на происхождение. Так, в казачьи части попало немало эвакуированных на Северный Кавказ ленинградцев, среди которых — правда, их были единицы — иногда попадались и евреи. Случаи выдач немцам таких добровольцев автору неизвестны.

Сколько казачьих сотен, дивизионов и полков было таким образом сформировано? Число их Ты, Господи, веши. Шестая немецкая армия с ее

архивами и штабами, как известно, погибла бесславно и ненужно в Сталинграде. Известно лишь, что в ее составе было немало казачьих сотен и батальонов. В Соединенных Штатах в настоящий момент находится офицер этих добровольческих частей, дошедший с Шестой армией до Сталинграда, тяжело раненный в первых городских боях и поэтому своевременно эвакуированный. Он считает, что в рядах Шестой армии было чуть ли не несколько десятков тысяч казаков, которые, естественно, и бились до последнего патрона. Этот офицер приехал в США в качестве поляка и в таковых ходит до сегодняшнего дня. О своих военных переживаниях говорить не любит, разве что осенью в дни Покрова, казачьего праздника, за очень уж объемистой чаркой и в очень уж проверенном обществе. Выдачи 45-го года и последовавшая за ними многолетняя «охота» всех, кому не лень, за добровольцами, не забываются и через тридцать лет...

Когда немцы после сталинградского разгрома покатались обратно на Запад, с ними в снег и распутицу зимы 42/43-го пошло и мирное население. Немцы никого с собой не гнали — все это сказки, — но и не отгоняли, зная, что ждет людей или их родных, которые подняли оружие против Сталина. Многие тысячи погибли в дороге, много пало в боях. Немногие добрались до Центральной Европы. Из них потом в Северной Италии был образован так называемый казачий стан и Вторая, «домановская», казачья дивизия. Именно о выдачах этих частей англичанами так много и так трогательно теперь пишут. Через тридцать лет.

Самые же боевые части казаков, сильно потрепанные в боях в Млаве, в Восточной Пруссии, осенью 43-го года были объединены в Первую казачью дивизию, развернутую потом, в конце 44-го года, в Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус, насчитывавший в конце войны около 50 000 клинков. Командовал сначала дивизией, потом корпусом немецкий кавалерийский офицер, Гельмут фон Панвиц, получивший дубовые листья к рыцарскому кресту, командуя лишь дивизионом. Эта часть была единственной добровольческой частью, которая в одиночку сходилась грудь на грудь с крупными советскими частями. И была их. В декабре 44-го года в Югославию, где находился тогда казачий корпус, прорвалось несколько советских дивизий. В Словении, у большого села Питомача, полки Второй бригады корпуса разнесли в пух советскую 233 стрелковую дивизию, взяв более тысячи пленных. Советские солдаты в казаков почти не стреляли, даже тогда, когда исход войны уже был ясен для всех. Многие из советских пленных вошли в казачьи части и разделили их судьбу. Пятнадцатый казачий кавалерийский корпус был выдан «под чистую». О нем написано немного, просто потому, что на Западе почти никого из его рядов не осталось. Сохранились лишь несколько сотен бывших в то время в госпиталях и чудом уцелевших. И они предпочитают помалкивать, даже теперь, по прошествии лет.

Что же касается самого фон Панвица, то он, будучи большим другом казаков и Национальной России, первым послал телеграмму Власову после обнаружения Пражского манифеста, отдавая себя и свой корпус в подчи-

нение главнокомандующего Вооруженными Силами КОНР. За что чуть не был расстрелян своим начальством, но отделался лишь несколькими днями домашнего ареста. Побоялись немцы раздражать в ноябре 44-го казаков, обожавших своего немецкого командира. [...]

Весной 45-го года казаки Пятнадцатого корпуса выбрали Панвица своим походным атаманом. И он не обманул их доверия. Он вывел потрепанные в непрерывных боях полки корпуса в расположение англичан в Австрии, откуда, предварительно разоружив их и усыпив всякими обещаниями, англичане их и выдали. И вместе с ними тогда уже генерал-лейтенант Панвица.

Осенью 46-го года Сталин косвенно признал походное атаманство Панвица, повесив его, единственного немца, вместе с казачьими генералами Красновым, Шкуро и другими через несколько недель после казни (может быть, все-таки точнее — убийства?) генерала Власова и его соратников. День рождения генерала Панвица совпадает с казачьим праздником Покрова пресвятыне Богородицы. В корпусе он отмечался всегда торжественно. Да и теперь уцелевшие его военнослужащие, кто в одиночку, кто маленькой группкой, подымают в этот день чарку за упокой странного человека, немца, считавшего себя казаком и доказавшего это своей смертью.

12 июля 1942 года, приблизительно в те дни, когда Сталин подписывал свой знаменитый приказ о создании штрафбатов, на Волховском направлении был взят в плен, подчеркиваю, *взят в плен*, а не сдался, генерал-лейтенант А. А. Власов, которого весной Сталин послал наводить порядки на северном участке фронта и, в частности, взять на себя командование 2-й ударной армией. Однако это командование заключалось в выполнении приказов сверху, большей частью бездарных и безграмотных в военном отношении; в результате Вторая ударная армия была разбита, а ее уцелевший личный состав разбежался, что было делом вполне обычным в те времена.

Вскоре после своего пленения Власов попал в специальный лагерь высшего немецкого командования для советских пленных около Винницы. Там он получил возможность обмениваться мыслями с рядом советских высших командиров и генералов. Эти разговоры, которые впервые в жизни Власов мог вести свободно, без опасения последствий, перевернули его мировоззрение.

Да, лично Власова советская власть не обидела. Но разве это так уж важно? Не следует забывать, что если до 35—36-го года в Советском Союзе люди в положении Власова еще могли как-то беседовать друг с другом, то с этого времени такой разговор стал совершенно невозможным. Впервые за эти годы Власов мог высказать все, что у него накопилось за годы советской власти в России, лишь в немецком плену. Высказать и выслушать других.

В Винницком лагере, организованном, кстати, графом Клаусом Шенком фон Штауффенбергом, тем самым, что 20 июля 1944 года поставил свой портфель с бомбой под ноги Гитлера, Власов особенно сблизился с полковником Владимиром Боярским, командиром 41-й гвардейской дивизии, который был взят в плен раненым. Боярский прямо заявлял, что ненавидит

советскую власть и готов сотрудничать с немцами, однако лишь на основании полного равноправия и в том случае, если планируется освобождение, а не завоевание. [...]

Весной 43-го в одном из зданий главного командования германской армии, в Берлине, на Виктория-штрассе 10, размещался отдел, который, по замыслу, должен был превратиться в штаб уже признанного Освободительного движения народов России. Одной из красочных фигур этого времени был майор Мелентий Александрович Зыков, по слухам — еврей, по слухам же — один из сотрудников Николая Бухарина в бытность его заведования в полу опале «Известиями» и, безусловно, один из идеологов ОДНР. С ним всегда неразлучен был его адъютант Валентин Ножин, не расстававшийся с крамольным томиком Антуана де Сент-Экзюпери. Потом, если не ошибаюсь, уже осенью того же 1943 года, работники германской службы государственной безопасности вызвали Зыкова с квартиры на деловое свидание, и после этого он исчез. Несомненно, его убили — то ли за то, что был евреем, то ли за то, что был бухаринцем, то ли за то, что был русским патриотом. Кто знает? Заодно убили и Валу Ножина. А убив, начали потихоньку распускать слухи, что Зыков-де, кажется, с самого начала являлся агентом советской разведки!

Тут, забегая несколько вперед, пожалуй, к месту сказать несколько слов об отношении «власовцев» к евреям. Прежде всего, следует знать, что в первые месяцы войны немцы евреев и «комиссаров» сразу пристреливали на месте, если тем не удавалось скрыть свою национальность. Потом комиссаров убивать прекратили, евреев же — продолжили. Пресловутый «комиссарен бефель» был не отменен, но больше не применялся. Когда же пришло время опубликования в ноябре 1944 года так называемого Пражского манифеста, то немцы долго и безуспешно настаивали на включении туда антиеврейского пункта. Власов наотрез отказался, заявляя неоднократно, что отношение ОДНР к евреям не отличается от отношения к какому-либо другому народу России или, если хотите, Советского Союза. Это упорство бывшего советского генерала, так никогда и не надевшего ни немецкой формы, ни немецких погон, стоило несколько таких, да простят мне может быть излишний пафос, судьбоносных месяцев. Кстати, в рядах частей ОДНР было известное количество офицеров и солдат — евреев, о которых многие знали, но которых никто не выдал. Пусть это послужит некоторым поводом для раздумий тем, кто уже давно твердит, что советской власти-де удалось превратить российский народ в народ поголовных предателей. Кое-кто из этих евреев, носивших форму РОА, жив и до сих пор.

На протяжении 1943 и 1944 гг. немцы, терпя поражение за поражением и на Востоке и на Западе, торговались с Власовым, упорно настаивавшим на том, чтобы договоренность немцев с руководителями ОДНР не была бы договоренностью коллаборантов, которым, на Россию наплевать. Об этих переговорах, куда, наконец, включился и сам глава СС Гиммлер, уже написаны книги и при желании можно было бы написать новые.

Сейчас некоторые критики упрекают Андрея Андреевича Власова и его окружение за то, что они-де не проявили нужной твердости, не стукнули кулаком по столу, не крикнули немцам «нет» и не заставили их пойти на настоящее соглашение. [...] Власов, конечно, мог стукнуть кулаком по столу, что он неоднократно и делал. Мог и послать немцев ко всем чертям. Что ж! Его бы без шума расстреляли где-нибудь в подвалах большого дома на Принц-Альбрехтштрассе, где в Берлине помещалось Главное Управление имперской безопасности. Смерти Власов не особенно боялся, даже такой смерти. Но он знал то, что сейчас забывают его критики. В немецких частях в то время уже служили около миллиона добровольцев, которых в те времена немецкое командование тыкало во все дырки, где особенно сильно стреляли. Этим людям надо было дать что-то, дать какую-то объединяющую идею, дать возможность хотя бы их детям, выросшим на родине, правительству которой их предало, сказать, что нет, простыми коллаборантами их отцы не были. Что умерли они не за Гитлера, а за Россию, что боролись они не за «Тысячелетний Рейх», а против Сталина и коммунистов, против «зловонных корней социализма» на русской земле. И Власов и его окружение дали им Пражский манифест, буквально с кровью вырванный у немцев.

Если у кого-то создается впечатление, что я здесь занимаюсь апологетикой, то это отнюдь не входит в цели моей очень схематической статьи. Конечно, что-то, очевидно, можно было сделать иначе. Но следует рассматривать историю ОДНР только в контексте его времени. И не забывать, что его участникам, а особенно вождям со всех сторон грозил лишь один выход — пуля. [...]

После опубликования Пражского манифеста начали создаваться первые дивизии вооруженных сил КОНРа (Комитет освобождения народов России). Надо отдать немцам справедливость: они саботировали создание войск КОНРа, как могли. Десятки тысяч заявлений добровольцев, поданные и из лагерей военнопленных, и из лагерей «ост-рабочих», и буквально отовсюду, оставались без ответа. Вооружать этих людей было нечем, а формировать их части — негде. Немцы вместо этого продолжали пытаться создавать различные сепаратистские соединения, которые не признавали Власова, назначенного командующим вооруженных сил КОНРа.

Считаю, однако, необходимым оговориться. Когда я пишу «немцы», я, естественно, подразумеваю гитлеровское правительство или его последышей. Сотни и тысячи офицеров германской армии — главным образом, фронтовики, но не только они — как могли поддерживали идеи ОДНР и всячески помогали Власову. Перечислять их здесь, к сожалению, не время и не место. Многие из них заплатили за свою веру в будущую свободную Россию жизнью. Имена их когда-нибудь вспомнят с благодарностью.

Наконец, полторы дивизии, Первая и частично Вторая, были сформированы неподалеку от швабского местечка Мюнзинген. Но немецкий восточный фронт — это уже было после начала Жуковского весеннего на-

ступления на Берлин 1945 года — трешал по всем швам, как, впрочем, и западный. Первую дивизию бросили на фронт, отдавая ее в подчинение генерал-фельдмаршалу, мяснику Шорнеру. Вместо этого командир первой дивизии Буняченко решил поддержать восставших против немцев пражан и спасти от разрушения город. Власов, насколько известно, к принятию этого решения, которое многие офицеры ОДНР до сих пор считают ошибочным, отношения не имел. Потом капитуляция, выдача генералов — Малышкин и Жиленков явились к американцам уже в их глубоком тылу и все-таки были выданы, — выдача офицеров и солдат. История, естественно, продолжает искажаться, и не с одной советской стороны. Так, в большинстве американских учебников по истории Восточной Европы черным по белому стоит, что Прагу освободили советские войска. О «власовцах», конечно, ни слова. [...]

Александр Исаевич Солженицын, отношение которого к «власовцам» от первого до третьего тома «Архипелага ГУЛаг» заметно меняется, в третьем томе пишет: *«Тут приходит нам пора снова объяснить о власовцах. В 1-й части этой книги читатель еще не был приготовлен принять правду всю (да всю не владею я, напишутся специальные исследования, для меня это тема побочная)».*

Вот тут мне приходится в словах почитаемого мною Солженицына усомниться. Напишутся ли «специальные исследования»? Кем и когда?

О советской власти говорить не приходится, там, действительно, готовятся «специальные исследования» и иногда даже публикуются, уж такие «специальные», что прямо диву даешься, а не проспал ли я тех лет?

Что же касается Запада, то и тут надежда слабая. «Власовцы», или же ОДНР времен Второй мировой войны — тема-то скользкая. Хотя бы из-за тех самых насильственных кровавых выдач, о которых писали и Юлиус Эпштейн, и Николас Бетелл, и Николай Толстой. Да и вполне понятная ненависть к Гитлеру и тем, кого часто по простому незнанию с ним связывают, ослепляет даже историков, кому уж сам Бог велел, по крайней мере, стараться быть объективными. [...]

[К тому же] для изучения небывалого в русской истории феномена, когда миллиона полтора граждан бывшей российской империи надели форму злейшего врага, только чтобы стукнуть как следует по «родной власти», — на это денег у западных университетов не нашлось. А попытки заинтересовать, создать проект такого изучения предпринимались, и неоднократно, пока люди, их предпринимавшие, не устали и не махнули рукой.

Мне представляется, что происходит такое вполне сознательно. Имеются тысячи захваченных немецких документов, относящихся к истории ОДНР. Но это сухие армейские бумаги, написанные далеко не друзьями, к тому же, имевшими основания то ли из боязни своего начальства, то ли из извечного немецкого презрения к русским исказить или утаивать действительность. Написано с десяток книг — или иностранцами, или изложений мемуарного типа. Написано несколько сот статей, обычно в иностранных



же газетах. Вот с чем придется работать будущим историкам. А свидетели, живые свидетели тех событий к тому времени перемрут, не оставив свидетельских показаний: солдаты, как известно, писать, как правило, не умеют и не любят. И они умирают, эти свидетели. Недалек тот час, когда закроет глаза последний «власовец». А советская власть, да и кое-кто на Западе ждут не дождутся этого времени. Вот тогда-то мы и напишем историю ОДНР! По любому заказу! [...]

[Впрочем,] кого это все интересует в общей кровавой каше двадцатимиллионных потерь нашего народа во время Второй мировой войны? Разве что самих «власовцев», которые ждут не дождутся услышать о себе правду, и, может быть, их выросших без отцов детей. Словом, садитесь писать мемуары, боевые товарищи!

*1980, № 23*

## На докладе Жданова

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», принятое 14 августа 1946 года, было первым в ряду послевоенных «руководящих указаний» по вопросам литературы и искусства. Они были призваны пресечь робкие тенденции к раскрепощению духовной жизни, спонтанно возникшие в военные годы, и «освежить» в памяти интеллигенции жесткий партийный курс 1930-х годов.

Из писателей главными жертвами нападков стали А. А. Ахматова и М. М. Зощенко, которым августовское постановление закрыло путь к любым публикациям на несколько лет. [...]

Сама кампания по разгрому литературы началась с доклада секретаря ЦК по идеологии А. А. Жданова, сделанного им перед партийным и писательским активом Ленинграда в Смольном. На одном из этих двух собраний, состоявшихся между 15 и 20 августа 1946 г., и побывал автор публикуемого рассказа.

### Рассказ Д. Д.

В середине августа 1946 года секретарь Ленинградского отделения Союза писателей А. Прокофьев<sup>1</sup> и редакторы «Звезды» и «Ленинграда» В. Саянов и Б. Лихарев с ближайшими сотрудниками были приглашены в Москву на совещание. В день их возвращения домой в редакцию «Звезды» рано утром явился А. Еголин и представился заведующей редакцией Е. Карачевской как назначенный из Москвы сюда на работу. Заведующая редакцией не удивилась — так бывает. В редакции никого из литературных работников в эти часы еще не было, кроме Д. Золотницкого из «критики». Еголин пригласил его в редакторский кабинет. Расспросил о работе, о том, о сем, между про-

---

<sup>1</sup> После полной смены редколлегии «Звезды» в августе 1946 г. (с № 7-8) А. А. Прокофьев — единственный из старого состава — сохранил свое место в новой редакции.

чим задал вопрос и о Зощенко — понравился ли его рассказ про обезьяну. Золотницкий, ничего не подозревая, отвечал, как и подобало сотруднику журнала, в котором работаешь: рассказ как рассказ, всем нравится, «в общем ничего, читается хорошо». Еголин поблагодарил, и на этом беседа кончилась.

Явившиеся позже В. Саянов, Б. Лихарев, Д. Левоневский, П. Капица ничего о московском совещании не рассказывали, а на все расспросы отвечали загадочно: «Завтра всё узнаете». Все предполагали какие-нибудь реорганизационные перемены в журналах.

На другой день были розданы всем приглашения в Смольный на собрание. Зощенко, потом говорили, тоже приходил в секретариат Союза за билетом, но ему вежливо, под каким-то предлогом, отсоветовали ходить.

В начале пятого мы шли в Смольный. Кончался серый августовский день. Шли, еще ничего не зная. Каждый говорил о своем.

Первые же минуты в Смольном насторожили (я там никогда до этого не был). Исторические залы, трехкратная проверка документов, большое число приглашенных писателей, работников газет, кино, радио, издательств, общая атмосфера торжественности и строгости придавали всему не только деловой характер, но и чего-то большего.

Докладчик вышел справа, позади сидевших, в сопровождении многих лиц. Он шел спокойно, серьезный и молчаливый, отделенный от зала белыми колоннами. Он был в штатском<sup>2</sup>. В руках папка. Его волосы под сиянием электричества блестели. Казалось, он хорошо отдохнул и умылся. Все встали. Заплодировали. Он поднялся на трибуну.

Собрание началось в пять.

Как обычно, вслух выбрали громкий президиум. Даже чуточку посмеялись — писатели забыли назвать своего Прокофьева. Докладчик улыбнулся, сказав тихо что-то смешное. Торопливо успокоились. Президиум сел. Сдержанный шумок затих. Докладчик секунду помолчал и заговорил.

И через несколько секунд началась дичайшая тишина. Зал немел, застывал, оледеневал, пока не превратился в один белый твердый кусок.

Доклад ошеломил. Писательнице Немеровской стало дурно. Она хотела выйти, бледнея, встала. Шатаясь, пошла между рядов. Ей помогли. Вышла в боковой проход, дошла до входной двери, но... ее не выпустили. Огромная белая дверь зала плотно закрыта, двое часовых с винтовками по бокам. Оказывается, выход из зала запрещен. Немеровская присела где-то в задних рядах. При упоминании в постановлении фамилии Марии Комиссаровой ее муж, Николай Браун, сидевший в президиуме, побелел и начал беспокойно искать ее глазами среди сидевших в зале. Александр Прокофьев, секретарь Ленинградского отделения Союза, всё узнавший еще в, Москве, сидел красный, с головой, ушедшей в плечи.

---

<sup>2</sup> Автор отмечает штатский костюм А. А. Жданова, так как во время только что оконченной войны тот носил мундир генерал-лейтенанта.

В перерыве, как водится, кое-кто окружил докладчика — каждый со своей просьбой и нуждишкой; всегда есть такие, кто никогда не забывает, чья рубашка ближе. Колпакова потом всем хвасталась, как она таким образом добилась ускорить издание своей залежавшейся очередной книги по фольклору.

В прениях выступили немногие, в том числе и Николай Никитин, но из-за своего волнения неудачно: один раз перепутал имя и отчество ответственного докладчика — в зале раздался смешок; в другой раз сказал: «С этой эстрады, с которой великий Ленин провозгласил...», — слушатели зашумели, зашикали. Он покраснел, запутался и, оборвав себя на какой-то короткой фразе о собственном состоянии, сконфуженно сошел с трибуны.

Уходили с собрания молча. Шел первый час ночи.

В августе ночи уже темные. Смольнинский сад стоял в осенней серой дымке. Тускло расплываясь, горели электрические шары фонарей. Листва еще не облетела, но в саду было тихо — неподвижные деревья будто невольно прислушивались. Со ступенек высокого парадного входа не раздавалось ни слова, ни шепота. Несколько сот человек выходили из здания медленно и бесшумно. Так же молча прошли длинную прямую аллею до пустынной в этот час площади и молча разъехались на последних троллейбусах и автобусах.

Всё было неожиданно и непонятно. Согласиться сразу было трудно. Единственная мысль: значит, сейчас так нужно.

Через несколько дней доклад в смягченном виде опубликовали в газетах<sup>3</sup>. В редакции газет и журналов посыпались торопливые письма людей, согласных с постановлением. Июльский номер «Звезды», где была напечатана зошенковская «Обезьяна»<sup>4</sup>, задержали, хотя небольшая часть тиража

---

<sup>3</sup> «Смягченный вид» («Ленинградская правда», 21.09.1946) представлял из себя выражения типа: «Зошенко, как мещанин и пошляк», «только подонки литературы могут создавать подобные “произведения”», «пусть убирается из советской литературы», «Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой», «Журнал “Звезда” ... стал журналом, помогавшим врагам разлагать нашу молодежь», «весь сонм буржуазных литераторов, кинорежиссеров, театральных режиссеров старается отвлечь внимание передовых слоев общества от острых вопросов политической и социальной борьбы и отвести внимание в русло пошлой безыдейной литературы и искусства».

<sup>4</sup> Рассказ М. М. Зошенко «Приключения обезьяны» впервые был опубликован в детском журнале «Мурзилка», 1945, № 12 под названием «Приключения обезьянки» и с некоторыми изменениями перепечатан в разделе «Новинки детской литературы» журнала «Звезда», 1946, № 5/6 (а не в № 7, как сообщает Д. Д.). Постановление обычно связывается с судьбами только двух журналов. Однако на деле оно коснулось всей литературной периодики. «Мурзилка», например, поплатился за «Приключения обезьянки» почти полной сменой редколлегии. В нее вплоть до № 7 (1946 г.) входили С. М. Алянский, А. П. Бабушкина (ответственный редактор), В. В. Бианки, Ю. А. Васнецов, В. В. Лебедев, С. В. Михалков, А. К. Покровская, К. А. Федин, И. И. Халтурин, К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц.

уже разошлась. Рассказ вынули. Номер перепечатали и выпустили двойным с августовским, со статьей Л. Плоткина «Проповедник безыдейности — М. Зощенко». Главным редактором журнала (до этого был просто «редактор») временно был назначен А. Еголин с совмещением работы в ЦК; он стал раз в месяц приезжать в Ленинград. Редакционную коллегию «Звезды» расширили. В нее вошли: Б. Лавренев — ведавший отделом прозы, он тоже начал наезжать из Москвы; вызванный из армии В. Дружин возглавил отдел критики, Е. Кузнецов — отдел искусств, А. Прокофьев — отдел поэзии, Б. Чирсков — драматургии. К каждому были приданы редакторы.

Журнал «Ленинград» прекратил свое существование.

Зощенко заболел. Он заперся у себя дома на канале Грибоедова. Его покинули друзья. Перестали звонить по телефону. Если он выходил на улицу, знакомые старались его не замечать. Домашняя обстановка, и без того беспокойная, осложнилась.

Анна Ахматова держалась стоически. Известно, что женщины ленинградскую блокаду во время войны переносили относительно легче мужчин. Первую она претерпела в Ташкенте, вторую — личную — здесь.

*1978, № 17*

---

На обложках №№ 8/9 и 10/11 состав редколлегии и имя ответственного редактора отсутствуют. В новом составе, объявленном в № 12, сохранились только В. Бианки, В. Лебедев и С. Михалков. В содержании журнала также произошли перемены — в сторону более ярко выраженной «идейности», строгости и меньшей сказочности. Например, была оборвана публикация сказки К. И. Чуковского «Приключения Бибигона»...

## ЛИДИЯ ШАТУНОВСКАЯ

### Час расплаты

*Глава из книги воспоминаний*

...Уничтожив одним ударом верховное командование Красной Армии и обескровив ее, Сталин получил, наконец, возможность осуществить давно задуманный план физического уничтожения всех старых кадров партии, всех, кто сохранил еще следы какой-то идейности и минимальную способность самостоятельного мышления. Годы 1937-1939 и стали годами сталинского «Большого Террора». Население Дома Правительства составляли почти сплошь представители этой старой партийной гвардии, и по нашему Дому волна террора прокатилась как сокрушительная эпидемия. Страшные итоги и сверхчеловеческая жестокость этого террора, идеологически и идейно подготовленного всей историей марксистско-ленинской коммунистической партии и осуществленного Сталиным, известны. Я расскажу лишь о том, что я видела сама, живя в эти страшные годы в Доме Правительства.

Вот что произошло, например, только в 7-м подъезде этого дома, где мы с мужем жили в квартире 145, на 9-м этаже. Напротив нас на том же этаже жил Алексей Стецкий — член Оргбюро ЦК и начальник Отдела культуры и пропаганды (характерно, что эти два взаимоисключающих понятия сливаются в глазах большевиков в одно целое — «культпроп»). На 10-м этаже, над нами, жила семья старых большевиков Беленьких, людей с очень большим дореволюционным стажем, но сейчас уже не занимавших никаких ответственных постов. Напротив них жил ответственный работник центрального аппарата партии Назаретян. На 8-м этаже жил известный журналист Михаил Кольцов, один из руководителей советских войск в Испании. Остальных я упоминать не буду, но все они принадлежали к тому же слою старых партийных работников. Всего в нашем подъезде было 22 квартиры, но в период Большого Террора уцелели только обитатели четырех квартир, остальные были арестованы и почти все погибли под пытками или в лагерях. Да и жильцов этих «благополучных» четырех квартир постигла та же судьба, но только десятилетием позже. Во вторую волну сталинского террора были арестованы профессор В. В. Парин, один из руководителей Академии Медицинских Наук СССР (кв. 148), сын и дочь старых большевиков Беленьких (кв. 147) и мы с мужем (кв. 145). То же происходило и во всех других подъ-

ездах нашего дома. Дом пустел, как во время чумы. Но «природа не терпит пустоты», и опустошенные квартиры начали заселяться новыми людьми, людьми сталинского племени и воспитания. О нравах и обычаях этого, уже вполне безыдейного нового правящего класса, о его полной моральной деградации и примитивном культурном уровне я рассказываю отдельно.

Аресты происходили еженощно, а иногда и по несколько в одну ночь. Всем было ясно, что арестовывают не за какие-нибудь вины или проступки, но что идет сознательное и систематическое истребление всей среды старых большевиков и людей, воспитанных до прихода к власти Сталина. Никто, как бы чиста ни была его совесть перед партией, как бы безупречно ни было его прошлое, не чувствовал себя в безопасности. И так как никто не знал, когда придет его час, то все жили в страшном нервном напряжении, как приговоренные к смерти, не знающие, когда их поведут на казнь. По ночам не спали и с тревогой прислушивались к шуму каждого подъезжающего автомобиля, к каждому шороху на лестнице.

Вот что случилось в нашей квартире летом 1937 года. Как я упоминала уже, две комнаты в этой квартире занимали мы с мужем, а в двух других жила Александра Васильевна Савельева и ее взрослый сын-инженер. За годы совместной жизни мы с ней тесно сдружились и были друг к другу очень привязаны.

Савельева была старым членом партии с большим дореволюционным стажем и безупречной партийной биографией, в которой было всё: аресты, суды, ссылки, побег. Она всегда строго придерживалась ортодоксальной «генеральной линии» партии, ни в каких оппозиционных группировках никогда не состояла. Больших политических постов она не занимала — была начальником отдела переводной литературы в Государственном издательстве художественной литературы. Мужем ее, с которым она разошлась много лет тому назад, был видный коммунист, академик Савельев, редактор первого издания сочинений Ленина. К тому же была она родной сестрой того Федора Гусарова, военного врача, служившего в Варшаве, через которого осуществлялась нелегальная связь большевистского центра за границей с партийными организациями в России. Казалось бы, чего ей бояться?

И все же. Как-то раз, летом 1937 года, часа в два ночи, в нашей квартире раздался сильный звонок. Муж мой, которого Бог наградил богатырским сном, ничего не услышал, а я накинула на себя халат и с трепетом пошла открывать дверь. За себя и за мужа я не волновалась. Мы были беспартийными интеллигентами, специалистами, а таких в те годы еще не очень громили. Наша очередь пришла позже. Но Савельева?

Я вышла в коридор и увидела ее. Она стояла смертельно бледная, в полуморочном состоянии, держась за стену, чтобы не упасть. — «Идите к себе. Я сама открою дверь», — сказала я ей.

«Кто там?» — «Откройте, здесь дежурный комендант». Ну, тут уж все совершенно ясно. Арестовывать всегда приходили в сопровождении дежурного коменданта дома. Выхода не было, и дрожащими руками я открыла дверь

За ней, действительно, стоял дежурный комендант и какой-то рабочий, но гебистов не было. «Извините, — сказал вежливо комендант, — не залило ли водой вашу ванную комнату?»

Мы открыли дверь и увидели, что и вправду вся наша ванная, коридор и кухня залиты водой. Какое счастье! Всего лишь наводнение! Да если бы и пожар был, мы и то вздохнули бы с облегчением.

Оказалось, что вечером по какому-то случаю в квартире над нами воду перекрыли, а хозяева уехали на дачу, оставив кран в ванной открытым. Потом воду включили, она потекла, переполнила ванну и начала просачиваться вниз, до четвертого этажа. Там жильцы всполошились и позвонили в комендатуру, которая и начала проверять все последствия этой аварии. Комендант предложил прислать нам уборщицу, чтобы помочь привести квартиру в порядок, но я отказалась от ее услуг, чтобы никто не видел, в каком состоянии была Савельева, и мы сами принялись за уборку. А муж мой все спал и всю эту тревогу пропустил.

Кончили мы нашу работу уже под утро и решили не ложиться спать, а посидеть в кухне, выпить кофе и успокоиться. «Дорогая, — спросила я ее, — почему вы так испугались? Я видела, что на вас лица нет. Ведь вы никогда ни в каких оппозициях не состояли». — «Ах, — ответила она, — ведь я старый большевик. Неужели вы не понимаете, что этого в наше время достаточно?»

Смешной случай, не правда ли? Но вдумайтесь в то, что означает для человека, отдавшего всю свою жизнь партии, признать, что именно это и ставит его под удар, что именно поэтому он может быть в любую минуту арестован и без суда казнен или сослан в лагерь, что почти одно и то же. Вот когда поняли они, что означает юстиция, основанная на ленинской «революционной сознательности», а не на законе. Вернее, знали они это и раньше, но не беспокоились, пока дубинка не ударила по ним самим.

Как это происходило? Обычно те, кто арестовывается, и те, кто остается, чтобы произвести обыск, приезжают вместе. Ночной звонок. Вы открываете, и в квартиру вваливается несколько человек гебистов в сопровождении дежурного коменданта и дремлющих, забитых «понятых». «Вы такой-то?» Вам предъявляют ордер на арест, велют одеться, разрешают взять с собой немного белья и платья, небольшую сумму денег. Вас усаживают с двумя офицерами в хорошую, комфортабельную машину, ожидающую у подъезда, и всё. Вы исчезли, вас больше нет ни для кого. Ни родные, ни адвокат — никто не навестит вас ни во время следствия, ни после него. Если ваше «преступление» не слишком серьезно, то вы попадете в лагерь и, быть может, ваши родные хоть узнают, где вы, и смогут посылать вам изредка посылки. Ну, а если «дело» чуть посерьезнее или следователь попался чуть посерьезнее, то вы как в воду канули: никто ничего о вас не узнает. Ваша мать, жена, дети не будут даже знать, живы ли вы, да и вы сами тоже ничего не узнаете о них долгие годы, а может быть, и никогда.

После того, как арестованного увозят, в квартире начинается обыск. Переворачивают все вверх дном. Перелистывают каждую книгу на полках, раз-



вертывают и просматривают все письма, бумаги, просматривают все белье и платье, все постели, все детские вещи и игрушки. Все это сносят и награждают в тех комнатах, которые потом будут опечатаны. А остающимся: жене, детям, старым родителям — оставляют одну-две комнаты. Забирают все деньги, какие есть в доме, и сберегательные книжки, если они имеются. Опечатывают все ценные вещи и ценности, и семья остается без всяких средств к существованию. Каждому члену семьи оставляют лишь кое-что из его личных вещей. Так что и продавать нечего.

Страх, пронизывавший всю жизнь страны в эти годы, был так силен, что часто от семей арестованных отворачивались даже ближайшие родственники. А уж о знакомых, товарищах, друзьях и говорить нечего. Ведь каждый арестованный — даже еще и не осужденный — немедленно объявлялся «врагом народа», и каждый боялся, что знакомство с ним или сочувствие к его семье сделают завтра «врагом народа» и его самого.

Жены арестованных старались не выходить во двор, опасаясь, что ближайшие друзья отвернутся от них и пройдут мимо, не поздоровавшись. И в большинстве случаев у них были все основания опасаться этого, ибо животный страх владел всеми в этом счастливом социалистическом обществе. [...] Попробуйте представить себе, что такое жизнь в стране, где нужны «смелость и отвага» только для того, чтобы пройти по двору с женой арестованного. Подумайте об этом, дорогой западный читатель, когда вы пойдете голосовать и захотите опустить свой бюллетень за каких-нибудь «левых».

Почти всегда через некоторое время после ареста «врага народа» приходили вторично и арестовывали его жену, а детей отправляли в специальные приемники и детские дома. Официально узаконенная расправа с женами «врагов народа» (без предъявления им каких-нибудь личных обвинений) — это новейшее изобретение советской юстиции. Царское правительство этого не знало.

Вот только одна, очень типичная картина того, что происходило с семьями арестованных. Этажом выше нас жил ответственный партийный работник Амаяк Назаретян. Он был арестован уже в июне 1937 года.

С его женой Клавдией, которая также была через короткое время арестована, я была хорошо знакома. Обычно за женами и детьми тоже приходили ночью, но Клавдию арестовали и увели вместе с детьми днем, потому, вероятно, что маленькой ее девочке было всего пять месяцев.

Московские тюрьмы были в это время переполнены, и для женщин с детьми там уже не было места. Поэтому Клавдию с девочкой поместили в какую-то полуразрушенную большевиками церковь, спешно переоборудованную в тюрьму для женщин с детьми. Там эти несчастные женщины промучились некоторое время, не имея самых элементарных человеческих условий, не имея даже возможности выстирать или прополоскать пеленки. Потом их, наконец, перевели в тюрьму, продержали там несколько времени, не вызывая на допросы (ведь их ни в чем не обвиняли, кроме того, что они «жены»), а затем каждой дали подписать бумагу о том, что она является женой «врага народа» и на этом основании приговаривается к 8 годам лагеря.

С момента ареста Клавдия и ее дети совершенно исчезли, как в воду ка-нули, не только для нас, соседей, но и для всех родных. Была у Клавдии в Москве тетка, которая ее вырастила, простая русская женщина, тетьа Дуся. В ней-то и в ее муже Ване, простом рабочем, еще сохранились совесть и честь, которую так успешно вытравил большевизм в русской интеллигенции и прежде всего, конечно, в душах членов партии.

Дни и ночи простаивали Дуся и Ваня в очередях в справочные бюро органов «государственной безопасности», пытаясь узнать, где Клавдия и ее дети, но узнать им ничего не удалось. Только от родственников других арестованных женщин они узнали, что в Москве существует специальный приемник, где содержат детей арестованных до их отправки в специальные детские дома. Каким-то чудом они разыскали этот приемник и нашли там 7-летнего сына Клавдии, которого у нее отобрали сейчас же после ареста. Мальчика должны были вскоре отправить в детский дом. Был он страшно напуган и находился в очень тяжелом состоянии. Тут Дуся проявила чуде-са неустрашимости и настойчивости. Она добилась разрешения взять этого мальчика на воспитание. Но Клавдия и ее крохотная дочь исчезли бесслед-но. На все просьбы, на все запросы никаких ответов не было.

Прошло года полтора, и Дуся неожиданно получила повестку — вызов в органы госбезопасности. Там ей объявили, что Клавдия находится в лагере, а девочка в яслях при лагере, но так как девочка уже подросла, то ее должны были отправить из яслей в детский дом. Клавдия подала заявление с прось-бой отдать девочку на воспитание тете Дусе, если та согласится взять ее. О том, что мальчик уже воспитывается у Дуси, Клавдия, конечно, не знала. Дуся, которая и сама-то перебивалась с хлеба на квас, конечно, с радостью согласилась. Ей дали адрес лагеря и разрешили поехать за девочкой. Так мы узнали, наконец, где Клавдия.

В жизни я никогда не видела такого страшного ребенка, каким была ма-ленькая Каля, когда Дуся привезла ее в Москву. Это был мешочек гремящих косточек, с огромной головой, иссиня-белым личиком и черными кругами под глазами. Твердую пищу девочка есть не умела — очевидно, никогда не ви-дела ее, а при виде каши захлебывалась в слезах и крике. И все же героическая тетьа Дуся выходила, поставила на ноги обоих детей Клавдии. Честь ей и слава!

В 1946 году Клавдия вернулась из лагеря и прожила некоторое время у меня на даче под Москвой. Ей нужно было отдохнуть и подкормиться, а пра-ва жить в Москве отбывшие срок в лагерях не имели. Но, когда Сталин начал вторую волну арестов и репрессий, начали вторично арестовывать и жен «вра-гов народа», хотя большинство их были уже в это время уничтожены. Была вторично арестована и послана в лагерь и Клавдия. Она вернулась в Москву только после смерти Сталина и ареста Берия, получила квартиру и пенсию за «несправедливо осужденного» и посмертно реабилитированного Назаретяна.

Самоотверженность и мужество тети Дуси и ее мужа были явлением ис-ключительным даже для среды простых, беспартийных людей. Многие и в народе отрекались от арестованных близких и предавали их. Что подела-

ешь — страх превозмогал все. Но все же в простом народе еще теплились остатки совести и человеческих чувств. В партийной среде предательство стало нормой. Слово «верность» было забыто. Как только кого-нибудь забирали, так немедленно от него отрекались и его начинали поносить все его многолетние друзья, соратники и даже родные.

Вот типичная картина. Жили-были в Москве два закадычных друга, два старых большевика Борис Волин и Сергей Ингулов. Сочинили они вдвоем еще в двадцатые годы «Учебник политграмоты», по которому многие миллионы советских граждан осваивали основы марксистско-ленинской мудрости. Дружно делали они и свою партийную карьеру, идя вверх друг за другом. Сначала Волин был начальником Главлита, а когда он стал заместителем министра просвещения, его кресло в Главлите занял Ингулов. Дружили они и домами. Их жены Дина Волина и Александра Ингулова были близкими приятельницами. Ингулова была моей дальней родственницей, через нее я и познакомилась с Волиными, которые жили в том же Доме Правительства.

В 1937 или 1938 году Ингулова и его жену арестовали, а Волин случайно уцелел. Вскоре после ареста Ингулова я встретила как-то во дворе дома Волину. Ханжески поджимая губы, она сказала мне: «Ах, как нам жаль Шуру. Она, конечно, ничего не знала. Но Сергей... Сергей для нас больше не существует». Ведь знала же, дрянь, знала, не могла не знать, что никаких преступлений Ингулов не совершал, что не было ничего, что Шура могла бы «знать» или «не знать»! Но отречься от Ингулова, отмежеваться от него, предать двадцать лет дружбы она считала необходимым даже передо мной.

По всей логике работы органов безопасности, раз был арестован Ингулов, непременно должен был быть арестован и Волин. Слишком тесно были связаны эти два имени. Но, как это ни странно, Волин нисколько не пострадал. Он не был даже исключен из партии и продолжал работать, хоть и не на столь видных постах. Это казалось всем тем более странным, что Борис Волин — еврей. Его настоящая фамилия Фрадкин, а брат его Александр Фрадкин был арестован и погиб в 1938 году. Разгадку этой тайны я узнала во время следствия по нашему делу, в Лефортовской тюрьме МГБ. В одну из «тихих» ночей следователю, полковнику Комарову, зачем-то понадобились сведения о том, где и на каких дачах жила в последние годы моя семья летом. Между нами произошел такой разговор.

— Где вы жили летом 1945 года?

— В подмосковном поселке Кратове, на даче Волиных.

— Вы жили у председателя Верховного Суда Волина?

— Председателя Верховного Суда Волина я не знаю, а сняли мы на лето дачу у старого большевика Бориса Волина.

— Послушайте. Теперь я верю, что у вас галлюцинации и вам снятся давно погребенные мертвецы. Не могли вы жить на даче Волина, не может у него быть дачи, его давно нет в живых.

— И все же: Борис Волин жив, проживает в том же Доме Совета Министров, где жила и я, награжден орденами и медалями и вообще вполне благополучен.

— Как зовут его жену и дочь?

— Жена его — Дина Давыдовна, а дочь — Виктория.

— Правильно. Неужели вы думаете, что, арестовав и пустив в расход Ингулова, мы оставили на свободе Бориса Волина? Поверьте мне, Волина давно нет, тью-тью ваш Волин.

— И все же уверяю вас, что Волин никогда не был арестован и вполне благополучен.

— Послушайте, Шатуновская, кто-то из нас сошел с ума. Думаю, что вы. Да знаете ли вы, сколько лет я здесь работаю? Да я еще лейтенантом, этими вот своими руками...

— Волина вы, очевидно, забыли. Во всяком случае я видела его и его жену за две недели до нашего ареста. Мы встретились на избирательном участке в нашем доме в день выборов в Верховный Совет.

Комаров начал плевать, ругаться и бегать по своему огромному кабинету. «Послушайте, полковник, — сказала я, — ведь вы можете утром все это проверить». — «Я не могу ждать до утра», — закричал Комаров и нажал кнопку звонка.

Вошел охранник, и, оставив меня под его бдительным наблюдением (чтобы я, упаси Бог, не задремала хоть на минутку, сидя на табуретке), Комаров выбежал из кабинета.

Вернулся он через несколько часов в состоянии полного бешенства. Он бегал по кабинету, ерошил волосы, плевался и рычал: «Пропустили, идиоты, пропустили, забыли...». Дальше шла виртуозная и неповторимая ругань.

После нашего возвращения в Москву я решила не рассказывать Волину о том, какая счастливая случайность спасла его. Так он и умер, не подозревая об этом.

Весь этот эпизод воспринимался (позже, конечно) нами и всеми знакомыми, которым я рассказывала об этом, как нечто почти комическое. Но если вдуматься, то как это трагически страшно, каким Каиновым клеймом ложится на весь советский строй то, что в нем человек погибает или выживает не по своим поступкам и даже не по своим словам и убеждениям, а по чистой игре случая — «вспомнили» о нем или «позабыли».

Раздумывая потом об этом эпизоде, я поняла, почему несколько человек, которые, казалось бы, неизбежно должны были быть арестованы, непонятным образом избежали этой участи. [...] Когда вся система государственного управления представляет собой огромную сеть, закидываемую на глубину с единственной целью — захватить намеченное планом число жертв, — естественно, кое-какая мелкая рыбешка умудряется проскочить сквозь ячейки этой сети. Особого значения это не имеет, а все же Комаровым досадно.

Я не могу закончить мой рассказ об этих годах, не сказав несколько слов о той атмосфере угодничества и беспринципности, которая установилась в эти годы в учреждениях культуры: в редакциях журналов и газет, в театрах, в организациях писателей, художников, музыкантов, в научных учреждениях.

Говоря словами Солженицына, все мы «жили по лжи». Говоря «мы», я не делаю исключения для себя и для моего мужа. Его всегда с усмешкой называли «фрондером», потому что у него сохранилось стремление хоть в чем-то и как-то сохранить свою индивидуальность, говорить не вполне по казенному образцу, высказывать мысли, если и не прямо еретические или — упаси Бог — антисоветские, то, по крайней мере, хоть чем-то отличающиеся от советского стандарта. Но разве он не вел «общественную работу», без которой нельзя обойтись ни в одном советском учреждении? Разве не был вполне уважаемым членом комитета профсоюза, всю фальшь которого он понимал? Разве не ездил в предвоенные годы по частям Советской Армии с научно-популярными лекциями? Разве не был лектором и даже председателем отдела общества «Знание»? Коротко говоря, разве не был он внешне «вполне советским человеком», в душе полностью отрицающая и ненавидящая этот строй?

Да и я была хороша. В те предвоенные годы я работала в редакциях разных театральных журналов и была редактором сценарного отдела Министерства по делам кинематографии. Работать на идеологическом фронте в Советском Союзе очень трудно, труднее, чем в технике или науке. А в те годы это было трудно вдвойне. Правда, я сама никогда не писала о так называемом социалистическом реализме. Но разве я не заказывала для журнала и не редактировала статьи и рецензии тех критиков и литературоведов, которые за деньги готовы были писать все, что было угодно партийному начальству? Издевалась над ними в кругу друзей, а все же редактировала и посылала в печать. Разве я позволила себе где-нибудь и когда-нибудь высказать публично свое настоящее мнение о социалистическом реализме?

Вот эпизод, характеризующий обстановку в редакции в те годы. Был в Москве «ведущий» драматург Киришон (без «ведущего», как известно, в Союзе ни одна область жизни не обходится). Пьесы он писал весьма посредственные, но считался как бы «представителем» ЦК в драматургии. Последняя его пьеса «Большой день» была поставлена театром Советской Армии, и я была на премьере. На другой день редактор журнала «Театр», где я тогда работала, Виктор Залесский предложил мне написать рецензию об этом спектакле. Я ответила ему, что пьеса, по моему мнению, плохая, а спектакль очень слабый, и что я могу написать только так. Залесский покраснел от гнева: «Да знаете ли вы, кто такой Киришон? — кричал он. — Да читали ли вы сегодня рецензию об этом спектакле в “Правде”? Какое же право имеете вы говорить, что пьеса и спектакль плохие?» После этого Залесский вообще перестал со мной разговаривать и даже здороваться. Меня вызвал к себе и сделал внушение «сам» директор издательства «Искусство». Страной я узнала, что меня собираются «проработывать» на общем собра-

нии сотрудников издательства. Можно было ожидать больших неприятностей, вплоть до увольнения с работы.

И вдруг все переменилось. Через несколько дней (довольно неприятных для меня, говоря по совести) Залесский при встрече со мной мило улыбнулся, заговорил со мной и был необычайно приветлив. Ничего не понимая, я прошла в соседнюю редакцию киногазеты и спросила там своих друзей, чем объяснить такую необычайную перемену в отношении Залесского ко мне. Ответ был очень прост: «Сегодня ночью Киршон арестован как враг народа».

Вот так мы жили и работали. И при всем том нам, интеллигентам, был необходим какой-то самообман, нужны были какие-то оправдания нашего малодушия и трусости. Мы уверяли самих себя и друг друга в том, что работаем мы, дескать, не на большевиков, а через их головы на благо народа, на искусство, на науку, на культуру. А посему необходимо прибегать к мимикрии, сохранять покорность и стараться делать свое дело как можно лучше, невзирая на большевиков, благо они дают деньги на науку и искусство.

Трудно сейчас разобраться в том, сколько здесь было искреннего самообмана и сколько приспособленчества, душевной трусости, боязни заглянуть в собственную душу. Как горько, как стыдно вспоминать теперь об этом. И как страшно думать, что так и по сей день живут многие миллионы хороших людей по ту сторону железного занавеса!

\* \* \*

Жалею ли я об участии старых большевиков, столь безжалостно истребленных Сталиным? Сочувствую ли я им? Многих из тех, кого я лично знала и кто в частной своей жизни был неплохим человеком, мне просто по-человечески жаль. Но, когда я думаю о старых большевиках как о социальной группе, я не нахожу в своей душе ни жалости, ни сочувствия им.

Конечно, никаких преступлений против партии и государства, в которых их обвиняли, они никогда не совершали и даже в помыслах не имели. Но была за ними другая, более страшная вина — они не только создали это государство, но и безоговорочно поддерживали его чудовищный аппарат бессудных расправ, угнетения, террора, пока этот аппарат не был направлен против них.

Я не религиозна в обычном смысле этого слова, но есть в моей душе неистребимая вера в какую-то Высшую Справедливость, в то, что «воздастся коемуждо по делу его». Когда Сталин уничтожил одно поколение чекистов вслед за другим, когда погибли жалкой смертью Берия и кое-кто из его сотрудников, не было в наших душах жалости и сочувствия к ним. Я видела в этом проявление Высшей Справедливости.

И если можно вообще применять слово «справедливость» к делам советских органов госбезопасности, то, быть может, истребление старых большевиков было в каком-то смысле самой справедливой из всех совершенных ими несправедливостей. Старые большевики это чудовище создали, они от него и погибли. Tu Fas voulu, George Dandin!

## ЕВГЕНИЙ ГНЕДИН

### Выход из лабиринта

**Лабиринты эпохи**  
*О мемуарах Е. А. Гнедина*

[...] В мемуарах Евгений Александрович Гнедин описывает свою жизнь, при всей ее необычности отразившую судьбу его поколения. В начале пути Гнедин — революционер по убеждениям и идеалист в жизни, без малейших сомнений отдающий Советскому государству большое зарубежное наследство. Он видный деятель иностранной политики СССР, один из главных помощников Литвинова. В 1938 году Гнедин арестован, его избивают в кабинете Берии, затем в особорезжимной Сухановской тюрьме, но он не оговаривает ни других, ни себя. Почти два года строжайшей изоляции, стандартно-беззаконный суд, общие работы в лагере, ссылка, после смерти Сталина — реабилитация (запоздалая, благодаря вмешательству все еще влиятельного Молотова, и, как у всех реабилитированных жертв сталинских репрессий, оставляющая человека слегка второсортным и уязвимым в послесталинском государстве); затем — годы литературной и журналистской работы, скромная пенсия — таковы внешние рамки судьбы автора. [...]

Мемуары Гнедина — это эмоциональная исповедь человека, прошедшего большой путь духовной эволюции. Центральный аллегорический образ книги — образ лабиринта. Это не только тюремные коридоры, в которых страдают и не находят выхода несчастные люди, но и образ трагического блуждания мысли, воплощение «иронии истории». Для Гнедина лабиринт эпохи, погубивший миллионы, губящий саму мечту о новом, более справедливом обществе, угрожающий будущему всего человечества, создается перерождением средств и последующей подменой цели. Вместо революционного идеализма появляется террор (подмена средств). Вместо великой мечты приходит корыстолюбивый бюрократизм (подмена цели). [...]

В центре внимания Гнедина — социологический и психологический анализ характера человека его поколения, «эпохальный характер», по использованному в мемуарах выражению Герцена, с его исходной

бескорыстной и благородной приверженностью к крупномасштабным проблемам человечества и потенциальной способностью к тому пере-рождению, которое приводит в «лабиринт». [...]

*Андрей Сахаров*

## **В тюремном тупике**

*Мысль становится действием*

«Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма». Эту восточную поговорку любил повторять не кто иной, как Сталин, который охотно напоминал, что тюрьма подобна ядовитой змее и, по самой своей сути, губительна для человека. В ином случае это не тюрьма. В устах диктатора афоризм имел значение директивы. Смысл сталинских слов был тот, что власти обязаны быть жестокими, тюрьма должна быть застенком, пребывание в тюрьмах и лагерях должно быть мучительным.

Сухановская особорежимная тюрьма представляла собой изощренное, продуманное Берией осуществление жестоких требований Сталина. Я пробыл в ней 13 месяцев, начиная с июня 1940 года. [...]

В Сухановской тюрьме имелись подвалы и камеры, где применялась всяческая «техника» (знаю по рассказам), и была пустая церковь, где избивали «по старинке» (мой случай). Иногда подследственных привозили в Суханово ненадолго, только для соответствующей «обработки», как выражались следователи; иной раз заключенному только показывали Суханово, чтобы застрашать, и снова увозили в обычную тюрьму. Часто использовали застенок и для пыток, и для дальнейшей строгой изоляции там же, в Суханове, как это случилось со мной. Бывало и так, что привезенных в Сухановскую тюрьму заключенных сразу помещали в условия строгого режима на месяц, а то и на год, если не больше. [...]

Подследственных отправляли в особорежимную тюрьму для строгой изоляции по различным причинам. Одна из них: подследственный еще мог понадобиться в качестве лжесвидетеля. (Такую роль играл, например, Н. И. Ежов. Бывший палач после своего ареста помогал новым палачам конструировать лживые обвинения. Именно в Сухановской тюрьме Ежов на очных ставках в грубо циничной форме давал лживые показания, губившие еще не сломленных людей.)

В Сухановскую тюрьму сажали и если дело «не получалось» (мой случай). Самая «консервация» тоже была пыткой, цель которой заключалась в том, чтобы несчастный, когда решат оформить окончание законсервированного дела, был предельно оторван от действительности, а то и вовсе потерял способность правильно реагировать на происходящее, тем более — сопротивляться. В некоторых случаях, когда начальство не приняло решения по затянувшемуся делу, заключенного направляли в особорежимную тюрьму просто потому, что на эту тюрьму не распространялись правила и



сроки, имевшие некоторое значение в других следственных тюрьмах; судьба невинного человека, конечно, не занимала руководителей «следствия»: выживет — его счастье, не выживет — не велика важность.

В стандартной сухановской камере (были и «нестандартные» — подвальные и «церковные») потолок не протекал, не промерзли стены, как во многих тогдашних тюрьмах. То была чистая, аккуратно сделанная клетка, где заточенная птица ударялась о прутья, даже не пытаясь взлететь, а едва лишь расправив крылья. Койку на день привинчивали к стене, и это лишало клетку даже подобия жилья. К тому же было трудно протискиваться между привинченными к полу предметами, и это создавало ощущение какой-то дополнительной замкнутости, скованности. Мне пришлось побывать в такой камере, где ночью и при откинутой койке заключенному приходилось нелегко: койка опускалась не от боковой стены с опорой на табурет, а от торцевой, той, где двери, и повисала вдоль боковой стены, так что приходилось спать в наклонном положении, причем наклон был в сторону головы.

В Суханове змеинная злоба тюремщиков выражалась в попытке изоляцией и теснотой, в назойливом надзоре. Насколько я мог уловить, один надзиратель обслуживал три камеры. Глазок открывался чуть ли не ежеминутно. Стоило сделать малейшее движение, чтобы загремел замок и надзиратель вошел, озирая заключенного и камеру.

Прогулок не было все тринадцать месяцев. Тринадцать месяцев я пробыл взаперти. Правда, бани была во дворе. Но, пока не зажили рубцы от побоев, желанная баня причиняла страдания: в тесной камерке меня ставили под душ, и вода хлестала по израненному телу. И все же выход из камеры был выходом в мир. Летом я жадно, с упоением, вдыхал пьянящий душистый воздух, но зимой пронзительный морозный воздух обжигал легкие, привыкшие к духоте камеры.

«Законсервированных» заключенных редко вызывали на допросы. Месяца через два после избиений меня вызвал младший лейтенант Гарбузов, видимо, только затем, чтобы посмотреть на меня. Еще через несколько месяцев, в середине зимы, счел нужным взглянуть на меня капитан Пинзур. Капитан ни словом не обмолвился о моем деле, а я — насколько помню — не стал спрашивать. Происходило это глубокой ночью. Видимо, я счел бессмысленным задавать вопросы, вероятно, я думал лишь об одном — не угрожают ли новые пытки, а возможно, я просто был пассивен после многих месяцев изоляции. [...]

То, что заключенного месяцами не вызывали на допрос, могло быть и облегчением, ввиду обычного характера этих «допросов». Но когда при строгой изоляции отсутствовало общение хотя бы со следователем, заключенный вовсе терял представление о ходе времени и о перспективе собственного бытия. Парадоксально, даже трагично: встречи со следователем были для заключенного формой контакта с миром. Отсутствие допросов обостряло ощущение полного отрыва от жизни.

За тринадцать месяцев у меня было (не считая встречи с Чингисом Иль-дрымом) трое соседей, из них двое — провокаторы.

Довольно скоро после попыток ко мне подсадили бывшего статистика бакинского горсовета (забыл фамилию этого субъекта). Сосед должен был мне продемонстрировать, что разумно и выгодно давать показания. Он имел право лежать днем на койке, ему давали книги (Горького), а будущее его не пугало: он подал следователю докладную записку о том, как наладить учет и статистику в ГУЛаге, предложил свои услуги и надеялся получить спокойную работу. Пока этот статистик-энтузиаст находился в моей камере, отведенное мне пространство свелось к двум-трем квадратным метрам; мне было запрещено переходить на его сторону в нашей клетке. Таким образом, я вовсе не мог передвигаться, если же я, разговаривая с ним (как-никак — собеседник!), садился на край его койки, надзиратель немедленно требовал, чтобы я вернулся к своему табурету. Когда однажды я не подчинился, пришел начальник тюрьмы, он угрожал отправить меня в карцер и меня же запугивал тем, что по моей вине закроют койку соседа.

Статистика убрали из камеры в тот самый день, когда я на допросе у следователя отозвался пренебрежительно о своем соседе. Его исчезновение мне было приятно.

Загрустил я зимой, когда другого моего недолгого соседа, инженера Дорожилова, увели в «никуда». Дорожилов попал сначала в тюрьму в Баку вместе с большой группой работников нефтяной промышленности. Потом его препроводили в Москву, в Суханово. Его, как и меня, редко вызывали на допрос. Это был по природе деятельный, жизнелюбивый человек, не лишенный чувства юмора. Наше положение он оценивал трезвее, чем я, боялся худшего и с трудом, отчасти с моей помощью, преодолевал уныние и даже страх.

Общение с соседями было каждый раз кратким эпизодом. Потом усиливалось чувство полной изоляции. Помню, в тоске я говорил себе: «Вот было бы счастье хотя бы утром и вечером перебраться с кем-нибудь несколькими словами». Иной раз мне удавалось, встав на табурет и подтянувшись на руках, взглянуть в щель между полуоткрытыми форточками во внутренней и наружной раме. Я видел, как вдалеке, в роще, под дождем торопливо шли люди. Я думал: а ведь они заняты житейскими делами и даже не понимают, какие они счастливые. Оказавшись после суда в июле 1941 года в Бутырьках, я, желая приглядеться к тюрьме, согласился идти убирать камеры (уже началась эвакуация тюрем); войдя в пустую камеру, где еще стояли железные койки, валялись шахматы и кипы книг, я, недавний сухановский узник, подумал с горькой иронией, но и с завистью: «Вот жили люди!»

Обычно в Сухановской тюрьме царил глубокая, гнетущая тишина. Но иногда ее нарушали страшные вопли. Либо тащили по коридору избитого страдальца, либо кричал обезумевший от страха человек. Одно время в соседней камере сидел сумасшедший. Монотонно и громко он выкрикивал одни и те же слова. Однажды, когда тюремщики были заняты моим раз-

бушевавшимися соседом, я воспользовался этим, чтобы выглянуть в щель между форточками. Была весна, и под окнами тюремного флигеля какая-то незадачливая воспитательница детского сада выстроила ребят для гимнастики. Я разглядывал детишек, которых не видел больше года, а рядом за стеной вопил мой обезумевший товарищ по несчастью: «Позовите моего брата!»

\* \* \*

Мне еще придется писать о том, как жизнь начинается «по ту сторону отчаянья». Я приблизился этому состоянию, когда отверг и соблазны уступок палачам, и соблазн самоубийства. Но то была лишь первая стадия возвращения к жизни. Ведь надо было жить. А именно этой возможности я был лишен в тюрьме. Сухановская камера была таким местом, где влияние крайней формы изоляции, «сенсорной изоляции», представляло наибольшую опасность для заключенного. На моей психике это сказалось не к концу пребывания в Суханове (тогда я уже жил интенсивно внутренней жизнью), а в первый период. В мыслях уже перевалил через хребет отчаянья, но на деле, ослабленный физическими страданиями, лишенный книг и прогулок, я в мертвой тишине голубой темницы погрузился в призрачное бытие.

Лишенный впечатлений — зрительных, слуховых, не говоря уже о пище для ума, — я по временам переставал быть самим собой. Так, по крайней мере, я теперь оцениваю те мнимые способы преодоления душевной пустоты, к которым я прибегаю в сухановской камере осенью 1940 года. Я стал «дрессировать мух». [Вспоминая об этом сейчас,] я испытываю внутреннее сопротивление и неловкость. Но если бы я не стал говорить о неприятных сторонах и последствиях тюремного заключения и лагеря, то мое повествование в целом не было бы правдивым. Ведь я рассказываю о том, как я не сдался, говорю об условиях спасения личности, и такой рассказ может быть поучительным, именно если я скажу о слабости и смятении узника.

Итак, я «дрессировал мух». Попросту говоря, я выбирал из множества мух одну, отрывал крыло и наблюдал, как она прыгает, реагирует на шорохи, отыскивает «колодец» — бумажку, смоченную водой. Замечу, что в этом занятии не было какой-либо склонности к мучительству. Мне и в детстве были чужды, неприятны игры, причинявшие животным боль, мне чужд жестокий охотничий инстинкт. Может быть, признаком «нарушения нормы» как раз и было то, что в сухановской одиночке я относился к «дрессировке мух» как к безобидному, чистому эксперименту.

Спустя тридцать пять лет я могу восстановить в памяти подробности «дрессировки мух»; это свидетельствует о том, какое место эта странная игра занимала в психике заключенного. Он сам был похож на муху с оторванным крылом. Его именно так и дрессировали, чтобы он оставался жив, но не мог нормально передвигаться и при малейшем шорохе замирал.

Примерно тогда, когда прекратились мои «игры с мухами», я осознал, что надо употребить чрезвычайные усилия, чтобы избежать деградации.

Некоторое время я колебался, размышляя, что важнее — прогулки или книги? Я принял правильное решение и объявил голодовку, требуя, чтобы мне дали книги. Уже через день явился начальник тюрьмы. Это был тот самый тюремщик, который, когда меня били по пяткам, предложил «снять носочки». [...] Мне не пришлось долго голодать, вскоре мне стали приносить книги в камеру. Более того, нашелся такой мягкосердечный надзиратель, который выслушивал мои заказы и систематически приносил мне том за томом сочинения Гегеля, книги Александра Блока и Герцена. Я с благодарностью вспоминаю этого пожилого рыжеватого человека, небольшого роста, с печальным веснушчатым лицом.

Любопытно, я до сих пор помню, что именно я почерпнул из книг Блока или Герцена, из каких именно произведений, но я совершенно не помню, что дал мне в тюрьме Гегель (кроме знаний, конечно). Мой друг, глубоко мыслящий человек, Михаил Яковлевич Гефтер, заметил по поводу этого моего наблюдения, что в огромную, замкнутую в себе систему Гегеля есть много входов, но из нее нет реальных выходов в жизнь. Это — остроумное замечание, верное хотя бы потому, что я как раз в тюрьме страстно искал в книгах «выход», эффективный ответ на коренные вопросы бытия и цели.

Когда я получил возможность читать книги, да еще по своему выбору, когда стал размышлять над философскими и поэтическими произведениями, тогда началась жизнь «по ту сторону отчаянья». Тогда я возобновил и мысленные записи в моем лирическом дневнике.

Когда я говорю здесь о «тюремных буднях», я имею в виду не только прозябание, грозящее вырождением, но и трудную «будничную работу» мысли: поиски выходов. Утешение приносили и мнимые выходы, особенно, если казалось, что они дают возможность взглянуть куда-то вглубь или ввысь.

Тот же мой друг, принадлежащий к более молодому поколению, послушав мои рассказы о тюремных размышлениях, заметил, что в описываемых мною условиях мысль стала действием. Это верно. Мысль стала действием, потому что она стала содержанием жизни в изоляции, формой творчества и формой движения в темнице. Но не всегда это было отрадным движением к достижимой цели; наоборот, в тюрьме более, чем где-либо, мысль — выражение трагической коллизии. [...]

Известны слова Шопенгауэра, сказавшего, что жизнь есть одновременно и комедия и трагедия. Я вспомнил об этих рассуждениях, потому что в их свете становится яснее, почему в тюремном заключении мысли могут стать отражением жизненной трагедии в чистом виде, могут быть трагическим действием.

В тюрьме, да и вообще в вынужденном одиночестве, особенно явно понимаешь, что мечты не осуществлены, ошибки неисправимы, надежды тщетны и смерть недалека. Но в этих же условиях на душевное состояние влияет своеобразное преимущество узника, находящегося в полной изоляции; хоть он страдает, зато освобожден на время от повседневных забот «быстротекущей жизни», от мелких житейских тягот, от сует-

ты, из-за которой трагедия — по своей сути — может обратиться в комедию — по форме.

Стало быть, в тюремном одиночестве человек, если он владеет своими нервами, может порой мыслить на уровне чистой, высокой трагедии. Правда, в одиночестве, погрузившись в размышления, человек может незаметно для себя увлечься и некими абстрактными понятиями, за которыми не скрывается доступная людям реальность. Такова была обуревавшая меня в секретной тюрьме жажда бессмертия.

Если бы я был религиозен, я бы обрадовался, что *«жив чувством соприкосновения таинственным миром иным»* — как говорил русский инок у Достоевского. Не было этого. К сожалению. Несмотря на то, что человек в тюрьме причастен к тайнам бытия больше, чем в повседневной сутолоке.

Я думаю, что страстная воля к бессмертию, томившая душу в одиночном заключении, была и выражением тоски по жизни во всем ее величии и красоте, была вместе с тем игрой ума и защитной реакцией в застенке. С этой точки зрения, мои попытки в тюрьме выразить в словах мечты о бессмертии — форма поисков выхода из тупика. [...]

Спасенье искал я в вечной жизни самой мысли: *«Хочу... свою мысль голодной других насытить бытие; хочу жить в памяти народной и знать бессмертье свое. Далекому промолвить внуку, сквозь вечность протянувши руку: “Ты — не один!”»* Еще одна мысленная длинная запись была пантеистической: *«День мой сверкает. Светла моя ночь. Нет мне начала и нет мне конца. Ветер — он сын мой, земля — моя дочь, — радуют сердце отца».*

Привожу эти записи потому, что игра мыслей в изоляции от мира отражает и прикосновенность к вечным идеям. Ведь этого добивались отшельники. Через много лет после моих порывов к слиянию с миром я прочел в книге академика Конрада выдержки из китайского трактата «Западная надпись»: *«Небо — мой отец. Земля — моя мать. Все люди — братья. Все вещи — мои товарищи».* Но зачем мне уподобляться китайским мудрецам? Ведь и русский инок призывал любить мир — «всецелою, всемирною любовью». Я мог бы сослаться и на философию еврейских цадиков. Есть объединяющая всех людей, общая всем трагедия и высшая радость...

Итак, рассказ о тюремном тупике, посвященный в значительной своей части опасным сторонам пребывания в особорезимной тюрьме, я заканчиваю рассуждением о высокой трагедии и общечеловеческой радости.

Такой ход повествования отражает развитие моего душевного мира во время долгого пребывания в Сухановской тюрьме. Тюремщики вряд ли были бы способны понять, каким образом эпитет «особая» может приобрести иной смысл, чем тот зловещий, который они ему придавали. Действительно, рассказывая о моих мечтаниях в одиночке, я описываю особое состояние, но не состояние деградации, которого добивались тюремщики, а наоборот, поиски выхода из тупика. Правда, мечты о бессмертии могли быть и формой бегства от страшной действительности. Все дело в том, что бежать от нее нельзя было. Скрыться от действительности было невозмож-

но потому, что тюрьма была частью страны (я уже писал об этом). Сухановская тюрьма с ее условиями существования, губительными для личности, была по своей сути типичной для страны и эпохи. Эти аномальные условия не могли бы стать реальностью, если бы эту тюрьму не породил античеловечный режим того времени.

Мои размышления в одиночке были не только поисками выхода из тюремного тупика, но поисками выхода из огромного лабиринта обмана и самообмана.

*1981, № 28*

# ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ



**БОРИС ЗАКС**

## **Немного о Гроссмани**

Как счастлив был бы Гроссман, если б он мог заранее твердо знать, что его роман — несмотря ни на что — когда-нибудь выйдет в свет. Конечно, он на это надеялся, все для этого сделал, но быть уверен все же не мог.

У Томаса Манна есть статья «Роман одного романа» (о том, как он писал «Иосифа и его братьев»). Если использовать это выражение в применении к истории книги Гроссмана, то роман его романа отличается тем, что сюжет начинается развиваться лишь после того, как основной роман закончен. Тогда-то и происходят все главные события: роман запрещен, заклеен, даже арестован, а вместе с тем — надежно припрятан и тайно проникает за границу — к издателям и к читателям; но автора давно уже нет в живых и он не может порадоваться спасению своей книги, стоившей ему многолетнего труда и многолетних мучений.

\* \* \*

С Василием Семеновичем Гроссманом я встречался не часто, но на протяжении почти двух десятков лет и в самой различной обстановке — от редакции до коктейбельского пляжа. Не могу сказать, чтобы знакомство с ним было близким. А потому мои отрывочные воспоминания — не столько о самом Гроссмани, сколько о некоторых фактах, так или иначе с ним связанных; штрихи, которые, возможно, отчасти дополняют то, что о нем уже написано или будет написано в дальнейшем. [...]

Впервые я увидел Гроссмана в 1946 году, когда печаталась его пьеса «Если верить пифагорейцам». Что я знал тогда о нем? Кроме объемистого романа «Степан Кольчугин» — только очерки «Направление главного удара» и «Тремблинка». Роман показался скучным, очерки оставили сильное впечатление.

Судьба пьесы, разруганной в советской печати, нисколько не сказалась на непоколебимом спокойствии Гроссмана. Так, по крайней мере, это выглядело со стороны. Василий Семенович оставался таким же, что и всегда, — немногословным, неторопливым.

Не только во внешнем облике Гроссмана, но и в речи его была некая тяжеловесная основательность. Чаще всего он глядел хмуро, неприветливо,

но, когда улыбался, лицо менялось, на щеках появлялись детские ямочки, и видно было, что человек он, в сущности, очень добрый. И смех его звучал добродушно. Но автором он слыл на редкость трудным — упрямым и непокладистым.

Несколько лет спустя, когда Твардовский в первый раз стал редактором «Нового мира», в журнале был напечатан роман Гроссмана о войне. Вернее, первая его часть, единственная, увидевшая свет при жизни автора.

Если впоследствии судьба второй части романа обернулась для Гроссмана подлинной трагедией, то и с первой частью было связано много трудностей и огорчений.

Как сотрудник отдела прозы «Нового мира» я принимал участие в процессе редактирования романа. Однако роль моя в данном случае была более чем скромной, почти технической. Формально — так называемого ведущего редактора у романа не было вообще. С самого начала им занимался сам Твардовский. Но, кроме него, непонятным образом еще и Фадеев тоже выполнял нечто вроде функций редактора. Отчего так получилось — объяснить трудно. Скорее всего, это было результатом инициативы еще Симоннова, предшественника Твардовского. Однако факт остается фактом: все-таки секретарь Союза писателей не только прочитал роман в рукописи, не только дал положительный отзыв, но и стал вникать в чуть ли не построчное редактирование. Правда, в «Новом мире» Фадеев не появлялся ни разу. Все делалось либо письменно, либо по телефону.

Первая зацепка произошла с названием. Гроссман назвал свой роман «Сталинград». Фадеев возражал: слишком ответственно! (Прецедент уже был. За несколько лет до того повесть В. Некрасова, в журнале называвшаяся так же, пришлось в отдельном издании переименовать: «В окопах Сталинграда».) Кто-то придумал: «Правое дело». Фадеев прибавил спереди «за», Гроссман согласился. Так и осталось: «За правое дело».

Тем самым программа — по видимости, безопасная — была заявлена с первой строки, с заглавия. (Что, как показало дальнейшее, ничуть не помогло; не спас и фадеевский авторитет.)

Мучительно медленно продвигался роман к печати. Гроссман поддавался давлению очень туго. Порой мне даже казалось, что он излишне упорствует по мелочам, потом я понял, что это отражало последовательную, принципиальную позицию. Твардовского с Гроссманом связывали дружеские отношения, они даже были на «ты», к чему А. Т. вообще-то был мало расположен. Он держался примирительно, советовал, ободрял, иногда спорил, стараясь убедить... В конце концов был найден модус, удовлетворявший Фадеева и устраивавший Гроссмана. Роман пошел в печать.

Сейчас, оглядываясь в прошлое и пытаюсь понять роль Фадеева в истории романа Гроссмана, я думаю, что Фадеев делал определенную ставку на этот роман как на одно из достижений советской литературы. Ему нужны были весомые, солидные, написанные уверенной писательской рукой образцы социалистического реализма.



Но эта его ставка провалилась. Многолетний руководитель Союза писателей, член ЦК еще с XVIII съезда партии, хитрый и властный политик, Фадеев просчитался. Видимо, представление о Гроссмане как об авторе положительном, идейно выдержанном трансформировалось у инстанций, получивших право сказать решающее слово, и Гроссман превратился в автора неблагонадежного, склонного к опасному философствованию. Силы более могущественные, чем Фадеев, взяли верх.

Сразу же после опубликования в «Новом мире» роман подвергся форменному разгрому. Грубая и глупая статья М. Бубеннова в «Правде» задала тон кампании по травле В. Гроссмана в печати. Говорят, это делалось по указанию Сталина. Возможно. Недаром даже сам Фадеев круто изменил свою позицию и в одной из речей тоже счел нужным обрушиться на Гроссмана.

И хотя ценой дальнейших проволочек и дальнейших уступок роман все же вышел и отдельным изданием, судьба Гроссмана становилась все труднее.

Он очень мало, редко печатался. Работал над второй частью своего романа, о чем мало кто знал. Разве что ближайшие друзья. И уж совсем не вовремя произошла размолвка с Твардовским. Из-за чего они поссорились, мне показалось неловким расспрашивать. Думаю, однако, что повод был несущественный. Их отношения прервались надолго. И потому, закончив вторую часть романа, Гроссман не пошел с ней в «Новый мир», а отдал в журнал «Знамя».

Потянулись долгие месяцы ожидания. Именно месяцы, ибо, как стало известно впоследствии, стоило в «Знамени» ознакомиться с романом всего лишь одному члену редколлегии, как рукопись тут же переправили в ЦК. А там, конечно, не спешили... Гроссману же редакция не сообщила ровным счетом ничего. Вряд ли он даже знал, где его роман. И был слишком самолюбив, чтобы торопить с ответом.

Редакция ждала, что прикажут в ЦК, автор ждал, что же решит редакция.

Так обстояло дело в тот день, когда Гроссман и Твардовский внезапно встретились на лестнице Союза писателей. Лестница довольно узка, и они, можно сказать, почти столкнулись нос к носу.

Кто-то из них — совершенно нечаянно — поздоровался. А другой — столь же автоматически — ответил.

Кто был первым, кто вторым — осталось невыясненным. Но, поздоровавшись, они приостановились; остановившись, заговорили; а заговорив, отправились в ресторан ЦДЛ, чтобы продолжить разговор за скрепляющей мировую бутылкой коньяку.

Во время этого разговора Гроссман поведал о своей беде, о том, что он истомился в ожидании ответа, и попросил Твардовского прочитать его роман. Что сделано, то сделано: рукопись в «Знамени», этого не изменишь, но ему хочется дать роман Твардовскому не как редактору, а просто как другу, мнение которого для него важно.

Твардовский сразу же согласился.

Он прочитал роман сам, дал прочесть нескольким членам редколлегии. По поводу возможности опубликования романа у него не возникло ни малейших иллюзий. Роман явно непроходим, его не то что в «Знамени», ни в каком другом журнале не напечатать. В романе нарушены все табу. Сквозь весь роман проходит параллелизм: сцена у Гитлера — сцена у Сталина, нацистские функционеры — советские члены военного совета... Одни других стоят! Концлагерь немецкий — концлагерь советский... Антисемитизм в СССР... Атомная бомба и моральные проблемы, возникающие перед учеными в связи с ее созданием... Все не то, все не так, как положено!

Ситуация была абсолютно безнадежной, ничего утешительного сказать Гроссману Твардовский не смог.

Помню, как сидел он у себя в кабинете, облокотившись на письменный стол и, в буквальном смысле слова, схватившись за голову.

— Господи, — с горечью говорил он, — неужели у этого человека нету ни одного друга, который объяснил бы ему, что нельзя, невозможно было отдавать этот роман в «Знамя»!

Почти год ждал Гроссман ответа и наконец-то дождался: ему вернули рукопись, коротко сообщив (от редакции, разумеется, без всякой ссылки на ЦК), что, мол, роман антисоветский. И всё — ни объяснений, ни мотивировок.

Это выглядело зловеще. Как отзыв не только о романе, но и об авторе. Как предвестие худшего...

Однажды, когда я работал дома, за мной вдруг прислали курьера: надо срочно явиться в редакцию, зачем — не было сказано. Твардовский был в отпуску, меня встретил его заместитель и спросил, где рукопись романа Гроссмана. Я ответил, что она там, куда Твардовский велел ее положить: в сейфе. Зам сказал, чтобы я принес ее к себе в кабинет.

Сейф стоял в проходной комнате перед моей дверью. Я вынул из него папку с рукописью и прошел в свой кабинетик. Там в моем кресле сидел у стола незнакомый человек в штатском. Зам, взяв у меня папку, положил на стол. Незнакомец развязал тесемки, заглянул в папку, полистал чуть-чуть, словно удостоверясь, то ли это, что нужно, потом написал несколько строк на листке бумаги и протянул мне. Привожу по памяти содержание этой бумаги: «Расписка. Роман В. Гроссмана “За правое дело”, часть вторая, получил. — Полковник Бардин. 14 февраля 1961 г.»

Полковник положил папку в портфель и ушел, унося с собой арестованный роман.

(Бумажка, выданная им, была на месте, когда я сдавал дела, и я не раз жалел, что не прихватил ее на память. Впрочем, что толку... Все равно она вряд ли уцелела бы впоследствии при обыске.)

Арест романа был едва ли не первым случаем такого рода. Когда арестовывали писателя, заодно с ним забирали и его бумаги. Это известно. Но

чтобы взяли рукописи, оставив автора на свободе, — такого еще никто, пожалуй, не слыхивал.

Стали известны и некоторые подробности. Рассказывали со слов самого Гроссмана, что к нему пришли из КГБ и потребовали выдать все машинописные экземпляры романа. Он отдал. Потребовали все черновики. Он помог собрать все, до листочка. Тогда спросили, все ли копии тут, нет ли еще где-нибудь экземпляра? Он ответил, что есть в «Новом мире». В результате, полковник Бардин отправился к нам в редакцию.

Твардовский находился тогда в санатории. Под датой 21 февраля 1961 г. у меня значится краткая запись: «Звонил А. Т. Он очень недоволен историей с рукописью Гроссмана».

Бесполезно гадать, как поступил бы Твардовский, будь он в тот день в редакции. Хочу лишь напомнить об одной детали, которая мне кажется существенной, но вряд ли кому-нибудь знакома: поскольку роман официально не поступал в редакцию, а был дан Твардовскому из рук в руки для дружеского прочтения, его никто нигде не регистрировал; ни в одной книге, ведомости, ни на одной карточке роман не значился находящимся в «Новом мире».

Долго оставалось для меня загадкой, зачем Гроссман раскрыл местонахождение этого, едва ли известного КГБ экземпляра? Ведь, казалось бы, так просто умолчать, скрыть самое его существование... Неужели то было всего лишь проявление наивной и неуместной рудиментарной правдивости? Немало лет прошло, пока, наконец, мне не стало ясно, чем это являлось на самом деле: трезвым, умным расчетом, уловкой, доведенной до конца. В беседах с близкими друзьями Гроссман говорил, что ему нестерпимо не хватает рукописи, хотя бы черновой, что ему хочется еще поработать над романом, а у него нет ни клочка и потому он сделать ничего не может..

И когда впоследствии появились первые слухи о том, что за границей есть вторая часть романа Гроссмана, я этому никак не мог поверить. Как мне сейчас ни странно вспомнить, я даже яростно оспаривал правдоподобность этих слухов. А ведь к тому времени я уже прочитал ходившую тайно по рукам повесть «Всё течет», о которой при жизни Гроссмана всеведущая московская молва и полсловечка не проронила. Сумел же он ее скрыть, сохранить...

В конце своей жизни Гроссман год или полтора был почти что моим соседом, он поселился в одном из трех расположенных в виде буквы «П», кооперативных жилых корпусов на Аэропортовской улице. Окна его маленькой однокомнатной квартиры выходили во двор напротив моих. Жил он в то время совершенно один. Квартира над ним долго не заселялась, и в доме были убеждены, что там устанавливается подслушивающая аппаратура для слежки за квартирой Гроссмана. Знал об этом, конечно, и сам Василий Семенович.

Однажды, рано утром, ко мне домой неожиданно пришел Твардовский. Ему нужен был Гроссман, но он не помнил ни номера квартиры, ни телефона. От меня он позвонил Василию Семеновичу и договорился, что зайдет. Я проводил его до самого порога квартиры Гроссмана, но сначала мы зашли в магазин и купили поллитра.

Спустя час или чуть больше снова раздался звонок в дверь. Пришли оба — А. Т. и В. С. Все вместе мы уселись на кухне, появилась на столе бутылка, продолжился разговор, начатый дома у Гроссмана.

Твардовский говорил взволнованно, возбужденно. Гроссман — спокойно, по нему совсем не заметно было, что он выпил.

Воспроизвести их длинный и довольно-таки бессвязный разговор — невозможно. Приведу лишь две-три отчетливо запомнившиеся мне реплики, которые, кажется, дают суммарное представление, как и о чем шла речь.

— Вася, ты ведь замечательный, большой писатель!.. Нельзя допустить, чтобы твой роман погиб... Помоги мне спасти его для читателя. Вася!..

— Нет, Саша, нет! Я, Саша, тебя люблю, никогда не забуду, как на фронте ты меня уложил на свою койку, а сам лег на пол... Но уступить я не могу. Больше раком становиться не буду. Характер не тот...

На том все и кончилось.

Попытка Твардовского уговорить Гроссмана согласиться на некоторые уступки, что дало бы возможность начать хлопотать о возврате рукописи, — успеха не имела. Думается, однако, попытка эта в любом случае была обречена с самого начала. Даже если бы Гроссман пообещал кое-что изменить, роман не отдали бы. Политзаключенных не так-то легко выпускают на свободу.

И еще один эпизод вспоминается из того времени. В «Новом мире» набрали очерк Гроссмана об Армении. Было там пространное рассуждение о судьбах армянского народа и попутно, как параллель, страничка о еврейском народе. Эту страничку цензура категорически потребовала снять. Гроссман столь же категорически отказался. Очерк не смог появиться в журнале.

14 сентября 1964 года Василий Семенович Гроссман умер.

Поздним вечером того дня я вышел на балкон, но тут же вернулся — позвать жену. Потушив свет в комнате, мы минут двадцать простояли на балконе в темноте и наблюдали, как напротив, на четвертом этаже, в квартире Гроссмана, скользят по стенам светлые круги от карманных фонарей. Кто-то тайком что-то искал. Но кто? Были ли это друзья, пытавшиеся спасти бумаги покойного? Или недруги, срочно нагрянувшие с секретным обыском, чтобы опередить родственников? В наших домах все узнавалось очень скоро. Это не были друзья. А утром пришли еще раз, вполне открыто, и опечатали квартиру.

В гробу Василий Семенович был неузнаваем — худой, почерневший. Болезнь, мучительные страдания, вызванные ею, страдания, вызванные трагической участью его книги — все это наложило свою печать.

Но, умирая, он знал то, чего не знали стоявшие вокруг гроба в тесном конференц-зале Союза писателей.

Что рукопись его последнего романа надежно скрыта.

Что она есть.

Что он перехитрил своих гонителей...

А теперь уже есть не только рукопись, но и книга. Роман вышел в свет.

И пусть бдительные сторожа архивных камер все еще держат за семью замками кипу изъятых бумаг Гроссмана, — роман его уже вне их власти. Он вырвался на волю.

Таков конец одного романа. Запоздалый счастливый конец.

*1980, № 26*

## МАРИЯ ШНЕЕРСОН

### Разрешенная правда

У народа, лишённого общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести.

Цензура — та же паутина: маленьких мух она ловит, а большие ее прорывают. Намеки на личности, нападки умирают под *красными чернилами*: но живые мысли, подлинная поэзия с презрением проходят через эту переднюю, позволив, самое большее, немного себя почистить.

*А. И. Герцен*

Мысли Герцена, высказанные сто тридцать лет назад, звучат так, словно они принадлежат кому-то из нынешних критиков. Но ведь современная русская литература многолика. Никто не станет спорить, что словами Герцена можно охарактеризовать лучшие вещи Самиздата и Тамиздата. Никто не станет спорить, что слова эти не имеют никакого отношения к литературе соцреализма. Но можно ли отнести их к таким подцензурным писателям, как, скажем, В. Распутин, Ю. Трифонов, В. Белов?

На этот счет существуют разные мнения. Неоднократно говорил о современных «легальных» писателях А. Солженицын. *«Не такое уж бесплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нем всё, что даёт питание и влагу живому, а живое все-таки выросло. Можно ли не признать за живое “Теркина на том свете” и криволучинских мужиков (“На Иртыше” С. Залыгина. — М. Ш.)? Как не признать живыми имена Шукшина, Можяева, Тендрякова, Белова да и Солоухина?»*<sup>1</sup>

Через 12 лет Солженицын даёт аналогичную оценку: *«Русская литература всего больше меня поразила и порадовала именно в эти годы, когда я выслан.*

---

<sup>1</sup> Солженицын А. Бодался теленок с дубом.

*И не в свободной эмиграции она имела успех <...> а у нас на родине, под мозжащим прессом. И созданал этот успех даже именно на главном стержне русской литературы, который в советской критике полупрезрительно называют “деревенской литературой”*<sup>2</sup>.

Противоположная точка зрения выражена в статье Ю. Мальцева «Промежуточная литература и критерий подлинности»<sup>3</sup>. «Промежуточной» автор называет русскую подцензурную литературу, не прославляющую советскую власть, как литература соцреализма, но и не обличающую советский строй, как диссидентская. Речь идет о писателях, которые «*просто пишут хорошие книги*», но при этом не подвергаются репрессиям. «*Писатели эти не подходят даже близко к постановке кардинальных проблем советского общества*», — заключает критик. [...] Русскую подцензурную, но не официальную литературу, которую Мальцев окрестил «промежуточной», автор «Архипелага ГУЛаг» назвал «стержневой литературой».

\* \* \*

[...] Мальцев формулирует свой приговор: «*Разрешенная правда подозрительна самим уже фактом ее разрешения*».

Рассуждает критик вполне резонно, опираясь на законы логики. Первая посылка: в СССР существует жестокая цензура, не допускающая критики советского строя. Вторая посылка: в СССР печатаются Белов, Трифонов, Астафьев и др. Вывод: следовательно, эти писатели говорят неправду или полуправду и не подвергаются критике существующий режим. Незачем даже тратить время на чтение разрешенных писателей, заранее установив, что произведения их не могут быть полноценными.

Однако помимо силлогизма насчет литературы и цензуры Мальцев дает и развернутую аргументацию. Приводятся цитаты из статей и из интервью «промежуточных» писателей. Устанавливается, что ни один из них не сидел в тюрьме или в доме для умалишенных, не был в ссылке, не выдворялся за границу. Хуже того: этих писателей ценят некоторые либеральные критики и даже еврокоммунисты. И еще хуже: они, эти писатели, ездят с разрешения властей по заграницам! «*Разгуливая свободно по улицам Парижа и Рима <...> эти честные писатели играют в нечестную игру <...> Ложь само их присутствие на Западе*».

Часто бывал, скажем, за границей покойный Высоцкий. Пел он в каком-нибудь Париже или Нью-Йорке свои песни, притом не самые крамольные, и ни разу не обмолвился о злодеяниях советской власти. Вывод очевиден: хотел того или нет, но объективно служил интересам КПСС! Но почему же, — напрашивается вопрос, — почему соотечественники так хоронили

---

<sup>2</sup> Солженицын А. Интервью Би-Би-Си, февраль 1979.

<sup>3</sup> «Континент», № 25. Опубликовать статью Мальцева в настоящем томе редакция не сочла целесообразным, т. к. указанная статья подробно пересказана М. Шнерсон. — *Прим. ред.*-2012.

своего поэта? Ведь не как верноподданного же?! Значит, честные русские люди не поставили ему в вину частые поездки за рубеж. Почему же Мальцев так строг к тем, кто хоть изредка может вырваться из своей тюрьмы, подышать вольным воздухом, чтобы вновь вернуться за решетку?! Впрочем, критик склонен даже прощать этих, «промежуточных»: *«Ведь не их вина, что режим их использует как орудие своей пропаганды. Не этого они хотели...»* [...]

Как правило, анализа в статье нет. Есть вырванные из художественного контекста цитаты. Есть безапелляционные оценки. Например, говорится, что произведениям В. Распутина присущи *«частые композиционные просчеты, сбивающие напряжение, расслабляющие эту трагическую атмосферу»*. Быть может, критик прав. Но о каких просчетах идет речь, в каких произведениях они встречаются, — читателю остается неизвестным. В другом месте утверждается, что *«Распутин почти никогда не опускается до мелких подачек цензуре»*. Значит, все же иногда опускается? Где? Что это за подачки? Бог весть!

Столь же голословно звучат и некоторые обобщения: *«деревенщики прячутся от проблем в фольклоре»*; *«Трифонов уходит в “интим”, в частную жизнь и психологию»*. И мы должны поверить на слово. Утверждая, что «промежуточные» *«отгораживаются от жгучих проблем России»*, Мальцев замечает: это *«всякому вдумчивому читателю очевидно»*. Какие ж тут еще требуются доказательства?! [...]

\* \* \*

Статья Мальцева претендует не только на оценку «промежуточной» литературы, но и на установление критерия подлинности. Каков же этот критерий? Он очень прост.

Отметив, что для всех нас *«политика стала неотъемлемым компонентом бытия»*, критик требует от художественной литературы, чтобы она решала кардинальные политические и социальные проблемы современности. Фактически он ставит знак равенства между произведением искусства и политическим трактатом. [...]

Конечно, историк, социолог, политический мыслитель могут со своих позиций оценивать произведения искусства. Можно и «Евгения Онегина» рассматривать как «документ эпохи» и как источник сведений о русской экономике 20-х годов XIX века. Но ведь Ю. Мальцев выступает в качестве литературного критика. И именно в качестве такового он уличает писателей в том, что они не освещают в своих произведениях следующих важнейших социальных и политических проблем (перечень их дается на полутора страницах): нарушение прав человека в СССР, деятельность КГБ, деятельность диссидентов, эмиграция из СССР, принудительный труд, нехватка мяса и молока, привилегии партийной элиты, состояние статистики в Советском Союзе и т. д., и т. п.

Что тут возразишь. Разве лишь продолжишь список... Да еще, пожалуй, призадуматься о неполноценности русской классической литературы. В



«Евгении Онегине» и в «Войне и мире» ничего нет об ужасах крепостного права. В «Демоне» и в «Герое нашего времени» ничего не говорится о разгроме декабристов. В лирике Пастернака... там вообще ничего нет, да к тому же автор не помнит, *«какое, милые, у нас тысячелетие на дворе»*.

Неужели в полноте политической информации можно усматривать критерий подлинности произведений искусства? Солженицын, которого уж никто не упрекнет в «аполитичности», утверждает, что задачи литературы не сводятся к защите или критике государственного устройства. Он советует молодым писателям: *«Не надо гнаться за поверхностной политической сатирой — это самый низший вид литературы»*. Он видит задачи художника в раскрытии тайн человеческого сердца и совести, в постановке надвременных общечеловеческих проблем. *«Закон поэзии быть выше своего гнева и воспринимать существующее с точки зрения вечности»*, — говорит автор «Архипелага ГУЛАГ».

Аналогичные мысли не раз высказывали и русские классики XIX века. [...]

\* \* \*

Представим себе на минуту, что Солженицын создал только «Матренин двор», где так же, как и в других подцензурных произведениях, не показано, что *«в каждом селе есть парторг и штатный стукач»*. К какой категории писателей отнес бы его критик? Теперь же Мальцев противопоставляет «Матренин двор» произведениям «деревенщиков»: *«Эту гнетущую, болезненную атмосферу советской деревни сумел передать Солженицын в своем тоже подцензурном “Матренином дворе”. Там сохранено реальное соотношение света и тьмы, праведников и неправедных. У деревенщиков же сплошь праведники и полуправедники»*. И в другом месте: у «деревенщиков» *«современная русская деревня стилизованная, мужики — идеализированные»*. Но обратимся к фактам.

Почти одновременно с «Матрениным двором» (он был напечатан в «Новом мире» за 1963 год, № 1) появился рассказ А. Яшина «Вологодская свадьба» («Новый мир», 1962, № 12). Оба писателя, независимо друг от друга (о чем свидетельствуют даты публикации их рассказов), с чувством великой горечи изображают духовное обнищание современной деревни. Разница заключается лишь в том, что Яшин не видит в ней ни одного праведника!

Автор присутствует на свадьбе в глухой вологодской деревне. Его трогают простые, за душу хватающие свадебные песни и причитания. Но нет ничего общего между народной поэзией и реальной жизнью. В песнях поется, как невеста трепетно ждет жениха, как он скачет на тройке с бубенцами. А Галин жених приезжает на самосвале, да притом совершенно пьяный. Он порывается бить невесту, *«хорохорится, рубаху на себе рвет, ваньку валяет»*. И слышится беседа замужних женщин: «Твоего только в милицию возили, а мой уже в тюрьме сидел не раз», — говорит одна. «Думаешь, мой не сидел?» — возражает другая. И обе вздыхают: «Всё водка». Безрадостная картина колхозной жизни раскрывается и в других разговорах. Все горше становится на душе у автора, и даже природа не может его утешить. Так обнажается в рас-

сказе бездуховность современной деревни, так раскрывается в нем «правда о душе человека». Нет, какие уж тут праведники! Их нет и в помине.

*«Вологодская свадьба» — явление не случайное. Не один только Яшин скорбит о духовной деградации народа. Между тем, Мальцев утверждает иное: «Одичание народа и вырождение русской нации они всеми силами стараются не замечать. Представляют все дело так, будто речь идет лишь об отдельных индивидах, оторвавшихся от земли, развращенных городом, таких, как Алька Абрамова или дети старухи Анны у Распутина».*

В повести Распутина «Последний срок» речь идет не об отдельных индивидах, а о поколении, которое пришло на смену умирающей Анне — хранительнице народной мудрости и нравственных устоев. И трагедия заключается не в том, что пришло время умирать старому человеку, а в том, что Анна умирает, не оставив духовных наследников. Рисуя нравственную гибель нового поколения, автор вовсе не сваливает вину на городские условия, якобы развращающие крестьян. Ведь один из самых озверевших детей Анны — Михаил всю жизнь прожил в деревне. Главное в его жизни — выпивка. Мать еще жива, а он спешит купить ящик водки для поминок и, пока старуха медленно отходит, не выдерживает и потихоньку осушает бутылку за бутылкой. А его малолетняя дочка? Она выросла на земле, в глаза не видела города. Но умирает бабушка, а девочка думает лишь о том, как бы заполучить и сдать бутылки, чтобы купить конфет. Она шантажирует отца, доносит матери, шпионит, хитрит. Издавна в русской литературе чистый мир ребенка противопоставлялся миру испорченных жизнью взрослых. А здесь лучшее, что было в народе, уходит вместе с Анной. И город тут ни при чем. «Правда о душе человека», раскрытая в повести, звучит как отчаянный призыв в одной из песен Высоцкого: «Спасите наши души! Мы гибнем от удушья!»

Мальцев справедливо отмечает: *«Ведь самым страшным в современной советской жизни является, пожалуй, не политический гнет, не материальная нужда и даже не общеобязательная идеологическая ложь <...> Гораздо страшнее одичание народа, его моральное вырождение...»* Но ведь об этом-то и скорбят писатели, которых критик именует «промежуточными». А он почему-то старается умалить их роль. [...] *«Можав между прочим, как о чем-то заурядном»,* говорит о безобразных явлениях. Но ведь в том-то и состоит весь ужас, что безобразное примелькалось, что оно стало заурядным, повседневным. Не случайно же одно из самых значительных произведений подцензурной литературы — повесть В. Белова — так и называется «Привычное дело».

Да, они не пишут лозунгов, не рисуют плакатов... Но ведь азбучной является простая истина: художественная литература — не отчет Эмнести Интернейшнел, не публицистическая статья, где должны быть поставлены все точки над «и». Мальцева возмущает, что у «промежуточных» *«нет убедительных ответов на вопросы, поднимаемые диссидентами».* Но опять-таки сошлюсь на классиков: *«...цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос...»* (Толстой); *«В «Анне Карениной» и в «Евгении Онегине» не решен ни один вопрос, но они вполне удовлетворяют нас...»* (Чехов).

Критик упрекает подцензурных писателей в склонности ограничиваться изображением отдельных деталей — вместо того, чтобы рисовать целостную картину современной действительности. Но недостаток ли это или такова природа искусства? Впечатляющая деталь говорит нередко нашему воображению куда больше, нежели пространственные рассуждения. Вспомним хрестоматийный пример — галоши и зонтик Беликова. Быть может, искусство впечатляющей детали и помогло писателям, пишущим под дамокловым мечом цензуры, говорить то, что они хотят сказать, не опускаясь до лжи и приспособленчества. Эта мысль принадлежит не мне. *«Могу сказать о современной русской прозе... [...] Если учесть ту невероятную цензурную мясорубку, через которую авторам приходится пропускать свои вещи, то приходится удивляться их растущему мастерству: малыми художественными деталями сохранять и передавать нам огромную область жизни, запрещенную к изображению»*<sup>4</sup>.

...Предсмертные слова Шукшина, обращенные к читателям, слова, которыми оканчивается последний его рассказ «Кляуза», могли бы послужить эпиграфом ко всему им созданному: «Что с нами происходит?»

«Кляуза» — неприхотливый документальный рассказ, описание частного случая: дежурная по больнице не пустила к больному писателю посетитель. Казалось бы, речь идет о злой бабе — и только. Но автор делает неожиданный вывод: *«жить же противно, жить неохота, когда мы такие»*. Нет, нет, ничего антисоветского в рассказе «Кляуза» вы не найдете! Рассказ этот был напечатан в журнале «Аврора» и перепечатан в «Литературной газете». Хвалили автора. Мол, верно подметил: «Тьма отдельных недостатков у отдельных есть людей». А ему — *«жить неохота»*...

Не только «Кляуза» проникнута этим отвращением к нашей жизни. Все творчество Шукшина об этом: говоря словами Мальцева, об «одичании народа», о его «моральном вырождении», о человеконенавистничестве, несправедливости, о смертной тоске выбившихся из колеи бедолаг. [...]

Таковы и другие произведения Шукшина. Но загляните поглубже в воссозданный им мир чудиков и неудачников, доживающих свой век стариков, спившихся нравственных уродов — и перед вами предстанет картина нестройной, неладной, изуродованной жизни. «Долой советскую власть!» — писатель не кричит. Но страшно, но мучительно трудно жить в его мире.

И как же много умеет он сказать на двух-трех страницах! [...] Шукшин-художник ни словом не обмолвился о теории классовой борьбы, о трагедии раскулачивания, о коллективизации. Но глубокий подтекст, философская основа его рассказов по сути своей противоречат официальной доктрине. Писатель опровергает ее на языке искусства. Он пишет о великом и главном, что делает человека человеком, — о Добrote. И имеющий уши — да слышит.

<sup>4</sup> Солженицын А. Из интервью газете «Монд», февраль 1973.

Игнорируя трагический подтекст шукшинских произведений, Мальцев пишет: *«Вот и Шукшин очень хорош, пока он описывает нам встречу с волками в лесу, или измену жены, или смерть сына — все это в некоем абстрактном обрамлении, неизвестно где и когда происходящее. Но едва он входит в социальный контекст и старается уточнить деталями время и место, сразу же появляется неправда».*

Раскроем один из упомянутых здесь рассказов — «Волки», где Шукшин якобы лишь описывает встречу с волками в лесу. Сюжет рассказа, действительно, вне времени и пространства: Иван Дегтярев и тесть его Наум Кречетов отправились в лес по дрова. На них напали волки. Наум, испугавшись, ускакал, хотя оба топора были в его саях. Зять его с трудом отбил от волков, а лошадь погибла. Озлившись, Иван хочет избить тестя, но тот прибегает к помощи милиционера.

Таков рассказ, если рассматривать его как газетный репортаж о каком-то частном происшествии. Но «Волки» — не что иное, как развернутая метафора. Речь идет не о том, как волки напали на людей, а о том, что люди превратились в волков, что человек человеку — волк. Зять и тесть уже давно ненавидят друг друга. [...]

Дело, конечно, не в том, что в рассказах Шукшина рассыпаны какие-то тонкие намеки, аллюзии, отдельные реплики. Дело в общей концепции, и не одного какого-то рассказа, а всего творчества безвременно погибшего писателя. Он ушел от нас, потому что «его съедала человеческая тоска. И ложь окружавшая»... А теперь его упрекают во лжи...

«Что с нами происходит?»

Есть нечто общее в судьбе Шукшина и Высоцкого. Оба они — люди разносторонне одаренные, оба актеры и писатели, оба погибли сорока с небольшим лет, оба умерли в одночасье. Смерть обоих — что-то вроде самоубийства, хотя формально и не самоубийство. Просто не выдержали. Задохнулись. Но главное — есть нечто общее в их творчестве, в их художническом облике. Герои Шукшина и Высоцкого поразительно похожи. Вспомните персонажей из песен Высоцкого. Тот же мир, проникнутый гнетущей пустотой, безысходной тоской... Тот же измученный, надрывный авторский голос... И что с того, что один печатался и ставил фильмы, а другого не печатали? Разве это главное? О главном сказал В. Некрасов: *«В его рассказах, фильмах, ролях ни признака вранья, желания схитрить, надуть, обмануть. Все правда. И талант заставлял эту правду глотать. Даже тех, кому она претила. Глотали ж, глотали».* Нет, все не так просто: печатали Шукшина — значит, не подлинный; не печатали Высоцкого — значит, настоящий.

«Глодают»... и пытаются обезвредить неугодных писателей разными способами: издавать малыми тиражами, печатать в периферийных журналах, недоступных для широкой публики (в «Просторе», «Севере», «Дружбе народов»); в рецензиях хвалят за то, чего нет в произведении, и молчат о том, что там есть. Но читатель достает дефицитные книги и журналы, не обращает внимания на фальшивые рецензии — и читает, читает, читает...

Конечно, можно найти немало произведений, где рядом с правдой уживается компромисс, где писатель, следуя естественному и отнюдь не порочному стремлению быть напечатанным, чем-то поступает, что-то добавляет. Но ведь и Толстой впервые опубликовал «Воскресение» в изуродованном виде: из 123-х глав романа только 25 были напечатаны без цензурных искажений, а три оказались полностью изъятыми. Я не в оправдание это говорю. Я вообще не считаю себя вправе оправдывать или обвинять тех, кто хочет, чтобы их услышали современники, и ради этого нечто теряет. Мне такого рода компромиссы кажутся сомнительными, но и тех, кто на них идет, можно понять.

Очевидно одно: несомненное преимущество печатного станка перед «Эрикой». Нет, недостаточно четырех копий для страны с многомиллионным населением! Машинописные страницы доходят лишь до читательской элиты, в основном — до москвичей и ленинградцев. «А там, во глубине России, там вековая тишина...» Читательская аудитория, ее масштабы — фактор немаловажный. Это в начале XIX века поэт мог писать «Для немногих». Но уже Пушкин мечтал: «И назовет меня всяк сущий в ней язык».

Влияние на умы подцензурной литературы куда более широкое, нежели самиздатской (независимо от качества той и другой), так как тиражи их несоизмеримы. И великое дело делает тот писатель, кто «малыми художественными деталями» обнажает перед широкой читательской аудиторией «огромную область жизни, запрещенную к изображению»!

\* \* \*

Ярлыки, спасительные ярлыки, без которых мы и здесь — ни шагу, не помогут нам разобраться в таком огромном, запутанном, разноречивом, вечно движущемся явлении, как русская литература советского периода (кто-то так уже назвал все то, что не есть соцреализм).

Мальцев пользуется термином «деревенщики». Но неужели в «Прощании с Матерой» говорится только о деревне? А не о жизни и смерти, о человеке и природе, о смене поколений, о добре и зле, о вере и безверии?.. Да ведь и сам критик пишет о Распутине:

*«У него боль о России и русском крестьянстве высветляется страстной верой в оздоравливающую силу христианства <...> Христианский пафос, присущий и другим промежуточным, у Распутина выражен с наибольшей силой». Это что же — «деревенщина» — и только?!*

Другой ярлык — «промежуточные». Да кто же эти «промежуточные»? Мальцев называет Ю. Трифонова, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, В. Шукшина, В. Распутина, В. Тендрякова. Список можно бы значительно расширить. Назовем С. Зальгина, Е. Носова, А. Яшина, А. Бека, В. Быкова, Г. Бакланова, А. Вампилова, Б. Окуджаву, О. Чухонцева, Д. Самойлова... Да и Ч. Айтматова с его «Белым пароходом» и «Прощай, Гольсары». И К. Воробьева (был такой честный прекрасный писатель, к сожалению, почти забытый) — автора горькой, по-гамсуновски тонкой вещи

«Вот придет великан». А к какой категории отнести тех, чьи произведения и печатались, и распространялись подпольно? Неужели все произведения В. Гросмана, Ф. Искандера, А. Битова, В. Аксенова, напечатанные в СССР, так сказать, «промежуточные», а те их вещи, которые распространялись в Самиздате или издавались за рубежом, — подлинные?

И разве все эти писатели из одного теста? Всех на одну полочку уложить можно, под одним ярлыком завести на них папку — «Дело о промежуточных»?..

На наших глазах произошло чудо — родилась целая богатейшая литература. Невероятно? Невероятно, но факт!

Тем и замечательна покинутая нами страна, что в ней все возможно, даже то, что совершенно невозможно.

Как часто уподобляемся мы судьбе Ляпкину-Тяпкину, выискивая «тонкие и больше политические причины» всюду, где надо и где не надо. Но не бесплодное ли это занятие? Произвол — он и есть произвол. И, думается, объяснения, которые дает Мальцев, пытаясь доказать, что «промежуточных» печатают неспроста, мало убедительны и ничего не объясняют.

...Тоголевская птица-тройка превратилась в громыхающую по бездорожью телегу, которая несется вскачь, круто сворачивая то влево, то вправо, теряя седоков, давая прохожих. Удивленным народам трудно определить ее траекторию. Остается лишь посторониться... Но седокам в этой телеге, ох, как нелегко! Особенно — честным. Особенно — писателям. И не нам из нашего «прекрасного далека» бросать в них камнем...

*1981, № 28*

## АРМАН МАЛУМЯН

### И даже наши слезы...

В концентрационном мире, где душа обнажена, лак воспитания, образованности слетает так же быстро, как эмаль с упавшей посуды. Голод, холод, страх, ужасающая скученность, изматывающий, убивающий труд одни, быть может, способны обнаружить настоящую ценность человеческой личности. И если в эпоху ГУЛага было весьма сложно остаться Дон Кихотом, я, тем не менее, с ним повстречался.

Разве не был он рыцарем, как герой Сервантеса? Одним из тех удивительных людей, которые посвящают свою жизнь защите вдов и сирот, которые борются за правду, справедливость, чистоту, которые ищут... могилу Дон Кихота?

Когда Владимир Максимов попросил меня написать о нашем общем друге, я понял, что не смогу написать надгробную хвалу *большому писателю*, которого потеряла Россия: это было уже сделано и сделано прекрасно. И, кроме того, это совсем не в моем характере.

Юрий Домбровский умер.

Его творчество — будет жить. Его несомненный талант будет оценен. Его книги войдут в мировую литературу сквозь парадные двери.

Что касается меня, то я предпочитаю познакомить читателей с эзком, с человеком, с другом.

Враги? О да, они у него были. Нетерпимость и глупость человеческая. Две единственно вечные «материи», как он говорил. Он не переносил трусости и подхалимства тех, кто шел на любые унижения, чтобы выжить.

Для Юрия в лагерях существовало два сорта эзков: способные к борьбе — и «ждущие освобождения по амнистии» (он употреблял аббревиатуру этого выражения).

Этому высокому угловатому парню я дал три прозвища: Ворон, Нос и Дон Кихотский. «Дон Кихотский» ему шло больше всего. Его человечность, целомудрие, его чувствительность были скрыты под маской ворчуна; он обладал глубоким умом; юмором, заостренным, как толедский клинок; благородством и гордостью испанского гранда. А рост и худоба делали его похожим на ветряную мельницу... [...]

- Воркута!
- Норильск!

При звуке пароля, которым стали названия этих двух концентрационных комплексов после героических и незабываемых восстаний, разлетаются стекла, двери под ударами досок соскакивают с петель. Тайшетский шизо 601 в свою очередь взят зэками. Охрана бежит, хотя мы заверили ее, что никакого зла никому из них не будет причинено. Суматоха и сутолока, шумом похожие на восточный базар, царят в штрафном изоляторе. Заключенные ходят от одного барака к другому. Навстречу нам идет группа воров «в законе» — поздравить с победой над «суками». А вот и несколько человек 58-й, и над их головами возвышается одна, сильно напоминающая ворона, окруженного воробьями и голубьями. «Голова» приближается ко мне, горячо сжимает мою руку и представляется:

— Юрий Осипович Домбровский, милостью кремлевских шарлатанов — враг народа, профессия — старый лагерник. Счастлив им быть и познакомиться с вами на этой даче.

— Арман Жан-Батистович Малумян, милостью «усатого» и манипуляциями гебистских алхимиков — предатель родины, которая никогда не была моей.

— Вы француз?

— Да. Из Парижа. В настоящее время отдыхаю на курорте по двадцатипятилетней путевке. Профессия — непримиримый.

Вот так мы и познакомились, и если существуют на свете люди, которые делают друзьями с первой встречи и на всю жизнь, то Юрий, несомненно, к ним принадлежал. [...]

Я снова встретился с ним, когда попал на три недели в тот же шизо 601, потом опять — в БУРе, куда попал на две недели, в Тайшете, в транзитном лагере.

Нас было всего шестеро в камере (предназначенной для двоих), что по стандартам ГУЛага — почти роскошь. Было лето, время каникул, жара, и воздух в камере был пропитан благоуханием параша и испарениями шести тел. Сморенный духотой, я дремал. Время от времени открывая глаза, я видел Ворона, восседающего на параше, как Иов на куче собственного дерьма, и столь же нищего, как он, и разговаривающего с эстонцем из Тарту Эвальдом Б. Я слышал, как он цитировал Киркегора, Ясперса и Хайдеггера.

— Плянь-ка, Арман проснулся. Хорошие сны видел, старина?

— Нет. Небытие. Слушая, как ты называешь эти имена, я ожидал, пока ты произнесешь «existence», чтобы перейти к экзистенциализму и к Сартру, представляющему небытие.

— Правда, я к этому как раз собираюсь перейти, хотя без особой нежности отношусь к нему и ему подобным, своими писаниями и бездумной позицией помогающим тем, кто нас хоронит. С этим своим «...человек есть свобода безо всякой связи с божеством» он прекрасно вписывается в генеральную линию Кремля.



— Я прошу тебя, Дон Кихотский, предоставь этого салонного нигилиста его судьбе.

— Прекрасно сказано, но от этого влияние Сартра на лучшую современную молодежь не уменьшится. И это серьезно. Он приносит массу вреда, ибо каждый его чих переводится на пятнадцать языков. Возвращаясь к нашему разговору, — обратился он снова к Эвальду, — определение семантики, которое я тебе дал, совершенно схоластично, ибо в наши дни, с точки зрения марксистского видения, даже изучение смысловых истоков слова меняется в зависимости от политической необходимости.

— Точно, Нос, в зависимости от того, в каком лагере оно употребляется, слово может или совсем потерять смысл, или сменить его на противоположный.

— Что ты хочешь этим сказать, Арман?

— Например, один и тот же человек может быть разведчиком для страны, которая его посылает, и шпионом для страны, в которой он действует. Между тем, функции его от этого не меняются.

— Попал. Именно так. Террорист становится «бойцом народной армии освобождения», палач — ответственным работником, дезертир — идейным союзником, уголовник — «социально близким», предатель — истинным патриотом, а тебя, мой дорогой Арман, боровшегося с нацизмом, — тебя зовут «фашистом» те, кто применяет их методы.

— Сделай одолжение, Юрий, скажи, что ты думаешь о пикантном плеоназме «народной демократии»?

— Да, он действительно смачный. Но, я думаю, тому есть объяснение. Правители этих стран прекрасно знают, что их режимы ни в малой степени не демократии, но хотят уговорить весь мир, что они — народные. Кроме того, греческого они не знают, а энциклопедии... реакционны. Проказа века — концлагерь — стал лагерем для трудового перевоспитания. И наши братья возвращают ИТЛ их настоящий смысл — *истребительно*-трудовых лагерей.

Как ты был прав, Дон Кихотский! С тех пор все продолжается в том же духе: восстания рабочих Восточного Берлина, Будапешта и Праги стали «фашистскими вылазками», свободный мир — лагерем поджигателей войны, НАТО—армией наемников-реваншистов, войска Варшавского пакта — гарантами мира, Стена Позора — Стеной Мира. «Социализм» построил рай на земле и, чтобы «избранные» были ограждены от соблазнов, окружил его колючей проволокой, сторожевыми вышками, занавесом, — будь то занавес железный, шелковый, бамбуковый или тростниковый.

...Мы снова встретились — на этот раз на несколько месяцев — в больнице № 2 в Ново-Чунке, где был и транзитный лагерь для тех, кого выпустили Хрущев и Булганин. Наша встреча была радостной и волнующей, хотя Ворон и не принадлежал к тому типу людей, которых называют экспансивными. Он очень редко оказывал кому-нибудь настоящее доверие, но те, кто знал его и заслужил его дружбу, знали и ту ценность, которую он вкладывал

в это понятие. И если я был горд называться его другом, то и он был горд называться моим...

Одной из особенностей Юрия была его эрудиция.

Со своей матерью он переписывался по-латыни. Это и стало причиной забавнейшей сцены, происшедшей в кабинете «кума» из МВД, куда я и еще трое наших товарищей сопровождали Юрия согласно установленному нами в то время правилу. '

— Что ж это, вы тоже, Домбровский, участвуете в этой комедии — ходить в сопровождении свиты, когда вас вызывает офицер безопасности? Вы же не из Воркуты, насколько мне известно!

— Нет, и это то, о чем я больше всего сожалею из всей моей эковской карьеры, Бог знает какой долгой. Мне очень хотелось бы увидеть, как московское начальство было вынуждено послать делегацию из сорока ответственных работников высокого ранга, руководимую Генеральным прокурором СССР и замминистра внутренних дел, чтобы вести переговоры с бастующими политзаключенными.

— Шуточки!

— Шуточки? А ваши кремлевские хозяева, должно быть, иначе думали, если послали Руденко и Масленникова с письмом, подписанным Ворошиловым и Пеговым и дающим им право действовать от имени советского правительства и принимать на месте необходимые меры... письмо, которое они вынуждены были показать экам до начала переговоров.

— Пустяки!

— Так почему же вы позволяете четверем заключенным сопровождать меня и присутствовать при этом разговоре? Это вы называете комедией? Если бы политзаключенные ввели это правило раньше, вы давно были бы без работы, гражданин кум, вы должны были бы зарабатывать свой хлеб в поте лица, чего, как я понимаю, вам делать еще не приходилось.

— Хватит, Домбровский. Прекратите грубости. Я позвал вас не для того, чтобы вы тут речи произносили, а чтобы вы перевели мне это письмо, оно написано на иностранном языке.

— По-латыни.

— Вот-вот, по-латыни. Переведите.

— Категорически отказываюсь, гражданин начальник. Я никогда не был вашим сообщником, облегчая вам... работу.

— Я тебя закатаю, Домбровский...

— По-английский на «ты» обращаются только к Богу и пишут в стихах. Две области, вам абсолютно неизвестные. Стало быть, я ваших слов не слышал.

— Причем тут английский? Вы-то русский, или как?

— Русский. Но не советский. И вообще я намереваюсь стать британским подданным, ибо в этой стране соприкасаешься только с джентльменами, уважающими других, личную жизнь, переписку. Нормальные аспекты жизни, которые вам, разумеется, неизвестны.

— Вы думаете, что если вы освобождены и это... реа... реба... ратаби...

— Еще маленькое усилие, гражданин начальник. Вы узнали новое слово, которое должно присоединиться к пяти другим, вам уже известным: «донос», «протокол», «наседка», «провокация», «приговор». *Реабилитация* — это достаточно ясно?

— Ладно, раз вы не хотите переводить, я попрошу одного из этих... Вы вот — священник, вы должны знать латынь? — сказал он, обращаясь к отцу К-ому, поляку из Кракова.

— Да.

— Переведите.

— Я не знаю русского языка.

— Если вы не знаете русского, что же вы здесь делаете?

— Я приношу им поддержку Церкви.

— (Последовал виртуозный мат.)

— Я не понимаю по-русски.

— Ну, погоди, у тебя будет время обучиться русскому в карцере. Ты, Морозов .

— Я — по-латыни!? Вы что, начальник, у вас мухи в голове завелись? Я имя-то свое с трудом пишу! Вы должны открыть новое дело о саботаже на тех, что меня посадил и помешал мне выучиться латыни, что вам сегодня так было бы нужно, чтобы узнать стратегические тайны, которые ээка Домбровский, несмотря на скорое освобождение и реабилитацию, продолжает передавать своей матери.

— Ладно, ладно, Морозов. Но вы, хоть и освобождены, но не реа... не амнистированы. Подождите немножко.

— Вот уж десять лет, как я жду. Срок оттянул от звонка до звонка, так что уж не теперь мне штаны снимать.

— А вы, Б..., вы студент-фи...ло...г?

— Да, начальник.

— Переведите.

— Бандеровцы не сотрудничают с вами.

— Десять суток — слышишь? — десять суток карцера!

— Это меня очень удивило бы. Это не в вашей власти. Я — активированный, так что в лагерном списке меня больше не существует. Вы видите здесь только мою тень, а на самом-то деле меня здесь нет.

— Вас, Малумян, просить, разумеется, бесполезно. Как всегда, вы ответите «нет».

— Да, в первый раз я с вами согласен: я скажу «нет».

— Знаю, знаю. Вы пользуетесь отсутствием дисциплины и теперешним либерализмом, а это долго не продержится. А вам здесь еще долго сидеть. Погодите, я сделаю вам хорошенькое дельце!

— Еще одно?

Взбешенный «кум» опустил голову, подумал немного, потом вдруг зашеялся и крикнул рассыльного:

- Корнейчук!
- Здесь, гражданин начальник!
- Найди-ка мне Гусева, главврача, да побыстрей.
- Есть, гражданин начальник.

Капитан Мельник закурил «казбек», с наслаждением затянулся и оглядел нас всех ироническим взглядом.

— Вы думаете, вы самые хитрые, оборванцы, хитрей всех. Решили, что обвели вокруг пальца старого чекиста. Подумайте... если можете. Непонятно? Больничка равняется врач равняется латынь!

Довольный своим умозаключением, он самоуверенно засмеялся.

— Какая элегантная диалектика, — сказал восторженно Юрий и добавил: — Однофамилец вашего посылного несомненно потерял свои крылья... он ошипан вами...

В кабинет вошел главный врач Гусев, человек незлой; славный парень, но не храбрец. К тому же еще и очень плохой хирург — соединение качеств, позволявшее ему занимать должность вольного главврача в больнице для заключенных.

— Здравствуйте, товарищ капитан. Звали?

Гусев с испугом осматривает нашу группу. Жалоба? При нынешних обстоятельствах опасно. Донос? На этих пятерых не похоже. Мы видим по его лицу, что он понемногу успокаивается. Водка, которую он выпил перед тем, как прийти на вызов кума, начинает оказывать действие. Девяностоградусный спирт с чуть подслащенной водой имеет двойную ценность: во-первых, за содержание алкоголя, а во-вторых, за бесплатность, поскольку предназначен для лечения эзков.

— Здравствуйте, доктор. Будьте добры перевести мне это письмо, написанное по-латыни.

— Но...

— Вы врач, значит, вы должны знать латынь.

Алкоголь явно приводил Гусева в состояние крайнего благодушия, так что он потерял всякую осторожность. Он был в той стадии эйфории, которая иллюстрируется двумя поговорками: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» и «пьяному море по колено».

— Латынь? Не особенно. А что, это очень нужно?

Мы все смеялись от души — за исключением капитана Мельника, разумеется. Даже Гусев улыбался, как будто он сыграл с кумом хорошую шутку.

— Вы что, серьезно, доктор? Вы шутите? Вы знаете латынь, вы должны знать латынь!

— Ох! Плохо, очень плохо. Ужасно.

— Но все-таки...

— Несколько чисто медицинских терминов, но остальное...

Латинское письмо Юрия так и не было переведено. Сомневаюсь, чтобы «родственничек» оставил его в досье без перевода — это служило бы свидетельством плохого исполнения кумом своих обязанностей.

13 декабря 1978 года вместе с Н. Горбаневской, В. Максимовым, В. Буковским, В. Делоне я был на показе фильма о китайской концентрационной «жизни», центральным персонажем которого был полуфранцуз-полукитаец Жан Паскалини. Мы оценили как «знатоки» эту боль, это унижение человеческого достоинства, позор лагерного мира, макиавеллизм «самокритики», превратившейся в коллективное доноительство, — все это напоминало нам наш собственный опыт. [...]

И, ощущая рядом теплое присутствие моих друзей-диссидентов, я вдруг перенесся в Восточную Сибирь двадцатью пятью годами раньше, в 6-й барак, где я боролся с болезнью и исход борьбы был еще совсем не ясен. Время от времени я выплывал из небытия, чтобы через мгновение погрузиться в него еще глубже. [...]

Каждый раз, как я выплываю на поверхность, я вижу встревоженное лицо Дон Кихотского. Он вытирает мне пот со лба и дает попить кислого молока, не знаю каким чудом найденного.

— Дюваль, ты не можешь, ты не должен этого делать. Ты обязан бороться, ты не имеешь права умирать. Ты должен выжить, чтобы когда-нибудь вернуться во Францию и свидетельствовать за тех, кто не сможет, не сумеет или не захочет свидетельствовать.

Я остался жив и начал выздоравливать. Живительное тепло дружбы затягивало провалы боли, и ясно было, что дружба неразрушима, пока существуют на свете такие люди.

Каждый час Ворон являлся с новостями о великом множестве освобожденных, реабилитированных, активированных, репатрировавшихся иностранцев... Короче говоря, великое передвижение. Великое передвижение, увы, также и в перенаселенных бараках с тяжелобольными, физически и морально сломленными, которые стекались из лагерей, рассыпанных по всему району, чтобы умереть в этой больнице, не сумев уже воспользоваться своим «освобождением».

Мои соседи слушают нас и комментируют новости. Среди них — два венгра, японец, два корейца. Их ненависть к СССР столь велика, что они, к сожалению, смешивают советское с русским, Россию с СССР... [...]

— Сколько братьев наших погибли... Сколько жертв на совести этой системы? Неужели мы никогда этого не узнаем? — говорит Морозов и печально качает головой.

— Разумеется, узнаем, — говорит Юрий, — каждый из нас может сделать простой расчет с помощью обыкновенной арифметики... и данных, официально опубликованных. Население страны в 1917 году составляло что-то около 140 миллионов человек. Средний процент демографического роста по Союзу статистика дает как 1,7. Умножим 140 миллионов на 1,7, получается 2 миллиона 380 тысяч. С 1917 по 1940 год — 23 года. Умножим 2 миллиона 380 тысяч на 23 и получаем 54 миллиона 740 тысяч, прибавляем их к 140 миллионам — это будет 194 миллиона 740 тысяч. Такова цифра, представляющая количество населения Союза в 1940 году.

— Почему 1940? — спрашивает Ким.

— Потому что в 1939-40 годах было присоединено множество территорий и стран. По милости Сталина и при соучастии Гитлера (не говоря уж о бессилии Запада помешать этому), население всех этих территорий стало советским — это дает что-то около двадцати миллионов. Стало быть, вместе получается 214 миллионов 740 тысяч. Это ясно?

— Ясно, ясно.

— Так. Теперь умножим 214.740.000 на 1,7 и получим 3.650.580 новых граждан в год. С 1940 по настоящий 1955 год — 15 лет, умножим на 3.650.580, получается 54.758.700, прибавляем к 214.740.000 и получаем общий результат — 269.498.700, скажем — 270 миллионов населения. Но вы, как и я, читали в газетах, что население этой страны — 200 миллионов.

Холодный пот выступил у всех на лбу. Мы онемели от этой простой логики.

— Юрий, — сказал дрожащим голосом Морозов, — не хватает семидесяти миллионов. Семьдесят миллионов мертвых. Семьдесят миллионов, — повторил он.

— Да, Семен. Конечно, была война, унесшая двадцать миллионов наших. Конечно, была эмиграция во время революции и еще все, кто остались на Западе в 1945-м. Но это не должно составлять больше пяти миллионов. Разумеется, Кремль с годами будет увеличивать, вздуть даже цифры военных потерь, чтобы восполнить количество «недостающих», поскольку вычисления, которые мы только что произвели, может сделать кто угодно. И тем не менее никуда не уйти от того, что не хватает сорока пяти миллионов человеческих жизней — прямых жертв Ленина, Сталина и их сообщников-наследников, которые нами теперь управляют. Таков трагический результат надежды, которой была на заре своей Октябрьская революция. И нас теперь по лагерям и ссылкам — около пятнадцати миллионов. Итог коммунизма настолько чудовищен, количество жертв выразится в таких астрономических цифрах, что никто не захочет поверить в это, когда мы начнем об этом говорить<sup>1</sup>.

— Русски виноваты, — сказал Шаня Т., венгр.

— Нет, братишка, ты ошибаешься, — сказал Юрий, мягко и печально, обняв его за плечи. — Ты ошибаешься, — повторил он, — ты неправ, и ты обижает нас — Семена, Володю, Петю и меня: мы русские и гордимся этим. Не забывая ужасов нацизма, — но не все немцы были нацистами, и не все нацисты были немцами. Преступления коммунизма здесь и везде превосходят по своим масштабам все, что существовало в древней и современной истории. Именно поэтому я и хочу, чтобы помнили, что не все русские были коммунистами и не все коммунисты были русскими.

Вот уже в течение 23 лет — с той самой минуты, 17 февраля 1956 года, когда я проехал Бранденбургские ворота в машине, на которой плескался

---

<sup>1</sup> Как нам теперь известно, цифры эти были «скромными», если можно так выразиться. — *Прим. авт.*

трехцветный флажок французского консульства в Западном Берлине, — я не перестаю говорить это, Дон Кихотский!..

Сидя в морге — одном из редчайших мест, где можно было разговаривать, не боясь чужих ушей, — Дон Кихотский разбирал свои заметки и письма. Завтра он уезжает из лагеря. Я чувствовал в Вороне нечто необычное. Неловкость, почти стыд человека, выходящего на «свободу», по отношению к другому, остающемуся на каторге. Встреча наша была, понятно, печальной: разлучаются два добрых друга, что-то ждет обоих в будущем? Я был, разумеется, счастлив за него, и все-таки — слаб человек и грешен! — я ощущал некоторую зависть, и это заставляло меня краснеть. Вбежал запыхавшийся Иван М. и выпалил:

— Арман, посыльный кума повсюду ищет тебя.

— Который посыльный? От МВД или МГБ?

— МГБ.

— Пакость в перспективе. Ну что ж, приготовимся выйти на арену. Бедняга Нос, даже накануне твоего освобождения и то нельзя быть спокойным.

— Я уже предупредил, — сказал Иван, — Петю, Володю, Семена Морозова и вместо Юрия — Мариана Г., чтоб они пошли с тобой. Они ждут тебя перед столовкой.

— Спасибо, Ваня, хорошо, что догадался предупредить Мариана.

— Как это — вместо меня? — сказал Юрий. — Насколько мне известно, я еще здесь. Я пойду с Арманом. Даже речи быть не может, чтобы я пропустил свою очередь. Это просто невысказано — чтобы я не участвовал в последних «дебатах» с нашими «приятелями».

— Я тебя прошу, Дон Кихотский, оставь Россинанта в конюшне. Завтра ты освобождаешься, нельзя позволять себе такую неосторожность. Это же не из МВД кум, а из МГБ, так что все гораздо более серьезно и опасно, особенно для тебя.

— Прокурор сказал, что я освобожден и реабилитирован. Стало быть, я — «гражданин», осчастливленный всеми правами... или, скажем, почти всеми. И мой долг гражданина страны, «где так вольно дышит человек», выразить мое глубокое расхождение с этими... господами.

Никакие просьбы Ивана, никакие мои попытки урезонить его не поколебали его решения. Настоящий арагонский осел. [...]

Несмотря на жару, я надел Иванову телогрейку — на случай, если сразу в камеру, — насыпал в карманы махорки, положил газетной бумаги на закрутки, три портянки и несколько спичек. Два кусочка грифеля, спрятанные в стельках сапог, позволят мне передавать друзьям записки. Я проглатываю кусок хлеба с остатками еды из Иванова котелка и три куса сахара. Теперь я готов — до следующего «банкета».

Заходим к куму. Дверь открыта. Первым видим лейтенанта Ящука, сидящего за своим столом. Рядом с ним стоит главный бухгалтер лагеря, вольный. Немного дальше, на табуретке, — какой-то незнакомый майор. Майор, возможно, из оперативного отдела Озерлага, физиономия у него вполне

подходящая. По особым поручениям, наверное. Но зачем главбух? Это не обещает ничего хорошего.

— Привет, Маламун. Входите, входите, — говорит кум весьма сердечно, что никак не вяжется с его персоной.

— Вызывали, гражданин начальник?

— Да. Вы вот всегда кричите о беззаконии и протестуете по делу и без дела, но на этот раз вы уж не сможете обвинить МГБ в том, что оно вам одни неприятности приносит!

— ???

— Натэ, смотрите хорошенько. Вот перевод на 200 рублей из французского посольства в Москве. Ну, что вы на это скажете? Не верите, а? Возьмите-ка и читайте.

Он дает мне перевод. Сердце мое бешено бьется. Перевод из моего посольства! Мои родители действуют. Посольство знает, где я, и дает мне знак. Все мое существо переполнено ощущением счастья. Я читаю вслух, слегка дрожащим голосом: «Посольство Франции, Москва, Большая Якиманка...»

Майор встает с табуретки и подходит ко мне:

— Вы француз?

— А вы будто бы этого и не знаете. Кстати, это подтверждается переводом.

— Может, это. А может, и то, что вы — агент французской разведки. Иначе с чего бы это вдруг французскому посольству переводить деньги вам, заключенному?

— Бросьте, гражданин начальник. Свои потертые фокусы оставьте для наивных новичков, а не для таких «образованных», как я.

Я держу перевод двумя руками, как собака, вцепившаяся в кость. Я даже не слышу, что еще там говорит этот майор, «посольство», «Москва», «Франция» — пляшет у меня в голове.

— Возьмите и распишитесь, — говорит мне главбух, протягивая одну сторублевую и две пятидесятирублевые бумажки. — И здесь тоже распишитесь, — прибавляет он, — на уведомлении о вручении, что вы действительно получили двести рублей в собственные руки.

Ставя свой росчерк, я вдруг понимаю, что посольство таким образом получит подтверждение моего ареста и заключения и убедится в том, что в день, обозначенный здесь, я был жив.

— Дай посмотреть, Арман, — говорит Юрий серьезно.

Я протягиваю ему извещение. Он читает и вдруг почтительно его целует.

— Что это с вами, Домбровский? Спятели вы, что ли? — спрашивает кум.

— Вам излишне будет узнать, что даме всегда целуют руку. Но Франция — дама, и — великая. Она научила нас, русских, как, впрочем, и остальные народы, что такое Свобода. Я должен был воздать ей эту почесть.

На следующее утро Юрий покидал лагерь. Я проводил его до ворот и обнял в последний раз его и других освобожденных товарищей. Они были уже за зоной, и дежурный офицер ставил птички в списке. И совсем так же, как



тогда, когда я увидел его в первый раз, — поверх всех голов я увидел его голову, голову вóрона, окруженного воробьями и голубями.

Перед тем, как ворота закрылись за ними, Дон Кихотский повернулся и крикнул:

— Братья, Арман! Дверь приоткрыта, мы выйдем и порвем все цепи. Мир должен узнать, и, если кто-то из нас потеряет жизнь на этой дороге, другие должны дойти. Вся правда о том, что здесь происходило и продолжает происходить, должна быть сказана — вся, без остатка. Мы должны победить страх и нарушить молчание, чтобы построить справедливое и надежное будущее. Прощай, Дюваль! Прощайте, братья!

Он поклонился нам и застыл с опущенной головой, из глаз его падали слезы на землю Сибири, впитавшую уже столько крови...

Я никогда больше не видел Юрия Осиповича Домбровского, не слышал его голоса.

Будьте прокляты! Своими тюрьмами вы уничтожили право надежды на жизнь, среди миллионов других, и этому замечательному человеку. Даже слезы, чтобы оплакать его, вы у нас украли.

Я хотел бы поклониться его могиле и выгравировать на камне:

«ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ЮРИЙ,  
НАШЕДШИЙ МОГИЛУ ДОН КИХОТА,  
ИБО В НЕЙ ОН ПОКОИТСЯ».

??????????

# ИСКУССТВО



**ВЛАДИМИР АНТОНОВ**

## **Неофициальное искусство: развитие, состояние, перспективы**

[...] Как именуется искусство, что ровно пять лет зрители видят на выставках в Москве и Ленинграде?

«Авангардное», «подпольное», «протестующее» — не привилось, осталось — «неофициальное» или «нонконформистское». В обоих указанных определениях на первом месте стоит отрицание, что сразу дефинирует негативный оттенок определяемых явлений. Отвергается официальное искусство, т. е. пресловутый соцреализм с его художественными догмами и проблематикой, хотя нынче этот термин даже с трибун звучит все реже и реже. Как в любом подобном случае, отрицание несет не только смысловую нагрузку, но и указывает, что опорным является слово «официальное» и без него термин просто исчезает. [...] Определение «нонконформистское» встречается много реже и в основном в субстантивном виде: художники-нонконформисты. Оно излучает какую-то тайную многозначительность, невольно лаская слух его носителей, и причисляет их к престижной группе недовольных и несогласных. В этом термине отрицается уже не государственное искусство, а дух и характер, нормы и идеалы общества. Таким образом, по смыслу он — шире, зато расплывчатее предшествующего.

Художники заслужили звание нонконформистов, ибо со всей очевидностью они — недовольны и несогласны. С чем, однако, они несогласны и чем конкретно недовольны? Прежде всего — с монополией соцреализма и потому требуют — хотя не всегда радикально — свободы творчества, ограничения идеологического контроля, т. е. возможности работать в индивидуальном стиле, который чиновники клеймят и шельмуют как «буржуазный» или «декадентский». В этом требовании художники смыкаются с демократическим движением, которое тоже стоит за свободу творческого выражения. Далее, нонконформисты настаивают на отмене административной дискриминации, т. е. на разрешении свободно показывать и реализовывать свои работы, обсуждать художественные проблемы, объединяться в творческие группы, получать мастерские и некоторые государственные льготы. Как видим, преобладают сугубо художественные или уравнилельные притязания, что косвенно отражается и в самом термине «неофициальное» искусство.

Хотя художников по праву называют нонконформистами, их все же нельзя причислить к диссидентам — самой активной и сознательной части недовольных. В отличие от писателей-нонконформистов, для художников характерна заметная аполитичность, почему они редко сообща поддерживали ярко выраженные диссидентские акции или подписывали соответствующие протесты. С самого начала движение художников было спонтанно-эмоциональной вспышкой, а не идеологической конфронтацией, отчего властям удалось довольно быстро и без особого труда его нейтрализовать и канализировать. Попытки Синявина и Рабина радикализировать движение потерпели вполне закономерную неудачу, ибо художники предпочли сохранить умеренную и ограниченную культурными рамками позицию. Причины тому надо искать в исторических обстоятельствах, современном состоянии искусства и психологических особенностях неофициального художника.

Вопреки ходячему мнению, что русские художники смешивали искусство и политику, они — да и то в демократическом своем крыле — в основном увлекались социально-политическими проблемами в недолгий период (1860-1880-е годы) господства критического реализма в изобразительном искусстве, но и то — много меньше писателей-современников. Позже их общественные выступления — например, кубофутуристов — были направлены не столько против буржуазного правопорядка и моральных ценностей, сколько против тогдашних эстетических норм и художественных принципов. Хотя авангардные течения всегда несли в себе разрушительный элемент, включая среди прочего в свои манифесты призывы к изменению общества, в общем, они не отличались от распространенных социалистических учений, зато волновали более узкий и профессиональный круг и получали зачастую отпор — правда, недостаточный. Если Писатель в России и сейчас играет роль совести нации, учителя правды и пророка, то Художник еще перед революцией погрузился в решение, главным образом, формальных проблем, а после нее, из-за известных трагических событий, критически подходить к действительности просто опасался и отучился.

Нонконформисты не только восприняли, но и в подавляющем большинстве разделили это наследие, кто — по духовной лености, кто — по политическим соображениям, но многие — в силу своих художественных концепций. Согласно этим концепциям, которые возродились после долгого забвения или пришли с Запада, реальность — это в лучшем случае источник многообразного и иногда сложного эксперимента и если учитывается, то в зашифрованно-метафорической форме. Больше, чем внешний мир, художника все-таки интересует внутренний, изошренно анализируемый и воспроизводимый на разных чувственно-эмоциональных уровнях. Уже с начала века искусство в секуляризованном обществе все сильнее превращается в сакральную сферу со своими канонами, мистериями и жрецами. На Западе нынче художник-жрец, наследник эстета в башне из слоновой кости, сосуществует, а чаще всего объединяется с провоцирующим художником,

потомком романтического бунтаря, который рассматривает искусство как путь к личной или социальной революции.

В России художники-жрецы только возрождаются, а место последнего типа пока занимает классический богемный художник, который находится в конфликте с враждебным обществом, непохож на других, презирает обывателя и страждет за правду. Он, как и герои богемы, — беден, непризнан, пробавляется случайным заработком, время от времени продавая свои картины. Он стоит внизу в социальной иерархии, но зато высоко ценит сам себя; третирует официальных художников, но сам непрочь заполучить некоторые их привилегии. Данный стереотип, с его определенным нормативом в поведении и не очень глубоким мировоззрением, погружен, однако, из-за перманентного кошмара реальности в ярко выраженную трагическую отчужденность. Как часто бывает в таких случаях, это унижительное и извращенное состояние, мелочная борьба за кусок насущного хлеба — из-за своей мрачной безысходности в условиях несвободы не обостряет недовольство художника обществом, а подавляет его и отдаляет его от мужественных действий.

Вначале, правда, художники выступили столь решительно и неожиданно, что с перепугу местные власти подумали, что перед ними — новый корпус демократического движения, которое в 1974 году переживало свой подъем. Застигнутые врасплох, они поддались истерической панике, послали бульдозеры на первую выставку, напоминавшую более всего западный эппенинг. Годами, без помех, правили чиновники департамента искусства, привыкнув все новое считать опасным и вредным, а всякое видимое уклонение от установленной нормы объяснять вражеским влиянием. Отреагировав по шаблону, это казенное сознание опомнилось только после того, как западная пресса неожиданно ярко осветила репрессии и возвела художников в мученики системы.

Что для достижения успеха нужно было бороться, показывают как последующие события, так и нынешнее положение художников в консервативно-провинциальном Ленинграде, где сперва конфронтация шла в кильватере московской удачи, потом — спорадично и вяло, чтобы нынче почти замереть из-за активной эмиграции ее участников. Потому объединения художников здесь до сих пор нет, а редкие выставки стоят серьезных усилий. Несомненно, первый боевой натиск вынудил власти пойти на уступки, но главную роль, почему конфликт был все-таки решен мирно, а не привычными репрессиями, сыграли общие политические соображения.

Прежде всего — внешнеполитические: не давать лишней зацепки западной пропаганде, не раздражать влиятельную левую интеллигенцию и еврокоммунистов, которые в вопросах культуры болезненно чувствительны, и не нарушать созданный с таким трудом и все еще шаткий образ респектабельного государства. Были учтены и внутренние причины. В ходе массовой рекогносцировки был сделан верный вывод, что в основном художники действительно аполитичны и не только примут пресловутые три ограничения: политика, религия, эротика, — но и не станут претендовать

на уравнение в правах с официальным искусством. Непокорными к тому же были всего два центра — Москва и Ленинград, много меньше и уже позже — Киев и Одесса, а в остальной провинции царили тишь да гладь. За редким исключением, мятеж не коснулся членов Союза художников и был слабо связан с другими формами культурной оппозиции. [...]

Через два года после бульдозерной выставки — срок небольшой по советским темпам, — в Москве была создана секция неофициального искусства, глава которой был не избран, а назначен сверху с определенной целью: идейное руководство, политический надзор и постепенное ангажирование. В скором времени в секцию добровольно вступили большинство московских нонконформистов, посчитавших, что главная часть их требований исполнена. Выставки: сезонные, групповые и персональные — дозволены, но, конечно, как принято: с жюри, самоцензурой и ограничениями; каталоги — тоже можно и даже пока бесплатно; творческие поездки — извольте: на БАМ, тюменские нефтепромыслы — и пишите их, как угодно: «Ведь это все — наше!» Грядущее — не радужное, но манящее: салон, скорее всего, закрытый, как «Березка», на валюту, но и за то — поклон; заграничный журнал — ублажит тщеславие и даст торговую рекламу; ну, а потом, потихоньку — на экспорт, пусть радуются западные ценители изящного и дают в казну марки и франки. Первый и решающий шаг в превращении неофициального искусства в контролируемое полуофициальное был сделан — и сделан с обоюдного согласия. Результат: «героический» период кончился, краткая слава «сопротивления» померкла, настало время желанного или вынужденного вхождения в систему.

На тех же, кто сохранял еще некоторую активность, хранил громкую досаду или уж очень тосковал по лучшей жизни, были распространены правила еврейской эмиграции. Большинство поехали добровольно, других же (Синявин, Жарких, Рабин) — выпроваживали. Из Ленинграда за пять лет уехала половина участников первой неофициальной выставки, из Москвы — 20% нонконформистов; и конца этому исходу не видать, ибо уж ныне едет всяк, кто в силах добыть приглашение. Продолжающаяся эмиграция доказывает, что художники — все-таки подозрительный элемент для власти и что проведенная либерализация была неполной и не принесла сносной экономической устойчивости и желанной творческой свободы. Место воодушевления заступили разочарование и растерянность, и подкралось сладкое искушение: а не начать ли все заново на свободном Западе, где и жить-то много легче и веселее? История повторилась, но от исхода 1920-х годов нынешняя эмиграция принципиально отличается, хотя бы своей заметной деморализующей силой.

Явилось ли, однако, выступление нонконформистов полностью неожиданным? Первые попытки пробить стену соцреализма и утвердить индивидуальный стиль приходится уже на «оттепель». В 1959 году в Ленинграде была устроена первая квартирная выставка, а в Москве такие экспозиции стали даже светской модой среди фрондирующей интеллигенции. Этот про-

цесс эмоционального воодушевления, подогреваемый надеждой на широкую либерализацию общественной жизни и возрожденным идеализмом, процесс художественной активности, устремленный прежде всего к восстановлению связи поколений, резко затормозили известные выходы Хрущева в Манеже.

Он возобновился в 1967 году с еще большей силой, и тогда же западные зрители стали знакомиться с неофициальным искусством, что морально стимулировало художников и давало им материальную поддержку. Аполитичность художников в этот латентный период пришлось как нельзя кстати, потому что охота за инакомыслящими велась в других кругах и их почти не коснулась. В этой обстановке нонконформистские ряды активно пополняются, консолидируются и обретают лидеров. Успехи демократического движения и растущее внимание Запада вселяли уверенность и подготавливали к решающей конфронтации, которая оказалась запоздалым и слабым эхом протеста западной молодежи 1960-х годов.

Когда же час пробил, то конфронтация вылилась в единоборство с административным аппаратом, а не с официальным искусством, которое, на словах рьяно сражаясь с западными новаторами, вроде бы оказалось бессильным перед внутренним мятежом. Несколько трафаретно-ругательных газетных статей не были на него действенным ответом. Конечно, с одной стороны, было приказано не разжигать страсти, но с другой — в самом государственном искусстве уже более десяти лет шел процесс распада монолитных эстетических принципов и художественных догм, затронув не только молодое поколение, откровенно ревизовавшее соцреализм (Белютин, Незнаменский, Биргер, Крестовский), но и некоторых умеренно-либеральных мэтров, которые стали осторожно нащупывать в дозволенных пределах новые выразительные средства. Следовательно, как росло неофициальное искусство, так левело и делалось все терпимее к формальному эксперименту официальное, у которого по этой причине и позже не оказалось прежней запальчивости и ненависти к «декадентам».

Зарождаясь и набирая силу, неофициальное искусство черпало вдохновение и опиралось, главным образом, на традиции отечественного и западного авангарда. Бытует мнение, что медленно и с большим трудом пришлось восстанавливать связь времен, растоптанную за четверть века духовного и физического террора, войны и страха. Дело, однако, обстояло сложнее. Русский авангард, который теперь столь безудержно идеализируется и воспевается, был верным союзником революции и после нее вполне естественно приобрел в искусстве особое и монопольное положение, отличаясь большей нетерпимостью к инакопишущим и инакорисующим, чем любое предшествующее направление, которое, кстати, никогда не могло претендовать на государственный характер. Супрематисты, кубофутуристы и конструктивисты старались — особенно поначалу — с энергией и искренним усердием выполнять свой социальный заказ по созданию нового общества и человека, содействуя невиданной раньше политизации искусства.

Когда же требования этого заказа изменились и воцарился уже созревший в противоположных кругах соцреализм, то лишь немногие левые не дали себя сломить, а большинство — в том числе и лидеры (Татлин, Малевич, Родченко, Кончаловский) — постарались как-то приспособиться к новой ситуации и зачастую небезуспешно. Не только революция предала своих художников, но и они отреклись от нее, хотя не всегда с легким сердцем. Филонов держался до конца, другие — вовремя умерли, третьи (Шевченко, Фальк, Древин) хотели найти разумный и устойчивый компромисс. Многие ушли в иллюстрацию и оформление, стараясь не совсем забыть о своих «левых» идеалах. Именно две последние немногочисленные группы помогли на первых порах молодым художникам ознакомиться с интересующими их экспериментами, хотя недавний страх и чрезмерная осторожность парализовали порой у старого поколения волю к действию и оно лишь отчасти смогло заполнить огромный образовавшийся вакуум.

Как следовало ожидать, ретроспективная тенденция быстро зашла в тупик. Подлинники, как опасная зараза, были крепко-накрепко заперты в музейных запасниках. Коллекционеры и наследники подчас побаивались хватать своими сокровищами. Учить могли лишь единицы. В ход тогда пошли старые книги, манифесты, каталоги, журналы или новые, доставленные с Запада, что обусловило ярко выраженную вторичность восприятия и заметно исказило и обеднило образ прежнего авангардного искусства. Многие в нем казались устарелым и ненужным, другое — слишком сложным и претенциозным. После начального энтузиазма вспомнили также неконформисты — пусть мимоходом — о социальной позиции революционных авангардистов, разделить которую новое поколение уж никак не могло. А формальный эксперимент, внедрившись на Западе, за полвека достиг много большего, чем в России, и посему туда-то устремились вскоре все взоры.

Первичным для неконформистов было постепенно делавшееся доступным: Петров-Водкин, «Бубновый валет», но в основном — музейные картины западных новаторов: от импрессионистов и Сезанна до Матисса и Пикассо, от которых многие отталкивались, даже хорошо понимая, что имеют дело с началами нового искусства. Из-за такой извращенной, почти оранжерейной ситуации не стоит удивляться, что западная критика, столкнувшись с неофициальным искусством, не нашла того, что хотела — продолжателей Кандинского, Малевича, Татлина, Габо, Архипенко, зато — эпигонов Пикассо, Брака, Петрова-Водкина. Железный занавес, опустившийся с середины 1930-х годов перед «реакционной» западной культурой, разорвал долгие взаимосвязи ее с русским авангардом, усилив процесс забвения художниками прежних проблем.

Если вспомнить, что самые смелые художественные идеи в России созревали или апробировались в тесном общении с западным искусством, то станет понятным, что подобная насильственная изоляция вела к культурному отставанию и провинциализму, которые к тому же сознательно культивировались и оправдывались самобытностью и традициями соцреализма.

Молодые художники поэтому оказались малоподготовленными к первым контактам с современным западным искусством, и прошло почти десятилетие, прежде чем они смогли освоиться и как-то заполнить свои интеллектуальные и художественные пробелы. [...]

Отставание можно было преодолеть лишь упорной, долгой и неспешной работой, но художники форсировали ее, пропуская важные детали, а многого просто не понимая. Не хватало по-русски ни времени, ни желания. Вышло поэтому не органическое вращение, а беглое и однобокое знакомство. В конце концов многие художники после первых энергичных попыток махнули рукой на западные образцы и, созрев духовно, принялись развивать собственную индивидуальность, мысленно утешая себя великодержавием и оригинальностью русской идеи.

Так, хоть и старались, почти не привился абстракционизм, у истоков которого стояли русские художники. Тут и опоздали, и не поняли, но главное — подсознательно не захотели из-за извечно национальной тяги к фигуративности и интуитивно-пантеистическому переживанию. Не было также в России той духовной атмосферы, что содействовала на Западе расцвету этого течения. Многие начинали с абстракционизма как с заветного символа новаторства и современности, но потом или стали вводить в него фигуративные или поп-арт элементы (Зверев, Немухин, Рухин), или после явно подражательных попыток просто бросали. Мало у кого хватило духу и терпения развивать дальше это направление, требующее, чтобы добиться какой-то оригинальности, неустанной работы над формой.

Больше всего пришлось ко двору абстрактный экспрессионизм, так как с его помощью удобнее было передавать тревожную напряженность и эмоциональное отчаяние, свойственное всему неофициальному искусству, да и в нем не было чисто рационального подхода, который всегда как-то претил русскому сознанию. Качественного своеобразия, однако, достигли не Белютин, впитавший де Кунинга, и не Мастеркова, испытавшая заметное влияние Раушенберга и Джонса, а Михнов-Войтенко, создавший за 10 лет затвора почти лабораторным путем серийного эксперимента свой, близкий «живописи действия» стиль. Утонченно формальный, самоизолированный мир его работ полон конвульсивно-пульсирующего, атонального движения и напоминает: кому об изменчивости и контрастности органической среды, кому — о красоте микроструктур. Правда, порой высокий профессионализм оборачивается теневой стороной: видишь так много искусства, что не знаешь, где оно само. [...]

Несмотря на богатое наследие и серьезные старания, не возник в России также оригинальный постсупрематизм или пост-конструктивизм. Сама фантазмагорическая реальность толкала самых впечатлительных художников к более эмоционально окрашенному стилю, да к тому же формальные возможности здесь столь сильно исчерпаны, что для изобретения нового и своего нужна огромная работа с учетом многих уже использованных вариантов. Отдельные опыты (Штейнберг — в Москве, Борисов — в Ленин-



граде) будут, конечно, продолжаться и даже распространяться по мере все большего знакомства с соответствующим наследием и его западными производными. [...]

Итак, несмотря на определенные возможности и искренние усилия, русский нео-авангард не состоялся, да и не мог получиться, ибо всякая реставрация или форсированное освоение кончается скучным эпигонством или тупиком. Изменилась реальность, другими стали художники и их задачи. Хотя в усвоении западного эксперимента нонконформисты добились большого успеха, в Европе, за редким исключением, их творчеству приклеили уничижительные эпитеты «провинциальное» и «третьеразрядное». Тем не менее, этот путь было полезно проделать для того, чтобы выявить пределы своих возможностей или грани таланта и перейти к более адекватным способам самовыражения.

Если нефигуративные нонконформисты отрицают официальное искусство прежде всего формально, отвергая его устаревшие приемы и стилистические средства, а также эстетику, то фигуративисты обрушились одновременно на смысл и содержание, что принесло самые интересные результаты. Прав был Синявский, что советская действительность породит прежде всего гротескно-абсурдное и сюрреалистическое искусство. Прообразом тут послужила главным образом литература: от Гоголя и Достоевского до Белого, Булгакова и обэриутов, и это придало неофициальной живописи характерную национальную особенность. Только видение стало всеобъемлющим и более резким, а рассказ — более жестоким и причудливым.

Эта живопись, как и подобная литература, делится, — не имея, конечно, четкого водораздела, — на два направления: условно-фантастический и скурильно-бытовой реализм, или, точнее, — фигуративизм, которые друг от друга отличаются как изобразительными приемами, так и интенсивностью в отрицании господствующих ценностей. Эти ценности даны в зеркально-негативном или перевернутом отражении. Отрицаются герои, мифология, бытовые шаблоны, унифицированные чувства, эстетические стереотипы. Отрицаются через сатиру и пародию, абсурд и конкретную правду. Вместо труженика, гордого своими свершениями, — беспутная богема, чудачки, спившиеся простолюдины; вместо светлых будней, устремленных в лучезарное завтра, — страшные сумерки, полные тления и смерти; вместо казенного самодовольства — отчаяние, страх, страдание. Эти отрицательные эмоции из-за своей сгущенной беспросветности не вызывают катарсиса, а шокируют своей обнаженностью. Они редко переходят в крик и почти всегда сдобрены иронией; редко спонтанны, но рационально упорядочены. Эта двойственная эмоционально-мыслительная реакция особенно присуща невротикам, людям подполья, интеллигентам-эскапистам, которые, обостренно сначала откликаясь, иссушают или разлагают затем переживание долгим анализом, стремясь ослабить внутреннюю напряженность и тревогу.

Закономерным образом такой психологический тип способен не на резкий вызов, а лишь на провоцирование, отсюда его склонность к полуправ-

де, иронии, зашифрованности, интеллектуальному кокетству и эстетизации зла. Это не мешает, однако, нонконформистам быть отзывчиво-искренними и критичными, поэтому у зрителя их искусство отрицания вызывает моральную реакцию. Этим свойством они напоминают не столько авангард, в котором преобладал формальный вызов, а критический реализм XIX века, разумеется, без его прямолинейности и благодушия, но с той же, на сей раз прикровенной, апелляцией к нравственному комплексу и с тем же нигилистическим привкусом. Из сюрреалистического или скурильного целого частенько выглядывает наше родное обличие, а из сочной выразительности детали — модернизированный Федотов.

Хотя в эмоциональном и смысловом отношении советская реальность и искусство отрицаются широко и разнообразно, у каждого фигуративиста есть свои постоянные темы. Гоголевские маски и тела-глыбы с крошечными головками у Целкова — иконологические формулы ужаса и презрения к жестоко-безответственной тупости обывателя, коллектива, народа, воспеваемых официальной живописью как носителей всяческих добродетелей. Печальные химеры у храмов, перед морем крови или стандартной новостройкой у Кропивницкой — недоступная казенной лжи скорбь о содеянном и творимом. Советская свадьба — апогей незапланированного веселья оборачивается у Калинина язычески-уродливым действием, а социалистическая Москва наполнена проститутками, алкашами и апокалипсическими видениями. Даже жмурки и хороводы — обыденная забава — позволяет Овчинникову раскрыть алогичную жестокость повседневного бытия. Ян-килевский десакрализирует обнаженную натуру; Рохлин пародирует классические сюжеты, используя традиционную манеру письма, для грутально-сатирических фантазий с патологической окраской. Фантастическое позволяет художнику обойти общественные табу и примириться с тяготящим его подсознанием.

Безусловно, особой лаконичности и остроты в символической интерпретации реальности достиг Рабин, но у него бытовой гротеск имеет порой такую сильную политическую подоплеку, что затмевает художественные достоинства, прежде всего — экспрессионистский колорит, напоминающий Сутина, раннего Шагала, Руо. В провоцировании с Рабиным могут поспорить лишь некоторые концептуалисты, которые с большой фантазией, но не всегда — вкусом, пародируют советские мифы, ходячие представления и власть разнородных штампов. [...]

Хотя сюрреалистическими элементами и мотивами пропитано все разбираемое направление, чистый сюрреализм в его западном понимании встречается весьма редко, и многие образцы его не блещут особой оригинальностью и качеством. Преуспел разве что Тюльпанов, проштудировавший иллюзионизм северного Ренессанса и Кватроченто, но и его переполненные до отказа «лавки древностей» кажутся скорее инвентарным перечнем мечтательного эскаписта, чем сюрреалистической фантазией. Мрачный быт и бездуховное окружение крепкими клещами хватают художника. [...]

Пафос нонконформизма пронизан горечью и разочарованием в человеке, который чаще всего предстает в низменном, мерзком обличье или сломленным, униженным и страдающим. Как редко изображаемое дышит состраданием, смирением и любовью! Как будто кошмарное и репрессивное бытие совершенно вытеснило эти чувства из души художника или отбило желание проявлять их! Вызвано ли это одной его правдивостью и противопоставлением казенной фразеологии о благе человека? Не отрицая этих причин, стоит поискать объяснение также в самом мировоззрении неофициальных художников.

Его иногда определяют как антиматериалистическое, т. е. как антипод господствующей системы идей и представлений. Снова — отрицание без позитивной программы. В целом распространенное среди мыслящей диссидентской интеллигенции мировоззрение, которое все еще сильно буксует на льду гордыни и нигилизма. Из соответствующего комплекса идей, многократно подтверждаемого и усиливаемого будничной жизнью, вытекает упомянутое отчаяние перед действительностью и трагически-фатальное изображение человека, что, хотя и знакомо западному искусству, все-таки смягчается в нем нередко гуманистическим или христианским подходом. Этим ли полностью объясняется русский брутальный фигуративизм? Нет, еще и этическим обеднением русской культуры и сознания!

Если с экзистенциалистской характеристикой своего мировоззрения нонконформисты еще охотно согласятся, то возмущенно возразят, что они — поголовно духовные люди, верят в Бога и, безусловно, христиане. Первые два утверждения я и не отрицаю, но в последнем — сомневаюсь, ибо тут слова расходятся с делами, то бишь религиозными картинками. [...] Однако здесь рациональный дух руководствуется иконографической точностью, а не стремлением передать Христову истину. Товар на экспорт соответственно западному стереотипу о православии. Формальная новизна прямо-таки вменяется принудительно в обязанность, оттирая на задний план такие понятия, как благочестие, чистота, богоугодность. Уж не стоит говорить о дешевых подделках «а ля русс», в которых христианский сюжет или священные символы — только нонконформистское тавро ради моды и сбыта.

При всем этом обязательно и серьезно упоминается икона. Однако она чаще всего воспринимается как формальное начало, компендиум условных приемов, без учета духовного смысла. А если неофициальный художник обращается порой к духовному смыслу, то интерпретирует его в основном соответственно своему мировоззрению, т. е. философски или эстетически. С одной стороны, получается опора на древнюю и национальную традицию, да еще ценимую западным авангардом и покупателями за формальную красоту, а с другой — демонстрируется личный вкус, русский дух и христианское призвание. Пожалуй, никогда до сих пор русская иконопись так не ошиблялась и не была таким объектом спекуляций.

По своей гордости или невежеству, большинство из тех, кто обращается к иконе за вдохновением, не чтут ее как святыню, отчего и не проводят даже

формальной разницы между сугубо светским и религиозным искусством. Во многих так называемых религиозных картинах нет ни трепета благочестия, ни углубленного созерцания христианской тайны. Свободу творчества художника нельзя ограничивать, но надо призвать его к меньшему религиозному легкомыслию, типичному, впрочем, для нашей интеллигенции, большей вдумчивости при прикосновении к христианской истории и преклонения перед Божим величием и святостью. Ну, а если тебе важнее отрицание и формальный эксперимент, без которого, как утверждают многие, нет настоящего художника?

Необходимо создать в искусстве новое равновесие между этическим и эстетическим, что возможно благодаря христианскому учению о том и другом, и оно поможет избежать опасного крена в сторону формального новшества за счет духовности. Дух живтворит везде, и лишь гордое или слепое самолюбие забывает об этом. [...]

Неофициальное искусство откинуло завесу соцреалистического тумана, и теперь без этого искусства немислимо развитие национальной культуры. Оно создало альтернативу и отменило безусловный идейно-духовный компромисс в одной из ее областей. Обогатилось искусство, в нем появились новые возможности и средства, а личность художника обрела большую свободу. Но заслуги перечисляются на поминках, а перед нами — живой организм, которому поэтому полезнее холодный душ трезвого анализа, чем теплая ванна эмоциональной апологетики.

Главный недостаток неофициального искусства происходит от его основного достоинства — отрицания. Переноса конфронтацию также в формальную сферу, оно в отрицании выражает, интерпретирует и воспроизводит советскую реальность в негативном духе, не зная или не понимая, что отрицанием отчуждение не снимается, а усиливается, извращенные ценности не очищаются, а отбрасываются как растленные и ненужные, их подлинная суть игнорируется, а не раскрывается. Нигилизм — старый грех русской интеллигенции — не позволяет выдвинуть позитивные идеалы. В этом, кстати, Блок упрекал декадентов, искусство которых поэтому оставило вакуум, заполненный активным разрушительным принципом.

В этом отсутствии положительных начал виновен все еще упорное маловерие инакомыслящей интеллигенции, которая не так давно двинулась к Христу, но колеблясь, спотыкаясь и оглядываясь часто назад. Она еще не всегда ясно сознает, что при религиозном возрождении, которое теперь проповедуется с той же страстью, как прежде — социалистическое будущее, сначала она должна раскаяться в греховной жизни и горделивом забвении Бога и только после прощения и очищения может к ней, по милости Божьей, прийти «рождение свыше». Покаяние же включает отвержение самости, гордыни, ложных идеалов. И уж тут придется пересмотреть границы духовной автономии художника и искусства.

Многие художники, даже приняв в сердце Христа, продолжают думать, что вера — это интимно-личное дело, которое к искусству имеет косвенное

отношение и даже порой мешает ему, утверждая примат Духа над буквой, т. е. формой. Это мнение так укоренилось в индивидуалистическом сознании, что его трудно преодолеть отчасти из-за лени и самомнения и поскольку «крайне непопулярны среди интеллигенции понятия личной нравственности, личного самоусовершенствования, выработки личности»<sup>1</sup>. А о личной нравственности и добродетели современные художники и слышать не хотят, уверенные в псевдоромантической догме о независимости жизни и таланта. По ней художнику не только не нужно блюсти чистоту души и тела, но, наоборот, чтобы ярче поведать о себе и своих переживаниях, просто полезно поддаться искушениям, а потом — не то чтобы раскаяться, а — воспеть, вознести и возвеличить.

Не отказавшись от этих моральных шаблонов, которые, кстати, весьма выгодны государственной идеологии, и не обратившись глубже к Христу, нельзя обрести и утвердить не риторически, а практически положительные идеалы и ценности, без которых неофициальное искусство хотя и будет развиваться, но — не вверх, а — по плоскости, не вперед, а — по кругу. Эти идеалы Истины, Любви, Добра и Святости не будут отвлеченными понятиями, а, как уже было много раз в искусстве, помогут художнику путем духовного подвига достичь желаемого — полного раскрытия своего таланта. Как труден этот путь, можно видеть из постепенного возрождения символизма, в котором общедуховные и отвлеченно-мистические идеалы подменяют еще христианские.

Эта духовная трансформация исцелит многие комплексы неофициального искусства, в том числе и чисто советского производства — комплекс неполноценности перед Западом. [...]

Если критика избежит крайностей: апологетики и уничтожения, с максимальной доброжелательностью и пониманием отнесется к неофициальному искусству, объективно оценивая стремления и возможности художников, то она немало может помочь при теперешнем смущении умов и утрате ориентиров. Лишь бы критики и художники думали не об оригинальности в моде, а о самораскрытии на основе идеальных целей, которые появятся и укрепятся лишь через постоянное очищение и совершенствование души. Дорогу к ним каждый пусть избирает себе в зависимости от своих сил, доброй воли и жажды высшей Истины, памятуя при этом о призыве Богом всякого человека к Своим нетленным сокровищам.

1981, № 30

---

<sup>1</sup> Булгаков С. Героизм и подвижничество. — «Вехи», М., 1909.

## ВАДИМ НЕЧАЕВ

### История Оскара Рабина

Картины уже были развешены по стенам. Выставка солидарности с венецианским Бьеннале-77 должна была открыться 15 ноября у нас дома. Накануне я вылетел из Ленинграда в Москву. Телефон у Оскара Рабина был отключен, и мое появление в час ночи было полной неожиданностью. А он как будто и не удивился, обнял за плечи и ввел в квартиру. [...]

В ту ночь Рабин был непривычно живой, веселый, ироничный. Я сказал ему, что в Ленинграде открывается выставка в поддержку Бьеннале, что через десять дней мы перевезем ее в Москву, что мы — в кольце, независимая культура в блокаде, а выставка — прорыв блокады...

— Я понимаю, — грустно сказал Рабин, — но я не могу, — и вместо ответа на мой вопросительный взгляд показал заграничный паспорт: — Я хочу наконец-то увидеть Париж...

С утра Оскар стал как мольберту, а после обеда показывал мне холсты, которые решил взять с собой. Они выстроились вдоль стен, словно роща. Бараки, зеленоглазые коты, рыбины, обведенные черным контуром, огромная, опрокинутая навзничь кукла, похожая на мертвого ребенка, фонарь на улице Пресвятой Богородицы, перелетающие и падающие за советскую границу избу, цветы в деревне Софронцево... И, глядя на мою любимую работу, где черный провал в ряду кособоких, заколоченных деревенских домов отражается в пруду церковью, невидимым градом Китежем, последней надеждой, — я подумал, что картины Оскара Рабина уже стали классикой.

У людей, как у народов, бывает история и предыстория. История Оскара Рабина, на мой взгляд, начинается 15 сентября 1974 года, хоть он и был уже отцом семейства и сложившимся, ценным художником. Что же привело его вместе с друзьями и единомышленниками на Беляевский пустырь?

Родился Рабин в 1928 году в Москве. Отца потерял рано. Мать умерла в начале войны. Изредка помогали тетки, но, по существу, он остался один. Он болтался по пустым улицам, искал хоть каких заработков. Тогда и сложился его независимый характер, склонность к отшельничеству. От одиночества его спасла страсть к рисованию. Он попал в студию Е. Л. Кропивницкого, художника, поэта и музыканта. Евгений Леонидович учил своеобразно: не

тому, как писать картину, но тому, какой она должна быть, тому, что картина живет иной жизнью, чем изображенные на ней предметы, и что линии и объемы имеют свой смысл и ждут раскрытия. Вместо поучений он предпочитал поехать с полуголодными мальчишками за город, в лес, печь картошку на костре, читать стихи, философствовать...

Чудо, что Кропивницкий выжил в сталинскую эпоху. Самобытный ум, крутой характер, злой язык, постоянное экспериментаторство выделяли его из породы людей-сеledок. Спасло его, наверно, то, что он не искал официального признания и жил уединенно. Вместе с женой, Ольгой Ананьевной Потаповой, тоже художницей, занимали они комнатуху в разваливающемся деревенском доме, жили в нищете. В комнате помещалась печка, две кровати, два мольберта да малюсенький столик. Здесь-то позже, в 50-е годы, и создавалась Лианозовская школа. Ольга Ананьева, необыкновенно терпимая и мягкая, всем все прощала, всех понимала и утешала. Сам Кропивницкий был резок в спорах и оценках. В молодости он учился в Витебске у Малевича и работы своих молодых учеников оценивал по меркам мировой культуры. Это не мешало дому их быть центром притяжения для молодых художников и поэтов.

Уехав в конце войны в Ригу и проучившись там три года в Академии художеств (учитель его, Лео Свемп, был поклонником уже опальных импрессионистов), Рабин не выдержал тоски по Москве и вернулся. Без прописки, бездомный, полтора года он скитался, работал размером, грузчиком. В 21 год он женился на дочери Кропивницкого Валентине, поселился в Лианозове и устроился десятником на строительство Северной водопроводной станции, начальствуя над зэками-бытовиками. И барак, где они получили комнату, был прежде лагерным. Много лет прожил Рабин в этом бараке, много раз за это время барак красили — то желтым, то розовым, то снова желтым. Таким он и появлялся на полотнах — желтым, розовым, грязным, бесцветным... Из окна — постоянный пейзаж железнодорожных путей, линий электропередач, черные дымы из труб котельных. В Лианозове и родился знаменитый черный контур Рабина. Его сын так истолковывает символику этого контура: *«Пристрастие Оскара к черному контуру я теперь хорошо понимаю, потому что вся наша жизнь в Лианозове, вся окружающая действительность были обведены черными контурами. Они не были видны с первого взгляда, но сам этот поселок с котельными, из которых шел черный дым, жизнь в общих бараках, жизнь даже тех, кто был в Москве, — были обведены черными рамками».*

Режим у лагерников был терпимый, бытовой лагерь был на хозрасчете, и за зарплату зэки просили купить не хлеба, а водки. Письма зэковские Рабин всегда брал, а с водкой было сложнее. Начальство смотрело сквозь пальцы, но могло и застукать. А не принесешь водку — люди откажутся работать. Платили же Оскару 79 рублей в месяц, и на эти деньги они перебивались впятером, с двумя детьми и больной бабушкой. Одно было хорошо: сутки он работал, двое отдыхал и мог заняться живописью. Иногда кто-нибудь заказывал нарисовать парк культуры — за мешок картошки.

В 1957 году Рабин выставил натюрморт на молодежной художественной выставке Всемирного фестиваля молодежи и студентов и получил диплом. Его взяли на работу в декоративно-оформительский комбинат. Но главное — он наконец-то нашел свой стиль, раскрылся как художник, отбросил натуру. Конечно, к себе новому надо было привыкнуть, освоить свое выражение, свои темы и приемы, и процесс этот был не быстрый, порой мучительный, но освещал жизнь смыслом.

Известность в среде знатоков живописи и коллекционеров приходит к Оскару Рабину довольно быстро. В Лианозово начинается паломничество. В 60-е годы в западных галереях, ставших площадкой для неофициальных художников, проходят ряд персональных выставок: Анатолия Зверева, Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина. В западных журналах появляются статьи о Рабине, репродукции его картин. Не смолчала и отечественная пресса: «Советская культура» печатает пасквиль под угрожающим названием «Цена чечевичной похлебки».

В эти тревожные дни он знакомится с Александром Глезером, который с ходу предлагает Рабину устроить его выставку в клубе «Дружба», где Глезер числился общественным директором. Рабин выдвинул встречный план: пока власти не разобрались, использовать шанс и устроить групповую выставку.

Выставка на шоссе Энтузиастов, на бывшей каторжной Владимирке, в окружении дымящихся заводских труб, была по сути первой экспозицией Лианозовской группы. На ней были представлены Е. Л. Кропивницкий, О. А. Потапова, их дети Валентина и Лев Кропивницкие, Оскар Рабин, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Дмитрий Плавинский, Валентин Воробьев, Эдуард Штейнберг, Анатолий Зверев. Выставка открылась в два часа дня 22 января 1967 года, а к четырем уже явилось партийное начальство и заперлось с директором в кабинете. Через несколько минут побелевший директор объявил: «Выставка закрывается, прошу публику уйти». Толпа не расходилась. Погасили свет в фойе, сказав: «Приходите завтра». А назавтра зрителей встретили дружинники: «Выставка? Никакой выставки не будет. И вчера не было. Вам показалось...»

После этого был выпущен строгий циркуляр: дворцы культуры и клубы могли выставлять произведения искусства только с разрешения Союза художников; каждая выставка должна была утверждаться райкомом партии и местным управлением культуры. Глезера уволили из клуба, а Рабину пришлось уйти из комбината.

Рабин выставил в клубе «Дружба» четыре работы и никогда не испытывал такого удовлетворения от своих картин, как в этот раз, — словно отец, который впервые вывел детей из подвала на солнечную улицу.

Так вот все и началось. Что, впрочем, началось, если выставки повсеместно запретили? Но независимая живопись медленно и неуклонно проникала в разные слои общества, частные коллекции становились основой многочисленных домашних выставок, непризнанные художники попали в ранг туристских достопримечательностей: иностранцы посещают их ма-



стерские или квартиры коллекционеров наравне с Суздалем и Третьяковской галереей. Сформировалась духовно и материально независимая от государства прослойка, со своей шкалой ценностей, своими вкусами и привычками. Прослойка неоднозначная: действовала игра самолюбий, создавались и рушились репутации, в конкурентной борьбе, бывало, шли в ход клевета и шантаж, распускало провокационные слухи КГБ, пристально следившее за этим кругом людей. Однако до поры до времени не вмешивалось. Ну, ходят люди друг к другу в гости, ну, на приемах в посольствах оттирают маститых академиков... Картины продают — так даже налог готовы платить.

Но в 72-м году КГБ взялось за дело. Трех молодых художников, в том числе сына Рабина Александра, схватили на улице, приволокли в милицию, сняли допрос (ослепительная лампа в глаза):

— Где работаешь? На что живешь? Зачем шляешься к иностранцам? Художник? Кому картины продаешь?

А дальше началась систематическая травля всех подряд. Постоянная слежка, анонимные телефонные звонки, угрозы. Стала являться на квартиры милиция с проверкой документов. Стоило Рухину или Жарких объявиться в Москве, как тут же их хватили и в нос совали предписание, что больше трех суток они не могут находиться в столице. А вокруг Рабина к тому времени сколотилась группа самобытных художников. На его московской квартире часто устраивались просмотры картин Рухина, Жарких, а позже — Овчинникова.

Летом 74-го года выплыла забытая идея: выставка на открытом воздухе. Единственная возможность, которую ни разу не использовали, и реакция властей на нее неизвестна. Прикидывали, сколько человек пойдет на такое дело, — выходило, семь-восемь наверняка не оробеют. Участвовало — двадцать четыре.

История «бульдозерной» выставки известна. Готовили ее на принципах абсолютной гласности: нашли пустырь, известили Моссовет, не отказались вести с чиновниками переговоры, но именно чиновники в этих переговорах заходили в тупик: инструкция ничего не говорит о выставках на открытом воздухе. Наконец, чиновники изобрели зацепку: вы можете получить разрешение при условии, что не будете выставлять антисоветских картин. И посыпался град вопросов:

— А что такое антисоветская картина? Сформулируйте, пожалуйста. Абстракция, где только краски и пятна, — это антисоветская живопись? А отвлеченный сюжет, без конкретного времени и места?

Выставку не разрешили, но как бы и не запретили. Дата ее приближалась, пригласительные билеты, отпечатанные на машинке, были разосланы по всей Москве — даже Фурцевой.

Беляевский пустырь — огромное поле, за которым виднеется лес. Ни посадок, ни построек — совершенный пустырь. Начинается он на перекрестке двух шоссе, земля перерыта, лежат метровые трубы, а подальше уже открытое поле — чуть под гору, как в театре. Так что зрителям все будет видно издалека.

Перед 15 сентября художники разработали небольшой стратегический план. Съезжаться несколькими группами из разных мест. Где бы ни задержали — перед пустырем или на пустыре, — тут же разворачивать картины и демонстрировать их публике. Насилию не сопротивляться. И всем надеть парадные костюмы — это наш праздник.

Накануне разделились: кое-кто остался у Оскара на Преображенке, кое-кто, в том числе его сын, — у математика Тупицына, который жил по соседству с пустырем. Еще несколько художников должны были подъехать из разных мест. Атмосфера в этот вечер была тревожная. Володя Немухин признался, что ему легче было бы сидеть дома и ждать ареста, чем завтра выйти на пустырь с картинами перед публикой — Бог знает, что из этого получится. Публики Немухин боялся больше, чем репрессий...

Оскар «задержался» по пути — взяли и продержали в милицейской комнате метро. Не видел, как встретили молодых художников молодчики в штатском, приказали поворачивать обратно, как ребята поднимали картины над собой, как на них пустили бульдозеры, как разжигали костры и швыряли туда полотна. Как избивали всех подряд, не делая исключения для иностранных корреспондентов.

Выпущенные из милиции, Рабин и Глезер спокойно идут и разговаривают: дорога в гору, пустыря пока не видно. Из движущейся навстречу заграничной машины высовывается дипломат, в ужасе жестикулирует и, не останавливаясь, исчезает. Немного странно, но — раз милиция отпустила, значит, все в порядке. Шоссе перегорожено милицейскими машинами. А дальше, на пустыре, — словно битва развернулась. Грохочут бульдозеры, поливальные машины хлещут водой по собравшейся публике.

Первым подбежал к Оскару сын, потом и остальные: художники и просто друзья, — окружили кольцом. «В чем дело? — спрашивает Оскар. — Почему остановились?» — А дальше не пускают. — «В конце концов, публика пришла, так давайте разворачивать картины». Их специально паковали так, чтобы можно было моментально сорвать обертку. У Оскара было с собой две картины: «Деревня» — коровник в Софронцево с ласковой выглядывающей головой буренки и «Осень» — три огненно-красных кленовых листа на земле.

Рабин поднял картины и жестким, металлическим голосом проскандировал: «Выставка продолжается! Продолжаем выставку!» Откуда у него такой голос взялся! Слова его покрывали вой бульдозеров. Сын удивленно посмотрел, не узнал Оскара: лицо без кровинки, уверенное, неумолимое:

— Продолжаем выставку!

Замешкавшиеся молодчики, наконец, бросились к Рабину. Вырвали картины, забросили на самосвал, тут и подвыпившая баба появилась со щитом: «Все — на субботник!» От костров несло горелой краской, возле самосвалов копошились люди с ломami и лопатами, кто-то скомандовал: «За работу! Равняй площадку бульдозерами».

На людей, на женщин с детьми погнали бульдозер с опущенным ножом, только комья глины в стороны летят.

— Езжай! Разойдутся!..

Зрители разбегаются, а Рабин остается на месте. Сын стоял чуть позади, предупредил: «Оскар, бульдозер едет!» — «Ну и пусть едет!» — Саша не выдержал, опять: «Оскар, гляди, на нас бульдозер едет!» И услышал тот же ответ. На пути бульдозера остались они вдвоем, Оскар чуть впереди. Когда бульдозер уже наезжал, он вскочил на нож и, скользя ногами по мокрой глине, каким-то чудом удержал равновесие. Саше не остается другого выхода, он тоже вскакивает на нож и вдруг видит, как бульдозерист то ли спьяну, то ли с перепугу изо всех сил выжимает газ. Машина взревела и помчалась по рытвинам и кочкам. Саша одной рукой ухватился за какую-то железку, другой вцепился в отца, чтобы тот, не дай Бог, не свалился под нож — тогда конец. И еще запомнились смазанные бледные лица кругом.

Хладнокровнее и ловче всех оказался немолодой американский журналист — он кинулся к взбесившейся машине, через гусеницу перескочил в кабину, оттолкнул водителя и выключил зажигание. Бульдозер стал. Оскар хладнокровно сошел на землю, поднял картину, по которой только что проехали гусеницы, и опять сказал:

— Выставка продолжается.

Вот эта неукротимость — характерная черта Рабина. Если б его сейчас убивали, он бы все равно сказал: «Выставка продолжается». Команда: «Взять его!» Подскачили, заломили руки за спину, потащили к легкой машине.

Потом на закрытых собраниях объясняли: «ЦРУ заранее тренировало Рабина, как ездить на бульдозерах. Неправдоподобно? Вот вы, граждане, на бульдозер не полезете? Я лично не полезу. Потому что мы не тренированы!..»

Привезли Рабина в отделение, втолкнули в отстойник, сел он на скамейку. Дежурный вызывает:

— Тяпушкин!

«Господи, — поглядел Оскар, — это же Алексей Тяпушкин, член Союза художников, Герой Советского Союза. Он-то тут как?..»

Во время войны служил Тяпушкин рядовым в противотанковой батарее, защищал своей пушечкой Москву. Случай с ним стал легендой в армии. Немецкие танки прорвали линию обороны, раздавили ее гусеницами и пошли дальше. А Тяпушкин в своем окопчике уцелел, встряхнулся, развернул пушку и давай бить танкам в спину. И довольно метко бил.

— «Злость меня взяла», — рассказывал он об этом Рабину.

— А вот когда бульдозер двинулся на женщин и детей, меня тоже злость взяла, — ответил Рабин. Тяпушкин только улыбнулся.

В этот день Оскар приобрел одного из самых надежных друзей: Тяпушкин будет участвовать во всех выставках независимых художников. [...]

Впервые Оскар ночевал в камере. Хорошо хоть не один, а вместе с сыном, свезли их в одно КПЗ. Там-то и пришла Рабину простая мысль: когда выпустят на свободу, надо не только жаловаться и протестовать, а ответить на бульдозеры. Чем могут ответить художники? А чем же, как не выставкой! Взять, и через две недели выйти на тот же пустырь. Объявить властям:

вы сорвали выставку, мы ее повторим. И когда на следующий день всех задержанных свезли в суд, то обсуждали они не приговор, а идею новой выставки.

Власти были растеряны. Эти люди не каялись, не просили о снисхождении, даже не протестовали, а просто-напросто извещали Кремль, что ровно через две недели, опять в воскресенье, осуществят свой замысел. Проблему пришлось решать на верхах. В Москве циркулировали слухи, что неофициальные художники стали яблоком раздора между двумя могущественными силами: МВД и КГБ. Не стоял в стороне и горком партии. В роли прекрасного Париса выступил ЦК. Общеизвестно, что сотрудники КГБ всю Беляевскую баталию засняли кино- и фотокамерами. Вероятно, чтобы показать начальству и убедить его: «Видите, что получается, когда действуют жесткими мерами. Поручите контроль над этой публикой нам, и мы все уладим, в лучшем виде». Во всяком случае, позже «опекать» культурное движение — т. е. одних приручать, других блокировать — стало КГБ.

Но пока пошла череда побед. Выставки в Измайловском парке и на ВДНХ, в ленинградских дворцах культуры им. Газа и «Невском». Толпы зрителей, многочасовые очереди. Вспыхивают имена художников, дотоле десятилетиями работавших в подвалах и на чердаках в полной безвестности. Появляются самиздатские журналы по искусству.

После Измайловской выставки Рабин тотчас уехал к себе в Софронцево, чтобы хладнокровно обдумать происшедшее и взглянуть на события немного со стороны. Было ясно, что период «бури и натиска» кончается.

Реальность оказалась еще более непростой, чем он предполагал. Через горком графиков Оскару сделали предложение: откажись защищать других, откажись от участия во всяких там инициативных группах и комитетах, и ты получишь всё — выставки, официальное признание, благополучие и спокойствие. Всю жизнь быть независимым и вдруг, под пятьдесят лет, стать ручным, обрести блага, в которых другим отказывают, — такое превращение было для Рабина и невозможным, и неприемлемым.

А в частную жизнь уйти поздно. Люди требовали от него участия, апеллировали к его опыту и разуму. Он стал признанным авторитетом в культурном движении. Все это вело к открытому конфликту с властями, которые убедились, что Рабин на уступки не идет и приручать его бесполезно. И тогда ему определили судьбу изгнанника...

Вечером 15 ноября 1977 года, в день открытия выставки в Ленинграде, Рабин созвал ближайших друзей. Накрыли столик в маленькой комнате. Первый тост Рабин произнес за ленинградских художников, второй — за выставку, за ее успех и, сделав небольшую паузу, отчетливо сказал:

— Я приветствую выставку солидарности с Бьеннале. Я участвую в ней.

Все пораженно посмотрели на него, и, вероятно, каждый подумал: «А как же Париж?» Оскар шел на явный риск и в очередной раз бросал вызов судьбе. [...]

После успеха нашего Бьеннале в Ленинграде московские власти были начеку. Квартиру Людмилы Кузнецовой, где был подготовлен показ картин, блокировали (полтора годами позже ее просто подожгли).

Оскар Рабин успел еще войти в комитет защиты культурных ценностей, но отъезд надвигался. 3 января 1978 года он покинул Москву, а несколько месяцев спустя — лишен гражданства. В декабре в Париже я опять оказался его гостем. Но Рабин в Париже — это уже другая история.

*1979, № 21*

## ЭРИК ЭГЕЛАНД

### Встреча с Неизвестным

[...] Специфика советского образа жизни, в частности, состоит в том, что не крылья славы, а крылья скандала могут вынести то или иное имя за пределы занавеса из колючей проволоки... Столкновение с Хрущевым на знаменитой выставке в московском Манеже в 1962 году обратило внимание всего мира на скульптора, который, живи он в любой стране свободного мира, стал бы знаменит еще за несколько лет до того: его, как это и полагается художнику, прославили бы его работы.

Но в СССР молодой, талантливый, с тягой к монументальности и грандиозности скульптор, едва начав свой путь, столкнулся с глухой стеной соцреализма. Самим фактом своего существования он представлял опасность для всех жизненных норм советского искусства, прагматически расчисленного и пропагандно служебного. Духовность сшиблась с ремесленничеством лакеев. Настороженное внимание к Неизвестному стали проявлять еще задолго до пресловутой выставки, но, к счастью, никто из непосвященных не заподозрил, что Эрнст Неизвестный был одной из центральных фигур катакомбной культуры. Лишь после того, как скульптор покинул свою родину, это стало известно.

*«Выставка была быстро закрыта, переделана для просмотра ее руководителями партии и правительства. Когда первый секретарь КПСС — он же и первый министр — в сопровождении примерно семи десятков членов правительства и ЦК спуускался по лестнице, он орал на весь манеж: “Грязь, мазня, позор! Говно собачье!”*

*Толпа художников молчала. Кто-то указал пальцем на Неизвестного как на подлинного лидера и в какой-то мере организатора выставки. Хрущев бросил на него нетерпеливый взгляд — ждал ответа. Неизвестный сказал: “Вы можете быть премьер-министром, но не здесь. Около своих работ художник сам себе премьер-министр, а потому поговорим на равных”. Вмешался кто-то из членов правительства: “Да кто ты такой? Как ты разговариваешь с председателем Совета министров? Да ты у нас мигом на урановые рудники загремишь!” Тут же два “искусствоведа в штатском” схватили скульптора. Не обращая внимания на них, он обратился к Хрущеву: “Вы разговариваете с человеком, который в состоянии покончить с собой любой миг. Так что ваши угрозы для меня мало что значат”.*

*По указанию того самого министра, который угрожал урановыми рудниками, кагэбисты отпустили скульптора...»*

Этот репортаж взят из книги об Эрнсте Неизвестном английского искусствоведа Джона Бергерса. Тут обращает на себя внимание спокойное отношение скульптора к Смерти — это очень важный момент, один из ключей к его творческой философии. Бескомпромиссное признание приоритета достоинства человеческого духа перед всем, из чего состоит жизнь. «Кесарю — кесарю, а — (НО!) Божье — Богу»...

Эрнст Неизвестный уже умирал однажды. Он и верно был почти мертв — а считали его мертвым довольно долгое время. Когда он ушел добровольцем на фронт в возрасте шестнадцати лет, он почти сразу же был ранен в грудь навывлет разрывной пулей, которая перебила ему позвоночник. Лейтенанта сочли мертвым и оставили за линией немецких окопов. Но ему суждено было воскреснуть.

Когда после университета, Академии художеств и напряженной самостоятельной работы определилась творческая манера и стиль скульптора, большое место в его творчестве занял мотив страдания и гибели — солдаты, искалеченные или смертельно раненные, часто встречались среди его работ тех лет. Если попытаться охарактеризовать его стиль, можно сказать, что это — фигуративный экспрессионизм. Трагическая тема и сильная, напряженная до предела жизнеутверждающая форма. Она включает в себя — в самых смелых сочетаниях — элементы чуть ли не всех направлений современного искусства. [...]

Есть немало парадоксов в личности этого замечательного художника. Я не знаю ни одного скульптора, который был бы так досконально — не по-дилетантски — знаком с современной математикой, физикой и прочими естественными науками. Дело не только в университетском образовании — научный подход чувствуется в самом решении пространства, в идеях композиций, в невероятной широте выбора техники и материала: от электроники и кино до дерева, стали, стекла, пластика, бронзы, камня... Его скульптуры одухотворены теми же антигеометрическими силами, силами органическими, живыми, которые определяют и формы человеческого тела, и завихренность корней дуба... В цельности мировосприятия скульптор видит синтез всего, что многие века лишь анализировалось. Синтез в формах современного гигантизма.

К парадоксам же его житейских коллизий можно отнести тот факт, что, впервые встретившись с Хрущевым как с врагом, скульптор впоследствии стал его другом. Позднее семья сброшенного с трона вождя просила, чтобы памятник на его могиле был выполнен только Неизвестным. [...]

Эрнст Неизвестный родился в Свердловске в 1926 году. Он невысок, атлетического сложения. Движения быстры и точны, как у боксера в момент атаки. Задумчиво и твердо смотрит он на собеседника. Я спрашиваю: «Почему вы добивались выезда из СССР?» — «Как художник, я там был обречен. Мои работы не лезли в официальные рамы. Ни форма, ни метафизи-

ческое их содержание не могли соответствовать государственному взгляду на искусство. Более семнадцати лет у меня вовсе не было заказов. Только в последнее время, когда более современную скульптуру стали осторожно допускать в интерьеры научно-исследовательских институтов, власти почувствовали нужду в таких скульпторах, как я». Но, исполняя эти заказы, мастер всегда чувствует себя в напряжении — прежде всего, из-за ожидания самых нелепых идеологических придинок. Заказы эти принесли Неизвестному очень большие деньги, но приходилось работать на том уровне, который был для него пройденным этапом чуть ли не полтора десятилетия назад.

«Художник не может постоянно ковылять позади самого себя, — говорит он, — я чувствовал себя, как тот молодой актер, который всю жизнь мечтал сыграть Гамлета, но не получил этой роли. Когда же, состарившись, он хотел сыграть короля Лира, ему сказали: вот теперь ты можешь играть Гамлета».

Произведения Неизвестного раскиданы по всему миру. Некоторые из них хранятся на даче семьи Хрущева, часть прибыли вместе со скульптором в семнадцати авиаконтейнерах, остальное находится в частных руках — от Италии до Финляндии.

«Непосвященные могут считать, что всё это — отдельные работы. Для меня же это — только фрагменты к одному-единственному, главному произведению — “Сердце человеческое”. Это всё — части одного целого». В этой грандиозной работе весь смысл его жизни.

Это произведение — динамический поиск всеобъемлющего видения. Оно возникло из той метафизической традиции, из той духовной истории человечества, которой пренебрегает сегодня Запад и которую подавляют идеологические шаманы в СССР. Неизвестный ищет духовного соединения искусства с современной наукой, единства Веры и Знания, которые на самом деле не противоречат друг другу, — наоборот, лишь в единстве обогатив друг друга, дают цельный духовный мир. [...]

Творчество Неизвестного связано и с тем новым видением мира, который дает современная физика, и с древнейшими духовно-понятийными традициями западных и восточных культур. Это видно и в его произведениях, это же подтверждает он и сам. Пресловутые симптомы духовного кризиса в современном мире ему не кажутся столь серьезными и роковыми, как это представляется столь многим деятелям западной культуры.

«Я не настолько знаю нынешнее западное искусство, чтобы его оценивать, но то, что я видел, свидетельствует совсем не о кризисе, а скорее о локальности устремлений, о детальности поисков вообще в современной цивилизации. Происходит, например, процесс разделения между разными специальностями в рамках какой-нибудь одной науки, растут пропасти между различными профессиональными кругами, есть опасность, что скоро один физик не сможет понять другого, работающего над смежной проблемой. В науке эти процессы еще как-то объяснимы, но в искусстве, я думаю, им нет места. Задача искусства как раз в том, чтобы дать цельную картину мира. Это не право художника, а его долг. Ибо он живет прежде



всего интуицией и должен быть способным познавать всё не поэтапно, а непосредственно в единстве...» [...]

— Ну, а прикладные науки, техника, которые стали в последнее время играть огромную роль? Они, видимо, имеют над нами все бóльшую власть?

«Когда люди высадились на Луну, ко мне в Москве пришли журналисты — хотели узнать, какое впечатление на меня произвело это событие. А мне интересен был не сам факт, меня занимало одно: а что это за люди? А может быть, это какой-нибудь из персонажей Достоевского? Ведь человек, летящий в ракете, может вполне иметь духовный и моральный уровень пещерного жителя! Ведь нажать кнопку даже проще, чем выстрелить из лука!»

— А не привязаны ли мы все к этой специфике технического прогресса?

«Я считаю достойными внимания лишь ценности духовные и интеллектуальные. А техническое развитие вовсе не проявление духовности или даже интеллекта. Техническое развитие — комбинация весьма банальных усилий, большей частью. В том и состоит тайна современной науки, которую иные ученые тщательно скрывают... Для меня технология — по сути, продолжение человека в том смысле, как ложка — продолжение руки. Если так смотреть — ясно, что глубины человеческого сознания от этого фактически не меняются...»

Наша беседа переходит к источникам мировоззрения скульптора. Он прежде всего замечает, что за последние столетия был утрачен тот синкретизм, в силу которого искусство было частью мистического целого, отражавшего метафизические и космогонические идеи. [...]

— Каким образом вы пришли к такого рода взглядам? Ведь вы росли в годы сталинизма, юность ваша тоже прошла в среде полностью контролируемой стражами марксистской догматики...

«В 1947 году в послевоенной Москве я взял на себя инициативу собрать круг людей, способных создать то, что условно можно назвать катакомбной культурой. Этот круг продолжает действовать и поныне. Меняются люди, одни уходят, другие приходят, но главная цель этой работы остается: изучение, защита и порой создание всего, что возможно, — в метафизическом аспекте. Люди самых разных профессий и интересов включились в эту работу. [...] Мы хотели пробиться сквозь официальные культурные барьеры. Мы читали Фому Аквинского, блаженного Августина, Киркегора, современных экзистенциалистов. Такие писатели, как Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл, тоже были переведены и размножены в ограниченном количестве экземпляров. Однако основное значение придавали мы не современной философии, а эзотерическим учениям».

— Традиции Достоевского, Соловьева? Идея Святой Руси?

«Да. Но это было больше, чем традиция, — для меня во всяком случае. Я вырос в интеллектуальной семье. Соловьев, Бердяев, Розанов, — все это стояло у нас на полках... Кроме того, опять же в начале века существовало значительное философское направление — в России оно было связано с именами Анни Безант, Блаватской, Рудольфа Штейнера. Я читал его антропософские

работы. Досконально знаком и с его первым “храмом” в Дорнахе — Гетенау-мом, который был сожжен... Эти школы издали множество книг в самых различных областях знаний. Была сделана и попытка соединить ритуалы дионисийства и кое-что из зороастризма с христианством». [...]

— Верно ли, что ваш круг волновали исторические предвидения о судьбе России, призванной дать миру новый духовный Ренессанс?

«До известной степени это нас тоже вдохновляло. Но внутри сегодняшней русской оппозиции надо различать разные течения. Мне, в моей собственной классификации, — точнее, в собственных терминах — представляется это всё таким образом: необходимо отличать горизонтальные, что ли, культурные течения от вертикальных. Оппозиционеры типа академика Сахарова — рационалиста, которого я, исходя из его жизненного поведения, считаю святым, — действуют, по сути, в горизонтальном направлении культурных усилий. Их действия социально обращены вовне. Наша же катакомбная культура “вертикальна” и занята духовными вопросами. Где-то в точке пересечения этих линий находятся такие личности, как Достоевский, Толстой и, видимо, Солженицын.

Оба культурных усилия стоят перед множеством опасностей. Оппозиционеры, настроенные прежде всего на социальное, думают, что носители катакомбной культуры уходят от насущных проблем. Это ошибка. И они начинают понимать, что без “вертикальных” “горизонтальные” усилия изматываются. Растет потребность в знаниях, собранных нами за период с послевоенных времен и до нынешнего дня. Катакомбная культура никогда не может совпасть с советской идеологией. Поэтому она всегда в опасности частичной ассимиляции. Ведь официальная культура не способна на свободный анализ и потому — бесплодна. Поэтому она вынуждена исподтишка питаться катакомбной культурой».

— Каким образом?

«Вот вам личный пример: мои работы — продукт моей деятельности в катакомбной культуре. Но в известной степени они повлияли на официальную, — просто возникли подражатели, которые, хотя и не понимали моих идей, но поверхностным образом копировали и распространяли фрагменты моих работ. Другой пример — мой друг Булат Окуджава. Его лирические и романтические песни так и не стали официальными, но его интонации и метафоры растаскали по карманам многие из подражателей, занимающих какое-то место в официальной литературе».

— Как много осталось вам сделать для вашего главного произведения?

«Большинство скульптурных фрагментов готово. Модели выполнены. Их предстоит лишь увеличить. Все инженерные расчеты также сделаны. Остается реализовать проект — это композиция 150 метров в высоту и примерно столько же в ширину.[...]

“Сердце человеческое” не монумент только, но и интерьер... Открытые формы... Находишься одновременно и внутри и снаружи. Это очень важно с точки зрения наших современных понятий о времени и пространстве. Это

образ бесконечности, неразрывность духовного с математической и формальной логикой. А метафизически это как бы выражение сверхчувственного мира. Это произведение для меня как для художника особенно важно тем, что оно дает доселе еще неизвестные возможности чувственного восприятия. Понятие расстояния отсутствует. Вы находитесь одновременно и вне вещей внутри их. Когда мы внутри скульптуры — мы сами как бы часть ее...»

— В соответствии с древней метафизикой это похоже на Тело Господне?...  
«Да. Это — сердце пророка. И Тело Господне...»

Я беседовал с Неизвестным непрерывно в течение пяти часов, и еще на другой день мы прихватили часа два. И я не заметил в нем ничего такого, что мы привыкли иронически называть «причудами гения». Только настоятельная внимательность и мужество.

После смертельного ранения он живет с поломанным позвоночником и поврежденной печенью. У него недостает нескольких ребер. Когда он вышел из госпиталя, то его признали нуждающимся в постоянной помощи — тяжелейший случай инвалидности...

«Теперь я вполне здоров — после того моего опыта, который можно определить и вне религиозных категорий... Но русские люди, сохранившие свою традиционную веру, могут счесть его прежде всего опытом религиозным».

— Как вы думаете, почему многие верующие среди русской интеллигенции не причисляют себя к той или иной Церкви?

«Я тоже... Нашему поколению не свойственен какой-то определенный религиозно-догматический опыт. А духовная потребность чрезвычайно велика. Люди чувствуют необходимость, но средства, пути приближения к Богу у каждого свои...»

Неизвестный рассматривает себя — и многих русских интеллигентов — как людей недогматически верующих. Он признаёт, что душа и тело — не антагонистические понятия: «пытаешь тело — терзаешь дух». Но он признает и исключения. Об этих вопросах он беседовал с католическими монахами, гостя в одном из польских монастырей.

В его произведениях телесность — всевластна.

Стилизованные или только деформированные и просто абстрактные элементы стремятся к единой гармонии. Достичь этого соединения и было одной из главных проблем скульптора. И он, видимо, решил задачу, которая была бы по силам лишь немногим: Микеланджело, Родену, Эдварду Мунку, задумавшему написать «Фриз Жизни».

Как же он сам определяет свою задачу?

«Я отнюдь не хочу сравнивать себя с великими — речь идет просто о логике творчества, — но если Пикассо разобрал мироздание, как машину, на детали, то мне хочется снова смонтировать его, но в ином плане. Анализ в искусстве уже исчерпан. Теперь настало время искать синтез!»

## ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

### Музыкальное чудо России

Восход Галины Вишневской был триумфальным. Она покорила слушателя сразу и навсегда. Двадцать пять лет назад певица переступила порог Большого театра, и с тех пор голос ее звучал в лучших оперных и концертных залах всех пяти континентов, завораживая нас своей необычайной силой и глубиной. В нашей стране она достигла всего, о чем может мечтать актриса: прима-солистка, профессор Московской консерватории, народная артистка Советского Союза, кавалер ордена Ленина и так далее, и так далее. Ни один сколько-нибудь значительный правительственный концерт не обходился без ее участия. Казалось бы, все предвещало ей одни только лавры и почести.

Но в стране, где мерилом человеческой ценности является идеология, судьба любого творца зависит не от собственного артистического потенциала, а от степени его лояльности к существующей политической системе, основополагающая заповедь которой гласит: «Кто не с нами, тот против нас!»

В причудливом кружении нашего смутного времени жизнь свела Галину Вишневскую и ее мужа Мстислава Ростроповича с Александром Солженицыным, с которым в его трудные дни они поделились кровом и дружбой. Властям этого оказалось достаточно, чтобы свести их творческую деятельность до минимума, а затем выставить из страны и вскоре лишить советского гражданства.

Власти рассчитывали, что, оказавшись вдали от родины, от близкой среды, от истоков своего искусства, дарование двух великих артистов иссякнет и сойдет на нет, после чего они сами слезно запросятся обратно, и тогда им можно будет продиктовать условия капитуляции.

Но кремлевские мудрецы просчитались и на этот раз. Победное шествие Галины Вишневской (о творческой судьбе ее мужа Мстислава Ростроповича за рубежом мы уже писали) по лучшим подмосткам мира продолжается. Перед слушателем открылись новые грани ее феноменального дарования. Здесь, за пределами родины, в ней как бы пробудилось второе дыхание, благодаря которому талант ее обрел еще большую силу и красоту.

Но где бы она ни пела — в Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро или Берлине, — она прежде всего поет для своей страны и своего народа, и никакие запреты не в состоянии заглушить ее голос, ибо это голос самой России.

# КОЛОНКА РЕДАКТОРА



**ВЛАДИМИР МАКСИМОВ**

**Колонка редактора**

**1978, № 17. Приговорить к изоляции!**

В наши дни, у всех на глазах, восточноевропейские «голуби мира», возглавляемые «пацифистом» номер один Брежневым и К°, с триумфальным цинизмом хоронят эпоху прекраснородушных иллюзий, которую ее поклонники почему-то называли «детантом», хоронят при смущенном молчании тех, кто еще вчера бездумно торговал чужой свободой, чтобы сохранить жалкие остатки собственной, хотя бы ценой предательства и финляндизации.

Демократической доверчивости преподнесен еще один (какой уже по счету!) урок дипломатического лицемерия и международного бандитизма, и теперь (в который уже раз!) западная цивилизация вновь поставлена перед дилеммой: сделать или не сделать из этого урока надлежащие выводы, которые в конечном счете станут для нее судьбоносными.

Заранее отметая демагогическую риторику апологетов детанта о «поджигательстве» и «политическом экстремизме», я не призываю к максимализму в решении проблемы Прав Человека, я призываю к элементарному минимуму, которого может и должен придерживаться в наши дни всякий, кто считает себя честным интеллектуалом. Этот минимум исчерпывающе определен для нас Александром Солженицыным: «Не соучаствовать во лжи!»

Не соучаствовать во лжи их научных конгрессов, гуманитарных встреч, спортивных состязаний, технического сотрудничества, обмена в космосе, военных маневров, ибо для восточноевропейского и советского тоталитаризма все это лишь дымовая завеса, под прикрытием которой осуществляется беспрецедентная в истории тирания над поработенными народами, тирания, неуклонно распространяющая свою экспансию на весь остальной мир.

Разумеется, элементы насилия и нарушения Прав Человека еще имеют место и в Западном полушарии. Но демократия тем и сильна, что она предоставляет обществу бороться с возникающим злом в условиях свободного обмена мнениями, идеями, информацией. На наших глазах распались последние авторитарные режимы Европы, под нажимом мирового обще-

ственного протеста медленно, но неуклонно эволюционируют к законному правопорядку весьма недолговечные диктатуры Латинской Америки, рамки демократии стран Запада все более расширяются, уступая натиску новых сил и веяний. Свободное соревнование свободных личностей приносит свои плоды.

В современном мире осталась единственная твердыня, которая не только не поддается влиянию демократии, но и беззастенчиво использует ее противоречия в своих, сугубо агрессивных целях, и эта твердыня — советский тоталитаризм. Лишь осознав эту очевидную аксиому современности, мы сможем сообща преодолеть угрозу всеобщего рабства, где враждующим сегодня на Западе «левым» и «правым» суждено будет оказаться под крышей одного лагерного барака.

Мощной пробой сил в противодействии этому мог бы стать универсальный бойкот предстоящих в 1980 году в Москве очередных летних Олимпийских игр. Гигантский спектакль, с помощью которого жесточайшая в мире тирания хочет попытаться навести на свой звероподобный облик гуманистический грим, может быть сорван! Но это возможно только при условии объединения всех сил Свободы в разных концах земли. Хочу надеяться, что к такому бойкоту присоединятся и те, кто еще недавно страстно протестовал против участия в мировом чемпионате по футболу в Аргентине. Если их совесть возмущается действиями военной диктатуры, существующей четыре года, то тем более она должна возмущаться диктатурой еще более беспощадной, за плечами у которой уже шестьдесят лет!

Я и мои друзья отрицаем насилие даже как метод сопротивления, мы признаем и применяем на практике единственную форму борьбы — борьбу идей. Но когда идея становится средством подавления и захвата, а не духовного и политического диалога, у нас остается последний вид полемики с нею — приговорить ее к общественной изоляции. Тогда она — эта идея — или задохнется в собственной пустоте, или в конце концов от этой пустоты рухнет.

Другой альтернативы нет!

## 1979, № 19. Папа Иоанн-Павел II

Избрание польского кардинала Войтылы на папский престол поразило мир прежде всего своей неожиданностью. Казалось бы, ничто до того не предвещало столь судьбоносного во всех отношениях выбора. Но это только на первый взгляд. Если же ретроспективно присмотреться сейчас к тем процессам и мутациям, свидетелями которых мы были на протяжении последних десяти-пятнадцати лет, то нетрудно убедиться, что решение Ватиканского конклава — лишь их закономерный результат или, вернее, один из этих результатов.

Наши палачи и респектабельные пособники наших палачей, частично пристраиваясь к событиям, вдруг начинают вспоминать о евангельских заветах, взывая нас к христианской терпимости, прощению, любви к ближ-

нему. К сожалению, до последнего времени многие иерархи Католической и Православной церкви были склонны поддаться лукавому соблазну этого гнусного суесловия, начисто забывая о том, что Спаситель завещал нам любить *своего* врага, но не врага Бога. В практике же Ватикана и Московской патриархии все до сих пор обстояло наоборот.

Но логика происходящих у нас на глазах событий окончательно выбирает почву из-под ног у этого противоестественного сговора. Идея универсальности Прав Человека, вынесенная теперь на самый верх человеческого сознания героическими усилиями лучших людей России и Восточной Европы, получила одно из своих достойных завершений в акте избрания польского священнослужителя главой Вселенской католической церкви.

Выдающийся французский публицист Жан-Франсуа Ревель в своей статье, опубликованной недавно в парижском еженедельнике «Экспресс», не без упрека в адрес западной мысли отмечал, что все сколько-нибудь значительные идеи приходят в современный мир с Востока. Справедливости ради, мне хотелось бы со своей стороны добавить, что, какими бы значительными ни были эти идеи, они едва ли смогли бы утвердиться и получить здесь широкое распространение, если бы Запад оказался сейчас не в состоянии их воспринять и усвоить. К счастью, конвергенция, взаимопроникновение — процесс обоюдный.

В связи с этим я не могу не процитировать слова Александра Солженицына, высказанные им польскому журналу «Культура» по поводу избрания нового папы: *«В большей части благополучного мира христианство испытало развевание, в иных местах — одеревянение. Западные люди во множестве утратили ощущение масштабов жизни и сути ее. Эти масштабы и эту суть принесет в Католическую церковь, как я надеюсь, новый папа из духовно стойкой Польши, поднявшийся сквозь притеснение христианства у себя на родине. Вместе с католиками восточноевропейских стран мы, русские, глубоко радуемся этому избранию. Мы верим, что оно поможет укреплению нашей общей христианской веры во всем мире, — а только она сегодня и может спасти человечество».*

Поистине вешим знамением времени представляется мне на папском престоле Иоанн-Павел Второй, счастливо сочетающий в себе непокорный славянский дух и решительный римский облик.

## **1979, № 21. Закат или Восход Европы**

*После выборов в Европейский парламент*

В свое время великий Достоевский уже отмечал, как дороги сердцу всякого мыслящего русского «священные камни Европы». Именно здесь в муках и крови рождались благотворные принципы демократии. Именно здесь в огне величайших испытаний двух мировых войн она — эта демократия, — хоть и с огромными политическими и территориальными издержками, но все же отстояла свое право на существование перед на-

тиском коричневого, а затем и красного тоталитаризма. Именно здесь, на крохотном клочке европейской суши, решается сейчас самый роковой вопрос современного мира: быть или не быть демократической цивилизации?

Но роль Европы в истории христианских времен не ограничивается лишь собственной территорией. Если ретроспективно взглянуть сейчас в прошлое, то нетрудно убедиться, какое огромное влияние оказала европейская культура на современный ей мир в целом и на Россию в частности. Это влияние в течение веков сказывалось на всем укладе русской жизни: в политике, государственном строительстве, культуре, религиозной и философской мысли. Наши музыка, литература, искусство являются продуктом европейского духа и целиком опираются на европейские традиции. Этого очевидного феномена истории не может отрицать ни один самый придирчивый русофоб или западный изоляционист.

Таким образом, находясь большей своей частью в Азии, Россия в то же время духовно принадлежит Европе, и в этом, на мой взгляд, ее роль и значение для нашего континента в целом. Символически соединив в своем лице ипостаси двух противостоящих цивилизаций, русский народ волею судеб сделался объектом борьбы между ними, и от того, какая из них — этих ипостасей — победит в нем, зависит будущее современной Европы.

Нам понятен поворот многих западных политиков к сближению с Азией, которая, по их мнению, может служить сегодня единственным противовесом той смертельной угрозе, которая нависла над западной демократией со стороны восточного тоталитаризма. Но если они действительно считают себя реалистами, то им необходимо отдавать себе отчет в том, что рано или поздно, может быть, даже в самой отдаленной перспективе, столкновение двух цивилизаций неминуемо, и в том судьбоносном противоборстве, к сожалению или к счастью, но лишь от воли и мощи стоящей между ними России будет зависеть склонить чашу весов в ту или другую сторону.

Как это ни парадоксально, но политически и психологически отбросив современную Россию на азиатский континент, европейцы тем самым приближают границы Азии к берегам Эльбы, то есть непосредственно к собственному своему порогу, и наоборот: признав ее частью европейского материка, они раздвигают пространство Европы до ворот Тихого океана.

Разумеется, процесс этот будет носить обоюдный характер. Прежде чем стать Европой, современная Россия должна обновиться как политически, так и духовно. Русскому народу, в свою очередь, пока не поздно, необходимо осознать, что только в тесном единстве со своими западными соседями — залог его национального и государственного существования в будущем, гарантия подлинной политической независимости, основа культурного и экономического развития.

В эволюции к такому общественному состоянию мне и представляется смысл и значение нашего демократического движения. Усилия его лучших



людей от Александра Солженицына и Андрея Сахарова до Владимира Буковского и Петра Григоренко направлены на то, чтобы прежде всего создать в нашей стране посылки для ее освобождения от идеологического гнета, ибо, только сбросив с себя оковы тоталитарной психологии, Россия сможет на равных войти в семью европейских народов.

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Трудно, если вообще возможно, предсказать, как, в каком направлении будут развиваться события ближайшего времени, но можно с уверенностью утверждать: только от степени объединения всех сил свободы нашего материка зависит сейчас, что нас ждет впереди — закат или новый восход Европы — Европы от Марселя до Владивостока.

### **1980, № 23. Человек на все времена**

Имя Андрея Сахарова вошло в сознание современного человека как неотъемлемая часть его общественного бытия. Сахарова можно любить или ненавидеть, но, тем не менее, уже немыслимо представить себе текущей истории безотносительно к позиции и деятельности этого великого ученого и гуманиста, ибо сегодня в нем воплотилась основополагающая идея нашего времени — идея Прав Человека.

Само возникновение «феномена Сахарова» внутри наиболее жестокой тоталитарной системы явилось для окружающих, так сказать, радиоактивным чудом, повседневно очищающим душливую атмосферу страха и ненависти, вот уже более шестидесяти лет царящую в нашей стране.

Прежде чем решиться на крайности, власти на протяжении нескольких лет пытались поставить его в условия изоляции, лишить той питательной среды, в которой протекала его жизнь и деятельность: под разными предлогами изгонялись за рубеж или репрессировались наиболее близкие ему друзья и сотрудники, пресекались внешние связи, усиливалась официальная и инспирированная травля. Но эта, казалось бы, годами проверенная практика вызвала прямо противоположный результат: все большее число людей тянулось к нему, занимая места ушедших, и влияние его приобретало все больший размах. Закостеневшим в диктаторской спеси советским властям было невдомек, что можно нейтрализовать отдельных оппозиционеров, но нельзя нейтрализовать ход истории.

Неискушенного человека может, на первый взгляд, удивить несообразность между степенью обвинений в адрес Андрея Сахарова, грязным потоком льющихся со страниц советских газет, и сравнительно мягкой высылкой ученого на окраину приволжского города. Но это только на первый взгляд. Исторический тон этих обвинений свидетельствует о том, что в любую минуту, по любому пустяшному поводу он может быть предан не только незаконному суду, но и самосуду, в зависимости от намерений властей. Поэтому защита Андрея Сахарова должна сделаться для нас не временной акцией, а составной частью постоянного общественного процесса во всем

## Человек на все времена

Арестован и выслан в город Горький Андрей Сахаров, лауреат Нобелевской премии Мира. Для нас очевидно, что решение о его аресте могло быть принято только на самом высоком уровне — в Политбюро ЦК КПСС. Это опаснейший вызов стране и миру, свидетельствующий о резко возрастающей фашизации Советского Союза со всеми ее трагическими последствиями, внутренними и внешними.

Андрей Сахаров — светлейший, гуманнейший человек, совесть России, и символическое значение его фигуры ставит происшедшее далеко за рамки рядового ареста. После такого — нет ничего, на что не решились бы кремлевские вожди. Теперь от всех нас, от каждого из нас, от нашей воли к сопротивлению зависит всё — не только свобода Андрея Сахарова, но и судьба свободы во всем мире.

*Владимир Буковский · Александр Гинзбург ·  
Наталья Горбаневская · Эдуард Кузнецов ·  
Владимир Максимов · Леонид Плющ · Татьяна  
Ходорович*

Париж, 22 января 1980

мире. Жизнь и судьба Сахарова зависит теперь от воли и усилий каждого честного человека в отдельности.

Арест и высылка великого ученого и гуманиста лишь звено в цепи все возрастающей агрессивности советского режима. Этот режим пытается в спешном порядке компенсировать идеологическую и экономическую катастрофу внутри страны за счет внешней экспансии и репрессий против собственного народа. Попустительство Запада, стыдливо прикрытое безответственной демагогией «детанта», только разжигает аппетиты советского тоталитаризма. Пора осознать, что сегодня от решимости и воли демократического мира зависит не только будущее Афганистана или академика Сахарова, но и судьба каждого из нас. И поэтому каждый из нас может и должен противопоставить бездушной силе свое личное мужество и свою собственную совесть. Этому нас учит «человек на все времена» — Андрей Сахаров.

### 1980, № 24. Письмо в газету «Унита»

Едва Андрей Сахаров был выслан советскими властями в Горький, как газета «Правда» запестрила «письмами трудящихся» в поддержку этой «справедливой и гуманной акции». Мы уже к этому привыкли. Не впервой. Так было и с Борисом Пастернаком, а спустя полтора десятилетия с Александром Солженицыным. Мы знаем нехитрую технику организации подобных «откликов». Порою «подписавший» такой «отклик» узнает об этом только на следующий день из газет.

Что поделаешь, тоталитарная диктатура со всеми вытекающими отсюда последствиями. Или, как принято говорить сегодня на Западе, типичное русское варварство!

Но вот передо мной подшивка газеты, выходящей в свободной стране, редактируемой, на первый взгляд, свободными людьми, громко именующими себя «еврокоммунистами», то есть представителями «самого демократического» движения в современном политическом спектре, распространяемая среди читателей, выросших в атмосфере просвещенного Запада. Но, тем не менее, «отклики итальянских трудящихся» почти слово в слово повторяют штампованную демагогию «Правды». И не под чьим-то давлением, не из-под палки, а свободно, добровольно, с искренним воодушевлением. И социальный набор тот же самый: рабочий, крестьянин, знаменитый профессор. Не правда ли, трогательно!

Русский прозаик Владимир Войнович направил недавно в «Правду» отклик на «отклики» соотечественников: *«Позвольте мне через посредство вашей уважаемой газеты выразить свое отвращение ко всем организациям, трудовым коллективам и отдельным товарищам, включая ударников труда, художников слова, мастеров сцены, академиков, героев, лауреатов и парламентариев, которые уже включились или собираются включаться в травлю самого выдающегося человека нашей страны».*

Со своей стороны, я пользуюсь случаем, чтобы выразить такое же обращение всем читателям газеты «Унита», присоединившим свои голоса к грязной анти-сахаровой кампании.

### **1981, № 30. Хотеть знать**

Прежде всего я позволю себе обратиться к опыту собственной судьбы, чтобы на личном примере проиллюстрировать механизм самовоспроизводства, самовозрождения, самовосстановления культуры, а также ее значения в жизни человека и общества, ее необратимой непрерывности.

Моя судьба типична для нескольких поколений, рожденных и выросших в нашей стране в условиях тоталитарной системы: сын и внук рабочих-коммунистов, абсолютно равнодушных к культуре, религии и ко всему, что лежит вне социальной сферы вообще, я в начале жизни являл собою почти растительное существо, которому можно было привить любые свойства и наклонности, что и пыталась проделать со мною, как и с миллионами мне подобных, политическая пропаганда в своем стремлении вывести лабораторно чистый вид «гомо советикус» — человека-робота, человека-монстра, человека-материала для самых фантастических социальных экспериментов.

Но большевики, утвердившись у власти, совершили исторически роковую для себя ошибку: они оставили нам классику, то есть основу основ человеческой культуры. На мой взгляд, это произошло прежде всего по двум причинам, хотя имелся тому и целый ряд причин сопутствующих. Первая из них — психологическая: будучи абсолютными нигилистами по убеждениям, вожди этого движения оставались, если так можно выразиться, дореволюционным продуктом, сохранявшим в себе подсознательную ностальгию по минувшей эпохе и ее ценностям. Вторая — политическая: большевики решили использовать в пропагандных целях пафос недовольства средой и временем, свойственный всем великим творцам, канализировав это недовольство в сугубо социальное русло.

Но, войдя в соприкосновение с великими творениями человеческой культуры, каждый из нас, сам того не подозревая, словно ссохшаяся губка, впитывал в себя не их социальную критику, а целительную влагу и воздух этой культуры, постепенно восстанавливая в душе и сердце утерянную было духовную память, незывлемые принципы бытия, образ и подобие Божие. Так вечная ткань культуры, возвращая нам свои дары, преодолевала и в конце концов преодолела в нас разрушительный яд самоцензуры и пропаганды.

Наверное, о том же самом опыте могли бы поведать многие и многие представители современной русской культуры от Александра Солженицына и Андрея Сахарова до рядового учителя или врача. Именно он — этот опыт нашего внутреннего самовосстановления или, перефразируя Чехова, «выдавливания из себя раба» — способствовал мучительному, но уже необратимому преображению общественного лица современной России — и не только Рос-

сии. Современная Польша, где, по моему глубокому убеждению, решается сегодня судьба христианской цивилизации, лучшее тому доказательство.

Опыт сопротивления в советской и восточноевропейской литературе убедительно показывает, что, пытаясь изменить ход вещей, а следовательно и самой истории, необходимо, на мой взгляд, отказаться от старых понятий и обветшалой терминологии, вспомнить, что слово — не просто инструмент взаимоотношений между людьми, которым можно безнаказанно манипулировать, но прежде всего та основа, с которой начиналась жизнь, и что оно может сделаться, в зависимости от нашей воли, как гарантией человеческого существования, так и причиной его гибели. В противном случае плен социальных и политических стереотипов обернется для нас всех пленом мирового ГУЛага.

Недавно один беженец — журналист из Аргентины — в ответ на вопрос своего французского коллеги, к какому крылу аргентинского Сопротивления он принадлежит, сказал ясно и коротко: «Ни к какому, я — птица».

Мне кажется, что это исчерпывающая формулировка для всякого думающего человека, который решается противостоять саморазрушению в современном мире, ибо только в независимом от предубеждений полете мысли мы обретаем Свободу, основанную на культуре. И только на ней.

Если же каждый из нас не найдет силы и мужества преодолеть в себе смертельное забвение духовного опыта истории и культуры, то я, следом за Артуром Кестлером, могу спросить себя и своих современников: — Какого черта мы называем себя интеллигенцией? Нам нет прощения, потому что наш долг знать, а главное — хотеть знать!

## **1981, № 31. Мистика социализма**

Мне кажется, что социализм как идея, как идеология, как, если хотите, социальное или экономическое учение являет собою лишь терминологическое продолжение одного из двух противоборствующих начал, которые составляют и определяют смысл и дух христианской цивилизации вообще. Выражаясь метафорически, первая дискуссия между социализмом и либерализмом отражена уже в Новом Завете: Человеку было предложено Искусителем три фундаментальных соблазна для его последующего бытия — хлеба, чуда и власти, но Человек устами Спасителя отверг их — эти соблазны — и выбрал Свободу, определив ее как непреходящую ценность своего существования.

Но начатая в мистической плоскости дискуссия вылилась затем в историю в непрерывную цепь глобальных потрясений, религиозных расколов, идеологических ересей и революций: во всех этих катаклизмах Человек подсознательно боролся прежде всего с самим собой, со своей смертной плотью и терзавшими ее социальными химерами.

Казалось бы, весь наш предыдущий практический опыт, как на Востоке, так и на Западе, должен был бы навсегда отвести нас от столь сомнитель-

ного эксперимента, ибо ни в радикальной, ни в демократической своей ипостаси он, этот опыт, не принес человечеству ничего, кроме, с одной стороны, слез и крови, а с другой — медленного, но неотвратимого духовного и материального обнищания. Но Человек снова и снова, наподобие животного, пред глазами которого вешают соблазнительную морковку, чтобы заставить его везти воз, пренебрегая любым, самым убедительным опытом, устремляется все к той же весьма заманчивой, хотя и недостижимой цели.

В этих своих постоянно повторяющихся заблуждениях теоретики социализма уподобляются, по меткому сравнению русского поэта Наума Коржавина, тем самым авиаконструкторам, которые, построив летательный аппарат, не удосужились изобрести для него соответствующего горючего и при этом удивляются почему машина не взлетает: им не приходит в голову, что машина не взлетает потому, что она просто-напросто тяжелее воздуха.

Так не пришла ли пора отказаться наконец от бесплодных попыток запустить на орбиту человеческого существования это социологическое перпетуум-мобиле?

Прошу понять меня правильно, я верю в благие намерения теоретиков, снова и снова возобновляющих давно и окончательно провалившийся эксперимент, я верю в искренний порыв людей, готовых стать подопытными пациентами для такого эксперимента, я вместе с ними любуюсь воздушными замками, которые они строят в своем воображении, но, к сожалению, благими намерениями, как известно, уложена дорога в ад, иллюзии не кормят, а воздушные замки не дают надежной крыши над головой.

Опыт новейшей истории показал, что перераспределение материальных благ не только не решает проблемы смысла и цели человеческого бытия, но и оставляет по-прежнему неразрешенными те же материальные проблемы. Нетерпеливым социальным реформаторам следовало бы раз и навсегда заучить проверенную веками китайскую мудрость: «Когда богатый голодает, бедный умирает с голода». По-русски это звучит еще лапидарнее: «Пока богатый сохнет, бедный сдохнет».

Как это ни парадоксально, многие из тех, кто исповедует социалистическую веру, не хуже меня — индивида, прошедшего сквозь ее опыт, осознают возможные политические и социальные последствия конечных результатов этого опыта, но — увы! — большинство из таких людей видят себя в будущем ГУЛаге не заключенными, а надзирателями, и это самоощущение компенсирует им предлагаемые издержки эксперимента. Убежден, что в предреволюционной России большинство честолюбивых радикалов утешало себя теми же самыми иллюзиями. Чем это кончилось для них теперь, после Солженицына, общеизвестно: на их костях мелкий и хищный буржуа, переждав время, пока они взаимоуничтожили друг друга, выполз из социального подполья и создал одно из самых бесправных, если не самое бесправное общество в мире, используя социалистическую терминологию только как инструмент управления и власти.

Но, чтобы остаться свободным, человек должен прежде всего осознать, что Свобода — та ценность, во имя которой необходимо, если потребуется, пожертвовать всем, даже жизнью, ибо Свобода, за которую никто не хочет умирать, — обречена.

В современной России горько шутят, что социализм — это та приманка, которую легко проглотить, но очень трудно выплюнуть.

От себя добавлю: попробуем выплюнуть эту приманку сегодня, завтра будет уже поздно, ибо социализм, на мой взгляд, во всех своих ипостасях — это современное олицетворение энтропии человеческого духа и конец Человека в его истории вообще.

# КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ



## Между лозунгом и мусорщицей

Светлое будущее — совсем не будущее. Вот все то, что мы видим ежедневно, все мелочи, весь быт, вся эта «советская действительность», на которую, как известно, клеветают все, кому не лень, и даже те, кому лень, — она и есть самый настоящий коммунизм. Никакие не «зримые черты» — просто «обыкновенный коммунизм». Эта мысль — может быть, и не самая главная мысль новой книги Александра Зиновьева<sup>1</sup>, но она мне представляется тем стержнем, на который нанизан роман... Впрочем, роман ли? Если в «Зияющих высотах» сюжета как такового почти нет, то в «Светлом Будущем» признаки романа как жанра выступают явно на первый план. Конечно, и здесь большую часть текста занимает то, что в поэзии называется «лирическими (или философскими) отступлениями», — но ведь «Дон-Жуан» Байрона или пушкинский «Онегин» тоже романы...

И, разумеется, необъятное количество идей, наблюдений, выводов охватить в рецензии невозможно, хотя они-то и составляют все то, из чего складывается (прошу прощения за банальность!) эта энциклопедия советской действительности.

Но все, затронутое в романе, сходится к двум грандиозным символам: один из них — это Лозунг. Его строят, ремонтируют, перестраивают, ломают несознательные граждане, опять ремонтируют, опять перестраивают... Как в «Зияющих высотах» вся жизнь общества вертится вокруг строительства Сортира, так тут — вокруг Лозунга. Ибо Лозунг — квинтэссенция того, теоретического коммунизма, которым и занимаются почти все действующие лица. А на другом полюсе — мусорщица, называемая «Пьяной старухой», которая катит свою тележку сквозь всю советскую действительность, сквозь быт, сквозь героев... Это — символ того коммунизма в действии, в жизни, того, отнюдь не теоретического, при котором приходится жить, и тоже тащить свою тележку с мусором... Ибо каждый из нас — немного та самая старуха, которую никто полностью в коллектив так и не загнал; в этом, пусть мусорном, безнадежно нищем — но все же персонализме — и есть слабая надежда на то, что «Светлое Будущее» не абсолютно, что оно разруσιμο... Ведь ниже старухи уж никого нет, — а она все же какая ни есть, но личность. И это в обществе, где *«степень персонализации индивида зависит от уров-*

---

<sup>1</sup> Зиновьев А. Светлое будущее. Lausanne. Ed. L'Age d'Homme, 1978.



ня его социальной позиции», где чем ниже — тем неизбежнее нивелировка и обобществление духа...

Но обратимся к сюжету романа. Герой его, — от лица которого ведется повествование, — довольно высоко стоящий на социальной лестнице человек. Философ. Теоретик коммунизма. В общем один из тех, чей труд влит в Лозунг. Он — либерал. Он — шестидесятник. И в момент, когда куцый либерализм, вынесший его на своей мутноватой волне, уже становится нереконструируемым воспоминанием, все страсти его направлены лишь на одно — пройдет или не пройдет он в членкоры. Характернейшее явление — герой рассуждает просто: лучше я буду наверху, чем какой-нибудь дурак или явный реакционер — ведь все же я как-никак либерал... И шаг за шагом мы видим, что по сути этот порожденный хрущевскими оттепельными трюками либерализм и есть самое действенное охранительное оружие системы, — ибо голый прямолинейный сталинизм (коммунизм в его классической форме) может, чего доброго, саморазоблачиться. А такие «ремонтники», как герой «Светлого Будущего», продлевают его существование. Агонизирующей системе не до либералов-ремонтников. Она рвется опять к незамутненному коммунизму, и если нет массовых репрессий, то лишь от боязни самих верхов: ведь теперь это коснется их самих... И вот ножницы: не сажать — значит сохранить следы «либерализма», сажать — можно привести систему к самоубийству... И все же героя проваливают на выборах — не быть ему членкором. Кончат самоубийством его дочь, не в силах вынести двойного существования, а более — того, что отец ее, как она в конце концов понимает, в свое время предал своего друга — Антона Зимины. Вот, собственно, и весь сюжет... Ничему не научился герой, хотя и все понял... вернее, понимал всегда, лишь для удобства глушил себя лошадиными дозами самообмана. И после провала, после потери положения он все еще надеется на что-то в смысле карьеры и уже в открытую все свои амбиции ставит в зависимость от выхода той самой книги Антона, из которой сам же высасывал разные мысли и на разгроме которой надеется сделать опять свою сорвавшуюся карьеру. [...]

Он, конечно, не сотрудничает с ГБ, этот герой, нет, что вы! Просто то, что Щедрин формулировал как действия «по мере возможности», переходит в поведение «применительно к подлости». Обычный путь интеллигенташестидесятника: если не стал Антоном либо диссидентом, то так и «тащи свою бессмысленную тележку мимо них, сквозь них, в каком-то несуществующем для них разрезе бытия. Куда?» Этими словами заканчивается роман. В какое Будущее? Ведь его не будет, ибо оно уже давно — настоящее. Эта идея, высказанная Антоном, развивается на страницах романа многократно в разных направлениях. И истории иной, настоящей, у советского общества тоже нет — его история на самом деле та, что в газетах. Ибо мы — дикари, выпавшие из современного мира в ту степень деперсонализации, которая сравнима лишь с бытием пещерного человека — коллективиста поневоле. Ибо коммунизм с его обезличкой и есть при всем социальном

неравенстве — равенство в близости каждого и всех. Это — социальная энтропия. [...] Равенство — социальная энтропия. Коммунизм — осуществление равенства (в смысле нивелировки разума и духа). Энтропия. Антагонист сотворению мира, Творцу его и, наконец, сотворцу — человеку — все тот же хаос, та же энтропия, тот же дьявол; как ни называйте это, смысл остается тот же.

Прометейство Солженицына, как и Антона, во многом с ним согласно, а во многом и полемизирующего, состоит именно в том, что они анти-энтропийны в духовном смысле. Советское сознание — «квинтэссенция серости», — а что есть серость? Средность, усредненность, в конечном счете опять-таки все та же нивелировка, все тот же коммунизм. Так что, прав Зиновьев, серость — это норма. А норма она и есть все, о чем только что говорилось... И борьба в ее крайних видах, которую предсказывает Ребров, и нарушение нормы, проявляющееся в самых разных видах протеста личности против системы, — все это и есть нарушение нормы, серости, все это — процессы антиэнтропийные. И лишь на них надежда. А для этого необходимо было сделать именно то, что сделал Солженицын: возвести «дело исторической памяти почти в ранг религии». Ибо когда память уничтожена, то будущего тоже нет, а есть лишь то Светлое Будущее, которое уже давно Настоящее. И есть Лозунг — как основной символ этого Настоящего, — и есть «создание фундаментального коллективного труда о коммунизме», как частный символ этого Настоящего... [...]

Что же делать? На этот вопрос отвечает Антон: *«Идеологию бьют фактами той реальности, которую освящает идеология»*. Факты. Вплоть до отсутствия колбасы, которое так волнует жену героя. И только на таком пути можно выработать новую идеологию, которая выведет, может быть, Россию и весь мир из того состояния между Рабле и Кафкой, между Лозунгом и Пьяной старухой, в котором он пребывает. И прав Зиновьев, уже не в книге а в своем интервью, данном перед отъездом из Москвы, что Запад недооценивает интеллектуальную опасность, идущую из СССР, духовную опасность, которая страшней даже военной: ведь строительство ибанского Сортира или московского Лозунга — дело, на которое очень легко настроить массы, ибо усреднение и социальная энтропия идут вслед за энтропией духовной, и то что создается веками, разрушить можно очень легко и быстро. Ибо человеческое, духовное, то, что от Бога, растет лишь благодаря труду многих поколений, а природное, хаотическое, — оно всегда тут как тут. Ломать — не строить А стройки Лозунгов и есть ломка Духа. И отбросить человечество к первобытному коммунизму (а он всегда первобытный!) можно за срок, вполне сравнимый с атомным взрывом, — годы мало отличаются от секунд в масштабах вечности...

Вот потому-то мне и представляется, что со времен Бердяева не было у нас столь глубоких философских произведений, как этот «роман»...

*Василий Бетаки*

1978, № 17

## О тюрьме идейной

Наконец вышла в переводе на русский язык отдельным изданием книга Артура Кестлера «Darkness at noon» — «Тьма в полдень». [...]

Артур Кестлер — английский писатель венгерского происхождения. Подобно множеству европейских интеллигентов в 30-х годах, он видел в советском эксперименте единственную надежду мира. И в 1931 году он вступил в компартию. Однако после того, как он побывал в Советском Союзе, Кестлер вышел из партии. Ему оказалось довольно недолгого пребывания в СССР. В тот самый период, когда «московские чистки» достигли апогея, Кестлер понял, что социализм — отнюдь не лекарство от всех бед человечества, но скорее новая болезнь, столь же страшная, как и фашизм, — страшнее даже, ибо фашизм и нацизм действуют открыто и отнюдь не обладают тем обаянием, какое присуще социалистической и коммунистической демагогии...

Тогда же, когда Кестлер покинул ряды компартии, он и написал книгу «Тьма в полдень». Успех, выпавший на долю этого произведения, связан не только с темой книги, но и с ее потрясающей достоверностью. Роман рассказывает об аресте, допросах, казни одного из видных деятелей большевистской партии. Прототипом для героя послужил Бухарин. Книга поразительна прежде всего тем, что никак не похожа на книгу иностранца. Будь она анонимной, можно было бы утверждать, что автор ее — русский, советский человек, ибо с необыкновенной точностью в ней передана атмосфера тех лет — и на воле и в тюрьме. Характер взаимоотношений между членами партии — в том числе между следователями и подсудимыми, — передан со всей присущей тому периоду и тем событиям фразеологией, психологическими приемами, с самим характером политической, идеологической убежденности, который был присущ большевикам первого призыва, погибшим в 30-е годы. Книга Кестлера — первая и единственная встреченная мной книга иностранца о России, не вызывающая никаких сомнений в точности и правдивости воспроизведения советской жизни.

Герой Кестлера — Николай Рубашов — один из крупнейших деятелей советского государства — арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, в шпионаже в пользу иностранных разведок, в попытке организации террористического акта против главы партии, имя которого ни разу не упоминается. Рубашов давно ждал ареста, ибо тучи над ним собирались уже в течение нескольких месяцев. Он прекрасно знает, что невиновен, его арест попросту незаконен. И тем не менее Рубашов выступает на открытом процессе не только с признанием правильности всех обвинений, но и с откровенной клеветой на себя, рассказывая массу подробностей и деталей своих несуществовавших преступлений! Делает он это почти добровольно. [...] Кестлер проводит своего героя через все следствие, от момента ареста до выстрела в затылок в подвале московской тюрьмы, — ибо смысл книги состоит в том, чтобы показать, как и почему стали возможны процес-

сы 30-х годов, на которых виднейшие руководители партии и государства добровольно и самозабвенно оговаривали себя сами. [...]

Эти признания были настолько подробными, давались с такой готовностью, что реальность становилась полной фантастикой... Многим в то время было ясно, что московские процессы — чудовищные спектакли, срежиссированные и поставленные Сталиным. Непонятно было другое: почему актеры соглашались играть в них, зная, что как только упадет занавес, упадут и их головы. И Кестлер тогда же, по горячим следам написавший свою книгу, не просто рассказал о таком процессе, но главное — показал психологические и идеологические причины самоубийственного и фантастически противоестественного поведения обвиняемых.

То самое государство, в создании которого Рубашов участвовал, судит его, Рубашова, и приговаривает к смерти. Смерть Рубашова необходима государству, необходима революции, как утверждают следователи. Выступление на открытом процессе с признанием всех обвинений — последнее партийное поручение. И Рубашов это партийное поручение выполняет.

Устами Рубашова, словами его дневника, диалогами его со следователями определяет Кестлер истоки этой чудовищной драматургии: к Рубашову применяются те же законы, которые он когда-то применял к другим, к своим товарищам, обрекая их на смерть. Эти законы, эти принципы — законы и принципы революционного сознания, они основаны на аксиоме, что реально существующих самих по себе — или, как коммунисты говорят, «абстрактных» — понятия добра и зла не существует. Есть только понятие *добра для революции или зла для революции*.

Все, что идет на пользу революционной идее, — хорошо; все, что ей вредит, — плохо. Отсюда, естественно, неизбежно вытекает основной принцип: цель оправдывает средства. Все средства, так или иначе продвигающие к конечной цели — коммунизму, — есть добро. Так попадают в список добрых дел и оправдываются любые убийства, клевета, подлоги, фабрикация любых документов, любых показаний, признаний, да и самих этих «процессов».

Партия уничтожила личное «я», заменив его коллективным «мы», и поэтому личное мнение, частная позиция не может значить для нее ровно ничего. Коль скоро смысл имеет только «мы», каждая личность обязана, не сомневаясь и не отступая, стать деталью этого «мы». Что может значить один человек перед партией — перед ее ролью *хранительницы объективных законов истории*? Раз законы эти объявлены объективными, то партия не способна ошибаться, ошибаются только отдельные люди, в предельном случае теоретически возможно, что ошибаться могут все до единого (практически — все, кроме единого) члены партии, а партия все равно всегда права. Так она и становится идиолом, молохом, поглощающим бесчисленные человеческие жизни.

С поразительной точностью Кестлер проводит нас через все размышления Рубашова, через всю горечь его, через всю гордость его, сознающего себя винтиком, через гордость винтика, для которого именно причастность

к этой огромной безликой машине и есть высшая ценность. Я думаю, что никакие исследования сущности коммунизма не способны так беспощадно и ясно раскрыть антигуманную сущность коммунистической идеологии, как искренняя исповедь, точное изложение ее устами Рубашова, одного из ее приверженцев и жрецов.

Книга Кестлера оставляет ощущение безмерного ужаса даже теперь, когда мы прочитали «Архипелаг ГУЛаг», теперь, после всех свидетельств о лагерях и тюрьмах. Ибо книга Кестлера — не о тюрьме физической, она — о тюрьме идейной, о тюрьме, в самом человеке; имя этой тюрьме — коммунистическая идеология.

*Виолетта Иверни*

*1978, № 18*

### **Зеркало памяти**

Увесистый том в 890 страниц, непривычно состоящий из двух-трехстраничных рассказов: так не бывает, так не делают книжки — уж если сборник миниатюр, то и сам он должен быть невелик, чтобы легче было «распробовать» каждую из составных. Но это — совсем особый сборник, его не берешь в руки, как любую другую книжку, и писать рецензию на него — испытываешь неловкость, почти вину. «Колымские рассказы» Варлама Шаламова<sup>2</sup> кажется нечестным рассматривать с точки зрения литературного приема, композиционной выстроенности, художественной завершенности. Не только потому, что рассказанная в них жизнь слишком страшна, слишком фантастична, слишком реальна, слишком отчетливо-правдива, чтобы не скомпрометировать попытки применить к ней законы, придуманные для художественного вымысла, но и потому, что погрешности противу литературных правил выворачиваются в этой книге лишним подтверждением подлинности описываемого. Здесь сразу надо оговориться: книга издана по самиздатской рукописи, автор не имел возможности сделать свои поправки, так что решительно неизвестно, что именно в ней следует отнести к ошибкам при перепечатках, а что — к откровенному пренебрежению автора законами письма. Когда дважды и трижды в одной или близко стоящих фразах повторяется одно и то же слово; когда короткие и внятные предложения чередуются с долгими и запутанными стилистическими периодами, в которых внезапно меняются местами понятия времени и то, что произошло раньше, оказывается происшедшим позже, а вся фраза начинает выглядеть болезненно-ущербно, то это может быть с одинаковым успехом и результатом хождения рукописи по пишущим машинкам, и принципиальной невнимательностью автора к такого рода мелочам. И действительно: если нравственные законы общества, которые

---

<sup>2</sup> Шаламов В. Колымские рассказы. Оверсиз, Лондон, 1978.

человек привык не то что уважать, но считать в известном смысле незбылемыми, оказываются до такой степени хрупкими и нежизнеспособными, то что же говорить тогда о правилах литературных, которые в нечеловеческих условиях существования превращаются в бессмысленную, смешную, баснословно дорогую игрушку, удел счастливицков, которым дозволено жить?

Рассказы Шаламова с точки зрения чисто литературной поражают своей неритмичностью, неравномерностью расположения материала внутри каждого из них, часто — композиционной асимметричностью, незавершенностью, гуляющей и далеко от темы уходящей мыслью (от темы — узкой, локальной, потому что в конечном счете тема одна: безмерность человеческого падения, в которой палач соединяется с жертвой). И одновременно, рядом — рассказы, точные, быстрые, блистательно завершенные. И тут не подсчитаешь «тех» и «этих», не заговоришь привычно об «эволюции творчества», о «накоплении мастерства» — все они перемешаны без всяких пропорций и хитрых литературных приемов. И автор читателя не букой пугает, смакуя лагерные ужасы (а ужас весь в том, что ужасов в лагере не остается: все — быт, простенький, как календарь); он ему и не объясняет даже, а перечисляет, на что он, читатель, гуманист, естественно, обладатель духовных ценностей, накопленных человечеством, добряк и славный парень, — на что он способен, на что способно животное, притаившееся во тьме его, в тех внутренних джунглях, о существовании которых и сам он не подозревает, пока дьявольское, адское производство, конвейер зла (им же вызванный к жизни) не втянет его в свой процесс, в свой цикл, в свое движение, — какое бы слово еще найти попроще, побудничней? — ну, в свою работу, просто работу.

О шаламовских рассказах говорить страшно — оттого что более совершенные в литературном отношении нельзя назвать более сильными, а менее завершенные — более слабыми, оттого что приходится менять все мерки. Именно поэтому публикация отдельных рассказов в зарубежной периодической печати была кастрацией их, обворовыванием писателя. Между тем, полная рукопись, положенная теперь в основу книги, уже множество лет находится на Западе, — и уж если говорить о настоящем, полном невезении, то надо признаться, что именно шаламовской рукописи не повезло отчаянно. Рассказы эти разрывать нельзя — это и не «рассказы» вовсе, а один рассказ, похожий на рваное повествование только что очнувшегося, только что пришедшего в себя после долгой и изнурительной болезни человека, который пытается пересказать то, что он видел по ту сторону сознания, ничуть не заботясь, поймут его или нет, поверят или нет. Его дело — сказать. Его дело — припомнить. Он отнюдь не надеется прибавить людям опыта или убедить их поступать так или иначе. Он не смотрит в глаза собеседнику (или собеседникам). Он смотрит в собственную память и пересказывает виденное. Между ним и любителем рассказывать сны — одна и весьма существенная разница: Шаламов не задает

вопроса: к чему бы это? — он не бежит заглядывать в сонник, он сам знает ответ. К чему это, про что его страшные сны-жизнь — он знает и не устает повторять, нимало не волнуясь о том, что это уже было сказано им где-то раньше и совершенно в тех же выражениях. Его мысль-память бесконечно кружит по лицам, сценам, эпизодам, по биографиям и чужим рассказам, и нет для нее прошлого и будущего, раньше и позже, — нет хронологии, нет временной последовательности, потому что у времени на Колыме никакой последовательности и не было. Оно остановилось и зазеленело, оно сохранялось консервами в вечной мерзлоте, как трупы полуприкрытых камнями эков, при оползнях появлявшиеся на поверхности в столь высокой степени сохранности, что их трудно отличить было от ещедвигающихся скелетов, которых жалкая человеческая логика требовала называть живыми. [...] *«Лагерь — отрицательная школа жизни. Целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет — ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи...».* *«Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть».* [...]

Процитированное выше — сжатая суть шаламовского лагерного опыта. Простая констатация того, что все законы, по которым с рождения живет человек, по которым строится существование человеческого опыта, в лагере недействительны. Как если бы он не был одной из форм (пусть даже принудительной) человеческой общности. Нет ничего человеческого, и общности нет. Остается одно — принуждение, насилие, рабство. Власть — рабствует. Покорность — рабствует. Простое присутствие в качестве пассивного свидетеля — рабствует. Способность видеть и накапливать впечатления — убивает или рабствует. Оргия зла, тление, рабство всех — и палачей и жертв. Духовная проказа, при которой одна за другой отпадают способности к размышлению, к чувствованию, к ощущению вещей отдельно от их первичной физической принадлежности и смысла. Гибель смысла вообще, гибель разума.

Несмотря на то, что поток лагерной литературы на сегодняшний день громаден, «Колымские рассказы» Шаламова читаются как откровение. Ни в одном произведении подобного рода нет такого обвинения роду человеческому, как у Шаламова. Да, мы знаем, — и он не устает говорить об этом, — что ГУЛАГ порожден вполне определенным политическим режимом. Но те, кто делает это своими руками, — они ведь нормальные, обыкновенные люди, обыкновеннейшие! Каждый из нас, значит, носит в себе палача или униженную, духовно уничтоженную жертву (которой, в свою очередь, ничто не мешает превратиться в палача). Книга Шаламова — о том, во что человек способен превратить себя, во что мы способны превратить себя... Дай Бог, чтобы память была нам зеркалом!

*Виолетта Иверни*

1979, № 19

## Путеводитель по аду психиатрических тюрем

Вслед за книгой Владимира Буковского, одного из начинателей разоблачения психиатрических репрессий в Советском Союзе, издательство «Хроника» выпустило книгу «Карательная медицина»<sup>3</sup>. Ее автор — 25-летний фельдшер Александр Подрабинек, работник московской «Скорой помощи». В мае 1978 года он был арестован и в августе осужден на 5 лет ссылки по статье 1901 УК РСФСР. Единственным обвинением была «Карательная медицина».

Книга представляет собой наиболее полный из опубликованных на русском языке свод сведений о советской психиатрии как орудии подавления инакомыслия. Замкнутость, несвобода нашего общества, установившееся единомыслие, традиционное игнорирование общественного мнения сделали возможным превращение одной из отраслей медицины в орудие репрессий. Придание психиатрии столь несвойственных медицине функций было облегчено отсутствием в нашем обществе «культуры свободы». Свобода и терпимость учат уважать чужие мнения, и в такой атмосфере невозможно огульное обвинение в психической неполноценности из-за несогласия или даже непонимания. В советском обществе несогласие рассматривается как ненормальность не только властями, но и обывательской массой. В нетерпимости к чужому мнению, в самоуверенном его осуждении видит автор психологическую основу карательной медицины. От этой нетерпимости один шаг до наказания за поведение, не соответствующее традиционным нормам. По мерке советского обывателя, эгоизм, трусость и рабская покорность характерны для «нормального человека». Социальное поведение диссидентов выходит за рамки строго очерченных норм общественного поведения советских людей. Это поведение диктуется иными нравственными категориями, ненормальными по советским стандартам. Это не только психически, но и нравственно здоровые люди, несущие нашему большому обществу культуру свободы и демократии, за что их и обрекают на заточение в психиатрических больницах. [...]

В отдельных главах описывается обычный путь от ареста до освобождения из психиатрической больницы (следствие, экспертиза, «лечение», выписка, надзор после освобождения); внутренний режим спецпсихбольниц, снискавший им печальную славу тюрем, которые страшнее «обыкновенных»; принципы оценки психического состояния в советской судебной психиатрии (автор утверждает, что диагнозы, выносимые психиатрами диссидентам, не научны, а лишь наукообразны, и демонстрирует это на ряде примеров); дается перечень психофармакологических средств, применяемых в советских психбольницах, и описывается разрушительное действие на психику и физическое здоровье каждого вида «лечения». [...]

Автор отмечает использование такого метода помещения в психбольницу, как госпитализация, для которой, по инструкции, не нужно решения

---

<sup>3</sup> Подрабинек А. Карательная медицина. «Хроника», Нью-Йорк, 1979.



суда. При этом человек попадает не в спецпсихбольницу, а в психбольницу общего типа, но зато огласки меньше. В больницах общего типа тоже применяется разнообразное «лечение», и срок пребывания там может быть весьма длительным.

Литература о психиатрических репрессиях сейчас уже достаточно обширна. Основную ее часть составляют свидетельства жертв карательной медицины. Нет нужды говорить о ценности обнаружения каждого частного случая. Но автором обобщающей работы естественно стал Александр Подрабинек. Благодарение Богу, его минуло помещение в психбольницу — он изучил проблему психиатрических репрессий, включившись в борьбу с ними, которая ведется диссидентами начиная с 50-х годов и дала целый ряд героев — С. Писарев, Владимир Буковский, Семен Глузман и др. Благодаря многолетним усилиям, оплаченным многими жертвами, удалось добиться активного осуждения западной общественностью психиатрических репрессий в СССР. Основным источником информации об этих репрессиях с января 1977 года стала Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях, в которую вошел и Александр Подрабинек.

Эта молодежная группа выявляет жертвы психиатрических репрессий, заявляет протесты по каждому известному случаю и информирует о них советскую и западную общественность. Благодаря активности Рабочей комиссии миру стали известны имена многих жертв, давно погребенных в психбольницах и обреченных прежде на безвестность; врачей, ставших палачами. Членам Рабочей комиссии не раз выпала радость, редко испытываемая диссидентами: обнять человека, которого удалось освободить благодаря их настойчивости. [...] Александр Подрабинек, находясь в самой гуще борьбы с психиатрическими репрессиями, имел возможность опросить многих бывших узников психбольниц, их родственников и других людей, так или иначе соприкасавшихся с карательной медициной. [...]

В заключение хочется сказать, что, несмотря на мрачность темы, на трагизм описанных в книге судеб, она оставляет светлое впечатление, и причина тому — радость общения с ее автором, Сашей Подрабинекком.

Он ничего не пишет о себе, но его мироощущение, честность и бесстрашие его жизненной позиции, его горячее сочувствие мучимым людям и непримиримость к их палачам, его заразительная жизненная энергия сообщают книге обаяние его личности.

*Людмила Алексеева*

*1979, № 20*

## **Ценная работа о национал-большевизме**

Спорам о духовных предпосылках большевистской революции, замешанным на партийных и национальных пристрастиях, подчас не достает желательной насыщенности фактами.

Новые факты, а также факты известные, но оригинально встраиваемые автором в его концепцию, представлены в книге М. Агурского о национал-большевизме<sup>4</sup>. После появления этого исследования любой историк, даже не согласный с основными положениями книги, должен быть готовым ответить на «вызов» М. Агурского, приводя новые, столь же убедительные факты, но отнюдь не игнорируя свидетельств истории, приведенных в его работе.

Можно ли теперь, после выхода книги М. Агурского, не идя на компромиссы с научной совестью, утверждать, что Октябрьскую революцию совершили в своих интересах только евреи, если факты говорят о том, что первые ее шаги поддержали и антисемиты, вроде Пуришкевича или одного из главнейшей черной сотни Иллиодора?

Можно ли продолжать утверждать, что Октябрьский переворот удался, а заговорщики остались у власти лишь благодаря инородцам и подонкам русского общества, если *«из 130 000 командиров Красной Армии примерно половина была бывшие царские офицеры и генералы»*, среди которых были и помощник военного министра А. Поливанов, и главнокомандующий армией А. Брусилов, и убежденный монархист генерал Зайончковский, и генерал Слащёв, опозоривший Белую армию еврейскими погромами?

Но и ассимилированные евреи не могут отмахнуться от того факта, что у истоков большевистской государственности стояли Троцкий и Зиновьев и немало других, а те евреи, о которых речь идет в главе «Русифицированные евреи», содействовали укреплению большевистской идеологии.

Уже казалось бы аксиомой, что Русская православная церковь должна была бы единодушно осудить большевизм. Однако факты говорят, что и Церковь внесла определенный вклад в укрепление большевистской власти, причем не обновленческая Церковь только (что было известно и раньше из работ А. Э. Левитина-Краснова), но и некоторые представители Церкви патриаршей, вроде архиепископа Иллариона. А председатель Синода В. Львов сам примкнул к «красной» обновленческой Церкви и потребовал расправы над патриархом Тихоном. Что же касается самой обновленческой Церкви, то достаточно приведенных в книге М. Агурского слов ее основателя Введенского, чтобы признать соучастие определенных церковных кругов в создании большевистского государства: *«Мир должен через авторитет Церкви принять правду коммунистической революции»*.

М. Агурский приводит факты, которые, по его убеждению, свидетельствуют об участии в идеологической подготовке большевистской революции и русской религиозной интеллигенции. Здесь он идет куда дальше «Вех», видевших лишь в рядах революционной интеллигенции разрушителей старой России. В книге говорится об ответственности интеллигенции за торжество большевистской релятивной этики. [...] Агурский показывает, к чему привели Россию безответственные софистические забавы русской философствующей интеллигенции, зараженной гегелевской диалектикой,

---

<sup>4</sup> Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, ИМКА-Пресс, 1980.

с помощью которой так легко узреть в отрицании утверждение, в разрушении — надежды на созидание, в атеизме — истинное служение Богу. Все это, казалось бы, столь невинное салонное блудомыслие привело к победе сил, принесших русскому народу неисчислимые духовные увечья.

Таким образом, М. Агурский зачеркивает примитивную схему великого трагического события в русской истории — Октябрьского переворота, — согласно которой этот переворот — дело рук кучки авантюристов: из работы Агурского вытекает мысль, что это был все же не переворот, а революция, за которую несут ответственность чуть ли не все слои русского общества.

Агурский не ставит задачу обнаружения всех причин большевистской революции, его интересуют лишь идеологические ее корни. [...] Идеологи никогда не знают, к чему приведут их спекулятивные забавы. Очень существенно замечание Агурского, что «*Мережковский и Зинаида Гиппиус утверждали большевизм, не узнав в нем собственного крестника*».

Замечание это заставляет попристальнее взглянуть на концепцию Агурского. Действительно, самые разные течения русской общественной мысли в той или иной степени делали вклад в становящуюся большевистскую идеологию; действительно, большевики приняли элементы самых различных учений, которые, казалось бы, никак не могут быть объединены в строгую систему, однако весьма рискованным кажется тезис, согласно которому идеология людей, захвативших власть в октябре 1917 года, — концентрация русских национальных идей самого разного толка: от учения Вл. Соловьева до черносотенства, от символического мистицизма до есенинско-ключевского почвенничества. Чтобы принять такую концепцию, нужно согласиться с тем, что существует некая общая, для всех приемлемая *национальная идея* и что большевики ее-то и выразили. Однако весьма сомнительно, имели ли большевики (по крайней мере главари партии) какую-нибудь национальную идею. Ленин всегда говорил, что главная цель большевиков — захват власти с целью осуществления сначала в России, а потом во всем мире идеалов научного коммунизма. М. Агурский в своей книге подчас показывает, что те, кто принял большевистскую революцию за революцию национальную, весьма заблуждались, выдавая желаемое за действительное, однако центральный тезис книги все же в том, что большевики осуществили мечты национально мыслящей части русского общества. Это утверждение Агурского можно было бы с некоторыми оговорками принять, если бы мы под национально мыслящей частью русского общества понимали те правые силы в русском политическом спектре, для которых Россия — это ее государственность и могущество. Естественно, что большевистскую революцию в конце концов принял один из самых принципиальных представителей правых сил В. В. Шульгин, что к признанию большевиков склонялись черносотенцы и сменовеховцы. Однако те, для кого Россия — это прежде всего конкретный русский человек: крестьянин и рабочий, предприниматель и интеллигент, священник и чиновник, а национальная задача — в создании права, защищающего человека от государственных претензий, ни в какой

степени не могли содействовать утверждению власти и идеологии большевиков и коммунистов, для которых человек, личность вообще не существует, а есть класс, партия, нация, используемые для осуществления различных социальных и внешнеполитических экспериментов. [...]

М. Агурский показывает, что коммунисты-интернационалисты и большевики-националисты прекрасно смогли сойтись на формуле русского государства, чья миссия состоит в распространении на весь мир идей научного социализма. И тут уж им помогли и К. Леонтьев с его предложением «нужно властвовать беззастенчиво», и Шульгин с его имперскими притязаниями, и кое-какие писатели, романтизовавшие разгул русской (азиатской!) народной стихии.

Книга М. Агурского вносит корректив в привычное представление о том, что коммунисты оседлали национальную лошадь лишь во время Отечественной войны. Агурский убедительными фактами доказывает, что коммунисты вскакивали на эту лошадь чуть ли не с самого начала их революции. Прав Р. Пайпс, говоря, что для коммунистов национальный вопрос не то, что надо решить, а то, что надо эксплуатировать. Агурский же подчас слишком серьезно относится к полемике между коммунистами и большевиками. [...]

Заканчивая чтение книги Агурского, читатель пожалеет, что анализ национал-большевизма не доведен в ней до нашего времени. Автор сделал бы серьезную услугу исторической науке, если бы продолжил работу над своей темой, сделал бы анализ трансформации идеологии и практики национал-большевизма в 1930 – 1970-е годы.

В новом, расширенном варианте книги можно было бы избежать некоторых, слишком рискованных обобщений вроде, например, утверждений, что мистицизм чуть ли не неизбежно ведет к национал-большевизму или что *«русский литературный символизм так или иначе своими корнями уходит в соловьевский мистицизм, и именно он, в большей степени, чем все другие литературные течения, восторженно встретил большевистскую революцию»*. Книжке, важнейшей особенностью которой является доказательность, вряд ли пристали такие суждения, легко опровергаемые как раз с помощью очень веских фактов.

*Герман Андреев*

1981, № 28

### **«Это моя исповедь»**

[...] *«Я не думаю, что чужая жизнь может быть примером для других»...*

Генерал Григоренко включил эту фразу в свое коротенькое обращение к читателям, предпосланное к книге воспоминаний<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс... Нью-Йорк, «Детинец», 1981.

Нет ничего особенного в этой фразе — кроме того, разве, что она не совсем обычно звучит в устах профессионального военного, в устах солдата: солдат знает увлекающую силу примера. Еще неожиданнее эта фраза — в устах человека, воспитанного комсомолом и партией: один из основных принципов этого воспитания — стремление заставить человека повторять определенные клише, следовать отлитой раз и навсегда форме, типу отношений — и отношения к перманентной подмене понятия, к перманентному лицемерию и ловкому искусству этого лицемерия не замечать, что в конечном счете вполне естественно, ибо ничего не меняет в существе дела.

*Я не думаю, что чужая жизнь может быть примером для других...*

Только потом, через множество страниц, пропутешествовав вместе с автором, понимаешь, откуда она могла родиться — из глубоко заложенной и никакими идеологическими перипетиями не вытравленной религиозности: сознание личного выбора, стоящего перед каждым. Из жизненного опыта, конечно. Горькая констатация факта, вытекающего не только из собственной биографии, но и из биографии мира: история, как правило, ничему не учит. [...]

Но больше всего книга нужна для себя — себя увидеть, как говорится, «от и до», себя и свою жизнь, грехи, ошибки, стыд, долгие или мимолетные радости, людей, которых касался, с которыми шел, жил, а то и, повстречавшись случайно, сразу и легко расстался, но потом оказалось, что и они были в жизни для чего-то, для какого-то, высшего, быть может, смысла и их тоже нельзя забыть, никого нельзя забыть, ничего нельзя забыть, иначе — грех...

Это — основное ощущение от книги Петра Григоренко: что забыть, пропустить что-либо или кого-либо, кто был, — грех...

Он заваливает читателя именами, мелкими семейными событиями, т. е. тем, что описывать долго и подробно не принято: «нетипично» и оттого не остается в памяти, и потом много всего этого, много, и наша бедная и опасливая память не торопится удержать, теряет по дороге. В результате же — стойкое впечатление, что наглотался света — светлым человеком излучаемого. Это не писательская книга. И слава Богу. В ней нет ничего от литературы, ни при литературе, никаких потуг, никакого «красивенько», никакой позы и вообще помысла о фотогеничности данного движения или поворога в авторском профиле или фазе: Григоренко пишет о себе и одновременно не о себе и как бы удивляется тому, как получилось то или другое в жизни, и по-детски радуется своим удачам или везенью, и по-детски же обижается на несправедливость. Поучительной Григоренко сделать свою книгу не смог бы, если бы со страстью преследовал именно эту цель: писать книги — просто не его профессия. Поучительной она получилась, наверное, именно поэтому. Именно потому, что неумело написана, именно потому, что с миллионом убегающих подробностей и с миллионом ускользающих имен — со всем тем, *чего обыкновенно не делают.*

На самом деле, воспоминания Григоренко — настоящая эпопея. Превосходная иллюстрация к истории страны, потому превосходная, что неча-

янная, ненарошная, не многозначительная, без учительского тыкающего в нос пальца. [...]

Жизнь в деревне, у которой свои законы, свои тяготы — и немалые, отнюдь не располагающие к оперной лирике («у меня не было детства», — пишет Григоренко). Во времена его детства деревня была еще нормальной. Трудности были естественны, разделялись всеми, вытекали из необходимости работать на земле и — работать землю. Крестьянские тяготы. И семейные тоже. Все это было — *до соблазна*. Соблазна с корнями в идеологии и с практикой в гражданской войне, в междоусобной ненависти, в межлюдской зависти. Григоренко прекрасно это показывает. Не «до революции — и после», не «до переворота — и после», а *до соблазна — и после*. Почти невозможно поверить — собственным глазам поверить, до какой степени книга Григоренко лишена какой-либо тени идеологичности, тенденциозности, и оттого она приобретает захватывающую дух глубину — тем более захватывающую, что неожиданную. *После соблазна* — все пошло вперекосьяк. Все, что считалось разумным раньше, — стало называться вредным теперь. Все, что могло раньше служить разве что предметом спора за стаканом водки, когда времечко выдастся, — стало составом обвинения. Все, что считалось кошунством, — стало доказательством свободы духа, эдакой беспардонной лихостью, которую юные дурачки стали носить, как орден (и не всегда рядом был отец, чтобы выпороть от души). Короче — все вывернулось наизнанку, понятия Добра и Зла с бесовской легкостью поменялись местами, и пошла чехарда, и пошла чехарда, которую потом в советских учебниках будут называть «триумфальным шествием советской власти».

Григоренко спрашивает себя: как могли мы стать поклонниками диктатуры, поверить в нее, принять как должное? Как могли мы считать законным и справедливым уничтожение целых классов и слоев населения, высылку, лишение имущества, лишение гражданских и человеческих прав? Однако же считали. Что за хмель, откуда он, отчего он вызывает такой дыхание захватывающий восторг? Да оттого, что нравственные препоны вдруг упали. Во все времена дремлет в человеке разрушитель. Вопрос в том, какие этому разрушителю границы поставлены. И размышлениями над одним только этим вопросом снимется вечное сравнение между дореволюционной и послереволюционной Россией: дело не в социально-политических изменениях. Политический режим царской России отнюдь не был идеальным, он не был даже оптимально-разумным. И злоупотреблений было достаточно. И беспорядка тоже. И неразберихи. И недальновидных действий правительства. А что касается советской власти — и тут не в ошибках и не в злоупотреблениях дело. Изменение произошло качественно-нравственное, ибо новая власть открыто сделала ставку на разрушителя в человеке. Не от социальных несправедливостей освободила — от нравственных границ. Мысль не новая, конечно, однако же далеко не всеми еще воспринятая и понятая — особенно в Свободном мире. В книге же Григоренко этот водораздел, эта незасыпаемая пропасть не провозглашена, не навязана сентен-

циями, а со всей простотой и беспредельной искренностью показана — на собственном грехе слабости перед искушением, перед соблазном.

Вот он ушел из деревни. Выучился. Получил высшее образование. И что же пришлось ему делать, где приложить полученные знания? Церкви взрывать. Ну, конечно, это факт личной его биографии, случайность — не всем же, в конце концов, приходилось церкви взрывать! Ан нет. Даже и не в том дело, что церкви, а как бы получилось так, что при этой власти все учились, чтобы что-нибудь взрывать: стены ли, головы или души — это уж кому как приходится. Главное — взрывать. И над осколками еще колдовать, чтоб не собрались обратно в бывшее целое. И церкви здесь — реальные здания с реальными когдатошными адресами — превращаются в символ: дух надо было им взорвать, Неуловимое, Несказанное. А на место это (в головы) всадить свое: *сказанное, писанное, предписанное*. Потом уже — и неписаное, тоже дух: Зла.

И все, что пишет о своей жизни Григоренко, вот так же, незаметным образом, превращается в символ. Бездарное зачастую планирование военных операций, сознательный обман и самообман в предвоенные годы, уничтожение укреплений на старой границе и неготовность новых, планомерное уничтожение кадрового командного состава армии, непрерывные слежки, шпиономания, страх не столько перед возможным врагом (а затем уже и реальным), сколько перед Смершем — все это отдельные части той самой чехарды, которая началась с соблазна. Во всех армиях бывают бездарные полководцы, неумные командиры, нерасторопные штабы. Не с советской власти началась глупость и злая воля. Любая армия может потерпеть поражение. Но когда все это вместе вытекает из некоего дьявольски сформулированного закона, неподчинение которому карается смертью, а подчинение ведет к смерти же, — это великое завоевание первой в мире страны Советов. Самое несомненное из ее завоеваний. Самое непреложное. Авторство которого никто и никогда уже не решился оспаривать.

И все это является не только частью истории СССР, но и частью биографии Петра Григоренко. Простая его биография на самом деле не так уж и проста: он и крестьянин, и рабочий, и солдат. Да еще и комсомолец. И коммунист. И генерал. Он побывал составной всех слоев общества — от самого нищего низа до генералитета, военной иерархии, до «лично знаком с товарищем Брежневым». И еще он — то, что принято теперь называть «диссидентом». И, среди них, — один из немногих, кому было что терять. Кто выше забрался — тому больше падать. Тому и мстят злее: впустили, подняли, наградили, приласкали, думали — свой, а он...

Григоренко как человек, как личность, как гражданин, просто как трудившийся всю жизнь человек очень легко объединяется с понятием народ, как бы конкретизирует это понятие — именно потому, что был и рабочим, и крестьянином, и солдатом, и грехи его были грехами многих, и заблуждения — заблуждениями многих, и ошибки — ошибками многих. И то, что пришел он к отрицанию подсказанных, навязанных ценностей (хоть и впи-

тал их, и почитал долго), вселяет надежду. Народ-то ведь «всем народом» не движается, движение начинают всегда немногие. Судьба Григоренко — как бы залог прозрения множества, тьмы ослепленных. Судьба Григоренко свидетельствует о том, что диссидентство — не книжно-интеллигентское движение умствующих неудачников. [...]

Григоренко много и подробно пишет о рождении в нем протеста, о наивности его проявлений, о попытке организовать подпольную борьбу. О том, как листовки собственного сочинения раздавал на заводе, однажды — даже в военной форме. Аж вчуже сердце сжимается от страха, когда читаешь, как он стоял у выхода из завода с пачечкой своей. Это же безумие, чистое безумие! Как не испугался втянуть детей, семью, обрушить на их головы все камни, все глыбы, которые — ох, как мы это знаем! — умеет превращать в могильные эта власть.

Он не испугался. Или испугался, — но только не смог иначе. И об этом тоже пишет Григоренко, — как и почему не смог иначе, как и почему было уже не повернуть назад, не зажить снова по-прежнему: со служебной лестницей, зарплатами, надбавками, гонорарами, партийными собраниями... и даже беспартийными собраниями — в этом круге, короче. В этом круге было уже не усидеть, и даже оглядываться стало ему страшновато.

С огромной нежностью пишет он о новых своих друзьях — и тоже старается никого не забывать, всем сказать доброе слово, всех поблагодарить за то, что дали ему узнать, увидеть, встретить, догадаться и понять.

Все мучения, которые были ему уготованы, все страдания, которые пришлось пройти — и вынести, словно были ему даны в испытание на прочность любви: так прочитывается это в книге. В книге чистой и обаятельной, почти старинно целомудренной, застенчивой чуть ли не по-девически и — поучительной. Очень поучительной.

*Виолетта Иверни*

*1982, № 32*



# НАША АНКЕТА



## ТРЕВОГА

*Разговор с Владимиром Максимовым*

Имеющий уши — да услышит.

[...] Когда мы пересекаем границу *оттуда* — *сюда*, нас больше всего поражает, что ее реально, визуально не существует: только что ты был *там*, и вот ты — *здесь*. Просто стало легче дышать. Как от лекарства. Был долгий сердечный спазм, дали валидола, спазм прошел... Все начинается потом, все обнаруживается потом, когда глаза устают от туристических удивлений и восторгов, когда исчезает зуд хватать впрок соль, мыло и спички, а тайный страх перед завтрашним полуголодом обрастает сибаритски-нежным рубчиком привычки: в магазинах продуктов гораздо больше, чем можно съесть зараз...

И вот тогда-то... вот тогда-то... Вот тогда-то оно и начинается. Ах да нет, никакой это был не валидол, никакое не лекарство!.. Эта трижды проклятая граница, которой не было, а были облака, одинаковые повсюду, была земля, одинаковая повсюду,— и все равно по телу ее ударом хлыста была вытянута эта трижды проклятая граница, вытянута ударом по телу — твоему, как если бы сам ты был этой землей или жизнь твоя была этой землей, и вот теперь она развалена на два бесстыдно-голых, отвратительно кровящих куска мяса, и больше их уже не срastить. Так что не вдох то был, а удар в подвздошь. И жизнь — надвое. Вот как. И дальше начинается другая история.

Другая история — другая жизнь — имеет одну неприятную особенность: в ней всё обострено и обнажено. Всё — неразведенный уксус (кому нравится — неразведенный спирт). Всё — с плюси́ком. Всё — в превосходной степени. Никаких знаков препинания, кроме восклицательных. И даже если восклицательный не ставится, он подразумевается — бурлением и клокотанием в горле, таким высоковольтным напряжением страстей, как будто и не прошло полжизни, как будто они и не растрачивались раньше — на все, на что попало: стоящее, нестоящее, доброе, злое, на любовь, зависть, обиду и грех; только тут все проживается заново, будто в последнюю минуту, будто у стенки.

Вот всю эту *другую* — у стенки — жизнь мы с ним знакомы, с Максимо-вым. Знакомы разнообразно. С массой (в превосходной степени!) претензий. С массой (в превосходной степени!) обид. С приступами (восклицательный знак!) взаимного раздражения. С наплывами (Максимов) угрюмого недоверия. С попытками (перебравши подходящие образы в художественной литературе) терпеливой кротости (я, конечно). С совпадением (о радость!) мнений об одном и том же предмете. С абсолютным расхождением в них (ох-хо-хо-хо! — пух и перья, примкнутые штыки восклицательных знаков, полива ненормативного русского языка — зато на «вы», зато на «вы», мы всегда на «вы», как в лучших домах Рио-де-Жанейро и Монтевидео). И — главное, самое главное, мучительное, кровавое, слезное главное: с одинаковым ощущением того самого незаживающего рубца, со знанием и с сознанием, что не заживет, с готовностью идти до конца отпущенным и назначенным путем, и еще хорошо бы, если бы удалось сделать немножко добра (а и зло-то от тех же, кто бредит добром, как не ошибиться, кто скажет?), и еще надо уметь прощать, и еще успеть бы написать... и еще объяснить что-то, попытаться объяснить открывшееся, найденное, важное, и еще — не замкнуться на себя, и еще... (много-многоточие).

Вот от этого (всего вышеизложенного) и поэтому (всему вышеизложенному) и происходит данный в высшей (превосходной) степени неприличный, нетактичный и неэтичный факт: журнал «Континент», главным редактором которого является Владимир Максимов, печатает настоящий материал, автором которого является зав. редакцией того же журнала Виолетта Иверни, и выходит этот материал в связи с пятидесятилетием Владимира Максимова. Так сказать, междусобойчик. Он ей гонорары платит (ага!), она про него статейки пишет (ага-а-а! — восклицательный знак). Платит. Мало только. Но после выхода этого номера обязательно будет платить больше. Должен... по идее... А то зачем тогда?..

Это — к сведению просвещенного и умудренного читателя: нам не стыдно.

— Шестой год издаем журнал, шестой год... Ну, давайте, так, положи руку на сердце: есть хоть один номер, который можно было бы назвать полностью *своим*? Ни одного почти... Не получается... То то, то это... И не всегда руководствуемся соображениями качества, всегда еще другие есть соображения... ну да, тактические... Да не только тактические — и человеческие: поддержать кого-то хочется, помочь, не дать отчаяться. Дома бы строже судили, строже отбирали... А эмиграция — ох, какой клубок. Претензий, амбиций, обид, счетов всех ко всем, каждого к каждому. Мало, что ли, такого: свобода — это когда меня печатают, это когда меня понимают, меня замечают, меня слушают, меня, меня, меня... Ну, и подумаешь, а вправду ведь человеку больно!.. Да Бог с ним, ну — не гений, ну не очень-то высоко летает, так ведь это ж не преступление. Пусть выйдет к читателю, пусть читатель

сам судит, пусть читатель скажет. Так вот напечатаем, а нам — рраз! — собрание сочинений того же автора с ближайшей почтой подваливает. Остороженько, чтоб не обидеть, пишешь: вы извините, мы пока напечатать не можем, — и сразу врага нажили!

А я вот так думаю, что правильно напечатали. Даже если средне. Ну, не графомана, конечно. Это ничего, что потом скажут: ну и материалчик же вы тиснули, неужели не видно, что не уровень, что серо попросту? Видно, видно... Тоже умные, тоже поплавки носим. Но это лучше — напечатать из добра, из тепла, из нежелания обидеть. Не для журнала лучше — для себя, для внутреннего самоощущения. Потому что где она — граница между пуританской верностью высоким критериям и олицетворением самого себя с этими критериями, присвоением себе права единолично судить и осуждать, и присуждать: того — к вечности, а этого — к мусорной корзине? Ну не будет номер божественно красив, ну не Аполлон, так ведь не на нем начинается, не на нем кончается жизнь, душа, тепло, жалость... верность, себе — верность. И критерии, кстати, тоже. Журнальные критерии.

Тем более, что с «высоким искусством» и дома (красиво сказать — в метрополии) не так уж легко, и не только потому, что зажимают... Подлинные гении толпами не ходят. А уж в эмиграции — тем более: выбор уже, страна эта, эмиграция, тесна — тесна и задышлива. Это правда, что уровень хранить нужно, это правда, что миру являть лучше произведения «высокого накала», это уж и опытным путем доказано: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Вопрос только в том, чем платишь за возможность быть здоровым и богатым. Отбор материала — это и нравственный выбор.

*— Как себя чувствует человек, которому пятьдесят? Противно кругленькая цифра — что вызывает ее приближение? Ощущение рубежа? Звоночка? Много ли еще, долго ли? Что вы чувствуете, Володя?*

— Тревогу. Я всегда чувствую тревогу. Это не потому, что пятьдесят. Я всегда чувствовал тревогу, всю жизнь. Не знаю, может быть, это болезнь, может, это ненормально... Меня преследует тревога. Я не знаю покоя, не знаю, в сущности, что это такое — покой.

*— Вас много обманывали?*

— Да всякое бывало... Но ведь и не больше, чем других. И потом — мне, если честно сказать, все всегда удавалось. Если и не сразу, то в конце концов — всегда. Я не хвастаюсь — так, правда, получалось. Не знаю почему. Получалось. С детства хотел стать писателем, другого ничего себе и не представлял. И стал. Какой я писатель, время покажет, не мне судить. Но живу этим, дышу этим, иначе не мог бы, не представляю... Хотя подумать — Господи, откуда пошел, с чего начал, как прошел?... Но вот, вышел же. А пятьдесят — ну, в самом деле тянет посмотреть назад: это ведь

жизнь — ого, пятьдесят! Такого навидался — вспомнишь, не верится. Но и делал что-то. Посмотришь на полку — книжки стоят; не зря, значит, все-таки, что-то написал... Разное писал, по-разному. Стихи вот писал когда-то, и начинал как поэт. Это единственное, от чего я отказался. Плохие стихи я писал. Хотя и они для меня были школой. Я ведь и литературную поденщину всяческую делал — переводы халтурные километрами, и негром на других ишачил, и не жалею об этом. Это тоже школа. Все школа, в конце концов. И еще — я ни от чего не отказываюсь, что я там написал, все печатаю в здешних своих изданиях (кроме стихов, конечно). Что же мне прикрываться, что от себя-то отказываться? — вот оно все, читайте, судите. Скрывать мне нечего. Да и зачем? От себя-то ведь не уйдешь. Мне смешно бывает, когда я встречаюсь здесь с людьми, которые стараются как-то подкраситься, — то ли себя самих подкрашивают, то ли свою биографию, то ли когда-то ими сделанное или написанное. Суета все это. Суета сует и всяческая суета. Все остается, все нами содеянное — есть. За все платить и ответ нести. Так что же прятаться-то? Я вот с двадцати одного года зарабатываю себе хлеб пером — и в газете работал, и на радио, и для театра, чего только ни делал, как только ни жил — и впроголодь, и с деньгами, и в пьяни, и божемничал, — и наверное, не все делал как надо, и неправ был часто, и несправедлив — все мое, за все мне платить, да и научила меня жизнь вот хоть скепсису по отношению к самому себе: я по отношению к себе никакого упоения не испытываю, потому что легкого успеха никогда не знал. Так ведь часто бывает — самого талантливого человека легкий успех может сбить с толку, особенно в эмиграции это часто случается, потому что здесь все критерии смещены. А у меня, слава Богу, довольно было в жизни горечи и неудач, чтобы я сохранил трезвость взгляда. Так мне кажется, во всяком случае. Хотя и страстью к самоуничтожению я тоже не страдаю. И очень приятно, когда хвалят... то есть, когда добрые слова в твой адрес говорят... Без этого не прожить, особенно писателю. Сам-то с собой не все решишь... Да и пишешь не лишь бы писать — для кого-то пишешь. И когда нет отдачи, трудно работать. Как будто слепнешь.

*Он очень театрален. Не той театральностью, которая была в Галиче — с благоуханием кулис, аплодисментов, поклонниц, с детски-естественной готовностью к цветам, с очаровательным и наивным эгоизмом всеобщего любимица, — другой, диаметрально противоположной, скрытой, хищной, неожиданной театральностью не актера, а — театра; не исполнителя, а автора; театральностью, основанной не на фантазии или воображении, а на цепкой, железной хватке глаза, который вроде бы только примерился, глянул искоса, скользнул, а на самом деле хапнул, запрятал внутрь, а потом возвращает — готовым персонажем, откуда-то вдруг объявившимся просто так, в добрую минуту, при хорошем настроении. Все персонажи эти проживают в нем же, в Максимове, все вместе, толпой, оттого он и оборачивается таким разным, что иногда и не соединить: то угрюм и глядит Собакевичем, то язвительно-*

*желчен, прищурен и посмеивается тоненьким, дребезжащим, страшноватым смешком; то вдруг смотрит серьезно и открыто, всем лицом сразу, словно шлем снял, и тянет охнуть, как в знаменитой сцене у Серафимовича: «Батюшки, а глаза-то у його — сыни!..»*

— Вот мы тут с Наташей говорили: давайте попробуем сделать идеальный номер.

— *Ой!..*

— Такой, каким бы мы хотели его видеть. Чтобы всё — по гамбургскому счету. Вот такого бы нам набрать на номер!

— *Только лучше бы его не называть идеальным...*

— Ну, это мы так, для себя, в рабочем порядке.

— *Разве что в рабочем порядке. А то вот восторг-то будет среди умных-знающих-понимающих! Вот радость! Вот лавина повалит!*

— Да пусть их.

*Ну что ж, мы попробуем сделать идеальный номер. Раз уж появилась такая идея. Больше всего, может быть, чтобы себя проверить: что нам покажется идеальным — то бишь лучшим из возможного, то бишь (что себя-то обманывать!) — меньшим из зол. Если честно сказать (пока Максимов не слышит!), я — против. Идеальных номеров журнала не бывает. Не только потому, что не набрать четырехсот сорока страниц высочайшей прозы, поэзии, публицистики, критики. Потому что само понятие «журнал», «периодическое издание» включает в себе обреченность. И простенькую, мелкую, бытовую — и высокую. Бытовая: объем и периодичность выхода. Ну-ка, попробуйте отыскать семейку гениев на все разделы! Ну-ка, попробуйте у этих гениев получить произведения, написанные в самый звездный их, гениев, час! А теперь попробуйте, все это сложив, получить в итоге четыреста сорок страниц, не больше и не меньше! Как?*

*Высокая обреченность: журнал служит истории, которая написана будет потом, после нас, быть может. Он отражает сегодняшний день и час. Он сиюминутен. Не так, конечно, как газета (тем более толстый журнал, тем более — кварталный), его минута — длиннее газетной, в ней не часы и не недели, а месяцы. Но призвание его и назначение — отражать процесс, жизнь, поток. Возрождение и падение. Прозрение и слепоту. Да и кто скажет с аптечной, химически чистой уверенностью — что откровение, а что — слепота? Кто скажет — я есмь истина? Есть, правда, и любители такого, но их лучше как раз обходить подальше. Время, эпоха, все мы — толпа наша: вот что мы дума-*

*ли и чувствовали о себе и в себе, о ближних и в ближних, о событиях, об идеях, о странах, о грядущем, о книгах, о стихах. Вот что есть, существует, движется, сталкивается, катится, вопит и выплевывается! Для этого — журнал. Он не может быть идеальным. То есть может быть в том смысле, что мы будем отбирать для него материал, отбросив все посторонние соображения и руководствуясь только критериями качества. А — наберем ли? А — широк ли выбор? А — четыреста сорок страниц?..*

— После Солженицына — спад. Природа отдыхает. Солженицын — это ведь не просто писатель и книги. Солженицын — это эпоха. Его можно принимать и не принимать категорически, с ним можно спорить и соглашаться, им можно восхищаться и возмущаться, и обижаться на него можно, нельзя только отрицать, что он — явление в современной истории уникальное. Явление не только литературное, но и социальное, политическое, духовное и, если хотите, психологическое. Он олицетворяет собою все противоречия нашей эпохи, все ее взлеты и падения, все ее достоинства и недостатки. Известность его не имеет исторического прецедента. Вы можете спросить у любого прохожего на улице — хоть в Москве, хоть в какой-нибудь западной столице, — знает ли он Солженицына, и тот ответит утвердительно, вне зависимости от того, читал ли он солженицынские книги или нет. Мы вот в среднем по три-четыре книги в месяц получаем о нем и его творчестве. Я довольно активно участвую в русской и восточноевропейской жизни на Западе и могу засвидетельствовать, что одно только имя его (разумеется, если он его дает) обеспечивает любой общественной акции публичный и материальный успех. Настолько неистощима литературная и общественная кредитоспособность этого имени. Хотим мы того или нет, нашу эпоху назовут именем Солженицына — и Сахарова, конечно.

Но вот до чего смешно иногда бывает, когда некоторые эмигранты, только переехав границу, спешат немедленно затеять полемику, смысл которой заключается в страстном желании ввести в историю тему «Я и Солженицын». Да, можно спорить, нужно спорить, и с Солженицыным нужно, только при этом еще бы и чувство меры иметь, вернее — соразмерности. А то просто несерьезно получается, ну смешно и всё. [...]

**— Володя, во всем том, что называется общественной деятельностью, — не страшно потонуть? Затягивает ведь... и дня — как нет.**

— Страшно. Пишешь — всё кусками, клочками. Там-то я общественной деятельностью особенно не занимался, ну кроме той, которой мы все по обязанности в молодости занимались. Хотя политически «заинтересованным» я всегда был, в объективность не играл. Не то что я писал специально что-то «анти», просто писал, что видел, что почувствовал, что правдой считал. А правда — она сама собой всегда получается антисоветской. А тут... конечно, суета. Больше — ярмо, рабство. А только и от этого не уйдешь.

В России писатель никогда не был только писателем — оттого, наверное, что общественная мысль, общественная деятельность, привычка к ней была слабой, неразвитой, инфантильной. Писатель был всем понемножку — и адвокатом, и духовником, и врачом — на все руки. А сейчас — тем более. Да и «Континент» — это больше, чем журнал. Это кусок земли вне дома, который мы пытаемся обжить. Духовной земли, если можно так сказать. Да и другое еще — невозможно спокойно смотреть, как люди приезжают и бьются головой об стену. Вот у меня все получилось, слава Богу, удачно, но ведь не выдержать, когда поэту, прозаику, художнику по-настоящему талантливому не писать приходится, а о куске хлеба думать, мыкаться, бегать... Надо помочь, надо сделать что-то. Вот так и получается: то одно, то другое — дня и нет. [...]

Да ведь для меня это главное. Даже нельзя сказать «главное», потому что — жизнь. Тут, на Западе, не принято высокие слова по этому поводу произносить, ну да и мне не переделываться же: у меня к литературе отношение молитвенное... А тут писатель — профессия как профессия. Все пишут. И лихо так. Вот и наши некоторые давай дуть по западным образцам. Все больше матерно. Я ведь не против, я не ханжа, если надо — можно и матерно. Ты только сперва докажи, что надо. А отмычку из этого делать — не литература получится, а кокетство. Матерное. «Посмотрите, какой я свободный: кто на заборе пишет, а я — на бумаге!» Смотреть только неохота. Опять-таки — я не ханжу. Только «неглиже с отвагой» — еще не искусство, как «все дозволено» — не свобода. Мы, дескать, из культурной провинции приехали, нам тут учиться надо. Учиться — это неплохо. И русская литература часто брала за основу западные образцы. Русская культура вообще очень внимательна была к западной, впитывала, как губка. Не рабски только. А так — ну что же, вот и Достоевский мечтал писать, как Жорж Санд... Ни одной литературе в мире, кроме разве что американской и в известной степени послевоенной немецкой, не было свойственно такое стремление к национальному самобичеванию, как русской. В западной литературе критикуется, как правило, общество, социальные прослойки, политические системы, но не нации, не народы в целом. В русской же литературе национальный мазохизм — одна из характернейших черт. От князя Курбского до Пушкина, от Чаадаева и Лермонтова до Гоголя и Щедрина, от Чехова и Горького до Бунина и Набокова. О нынешних я и не говорю... Да и модно это нынче, так что желающих — легион...

Набор обвинений примитивен и незамысловат:

1. Русские — народ рабов по самой сути своей и никакой власти, кроме советской, не заслужили. (А про восстания вроде никто и не помнит: всеобщая петроградская забастовка, забастовка ВИКЖЕЛЯ, Кронштадт, Ярославль, Дон, Тамбов, а в наши времена — Новочеркасск, Воркута, Александров, Муром и, наконец, Тольятти).

2. Русские неспособны к сопротивлению (все то же, что выше, а о духовном сопротивлении и говорить не приходится: довольно вспомнить Саха-

рова и Солженицына, о десятках и сотнях других тоже можно поговорить, длинные списки получатся).

3. Подлинной культуры у этого народа нет. (А это для кого? Для детей? Для идиотов? О прошлом, так и быть, не надо, да одна только первая русская эмиграция дала Западу в культуре Дягилева, Стравинского, Рахманинова, Шаляпина, Прокофьева, Бунина, Набокова, Баланчина, Бердяева, Михаила Чехова, Лифаря и сотни — *сотни!* — других, оставивших и по сю пору оставляющих свой след в западной живописи, литературе, кино, театре, музыке, исполнительском искусстве; в науке — основоположник вертолетостроения Сикорский, основоположник телевидения Зворыкин, экономист-нобелевец Леонтьев и еще около двух десятков менее звучных, но не менее достойных уважения имен. С неба они, что ли, в Россию свалились?)

Вот по официальной американской статистике русская эмиграция в Америке занимает первое место по доходу на душу населения, по образовательному уровню, по занятости и кругу культурных интересов. И последнее — по уровню преступности. Все русские демонстрации и акции протеста на Западе проходят всегда в рамках демократических законов с соблюдением всех принятых здесь правил и установлений. Русская политическая эмиграция всех оттенков принципиально отвергает террор как средство борьбы. Что же касается современной России, то вот один из крупнейших французских публицистов и философов Жан-Франсуа Ревель сказал: «В наше время все сколько-нибудь значительные идеи приходят к нам с Востока». Я далек от мысли идеализировать русский народ, я просто утверждаю, что это такой же народ, как другие, — не лучше и не хуже. [...]

*— Зря кипятитесь, Володя. У каждого народа своя на земле мистическая роль, свой мистический смысл. Знать его нам не дано — и слава Богу! Надо просто уметь ощущать пуповину, которая никогда на самом деле не обрывается. Уметь понимать — или хоть пытаться, или хоть желать понять. Уметь любить — или хоть пытаться, или хоть желать любить. Все остальное — блуд. Ей-Богу, блуд. Так мне кажется. Вы вот скажите лучше, вам что — родина? Что — для вас?*

— Ну, это у каждого, конечно, по-своему. Для кого родина — дом, где родился, город, или люди... или пожелтевшие книжные страницы даже. А для меня — вот я помню, как у нас во дворе домик строили, так когда для фундамента яму рыли (там, наверное, раньше уже что-то построено было, и сгнило) — сильно пахло прелой рогожей. Так это для меня и осталось. Я всю жизнь, где бы ни скитался, куда бы ни забрасывала судьба, слышал этот запах. Запах прелой рогожи. Меня иногда на парижской улице вдруг как ударит! Почему, откуда? И весь я там... Может, это и плохо, но я весь там. Вот я знаю здесь людей, близких мне, хорошо знакомых, они говорят: нет там больше ничего, ничего не осталось, всё пусто и связь прервалась. А я вот не могу — весь там. И все помню, всех помню...



*И память у него такая же хищная, как глаз, и держит чертову уйму историй, баек, анекдотов, фразочек, словечек: уличных, деревенских, московских вагонных — почему-то больше всего вагонных, а может, кажется так от великого их множества, от мелькания лиц, от целой фантасмагории мгновенно сменяющихся кадров, картин, сюжетов, героев, социальных пластов — снизу, с самого дна, — доверху, до дна верхнего, до правящей крышки. Его слушать, если он в ударе, — кажется, что заработаешь кессонную болезнь: кровь из ушей брызнет, не верится, что один человек мог это пройти, все это увидеть, и его не взорвало изнутри, не отняло разум, не зашвырнуло в благодное — навсегда — забыть!*

*А он любит, когда слушают. Вот как я, рот открывши. И — море лукавства, и глазом хитренько-полусонным подмигиванье, и недоброе «хе-хе!», и — потом руками разведет, так свободно, лихо и невинно — мол, я тут не причем, и — весь театр на ладони: балаганный, раешный, безжалостно-веселый, весело-злой. Он — театр. Страшный театр. Потому что не просто достоверный, то бишь похожий, а переселившаяся, воплотившаяся целыми кусками жизнь — с цветом, светом, пейзажем и полным набором аксессуаров и реквизита. Человек — батальное полотно: вот это всего точнее. И страшнее. Перед этим отступаешь.*

*А кто-то где-то спорит на полном серьезе: тоталитарный характер у Максимова или не тоталитарный? На эту тему уже солидный список статей появился, и даже на импортных языках. И статей, и эпистол, открытых и закрытых, с именами и псевдонимами, а также вовсе без оных. И в разном тоне: есть устало-грустно-интеллигентные — учительные, есть топорно-ругательные — биндюжные, есть прокурорски-высокомерные — с приговором, есть полицейски-требовательные — с окриком. Есть, все есть. Тоталитарный характер у Максимова или не тоталитарный?*

*А он — баталия. Кулачный бой. И — небывалый, фантастический, марсианский. С дикой помесью видов оружия — от какого-нибудь сверхсовременного ультразвукового изыска до дреколя. Он — бой и армия. Он — армия и солдат. Он — на поле, на котором бьются. Без победы. Ибо неправда, что бывают победители. Победителей не бывает. И потому он — всегда ранен. Вечно ранен. И вечно — смертельно. Он ранен как побежденный и ранен как победитель. Он ранен, как вытопанное, изрытое поле. Как измотанная, злобно ощеренная окруженная армия. В нем нескончаемо безжалостно гуляет страдание — вот как ветер над павшими, с той же ширью и молодецким посвистом, рассекая сердце, нервы, мышцы и не давая им зарубцеваться, рана на ране, ни местечка живого, любое прикосновение — вздрог и вздерг... Страдание, страдание... тревога... Всё вечно, всё смертельно, всё — как в последнюю минуту... Но приходит следующая, и следующая, и следующая, и каждая — последняя. Не пробовали примерить такое на себя, господа? Попробуйте...*

*А впрочем... пишите, господа. Пишите письма. Это так сладко — писать письма! А статьи — так и еще слаще. И все — с праведным гневом, и все — с истиной в последней инстанции. Он так часто ведет себя неразумно! Он так вы-*

*бивается из вашей добротной и гладенькой бухгалтерии! Правый уклон, левый уклон, грубость, всяческая фобия — юдо, русо, украино и прочая... Что бы вы ни написали, вы почти всегда будете правы — потеряв беспроигрышная, с гарантией. Вы никогда не будете правы. Никогда.*

— Вот, все нас в нетерпимости упрекают. Кто упрекает-то? Самые нетерпимые в эмиграции люди (и все, кстати, у нас печатались). Терпимый человек об этом не говорит — потому именно, что терпим, ему и в голову не приходит. А говорят те, кому мнение, с его собственным не совпадающее, — нож острый. Да и к чему мы нетерпимы? К подлости? К предательству? К двурушничеству? Это — нравственная нетерпимость, она естественна. А то мы к тому придем, что все можно понять. Вот как современные западные либералы. Кто-то сказал, что либерал — это человек, который заранее считает, что враг — прав. Терпимость — это готовность выслушать мнение другого, готовность услышать его аргументы, а дальше уж судить, убеждают они тебя или нет. А нравственная нетерпимость — это в нас от ощущения, что мы на последнем рубеже, от апокалипсического мироощущения. Потому что «на край ночи» мы не путешествовали, мы оттуда пришли. Мы не хотим понимать палачей — мы хотим понимать жертвы. От их имени и стараемся представлять. [...]

За сорок три года, прожитых мною в СССР, я прошел почти все круги общества, знал великое множество людей — от нищих бродяг до членов Политбюро, но беру на себя смелость утверждать, что нигде там я не встречал столько по-настоящему «советских» людей, как на просвещенном Западе. В Италии, где каждый третий голосует за коммунистов, каждый из этих же трех готов вам глотку перегрызть, защищая от всяческой критики «родину трудящихся», «отчизну светлого социализма», «надежду всех угнетенных». И во Франции, чуть в меньшей пропорции, то же самое. И в Испании, и в Португалии. И если бы только коммунисты! А поговорите-ка с английскими левыми лейбористами или либералами США, или с социал-демократами Германии, Австрии, Швеции! Да почитайте-ка их (и не одни только коммунистические!) газеты. Сахарова сослали? Не убили же! Афганистан заняли? Это — чтобы там всеобщую неграмотность ликвидировать! Тридцать тысяч танков в Восточной Европе держат? Оборонительная акция! А будешь спорить — в реакционеры запишут, в агенты ЦРУ и в коллаборанты чилийской хунты. И ведь никто и ничто не принуждает — не как у нас! Ведь они — свободными родились, свободными живут! Сами, добровольно, при полной информации — да еще со шенячьим энтузиазмом. И сообразительные эмигранты (как правило, из бывших и верных членов КПСС) тут же ориентируются... они тоже за социализм с каким-то там лицом и за плюрализм, но только — для своей партийной коды. «Реакционеров» же — к ногтю. Видно, коммунистическая диктатура рождается задолго до формального завоевания власти, и не «советский тип мышления» является продуктом этой диктатуры, а — наоборот. Мы, видишь ли,

нетерпимы... Третья эмиграция вообще и «Континент», в частности. А мы пытаемся найти общую почву и для позиций, кажущихся разными, противоположными даже. Вот Солженицын утверждает, что в идеологию в Союзе никто не верит. А Сахаров утверждает, что идеология управляет всем и всеми, управляет страной. Вроде бы противоположные позиции, но на самом деле одно другому не противоречит.

Да, никто давно не верит в идеологию, и тем не менее она управляет страной. В этом-то самое страшное и заключается. С фанатиками идеи еще можно спорить, в них убежденность есть, искренность, своя логика. А с циниками — о чем говорить, о чем спорить? Какие им аргументы приводить? Сами они всё знают, всё понимают. Для них главное — схватить! Схватили — удержать! Держим — не отдавать! Мое! Психология уголовников: «подохни ты сегодня, а я — завтра!». Вот и всё. И огромная страна заходится в конвульсиях: ни хлеба, ни зрелищ, ни мысли. Пряников — не густо, все больше кнут. [...]

...С годами я стал замечать за собой: если мне худо — ищущу: где-то я пакость сделал. Это вообще-то не христианское, карма: твоя вина к тебе возвращается бедой.

— *Почему не христианское? Расплата за грех...*

— Ну нет, это слишком грубо, вульгарно. Нам расплата не здесь. И почему мы знаем — что наше добро? Может, лукавка все твои добрые дела перевесит. Об этом не нам судить.

— *Жалеете о чем-нибудь?*

— О многом. О многих поступках, словах. Не отказываюсь только ни от чего. Что сделал — всё мое. И все принимаю как подарок. Хлеб, женщину, удачу — всё. Вот у меня так в жизни вышло, что много хвалили, поддерживали, продвигали. Я ведь свой был, социально близкий, русский опять же — никаких сложностей социального порядка. И критика обо мне писала много и хорошо. И всё состоялось. Всё, чего очень хотел, получил. А вот это ощущение, что — подарок, не проходит. Жду всего, чего угодно. И ко всему готов. Вот скажет мне сегодня кто-нибудь: как здорово ты написал, замечательно просто! — и у меня праздник на целый день. А завтра пришел кто-то другой и — «знаешь, старик, слабо... слабо!». Я схвачусь, пересмотрю — и вправду — слабо, аморфно, неточно, стыдно читать, стыдно. Я себя никогда не перечитываю — не могу. Какой я там писатель — время покажет. Время — единственный судья нам всем. Одно только время и ничего более. Никто из живущих писателей не может сказать, переживет ли он самого себя. Один современный русский поэт сказал: «Спешите делать добрые дела». Вот с этим действительно надо спешить. А с литературой спешить не надо, она спешки не терпит.

— *Из чего ваш день состоит, Володя? Как он проходит, день? Такой вот обыкновенный, средний?*

— О-о, средний!.. Да все набито, и средние, и крайние. Пишу, читаю, с вами вот ругаюсь... гениев принимаю. В среднем по два гения в день получается. Гении — это стихийное бедствие. Стихийное бедствие эмиграции. Не то чтобы там, дома, их не было — непризнанных-то страдальцев у нас всегда было много, — но там они спокойнее: причина есть для непризнанности, ясно же, что все это козни советской власти. А когда причина видна и понятна, да еще и объективна — не поспоришь, не повоюешь, — то человек привыкает жить с обидой, ему с обидой тепло и уютно, он от нее и не откажется никогда, как от теплой одежды в мороз. Греет. А тут, в эмиграции, совсем другой колленкор — свобода ведь и печататься можно, и не давит товарищ цензор, внутренний и внешний, и весь ты как на ладони. И судят тебя по тому, что ты действительно сделал, что ты действительно сумел и смог. Вот так и оказывается, что содрали с человека теплое прикрытие и он голенький. А самому-то про себя не признать, не поверить, что не может попросту, не умеет, не талантлив, — для этого силы нужны, для этого много мужества надо, которого не всем и не всегда найти. Вот — и взывают. Вот и обиженные вокруг нас ходят. И мне день набивают. С ума можно от этого сойти — вроде бы и занят был без продыху, а оглянешься — и не сделано ничего, одни разговоры бесполезные. И врагов себе плодишь.

*А и не говорил бы. Другие вот — знакома с такими — не говорят. Время берегут, цену знают. Он — не может. Все раздражение, вся досада от безнадежно и ни к чему потраченного, как за окошко выброшенного времени — это все потом, после разговора. А когда напротив — живое человеческое лицо (да тысячу раз знает он, что человечешка-то пустой, минуты не стбит), сведенное обидой, недоумевающее, обращенное в собственное «больно», когда глаза в глаза, — он ударить не может, он по глазам хлестнуть не может... Так вот и получается иногда — путаница в ненужных обязательствах, и жалость, и досада, и злость, то ли на себя самого, то ли на гостя настырного незваного, то ли на весь свет — ах да пропади все пропадом!.. А потом все опять и снова — и жаль, и помочь, и... ах, да... Карусель. И все равно ведь — строчки заваливающей не пропустит — читает: а вдруг! Вон сколько объявляется неожиданного, непонятно откуда взявшегося...*

— Какой я писатель — не знаю, а вот читатель я, смею утверждать, универсальный. Читаю я все подряд, включая рукописи, и получаю удовольствие от самого процесса чтения. Мне непонятен литератор, который из современников читает только себя или, в лучшем случае, своих друзей и знакомых. Я до чтения жаден. И с одинаковым наслаждением перечитываю русских классиков — Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина — и западных: Сервантеса, Бальзака, Стендаля, Фолкнера, Вулфа,

Селина, Мориака, Камю. И современных русских прозаиков — умерших уже, и ныне живущих, все крупное, что есть в нашей литературе, я постоянно перечитываю. [...]

— *А хочется вам уехать куда-то, все равно куда, куда глаза глядят?*

— Всегда. Только не ехать, а идти. Идти и смотреть. На города, на площади, на людей. Может, это скверно и стыдно, но я не люблю музеев, памятников, не люблю все запертое. Я бы по музеям не ходил. Я люблю улицу, базары, толпу, люблю смотреть на нее изнутри, люблю быть к ней причастным, к жизни причастным. Не только людей, но все вместе — дома, деревья, воду — и толпу. Глядеть на все изнутри и понимать, что это вечно: дома, деревья, вода, толпа... Это, наверно, от подсознательного желания — остаться... Тоска по бессмертию, по вечной жизни... Слаб человек.

*И в свои книги уложил Максимов этот терзающий его театр. Даже в тех его вещах, которые захватывают большие временные отрезки, в которых теснятся множество людей (всегда можно сказать с уверенностью, что — увиденных, а не придуманных), повествование разбивается на небольшие, замкнутые, завершённые сцены, так что их можно хоть сейчас — на подмостки или в кадр. Они рассыпаны повсюду — и в ранних вещах, и в поздних. В каждой сцене, даже самой маленькой, персонажи притерты так, что их не подвинешь. Все они словно выверены расчетливо, с логарифмической линейкой в руках, но никогда и в голову не придет сказать, что Максимов — рационалистичен. Это видно скорее в связках, в общей композиции, которая при всем при том может словно бы спотыкаться, выстраиваться с неожиданной неуверенностью, а то еще и идти врасстяжку, а то вдруг он начинает топтаться на месте, а то вдруг где-то провисает, где-то проступает слабость, будто писатель устал и ничего с собой поделат не может. Вот в том-то и дело — он ничего с собой поделат не может, он самопридумываться не может — это органика. Поэтому мастерская компактность и точность лучших у него сцен — не результат применения научно найденных формул, а оттого, что герои его обернуты в собственную его плоть, на собственных его костях стоят, его самого разодрав и выжав до мертвецкой синевы. Тут уж не ошибешься в цвете и запахе — не клюквенным соком пахнет: кровушка-то, она видна... Оттого вот в таких сценах и не поставишь, и не посадишь, и интонации им не подпоеши иной, чем есть, чем написана, чем выдохнута, чем соткана из этого невыносимого до жути, из этого воющего, черноплатного, с иконным провалом глаз страдания. [...]*

*Все эти люди, как бы их ни звали, как бы они друг от друга ни различались, как бы ни были взяты прямо из реальности, все они вместе есть единственная реальность — автор. Время, место действия, разгул стихии — от пространства в целом и одной остановленной его точки пейзажа до взмывов души к небу — за надеждой — это все он. Пространство и время его произведе-*

*ний — это все он, все он — театр, все он с содранной кожей, распятый на том, что — не заживет.*

*И человеческое в нем, слабое и смертное, напряжено настолько, что напоминает остановленный кадр взрыва с бесконечно, в диком постоянстве, вздыбленной землей, вздернутой на дыбу землей, которой не дано, не дают упасть. Но это ведь на самом деле невозможно, так не живут, это для одночасья, это не для дней, не для лет!.. Как же получается, как он может?*

*— А чего хочется больше всего?*

*— Уйти в себя. Писать. Складывать миры на бумаге. И не прерываться, не отвлекаться ни на что...*

*— Думается когда-нибудь... ну, «когда я вернусь»?*

*— Все время. Без конца представляю себе возвращение. В деталях, в подробностях. Но если честно, я себя и не чувствую в эмиграции. Знаю, что не могу поехать домой — ну, как если бы я завербовался, что ли, на какую-то работу или еще какие-то обстоятельства. Но вот эмигрантом я себя никак не чувствую. Ко мне часто приходят люди, приехавшие из Москвы в туристическую поездку или в командировку, разговариваем мы, бывает, ночи напролет, и разговоры всё те же, что были в Москве, и я никакой разницы между собой и ими не чувствую. Просто живем в разных городах, по разным адресам. Нет у меня ощущения оторванности. Я думаю, что это не только мое отличительное качество, я думаю, что это имеет отношение ко всей нашей эмиграции. Мы не победители, конечно, но и не побежденные. Мне кажется, что трагедия предыдущих эмиграций состояла в том, что они так или иначе признали свое поражение, внутренне его ощутили. Может быть, поэтому их судьба была столь трагической. Для нас все-таки не так. Тоска по земле — это есть, это правда. Но если они нас нашей земли лишили, — так это же не от силы своей, от слабости. А останься там, да тем, кто сейчас там, — не тоска? Еще и страшнее. Нет, мы не побежденные. И вот, смотрите, сделали что-то, и на Западе что-то в сознании людей сдвинули, это они сами признают — и крупные деятели западные, и обыкновенные, «средние» обыватели. А ведь нас только все и хоронили. Статьи писали: да что это такое — приехали, орут, требуют!.. И хоронили каждый год: ну, всё, поорали, теперь всё, теперь забудут, и хватит. Но вот идет время — и не забывают, слушают даже, прислушиваются иногда. И оттого — я уверен! — что не несчастненькими мы приехали, не заискивающими, не жалкими, — не побежденными. Не эмигрантами.*

*Он не любит замкнутого пространства. Ничего тесного, запертого. И говорит — всегда бегает, ужасно неудобно: не бегать же за ним, так и крутишь головой, как киса на ходиках глазами, влево-вправо, впра-во-влево... Театру ли его тесно в нем — и в комнате? Или его тревога гонит его, съедает?*

*Он не любит замкнутого пространства — и заперт в нем. В телефонных звонках, в четырехстах сорока страницах, в туго набитом календаре, в страхе за детей, в непрерывных разговорах, в просьбах, в «надо не забыть!», в «отпечатать ...копий», и опять в календаре, в страницах, в телефонных звонках, в телефонных звонках, в телефонных звонках... в долге, в рабстве, в жертве, в ярме, которого не снять, потому что надо, потому что необходимо, потому что русский писатель всегда был... потому что стоим на последнем рубеже, потому что если их возьмет, то очень просто может не остаться ничего, даже Гомера, потому что стоим на последнем рубеже, на последнем рубеже... а носорогам все невдомек, все не слышать за собственным топотаньем, куда же они, куда, зачем, почему... С возрастом стал бояться говорить о замыслах, незаметно остываешь, выговариваясь... (потому что уж если выдал свой театр, так обратно не загонишь, не скажешь, что не было, потому что выложился, потому что, как в последнюю минуту — и доброе, и злое...) и не уйти, и не остаться наедине с собой... пешком по земле...*

*И тогда оно подступает. Не надо, Володя. Не надо. Мы не будем говорить, что вы уехали в Германию. Потому что вы никому ничего не должны. Потому что человек никому ничего не должен, кроме того, что он в силах, потому что каждый живет как может и каждый сам знает свою разрыв-траву, свою живую воду. Или живую водку. Вы не уехали в Германию, вы уехали-ушли туда, где не видно стен, тесноты — замкнутого пространства. Вы втемную пьяны. Ай-яй-яй-яй — какой ужас! Как все шокированы! Все садятся писать письма. Или статьи. Это так сладко — писать письма и рассказывать, как надо... Это ничего, Володя. Пусть они пишут письма. Вы втемную пьяны — и нет телефонных звонков, там не слышать. Вы втемную пьяны и едете в поезде через чистенькую Европу, через воспитанную Европу, в которой никто себя так не ведет. Без языка. Без своей земли. По чужой. И спадает напряжение, и отодвигаются носороги, и вы играете в своем театре — наедине с собой... наконец-то наедине с собой... Не бойтесь за свой вицмундир, вы никому ничего не должны. Кто способен понять, тот поймет, а кто не способен — тому и объяснять нечего. Вы все равно — не побежденный. Не победитель, конечно, но и не побежденный. Не эмигрант.*

— ...Здорово он пишет, Довлатов! Молодчина...

...Горим. Всё. Горим без огня. Всё стоит, номер стоит. Срочно! Это срочно, это вчера уже поздно было!..

...Кончено! Я вам больше не доверяю! Я вам больше не доверяю! Я каждое письмо сам буду проверять! Я всем напишу, все проверю! Безобразия, это просто безобразия!

...Опять адресов нет! Ну, это наваждение какое-то! Картотеки завели — две! А карточек половины нет!

— *Вы же сами, Володя, и раскидали.*

— Не знаю, не знаю. Ничего нет. Как что нужно, — никогда не найдешь!  
Ни одного адреса! Ни одного!

— *Да вот ведь — книжки есть записные. Три аж. И две — новенькие.*

— Полгода писали — написать не могли. А теперь все равно ничего нет,  
ничего не найти. Бардак! Все бестолковые, никто порядка навести не может!.. Это просто невозможно!..

*Да не спешите вы, не толпитесь, не захлебывайтесь! Тяжелый характер у  
Максимова. Тяжелый Наплачешься.*

*«Батюшки-и-и, а глаза-то у його-о-о...»*

1980, № 25



## ЧТО ЗНАЧИТ СОЛЖЕНИЦЫН ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС?

*Круглый стол «Континента»  
Париж, 19 сентября 1978 года*

**Владимир Максимов.** Александру Солженицыну исполнилось шестьдесят лет. Всего шестнадцать лет отделяет нас от его литературного дебюта, но за эти немногие годы, благодаря ему, в сознании современного человека произошли коренные и теперь уже необратимые изменения. Почти в каждом из нас началось наше внутреннее освобождение из-под глыб привычных понятий, идеологических табу, угнетающих клише и духовной предвзятости. Даже те, кто с отчаянным упорством сопротивляется его влиянию, вынуждены отныне действовать и мыслить в предложенных им императивах и категориях.

Солженицына можно принимать или не принимать, слушать или не слушать, любить или ненавидеть, но трагическая эпоха, которую мы переживаем, протекает под его знаком и, вне зависимости от нашей воли, будет названа его именем, ибо всей своей сущностью он обращен не к партиям, расам или социальным сословиям, а непосредственно к человеческому сердцу, какую бы веру оно — это сердце — ни исповедовало.

Зачастую он произносит вещи для нас неудобные и малоприятные, взрывающие изнутри наш душевный комфорт и житейское равновесие, но, если бы Исая свидетельствовал в расчете на интеллектуальную буржуазию своего времени, мы не имели бы Библии, а если бы Солженицын в своих высказываниях с самого начала ориентировался на университетских либералов Восточного побережья Соединенных Штатов Америки, мы бы не имели ни «Архипелага ГУЛаг», ни «Красного колеса».

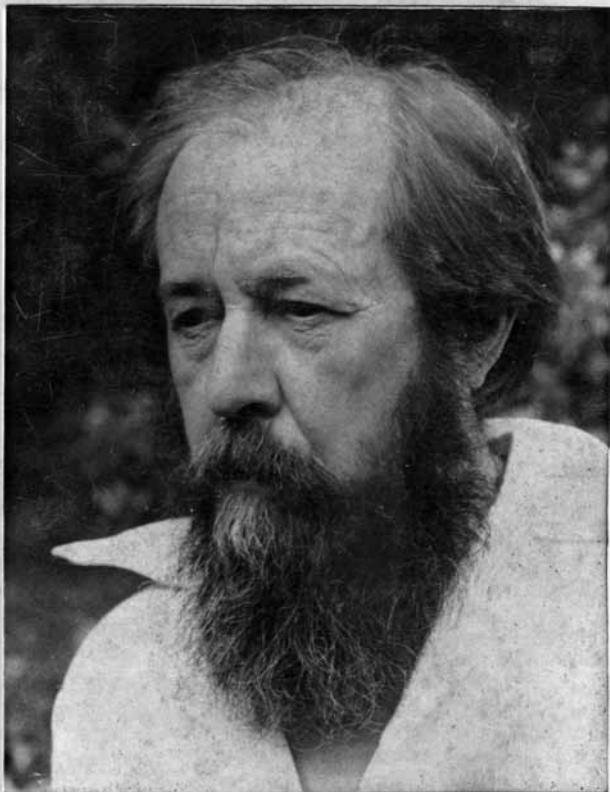
Наш друг, замечательный румынский писатель Пауль Гома, с предельной убедительностью сформулировал сущность сложившейся в современном мире ситуации: «Все мы живем в одной Биафре, и столица этой Биафры — Москва». Мне хотелось бы добавить, что в таком случае Дант этой Биафры — Александр Солженицын. И в этом, на мой взгляд, его роль в новейшей истории и в жизни каждого из нас.

**Пауль Гома.** [...] Что значит для нас Солженицын? Для меня он, вопервых, подтверждение правильности выбранного мною пути. Во-вторых,

# КОНТИНЕНТ18

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNETT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

*К 60-летию со дня рождения*



*А. И. Солженицын*

*Обложка «Континента», № 18*

прорыв, сделанный им в сознании живущих на Западе, чрезвычайен, и я принадлежу к тем людям, к тем писателям, которые воспользовались этим прорывом. С другой стороны, для моих соотечественников, оставшихся там, Солженицын — это и человек, освободивший их от страха, и своего рода алиби их трусости. Они ведь вот как говорят себе: ну, Солженицын, он русский, мы же, румыны, — люди маленькие. У русских — традиция бунтовать, а у нас — традиция устраиваться.

За несколько дней до изгнания Солженицына из СССР я себе сказал, что советское правительство ничего не может против Солженицына: ни посадить его, так как оно от этого не выиграло бы, ни подстроить несчастный случай — всё это не было бы решением. Я подумал тогда, что русские — я имею в виду руководство — найдут другой выход: они отдадут Солженицына Западу, чтобы тот его поглотил бесследно. Если я ошибся, то разве что наполовину. [...] Во всяком случае, мне хочется кончить тем, что друзья ли, недруги ли Солженицына — мы все его должники.

**Пьер Дэкс.** Мои отношения с Солженицыным начались еще тогда, когда во Франции никто ничего о нем не знал. Передо мной оказался текст «Одного дня Ивана Денисовича», представленный мне как написанный очевидцем, и темой первых споров о нем, при которых я присутствовал, был вопрос, имеем ли мы дело с писателем или нет. Я сам на него ответить не мог: мой русский язык, выученный в нацистских лагерях, литературным не был. Впоследствии я поработал с текстом «Ивана Денисовича» и убедился, что текст этот — безусловно, не проба пера, что за плечами человека, его написавшего, уже немало книг, хотя я и не знал тогда об их существовании. С другой стороны, я понял, что человек этот ничего не имеет общего с теми, кого Хрущев во время XX съезда назвал «честными коммунистами». Для меня Солженицын был советским человеком, но с проблематикой, далекой от хрущевской. И, наконец, как бывший лагерник я был убежден в двух вещах: во-первых, что лагерь, описанный в «Иване Денисовиче», и те, что мне пришлось узнать, по своей сути не отличаются друг от друга; во-вторых, что Солженицын сдерживает себя. Я не мог точно угадать, как и в чем, и, к тому же, чувствовал, что говорить об этом нельзя. Я это потому говорю, что уже в 1963 году меня в «Иване Денисовиче» более всего поразило полное отсутствие социализма на горизонте.

Иначе говоря, он одним ударом разрушил обе концепции, которыми подобные мне левые жили со смерти Сталина: 1) что ГУЛаг — это своего рода рак (хорошо, но рак чего? не всего ли организма?); 2) что решить проблему сталинских преступлений можно, только оставаясь на позициях социализма, т. е. внутри левых концепций. Значит, требовалось найти советских левых. И вот передо мною этот человек, о котором я ничего в то время не знал, но уже тогда единственное, в чем я был убежден, — это в том, что для него вся эта проблематика «левые-правые» не имела никакого смысла.

Казалось бы, пятнадцать лет спустя все уже должно стать ясным, сегодня во Франции любой ссылается на «Архипелаг», никто вроде бы уже об этом не спорит, кроме разве что связи между ГУЛагом и советской революцией. Тут вопрос, является ли ГУЛаг отклонением, наростом или же, наоборот, входит в самое существо режима, еще не решен. [...]

Вот уже лет десять, как мне без конца говорят: как вы только можете быть другом Солженицына, ведь он правый. Хуже того: говоря о Солженицыне как о правом, подразумевают, что Брежнев — левый. И в конечном счете стремятся дисквалифицировать Солженицына. [...]

Я просто думаю, что Солженицын помог нам выбраться из этой проблематики, проблематики «революция — контрреволюция», где то, что не было революционным, непременно было контрреволюционным, и теперь совершенно очевидно, что если уж называть октябрьскую революцию революцией, то ее прямое продолжение было контрреволюцией. И если нужно свести к одной фразе урок, преподанный мне Солженицыным, то она будет следующей: надо вылезти из этого плаща, из-под этой маски, надетых идеологией на исторические факты, добраться до исторической правды, т. е. отказаться от политической лжи, а это требует постоянных усилий. В этом отношении творчество Солженицына — не просто критика, но и широко открытое окно в сегодняшний мир, а мир этот — мир после Октябрьской революции, хотим мы того или нет. [...]

**Наталья Горбаневская.** У меня не столько выступление, сколько вопрос, но вопрос, который я задаю себе все время с тех пор, как я на Западе. Я читала еще у Солженицына, что на Западе было издано много книг советских беженцев о советских лагерях, о ГУЛаге. Но раньше я думала, что книги эти, наверно, изданы по-русски и свидетельства оставались недоступными западным читателям. Только здесь я узнала, как много свидетельств было опубликовано на иностранных языках. Все это было, всё это проходило почти незамеченным, но мой вопрос даже не в том, почему тогда не услышали беженцев, не услышали их свидетельств. Это я еще как-то понимаю, но тогда у меня возникает вопрос: почему после «солженицынского шока» Запад «начал слышать»? И почему, тем не менее, даже сам Солженицын иногда «услышан» плохо, неверно?

Для меня это вопрос глубоко личный, потому что, если Солженицына слышат, но недостаточно или неверно понимают, это означает то же отсутствие понимания и по отношению к нам, к любому из нас, будь то беженец из Советского Союза или из Восточной Европы, понимания сути того, что мы делали там и пытаемся сделать здесь. У нас много друзей здесь, но у меня иногда впечатление, что даже друзья скорее зачарованы нашими свидетельствами, общением с нами, нежели глубоко понимают всё, что мы несем в себе. [...]

Все ответы, которые мне пока что удалось найти, — частичные, а для меня страшно важно найти ответ хоть на этот первый вопрос: почему «нача-

ли слышать»? И я пришла сегодня с надеждой получить что-то вроде более полного, более удовлетворительного ответа.

**Ги Лардро.** [...] Самый большой урок Солженицына заключается в том, что, сталкиваясь с ужасом мира, с бесконечным, своеобразным рассеянием своеобразных, личных несчастий, страданий, которые не сводимы ни к какому смыслу и никогда не породят никакого смысла, выход обнаруживаешь не в ступенчатой истории, ведущей к тому или иному раю на земле, а в сопротивлении простых, отдельных людей этому ужасу, этим страданиям, которым они отказываются придавать смысл. Мысль же о том, что мировому ужасу противопоставимо одно лишь индивидуальное сопротивление, уже издавна имеет имя: «нравственность». И величие Солженицына, с моей точки зрения, состоит в том, что после десятков лет, в течение которых идея революции отменила инстанцию морали, он вернул нам величие и смысл нравственности, вернул ее в кругозор нашей мысли.

Я думаю, Солженицын позволил нам раз и навсегда отделаться от старого противопоставления «формальная свобода — реальная свобода», «формальная демократия — реальная демократия». Он заставил нас ясно осознать, что нет иных свобод, нежели формальные, и что всякая попытка противопоставить «реальную» свободу, «реальную» демократию «формальной», т. е. свободе и демократии как таковым — в конечном итоге не что иное, как уловка, хитрость для обескровливания этих свобод, не требующих эпитета. Вот вкратце, чему я научился у Солженицына.

**Клоди Бруайель.** [...] Гарвардскую речь произнес тот же Солженицын, который написал «Архипелаг ГУЛаг». В Гарвардской речи Солженицын говорит, в частности, — хотя он всегда заявлял, сколь категорически он осуждает государство, не имеющее законов или не соблюдающее их, — он говорит, что правовая система — это еще не всё. Он говорит, что надо еще заботиться о нравственных ценностях, о духовной жизни человека. На это, конечно, располагая целым кодом готовых мыслей и готовых ответов, легко возразить: «Чего он беспокоится, этот Солженицын! Это всё проблемы индивидуальные. В наше время нравственность стало делом чисто личным, индивидуальным, мы не хотим, чтобы государство давало нам нравственные ценности». Но ясно, что это был бы суд по ложному обвинению: будто Солженицын предлагает, чтобы государство наделяло нас нравственными ценностями! Отнюдь! Зато он говорит, что сегодня интеллигенция и вообще люди должны бы не только заговорить, наконец, о нравственных ценностях, но и воплощать их в жизнь. [...]

Можно сказать, что в Солженицыне заложен заряд безграничного оптимизма, когда он утверждает, что человек всегда будет сопротивляться, что всегда есть возможность, свобода сопротивляться. Мне именно эти вопросы, поставленные Солженицыным, кажутся фундаментальными, и не только тем, как он их ставит, но и тем, как и каким образом он на них отвечает.

«Жить не по лжи» — это и есть суть всего, и мы сегодня открываем это заново. Мы так научились, все мы — и бывшие левые, и нынешние — практиковать «святую ложь», что нас это застает врасплох.

**Жорж Нива.** [...] Множество хитрых комментариев всегда наготове, как только речь заходит о Солженицыне. Я приведу в пример эпизод с Власовым из «Архипелага ГУЛАг»: несколько лет тому назад этот эпизод комментировался по французскому телевидению человеком, прямо заявившим, что книги он не читал. И с таким подходом сталкиваешься постоянно в прессе, и правой, и левой. И я отвечаю Наталье Горбаневской: да, несмотря ни на что, Солженицын услышан. Услышан и в некотором отношении одержал победу. Во-первых, благодаря тому, что его голос дошел до нас со страниц московского журнала «Новый мир». Это первая причина. Вторая же, без сомнения, заключается в его искусстве, его гениальности.

Солженицын ставит вопросы, это точно, и хотя мы не обязаны соглашаться с его ответами насчет современной политики, однако, оглядываясь назад, я обнаруживаю, что некоторые его выступления, например, о Камбодже, были на редкость оправданы. Но нам надо подумать, в основном, вот над чем: почему и с какого момента люди начинают задавать вопросы. Правда, что он говорит: «жить не по лжи», «достаточно просто не лгать», — но тут-то и встает вопрос, где найти источник мужества, чтобы не лгать, когда всё вокруг толкает к этому. И вот я думаю, что больше всего Солженицын поразил его западных современников своим историческим волонтаризмом, тем, что узнаёшь из «Бодался теленок с дубом», а это, наверное, самая прекрасная его книга, где присутствуешь по ходу истории при истинном рождении человеческой воли, которая еще и талант, и литературный гений, и воля решившегося человека. Помните, в «Теленке» Солженицын показывает, что вначале он еще ничего для себя не решил, что решение пришло постепенно, и пришло оно, — и здесь мы не должны забыть это сказать, — благодаря обращению Солженицына к религии. Он мало об этом говорит, но вера присутствует в каждый решительный момент, что бы мы ни читали: «Ивана Денисовича», «Теленка» или «Архипелаг ГУЛАг». От других мемуарных свидетельств Солженицын больше всего отличается тем, что никто до него не ставил себя до такой степени под сомнение, как он. Надо ведь иметь силу написать, как он, что из него вышел бы сталинский офицер, если бы в какой-то момент в нем не возросло семя бунта. По-моему, сила Солженицына — в том, что он указывает, в какой момент уже пора задавать вопросы. Что же касается веры Солженицына, этой потрясающей веры, — она и есть ключ к секрету силы его произведений. [...]

**Бен-Яков.** [...] Солженицын ухитрился по-настоящему приоткрыть окно в этот ад. А интеллигенция все спорит и спорит. Она не понимает, что Солженицын — единственный, кто заявил во весь голос: система ГУЛАга —

неизбежное и необходимое условие существования советского режима, это не деформация, это не прошлое, это суть сути советского режима.

И я не понимаю, почему столько шумят вокруг таких детских игр, как лагерь в Чили, в Греции, в Аргентине. Это, действительно, детские игры, если подумать о шестидесяти миллионах жертв советского режима, о репрессиях, не прекращающихся вот уже шестьдесят лет. Я отнюдь не за генерала Пиночета, но шум, который поднимают вокруг его злодеяний, несоразмерен слабому отклику, вызванному трагедией, адом девятого круга в России.

**Бернар-Анри Леви.** [...] Говоря о христианстве Солженицына, надо ясно понимать, что это не наносный элемент, от которого можно отмахнуться, принимая остальное, это не периферийная часть творчества. То, что говорит Солженицын, то, что он нам доказывает, — это, например, такая простая вещь, как невозможность рассматривать вопросы прав человека, проблему прав человека вне духовного контекста, вне религиозной философии. И это, к сожалению, правда. Часто твердят, что права человека были отвоены у религии, у христианства, у средневековья и т. д. Беда в том, что это неправда, и Солженицын демонстрирует, что человек, как Солженицын его понимает, как диссиденты Советского Союза и всего мира его понимают, стал исторически мыслим только в христианской перспективе или же в любой другой, но — религиозной. Так что сбывать с рук Солженицына или хотя бы эту грань его творчества, говоря: «Он христианин, это несерьезно, это бредни старого попа», — это, я уверен, непоследовательно и ложно.

Что касается вопроса о государстве. Часто говорят, что Солженицын — сторонник сильного государства. Рассказывают, что он ездил поддерживать франкистский режим, что он поддерживает Пиночета и т. д. С одной стороны, это снова неправда. Относительно сильного государства. То, что нам открывает Солженицын, то, что он нам говорит, и то, что, по-моему, больше всего мешает западным левым: что если СССР таков, как он есть, если, быть может, Народный Китай сегодня таков, как он есть, то это не потому, что там царствуют сильные государства, а наоборот, потому, что эти страны пошли по пути того, что марксисты — и, кстати, не только они — называют «отмиранием государства». Потому, что они уже частично реализовали это. Солженицын нам говорит, что советское общество является обществом, где некоторым образом, будь то на уровне реальности, будь то на уровне грез, — но грез с тяжелыми последствиями, — государство начало отмирать. Что это означает? Это много чего означает. Например, что закон как прибежище прав человека, как прибежище человеческой потерянности — больше не существует. Это означает также, что исчезла прежняя демократическая или либеральная схема государства, правящего или царящего над обществом, а на смену ей пришло государство, слитое с гражданским обществом. Обобщая то, что открывает нам Солженицын: предельный террор, общество предельного террора — это общество без государства, а общество без государства — наихудшее угнетение, и отмирание государства не имеет другого

определения, нежели откровенно записанное в советской конституции 1936 года, нежели приведенное Лениным: отмирающее государство — усиливающаяся власть. Вот в чем дело, и, действительно, исходя из этого или, вернее, забывая об этом, задают вопрос: как же это Солженицын может быть сторонником закона, то есть сильного государства?

Третий момент, о революции. Я не думаю, чтобы Солженицын, как я уже сказал, «подвергал пересмотру», ставил проблемы, поднимал мучительный теоретический вопрос о возможной соприродности революции, как мыслят ее марксисты, и концлагерей. Солженицын говорит, что мечта о революции — достояние не одних марксистов, ее лелеяли и гитлеровцы, например, то есть мечта о революции была и нацистской мечтой. Эсэсовцы тоже мечтали о «новом человеке»: не случайно именно они занимались лагерями при нацистском режиме. Так вот, Солженицын нам показывает, что мечта о революции как таковая, мечта о «новом человеке» как таковая, — и не только мечта о революции в условиях отсталости, и не только мечта о «новом человеке» в ленинской перспективе, — эта мечта в себе самой несет тоталитаризм. И вот почему я говорю, что мы встречаемся с путаницей в вопросе о Солженицыне. Он недопонят и недослышан. Станным образом, его слышат сегодня тем меньше, чем больше читают. Не слышать можно по-разному. Можно не слышать, отказываясь читать. Можно не слышать, отказываясь видеть. И можно не слышать, читая специфически. Потому что французская интеллигенция так устроена. Французская интеллигенция страдает потерей памяти и сегодня изобретает новый вид амнезии. Например, я думаю, глубоко заблуждение говорить, что Солженицын критикует марксизм. Я думаю, он просто открывает нам, что марксизма как такового не существует, что, в лучшем случае, он существовал в сталинской голове. Заблуждение говорить, что Солженицын критикует сталинизм, ибо сталинизма тоже не существует, кроме как в головах марксистов. То, что Солженицын ставит в центр внимания, — это уже не теоретическая проблема, а сама истина века, сам ужас всего XX века, это — в самой обобщенной, в самой радикальной форме — голый ужас, абсолютное зло того бреда, который в нашем веке принял вид разума, по выражению Камю. [...]

Если сегодня говорят, что Солженицын нанес удар по левым, завтра скажут, что есть правые диссиденты и левые диссиденты. А послезавтра, — впрочем, так уже говорят кое-какие журналисты и даже кое-какие знаменитые левые журналисты, — что существует левый подход к проблеме концлагерей, как если бы существовал еще и правый подход к проблеме концлагерей. Для меня все эти маневры, то есть любое политическое прочтение Солженицына, — пусть даже не политиканское, а политическое в лучшем смысле этого слова, — для меня всё это прочтения сокращенные, помехи чтению, помехи и глушилки.

**Филипп Соллерс.** Мне тоже кажется очевидным, что Солженицын не есть некто, кто ставит проблемы, дает ответы, задает вопросы, предлагает посыл-



ки, пытается сделать выводы. Такой подход к Солженицыну определяется уверенностью в том, что философия, философская и политическая публицистика могут осмыслить откровение такого рода. Речь же идет не об одном только свидетельстве, но еще и о литературном творении. Я думаю, что если мы хотим покончить с этим господством философии над литературой, которое позволило, например, одному левому публицисту недавно написать, что мысль Маркса куда выше мысли Бальзака (с тем же успехом можно сказать, что мысль Бергсона выше мысли Вергилия), — следует вернуться к главной солженицынской метафоре, к которой он прибегает в «Теленке»: к метафоре о писателе-подпольщике. Нет более прекрасного определения деятельности писателя в XX веке, а может, и испокон веков. Писатель-подпольщик — это тот, кто пишет правду истории. Эту правду не пишут историки, политики, публицисты, ее не пишут философы, — она пишется субъективно и, в конце концов, зарабатывает изгнание или смерть. [...]

Вопрос о литературе мне кажется основным, я остановлюсь на нем. Когда Солженицын объявляет заведомо некомпетентным всякий трибунал, который принялся бы судить русскую литературу, или любую книгу ее, или любого русского писателя, я думаю, что это самая сердцевина истины о воздействии литературы на правду истории. Когда он говорит, что литература — самый большой дар, самый совершенный и тонкий инструмент человека и что те, кто возбуждает против нее дело, — сами уголовники и отбросы человечества, он провозглашает правду литературы, пишущей правду истории. И эта правда, которая кажется нам уникальной, вливается в вековую правду литературы. [...]

**Пьер Дэкс.** Я хочу коротко вернуться к вопросу, поставленному Натальей Горбаневской. Почему Солженицын? По-моему, затрагивая только документальный и литературный планы, мы идем по касательной. По крайней мере, если речь идет о восприятии Солженицына во Франции. Я думаю, что по отношению к Солженицыну существует чисто французская проблематика, к этому я и хочу коротко вернуться.

Во Франции мы считали, — да и всё звало нас к этому, начиная с Ленина, — что мы, французы, весьма и весьма приложили руку к смыслу истории. 1789 год, 1793-й, Парижская Коммуна, и как итог — 1917-й. И смысл того, что разыгрывалось в Советском Союзе, в некоторой степени воспринимался — не скажу, как французское национальное дело, но как дело всякой французской партии (в широком смысле), считающей себя наследницей, заступницей принципов 1789 года. Поэтому я думаю, что, если говорить об истории концлагерей, необходимо провести четкий водораздел между тем, что происходило до Второй мировой войны и после.

Перед войной, когда фашизм захватил большую часть Европы и Гитлер был прямой угрозой принципам 1789 года, у нас, несомненно, была очень сильная тенденция отказываться открыть глаза на то, что происходит в СССР. Эта тенденция сводилась к тому, что не только само выживание

французского народа, но и весь смысл истории зависит от Советского Союза. В сущности, уже тогда существовала позиция, еще откровеннее принятая левыми после войны, а именно: что Сталин, в конце концов, имеет свои оправдания и что, во всяком случае, все это поправимо. Гитлер — это непоправимо, Муссолини, Франко, хоргистская диктатура — это все фашизм, это неизлечимо. И даже если Сталин делал то же самое, что и они, считалось, что все наладится. После победы над Гитлером люди полагали, например, что теперь Сталин вернется к демократии. Таковы были все эти концепции, и я думаю, что шок, созданный Солженицыным, состоит прежде всего в том, что он прорвал молчание, прорвал невероятный террор молчания, окружавшего «неприкасаемые» проблемы. И он задал нам задачу, хоть этой цели себе не ставил.

Во Франции это неумышленное воздействие Солженицына было тем значительнее, что он в самом деле разнес в клочья интеллектуальный комфорт французской традиции, как впитывают ее еще в начальной школе, — и шок, вызванный, в конечном счете, «Архипелагом», действительно заключается в подрыве пресловутого смысла истории. Он, оказывается, вовсе не то, что вы думали. Значит, надо искать нечто иное, и надо всё подвергнуть сомнению, все эти пресловутые теории о революции, которая порождает революцию, которая порождает революцию, которая ускоряет ход истории, и так до бесконечности. Конечно, это удар прямо по коммунистам, по левым, но это еще и удар по целой республиканской идеологии во Франции и по множеству других вещей. И что касается солженицынского кризиса во Франции, то разговоров об этом нам хватит еще надолго.

**Жак Бруайель.** Может быть, больше всего нас поразило, когда мы читали Солженицына, то, что он не исключает своей доли ответственности за ГУЛаг. Отстаивая свою долю ответственности за ГУЛаг, он требует и свою долю кары. Он это толкует по-христиански — нас же больше всего поразило вот это отстаивание своей доли ответственности. Той ответственности, которая и составляет основную проблему интеллигенции во Франции и вообще в Европе. Фантастическое потворство, сопутствовавшее рождению советского режима, приводит в недоумение. [...]

Ибо, с одной стороны, мы «всё знали» — еще лет в 17-18 мы читали книги, разоблачающие лагеря. Но, с другой стороны, это не помешало нам стать коммунистами. Срабатывало то, что, по-моему, вошло в природу целого направления европейской интеллигенции: мы отвергали нравственный подход, полностью отказывались реагировать на очевидное, и всё это во имя науки, которая на самом деле была миражом науки, сновидением о ней. Только приняв, как Солженицын, факт нравственной ответственности и нравственных ценностей, можно сдвинуться с мертвой точки. Однако целый отряд французской интеллигенции не только систематически распространял идею, что наука может заменить всякую мораль, но и активно участвовал в разрушении нравственности. [...] Только тогда, когда находятся

силы признать, что нравственные ценности есть, пусть их надо отстаивать заново, но они есть, — только тогда, верующий ты или не верующий, христианин или буддист, возникает нечто, без чего невозможно человеческое общение. [...]

**Бернар Футрийе.** Меня лично заинтересовал вопрос Натальи Горбаневской о том, почему до Солженицына как будто ничего не слышали и почему продолжают так плохо слышать и сегодня. Я должен сказать, что я давно уже размышляю о том же, и первый вопрос, который я себе задаю, когда кто-то во Франции, вообще на Западе, говорит о России, — это: «А любит ли он Россию?». Или же снова Россия окажется местом политико-интеллектуальных игр, где западная интеллигенция будет выкладывать свои козыри? В самом деле, французы знали, по крайней мере, с 1928 года: существует книга Бессонова «26 тюрем и побег с Соловков», существует и книга Семенова «Голод», описывающая на двухстах страницах положение Петрограда в 1919 году. Действительно, можно призадуматься. В 1949 году, когда Давид Руссэ председательствовал на известном процессе по поводу советских лагерей, группа узников нацизма обратилась в советское посольство, говоря: мы хотим послать делегацию осмотреть советские лагеря, но учтите, мы хотим, чтобы эта делегация состояла исключительно из заключенных концлагерей, — только они немедленно распознают концентрационный мир. Кстати, с этого же начинается и книга Давида Руссэ о концлагерях.

Конечно, одна из первых причин нежелания слушать — трусость. Покажите сегодня молодым людям снимки нацистских лагерей — они скажут: это невероятно. Увы, как еще вероятно!

Но, кроме того, надо сказать, что между Западом и Советским Союзом существует ряд частных, государственных, культурных взаимоотношений, которые, как я считаю, полностью прячут происходящее там. А еще за этим непониманием, о котором говорила Наталья, скрывается, по-моему, старое презрение к тому, что есть Россия. Нам говорят, — и мне это не кажется вполне справедливым, — что с появлением диссидентской мысли Россия завоевала первое место в мировой культуре. Но французы не хотят ни знать, ни слышать, что русская культура между 1890 и 1914 годами была, наряду с австро-венгерской и южнонемецкой, наверно, самой значительной в Западной Европе — как в литературно-художественном, так и в философском плане. Пусть французские мыслители отдадут себе отчет, чем была русская культура хотя бы в 90-е годы, с Соловьевым и т. д.

Кроме того, часто говорят, что Запад принес остальному миру, включая сюда и Россию, пограничье Запада, сифилис и алкоголь, — я добавил бы: и марксизм. Я убежден, что коммунизм остается продуктом западного мира. Толчок, расшатавший в России социальные, экономические, политические структуры, идет от Запада, — Запад этого видеть не хочет. Вот вам анекдот о том, как объясняют историю России коммунист — француз или русский 56-го года, антикоммунист русский и антикоммунист западный.

Французский или русский коммунист: «Виновны отсталые русские массы, капитализм и т. д.». Западный антикоммунист: «Виновны коммунисты да еще эти сумасшедшие русские» (идея, весьма распространенная на Западе). Русский антикоммунист: «Виновны коммунисты да еще Запад». Я думаю, в этом деле никто не без греха. Россия — своим крушением. Запад — который дал первый толчок, который дал России методику тоталитарного режима. Да еще, разумеется, коммунисты — в первую очередь. И я думаю, что замороженность части французского рабочего движения призраком сталинизма и тоталитаризма в России — всего лишь частный поворот фантазмагорических отношений между двумя странами, в которых нас занимает одна лишь экономическая и социальная выгода. В этом, по-моему, одна из причин, почему слова любого русского диссидента так непереносимы.

Для меня Солженицын — свидетель России. Солженицына готовы принять, пожалуйста, только при этом о многом умалчивают. Например, о том, что Солженицын для разрешения проблемы Советского Союза обращается к русскому культурному наследию. Но пусть Запад призадумается: не значит ли это, что на Западе ничего подходящего он не нашел? А наследие это заключается в том, что вместо «нравственный закон» он говорит «религия». А этого слушать не хотят, потому что это голос той России, которую презирали до 17-го года.

**Владимир Максимов.** Я буду очень краток. В общем, из нашей дискуссии совершенно ясно, что Солженицын — явление внеидеологическое. Он не вписывается в какие-то идеологические рамки. Он заставляет нас мыслить вне идеологий, а просто по-человечески. Он в каждом из нас вызывает беспокойство, и в наших друзьях, в каждом читателе. И мне кажется, что в этом главное значение Солженицына. Ибо беспокойство нашей совести, нашего духа — это и есть единственная гарантия подлинной свободы.

*1978, № 18*

## ИНТЕРВЬЮ С ПЕТРОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ГРИГОРЕНКО

— *Петр Григорьевич, советское правительство лишило вас советского гражданства. Эта мера все чаще применяется к людям, выехавшим за границу с советским паспортом, но вы, насколько нам известно, первый, кто потребовал провести процесс по тем туманным обвинениям, которые выставлены основой лишения гражданства. Что означает для вас лишение советского гражданства — как практически, так и символически? Какую угрозу представляет подобная практика для других людей: защитников прав человека, независимых писателей и художников? [...]*

Прежде всего, я хочу обратить внимание на термин «лишение советского гражданства». Термин этот — жульнический. Он сам по себе ничего не выражает. Под ним скрывается насильственное лишение права жить на своей родине. Хуже того, это попытка вообще лишить человека родины, прервать его в безродного, изгоя.

Против лишения советского гражданства, т. е. против жизни в по-советски организованном обществе, вряд ли стоит возражать. Я, во всяком случае, твердо стою за то, чтобы избавиться от такого общественного устройства, так как оно лишило своих членов свободы и элементарнейших человеческих прав. Общество, в котором десятки миллионов людей были уничтожены неизвестно за что, где и как, в котором государственная власть может отчитаться за жизнь ею уничтоженного ни в чем неповинного человека справкой, подписанной мелким чиновником карательных органов: «Реабилитируется за отсутствием *события* преступления» — и никто за это не наказывается, даже не называются виновники, хуже — запрещается говорить о виновниках, искать их; общество, которое не только не защищает своих воинов, попавших в руки врага, но само их уничтожает, — такое общество не имеет права на существование, а его члены вправе не только отказываться от жизни в нем, но и бороться за его ликвидацию.

Советское гражданство в рассмотренном смысле мне не нужно. Меня нисколько не вдохновляет перспектива быть вечным рабом огромной колониальной империи, именуемой СССР, вотчины дикой бюрократии — партийно-чиновной саранчи.

Если бы речь шла только о том, считать ли меня достойным носить звание советского гражданина, не было бы предмета спора. Я сам не хочу этого звания. Но речь о другом. Разговор о том, имею ли я *право на родину*. Может ли *советское* правительство лишить меня права жить там, где я родился, на земле, политой потом и кровью многих поколений моих предков, вблизи дорогих мне могил, вместе с родными мне людьми, с моими друзьями и моим народом, служить моему народу своим разумом, своими руками, своим здоровьем и жизнью, бороться за лучшее будущее моего народа. Это право дано мне фактом моего рождения. И оно — неотъемлемо.

Но человек — не раб своей родины. Он, кроме права на родину, имеет неотъемлемое право на свободу передвижения. Эти два права — две стороны одной медали. Человек вправе жить на своей родине, покинуть ее пределы и в любое время возвратиться. Но советские власти игнорируют эти, как и другие, права человека. Они представляют себе общество не как сообщество свободных людей, имеющих ряд неотъемлемых прав и присущие каждому разум и индивидуальные таланты. Для них общество — это масса слуг (рабов) государства, которое может творить с ними, что угодно: понуждать к бессмысленному непроизводительному труду, массами перемещать из одних районов в другие, бросать на завоевание чужих территорий и народов, приневоливать к выполнению сумасбродных утопических проектов, пытаться превратить все общество в однообразную серую массу, уничтожая национальные, религиозные и индивидуальные различия. И для достижения всего этого применять самое жестокое подавление, не останавливаясь перед массовыми уничтожениями людей. За личностью не признается даже права на жизнь. Где уж тут говорить о праве на родину и праве на эмиграцию. Выгодно государству — кое-кого отпустят, невыгодно — держат. А кого захочет — выбрасывают из страны или принуждают уехать добровольно. Следовательно, *воспрепятствование эмиграции* тех, кто этого хочет, и *высылка за рубеж* неугодных — явления одного и того же порядка.

Но если борьба за свободу эмиграции, ввиду остроты этого вопроса, была одной из коренных задач правозащитного движения, то противодействие высылке и принуждению к эмиграции не достигали такого накала. И это понятно. Высылка похожа на эмиграцию и потому легко противопоставляется лагерю, тюрьме, спецпсихбольнице, ссылке как проявление «гуманизма». Естественно, что против такой гуманности возник протест. Но я не первый, кто решительно запротестовал против нее. Юрий Орлов и Александр Гинзбург решительно восстали против попытки КГБ принудить их к эмиграции. Александр Подрабинек, у которого судили по фальсифицированному обвинению старшего брата Кирилла, в ответ на предложение КГБ выехать за границу со своей семьей, включая и брата, сказал, что это для него неприемлемо. «Я предпочитаю, — добавил он, — чтобы эмигрировали *вы*». [...]

Я, действительно, первым потребовал предоставления мне права вернуться на родину и в открытом судебном заседании доказать неправомер-

ность указа о лишении меня гражданства СССР. Но это не «гениальное наитие» и не акт отчаяния. Это продуманный шаг, который определялся не только моей личной волей.

Когда власти с небывалой оперативностью (за четыре дня) дали разрешение на наш выезд в США для моего лечения и в гости к сыну, мы с женой и все наши друзья в один голос сказали: «Хотят выбросить из страны». [...]

И все же мы колебались. Советовались со многими из наших московских друзей, съездил я и к друзьям на Украину и посоветовался с ними. Мнение было единодушным — ехать! Но за границей не делать никаких политических заявлений, чтобы не дать повода для наказания за поведение за пределами своей страны. Все считали: если мне удастся возвратиться, это будет новый важный шаг в развитии правозащитного движения. Ну, а если даже при «безукоризненном» поведении меня лишат возможности вернуться на Родину, то правительство даст хороший повод для разоблачения античеловеческой сущности так называемого *лишения советского гражданства*.

Как известно, пришлось разоблачать. Но зарубежная демократия поддерживала нас слабо. Многим зарубежным деятелям, обычно поддерживающим советских правозащитников, данный случай, по-видимому, представился малозначительным. Да и в самом деле: не тюрьма же, не лагерь, даже не рядовая «психушка», а выезд в свободный мир, о чем мечтают десятки, а может, и сотни тысяч советских граждан. В общем, до ума и сердца западной демократии не дошло, что именно «гуманное» лишение гражданства наиболее ярко показывает полное бесправие советского человека. За ним не признают даже права на родину. Войнович это понимает и потому заранее отказывается от поездок за рубеж. Поймут это и другие советские писатели, ученые, инженеры, художники, деятели культуры и искусства. Поэтому лишение гражданства Галины Вишневской, Ростроповича и меня — кроме всего прочего, рассчитанный удар по научному, техническому, культурному обмену.

Буду ли я дальше бороться за возвращение на родину? Безусловно! Я не наивный человек и не лжец, поэтому не скажу, что верю в искру совести и минимум разума нынешнего правительства СССР. Нет, пока это власть у власти, мне, несомненно, не разрешат вернуться. Но мой случай такой, что преступно не использовать его для разоблачения коварства, лицемерия, глупой и подлой жестокости правящей элиты, для просвещения подсоветских народов и западной демократии, для содействия приходу к власти более молодого по возрасту и более разумного правительства в СССР. Чтобы сделать «мой случай» понятным и для тех, кто не был знаком с моей прошлой правозащитной деятельностью, напомним основные ее этапы.

*— Петр Григорьевич, мы думаем, что среди наших читателей трудно найти таких, кто не знал бы этого. Многим известны ваши самиздатские работы. Знают вашу судьбу и поступки и читатели «Хроники текущих событий», и советские слушатели западного радио, и читатели «Континента».*

Тогда отмечу только одно. Когда меня арестовали в первый раз и судили как невменяемого, закрытым судом, не допустив в зал даже жену (и меня, конечно, не было: военная коллегия Верховного суда не пожелала проверить своими глазами заключение экспертизы), это было незаконие по существу, но формально всё было по закону. После суда началось незаконие и по форме. По закону, офицеры и генералы Советской Армии, признанные судом невменяемыми, увольняются в запас или отставку или зачисляются в резерв «до выздоровления»; из партии коммунисты выбывают, а по выздоровлении восстанавливаются автоматически. Меня же лишили звания генерал-майора «за поступки, позорящие высокое звание», и уволили из армии без выплаты жалования (за семь месяцев), без выходного пособия и без пенсии; из партии исключили «за антисоветскую деятельность». В общем, странный сумасшедший — невменяемый только для суда, а для правительства и партийного руководства — государственный преступник. В результате этой двойной бухгалтерии я пятнадцать месяцев пробыл в тюрьме и спецпсихбольнице, а нетрудоспособная жена и сын-инвалид детства жили, не имея никаких источников существования. Хорошо лишь то, что заключение кончилось относительно быстро. Жена, воспользовавшись снятием с поста Хрущева, сумела вырвать меня на волю. Но незаконие продолжалось. На работу по специальности (инженер-строитель) не принимали. Работал сторожем, грузчиком. Лишь через восемь месяцев после освобождения министерство обороны назначило пенсию сто двадцать рублей (в два с половиной раза меньше, чем по закону), «простив» себе всё, что не было выплачено за предыдущие два года. [...]

Та же двойная бухгалтерия сработала и после моего второго ареста. Отправив меня в спецпсихбольницу, со мной поступили как с пенсионером, осужденным к лагерному сроку: вопреки закону, лишили пенсии со дня ареста, а восстановили со дня освобождения — снова вместе со мной наказывали мою семью. И я снова фигурировал в двух ипостасях: как не ответственный за свои действия психически невменяемый человек и как осужденный к отбытию лагерного срока опасный государственный преступник.

Так кто же все-таки я на самом деле? Опасный государственный преступник, — отвечает господин Брежнев, подписавший указ о лишении меня советского гражданства. В указе ясно сказано, что лишили меня гражданства за то, что я подрывал престиж Советского Союза. Поскольку на Западе я не выступал, то, значит, подрывной деятельностью занимался у себя на родине. А так как сумасшедший своим бредом вряд ли может подорвать чей-либо престиж, то мои высказывания не являются бредовыми и я, следовательно, вменяем. Но если это так, то на каком основании меня шесть с половиной лет держали в «дурдомах» — в специальных психиатрических больницах? Почему меня не судили и лишили возможности защищаться? Почему меня выпустили из страны, а не отдали под суд за совершенные преступления? Чтобы разобраться во всем этом, я и хочу вернуться на родину.



Кроме того, мне очень важно узнать, на какие доказательства опирался Президиум Верховного Совета СССР, принимая решение относительно меня. Мне никогда никакой суд не предъявил обвинений. Ни в письменной, ни даже в устной форме никто и никогда не сообщал мне, какие мои действия считаются преступными, и я поэтому не имел возможности дать свои объяснения, опровергнуть вымысел, клевету, инсинуации.

Я давно знаю, что советской страной правит не юридическая власть, а тайная полиция, именуемая КГБ. Правит бесконтрольно и незаконно. Она, эта полиция, приняла и решение о лишении меня гражданства. Для того, чтобы доказать это, тоже следует возвратиться на родину. И для того, чтобы раскрыть коварство, лицемерие, трусость и подлость тех, кто готовил и осуществлял операцию лишения гражданства. [...]

Добиваясь возвращения, я не ставлю ни одного условия, которое могло бы помешать властям СССР принять положительное решение. Я не требую никаких гарантий личной безопасности, хотя прекрасно знаю, сколь коварна и подлая карательная система Советского Союза. Я готов к любому, даже самому жестокому и несправедливому приговору. Но только вынести его должен открытый суд. И правительство СССР должно сделать об этом публичное заявление, указав, в частности: 1) что для суда будет предоставлено достаточно просторное помещение, 2) что на суд будут допущены наши родственники, друзья и иностранные корреспонденты, 3) что на оставшиеся места будут допущены все желающие, в порядке живой очереди, а не агенты КГБ и отобранная ими «публика», 4) что для тех, кто не попадет в зал, будет организовано транслирование всего процесса. Под флагом открытого суда я и буду вести борьбу за возвращение на родину.

*— Но вот волей-неволей вы оказались за границей. Чувствуете ли вы, что и здесь можете оказаться полезным для наших соотечественников?*

Окажусь ли я полезным для своих соотечественников, находясь здесь, в зарубежье, покажет жизнь. Во всяком случае я верю, что всё, что делает человек, имея образ Божий в душе, бесследно не пропадает. Поэтому я приложу все свои силы, свой разум и умение, чтобы творить на пользу своему народу, своей родине, всему человечеству.

*— За границей вы представляете не только лично себя и не только советское правозащитное движение в целом, но и Группы-Хельсинки — московскую и украинскую. Что вы можете сказать о репрессиях, обрушившихся на всё хельсинкское движение и на украинскую группу, в частности? Есть ли у вас надежды, что, вопреки этим репрессиям, деятельность Хельсинкских групп будет продолжена? Что вы знаете о нынешних умонастроениях на Украине? Мы помним, что после волны репрессий 72-го года там на какое-то время воцарился климат страха. Удастся ли сейчас властям снова запугать украинцев, снова продемонстрировать им опасность «связей с москалями»?*

Участие в работе Групп-Хельсинки, московской и украинской, — это не дополнение к моей правозащитной деятельности, а самая ее суть в последние годы моего пребывания в СССР. До конца дней своих я буду благодарен Юрию Орлову и Миколе Руденко за то, что они пригласили меня в состав учредителей, соответственно, московской и украинской Хельсинкских групп. Из-за одного того, чтобы узнать этих людей и насладиться совместной творческой деятельностью и дружбой с ними, стоило жить на свете. Наша совместная борьба, жизнь в постоянной опасности и бескорыстная самоотверженная дружба никогда не уйдут из моего сердца.

Юрий Орлов, известный миру ученый-физик, не мог жить только своей научной отраслью. Его звала родина, думы о будущем человечества. И он услышал этот зов. Первым в мире он понял, что покорно подписанное западными политиками Хельсинкское соглашение, которое было задумано советской дипломатией и разработано как документ, узаконивающий советские захваты в Европе и пребывание советских войск на захваченных территориях, — можно и нужно превратить в документ защиты прав человека в СССР. Мало того, он нашел организационную форму и методы борьбы, возглавил эту борьбу.

Выдающийся украинский поэт и философ Микола Руденко понял то, чего тогда еще никто не понимал: единичную инициативу надо превратить в движение. И он создает украинскую группу. Насколько это было важно, мы можем судить по отзвuku в других национальных республиках. Почти сразу же за украинской организовалась литовская, за ней грузинская, а через некоторое время и армянская Хельсинкские группы. Молдавские правозащитники установили связь с украинской группой; один из них — Василе Барладяну — впоследствии был осужден одновременно с Миколой Руденко и Олексой Тихим.

Признавая выдающиеся заслуги Юрия Орлова и Миколы Руденко, московская и украинская группы постановили считать их своими руководителями вплоть до их освобождения.

Власти растерялись вначале. Об этом свидетельствует, в частности, заявление ТАСС, в котором деятельность Орлова по созданию Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР объявляется преступной и указывается, что если эта деятельность не будет прекращена, то Орлов будет привлечен к уголовной ответственности. Мы, все члены-учредители Группы-Хельсинки, ответили на это контрзаявлением о том, что деятельность группы считаем законной, что объединились мы в группу по солидарному согласию и Орлов имеет те же права, что и все. Следовательно, он единолично не вправе приостановить ее деятельность. Право было явно на нашей стороне, и власти отступили.

Началась бурная деятельность группы. К ней буквально потоком потекли материалы о нарушениях прав человека. Группа установила тесные контакты с Христианским комитетом, руководимым священником Глебом Якуниным; создала Рабочую комиссию по расследованию использования

психиатрии в политических целях; немедленно устанавливались контакты с создававшимися национальными Группами-Хельсинки. Вокруг групп собирался добровольный актив, стремившийся оказать им помощь. Активисты, в частности, выезжали, наряду с членами группы, для проверки материалов, поступающих с мест. Выезжали не только в такие близкие от Москвы места, как Литва или Крым, но и дальше: в Краснодарский край, в Сибирь, на Дальний Восток.

В общем, Запад получил достаточно проверенных фактов нарушений Советским Союзом Хельсинкских соглашений, и сообщения продолжали непрерывно поступать. Чтобы прервать этот поток, власти начали репрессии. Арестовали Александра Гинзбурга и Олексу Тихого, затем Миколу Руденко, а за ним и Юрия Орлова. Запад, по существу, не реагировал на эти аресты. Во всяком случае, ни одно из западных правительств не заявило, что аресты людей, следящих за выполнением Хельсинкских соглашений и информирующих правительства и общественность о нарушении этих соглашений, недопустимы, что такие аресты превращают само соглашение в фикцию. Результат — еще один арест (Щаранский). Чтобы удар был чувствительней, Щаранского объявили шпионом. И, хотя президент США, лично проверив, заявил, что Щаранского в списках сотрудников ЦРУ никогда не было, его уже больше года держат в строгой изоляции в тюрьме КГБ, очевидно, выбивая «признание».

Александр Исаевич Солженицын, выступая 8 июня в Гарварде, сказал, что Запад, в лице его правительств и ведущей интеллигенции, «сдал позиции». Полностью поддерживая это заявление, я добавлю, что самый позорный акт этой сдачи, прямая измена делу правозащиты, состоялся в Белграде. Не желая «обидеть» Советский Союз, западные дипломаты отдали ему на расправу людей, которые ценой своей свободы и благополучия доставляли материалы о серьезных нарушениях Хельсинкских соглашений и тем боролись против угрозы нарастания войны. Уже во время Белграда в Москве расправились с Мальвой Ланда и Феликсом Серебровым, нанесли сильнейшие удары по украинской, грузинской, литовской и армянской группам.

На Украине арестовали и после Белграда осудили инженера Мирослава Мариновича, историка Миколу Матусевича и Петра Винса — сына известного баптистского деятеля, отбывающего лагерный срок за веру, Георгия Винса. Был арестован и подвергнут пыткам близко стоявший к Хельсинкской группе известный украинский писатель Гелий Снегирев. По дошедшим до меня сведениям, пыткам подвергались также Матусевич и Маринович, а Петр Винс был избит надзирателями в тюрьме. После Белграда арестован и шестой член украинской группы юрист Левко Лукьяненко, который только два года как отбыл 15-летний срок заключения. Я после Белграда лишен гражданства. Таким образом, из первоначального состава украинской группы остались только четверо: писатель-фантаст Олесь Бердник, юрист Иван Кандыба, тоже отбывший 15-летний срок, микробиолог Нина Строката, жена заключенного Святослава Караванского, отбывшая четырехлетний

срок заключения, и мать заключенного лагеря строгого режима Олеся Сергиенко 73-летняя Оксана Мешко, женщина невероятного мужества и трагической судьбы. В сталинские времена ее увели на целых десять лет от двухлетнего сына, и, когда она вернулась, сын не хотел ее признавать, так как она «враг народа». Когда же она вновь его завоевала, приспела тюрьма для него. Он тяжело болен, и бедная мать места себе не находит в страхе за его жизнь. Но, несмотря на огромные потери, украинская Группа-Хельсинки представляет собой живой организм. [...]

Сходное положение и в московской группе. В июне арестован и отправлен в ссылку еще один из ее членов — Владимир Слепак, а несколько раньше, прямо во время процесса Орлова, был арестован Александр Подрабинек. Теперь в группе из первоначального состава остались только Елена Боннэр, Мальва Ланда и Анатолий Марченко. Но группа пополнилась: в основной ее состав вступили профессор Наум Мейман, служащая Татьяна Осипова, врач-фармаколог Виктор Некипелов и один из самых близких к нашей семье людей, мужественный человек и адвокат Софья Каллистратова, а в Рабочую комиссию по психиатрии — наш друг врач Леонард Терновский.

Таким образом, продолжая по примеру А. Солженицына, пользоваться военной терминологией, мы можем сказать, что на сданных Западом позициях группы мужественных людей продолжают вести упорные бои в окружении. Я сожалею, что не могу стоять с ними плечом к плечу. Каковы перспективы этих боев? Предсказания — не моя специальность, но я твердо знаю, что к отрядам, мужественно сражающимся в окружении, надо пробиваться извне. Запад, даже по соображениям собственной безопасности, должен занять твердую позицию в отношении защиты прав человека. Хельсинкское соглашение, если СССР не выполняет его гуманитарные статьи, выгодно только для Советского Союза. Для Запада оно в этих условиях теряет всякий смысл.

Что касается положения на Украине, то я должен сказать, что климат страха, к сожалению, существует не только в этой стране. Однако в ней немало и смелых людей. Об этом говорит хотя бы то, что украинцы-политзаключенные составляют 51% численности лагеря особого режима, а в лагерях строгого режима — около 30%. Репрессии на Украине продолжают расти, но они не могут остановить движение сопротивления. Тем более, что на Украине, кроме общих для всего СССР оснований для недовольства, оно вызывается еще и неумной национальной политикой, той безудержной русификацией, которая ведется под флагом создания единой социалистической нации. Так что, я думаю, движение сопротивления на Украине будет расти. Одними жестокостями власти не могут справиться с нарастающим возмущением народа.

*— Петр Григорьевич, до вашего приезда вас представляли на Западе как «неколебимого марксиста», защитника «чистоты ленинизма», публиковали вас под одной шапкой с Роем Медведевым. Для нас, знающих вашу деятель-*

*ность, никогда не было важно, сохраняете ли вы свои марксистские убеждения или нет, но некоторые западные круги, несомненно, разочарованы занятой вами позицией. Считаете ли вы вообще правомерным подход к той борьбе, которую ведет советское правозащитное движение, с точки зрения идеологических подразделений?*

По правде сказать, я не знаю, как меня представляли на Западе. Но я твердо знаю, что западные коммунистические партии не захотели установить со мной контактов. Мне неизвестно, кто меня ставил под одну шапку с Роем Медведевым, но компартии на Западе нас не путали. Общей шапки у них для нас двоих не нашлось. [...]

Теперь о разочарованности «некоторых западных кругов» занятой мною позицией. Я думаю, что эти круги разочаровались не моей позицией, а фактом, что я говорю не то, что им бы хотелось. Моей позицией нельзя было разочароваться просто потому, что я ее еще ни разу не формулировал. Боюсь, что после того, как я это сейчас сделаю, разочарованных станет во много раз больше. Но я не боялся говорить то, что думаю, в Советском Союзе, тем более не побоюсь это сделать здесь.

Итак, какова же моя позиция? Кто я таков?

Я уже не коммунист, хотя почти всю свою сознательную жизнь исповедовал это учение. Отрывался я от него с трудом, мучительно, со многими ошибками и новыми увлечениями. И, пожалуй, единственное, что дало мне силы не угодить в какой-нибудь новый тупик, — это твердая убежденность, тот вывод, который я сделал из опыта своей жизни: ни одна самая блестящая идея, самая «высокая» цель «не стоит одной напрасно пролитой слезы ребенка».

Не коммунист, потому что не верю ни в одно коммунистическое учение — ни в марксизм, ни в ленинизм, ни в какой-либо иной «изм». Марксизм и ленинизм я пытался постичь всю свою жизнь и к концу ее, наконец, уразумел, что ни в одном, ни в другом нет ни грана научности. Я прочел четыре изданных в СССР тома «произведений» Мао Цзе-дуна. Говорить о научности написанного там можно лишь иронически. Зато из произведений «классиков» коммунизма можно извлечь уроки, как душить народ, лишая его всех человеческих прав. Есть там в большом количестве и демагогия, способная увлечь политически незрелых людей.

Анализ тех общественных систем-монстров, которые созданы на основе указанных теорий, лучше всего подтверждает их полную несостоятельность. Известно, сколь долго бюрократическая элита советской империи тиранила населяющие ее народы, уничтожала людей десятками миллионов и довела до нищеты и голода, утверждая при этом, что это самая передовая, самая прогрессивная, самая справедливая система, обеспечивающая зажиточную и счастливую жизнь для всех. Какой полной бессовестностью и бесчестностью нужно обладать руководителям страны, до какого состояния ужаса надо довести весь народ, чтобы скрывать от всего мира истинное положение

и рисовать идиллическую картину жизни в стране. Сколько загубленных жизней, сколько мужества и самопожертвования борцов потребовалось, чтобы сорвать покров с тайны истинной жизни в СССР. Мир никогда не должен забывать этих борцов и обязан помогать тем, кто продолжает эту борьбу сегодня. Я думаю, что не выйду за рамки поставленного вопроса, если напомним о титаническом подвиге Александра Исаевича Солженицына в разоблачении советской системы тотального террора. После солженицынской критики советская система так уж и не смогла надеть свою старую маску «прогрессивного строя». Теперь уже трудно найти того, кто стал бы открыто защищать «советский коммунизм». Ну, а чем лучше другие здравствующие коммунистические системы? [...]

Я не вижу коммунистической государственной системы, которая не душила бы свой народ, не лишала бы его всех человеческих прав, не ликвидировала бы свободу и демократию, не установила бы полного господства над народом партийно-государственной бюрократии, ее дикого произвола. Я не знаю коммунистической теории, которая бы давала основания для строительства иных, чем реально существующие, коммунистических систем. Если еврокоммунисты верят в иной, чем существующий, социализм, то пусть подтвердят свою веру практикой. Но при этом возьмут для своих опытов те же страны, над которыми они уж упражнялись. Пусть создают свой «социализм с человеческим лицом» не путем захвата власти в демократических странах, а перестройкой тоталитарных коммунистических систем. Я лично в такую возможность не верю, и потому *я не коммунист*.

Но *я и не антикоммунист*. Во-первых, потому что через частичку *анти* ничего определить нельзя. Брежнев, безусловно, считает себя антифашистом. Я тоже антифашист. Но что между нами общего? Насколько сходно понимаем мы хотя бы термин «фашизм»? Думаю, что взаимопонимания мы не достигнем ни по одному вопросу.

Во-вторых, *я не антикоммунист*, потому что не признаю конфронтацию разумным способом разрешения споров между людьми. Наше время — время страшного разобщения людей. Мой любимый современный немецкий писатель Генрих Бёлль гениально заметил, что в нынешнем обществе людей сумели разделить с помощью железок и тряпочек более основательно, чем их разделяли в средние века социальными перегородками. Полностью присоединяясь к этому, я добавил бы к тряпочкам и железкам ярлыки и клички. Назвали страну капиталистической, социалистической, народной, демократической, а человека правым или левым и как будто этим всё прояснили. «Правые», «левые», «коммунисты», «антикоммунисты», «анархисты», «троцкисты», «маоисты», «капитализм», «социализм», и т. д., и т. п. Не надо ничего читать, ни о чем думать, логически рассуждать. Принял какую-то кличку и навешивай ярлыки на других. Я не признаю никаких ярлыков, никаких кличек. Для меня нет ни «правых», ни «левых», ни «анархистов», ни «коммунистов». Есть люди. И с людьми, носящими на себе кличку или живущими без таковой, я готов вести дружественный диалог. Если бы я со-

гласился с тем, что клички что-то значат, мне надо было бы отказаться от всякой надежды на лучшее будущее. В Советском Союзе шестнадцать миллионов членов КПСС. Если бы я поверил, что с ними можно стать только в отношении «анти», я должен был бы признать, что у нашей несчастной родины нет будущего. Если с этими миллионами нет возможности говорить и добиться взаимопонимания, — значит, война.

Нет, я лучшего мнения о людях, о человеке. Конечно, есть умственно ограниченные, фанатики, страдающие односторонностью, просто параноики. Но основная масса людей, вне зависимости от их кличек, способны к взаимопониманию. Ведь не напрасно дан нам *разум* и вложено *слово* в наши уста. Я желаю пользоваться этим даром. А если все же надо как-то называться, то на себя я согласен принять только звание *христианин*. Да и то не в понимании противопоставления иным верованиям, а как утверждение себя в вероучении, которое придает решающее значение слову.

О чем же говорить? На чем можно поразуметься? Только на одном: на глубоком изучении и всесторонней оценке реальной жизни, на отыскании путей и способов устранения ошибок, совершаемых людьми и обществом в целом.

Можем ли мы определить на основе жизненного опыта моего и последующих поколений, чего нельзя допускать в общественную жизнь? Безусловно, можем! И ответ однозначен — коммунистического и фашистского террора, подчинения всей жизни страны бюрократическому произволу.

А возможно ли выявить, что из уже достигнутого отдельными странами следует взять за образец для других? Несомненно! Кто, например, станет спорить, — если он не профессиональный лжец, разумеется, — что наивысший уровень экономического развития достигнут в США? Следовательно, другим странам надо стремиться к этому уровню, а не к камбоджийскому, скажем, или к китайскому. У США можно поучиться и многому другому. Именно эта страна ближе всего подошла к осуществлению извечной мечты человечества: «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Американское общество стоит буквально у грани полной ликвидации различия между трудом умственным и физическим. Что же касается различий между городом и деревней, между центром и провинцией, то они практически ликвидированы. Даже жизнь в деревне и в провинции во многом стала предпочтительней. Замечательны и достижения американской демократии.

Так выглядит «капитализм» США под углом зрения некоторых коммунистических догм, если провести объективный анализ, а не изрекать привычную, набившую оскомину коммунистическую демагогию. Но американское общество — конечно же, не идеал. В его общественной жизни имеются серьезные недостатки, и их надо вскрывать и устранять, но я не ставил своей задачей проанализировать здесь американское общественное устройство. Я лишь пример привел. К тому же, учиться можно не только у США. Каждый народ многое может внести в общественную копилку, если будет изучаться его реальная жизнь, а не лживая пропаганда. Так называемый коммунизм изо дня в день долбит на весь мир, что «капитализм»

старее, загнивает, отживает свой век, что на смену ему идет «цветущий здоровьем коммунизм», а ученые социологи, вместо того чтобы убедительно разоблачить эту ложь, ищут «альтернативу» коммунистической «идеологии». Они не видят той простой истины, что нет такой идеологии, есть ложь, монбланы лжи и демагогии. А альтернатива лжи давно известна, и ее искать не надо. Альтернатива лжи — *правда*. А правду искать надо в жизни, а не в априорных теориях.

Мой жизненный опыт говорит за то, что человек не может провидеть будущее, не может знать, как построить идеальное общество и можно ли вообще его построить. Человечество прокладывает свой путь через неожиданные препятствия, совершая попытку за попыткой, совершая ошибки и устраняя их. Коммунистические партии потому и создали такие страшные общества, что они «знают единственно верный путь». На самом деле они знали только, как создать такой совершенный аппарат насилия, что он способен загнать человечество в пропасть.

*— Петр Григорьевич, наш последний, традиционный вопрос: что вы хотели бы сказать читателям «Континента»? Но вас мы спросили бы еще: что вы хотели бы сказать как читатель «Континента»?*

[...] Александр Исаевич Солженицын выдвинул моральный призыв: «Жить не по лжи». Наш век — век самой бессовестной лжи. Нередко ложь выступает под личиной правды, притом привычной и даже модной правды. Чтобы опровергнуть такую ложь, иногда требуется немалое мужество.

Пример. После войны были наказаны военные преступники. Скрывшихся разыскивали и разыскивают до сих пор. Разыскивают, чтобы по справедливости наказать. А действительно ли только в этом справедливость? В то время как этих нескольких доживающих свой век стариков ищут евреи всего мира, наиболее активно им помогает КГБ, т. е. тот орган, который совершил преступления значительно большие, чем Гитлер, в том числе и евреев истреблял. И вот ездят по дебрям Южной Америки агенты еврейских организаций, расползлась по всему миру агентура КГБ, крича «Держи преступников!». И шум этот надежно прикрывает других, куда более многочисленных преступников. И они гордо несут голову, изображая себя блюстителями законности. Уже давно пора бы еврейским организациям обратить главное свое внимание на выявление преступлений против еврейского населения в Советском Союзе и сорвать маску «защитников» еврейства с КГБ.

И еще один вопрос, связанный с этим. Известно, что вместе с гитлеровцами принимали участие в истреблении евреев и люди из других наций, в том числе украинцы. Но распространилось и культивируется мнение, что украинцы сделали евреям больше вреда, чем другие нации, даже больше, чем гитлеровцы, что вообще украинцы — нация антисемитов. Ложь эта звучит с экранов телевизоров и кино, распространяется прессой. Она оскорбительна и вредна.



Я украинец. В детстве и юности воспитывался в простой украинской семье, где к евреям всегда относились с уважением и сочувствием. В молодости и в течение всей последующей жизни я решительно выступал против советского (культивируемого государством) антисемитизма и гордился этим. И вдруг теперь, на старости лет, узнаю, что принадлежу к нации антисемитов. Ложь эту несложно опровергнуть, поскольку за рубежом сейчас уже десятки тысяч евреев, выехавших с Украины, живших там в доброй дружбе с украинцами, но они молчат, видимо, считая, что нечего писать о ясном вопросе. Основательной борьбы против этой лжи нет. А так как у нее есть могущественные сторонники, то она продолжает распространяться. Делает это КГБ, стремясь унижить национальное достоинство и тем помешать союзу между еврейским и украинским национальными движениями. [...]

*1978, № 17*

## БОРИС СУВАРИН О СТАЛИНЕ

От редакции — 1980

Мало осталось в живых людей, которые знали бы Сталина в те далекие годы, когда он был лишь «генеральным секретарем», не став еще «гениальным секретарем». В числе этих немногих Борис Суварин — французский революционер, публицист, историк, автор первой, написанной в 1935 году биографии Сталина.

*— Борис Константинович, первый, сакраментальный вопрос: где, когда вы видели Сталина?*

В 1921 году я в составе делегации французской компартии приехал в Москву. По предложению Ленина я был включен в состав секретариата Коминтерна, был кооптирован в Исполком и Малое бюро. В Исполком Коминтерна от РКП входили Ленин, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Радек. С ними я встречался. Сталин в работе Коминтерна не участвовал.

В сентябре 1923 года я поехал в отпуск в Кисловодск. По приезде на место мне дали койку в общежитии. Пошел я на вокзал, единственное оживленное место в городе. Купил газету, прочитал о большом землетрясении в Японии. Тут подошел поезд, и из вагона вышел Бухарин, потом Зиновьев. Бухарин, человек веселый, эмоциональный, обнял меня, называя «сувариненок». Зиновьев поздоровался и спросил, что нового. Я ответил: землетрясение в Японии. «Большое?» — заинтересовался Зиновьев. Услышав, что большое, облегченно сказал: «Война отложена на несколько лет». Все советские вожди жили тогда в страхе, ожидали с минуты на минуту нападения — Англии, Японии, безразлично. Были уверены, что империалисты нападут.

Бухарин, услышав, что меня поселили в общежитии, предложил переехать к нему в виллу, где было множество комнат и где уже жили Клара Цеткин с сыном, Сафаров, Лашевич. Неподалеку жил Зиновьев. Троцкий занимал отдельную виллу на горе — жил одиноко, как орел. Сталин жил в Ессентуках. И ежедневно приезжал на дрезине поговорить, посмеяться. Однажды я присутствовал при общей беседе, во время которой местные коммунисты рассказывали о «бандитах». Так называли антикоммунистических партизан-горцев, нападавших на почты и на сельсоветы. Выслушав рассказ,

Сталин сделал движение, как бы стрелял из пулемета, и спросил: «А нельзя их немножко пострелять?» В словах, выражении лица чувствовалась жестокость и злоба. [...]

Возвращались мы в начале октября. На каждой станции требовали оратора — и кто-нибудь выступал с речью. Возвращались, чтобы брать власть в Германии. В октябре 1923 года революция в Германии казалась неотвратимой. В Политбюро Троцкий предложил назначить дату восстания, другие члены Политбюро возражали. Он предложил назначить — 7 ноября. Ему хотелось повторить еще раз то, что удалось шесть лет назад. В Москву явились руководители КПГ Брандлер и Тальгеймер и потребовали «вождя», в себе они не были уверены. «— Кого вы хотите вождем?» — спросили их. Они ответили — Троцкого. Ответ этот привел в бешенство Зиновьева. Как, его, председателя Коминтерна, немецкие коммунисты не захотели взять вождем?

Конфликт в Политбюро стал улаживать Сталин. Он выступил в роли миротворца, успокаивал, уговаривал. Нет, говорил он, мы не дадим ни Троцкому, ни Зиновьеву, оба слишком важны, слишком нужны здесь, дома.

В Германию решили послать Пятакова, который считался правым, и Радека, который считался левым. Это была обычная большевистская практика — составлять делегации так, чтобы в них входили политические или личные противники. Кроме того, в Германию поехали все руководители ВЧК, знавшие немецкий язык: Уншлихт, Трилиссер и т. д.

В дни подготовки революции в Германии на заседание Президиума Коминтерна впервые явился Сталин, причем сопровождал его Дзержинский. Это — начало деятельности Сталина в международном революционном движении. Он не скрывал своего презрения к Коминтерну, считал его работников наемниками, называл Коминтерн «эта лавочка». Сталин не был одинок в своем отношении к Коминтерну и его деятелям. Прошло больше полувека, но я помню русское слово, которое употреблял один из руководителей «Рабочей оппозиции» А. Медведев, говоря о коминтерновцах «челядь», — ибо они всегда поддерживали «генеральную линию» против фракционеров. Нельзя сказать, что отношение это было неверным: Исполком Коминтерна доверял руководству ВКП(б) и всегда голосовал за решения, принятые Политбюро.

### *— Что вы знали о Сталине в 1923 году, что вы о нем думали?*

Ничего о нем не думал. Как-то на конференцию ВКП(б) приехал из Франции мой близкий друг Амеде Дюнуа. В зале заседаний он стал меня спрашивать: «Кто такой Сталин? Говорят, что это важная личность?» Оглядевшись, я нашел среди делегатов ВКП Сталина и показал его: «— Вон тот, с усами...»

Сталин начал привлекать внимание. Я знал русские дела лучше других, ибо немного знал уже русский, были у меня друзья, знавшие французский, — Шляпников, Коллонтай, Сафаров. В Сталине я видел секретаря ЦК. А роль секретаря, даже генерального, я понимал как роль человека, от-

дающего распоряжения машинисткам, следящего за тем, чтобы гасили свет в помещениях.

*— Что же случилось, каким образом произошло неудержимое восхождение Иосифа Сталина?*

До Сталина секретарями ЦК были русские интеллигенты — Крестинский, Преображенский, Серебряков (хотя он был из рабочих). Они не переставали дискутировать, болтали, не отвечали на письма, не следили за выполнением решений. Сталин, возглавив секретариат, навел в нем порядок. Но, самое главное, Сталин понял роль и значение Учраспреда, который стал потом называться Орграспредом. Он понял, что от этого отдела ЦК зависела участь коммуниста, останется ли он на работе в Москве или его отправят в Астрахань, а то и в Туруханск. Когда приходилось голосовать за «платформы», то голосовали не за «перманентную революцию» или «социализм в одной стране», а за квартиру и должность в Москве либо Ленинграде. Помню анекдот, который тогда любили рассказывать. Отвечая на анкету, коммунист в графе «иждивенцы» пишет: жена, трое детей, теща, 300 тысяч английских горняков.

Противники Сталина считали важной идеологию, идеологические аргументы. Троцкий приводит в своих мемуарах запись из дневника своей жены Натальи Седовой: «Лев Давыдович вернулся с заседания Политбюро в поту». А чего он вспотел? Цитировал Маркса?

Сталин вел свою игру — старался быть хорошим секретарем ЦК, подерживал тех, кто поддерживал его. Троцкий не скрывал своего презрения ко всем. Сталин понял, что, кроме кучки идеалистов, существует большинство, которое думает прежде всего о том, чтобы хорошо жить.

*— Когда, по-вашему, Сталин понял, что может стать Хозяином партии и страны?*

Когда победил Троцкого. После этого все стало возможным.

*— Последний вопрос, который я хотел бы вам задать, — это вопрос о Ленине, о доле его ответственности в достижении Сталиным высшей власти, следует ли считать Сталина «незаконным» или «законным» сыном Ленина?*

Прежде всего я хочу начать с того, что в Москву я приехал в эпоху, когда все менялось. Менялись вещи и люди. Когда я приехал, нэп был в полном разгаре. Открылось много магазинов. Как по волшебству, из разных щелей появились товары. Сухаревка кишела людьми и была полна продуктов. Появились частные издательства. Я встречался с анархистами, которых никто не трогал. Было объявлено о ликвидации ЧК (мы, французы, не могли предвидеть, что ГПУ не будет лучше). Ленин заявил: всерьез и надолго...

Ленин изменился, и были все основания надеяться, что это не конец изменений, что он учтет опыт минувших лет. Разве не говорил он: «Факты — упрямая вещь». Он менял свои взгляды и раньше. В апреле 17-го года он, как Плеханов и Мартов, думал, что русская революция будет буржуазно-демократической... Только в сентябре, убедившись в бессилии Временного правительства и нетерпении народа, недовольного войной, Ленин изменил взгляды. Фактически он принял точку зрения Троцкого о перманентной революции. Об этом писал Иоффе в своем предсмертном письме.

Ленин снова изменился после Кронштадта. И в конце своей жизни он задавал себе вопрос о дальнейших изменениях. Последние его статьи выдают растерянность. Мой друг д-р Гольденберг, который вместе с Семашко посетил Ленина в Горках, рассказывал, вернувшись в Москву: «Ильич видит все очень ясно, он знает, что ничего не действует, но он не знает, что делать».

Изменился и Троцкий. Вместо того, чтобы, как он это делал до 1917 года, пользоваться своим интеллектом, он старался адаптировать псевдо-марксизм Ленина, марксизм примитивный, анемичный, скелетоподобный, стерилизующий живую мысль. Он понял, что революция сделана партией, что режим держится только на партии, что партия — дело рук Ленина. В связи с этим при всех обстоятельствах он ищет «классовое» объяснение. Это его и погубит. К тому же, его деятельность на посту наркомвоенмора, его военные успехи отравили его отношения с людьми: он был убежден, что все трудности, всякое сопротивление можно разрешить одним словом: расстрелять! Его доктринерство превратилось в догматизм и помешало ему понять, что произошло после смерти Ленина. Он считал, что все объясняется влиянием кулаков, потом бюрократии, когда в действительности Сталин собрал настоящую банду, лишённую каких бы то ни было принципов и решившую ценой любых человеческих жертв сохранить власть. Со всеми ее привилегиями и преимуществами. Троцкий этого не понимал, что равнялось самоубийству.

Менялся и Сталин по мере того, как расширялся объем его функций, а одновременно росла власть. Ленин ценил умение Сталина навести порядок в секретариате. Но прежде всего Ленин и Троцкий, теоретики террористической диктатуры, охотно отдавали Сталину, представившему Политбюро в коллегии ВЧК, роль исполнителя кровавых дел, зная, что у него рука не дрогнет. Равнодушный к теории, хватавшийся терминологии ровно настолько, чтобы знать язык, на котором говорили в Политбюро и ЦК, вооруженный всей мощью партийного, то есть государственного аппарата, включавшего Оргбюро, Учраспред, Рабкрин, ГПУ, имевший возможность как угодно интерпретировать «марксизм-ленинизм», превращенный в официальную и догматическую религию, Сталин постепенно достиг высот, на которых от «успехов» началось у него головокружение, превратившееся в конце в паранойю.

Необходимо, следовательно, имея в виду заслуживающие внимания факты, всегда учитывать, когда они произошли. Не забывая о том, что Ста-

лин с детства нес в себе зачатки вульгарности, злобы, жестокости, пышно распустившиеся на службе безграничного честолюбия после получения незаслуженного наследства дела Ленина. Его превосходство над соперниками заключалось в способности не считаться со словами и умении спекулировать на человеческих слабостях, не отступая ни перед какими средствами. Таким образом он осуществил свое восхождение и упрочил свою тиранию в кругу всемогущей олигархии, созданной Лениным.

Троцкий подозревал, что Сталин ускорил конец Ленина, дав ему яд. Возможно, что это подозрение обосновано. В этом случае, однако, Сталин лишь выполнил волю Ленина. Я могу засвидетельствовать нижеследующий факт. В 1923 году, накануне предпоследнего кризиса болезни Ленина, я встретил Бухарина, пришедшего на заседание Исполкома Коминтерна. Он только что вернулся из Горок. Естественно, я спросил его, как себя чувствует Ленин. Бухарин не мог удержаться от слез. «Ильич, — сказал он, — просит, чтобы его убили. Он не перестает повторять: — Убейте меня, убейте меня». Смущаясь и выискивая слова, которые были бы мне (с моим книжным знанием русского) понятны, но не были бы излишне грубы, он дал мне понять, что Ленин ходит под себя. Поэтому-то он умолял: «Убейте меня». Бухарин, необычайно взволнованный, объяснял мне: «Ему стыдно... Ему стыдно». Я думаю, следовательно, опираясь на серьезный источник, что если Сталин прикончил Ленина, то сделал это по настоятельной просьбе своего учителя.

Бесспорно, Троцкий делит с Лениным ответственность за избрание Сталина на должность генерального секретаря, которая дала ему всемогущество.

Бесспорно и то, что без Ленина не было бы Сталина. Я не согласен, однако, с теми, кто ставит между ними знак равенства, кто называет Ленина вторым Сталиным. Разница между ними состоит в том, что Ленин был утопистом, готовым на самые ужасные вещи для осуществления своей идеи. Сталин был циником, который верил только в Сталина, который был готов на все и делал все — только для себя, для сохранения и увеличения своей власти, для удовлетворения своего чудовищного честолюбия.

*Интервью взял Михаил Геллер*

*1980, № 22*

## ИНТЕРВЬЮ С НАДЕЖДОЙ ЯКОВЛЕВНОЙ МАНДЕЛЬШТАМ

### От интервьюера

[...] Уже в 1972 году Надежда Яковлевна настаивала, что единственная надежда на будущее России — Церковь. Сохранила ли она эту надежду до самой смерти? Есть основания думать, что нет. Об этом можно судить по интервью, которое я записала на магнитофон в конце 1977 года. По моим сведениям, это единственное ее интервью, записанное на ленту. Я дала ей обещание не публиковать его при ее жизни.

Интервью должно было последовательно описывать ее жизнь с детства и до наших дней, и я тщательно подготовила все вопросы. Увы, интервью осталось незавершенным. Когда я вернулась в Москву в октябре 1977 года, Надежда Яковлевна была в таком физическом состоянии, что, когда она открыла мне дверь, я ее не узнала. Действительно, мое первое впечатление было, что я со своим замыслом уже опоздала. Все-таки, несмотря на страх и физическую слабость, она согласилась дать интервью. Ее голос зачастую сходил на нет, она задыхалась, делала долгие паузы. От некоторых вопросов, которые я хотела задать, пришлось отказаться, так как я боялась, что для нее все это слишком утомительно. Я была уверена, что ей осталось жить совсем немного. Я ошиблась — она прожила еще три года.

Ей хотелось смерти, но она не могла умереть. Ее манера мыслить была по-прежнему живой и острой, но представление о текущих событиях было затуманено. Ее непреклонная вера в загробную жизнь оставалась ее единственной нравственной опорой. [...]

Надежда Мандельштам была женщиной сильной и выносливой, очень веселой, большого ума, остроумия и неожиданной нежности.

Я вспоминаю ее с непреходящей любовью.

*Элизабет Де Мони*

— *Надежда Яковлевна, скажите, пожалуйста, где вы родились?*

В Саратове, это город на Волге. [...]

— *Мало кто знает, что вы провели часть своего детства на Западе. Оказало ли время, проведенное там, большое влияние на вас?*

Я не знаю, но я рада, что была, потому что у меня нет такого чувства отчуждения.

— *Вы верующая?*

Да. Хожу в церковь.

— *И вы всю жизнь ходили в церковь?*

Няня возила меня в церковь, русская няня.

— *Ваша мать была еврейкой, но ваш отец был, кажется, баптист? Это верно?*

Он был крещен. Потому что его отец, мой дед, был кантонист. Это были дети, которых забирали и, когда был период обрусения при Николае Первом, их крестили почти насильно.

— *А мать?*

Мама осталась еврейкой. Они женились где-то во Франции.

— *Не скажете ли вы, как вы встретились с Мандельштамом?*

Был такой клуб в Киеве, в 19-м году. Мне было как раз 19 лет. Это был клуб, который назывался «Хлам»: Художники, Литераторы, Артисты и Музыканты. Мы там собирались каждый вечер, и он пришел. И меня познакомил с ним одна... Все условились не знакомить меня, а какая-то проститутка познакомила.

— *Когда вы с ним познакомились, он был уже известным поэтом?*

Он был известен. И я знала, что он поэт.

— *И вы уже думали тогда, что он гений?*

Был ли он гением, я не знаю. Он был дурак.



— *Он был... очень глупый молодой человек?*

Вы облагораживаете. Он был — я резче говорю.

— *Был ли он также веселым молодым человеком?*

Очень веселый, всю жизнь веселый, даже в несчастьях.

— *Сохранил ли он эту веселость и в тяжелые, трудные годы?*

В тяжелые годы? В лагере — нет. В лагере он просто сошел с ума. Он боялся есть, думал, что его отравят.

— *Был ли ваш муж добрым человеком?*

Со мной — нет, а с людьми — да, особенно с детьми. Ну, он меня никуда не пускал.

— *Некоторые мне говорили, что он был очень трудным человеком.*

Он был трудным человеком для меня. И для сволочи. Кругом были сволочи одни.

— *Но вы посвятили ему всю свою жизнь...*

К сожалению.

— *Можете ли вы сравнить его с каким-нибудь другим поэтом его поколения?*

Конечно, Пастернак, а больше никого.

— *И больше ни с кем?*

Ну, женщины: Ахматова, Цветаева, но я думаю, что это дешевка по сравнению с Пастернаком и Мандельштамом.

— *Но Ахматова была, пожалуй, его самым близким другом?*

Была. Но по отношению ко мне она была не очень хороша. Она мне сказала через сорок лет, тридцать пять лет после смерти Оси: «Вот теперь видно, что вы были подходящей женой».

— *Оказала ли она на него большое влияние?*

Нет, никакого.

— *Ваш муж был человеком абсолютно неподкупным, человеком абсолютной порядочности...*

Нет.

— *Я хочу спросить — что именно принес он людям: свою поэзию или свою абсолютную честность?*

Не знаю. У меня нет никаких сведений о том, что он известен на Западе. В России — да. В России во всех домах интеллигентных есть списки его стихов. Он до сих пор список, а не человек. И потом эти анекдотические рассказы о нем, что он «раздражался». Он просто отбрывал.

— *В вашей книге, в первом томе, вы пишете, что, когда Манделштам умер, вам очень помогли его слова: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?»*

Он мне всегда так говорил: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?» Это его христианство.

— *Его христианство?*

Он был христианин. Он верил в Христа.

— *Когда он крестился: в детстве или уже взрослым?*

Взрослым. Ему было около двадцати двух лет. Всегда пишут: «для того, чтобы поступить в университет», но это чепуха, блата хватило бы. Он просто верил, и это, конечно, на меня тоже оказало влияние.

— *Вы говорите, что ваш муж крестился, когда ему было двадцать два года. Он умер почти сорок лет назад. Вы по-прежнему чувствуете свою близость с ним?*

Очень долгое время я чувствовала, а потом перестала, сейчас перестала. Он подслушал, как я на исповеди сказала, что я ему изменяла.

— *На то, чтобы спасти произведения вашего мужа, ушло почти сорок лет вашей жизни. Ощущаете ли вы удовлетворение от того, что труд вашей жизни завершен?*

И да, и нет. Я отдала жизнь на это. Это было очень трудно. И теперь я чувствую себя совершенно опустошенной.

— *Что бы вы хотели еще сделать?*

Я хотела бы написать о своем отце, у меня был чудный отец, но у меня уже нет сил. Может, я попробую. Не от того нет сил, что мы сейчас разговариваем, — от жизни. Я бы очень хотела смерти. Еще хотела бы умереть здесь, а не в лагере. Такая возможность тоже есть: если уйдет Брежнев.

— *Когда еще был жив Мандельштам, в 20-е и в начале 30-х годов, у вас был один покровитель — Бухарин. В вашей книге вы пишете, что всеми благами, которые были у него в жизни, Мандельштам был обязан Бухарину.*

Он спасал нас просто, очень активно.

— *Надеетесь ли вы, что Бухарина когда-нибудь реабилитируют ?*

Для этого должно все перемениться. Не знаю, возможно ли это в мертвой стране.

— *Есть в вашей книге очень важная строчка. Вы пишете, что смерть художника всегда бывает не случайностью, а последним творческим актом.*

Это не мои слова, это слова Мандельштама. Это в статье о Скрябине он говорит.

— *Ваш муж написал свое стихотворение о Сталине после того, как увидел последствия коллективизации на Украине и почувствовал, что не может больше молчать?*

Это первое стихотворение? Да.

— *Говорил ли он с вами, пока писал его, или сразу написал?*

Конечно, говорил. Он мне каждую строку показывал. У меня, наверное, хороший слух на стихи.

— *Когда он писал его, думаете ли вы, что он понимал, что оно приведет к его смерти?*

Конечно! Он думал только, что его сразу расстреляют.

— *Думаете ли вы, что он был прав?*

Я думаю, да. Но это относится не только к Сталину, это относится ко всем. Брежнев — первый не кровопийца, не кровожадный. Солженицына,

например, за границу выслал. Хрущев еще упражнялся. Он здесь расстрелял людей за то, что они продавали губную помаду самодельную, — я знаю это от Эренбурга. Он на Украине провел сталинскую политику — там кровь лилась страшная.

*— Путешествия на Запад оказали на Мандельштама огромное влияние, и вы писали, что Средиземноморье было для него чем-то вроде Святой Земли. Думаете ли вы, что классическая культура Древнего мира — Греции и Рима — оказала наибольшее влияние на него как на поэта?*

Греция — да, но он никогда не был в Греции. В Риме он был, но про Рим он говорил, что это камни, а Грецию он очень живо чувствовал. Потом, Грецию можно чувствовать и по стихам, и по литературе. Я тоже не была в Греции.

*— Но, как вы уже говорили, он был до глубины души христианином. Среди всех страданий сталинских времен, его и ваших страданий, не терял ли он когда-нибудь надежду?*

Нет, надежда всегда была. Меня зовут Надеждой. Но ясно было, что после смерти Сталина будут облегчения. Такого другого животного нельзя было найти. Ассириец. Я говорю, что он гений, потому что в сельскохозяйственной стране он уничтожил все крестьянство за два года.

*— Вы говорите, что Мандельштам никогда не говорил о своем «творчестве». Он всегда говорил, что «строит» вещи. Полагаете ли вы, что свою поэзию он рассматривал как некий проводник Божьей благодати?*

Я думаю, что да, но я никогда не спрашивала.

*— В те годы, что вы жили с ним, посвящая ему всю свою жизнь, вы, наверное, много раз спасали его от отчаяния и, возможно, от смерти?*

Я много думала о самоубийстве, потому что жить было совсем невозможно. Был голод, была бездомность, был ужас, которого нельзя себе представить, была страшная грязь. Абсолютная нищета.

*— Была ли его дружба с Ахматовой источником силы для него?*

Скорее для нее.

*— Какая была она?*

Ахматова? Красивая женщина, высокая. На старости она распахивалась. У нее не было нормальной старости.

— *Вы пишете, что Мандельштам подвергся одному очень сильному влиянию...*

Иннокентий Анненский. Это был любимый поэт, единственный из символистов. Он повлиял на всех: на Пастернака, на Ахматову, на Мандельштама, на Гумилева. Это дивный поэт, его мало знают за границей, его не переводят. Это чудный поэт. Это религиозный философ, сейчас это окончательно выяснилось, потому что нашли новые письма — два, и там это совершенно ясно уже.

— *Вы говорите, что сильное влияние на Мандельштама оказал Чаадаев. И что из-за этого влияния он не воспользовался в 1920 году возможностью уехать за границу.*

Да, потому что Чаадаев... он хвалит Чаадаева за то, что он вернулся в небытие из страны, где была жизнь.

— *Думаете ли вы, что Мандельштам таким образом намеренно отказался от Европы? Что он как бы повернулся спиной к Европе?*

Он боялся, что заговорит за границей во весь голос и потом не сможет вернуться.

— *Но он уже понял к тому времени, что оставаться в России опасно?*

Он понимал, конечно. Что было делать? Мой отец сказал: «Я столько лет пользовался правами и законами этой страны, что я не могу покидать ее в несчастье». Приблизительно такое отношение было и у Оси.

— *Как вы полагаете, он принял это решение как поэт или как человек?*

Я думаю, что как поэт, потому что вне русского языка было бы...

— *В вашей первой книге есть глава, которая называется «Возрождение», где вы говорите о возрождении духовных ценностей, утерянных в 20-30-е годы. Продолжаете ли вы верить в это возрождение?*

В то, что они воскресли? Нет. Здесь ничего воскреснуть не может. Здесь просто все мертво. Здесь только очереди. «Дают продукты». Очень легко управлять голодной страной, а она голодная. Брежнев и не виноват в том, что она голодная, — шестьдесят лет разорили хозяйство. Россия кормила всю Европу хлебом, а теперь покупает в Канаде. При крепостном праве крестьянам легче жилось, чем сейчас. Сейчас деревни стоят пустые. Старухи и пьяные старики. Только женщины, замуж не за кого выйти. Муж-

чины после армии женятся на любых городских, лишь бы не вернуться в деревню. Опустошенная страна. Работают студенты. Во сколько это обходится фунт хлеба, я не представляю себе! Профессура, хорошо оплачиваемая, сидит дома, а студенты работают. И они не умеют работать. Лет пятнадцать тому назад мне говорили женщины, что в деревнях уже никто не умеет сделать грядки.

*— Вы много говорите в своей книге об утерянных духовных ценностях деревни. Надеетесь ли вы, что эти ценности возродятся?*

Не знаю. Сейчас надежда уже теряется. Пока я ездила на метро, я только удивлялась, какие мертвые лица. Интеллигенции нет. Крестьянства нет. Все пьют. Единственное утешение — это водка.

*— Но среди молодежи сегодня, возможно, больше интереса, чем раньше, к христианству и к Церкви?*

Очень многие крестятся. Крестятся и пожилые люди. Но большей частью интеллигентные.

*— Вы говорите, что Мандельштам повторял вам, что история — это опытное поле для борьбы добра и зла.*

История? Да. Вот видно — на нашем примере.

*— Но как христианка вы должны верить, что, в конце концов, добро вырастет даже из ужасных страданий вашей страны в этом веке.*

В этом столетии — не знаю, но, может быть, когда-нибудь. Во всяком случае, как Чаадаев говорил, «свет с Востока» — не придет. Чаадаев надеялся, что свет придет с Востока, но я не вижу этого. Сейчас никаких признаков нет.

*— Вы никогда не думали о переходе в католичество?*

Я — нет! Ося хотел стать католиком. А я привыкла в Софию ходить. После заграницы, после двух лет в Швейцарии, я жила в Киеве. Мне девять лет было. И нянька меня водила в Софийский собор. Я до сих пор не могу забыть его — и ездила с ним прощаться. Дивный собор! Ведь была когда-то Россия великой страной...

*— Но положение в вашей стране стало немного лучше. Не думаете ли вы, что, если бы у молодежи было больше мужества, положение улучшилось бы?*

Я думаю, что, если молодежь придет, она будет сталинистами, потому что она по-прежнему поверит в террор и в Ленина. Она не знает, что это первыми на них отразится.

— *После всего, что вы пережили, с вашим опытом, что бы вы сказали молодежи России?*

Бесполезно им говорить, они над старухой посмеются. Их вполне водка устраивает. Думаю, что сейчас уж ничего не спасет. Слишком долго это держится — шестьдесят лет... [...]

### Послесловие редакции — 1982

Самое сильное впечатление от этого интервью — то, что к Надежде Яковлевне Мандельштам, быть может, еще больше подходят слова, отнесенные ею к Ахматовой: «У нее не было нормальной старости»...

Окружающие могли ждать для нее еще многих несчастий — и дождалась: опечатанной квартиры, полуукраденных похорон. Но все-таки всем было ясно, что на восьмом десятке ее, вдову Мандельштама, знаменитую на весь мир своими книгами, не посадят. Ее постоянное возвращение к теме возможного ареста иногда воспринималось почти как игра, — а было оно реальностью, страшным страхом перед смертью в лагере, быть может, сумасшедшей, невменяемой смертью, подобной смерти Мандельштама.

На фоне этого смешно спорить с голосом из-за гроба, даже когда этот голос несправедливо зол или несправедливо наивен. Кто способен ощутить эту внутреннюю «опустошенность» женщины, полжизни отдавшей на то, чтобы воскресить Мандельштама — «не человека, а список»?

Будь она жива, можно было бы с ней поспорить. Она сама была спорщицей, но любила спорщиков, любила противоречить и любила, чтобы ей противоречили. Ее высказывания — зачастую провокация. Но ответить на эту провокацию мы уже не можем.

1982, № 31

# СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



**ВЛАДИМИР МАКСИМОВ**

## **Размышления о гармонической демократии**

### **1**

Думаю, что для многих моих соотечественников «Письмо вождям» Александра Солженицына послужило толчком к размышлениям о будущем нашей страны, о ее общественном и политическом устройстве, о ее роли и судьбе среди других народов. Не будучи ни философом, ни политологом, я, тем не менее, не избежал общей тенденции сделать собственные выводы из проблемы, поставленной перед нами большим русским прозаиком и мыслителем.

В самом деле, занятые борьбой за Права Человека, критикой коммунистической системы как таковой, распространением идей и информации, многие из нас не отдают себе отчета (или откладывают это на неясное «потом») в том, какой же видится нам предстоящая Россия во всех конкретных областях своей жизни: в государственной, экономической и духовной? Чаще всего в ответ на этот вопрос мы отделяемся весьма расплывчатыми декларациями в духе западной демократии.

Но большинство из нас (я имею в виду прежде всего эмиграцию) сумели убедиться, что демократия в ее традиционном понимании начинает медленно, но верно изживать самое себя. Лучший пример тому — итальянская ситуация, когда в результате крайней поляризации сил ни одна партия не в состоянии создать сколько-нибудь устойчивое правительство. В итоге в стране царит атмосфера холодной (иногда переходящей в горячую) гражданской войны, а экономика держится на иностранных займах.

В других странах Запада дело обстоит немногим лучше. Взять хотя бы, к примеру, США, где даже для кампании за выдвижение какой-нибудь кандидатуры в конгресс или сенат требуются весьма и весьма солидные средства, а на кампании президентские тратятся суммы буквально астрономические.

При таких условиях трудно ожидать, чтобы в руководство страной попадали если и не лучшие из лучших, то хотя бы достойные из достойных. В результате, у кормила правления западным миром (за редчайшими исключениями) оказались сегодня в лучшем случае партийные посредствен-



ности, а в худшем — политические оппортунисты или беспринципные торгаши, не только охотно идущие на сговор с тоталитарным молохом, но и зачастую готовые в любую минуту присоединить свои страны к «великому восточному соседу» в качестве какой-нибудь «надцатой» республики.

Возьмем ли мы на себя ответственность (даже мысленно!) обречь будущую Россию на ту же судьбу и, после стольких лет безвинной крови, беспримерных страданий, удушающей лжи вновь оказаться в атмосфере духовного распада, у порога пустующих храмов, перед новым и уже необратимым вырождением?

Но есть ли выход из тупиковой дилеммы: западная демократия или восточный тоталитаризм?

Я попробую пойти наощупь, почти вслепую...

## 2

Со времен отмены крепостного права крестьянская община становится фундаментальной единицей нашего бытия. На ней — этой общине, — словно опрокинутая острием вниз пирамида, держалась послереформенная Россия вместе с ее институтами, экономикой, традициями и верованиями. Именно в ней — в этой общине — исподволь, из года в год, и вырабатывался прообраз подлинной русской демократии. Но, к сожалению, государственная структура, законодательным порядком изменив положение народа, сама по себе оказалась не в состоянии соответствовать этим изменениям и вошла в вопиющее противоречие с собственной быстротекущей действительностью, чему в немалой степени способствовала разрушительная деятельность так называемой прогрессивно мыслящей части российского общества, вызвавшая естественную реакцию самозащиты со стороны правительственного аппарата.

В последовавшем затем бессмысленном и почти непрерывном противоборстве этих двух сил, словно на поле битвы, и была растоптана почва, на которой зарождались тогда первые побег будущей демократической России. Чем это кончилось, общеизвестно.

Но что, если, расчистив от ядовитых зарослей идеологии эту почвенную основу, вновь вернуться — на современном, разумеется, уровне — к тем исконно демократическим устоям нашей жизни, какие, не успев окрепнуть, были задавлены кровавыми глыбами последующих лихолетий?

Попробуем пофантазировать.

## 3

### ОБЩЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

1. Взяв за основу уже существовавшее административно-территориальное деление страны, повсеместно образовать городские и сельские общины.

2. Каждая такая община является самоуправляемой и пользуется максимально возможной автономией в решении своих внутренних проблем.

3. Каждая такая община на основе всеобщего, тайного и ничем не ограниченного избирательного права выдвигает своего кандидата в коллегию выборщиков района, в состав которого она — эта община — входит.

4. Районный совет выборщиков, также путем тайного голосования, отбирает кандидатов в коллегию областных представителей, а те, в свою очередь, определяют членов Нижней палаты Учредительного собрания, являющегося высшим органом власти страны, выделяющим из своего состава Президента, Правительство и Верховный суд Российской Федеративной Земли.

Первое заседание Учредительного собрания ответственно решает, какую форму правления оно считает наилучшей в сложившейся ситуации (республика, авторитарная федерация или конституционная монархия).

(Подобная система позволяет, на мой взгляд, довести нарушения избирательного права до минимума и в то же время максимально приближает голосующего к своему избраннику, сокращая ставший уже традиционным в западной демократии разрыв между народом и властью.)

#### ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА

1. Верхнюю палату Учредительного собрания составляют представители национальностей, входящих или изъявивших добровольное желание войти в состав нового государства с равным количеством депутатов от каждого народа вне зависимости от его численности.

2. Верхняя палата принимает участие в голосовании по основополагающим государственным актам в составе Учредительного собрания в целом и обладает правом «вето» на любой законопроект по национальным вопросам.

3. Выборы в Верхнюю палату — исключительная привилегия каждого входящего в состав Р.Ф.З. народа или национальности в отдельности.

4. Президент, Правительство и Верховный суд подотчетны только Учредительному собранию как суверенному представителю всего народа.

5. Вопросы, от которых зависит судьба государственной системы или общественного устройства, а также проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности общества и не терпящие отлагательства, решаются в ходе всенародных референдумов, на основе всеобщего, тайного и ничем не ограниченного голосования.

#### НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

1. Россия — страна, в строительстве и становлении которой приняли самое активное участие многие народы и народности. Исходя из этого, будущее русское государство наделяет каждого своего гражданина, вне зависимости от политической, национальной или религиозной принадлежности, равными правами и обязанностями.

2. Всякий народ, входящий или пожелавший войти в состав Российской Федеративной Земли, имеет неотъемлемое право на свое самобытное национальное, культурное и религиозное развитие и сам определяет, какой язык является для него главенствующим,

3. Всякая дискриминация гражданина Р.Ф.З. по национальному, политическому или религиозному признаку является тягчайшим преступлением перед обществом.

## П Р А В О

1. Будущая конституция Российской Федеративной Земли в своих принципиальных положениях должна исходить из Декларации Прав Человека, принятой Организацией Объединенных Наций.

2. Взяв за основу уже имеющееся законодательство и очистив его от внеюридических толкований и идеологических оговорок, вернуть ему — этому законодательству — подлинное правовое содержание.

3. Из существующего законодательства необходимо исключить лишь понятие «политическое преступление», ибо на территории Российской Федеративной Земли каждый гражданин имеет неотъемлемое право на любые взгляды, верования и доктрины, кроме тех, что исповедуют насилие или террор во всех их формах, а также расовое, классовое или религиозное превосходство, каковые должны подлежать уголовному преследованию.

4. Учитывая огромные разрушительные возможности средств массовой информации, должны быть также, по всей видимости, разработаны суровые меры против диффамации, дабы оградить общество от целенаправленного «промывания мозгов», ибо полная свобода печати подразумевает также и полную ответственность перед обществом и каждой личностью в отдельности.

## Э ко н о м и к а

1. Экономическая система будущей федерации также, на мой взгляд, может отталкиваться от интересов и потребностей общины, группы общин, объединения общин и так, по восходящей, определить экономическую структуру государства в целом.

2. В стране была бы желательна свободная рыночная система, при строжайшем запрете крупных картелей, трестов и монополий и всеобъемлющем контроле со стороны общества.

3. Не менее желательным было бы максимальное ограничение иностранных инвестиций и участия иностранных подданных в экономике страны, чтобы оградить ее от поглощения международными капиталовложениями.

(Участие иностранных финансов в отечественной экономике ни в коем случае не может решаться исполнительными органами без санкции законодательной власти в каждом отдельном случае.)

## ЦЕРКОВЬ

1. Россия — страна традиционно православная. Роль Церкви у нас во все времена далеко выходила за пределы церковной ограды, куда ее загнала безбожная коммунистическая власть. В последние годы Церковь вновь медленно, но уверенно берет на себя пастырские обязанности по руководству и расширению возникающего сегодня в стране религиозного Возрождения, поэтому и значение ее для будущего России трудно переоценить.

2. Отделенная от Государства, Православная церковь, тем не менее, должна принять самое активное участие не только в просвещении и воспитании общества, но и в его политической жизни наравне со всеми другими институтами Государства.

3. Богословие становится, хотя и факультативным, но равным с другими предметом в школьных и университетских программах.

4. То же самое относится и ко всем другим религиям, исповедуемым на территории Российской Федеративной Земли.

## ПРАВА ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ

1. Такие меньшинства образуются в каждом обществе, каким бы совершенным оно ни было. Это обусловлено целым рядом социальных, духовных и психобиологических причин, заложенных в глубинах самой человеческой природы.

2. Общество, хочет оно того или не хочет, должно считаться с наличием подобного рода групп и отдельных личностей и, по мере возможности, обеспечить этим группам и лицам легальные возможности для гражданского и человеческого самоутверждения.

Прежде всего каждой такой группе и личности необходимо обеспечить максимальную гласность через обязательное создание специальных программ и отделов в средствах массовой информации и наделения этих групп правом внепарламентского представительства в Учредительном собрании, с привилегией совещательного голоса при обсуждении любых законодательных актов.

Все эти меры, на мой взгляд, если и не снимут проблемы в целом, то, во всяком случае, уменьшат опасность возникновения в обществе экстремистских тенденций.

## СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Социальную заботу о каждой отдельной личности обязана взять на себя община, к которой она — эта личность — приписана в период старости, безработицы или болезни. Размер такого обеспечения целиком зависит не только от вклада личности в общественные фонды и ее действительных потребностей, но и от реальных возможностей данной общины.

2. Бюджет больничных и пенсионных фондов складывается из поступлений от местных налогов (прямых и косвенных), благотворительных по-

жертвований и добровольных самообложений и контролируется самоуправлением общины, без всякого вмешательства со стороны Государства.

(Эта система, на мой взгляд, почти полностью исключает злоупотребления и обезличку, свойственную централизованному страхованию, и предупреждает зарождение новой социальной прослойки — паразитов, живущих за общественный счет.)

3. В централизованном порядке финансируется лишь сеть воспитательных и просветительных учреждений, что не исключает активного существования частных учреждений того же профиля на средства местных самоуправлений и отдельных лиц.

#### КУЛЬТУРА

1. В этой области была бы желательна максимальная децентрализация, с тем чтобы исключить возможность контроля, цензуры и любого другого вида вмешательства со стороны Государства.

2. Печать, искусство и литература функционируют в обществе на основе полной индивидуальной свободы или творческих групп, беспрепятственно объединенных по политическому, эстетическому или национальному признаку.

3. Безусловному запрету подлежит лишь пропаганда (в любой форме) расовой, классовой, религиозной и национальной розни, а также порнографии. Контроль за выполнением этого условия является исключительной прерогативой местных общин и самоуправлений. Государство может играть здесь только арбитражную роль.

#### ПАРТИИ И ПРОФСОЮЗЫ

1. Последние функционируют только в пределах общины, ни в коем случае не образуя централизованной структуры, дабы избежать их превращения в государство в государстве, способное парализовать жизнедеятельность общества в целом.

2. Высшей инстанцией в разрешении политических и трудовых конфликтов являются местные арбитражные суды, решение которых является окончательным и обжалованию не подлежит.

#### ГОСУДАРСТВО

1. Государство, контролируемое Учредительным собранием, сохраняет за собой монополию в области обороны, иностранных дел, общего бюджета и природных ресурсов.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разумеется, мои, сугубо личные и, если так можно выразиться, любительские предложения ни в коей мере не претендуют на универсальность,

но, может быть, и они смогут когда-нибудь сослужить свою скромную службу грядущим нашим законодателям в качестве одного из множества подсобных документов или зачастую весьма, с научной точки зрения, наивных свидетельств переживаемого нами смутного времени.

Но, сознавая это, я все же беру на себя смелость с уверенностью повторить в заключение, что демократия западного типа, при всех ее несомненных достоинствах, дотягивает свой век, и, во всяком случае, едва ли приемлема для обществ, переживающих сейчас соблазн и тернии коммунистического тоталитаризма.

**От редакции-1979.** Статья является проектом программного документа нашего журнала и публикуется в порядке дискуссии.

*1979, № 21*

**Открытое письмо**  
**Президиуму Верховного Совета СССР**  
**Председателю Президиума Верховного Совета СССР**  
**Леониду Ильичу Брежневу**

*Копии этого письма я адресую Генеральному Секретарю ООН  
и главам государств — постоянных членов Совета Безопасности*

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности — об Афганистане. Как гражданин СССР и в силу своего положения в мире, я чувствую ответственность за происходящие трагические события. Я отдаю себе отчет в том, что Ваша точка зрения сложилась на основании имеющейся у Вас информации (которая должна быть несравненно более широкой, чем у меня) и в соответствии с Вашим положением. И тем не менее вопрос настолько серьезен, что я прошу Вас внимательно отнестись к этому письму и выраженному в нем мнению.

Военные действия в Афганистане продолжают уже семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев — не только партизан, но главным образом мирных жителей — стариков, женщин, детей — крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают (непроверенные) сообщения о случаях применения нервнопаралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жестокости с обеих сторон возрастают, и конца этой эскалации не видно.

Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а может, сделали вообще невозможной) ратификацию договора ОСВ-2, жизненно-важного для всего мира, в особенности как предпосылки дальнейших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах,

что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР.

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля.

Я не буду в этом письме анализировать причины ввода советских войск в Афганистан — вызван ли он законными оборонительными интересами, или это часть каких-то других планов; было ли это проявление бескорыстной помощи земельной реформе и другим социальным преобразованиям, или это вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля истины есть в каждом из этих предположений. Я лично считаю советские действия несомненной экспансией и нарушением суверенитета Афганистана. Но и стоящие на другой позиции, как мне кажется, должны согласиться, что эти действия — ужасная ошибка, которую необходимо исправить как можно быстрее, тем более, что сделать это с каждым днем все трудней. По моему убеждению, необходимо политическое урегулирование. [...]

Продолжение, и тем более, дальнейшее усиление военных действий приведут, по моему убеждению, к катастрофическим последствиям. Быть может, мир именно сейчас находится на перепутье, и от того, как будет разрешен афганский кризис, зависит весь ход событий ближайших лет и даже десятилетий.

Я также считаю необходимым обратиться к Вам по другому наболевшему для страны вопросу. В СССР за без малого 63 года никогда не было политической амнистии. Освободите узников совести, осужденных и арестованных за убеждения и ненасильственные действия, за попытку осуществить свое право получать и распространять информацию, право на свободу религии, на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны, право на ассоциации. В их числе — участники информационных правозащитных и дискуссионных журналов, члены Хельсинкских групп, участники религиозных и эмиграционных движений. Такой гуманный акт властей СССР способствовал бы авторитету страны, оздоровил внутреннюю обстановку, способствовал международному доверию и вернул бы счастье во многие обездоленные семьи.

Я прошу Вас известить меня о получении и рассмотрении этого письма по адресу: Горький 137, проспект Гагарина 214, кв. 3. Я силой вывезен в Горький в январе 1980 г. и считаю это абсолютным незаконным. Я до сих пор не знаю даже, какая инстанция или кто персонально приняла решение об этом. [...]

*Андрей Сахаров, академик, лауреат Нобелевской премии Мира  
27 июля 1980 года  
[...]*



# КОНТИНЕНТ 28

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

К шестидесятилетию со дня рождения.



*Андрей Дмитриевич Сахаров*

*Обложка «Континента», № 28*

## В ЗАЩИТУ АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО

Мы глубоко озабочены судьбой нашего друга Анатолия Марченко, активного участника движения за права человека, автора многих правозащитных документов. Его книга «Мои показания» — первое документальное свидетельство о советских тюрьмах и лагерях в послесталинское время. Она стала одним из наиболее популярных произведений самиздата. Анатолий Марченко — рабочий из сибирского поселка, сам провел 11 лет в описанных им местах заключения, что совершенно разрушило его здоровье: он потерял слух, у него совершенно больной желудок, и сейчас он является полным инвалидом.

Сейчас он находится в ссылке в маленьком поселке Чуна в Восточной Сибири. Вместе с ним его жена Лариса Богораз, сама активный участник движения за права человека. В ссылке вырос их пятилетний сын Павел. В сентябре этого года должен закончиться срок ссылки Марченко. Но сейчас нам стало известно, что над ним готовится новая расправа. Следователь местного отделения КГБ Хватов предлагал нескольким жителям поселка Чуна «помочь» создать уголовное дело Марченко, — например, подбросить ему в дом мешочек с золотым песком. Причем следователь утверждал, что все равно остается всего несколько дней до его ареста.

Анатолий Марченко — один из членов-основателей первой в СССР Хельсинкской группы (Московской), более того — один из инициаторов ее создания. Подготовка нового процесса над Марченко — еще одно звено в цепи преследований, обрушенных советскими властями на хельсинкские группы. Напоминаем, что из Московской группы лишены свободы ее руководитель д-р Юрий Орлов, Александр Гинзбург, Анатолий Щаранский и Владимир Слепак, а всего подвергнуто репрессиям в Советском Союзе 20 членов Хельсинкских групп.

*Людмила АЛЕКСЕЕВА, член московской Группы-Хельсинки,  
Петр ГРИГОРЕНКО, член московской и украинской Групп-Хельсинки,  
Андрей АМАЛЬРИК, Дина КАМИНСКАЯ, Константин СИМЕС,  
Николай ВИЛЬЯМС, Павел ЛИТВИНОВ, Майя ЛИТВИНОВА,  
Наталья САДОМСКАЯ, Валерий ЧАЛИДЗЕ, Борис ШРАГИН,  
Юрий ШТЕЙН.*

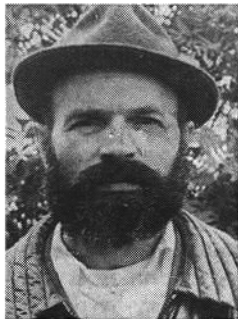
*26 июля 1978, Нью-Йорк*

Полностью присоединяясь к заявлению, мы хотим обратить особое внимание на судьбу Марченко и на вероятные цели намечающихся против него новых репрессий. Анатолий Марченко сослан в Сибирь, потому что не соглашался ни на малейший компромисс с властями: доведенный преследованиями до решения эмигрировать, он настаивал на своем праве эмигрировать открыто и туда, куда он хочет, а не принять навязываемые условия игры в «воссоединение с семьей» в Израиле. Его этапировали в ссылку, когда он держал голодовку, — не оказывая никакой медицинской помощи и в наручниках. После этого он страдает тяжелой болезнью суставов — в придачу ко всем болезням, которые заработал прежде в лагерях. Тем не менее ему полностью отказано в медицинской помощи: по сигналу «сверху» врачи Иркутской областной больницы вышвырнули его из больницы, даже не успев обследовать. С полностью разрушенным здоровьем, он не получил, однако, инвалидности и обязан работать — иначе ему угрожает преследование за тунеядство. Притом работать на самых тяжелых механизированных работах, что окончательно разрушает его здоровье. Все это не помешало Марченко быть одним из инициаторов и членов-основателей Группы-Хельсинки. Все это заставляло власти еще больше опасаться возвращения Марченко из ссылки.

На фоне фальсифицированного уголовного дела Александра Болонкина очевидно, что власти стремятся нанести новый удар как по хельсинкскому движению, так и вообще по бывшим политзаключенным, а всех, кто рискует стать на путь сопротивления, запугать бесконечностью будущих репрессий: тюрьма—лагерь — ссылка— снова тюрьма— снова лагерь — административный надзор — снова лагерь, и так всю жизнь. Одновременно советское руководство хочет взять измором всех, кто здесь, на Западе, защищает советских диссидентов: западная общественность выступила с резкими протестами во время недавних процессов, но хватит ли у нее сил протестовать каждый раз, тем более, что обвиняемые затеряны в сибирской глуши, а обвинения носят уголовный характер? Мы хотим надеяться, что хватит. Что профсоюзы забьют тревогу по поводу судьбы рабочего. Что интеллигенция вступится за писателя. Что врачи потребуют соблюдения медицинской этики от своих советских коллег. И что французские парламентарии присоединят, наконец, свой голос к парламентским группам США и других европейских стран, выдвинувшим советские Группы-Хельсинки в полном составе — в том числе и Анатолия Марченко — на Нобелевскую Премию Мира.

*Владимир Буковский, Вадим и Ирина Делоне, Виктор Файнберг,  
Наталья Горбаневская, Татьяна Ходорович, Владимир Максимов,  
Леонид и Татьяна Плющ.*

*Август 1978, Париж*



Сбылись наши худшие ожидания: Анатолий Марченко приговорен к 10 годам лагеря и 5 годам ссылки, что означает лишь одно — медленную смертную казнь. «Учитывая состояние здоровья», ему дали строгий режим, а не особый. Большие гуманисты! При тех болезнях, которые Марченко нажил за предыдущие сроки (и которые уже не назовешь состоянием «здоровья»), разница в режиме уже не существенна. Мы уже призывали рассеянных по всему миру издателей и читателей книг Анатолия Марченко развернуть кампанию за его освобождение. При нынешних арестах, все более массовых, при нынешних приговорах, все чаще суровых, — все труднее становится индивидуальная защита. Защищать надо всех, в этом нет сомнения. Но имя Анатолия Марченко — того, кто первым свидетельствовал о постсталинских лагерях, первым обнаружил десятки имен и судеб политзаключенных 60-х годов, политзаключенных всех направлений и национальностей, — по праву должно стоять впереди во всех правозащитных акциях. Оно должно и может стать символом борьбы за ликвидацию концлагерей для узников совести.

КОНТИНЕНТ

## РУССКО-УКРАИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Со времени победы большевиков на Украине и до наших дней между украинской и русской эмиграциями существовало состояние взаимной вражды. Они почти не поддерживали между собой никаких связей: ни культурных, ни политических, ни даже личных. Причина тому была политическая: русские эмигранты не желали признать за украинским народом права на отделение от России и на создание своего государства.

Эта атмосфера начала меняться к лучшему в 1970-х годах под влиянием русских участников правозащитного движения, оказавшихся на Западе. Они принесли с собой дух национальной терпимости и искреннего демократизма. По их инициативе и в сотрудничестве с польскими, чешскими, венгерскими деятелями было опубликовано веское «Заявление по украинскому вопросу» (май 1977 г.), где впервые за последние полстолетия представительная группа русских признала право Украины на государственность.

Наше нынешнее заявление — о том, что этот призыв не должен остаться нереализованным. Украинское и русское освободительные движения достигнут победы только в сотрудничестве. Это сотрудничество (в эмиграции) становится тем более осуществимым, что украинская сторона проявила в этом направлении добрую волю.

Украинское Демократическое Движение (с центром в Нью-Йорке) и независимые украинские демократы опубликовали осенью 1977 года «Декларацию солидарности» в ответ на «Заявление по украинскому вопросу», в которой, в частности, пишут:

*«Украинский народ, оставляя позади трагические события прошлого, готов приложить все усилия для того, чтобы отношения его с соседними народами были основаны на взаимном доверии, мире и дружелюбии. Мы ожидаем, что “Заявление по украинскому вопросу” послужит стимулом для создания благоприятного климата и поможет демократическим силам народов Советского Союза и стран-сателлитов, включая тех, кто трудится в эмиграции, найти единство в борьбе за национальное, общественное и политическое освобождение».*

Верные духу обеих названных деклараций и в уверенности, что единый фронт борьбы демократических сил народов Советского Союза надо начинать с украинско-русского сотрудничества, мы провозглашаем следующие фундаментальные принципы.

Идеалы прав человека и стремление к свободе занимают первое место в кругозоре и сознании современного человека. Благодаря их носителям идеалы эти становятся для различных народов, живущих в различных политических устройствах, платформой организованных движений и объектом международной политики. Радуюсь признанию постулатов свободы в политической, общественной и международной сферах человеческой жизни, мы, участники русского и украинского движений, формулируем принципы нашего сотрудничества, принятые обеими сторонами:

1. Мы признаём полное и безоговорочное право русского и украинского народов на государственную независимость.

2. Мы подтверждаем существование русификации Украины как угрозы для украинского народа и приложим все силы, чтобы бороться против нее.

3. Русская сторона считает своим долгом содействовать углублению процесса борьбы за независимость и демократизацию Украины.

4. Украинская сторона будет содействовать установлению полных гражданских свобод и демократизации России.

5. Обе стороны стоят за полноту гражданских прав, а также общественной, культурной и религиозной автономии меньшинств на территориях Украины и России в соответствии с правами человека, закрепленными в Хартии ООН.

Эти согласованные нами принципы составляют достаточную основу для совместной работы политически и профессионально заинтересованных представителей политических движений обеих эмиграций во внутренней и международной областях, при сохранении приоритета потребностей правозащитных движений у них на родине.

Объявляя об этом и еще раз подчеркивая, что нас объединяют идеи демократии, гуманности и добрососедских отношений независимой Украины и независимой России, мы приступаем к созданию рабочих групп для координированных действий в разных странах свободного мира и ожидаем поддержки со стороны активных представителей обоих наших народов внутри и вне Советского Союза.

Подписали участники встречи в Вашингтоне 30 сентября 1979 года: *Степан Процик, Михайло Воскобойник, Роман Ильницький, Марта Богачевская-Хомяк, Ростислав Хомяк, независимый демократический деятель, журналист Юнайтед Стейтс Инфор-мейшин; Роман Барановский, Дмитро Корбутяк, Владимир Буковский, Наталья Горбаневская, Владимир Максимов.*

Русские участники встречи в Вашингтоне подчеркивают, что, подписав декларацию, они выразили свои глубоко личные убеждения и устремления — в надежде найти единомышленников среди своих соотечественников, которые предпримут новые практические действия в области украинско-русского сотрудничества (каждый в стране, где он живет). [...]

Корректор — *Ю. Маслов*

ЛР № 066469

Подписано в печать 13.08.2013. Формат 60×84/16. Бумага типографская.

Гарнитура «Ньютон». Печ. л. 38,00.

Заказ №

**УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

---

---

**ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ**

**«КОНТИНЕНТ»**

принимается во всех отделениях связи России.

Наши подписные индексы

**71682** (годовая подписка), **73218**

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати»

В помещении редакции «Континента» (ул. Плющиха, 27, кв. 1) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых лет.

Время работы редакции: с 13:00 до 17:00 по будням.

В МОСКВЕ журнал «Континент» продается:

КИОСК «ЭКСПРЕСС-ХРОНИКА»

Страстной б-р, д. 4 (у выхода из метро «Чеховская»)

«КНИГА» – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.11.45

ЛИТИНСТИТУТ книжная лавка –

Тверской бульвар, 25; тел. 694.01.98

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ» – Б. Садовая, 2/46; тел. 699.80.67

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск –

ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 623.03.80

«УМНЫЕ КНИГИ» – ул. Покровка, д. 27, стр. 1; тел. 916.28.14

«ФАЛАНСТЕР» – Мал. Гнезниковский пер., д. 12/27; тел. 749.57.21

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ –

Столешников пер., 2; тел. 629.52.62

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ – Газетный пер., 15; тел. 692.05.63



# **ВНИМАНИЕ!**

ДЕТСКОМУ ДОМУ слепоглухонемых  
требуется помощь.



Привозить и присылать можно все,  
кроме одежды и игрушек, —

*перевязочные средства, медикаменты,  
стиральные порошки, постельное белье,  
средства личной гигиены, присыпку, детский крем, памперсы  
всех размеров —*

**по адресу:**

141300

Московская область, г. Сергиев Посад,  
ул. Пограничная, д. 20,  
детский дом слепоглухонемых,  
Епифановой Галине Константиновне

